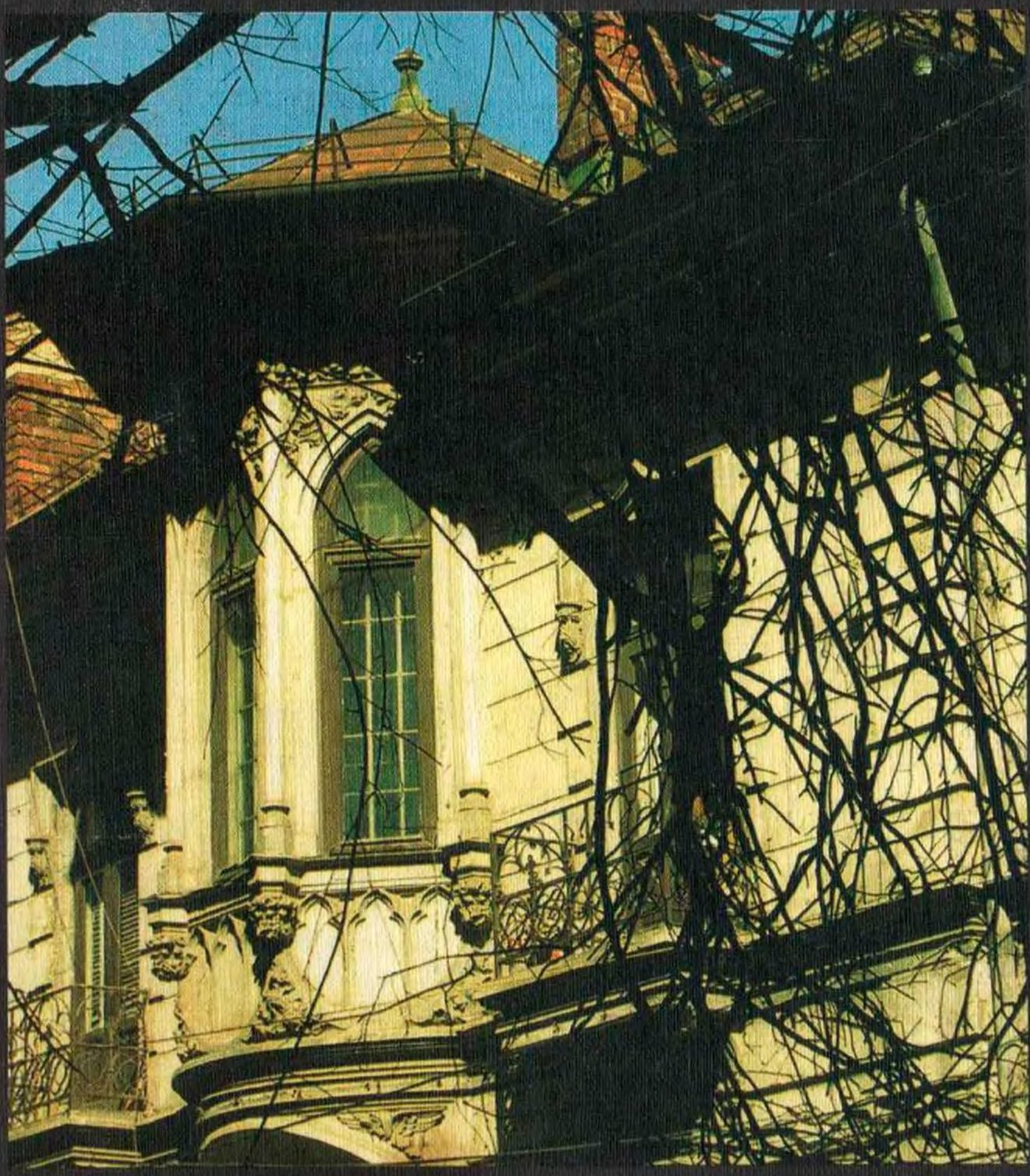
Мирча Элиаде



ПОСУЛЫ РАВНОДЕНСТВИЯ

ЖАТВА СОЛНЦЕВОРОТА

MIRCEA ELIADE

LES PROMESSES DE L'ÉQUINOXE

Mémoire I

1907–1937

et

LES MOISSONS DU SOLSTICE

Mémoire II

1937–1960

GALLIMARD
PARIS

MIRCEA ELIADE

PROMISIUNILE ECHINOCȚIULUI

Memorii I

(1907–1937)

RECOLTELE SOLSTIȚIULUI

Memorii II

(1937–1960)

Мирча Элиаде

Посулы равноденствия

Мемуары. Том I

(1907–1937)

Жатва солнцеворота

Мемуары. Том II

(1937–1960)

Критерион
Москва
2008

Книга издана при содействии
Румынского Института Культуры,
Бухарест

Перевод с румынского
Анастасии Старостиной

Оформление
Павла Сандомирского

ISBN 978-5-901337-29-5

© Editions Gallimard, Paris, 1980, 1988
© Издательство «Критерион», 2008
© Старостина А.А., перевод, 2008

Том I

Посулы равноденствия

(1907–1937)

Часть первая

Мансарда

Глава 1
Первые воспоминания

Я родился в Бухаресте 9 марта 1907 года (25 февраля по старому стилю). Мой брат, Николае Ремус, родился годом раньше, а четырьмя годами позже появилась на свет Корнелия. Мой отец был уроженцем молдавского городка Текуч и, прежде чем назваться Элиаде, носил фамилию Иеремия. На французско-румынском словаре, которым я пользовался весь лицей, стояла его собственноручная подпись: *Георге Иеремия*. Отец был старшим из четверых детей. Второй за ним, Костика, тоже офицер, кончил Военную Академию, служил при штабе и дослужился до чина дивизионного генерала; отец же, будучи то ли благоразумнее, то ли не таким хватким, не поднялся выше капитана. Их младший брат Павел после авантюрной молодости, о которой в семье никогда не говорили, стал служащим на железной дороге. Последнее, что я о нем слышал, было его назначение начальником вокзала. Видел я его в жизни считанные разы. Брюнет, как и отец, он выгодно отличался тем, что его шевелюра со временем не поредела.

Их единственная сестра, вышедшая замуж за некоего учителя, умерла довольно скоро после замужества. Ее я никогда не видел, не знал, где она жила и чем занималась. Однажды, году в девятнадцатом или двадцатом, к нам на улицу Мелодии пришел робкий белокурый юноша в зеленой форме Лесного института. Отец представил его нам: «Чезар Кристя, сын моей сестры». Он мне сразу понравился, потому что был начитан, изысканно выражался и писал стихи. У него как раз вышла первая книжица — «Эдельвейс». Писал он и после того, как стал лесным инженером, но не столько стихи, сколько заметки, часто со шпильками в адрес лесоводческой политики. Последняя брошюра, которую я видел, — было это в канун Второй мировой войны — называлась «Лес и амвон» и содержала его полемику с архимандритом Скрибаном.

Дядя Костика жил в Бухаресте, в большой роскошной квартире на бульваре Паке Протопопеску. Он женился на богатой гречанке из Галаца по имени Хариклия и имел от нее двух сыновей, Дину и Жику. Он был блондин, ростом ниже, чем отец, но хорош собой — холеный, даже франт, как мне тогда казалось, потому что от него пахло одеко-

лоном. Погружаясь в воспоминания, я всегда вижу его одинаково: упитанный майор, подкручивающий усы; чуть картавая, с веселым фырканьем, речь.

Семьи между собой не ладили, больших семейных сборищ не припомню. Дядя Костика, правда, изредка присылал к нам мальчиков. И нас с Нику тоже иногда отправляли к ним, по воскресеньям, с утра — поиграть в их высокой, светлой детской, полной всевозможных игрушек. В последних классах лицея и в университете мы виделись не чаще, чем раз или два в год. Однажды мама открыла мне главную причину охлаждения. Дядя Костика как-то сказал: «Вот досада, что вы назвали мальчишку Мирчей! Я своего хотел так назвать. Теперь уже не смогу, а то моего Мирчу чего доброго будут путать с вашим!..»

Я так и не узнал, почему отец и дядя Костика переменили фамилию Иеремия на Элиаде и почему третий брат заупрямился и пожелал остаться Павлом Иеремией.

Отец говорил, что они сделали это из преклонения перед Элиаде-Рэдулеску[1]. Я был еще мал, когда в последний раз гостил у дедушки с бабушкой в Текуче, так что мне не пришло в голову спросить их про историю с переменой фамилии. Но вообще дедушку с бабушкой и их дом я помню очень хорошо. Дедушка был высокого роста, сухощавый и осанистый, с седыми волосами. Каждый день, отдохнув после обеда, он брал меня с собой в кофейню, где играл в кости. Мне полагалась порция варенья и рахат-лукума, а если он выигрывал партию, я получал добавку варенья. Под вечер мы шли домой по Главной улице.

Думаю, мне было четыре или пять, когда, держась за дедушкину руку, я заметил среди панталон и юбок, степенно проплывавших в сумерках по Главной улице, девочку примерно моих лет, которую тоже вел за руку дедушка. Наши глаза встретились, она прошла, я оглянулся и увидел, что она тоже оглянулась. На миг мы застыли — пока дедушки не растащили нас каждый в свою сторону. Я не знал, что это было. Только чувствовал: это было нечто исключительное и решающее. В самом деле, в тот же вечер я обнаружил, что мне довольно вызвать в памяти картинку с Главной улицы, как я соскальзываю в неописуемо блаженное состояние и могу длить его до бесконечности. В последующие месяцы я вызывал эту картинку по нескольку раз на дню, особенно перед сном. И тогда по мне теплой волной пробегала дрожь, потом, после мига оцепенения, все вокруг исчезало. Я как бы оставался на долгом-предолгом неестественном вдохе. И еще много лет картинка девочки с Главной улицы была для меня тайным талисманом, мгновенно предоставляющем мне убежище в том несравненном уголке времени. Я не забыл ее лица: самые большие на свете, черные, словно бы из одних зрачков, глаза, легкий загар и бледность, оттеняемая локонами, тоже черными, падавшими на плечи. Она бы-

ла одета по детской моде 1911–1912 годов: темно-синяя блуза, красная юбка. И еще много лет спустя я вздрагивал, стоило в толпе мелькнуть сочетанию этих цветов.

Мне кажется, в тот год (1911 или 1912) я прожил в Текуче целый месяц. Но напрасно я высматривал ее повсюду, где мы гуляли с дедушкой. Больше я не видел ее никогда. Бабушку я лучше помню по вторым каникулам, проведенным в Текуче летом 1919 года. Мне было тогда двенадцать, и я заново пристрастился к чтению. Чуть ли не целыми днями я сидел у окна с книгой. Всякий раз, проходя мимо, бабушка просила, чтобы я читал вслух, для нее. Я пробовал объяснить, что она ничего не поймет, если будет слушать только бессвязные отрывки, но бабушка настаивала на своем. Так ей читал Костика, говорила она. Он читал ей что попало, будь это даже учебник физики или химии. Пришлось покориться и кормить бабушку кусками из «Путешествия на луну одного румына» (автора забыл напрочь) и из «Ильдерима» королевы Марии.

Бабушка была маленькая, с пепельными волосами, скрученными в крендели у висков, с выцветшими глазами. Тем летом 1919 года я видел бабушку и дедушку из Молдовы в последний раз. С тех пор я не бывал в Текуче. Они оба угасли несколько лет спустя. Дедушке было под девяносто.

* * *

Родился я в Бухаресте, но в том же году гарнизон отца перевели в Рымнику-Сэрат, и мои начальные воспоминания связаны с этим городом. Большой дом, множество комнат и каморок, акации перед окнами. На задах — двор, переходящий в сад, который казался мне огромным, с раскидистой тенью слив, абрикосов и айвы. Воспоминание самое первое (думаю, мне не было и трех лет): мы в саду с братом и большой белой собакой Пику. Все трое барахтаемся в траве. Рядом, на низеньком стульчике, мама — разговаривает с соседкой. После этой картинки сразу другая: перрон вокзала, вечер, мы встречаем тетушку из Бухареста. Многолюдно. Я держу в руках крендель, не решаюсь от него откусить, таким он мне кажется восхитительным. Я выставляю его напоказ, ужасно гордый. Поезд подходит к перрону, поднимается суета, на миг я остаюсь один. Откуда ни возьмись подлетает пацан лет пяти-шести, выхватывает крендель у меня из рук, ухмыляется, вонзает в сокровище зубы и исчезает. Я был так ошеломлен, что оцепенел и потерял дар речи, мне словно дали почувствовать, какая это чудовищная сила — наглость.

Еще воспоминания той поры, когда мне было три-четыре года: выезды за город на бричке, в лес или на виноградники. Бричка останав-

ливалась на обочине под сливовыми деревьями, я залезал на козлы и рвал спелые, как бы с налетом инея сливы. Раз в лесу, ползая по траве, я чуть не столкнулся с большой, сине-зеленой сверкающей ящерицей — и мы оба замерли, глядя друг на друга. Я не испугался, хотя сердце все равно заколотилось. Скорее это было от радости, что я встретил такое редкостное, необыкновенной красоты существо.

Но ярче всего я помню один летний день, когда все в доме спали после обеда. Я выбрался из нашей с братом комнаты и на четвереньках, чтобы не поднимать шума, отправился в гостиную. Я плохо ее себе представлял, потому что нам позволялось туда входить только по праздникам или при гостях. Я даже думаю, что в остальное время ее запирали на ключ. На сей раз, однако, я нашел дверь незапертой и все так же на четвереньках перелез через порог. В тот же миг у меня перехватило дух: я попал в сказочный дворец. Тяжелые, зеленого бархаты шторы были сдвинуты, и в комнате витало зеленое нездешнее блистание. Я словно бы оказался внутри огромной виноградины. Не знаю, сколько времени я просидел на ковре, боясь вздохнуть. Очнувшись, осторожно пополз в обход по ковру, огибая мебель, жадно разглядывая столики и этажерки, уставленные статуэтками, раковинами, хрустальными флаконами, серебряными шкатулками; заглядывая в большие венецианские зеркала, из глубины которых на меня взирал незнакомый мальчик — взрослее, красивее, — облагороженный этим светом, проникавшим из иного мира.

Я никому не рассказал про свое открытие. Впрочем, я подозревал, что и не смог бы ничего рассказать. Владей я словарем взрослых, я назвал бы его открытием тайны. Как и образ девочки с Главной улицы, я мог когда угодно вызывать в себе эту зеленую феерию — и, замерев, снова переживал то же блаженство, то же внезапное погружение в толщу не имеющего подобия света. Эту настройку на эпифанию я практиковал долгие годы и всякий раз возвращался в ту же полноту чувств, в то же остановленное, без начала и без конца мгновение. Еще и в старших классах лицея, когда я боролся с продолжительными приступами меланхолии, мне удавалось порой вызвать в памяти золотисто-зеленое сияние того рымникского послеполуденного часа, но, хотя блаженство оставалось прежним, я больше не мог его выносить, оно только усиливало мою тоску: я уже знал, что гостиная и шторы зеленого бархата, и ковер, заглушавший шум, и бесподобный свет принадлежат миру, утраченному навсегда.

* * *

В 1912 году отца перевели вместе с гарнизоном в Чернаводэ. В моей памяти два чернаводских года распростерлись на солнцепеке между

Дунаем и красно-кирпичными холмами, поросшими шиповником и мелкими цветочками с бледными, сухими лепестками. По приезде нас временно расквартировали в одном из полковых корпусов. Только там, в парке военного городка, росли не одни акации, но и другие деревья. Я помню, как прятался под пихтами и соснами, помню клумбы с голубыми цветами. Только у нас была настоящая тень. Вся остальная Чернаводэ стояла вечно открытая солнцу.

Через несколько месяцев мы перебрались в домик на склоне холма. При нем был сад под сводом, увитым виноградом. В один прекрасный день прибыла мебель и утварь из Рымнику-Сэрат, и началась процедура распаковки. Я смотрел, не отрывая глаз, как отец с помощью денщика аккуратно вскрывал ящики и, осторожно нащупав под слоем соломы, извлекал на свет таинственные предметы, завернутые в газетную бумагу. Мы все не дыша ждали: доехали они в целости и сохранности или нет. Один за другим появлялись разноцветные стаканы, тарелки, чашки, чайники. По временам отец хмурился, вполголоса чертыхался, кусая усы, и откладывал разбитое в отдельный ящик, не решаясь сразу выбросить.

Той осенью меня отдали в детский сад. Я был очень горд, когда надел серый форменный халатик и сам пошел в «школу». Алфавит я уже знал, но на что он нужен — еще нет. Нас учили сначала читать по складам, и это было не очень интересно, даже когда я сумел прочесть: «Наша родина — Румыния». Но однажды мне в руки попалась книга для чтения моего брата, и с самой первой страницы я уже не мог от нее оторваться. Это захватывало, как новая игра. Строка за строкой мне раскрывалось то, о чем я даже не подозревал. Я выучил названия уездов, рек и городов, узнал о Данииле-отшельнике и о монастыре Нямц, и о множестве других удивительных вещей, за которыми скрывались тайны и неведомые дали. Тем не менее через неделю, когда я дочитал братнюю хрестоматию, оказалось, что дела обстоят не так-то просто. Мне неоткуда было взять другую книгу, чтобы немедленно за нее засесть. У отца была сотня-другая томов в красивых кожаных переплетах, однако они были заперты в шкафу с застекленными дверцами. Я мог читать только титулы на корешке, да и их не всегда понимал. Папины тома именовались «романами», и между родителями произошел долгий разговор, надо ли мне объяснять это слово. Еще много лет отец запрещал мне читать романы. Роман, по его мнению, не вполне отвечал требованиям нравственности, поскольку подразумевал либо адюльтер, либо разного рода авантюры, о которых говорилось не иначе как шепотом. Даже новеллы отец считал чтением, для ребенка предосудительным. В разряд дозволенных попадали лишь книги с заглавием или подзаголовком «сказки».

Меня допустили было до «Сказок» Испиреску[2], до «Воспоминаний» и «Сказок» Крянгэ[3], когда произошло событие, омрачившее все мое детство. Я поступил в первый класс, и однажды отец пригласил к нам домой учителя — посоветоваться, что же мне все-таки можно читать. Мы втроем стояли перед книжным шкафом. Учитель был в восхищении от книг, а в особенности от их кожаных переплетов. Листая томик Н. Йорги[4] («На дальних путях», как сейчас помню), он сказал, кивнув на меня: «Не позволяйте ему слишком много читать, он себе натрудит глаза. А глаза у него и так неважные. Я его посадил на первую парту, и то он не всегда видит, что написано на доске». «Я вижу, если прищурюсь», — возразил я. «Значит, зрение слабое, грозит близорукость», — сделал вывод учитель.

Это было катастрофическое открытие. Дабы я не утомлял глаза, отец запретил мне читать что-либо сверх школьной программы. То есть мне не позволялось читать в свободные часы. Впрочем, и источник моего внеклассного чтения был перекрыт: отец больше не отпирал для меня застекленные дверцы книжного шкафа и не разрешал листать тома в кожаных переплетах. Потерянные, по сути дела, годы, как я понял позже. Жажду к чтению я удовлетворял тем, что под руку попадется: романом-брошюрой, Шерлоком Холмсом, псалтырем, сонником. Читал тайком, в глубине сада, на чердаке, в погребе (это уже в Бухаресте, после 1914 года). Со временем такое чтение, беспорядочное и бессмысленное, мне надоело. В один прекрасный день я обнаружил, что игры на пустыре могут быть такими же захватывающими, как приключенческие романы. Я стал все свободное время пропадать на бухарестских задворках. От пустыря за городской управой до Обора, от Холма Митрополии до оврагов Оуату я знал все места и водился со шпаной всех городских предместий. Но это было уже позднее, после 1916, когда отца с его полком послали в Молдову.

* * *

В Чернаводэ я помню окрестные холмы. Отец временами водил нас туда. Мы шли вверх по выжженным пыльным тропинкам, которые вились сквозь заросли чертополоха и полыни, до самой вершины. Оттуда далеко был виден Дунай, у горизонта — в паутине верб и в голубоватой дымке. На отца находила скованность. Он, такой речистый и въедливый, когда дома читал нам мораль, терялся в ситуациях новых и деликатных, выходящих за круг семейных. Мы усаживались на склоне, отец снимал фуражку, отирал лоб платком и с усмешкой принимался подкручивать усы. Мы понимали, что пора задавать вопросы. Мы старались задавать такие, каких он и ждал от своих сыновей. Мы знали его мнение про нас: что мы умны и наделены всевозмож-

ными талантами (например, он предрекал нам великое музыкальное будущее, считая обоих чуть ли не вундеркиндами). Он таял, когда мы задавали «умные» вопросы, еще раз подтверждая его веру в наши способности. Но отвечал тем не менее весьма кратко, если не сказать односложно, порой явно в затруднении.

Возвращались мы другой дорогой, чтобы выйти к мосту через Дунай. Иногда нам везло: мы подгадывали к товарному поезду, который полз медлительно, как дождевой червь огромных размеров. Раз, когда мы спускались, из-за камней на краю обрыва выскочила татарочка нашего возраста и, ни слова не говоря, протянула отцу пучок синих цветов. Мы все трое глядели на нее в оторопи. Я и брат вообще в первый раз видели вблизи татарскую девочку. Она была в шароварах, волосы и ногти выкрашены шафраном. Отец улыбнулся, неловко ее поблагодарил, похлопал по плечу, погладил по голове и, не зная, как еще выразить свою признательность, снял фуражку и приветственно ею помахал.

Восхождение на эти же холмы мы по весне часто устраивали всей школой. Помню один поход в конце марта. Было необыкновенно тепло. Наверху мне страшно захотелось пить, а поскольку воды ни у кого не нашлось, я стал есть снег — его оставалось еще достаточно по расселинам. После этого я проболел почти две недели.

Мне всегда хотелось пить, когда я приходил из школы. Мы с ребятами всю дорогу бежали, пинались, дубасили друг друга ранцами, и я влетал во двор грязный и потный. Первым делом бросался к колонке и выпивал за один присест несколько кружек сырой воды. Эту свободу я утратил, когда родители решили взять для нас гувернантку, чтобы мы говорили по-французски. Однажды отец велел запрячь бричку и поехал на вокзал. Он вернулся с особой, пропахшей табаком, смуглой до черноты и с большущей бородавкой на щеке. Она прекрасно говорила по-румынски и без конца скручивала пахитоски, набивая их золотистым табаком из табакерки. Я в тот же вечер почувствовал, что родители разочарованы, особенно мама. Гувернантка была старовата, слишком много курила, да и по-французски говорила не ахти как. Она у нас не прижились. Думаю, что повод отказать ей, уже через несколько недель, невольно предоставил я. Гувернантка постановила, что мне нельзя пить воду после школы, поскольку я возвращался вспотевший. Мне запретили приближаться к колонке и вообще входить на кухню и в столовую. До обеда я не должен был покидать нашу с братом комнату, где поселили и гувернантку. Я ужасно мучился от жажды. Раз, воспользовавшись тем, что остался один в комнате, я стал шарить по всем углам и наткнулся в шкафу на бутылку с надписью «борная кислота». Я знал, что эту жидкость употребляют для дезинфекции, но мне слишком сильно хотелось пить. Я опорожнил

почти полбутылки. Плохо мне стало несколько позже, и тогда я признался маме. Меня уложили в постель. Изображая бóльшие страдания, чем испытывал, я утешался, слушая резкий разговор мамы с гувернанткой, быстро перешедший на высокие ноты.

* * *

И в Рымнику-Сэрат, и в Чернаводэ мы держали свою бричку. Будучи пехотным офицером, отец тем не менее питал слабость к лошадям. Он не баловал нас частыми рассказами о своем детстве в Текуче, но никогда не забывал упомянуть, как ездил на лошадях без седла и как ловил ящериц и за пазухой привозил их домой. Вполне вероятно, что страсть ко всякого рода живности я унаследовал от него. Любопытно, что единственное увечье он получил по вине своего любимого коня. Во время кампании 1913 года он был легко ранен в плечо, но конь испугался, шарахнулся и сбросил его на землю. Несколько месяцев отец носил гипсовую повязку.

С нашей бричкой связано у меня самое драматическое переживание детства. Мама должна была приехать поездом из Бухареста, и мы отправились встречать ее на вокзал. Возвращались домой на бричке, заваленной чемоданами и свертками. Дорога проходила мимо моста. Она была вся в колдобинах, покрыта толстым слоем пыли и в одном месте резко шла под горку. Не знаю, что напугало лошадей, но они понесли прямо в начале спуска. Напрасно и кучер, и отец, пытаясь их остановить, натягивали изо всех сил вожжи. Бричка как очумелая мчалась вниз, с грохотом, треща по всем швам, низко кренясь из стороны в сторону, так что колеса отрывались от земли то справа, то слева, подскакивала и наезжала сзади на лошадей, как бы понукая их. Мама закричала и в полной растерянности одной рукой обхватила нас, а другой стала выкидывать свертки. Мне это показалось таким безумством, что я обнял ее колени и умолял перестать — я воображал, сколько подарков пропадет в тех свертках. Нику повис на маминой руке и от испуга даже не мог плакать. Мама приподняла меня и прижала к себе. И тогда я *увидел*. Бричка неслась прямо к обрыву у моста через Дунай. Долгие годы меня преследовали в памяти эти замедленные секунды ожидания, как мы подлетим к краю обрыва и рухнем вниз. Было и жутко и упоительно над бездной, которую я видел, хотя подумать, что вот сейчас все кончится, не смел. После, когда мы все вместе вспоминали и обсуждали происшествие, мама сказала, что я, сам того не зная, *верил* и ждал чуда.

Часовой на мосту понял, что нам не под силу остановить лошадей, выскочил на дорогу нам наперерез и, потрясая ружьем, завопил во весь голос. Подбежали еще двое солдат с моста. Им втроем удалось

остановить бричку за несколько шагов до обрыва. Отец спрыгнул с козел и обнял их. Лошади беспокойно дергали головами, словно отгоняя привидение.

По-моему, это была наша последняя поездка на бричке. На лето мы уехали в Текиргёл, а осенью 1914, когда началась война, отца перевели в Бухарест.

* * *

Как я понял впоследствии, отец решил, что лето мы должны проводить в Текиргёле на грязях, после того как раз случайно повстречал каких-то золотушных детей. Они произвели на него самое гнетущее впечатление. А тут еще полковой врач сказал ему про нас, что мы вялые, «лимфатические». Чтобы уберечь своих детей от золотухи, отец повез нас в Текиргёл.

Мне было пять лет, когда, подъезжая к вокзалу города Констанцы, я увидел из окна поезда море. Я был еще под впечатлением этого открытия, а отец уже пересадил нас в автобус на Текиргёл. Очень скоро дорога пошла полем с маками и васильками, потянуло сеном, пылью и морской солью. Я с изумлением втягивал в ноздри эту волшебную смесь. Потом тяжело, резко запахло серой и дегтем — но все равно так мог пахнуть только эликсир — мы приближались к лиману. Примерно через час автобус остановился у постоялого двора Видригина на въезде в Текиргёл. Лиман лежал обмельчавший, маслянистый между грязевыми топями. Мимо проехал тарантас, подняв пелену пыли, сквозь которую с трудом проложил себе путь автобус. Все пассажиры закрыли лица платками. Так мы прибыли в центр Текиргёла.

Тогда, в 1912 году, Текиргёл еще представлял собой деревню. Больших зданий было наперечет: новая гостиница, два-три постоялых двора, грязелечебница, мрачные корпуса летних пансионов и четыре-пять дач. У вершины холма, невидимые с дороги, тянулись татарские землянки. В то лето отец снял на два месяца просторную комнату на одной из дач. По утрам мы всем семейством принимали теплые грязевые ванны. Потом быстро возвращались на дачу и опять ложились в постели, чтобы пропотеть. После обеда снова полагалось спать по меньшей мере час. Это потому, говорил отец, что горячие грязи *томят*. Они оттого такие чудодейственные, что пробирают человека до мозга костей, а после, вынуждая его отдыхать, придают ему крепость и здоровье.

Отцу так понравилось это пробное путешествие, что он решил завести в Текиргёле собственную дачу, где мы могли бы проводить все лето. В том же году он присмотрел и купил участок высоко на холме, и когда мы на следующее лето снова приехали в Текиргёл, нас ожи-

дал строящийся дом: две комнаты, веранда и кухня во дворе. Колодец был еще не готов, и несколько недель нам пришлось носить воду с соседнего двора. Чтобы добраться до воды, которая оказалась на глубине пятнадцати метров, пришлось взрывать динамитом плотный известняк. Только тут мама поняла, что отец поторопился, купив надел так высоко на горе. Колодец обошелся нам в цену половины дома. Правда, вода у нас была самая холодная в селе, но такая мутная, что ее приходилось отстаивать, прежде чем пить. Крутизну дороги, ведшей к нашему участку, не могла одолеть ни одна повозка. От автобуса мы вместе с носильщиками примерно с четверть часа тащили наверх свертки и картонки. В жару или когда мы возвращались с грязей, подъем нас выматывал. Если мы забывали что-то купить в лавочках у подножия, на шоссе, приходилось по полчаса ждать, пока кто-то из нас не сбегает вниз.

Но дух предпринимательства, завладевший моим отцом, был неутолим. Он решил, что если сделает еще несколько пристроек, то будет сдавать их внаем на лето. И после того как покроет расходы, сможет сколотить деньги на приданое для нашей сестры, Корнелии, которая была совсем малышка. Через год вилла «Корнелия» насчитывала уже шесть комнат. Я не уследил, как и когда в них появилась мебель, но вскоре после нашего приезда стали прибывать и постояльцы. Напрасно мама пыталась воспротивиться — у отца были грандиозные планы: огороды, цветочный рассадник, сад с плодовыми деревьями. В течение года он приезжал, когда мог, из Чернаводэ или из Бухареста, сажать деревья и расширять сад. Прикупил еще один участок на склоне, на задах виллы, намереваясь понастроить там кухни и домики для прислуги (чтобы привлечь богатых дачников).

Его энтузиазму положило конец вступление Румынии в войну. Два года мы не имели никаких известий о вилле «Корнелия». Когда мы снова приехали в Текиргёл, летом 1919, мы нашли только голые стены. Соседи рассказали нам, что на вилле стояли болгарские части, которые ее затем и разграбили. Все же кое-что из мебели мы нашли по разным домам в деревне.

От первых текиргёльских каникул у меня в памяти до сих пор остались поздние сумерки, холм, цветки молочая и слизни. Лиман виднелся до Эфории и Тузлы, а за ним, как огромная дамба, подпирающая небо, вставало море. Неподалеку, по правую руку от меня, были бахчи, там мы покупали арбузы и дыньки-канталупы. По левую руку, невидимые, тянулись татарские землянки. С наступлением вечера оттуда доносился собачий лай и тянуло кисловатым дымком от горящего кизяка с соломой. Много лет этот едкий дымок был для меня воплощением Добруджи, прологом к «Тысяче и одной ночи».

* * *

Когда в начале осени 1914 года мы вернулись в Бухарест, дом на улице Мелодии еще не успели отремонтировать. Несколько недель мы прожили у дедушки и бабушки, в конце бульвара Паке Протопопеску. Их владения были сказочными для меня с самого раннего детства. Первый раз я попал туда лет четырех-пяти от роду, весной. Мне запомнился невероятных размеров двор с конюшнями и амбарами и бесконечный сад. Бесконечный в буквальном смысле — до другого его края я добрался не раньше, чем мне исполнилось восемь лет, в сопровождении Нику и самой младшей маминой сестры Виорики, не намного старше нас. Там, на краю сада, мы нашли пригорки, поросшие бурьяном, старые прогнившие курятники, груды кирпича и покосившийся деревянный забор, подпертый кольями. Мы, все трое, влезли на один из пригорков и заглянули за ограду. В соседнем саду росли те же абрикосовые, сливовые, айвовые деревья, что и в нашем. Но не слышно было ни кур, ни собак, а только жужжание пчел и незнакомое шебаршение.

— Этот тоже был наш, — сообщила нам Виорика.

Лет пятьдесят тому назад вся земля тут принадлежала прадедушке. Бульвар Паке Протопопеску еще не проложили, и тут тянулись сады и огороды. Неподалеку располагался скотный рынок. Передний дом был когда-то корчмой на постоялом дворе. В самой большой комнате еще сохранились прилавки и полки с глиняными кувшинами, с бутылками и стаканами. В одном углу, за прилавком, шла вниз, в подпол, где хранились винные бочки, винтовая лестница. Каждый день дедушка спускался туда за вином к обеду.

Позже, из рассказов моих дядей, маминых братьев, я узнал, что корчму прадедушка держал еще лет десять после того, как закрыл свой постоялый двор. Дядя Митаке вспоминал, как, учась в младших классах, он, бывало, придя из школы, заставал корчму полной народу, и как ему приходилось, по указке отца, моего деда, читать стихи для развлечения конских барышников. Потом, какое-то время спустя после смерти прадедушки, мои дед с бабушкой отказались и от корчмы. Семья так разрослась, что пришлось сделать пристройку к дому из нескольких комнат. Бабушка родила четырнадцать детей, но трое умерли в младенчестве. Старшая дочь, Дидина, уже не первый год была замужем, когда у бабушки родились двое младших: девочка Виорика и мальчик Траян. Когда мы приехали пожить на бульвар Паке Протопопеску, за бывшей корчмой как раз построили еще один дом, где поселились трое из моих дядей.

Постепенно я узнал кое-что из истории прадедушкиной жизни. Мальчиком он пришел в Бухарест, несколько лет работал на конюш-

нях у заставы, стал кучером на почтовой карете, потом торговцем лошадьми и в конце концов купил сколько-то гектаров земли и завел постоялый двор. Никто не мог мне точно сказать, откуда прадедушка родом. С Дуная, говорил дядя Митаке. С Олта, возражала одна из тетушек и даже называла село — Арвирешти. А в доказательство напоминала, что маму зовут Иоана Арвира. Так или иначе, мне нравилось, что я происхожу от молдавских рэзешей[5] и от корчмаря с Дуная либо с Олта. Рэзешем был отец моего дедушки из Текучи, и мне льстило, что я — только «в третьем поколении от опинок[6]» — и что, родившись и выросши в городе, все же почти что лапотник.

Когда в отрочестве меня стали одолевать приступы меланхолии, я говорил себе, что это — мое молдавское наследство. Мне иногда хотелось воспротивиться этой склонности к мечтаниям, созерцанию, склонности уходить в прошлое и предаваться воспоминаниям — я восставал против своей молдавской крови и звал на помощь залежи энергии — мамино приданое — дух авантюры, трудолюбие и дерзость, чуть ли не вульгарную жизнеспособность коневодов с Дуная. Раз, в 1927 году, еще в бытность мою студентом, я, охваченный бунтарским чувством, написал статью «Против Молдовы», которая, будучи опубликована в газете «Кувынтул», вызвала полемику с долгими отголосками. Я, конечно, нещадно упростил проблему. Но верю до сих пор, что два эти наследия бесконечно спорили у меня в душе, помогая мне тем самым расти, научая не отождествлять себя полностью ни с одним из них, заставляя искать равновесие другого рода — другими средствами, на другой основе.

Не знаю, как познакомились мои родители. Отец был на пятнадцать лет старше мамы, и, когда они поженились, он был уже в весьма зрелом возрасте. Но на свадебной фотографии 1904 года ему не дашь тридцати пяти лет, притом что он уже заметно облысел. Сухощавый, черноволосый, с висячими усами, пышными бровями, с твердым и живым взглядом, отец как будто не старел. В семьдесят лет он пешком проходил Бухарест из конца в конец и ни минуты не мог усидеть на месте — вечно находил себе работу по дому, в погребе, во дворе. В пище был прост, хотя по праздникам ел и пил за пятерых. Когда он вышел в отставку и решил серьезно заняться нашим воспитанием, в нем одержали верх черты занудливости. Ему казалось, что нас надо хорошенько муштровать и без устали читать нам мораль. В последние мои лицейские годы почти каждая трапеза начиналась долгой нотацией, которую мама в досаде то и дело прерывала междометиями и репликами.

К моим родителям, и особенно к маме, я буду постоянно возвращаться в ходе этих воспоминаний. Пока мне хотелось бы только добавить, что, когда мы окончательно обосновались в Бухаресте, мама бы-

ла еще очень молодая, неполных тридцати лет, красивая и изысканно одетая. Но довольно скоро, во время немецкой оккупации и сразу после войны, когда мы обеднели, мама постепенно отреклась от всяких женских ухищрений. В тридцать пять лет она постановила, что молодость прошла, что у нее подросли дети и что она должна жить только ради них. Она стала отказывать себе во всем, даже в услугах скромной деревенской служанки, и сама лет десять вела хозяйство — чтобы дети получили возможность кончить лицей и университет. Мне же она давала на книги всегда столько денег, сколько я просил. Позже я понял, что через меня она некоторым образом утоляла свое из юности идущее пристрастие к чтению. Она всегда любила читать, но после того как отца отправили с его полком в Молдову и она осталась с нами одна, свободного времени для чтения почти не выдавалось. Тем не менее она держала на столике у кровати несколько книг и никогда не засыпала, не открыв псалтырь, «Анну Каренину» или томик Эминеску.

* * *

Во все время моего детства и отрочества мамина семья была для меня целым миром, неистощимым на тайны, богатым сюрпризами. Во-первых, дома на бульваре Паке, комнаты разных стилей и эпох, от старозаветной, самой большой, которая была трапезной постоялого двора а после — корчмой: темная, с низким закопченным потолком, с шерстяными тканными дорожками на стенах, с запахом вина, керосина и овчины (дедушка еще носил кожух и кэчулу[7]), — до новых пристроек, солнечных, окнами на восток, обставленных новомодной уродливой мебелью, среди прочего и высокими кроватями с латунными сверкающими шишечками. Особенными были комнаты моих тетушек, сообщавшиеся с бывшей корчмой темным узким коридором. В ту осень 1914 года в трех комнатах жили пять тетушек, старшей было лет двадцать, младшей — десять. Там начинался другой мир — микрокосм из подушек и пуфиков, из корзин с шелковыми шарфами и лентами, из журналов с картинками, хорошеньких почтовых открыток, из самых разных книг, от классических учебников гимназии «Нотр-дам де Сион», по которым учились младшие, до романов Рэдулеску-Нигера, до «Декамерона» и романов-брошюр, принадлежавших девицам на выданье (скоро, правда, началась война, их братья ушли в Молдову, а старшая из сестер, Мэриоара, вышла замуж только в 1919 году).

Кроме того, был огромный старый погреб при корчме, заставленный винными бочками, кадушками с брынзой и соленьями, ведрами и еще множеством предметов, которые я пытался разгадать при дрожащем свете свечи, когда дедушка брал меня с собой за вином.

Во дворе были сараи и заброшенный амбар, и развалины конюшен, служащие теперь навесами. В одном углу я нашел кабриолет и каких только игр не затевал в нем и вокруг него. Вот только лошади к тому времени были уже проданы, а несколько лет спустя, во время войны, исчез и кабриолет.

Не меньший трепет вызывала у меня сама история маминой семьи, полная тайн и умолчаний. Первым открытием было то, что у меня оказался еще один дедушка, мамин приемный отец, которого звали Большой дядя. Мама была урожденная Василеску, но, когда ее удочерил Большой дядя, она сменила фамилию на Стоенеску. Этот дядя, я думаю, был родным или сводным братом моей бабушки. Подробностей его жизни я не знаю: когда мы переехали в Бухарест, почти вся семья с ним уже рассорилась. Знаю только, что по его настоянию мама окончила гимназию «Нотр-дам де Сион» и что дом на улице Мелодии подарил ей тоже он. Из-за чего вышла ссора, не знаю. Может быть, из-за того, что Большой дядя под старость женился, жена была очень смуглая, худая и с большой бородавкой над верхней губой. Мамина семья считала ее в некотором роде цыганкой. Во всяком случае, никто из родственников, кроме моего отца, их не навещал. И то, вероятно, он шел туда ради того, чтобы сопровождать нас, детей. Раз или два в год мама одевала нас в парадные костюмы и говорила, что мы идем к Большому дяде. Я помню его смутно, потому что видел считанные разы, а в начале войны он умер. Он был совсем не похож на дедушку с бульвара Паке, хотя тоже был высокого роста и держался прямо. Глубокий старик, он одевался всегда франтовато, а дедушка носил широкие штаны, рубаху с распахнутым воротом и кожух и сморкался в огромные красные платки.

Другой тайной был род занятий маминых братьев. Тайну я скоро раскрыл: старшие, Митаке, Петрика и Нае, работали в скобяном магазине на Каля Мошилор, неподалеку от церкви Святого Георгия. Магазинище был огромный, выходил на две улицы. Когда бы я туда ни являлся, там вечно разгружали или нагружали грузовики, таская взад и вперед железо — листовое, прутья, бруски, ящики с гвоздями. На вывеске стояло: «Борэнеску и наследники». Я так никогда и не узнал, кто был этот Борэнеску, но под «наследниками» подразумевались мои старшие дяди. Митаке, невысокому и рыжеусому, было тогда лет тридцать. Потом он располнел, поскольку любил хорошую кухню, изысканные вина и бесконечное застолье с друзьями и лаутарами. С мамой у него были хорошие отношения, и, когда он вернулся из Молдовы, в 1918 году, то поселился у нас, на улице Мелодии, и прожил с нами лет двенадцать, до своей женитьбы. Но в женатых дядя Митаке ходил недолго и в 1935 году снова съехался с моими родителями — они тогда уже перебрались в маленький домик.

Перед дядей Митаке я в неоплатном долгу. Все мои лицейские годы он был для меня другом и меценатом, а когда я собрался в Индию, дал мне денег на дорогу. До 1916 года он был богатым человеком. Война, а после железоделательный трест постепенно его разорили. Впрочем, та же судьба выпала и всей нашей семье. Отец, вернувшись из Молдовы и переодевшись в цивильное платье, понял, что на капитанскую пенсию не сможет дать трем детям образование. К счастью, у нас остался дом на улице Мелодии. Мы вскоре отдали весь низ внаем, а сами переселились в две комнатушки на мансарде. Это произошло в 1919 году, когда мне было двенадцать лет. Вообще-то мы были привычные — мы так уже жили, мама и нас трое, когда Бухарест оккупировали австро-германские войска и наш дом реквизировали. Эта мансарда сыграла решающую роль в моей жизни. Мне не представить себя, каким я вырос, каков я и сейчас, без этих двух низеньких каморок с беленными стенами и маленькими окошечками (одно круглое, как иллюминатор), с кирпичной печью, совершенно особенной, потому что всем корпусом она располагалась в одной комнате, а устьем выходила в другую. Великой удачей моего отрочества и моей юности было то, что я прожил там двенадцать лет и, главное, что последние пять-шесть лет прожил там один.

Глава 2
Война для девятилетнего

Дом номер один по улице Мелодии снесли году в тридцать четвертом — тридцать пятом, а на его месте построили пятиэтажную махину. Дом с садом выходил на три улицы: Мелодии, Домницы и Кэлэраш. Главные ворота были со стороны Мелодии. Вы попадали на мощенный камнем двор; справа был сад, слева — каменное крыльцо под стеклянной маркизой веером. Но это был парадный вход: во время войны — для расквартированных у нас австро-германских офицеров, а после войны — для жильцов. Мы, вся семья и наши друзья, пользовались дверью поскромнее, ведущей в коридор-галерею. Там по левую руку шли ванная, кухня, комнатка, которая впоследствии стала родительской спальней, и столовая. Последняя смыкалась уже с новым крылом дома, которое вмещало обширную гостиную, кабинет, комнату для гостей и две большие спальни. Дверь справа вела из коридора в отдельные апартаменты: просторную квадратную комнату и ванную. Там жил дядя Митаке.

Два крыла нашего дома сходились под прямым углом, а сад был необыкновенно большой для этого квартала, располагавшегося всего в нескольких сотнях метров от статуи Росетти. Сад окружала низкая цементная ограда с железными пиками решетки. В самом дальнем его конце, там, где пересекались улицы Мелодии и Домницы, высокие, как деревья, и густые кусты сирени образовывали род боскета. Занавес отгораживал скамью, железные стулья и стол.

Когда мы обосновались на улице Мелодии, там еще шли ремонтные работы. В новом крыле белили стены, а в столовой меняли паркет. Возвращаясь из школы, я всегда заставал что-то новенькое: то свежую побелку еще в одной комнате, то разгруженную во дворе мебель, то пустые сундуки и ящики, готовые к спуску в погреб. Здесь у нас было два погреба, один — под новым крылом — глубокий, со слоем песка на полу, разбитый на несколько клетей. В первых трех хранились дрова, уголь, бочонки с вином и соленьями. Но в той, что за ними, самой дальней, начинал дрожать и тут же гас огонек свечи — область тайн и страхов, которую я изучил подробно только много лет спустя.

Другой погреб, разделенный надвое, правильнее назвать подвалом. Часть его, с цементным полом, служила для стирки, но позже я устроил в ней лабораторию. Там стояла цинковая ванна, к которой была проведена холодная вода. Иной раз, когда мансарда, где я жил старшеклассником, накалялась от послеполуденного летнего солнца, я спускался туда — окунуться на несколько секунд в ледяную воду, будто в озеро где-то в горной пещере.

Смутно помню комнату, служившую нам спальней почти два года, пока мы не перебрались в мансарду. Она была из тех больших, светлых комнат, окнами на улицу Кэлэраш, куда потом вселился офицер-буковинец из австрийской армии. Мне запомнился только запах свежей побелки и сильное солнце, будившее нас по утрам.

Я перешел уже во второй класс начальной школы на улице Мынтуляса. Внушительное школьное здание сторожили каштаны, а на широком заднем дворе мы играли на переменках. У директора был горбатый сын, студент-медик, мы с ним часто встречались на подходе к школе. Он первый заметил мою близорукость и попытался меня научить, как читать, чтобы не уставали глаза. Отлученный от отцовской библиотеки, я по-прежнему читал что под руку попадется. Но постепенно охладевал к чтению. Было столько всякого разного вокруг! Мимо нас ходила конка. Отправляясь от статуи Росетти, она прямо перед нашим домом, у поворота на улицу Кэлэраш, замедляла ход. Мы с Нику, а после и с моими ровесниками, стояли, как пай-мальчики, у ворот, делая вид, что заняты разговором. Но стоило конке повернуть за угол, мы броском прицеплялись сзади, хоронясь от кондуктора. На всякий случай мы не надевали картузов, чтобы кондуктор не мог их конфисковать.

Много лет я не знал ничего слаще этой забавы. Я приобрел отличную сноровку и даже научился на ходу вскакивать на буфер настоящего электрического трамвая номер 14. Так, на буфере, я катался от статуи Росетти до статуи Брэтиану и обратно. Иногда кондуктор все же меня ловил и надирал уши, но я с гордостью подвергал себя этому риску. Только раз я испытал чувство вины и унижения — когда мама вернулась домой печальная, расстроенная и сказала: «Со мной рядом в трамвае ехали два господина, и вдруг я слышу, один говорит другому: вон капитановы шалопаи... Стыд какой», — добавила она, вздыхая.

Это случилось уже тогда, когда отца перевели с полком в Молдову. Помню, как на душе заскребли кошки. Я предпочел бы любое другое наказание. Но прошло немного дней, все позабылось, и я вернулся к любимой игре.

За те два года, что отец прожил с нами в Бухаресте, он успел открыть во мне, кроме таланта пианиста, который считал выдающимся, еще и бесподобный голос. Он без конца приносил мне романсы,

дойны и арии из оперетт, а я их разучивал, сам себе аккомпанируя на пианино. В полном восторге от моего сопрано, отец решил, что мне надо брать уроки бельканто. Не знаю, к какому профессору он обратился, но домой вернулся обескураженный. Маэстро посоветовал подождать и привести меня к нему лет в шестнадцать — семнадцать, когда пройдет ломка голоса.

В те годы отцу — да и мне, чего греха таить, — хотелось верить, что я стану великим пианистом. Он заставлял меня каждый день заниматься хотя бы час-другой, полагая, что так просто можно стать виртуозом. На самом деле, мои способности были довольно скромные. Задним числом я разобрался, что у меня был абсолютный слух (я различал фальшивую ноту, даже когда играл наш лицейский духовой оркестр из пятидесяти человек), довольно чувства и в избытке воображения. Чего мне категорически не хватало, так это памяти. Я по десять-пятнадцать раз повторял простую мелодию и все равно не мог сыграть ее по памяти без ошибок. Может, и еще серьезнее: я так никогда и не достиг техники настоящего пианиста. Мне недоставало терпения, и я всячески отлынивал от гамм. Разучив сонаты Бетховена, я тут же взялся за концерты Рахманинова и с тех пор завел привычку целыми часами просиживать за пианино, наигрывая вариации на какую-нибудь рахманиновскую мелодию.

Когда я изучил Рахманинова вдоль и поперек, я уже знал, что порядочного пианиста из меня не выйдет, но все равно не мог отказать себе в ежедневном музицировании, так велико было мое пристрастие к музыке. Я учился тогда уже в лицее имени Спиру Харета и выступал на всех лицейских вечерах, а однажды мы вдвоем с Нику даже дали настоящий концерт. Для моего отца это стало, по-моему, последним актом проявления родительской власти. Отец как раз недавно вернулся из Молдовы. Мой учитель музыки, человек очень мягкосердечный, поддался его энтузиазму и согласился подготовить меня к публичному концерту. Отец арендовал зал на Академическом бульваре, заказал печатные афиши и, поскольку только что вышел в отставку и располагал временем, сам занялся распространением билетов. Большую их часть, я думаю, купили родственники и бывшие товарищи отца, офицеры. Тем не менее в день концерта зал все равно оказался наполовину пустым. В первом отделении мы с Нику сыграли несколько пьес в четыре руки, потом я — «Патетическую сонату». Я чувствовал, что у меня получается гораздо хуже, чем дома, и потерял уверенность в себе. Во втором отделении я играл просто из рук вон плохо и сгорал со стыда. Все же в нескольких газетных хрониках мелькнули слова о «многообещающем таланте».

Только в студенческие годы я осознал, что тратил время на музицирование в ущерб учебе. Я вступил в лихорадочный, до эксцессов дохо-

дящий период и всячески боролся за время, сводя к минимуму часы ночного сна. Кроме того, мне казалось, что я разбрасываюсь и что эти судорожные рывки в разные стороны могут стать для меня фатальными. Так я решил отказаться от музыки. Поначалу мне было трудно. Спускаясь с мансарды в гостиную, я кружил вокруг пианино. Иногда все-таки открывал крышку и играл одну-две *liede*. Со временем я начал отвыкать, тем более что вскоре на три месяца уехал в Италию. Лишь один раз, в Калькутте, в 29-ом или 30-ом году, я не смог удержаться: увидел пианино в пансионе г-жи Перрис на Рипон-стрит и тут же подсел к нему. Я играл несколько часов кряду — все, что помнил, и все, что мог сымпровизировать после перерыва в три-четыре месяца. Потом написал домой, чтобы мне прислали ноты моих любимых пьес. Но это в последний раз встрепенулся во мне пианист.

* * *

Мне нравилось в начальной школе на улице Мынтуляса. Там проходили то, что я уже знал, потому что за первую неделю занятий прочел весь учебник. Только осенью 1916 положение вещей изменилось. Я был в четвертом классе, и незадолго до начала учебного года Румыния вступила в войну. Как все, я отмечал трехцветными флажками на карте наступление румынских войск в Ардяле. Мои дяди были мобилизованы, но, за исключением самого младшего, все оставались в Бухаресте. Потом я узнал про разгром под Туртукаем. У нас как раз гостила знакомая из Чернаводэ, только что потерявшая мужа, полковника в отставке. Ее сын, новоиспеченный младший лейтенант, находился в туртукайском гарнизоне. И вдруг пришла весть о его гибели. Не помню, как она восприняла это известие. Пожив у нас еще несколько недель, она переехала на другую квартиру, но потом часто к нам приходила и непременно заговаривала о своем сыне, младшем лейтенанте. Она говорила: «Сейчас ему исполнилось бы двадцать четыре года... Сейчас он взял бы отпуск... Сейчас он нашел бы себе невесту, была бы помолвка... Сейчас его бы произвели в лейтенанты...» По ночам я слышал, как караульный кричал: «Гасить свет!» Однажды ночью зазвонили колокола Митрополии, а потом забухали пушки. Это летел цеппелин. Он заладил прилетать каждую ночь: лениво парил над столицей, ронял несколько бомб и ретировался за Дунай. Отец и дядя оставались в саду, надеясь увидеть, как его собьют из гаубицы. Раз они подняли посмотреть и нас, детей. В лучах прожекторов, сопровождающих его неспешное прохождение по небу, цеппелин был похож на огромную гаванскую сигару. Однажды распространился слух, что его задело снарядом и что он, весь в огне, упал на болгарском берегу Дуная.

Когда налетали немецкие аэропланы, мама заставляла нас спускаться в погреб. Сигнал подавали колокола Митрополии, потом к ним присоединялись колокола других церквей, совсем как в Пасхальную ночь. Аэропланы обычно прилетали на исходе утра, незадолго до обеда. Они появлялись в небе, как стая голубей, отливающих серебром на теплом сентябрьском солнце, за ними клубились белые облачка артиллерийских разрывов. Несколько батарей было установлено на пустыре за городской управой, неподалеку от статуи Брэтиану, примерно в километре от нашего дома. Мы слышали глухое, отрывистое буханье пушек и иногда — как осколки снарядов ударяют о крыши и о тротуары. Однажды меня послали в магазин на бульвар Брэтиану. Когда пробили тревогу, я поспешил домой, подхватив в охапку нагруженную кошелку. Но очень скоро вокруг стали падать осколки, и мне засвистел караульный. Я забежал в первый же подъезд. Там уже укрывались несколько прохожих. Время от времени кто-нибудь отваживался высунуться наружу, взглянуть на небо и сообщить всем, как обстоят дела. Вдруг раздался взрыв особенной силы, как будто бомба упала совсем рядом. Когда через полчаса я вернулся домой, я увидел, куда она попала: у одного дома на нашей улице Мелодии разнесло веранду. Несколько человек раненых и один убитый: осколком снаряда ему отрезало голову. На другой день мы с мамой пошли с ним проститься. Он лежал на столе, в цветах, голова была криво прибинтована к телу.

* * *

Приходили известия о все новых поражениях румынской армии, но я не сомневался в победе. Как всякий ученик начальных классов, я верил, что наша армия непобедима. Если и случались поражения, то я объяснял их ошибками генералов.

Отец приходил домой с каждым днем все мрачнее. Когда я узнал, что из города уехал дядя Костика, я понял: положение действительно серьезное. Дядя Митаке, который, будучи мобилизован, оказался шофером у полковника Сидери и считал, что располагает надежной информацией, ободрял нас, уверяя, что готовится решающее сражение. Если мы его выиграем, столица спасена. Отец поддакивал: под Бухарестом будут бои, и укрепления продержатся несколько дней даже в самом худшем случае.

Мы, мальчики, стали готовиться к осаде. Впрочем, уже не одну неделю у меня было ощущение, что я участвую в войне. В середине сентября нас собрали в школе, велели принести старые газеты, иголки и белые нитки. Какой-то молодой человек спросил нас, умеем ли мы шить, а потом объяснил, о чем идет речь. Скоро зима, сказал он, на-

шим солдатам понадобится теплая одежда. Доказано, что бумага держит тепло, надо шить бумажные рубахи. И он объяснил нам, как их кроить и шить. Первые дни кроил только он сам: брал по нескольку газет, выравнивал их и вырезал сверху полукруг для головы, а мы сшивали края (приходилось протыкать по пять-шесть газет, и дело шло плохо: иголки ломались, мы кололи пальцы, бумага рвалась). Потом два таких толстых слоя сшивались вместе, образуя своего рода телогрейку.

Я часто видел скаутов, у которых на рукаве была белая повязка с красным крестом — знак того, что они санитары. Я очень жалел, что мне не хватает лет и меня не могут взять в полевой госпиталь. Искушение было слишком велико, и я наконец не выдержал. Раздобыл кусок красного сукна, выкроил крест и пришил его на белую повязку. С этой повязкой на рукаве я иногда украдкой выходил на улицу. Мне казалось, что похожие смотрят на меня растроганно.

Раз я уже собрался выйти, когда у калитки остановилась машина. Из нее выскочил дядя Митаке и, не взглянув на меня, быстро вошел во двор. Скоро меня позвали. Лицо у мамы было заплаканное, но я сделал вид, что ничего не замечаю. Дядя поцеловал нас всех, подхватил чемодан и пошел к машине. «Пропащие мы», — сказал он напоследок, когда машина уже тронулась.

Отец отбыл на другой день, тоже поспешно. Мы до последней минуты надеялись, что он возьмет нас с собой в Молдову, об этом зашла речь, когда по Бухаресту расползлись первые слухи о бесчинствах болгар. К тому же я знал, что скауты готовятся к отступлению вместе с армией, и больше, чем когда бы то ни было, переживал, что мне еще не исполнилось десять лет (я слышал, что в скауты берут с десяти). Не помню, как прошло прощание с отцом. Я пытался настроить себя на печаль и подавленность, но в глубине души я гордился им, его полевой формой и револьвером на ремне. Денщик снес его походный сундук во двор и ждал подле. У ворот отец не преминул еще раз дать нам наставления, как себя вести.

Всю следующую ночь что-то громыхало и взрывалось. Небо то там, то тут багровело и вспыхивало. После мы узнали: это взлетали на воздух укрепления и арсенал. Ночь не шла, а волочилась, как неимоверная тяжесть. Однако наутро все выглядело, как прежде. В школе, правда, класс оказался полупустой, через полчаса вошел директор и велел нам расходиться по домам. Он сказал, что Бухарест капитулировал и что, вполне вероятно, завтра в него войдут войска неприятеля.

В тот же день караульный принес нам декрет за подписью примаря[8], где, среди прочего, предписывалось в двадцать четыре часа сдать в комиссариат оружие любого рода и объявлялось, что некоторые помещения подлежат реквизиции для расквартировки австро-герман-

ских войск. Мы долго держали совет: мама, мы и Лина, одна из маминых сестер, переехавшая к нам, — что делать с нашим охотничьим ружьем и со старыми пистолетами. Ружье мы решили припрятать, а от пистолетов избавиться. Поздно ночью, замирая от страха и восторга, мы выбросили их в канализационный люк.

На следующее утро в Бухарест стали входить австро-германские войска. Я застал момент, когда голова колонны поравнялась со статуей Росетти. На больших белых конях не спеша ехал полк улан — копья засунуты концами в голенища сапог. С усталой улыбкой уланы смотрели на стайку детей и любопытных у обочины мостовой. Мне показалось или я на самом деле увидел, как какая-то девочка шагнула вперед и протянула им букет цветов? Недоумение, я почувствовал, волной прошло по толпе.

— Наверное, немка, — шепотом сказал кто-то. Было слышно, как тяжело ударяют о камень копыта, разбивая тишину бульвара. Когда всадники прошествовали, настал черед баварских батальонов, а я возвратился домой.

В тот же день я открыл, что могу находить утешение и что даже могу мстить. Произошло это так. Я представил себе, что на кукурузном поле, на окраине Бухареста укрылись несколько румынских солдат. Сначала у них почти не было оружия: так, один карабин, пара штыков и револьвер. Но почти сразу я отверг эту картинку и вооружил их до зубов. Было их всего трое-четверо — солдаты и офицер. Однако присмотревшись, я обнаружил, что на том же поле среди кукурузы порознь скрываются и другие. Я стал сколачивать из них отряд. Я лежал на кровати, щурясь и не очень хорошо разбираясь в том, что со мной происходит, откуда хлещет это тайное, с привкусом вины счастье. Меня словно пришпиливало к собственным видениям, привязывало невидимой ниткой, и когда мама звала, я ощущал, как нитка рвется. Я выпадал в обычный мир, волнение от того, что я видел, оставалось, но дрожь блаженства проходила.

И в тот же день я научился возобновлять связь со своим потайным войском. Довольно было остаться одному — в комнате, в погребе, на чердаке — и вызвать в памяти изначальное поле. Я дожидался, пока заколышутся первые кукурузные початки, и картинка тут же оживала. Я находил все новых и новых солдат, которые крадучись пробирались к месту концентрации. К вечеру там собралось около сотни бойцов, вооруженных один лучше другого. Тот, кто вначале был младшим лейтенантом, теперь оказался капитаном и получил подмогу: нескольких молодых офицеров рангом пониже. Одному из них была известна очень важная тайна (от этой вести у меня замерло сердце). Арсенал не весь взлетел на воздух, как мы считали. В последний момент один лейтенант умудрился спасти в огромном подземе-

лье, о котором знал только он, целый склад карабинов, пулеметов и — тут сердце у меня забилось с удвоенной силой — даже походные пушки со всем необходимым снаряжением.

Меня так взбудоражило это открытие, что я был вынужден прерваться, чтобы прийти в себя. Я чувствовал, что посвящен в тайну, которая может изменить ход войны. Конечно, я знал, что все происходит в моей голове, что эта секретная армия вышла с того кукурузного поля, которое — по крайней мере, поначалу — я сам и придумал. Но, с другой стороны, у меня было ощущение, что не я хозяин своих видений. Ведь я не выдумывал, я *видел*, что происходит, на каком-то внутреннем экранчике. Иногда события, сопровождавшие рост и упорядочение моей секретной армии, принимали совершенно неожиданный для меня оборот. Не я же открыл, что арсенал уцелел, — это мне сказал один из моих лейтенантов. Все, что я после узнал о нем и его семье, тоже рассказал мне он сам.

Раз от раза история обрастала подробностями и видоизменялась. Я с волнением следил, как она разворачивалась, — с тем большим волнением, что она придумывалась сама, иной раз неожиданно для меня и помимо моей воли. Сначала мои солдаты нападали только на часовых и на мелкие взводы немцев, чтобы заполучить ружья и патроны. Но очень скоро их тактика переменилась. Перестав разменяться на мелочи, секретная армия занялась собственным формированием (оснащаясь из подземельного арсенала) и, уйдя в леса, начала готовить контрнаступление.

Несколько дней я пропадал в этом мире. Где-то на краю сознания плакала мама, пряча лицо в ладони, караульный приводил австрийского унтер-офицера с толмачом посмотреть реквизированные комнаты. Но ничто, даже слухи о нашем разгроме, не могло меня пронять. Я искал только случая спрятаться и отдаться созерцанию своей секретной армии. В конце концов, примерно через неделю после того как первые уланы прошли мимо статуи Росетти, я не выдержал. В мгновение ока отряды, роты, полки, которые я целыми днями лелеял, собирал и группировал, внезапным ударом напали на вражеские войска. Стоило мне заслышать первый гром орудий, увидеть первые шеренги, лавиной двинувшиеся в штыковую атаку, как я потерял то относительное самообладание, с каким до тех пор наблюдал за приготовлениями к бою. Задыхаясь, я шепотом повторял: «Огонь! В атаку! Вперед! Огонь!..» Это были команды, которые отдавали мои командиры. Не в силах оставаться на одном месте, я выбрался из укрытия и принялся расхаживать по тротуару, опустив глаза вниз, чтобы не расставаться с видением. Уже давно пали уланы и баварцы, прошедшие передо мной на бульваре, настал черед австро-венгерских и болгарских частей. Я не мог остановиться. И все же я знал, что ос-

тановиться должен — чтобы оповестить настоящие румынские войска, отходящие к Молдове, о наших победах в тылу. Только так я мог их спасти, сдержать отступление. Когда две румынские армии — настоящая и секретная — встретятся, война пойдет по другому руслу.

Моя военная кампания длилась много месяцев. Я не прерывал ее ни на день. Обычно я устраивал стычки между патрулями или отрядами, потому что мне нравилось растягивать подольше приготовление к атаке. Иногда я не без торжественности объявлял сам себе день и час атаки. За несколько часов до нее я находил укромное место и смаковал каждый жест моих командиров. Атака всегда заставала неприятеля врасплох.

Мой брат довольно скоро заметил, что со мной что-то происходит, и стал приставать с расспросами. Мне было трудно объяснить ему, что и как. Я сказал, что это я пишу роман о войне. В самом деле, примерно через неделю после того, как я в первый раз увидел кукурузное поле, на котором прятались солдаты, я стал описывать происходящее в тетрадке. На мое огорчение, перо не поспевало за событиями, разворачивающимися на внутреннем экране, и скоро судорожная радость, с какой я начинал первые строки, рассеялась. Я очнулся — обескураженный, потеряв всякую охоту писать. Чары рассеялись, и безразлично, как посторонний, я смотрел теперь на тетрадь, где едва была исписана одна страница.

Я не знал тогда, что подступаюсь к моим первым писательским опытам.

* * *

В тот год и осень была какая-то особо суровая: долгий, бесконечный ноябрь. Мы чуть ли не обрадовались, когда выпал первый снег. Тогда у нас расквартировались: немецкий офицер, а вообще-то банкир из Гамбурга, и лейтенант из австрийской армии, буковинец. Обоим было за пятьдесят, и они меньше всего напоминали военных. Банкир изъяснялся по-французски, был ярым филателистом и вечно курил сигары. Что касается буковинца, то я помню, как удивился, когда пришел из школы и застал у нас в столовой австрийского офицера, говорящего по-румынски. До них к нам подселяли, всего на несколько дней, трех немецких офицеров. Они вели себя так корректно и тихо, что их было не видно-не слышно, но одно их присутствие нас парализовало. Мы все перебрались в мансарду, с бульвара Паке к нам переехала еще одна тетя, Мариора. Когда в первое утро мы вшестером: мама, дети и две тети, — спустились заглянуть в реквизированные комнаты, то нашли все в точности таким же, как оставили, вплоть до безупречно застеленных кроватей. Только запах ваксы и табака гово-

рил о том, что здесь ночевали офицеры вражеской армии. Банкир и буковинец были такими же аккуратными. Но ко всему — еще и милыми, дружелюбными, они старались нам помочь (приносили сахар, кофе, сухари). Буковинец учил нас патриотическим стихам и рассказывал про Арона Пумнула[9]. Он прожил у нас до весны. Поскольку он был румын, мы не считали его офицером вражеской армии. Он хорошо знал латынь. Прощаясь, он отвел нас, мальчиков, в сторонку и сказал: «Я вернусь после войны посмотреть, выучили вы латынь или нет...». Но больше мы о нем никогда не слыхали.

Банкира из Гамбурга определили в нестроевую службу, и он прожил у нас около года. Это был полнотелый блондин, пахнущий одеколоном и дорогим табаком. Он чрезвычайно заботился о своих руках, без конца их рассматривал и полировал ногти малюсенькой щеточкой. Иногда по вечерам он позволял мне сесть рядом и показывал марки. Говорил он очень мало и исключительно по-французски. Когда я как-то пришел к нему за помощью, перевести что-то с немецкого, он, раскрыв тетрадку, воскликнул с негодованием: «*Mais, c'est de l'allemand, ça!*».

Зимой оккупация заявила о себе по-настоящему. Стало плохо с дровами. В хлеб добавляли кукурузную муку, а очереди у булочных выстраивались с четырех утра. Мама будила Нику, выдавала ему три пары носков и толстые ботинки, потому что лежал снег и каждую ночь мороз делался все немилосерднее. В толстом свитере и шапке Нику спускался по деревянной лестнице с мансарды (только тогда меня будил стук его башмаков), отпирал цепочку на калитке, разгребал лопатой снег, если она не открывалась, и шел в булочную. Мама ставила в печку, на горячие угли, кипятить воду для чая, потом помогала нам с Кориной умыться. Булочная открывалась только в шесть. Если Нику приходил туда вовремя, то есть до пяти, он оказывался в числе первых и возвращался с хлебом к половине седьмого. Попив чаю, мы вместе с двумя тетушками выходили расчищать снег перед домом, чтобы не платить штраф. Наконец, надев ранцы, мы шли в школу.

В тот год я учился кое-как. Я был в четвертом классе начальной школы, а Нику перешел в лицей, и я увлекся новыми предметами, которые там проходили. Особенно меня захватывали зоология и античная история. В школе на улице Мынтуляса я по-прежнему был отличником, но больше в силу инерции; и я сам, и директор, и мама чувствовали: что-то изменилось. Я охладел к занятиям, сочинения писал без прежнего удовольствия и усердия, и мой балл по поведению падал все ниже. Я вырвался из-под отцовского контроля и нашел вкус в уличной жизни. В первую осень мы облюбовали пустырь на Каля Кэлэраш, где играли в «жандармы-разбойники», — тут верховодили подмастерья сапожника, которые учили нас всевозможным уловкам

(например, как незаметно, мелом на стенах, оставлять за собой тайные следы). Потом, вместе с одной ватагой шпаны, мы освоили задворки церкви Святого Георгия, полузаброшенный двор, где хорошо было прятаться. А когда наступила зима, снова стали сходиться на пустыре и играть в снежки. Я возвращался домой к вечеру, промокший, грязный, рваный. Сначала мама не особенно беспокоилась. Она знала, что я играю с ребятами, и была даже довольна, что ей, по крайней мере, не надо следить, чтобы я не утомлял глаза чтением. Отец, среди прочих, дал ей и такой наказ. Потом, когда сугробы выросли в человеческий рост, мои приятели стали появляться на пустыре с санками. По большей части их сколачивали из ящиков, но кое у кого были и настоящие, с блестящими, как коньки, полозьями. Я оказался среди тех немногих, у кого санок не было, и чего только не придумывал, чтобы одолжить их на несколько часов, а лучше на целый день. Обычно я платил за наем пуговицами, шариками или свинцовыми солдатиками.

Однажды морозным утром, когда школа закрылась, потому что кончились дрова, мы всей ватагой отправились кататься на санках с митрополийского холма. От статуи Росетти до Митрополии — путь порядочный, но мы бежали взапуски, так что добрались скоро. Оттуда, с холма, была видна вся долина, Валя Плынжерий, но не похожая сама на себя, потому что весь мусор и всю падаль, трупики собак и кошек, похоронил под собой глубокий снег. С высоты, от парапета, в долину вел теперь самый настоящий лыжный спуск. Мы не осмеливались съезжать по нему на санках, а довольствовались катанием от звонницы по длинной, чуть извилистой улочке, пустынной об эту пору, упирающейся в улицу Воеводы Шербана. Съехав вниз, мы взваливали санки на спину и шли в гору по краю дороги, прямо по сугробам, чтобы нас не сбили товарищи, вихрем катившие навстречу. Через несколько часов у меня начался зуд в ступнях, и, поскольку почесаться я не мог, то стал легонько притоптывать башмаками. Но зуд сделался невыносимым, и тогда я принялся скакать то на одной ноге, то на другой, налегая на них всей своей тяжестью.

Я притащился домой вечером, не чуя под собой ног, без сил, умирая с голоду. Мама приготовила мне примерное наказание, но решила его отложить — такой у меня был плачевный вид. Когда я разулся, стало ясно, что ноги у меня отморожены. Кожа полопалась и кое-где содралась прямо с носками, пальцы были лиловые, а когда я подошел к печке, зуд возобновился с такой яростной силой, что тетушкам пришлось по очереди держать меня за руки, иначе я расчесал бы себя в кровь. Наш семейный доктор был стар и жил довольно далеко. Мама недавно заметила чью-то новую табличку совсем близко от нас, на бульваре Домницы. Она наскоро оделась и привела молоденькую

докторшу по фамилии Бутту. Докторша только что защитила диссертацию и работала в больнице Колця. При виде моих ног она нахмурилась. Попросила принести таз со снегом, встала передо мной на колени и принялась за растирание. Я стонал от боли, но она продолжала процедуру, пока пальцы не стали кровоточить. Наутро ту же процедуру проделала мама. Мне запретили приближаться к печке и уложили в постель с забинтованными ногами. Кто-то из домашних всегда был при мне, чтобы я ненароком не стал чесаться или не полез к печке.

Я не ходил в школу несколько недель. Мне повезло — ни одного пальца не ампутировали, но всю зиму непременное растирание снегом по утрам было для меня мукой, и еще много лет зуд в ногах возобновлялся, когда я зимой попадал в жарко натопленную комнату.

Так меня отвадило от катания на санках и, может быть, потому же меня впредь никогда больше не прельщали зимние виды спорта.

* * *

Я никак не мог дождаться конца той зимы... Даже в марте сугробы еще лежали в саду. Не помню, через кого мы получили под Пасху весточку от отца. Он благополучно прибыл в Молдову, но не писал, ни где находится, ни что делает. Хлеб был все хуже и все желтее из-за кукурузной муки. Но свежий и с топленым салом он казался нам вкусным. В годы оккупации нам приходилось соблюдать самые долгие посты. Неделями мы сидели на фасоли, соленьях и картошке. Для каждого находилась работа на кухне. Мне нравилось жарить картошку. Я наловчился резать ее и переворачивать так, чтобы подрумянить, не пережарив. Изредка дедушка с бабушкой давали маме знать, что кто-то тайком заколол свинью, и тогда мы все отправлялись на бульвар Паке, чтобы незаметно переправить домой сало, свиную шкуру, а бывало что и большой кусок мяса.

Все же в конце концов и в тот год наступила весна. Раз утром в нашем саду расцвела груша. По всему пути от улицы Мелодии до школы абрикосы и черешни стояли в цвету. После обеда мне не сиделось дома. Я вернулся на пустырь, к нашим играм. Увлекся ойной[10] и, несмотря на близорукость, быстро приобрел сноровку: стоял в защите лучше, чем кое-кто из старших, и бил мячом почти без промаха.

В тот год праздник 10 мая[11] оккупационные власти запретили. Мы были обязаны явиться в школу. Директор предупредил нас, что, по распоряжению военных властей, будет приниматься в оправдание неявка только по болезни и только с медицинской справкой.

10 мая должно было пройти, как обычный будний день. Но я и сейчас помню мрачное, напряженное лицо учителя, когда он вынул из кармана книжечку и подозвал мальчика, который лучше всех чи-

тал стихи. «Вы уже большие, — понизив голос, сказал он, — и умеете хранить тайну». Открыл книжку на закладке и дал ее нашему чтецу со словами: «Ступай во двор и выучи наизусть».

Прошло, наверное, не более четверти часа, но нам они показались вечностью. Учитель стоял за кафедрой, глядя в никуда. В классе было слышно только, как жужжат пчелы на верхних фрамугах окон, пытаясь сквозь стекло пробиться в сад. Наконец, ученик появился, подошел к кафедре и начал торжественно декламировать стихотворение. Чего бы я не дал за то, чтобы вспомнить, какое. Это точно не было дежурное стихотворение к 10 мая и не какое-то из патриотических, потому что в противном случае его знал бы весь класс. Скорее всего, это был Октавиан Гога или Шт. О. Иосиф. Все, что осталось в памяти: наш молчаливый восторг и слезы гордой радости. Мы улавливали намеки поэта на то, что румыны выйдут победителями и на сей раз.

После того как наш товарищ кончил читать, учитель потрепал его по щеке и, повернувшись к нам, сказал с улыбкой: «Посидите смирно еще четверть часа, потом расходитесь по домам».

* * *

То, что я не плохой мальчик, подтвердили мои слезы по прочтении «*Cuore*»[12]; я еще раз убедился, что люблю свою страну и свою семью (особенно маму); более того, я понял, что и школу я тоже люблю. Но как трудно было держать все это в голове, когда я оказывался на улице! Столько трамваев, к которым можно прицепиться, столько тротуаров, которые уводят тебя все дальше и дальше, но не дают заблудиться. А пустырь, а сады на бульваре Паке! В то лето 1917 года мама перестала со мной справляться. Она испробовала все средства: порола бамбуковыми розгами (отец предпочитал ремень), отбирала башмаки, чтобы я не мог выйти на улицу (а мне даже нравилось бегать босиком по горячим тротуарам), запирала в комнате (а я ухитрялся выпрыгивать в окно). В конце концов, мама открыла единственное средство, способное спасти меня от улицы,— выдать мне книжку. Но и это средство было не без изъяна, потому что до вечера, самое большее — до полуночи, — я прочитывал любую книжку, мама просто не могла на меня напастись. Кроме того, она постоянно помнила отцовский наказ: следить, чтобы я не утомлял глаза. Сюда добавлялись и другие предрассудки: что я еще мал, а чрезмерность в чтении «истощает нервы» (выражение одной из тетушек). Одно время я думал найти союзницу в лице нашей докторши Бутту. Но и она разделяла те же мнения: мозг-де не стоит утомлять «в процессе роста», ему якобы хватает пищи, доставляемой школьными учебниками и уроками музыки.

Я искал утешения на пустырях. Настало лето, я кончил начальную школу и до вступительного экзамена в лицей, который предстоял мне в сентябре, был совершенно свободен. Мы снова играли в ойну то на кэлэрашском пустыре, то на пустыре за управой, где годом раньше стояли зенитные пушки. На этом огромном пустом пространстве за статуей Брэтиану лежали каменные плиты, предназначенные для строительства нового здания филологического факультета. Строительство прервала война, но в разветвленную сеть подвалов, куда ссыпали множество телег песка, где хранились кирпичи и мешки с известью, я проник вскоре после поступления в лицей. Многие годы это заброшенное подземелье, его шаткие деревянные конструкции, между которыми шмыгали крысы, было одним из моих тайных миров. С горсткой новых товарищей по лицею мы, заходясь от волнения, обследовали его, пока не попали в облаву на бродяжек, устроенную полицией.

Не помню, каким образом мы узнали, в конце лета, о румынских победах при Мэрэшти и Мэрэшешти. Несколько дней ходили слухи о стремительном продвижении на Рымнику-Сэрат какой-то отличившейся дивизии. Пробужденный нашими победами, я попытался бросить в бой свою секретную армию. Но что-то было не так. Вида изначального поля теперь не хватало, чтобы за считанные дни сотворить силы, способные взять в кольцо отступающие немецкие дивизии. Я переменил декорации: румынские отряды провели всю зиму 1917 года в горах, укрываясь в пещерах и лесах, нападая в ночное время на немецкие военные склады. Но у меня было столько других дел! Вскоре мы узнали о том, что наступление окончательно прекратилось из-за распада русской армии. До нас доходили вести, что в тылу наши сдают и поджигают села и целыми дивизиями направляются к России.

А потом, одним сентябрьским утром, я пошел в лицей Спиру Харета узнать результат вступительного экзамена и прочел свое имя в списке принятых. Я вернулся домой очень важный — сообщить новость маме. У меня было чувство, что произошло нечто решающее, что я готовлюсь начать новую жизнь.

Глава 3
Как я нашел философский камень

В лицее я поначалу был в восторге ото всего. Особенно мне нравилось, что по каждому предмету — свой учитель. С первого же урока меня покорил учитель естествознания, Николае Мойсеску, который оставался моим любимым учителем до самого конца — он умер несколько лет спустя. Высокий и на редкость сухощавый, он казался к тому же старше своих лет, потому что волосы и усы у него были совершенно белые. Говорил он тихо, замедленно, как будто экономил силы, неспешно прохаживаясь по рядам, приостанавливаясь, чтобы со вниманием заглянуть в глаза то одному, то другому ученику. После каждой фразы следовала улыбка — как точка и разделительная пауза. Изложению помогали широкие плавные жесты, и я понимал тогда, до чего искусно научился он дозировать ту энергию, которая была отпущена ему так скупо.

У него был обычай приносить в класс микроскоп и вызывать нас по очереди смотреть в него, а потом рисовать на доске, что мы увидели. Редко кому удавалось хотя бы приблизительно изобразить причудливые, радужные, кораллоподобные формы, которые проявлялись, размывались, исчезали и возникали снова при легких поворотах винта. Учитель выделил меня, я думаю, потому, что мне, среди немногих, удавалось зарисовать увиденное. С тех пор я был все время в поле его зрения. Он то и дело заглядывал мне в глаза, как будто сверялся с моим мнением, и часто спрашивал. Мало-помалу оказалось, что я уже понимаю некоторые тайны. Речь шла о тайнах той удивительной силы, которую Мойсеску называл *натурой*. Я понимал, почему крылышки у лесной бабочки — цвета древесной коры, зачем ежу колючки, отчего самцы многих птиц одеты нарядней самок. Все это устроила *натура*, заботясь об их камуфляже, защите, естественном отборе. Существовали, стало быть, какие-то законы, которые ты мог расшифровать, — и тогда все на свете приобретало смысл и толк. Мир больше не выглядел простым скоплением живых существ и бессвязных случайностей — он оказывался плодом единой и неукротимой воли. *Натура*, образ которой давали уроки Мойсеску, была оду-

хотворена одним порывом: творить и сохранять жизнь несмотря ни на какие препятствия, ни на какие катастрофы.

В ту зиму я узнал, что такое инстинкт самосохранения индивида и рода. Но, что еще важнее, я научился любить и распознавать разную живность, особенно пресмыкающихся, земноводных и насекомых. Николае Мойсеску показывал их нам на цветных таблицах, в виде чучел или в инсектарии, законсервированными в баночках со спиртом. Потом мы всем классом ходили смотреть на них в музей естественных наук на Шоссе, после чего я всю зиму начинал воскресенья с похода в музей. И с каким нетерпением ждал я весны, чтобы можно было наконец отправиться за насекомыми в окрестные леса...

Может быть, эта страсть к природоведению меня и спасла, помогла мне пережить кризис, в который я вступил, почти того не осознавая, и которым я был обязан не только переходному возрасту. Кроме зоологии, меня не интересовало ничего. Уроков я не делал, все свободное время пропадал на пустыре за управой и в университетских подземельях. Водился все с той же уличной шпаной, а из товарищей по лицею — только с отъявленными лодырями и сорви-головами. Зато как только сошел снег, мне удалось подбить их на походы в рощи у Шоссе — за разными растениями и насекомыми. А в мае 1918 года мы по воскресеньям спозаранку стали уходить к монастырям близ Бухареста. Я возвращался чуть ли не за полночь, усталый, пропыленный, обгоревший, с полными коробками насекомых, с ящерицами, лягушками и тритонами в банках. Из ящика, накрыв его стеклом, я сделал террариум и целыми часами наблюдал тихое, угрюмое копошение всевозможных жуков, гусениц и ящериц. Я строил планы летних экскурсий: как мы дойдем берегом Дымбовицы до Дуная, а там можно будет исследовать болота, тину, богатую личинками насекомых.

Этим мечтам положили конец неожиданные итоги года. Я с возмущением узнал, что мне назначена переэкзаменовка по трем предметам: по румынскому, французскому и немецкому. За три «неуда» оставляли на второй год. Но Мойсеску постарался, чтобы мне, его лучшему ученику, дали возможность исправить отметки. Я был глубоко оскорблен, когда увидел свое имя в списке отстающих. За немецкий, это правда, я несколько опасался. Вообще его полагалось вводить со второго класса, но оккупационные власти ввели свой язык с первого, и поэтому весь наш класс саботировал уроки немецкого, как только мог. Вот что меня просто потрясло — так это то, что меня зачислили в отстающие по французскому, и паче того — по румынскому. Учителем французского у нас был Иосиф Фролло. В моих похвалах он не нуждается — его знало не одно поколение лицеистов. Однако он питал слабость к грамматике, а я в то время считал грамматику дисциплиной бессмысленной и бесполезной, словно нарочно придуманной

для того, чтобы помешать ученику наслаждаться переводимым текстом. Фролло был доволен моими познаниями, но предупредил, что я не перейду в следующий класс, если не вызубрю на зубок все спряжения. Мне казалось, он шутит, потому что, по своему обыкновению, он проговаривал даже угрозу весьма ласково, глядя тебе в глаза и улыбаясь. Тем не менее слово свое он сдержал, что повлекло за собой просто-напросто полный разрыв между нами. Я больше никогда не подпускал его к себе. По прошествии нескольких лет, когда я по-настоящему налег на чтение и заставлял себя перемалывать полные собрания сочинений французских авторов, которых мы проходили, Иосиф Фролло не раз пытался меня направить, дать мне совет. Я неизменно выслушивал его с агрессивной улыбкой и продолжал читать то, что выбирал по своему усмотрению.

Фролло скоро понял, что творится в голове подростка, уязвленного и склонного к анархии, и оставил меня в покое. Но и у него был утонченный способ мести. Когда на высшей ступени[13] речь заходила о том или ином писателе и Фролло знал наверное, что я его читал, потому что я нарочно притаскивал с собой полные собрания сочинений и вызывающе выкладывал их на парту, время от времени демонстративно перелистывая, — так вот, Фролло задавал классу вопросы, на которые, по моему мнению, я мог бы ответить лучше, чем кто-либо другой, но никогда не вызывал меня, хотя я поднимал палец. В конце концов я перестал поднимать палец и слушал с иронической ухмылкой, как другие, запинаясь, порют чушь про «Федру» или «Генриаду». Лишь раз сошел Фролло с кафедры, чтобы взглянуть на книги, которые я демонстративно выложил на парту. Он рассказывал нам о «Пор-Рояле»[14], а я принес «Письма к провинциалу»[15] и все книги о Паскале, которые нашел в библиотеке. Он полистал их с улыбкой и похлопал меня по плечу. Но и тогда не задал мне вопроса, чтобы я мог показать, насколько больше я знаю, чем остальные.

Переэкзаменовку по румынскому я счел величайшей несправедливостью. Положим, я действительно ничего не учил. Но зачем мне было что-то учить, если учебник по румынскому языку я прочел еще до поступления в лицей? Точно так же я был убежден, что читаю и пишу лучше всех в классе. Однако учитель румынского языка Д. Нанул был тогда одновременно директором лицея и знал про мою недисциплинированность и распущенность. Я часто сбегал с уроков, выпрыгивая в окно, чтобы поиграть в ойну на пустыре за управой; прогуливал и врал, что болел; вырывал листки из дневника, чтобы мама не увидела мои плохие отметки, а в школе притворялся, что забыл дневник дома или потерял. Д. Нанул, конечно, имел все основания оставить меня на второй год, он даже пытался убедить маму вообще забрать меня из лицея. Я был, по его выражению, «нежелатель-

ный элемент». Но мне казалось, что «неуд» по румынскому — это его личная месть, что на самом-то деле я заслуживаю похвальной грамоты или, по крайней мере, прилюдного упоминания.

Так в мою голову вкралась мысль, что меня преследуют, что и у директора, и у всех остальных учителей, за вычетом Мойсеску, есть свои любимчики, а других они травят, и главный отверженный — это я. Открытие глубоко меня ранило, но в то же время дало мне и своего рода сатисфакцию. Я стал думать, что я не такой, как все, что мне предопределено остаться на обочине общества, что пути, по которым идут другие, мне заказаны, а мне придется искать особый путь. При виде своего имени в списке отстающих первым моим порывом было уйти куда глаза глядят. Я побежал на Шоссе и много часов бродил, как в тумане, не чувствуя ни голода, ни усталости. Все же к вечеру я вернулся домой. Мама с трудом сдержала радость. Она уже знала от моего брата о трех моих переэкзаменовках и, поскольку я вовремя не пришел из школы, боялась, как бы я не сделал какую-нибудь глупость. Утешая меня, она сказала, что возьмет репетиторов по французскому и по немецкому.

В каком-то смысле переэкзаменовки сыграли мне на руку. В то лето мама, если видела меня с книжкой в руках, уже не напоминала, что мне нельзя утомлять глаза. Она считала, что я занимаюсь, готовлюсь к осенним экзаменам. Впервые с тех пор, как я себя помнил, я читал не таясь и без опаски. С другой стороны, убеждение, которое я сам для себя выстроил, — что меня «преследуют», — в моих собственных глазах не только окружало меня нимбом мученика, но и накладывало определенную ответственность. Как бы сильно ни манили меня ойна и игры на пустыре, теперь я чувствовал, что должен показать себя, чтобы не думали, будто я ни на что другое не годен. Мне казалось, что «все», то есть директор и некоторые учителя, за мной наблюдают. И я думал: вы считаете меня отпетым типом, вы уверены, что от меня нечего ждать. Погодите, я вам докажу!..

Вот только я никак не мог решить в то лето 1918 года, что именно я им докажу. Стану ли я великим зоологом, пианистом, доктором — или изобретателем, или следопытом, или расшифрую какой-нибудь мертвый язык? Я понимал одно: мне не бывать отличником, и из класса в класс я буду переползать еле-еле. В те летние дни, сидя за одной из трех грамматик, я угадал будущую черту своего характера: я был неспособен учить что бы то ни было по указке или так, как учат все люди, в соответствии со школьной программой. С первого до последнего класса лицея меня неизменно влекли к себе предметы, которых в том году не проходили, или дисциплины и авторы, которых в лицее не проходили вообще. Так, несколькими годами позже, увлекшись физикой и химией, я изучал химию, когда в программе сто-

яла физика, и наоборот. Иной раз для того чтобы охладеть к дисциплине, в которую я был влюблен, мне довольно было дождаться, пока настанет ее черед в обязательной программе. Так произошло с логикой, с психологией, с биологией. То, что я *должен* был учить, теряло для меня интерес, превращалось в рядовой «предмет» — предмет зубрежки для отличников. Ужас, который я испытывал пред дидактическими учебниками и программами, со временем приобрел драматические пропорции. И много лет спустя, когда я всерьез взялся за латынь и за математику, я не довольствовался учебниками, по которым учились все мои однокашники, а накупил себе у букинистов книг Мейе, Пуанкаре и Джино Лории и продирался сквозь них с неимоверными усилиями.

* * *

Не знаю, как мне удалось пройти осенние переэкзаменовки. Французские и немецкие склонения и спряжения я одолел. Но на устном румынском, в присутствии учителя Нанула, так растерялся, что на вопрос, какого рода слово «кровать», сказал: среднего. Вероятно, с письменными работами я справился лучше, потому что и Фролло, и Нанул мне их зачли. Оставалась одна переэкзаменовка по немецкому, когда учитель Пападопул объявил, что, поскольку немецкий положено учить только со второго класса, переэкзаменовка отменяется. Однако, добавил он, пронзая нас взглядом, от нас, бывших отстающих, будут ждать, что мы во втором классе как следует подтянемся.

Что касается меня, я его, увы, разочаровал. Немецкий принадлежал к числу кошмаров моего отрочества — не столько из-за трудности этого языка, сколько из-за того факта, что Пападопула на следующий год назначили директором лицея. Если я разбивал стекло, если меня застигали, когда я сбегал в окно с урока, или если раскрывалось, что я сам себе придумал уважительные причины для прогулов, всякий раз мне приходилось иметь дело с ним. Несмотря на все это, когда я был в четвертом классе, мы неожиданно помирились и впоследствии даже стали добрыми друзьями. Он раздал темы по истории литературы, и мне достался «Штурм унд Дранг». Каждому отводилось двадцать минут на доклад. Я день и ночь читал все монографии, какие только мог найти в библиотеке, и исписал целую тетрадь. Одно вступление заняло у меня целый час. Я начал с «Нибелунгов» и миннезингеров, выписав на доске все имена, заглавия и даты, которые счел важными. Все это я, разумеется, списал из учебников и монографий, но Пападопул с нескрываемым удовольствием освежил в памяти имена некоторых миннезингеров и второ-

степенных авторов, о которых явно не вспоминал с того момента, как получил лиценциат.

Я пошел во второй класс без особого энтузиазма. Но к концу октября распространились слухи о поражениях Центральных держав. Настроение у учителей поднималось с каждым днем, и на уроках они были несколько рассеянны. Однажды утром мы узнали, что Германия просит перемирия. По дороге в лицей я как-то незаметно для себя свернул на бульвар, к статуе Брэтиану. Навстречу попадались горланящие ватаги людей с флажками, румынскими и французскими, кое-кто в выцветшей, залатанной военной форме. Один молодой человек выкрикнул: «В комендатуру!» — и бросился бегом, увлекая за собой других. Я тоже побежал, придерживая одной рукой ранец на спине, чтобы не прыгал. Но до комендатуры мы не добежали. Неподалеку от больницы Колця натолкнулись на грозно шумящую толпу и остановились посмотреть, что происходит. Кто-то забрался на крышу дома и пытался водрузить там флаг. «Ремень сними, прикрути ремнем!» — советовали снизу. Рядом со мной захохотали, неистово захлопали в ладоши, кто-то сказал: «Он там портки потеряет, на крыше».

В тот же миг сверху грянуло: «Берегись!» И толпа раздалась. Из одного окна полетели на улицу какие-то шесты. Кто-то изнутри подносил их охапками, кричал «Берегись!» и бросал на тротуар. Сотни и сотни белых шестов, легких на вес, длиной около двух метров. Они казались мне тем ценнее, что я не понимал их назначения. Люди поспешно бросились их подбирать, размахивать ими над головой наподобие сабель. Пробившись сквозь толпу, я тоже ухватил один шест. «Это крепеж для палаток», — услышал я рядом. Тут же разлетелось вдребезги стекло другого окна, и я увидел двух человек, которые старались взгромоздить на подоконник большой мешок. «Разойдись, сыпем сахар!» — крикнул один из них, с силой тыча в мешок складным ножом.

На тротуар посыпался белый густой каскад сахарного песка, и люди снова сгрудились, наклоняясь, становясь на колени и собирая его пригоршнями в карманы, шляпы, носовые платки, а потом с руганью и проклятьями пробивали себе путь из толпы. «Берегись!» — то и дело раздавалось из других окон, и опорожнялись все новые мешки — с сахаром, с чечевицей, с мукой — прямо на тротуар. За несколько минут народ запрудил улицу, и незаметно в дело включились женщины, они подходили под разбитые окна и выбирались из толчеи, по-мужски раскорячась, бесстыдно задирая подолы, наполненные сахаром вперемежку с чечевицей и грязью.

Уже уходя домой с белым шестом под мышкой и с узелком сахара, сделанным из носового платка, я узнал, что разграбленное здание было складом немецкой войсковой хлебопекарни. Ее охранники ночью исчезли.

* * *

Отец вернулся из Молдовы вскоре после этого происшествия. В последние месяцы мы часто получали от него весточки и знали, что все наши остались живы, кроме Траяна, младшего маминого брата, который умер от сыпного тифа. В Молдове отец перевел свое жалованье в предметы первой необходимости: кожу для башмаков, сукно, холст, сало, муку, сухари. Несколько лет мы с Нику проходили в одинаковых серых доломанах, одинаковых кителях из темной и жесткой материи и в здоровенных ботинках. Я избавился от этих подарков, с трудом добытых отцом в Молдове, только на высшей ступени, когда всех учеников обязали носить форму и картуз с коричневой лентой, отличающей лицей Спиру Харета. Впрочем, в те годы, когда почти ничего нельзя было купить, все мальчики ходили в школу кто в чем. Почти каждый имел в костюме что-нибудь военное: фуражку, китель, гимнастерку или на худой конец обмотки от башмаков до колен.

Через несколько дней после перемирия нас стали созывать в школу на час раньше и задерживать на час-два после уроков: в срочном порядке надо было выучить гимны союзников. Почти все из нас знали «Марсельезу», но предстояло выучить «*God Save the King*» и «*It's a Long Way to Tipperary*», а также американский и итальянский гимны. Соловяну, наш учитель музыки, написал для нас на доске соответствующие тексты в транскрипции, а мы, кто как мог, старались их затвердить. Все надо было выучить спешно, поскольку триумфальный вход союзнических войск и частей генерала Франше д'Эспере из Салоников ожидался со дня на день. Хотя парад несколько раз переносили, но наконец нас созвали на рассвете, и — еще как следует не развиднелось — мы двинулись в центр, на Каля Викторией. От моста Могошоаей до Елизаветинского бульвара вдоль тротуаров выстроились все школы и лицеи столицы под флагами разных размеров. В первом ряду стояла на тротуаре малышня из начальных школ, за ними — мы, гимназисты, за нашими спинами — старшеклассники, потом — студенты.

Я уже не помню, чьи полки первыми продефилировали перед нами. Далекое «ура» нарастало, как огромный вал, по мере их приближения. Помню англичан в круглых примятых шлемах и их неподражаемые улыбки, когда мы с нажимом гнусавили «*Tipperary*». Еще помню отряд сенегальцев и ту оторопь, с какой мы пожирали их глазами. Мы забыли даже слова «Марсельезы» и запели кто в лес, кто по дрова, пока в дело не вмешался стоявший за нами Соловяну и не похлопал нас дирижерской палочкой по плечам, приводя в чувство.

* * *

Настала еще одна долгая и тяжелая зима. Но нам больше не приходилось подниматься спозаранку, чтобы занять очередь за хлебом. Мы пили чай с сухарями, которые привез отец, потом шли по сугробам в школу. Мойсеску вел теперь у нас ботанику. Он опять приходил с микроскопом и давал нам по очереди рассматривать крупинки пыльцы, пестик или тычинку в разрезе. Однажды я углядел в книжной витрине его книгу «Физиология растений» и купил. Я прочел ее взахлеб, но не похвастаюсь, что многое понял. Зато теперь я с нетерпением ждал весны, когда можно будет собирать растения и составлять гербарий.

Однако еще до наступления весны успело кое-что произойти: появилась новая игра. Мы с несколькими товарищами стали приносить в класс книжки и меняться: книга на книгу. Игра скоро меня захватила, столько в ней было сюрпризов. Я получал доступ к книгам самого разного рода, как в передвижной публичной библиотеке. Попадались по большей части томики «Библиотеки для всех» и издательства «Минерва», от «Приключений Цэндэрики»[16] до «Происхождения видов» и «Моих тюрем»[17]. Та зима запечатлелась великим открытием: что существует — и доступно нам — огромное число книг о самых разных вещах, а главное, что существуют книги, написанные авторами неизвестными, чужеземными, экзотическими, и, если их прочесть, узнаешь множество всего о других мирах и других людях, очень от нас далеких. И это не только книги Камиля Фламмариона или Виктора Анестина[18] об астрономии и о тайнах вселенной, но и миры Толстого и Горького, но и персонажи Бальзака, и странные люди, потерявшие свою тень, побывавшие на Луне или говорившие с мертвыми.

Мало-помалу оказалось, что я интересуюсь уже не только естественными науками, а и всеми этими новыми мирами, которые открывала иностранная литература, биографии, популяризаторские книги. Я наловчился читать по книге в день, но скоро увидел, что в таком ритме мне не продержаться: каждое утро меня соблазняли три-четыре новых книги, и, чтобы их заполучить, мне надо было принести по крайней мере столько же на обмен. Я и раньше покупал книги, но лишь теперь, включившись в эту новую игру, ощутил, какие преимущества при обмене может дать своя библиотека. Я получил бы свободу выбора и широкие возможности удовлетворять свое любопытство. Шла зима 1919 года, и в книжных магазинах выбор был скудный, а знакомые мне букинисты продавали и покупали главным образом учебники. Поэтому, совершая рейды по книжным, я покупал все подряд, что было мне по карману, даже если толком не понимал заглавие (так, например, у меня завелись «Медик перед дилеммой» и «Распад марксизма»).

В ту зиму меня удерживал дома страх обморозиться. С тех пор как приехал отец, в мансарде остались только мы, дети, так что прежнего неусыпного контроля надо мной уже не было. Я мог читать вволю. Из предосторожности я всегда держал перед собой открытым школьный учебник. Заслышав шаги на лестнице, я прятал книгу, которую читал, и делал вид, что готовлю уроки. Отец иногда поднимался наверх, надевал очки и, взяв в руки учебник, вслух зачитывал его название, дабы убедиться, что это серьезная книга, школьная, что я не трачу время на посторонние предметы. Он, конечно, знал, что я завел себе «библиотеку», потому что мои семь-восемь десятков книжек красовались на этажерке, но я убедил его, что читаю исключительно в свободное время.

Исподволь я отвоевал для чтения и ночные часы. Читал я за письменным столом при лампе с абажуром, а поскольку глаза у меня по-прежнему часто слезились и подходящие очки для них подобрать не удавалось, отец купил мне синюю лампочку. Кто-то ему сказал, что синий свет хорош для зрения. Сначала от синей полутьмы у меня уже через полчаса глаза застилало мутью и слезами. Потом, постепенно, лампочка выцвела, и читать при ней стало сносно. Читать мне разрешалось до одиннадцати, но всякий раз, поднимаясь наверх, потушить мне лампу, отец заставал меня за уроками (то я решал задачку, то писал к завтрему сочинение) — уроки я раскрывал за несколько минут до одиннадцати. Видя такое усердие, он позволял мне посидеть еще полчасика. Отнюдь не всегда он еще раз поднимался проверить, лег я или нет, и я читал, пока меня не смаривал сон.

В том году румынский у нас вел новый учитель, по фамилии Мазилу. Он нам сразу понравился, потому что любил шутить: читал вслух наши сочинения и презабавно их комментировал. Он много рассказывал нам о литературе, призывая читать Одобеску, Славича, Хогаша[19], «дабы набраться ума-разума и отточить язык», как он выражался. В марте он дал нам следующую тему для домашнего сочинения: «Как я почувствовал, что наступает весна».

На сей раз я не стал тянуть с сочинением до последней минуты. Я сел писать сразу после школы и кончил только тогда, когда мама позвала меня снизу ужинать. Исписал двадцать тетрадных листков, охваченный странной, неизведанной радостью, как будто очутился в одном из книжных миров, единственных для меня реальных и полных смысла. Я чувствовал себя, как самый настоящий писатель, которого, правда, мы еще не проходили, — и писал для кого-то вроде меня, а не для учителя, на отметку. Мазилу имел обыкновение с улыбочкой оглядывать нас всех, стараясь отгадать автора самого живописного текста, который даст ему возможность поучить нас на ошибках, приправляя их перцем, повергая весь класс в судороги хохота. Он отби-

рал несколько тетрадок, возвращался на кафедру и начинал читать. Почему-то я знал, что на этот раз он выберет и мою тетрадь тоже. Я встретил его взгляд с улыбкой заговорщика и, вероятно, покраснел от собственной дерзости, потому что, пройдя мою парту, Мазилу все же обернулся и попросил у меня тетрадь.

Я лишь смутно помню это свое первое удачное сочинение. Помню, там говорилось, что раз на Евдокиевых днях я глядел из окошечка своей мансарды, как падает снег, пока не уснул. Потом начались фантастические происшествия: цыганок, которые пошли в лес за подснежниками, застала вьюга, они попрятались под деревьями и слились с их корой; последовала битва между арьергардом Зимы — это были существа из инея, лица ледяные, пальцы сталактитовые, прозрачные и длинные, — и первыми лазутчиками Весны, которые с трудом пробивали себе путь сквозь снег, из ее подземного царства; один за другим выходили они на свет, полулюди-полуцветы, с подснежниками вместо пальцев, с фиалками вместо глаз; дули вокруг себя, растапливая снег и приговаривая: «Где Царь-Ветер, Теплый Ветер? Дай же, дай тебя обнять, только раз тебя обнять...»

По прочтении первой страницы Мазилу оторвался от тетради и спросил меня: «Откуда ты это списал?» И, поскольку я было запротестовал, поправился: «Я хотел сказать, что тебя вдохновило, какая книга?» Я покраснел и пожал плечами. Видя мое замешательство, Мазилу с загадочной улыбкой продолжил чтение. По временам, чтобы не подумали, будто речь идет о каком-то шедевре, он прерывался, подчеркивая то слишком кричащее прилагательное, то какую-то другую оплошность. Однако дочитав до конца, он посмотрел мне в глаза и сказал: «Браво! Я вынужден поставить тебе десять баллов!..»

Это была моя первая победа: признание перед всем классом, что я уже не тот, кого в прошлом году записали в отстающие по румынскому. По всей вероятности, Мазилу был так удивлен моим сочинением, что не преминул рассказать о нем в учительской, — потому что еще до конца перемены ко мне подошел Мойсеску и попросил у меня тетрадь. Ему тоже захотелось прочесть мои приключения во сне — с Царем-Ветром и со всеми прочими, коих я сейчас уже и не припомню. Настоящий триумф! Я поведал о нем домашним во всех подробностях, хотя не знаю, удалось ли мне перебороть сдержанность и скептицизм родителей (отец сказал, что поверит, только когда увидит мою десятку в дневнике, то есть в конце триместра).

Для меня же этот случай возымел последствия чрезвычайно глубокие. Я обнаружил, что при «вдохновении» могу писать с той же легкостью — немного, правда, отставая по скорости, — с какой несколько лет назад следил за приключениями секретной армии на внутреннем экранчике. Много раз до этого я пытался писать, но, исписав пару-

тройку страниц, вдруг терял охоту, перечитывал с унынием и стыдом последние строчки и в ярости вырывал листки из тетрадки, комкал и бросал в огонь. Теперь мне казалось, что я открыл секрет: я просто не мог писать без «вдохновения». И я знал, как оно находит, — как приятная сонливость, которая постепенно проникает все твое существо. Ты сидишь, уставясь в одну точку, взгляд застывает, текут секунды, минуты, но ты не чувствуешь их течения, чувство одно: что ты перемещаешься в другое пространство, оно где-то рядом, даже прямо перед тобой, и в этом пространстве разворачиваются события, о которых тебе предстоит рассказать. Теперь я знал по опыту, что не надо приступать к письму прежде, чем эта греза, ее насыщенность и блаженство, не станут нестерпимыми. Тогда я глубоко обмакивал перо в чернила и начинал писать.

Иногда этот неестественный восторг разрастался по мере того, как я писал. Но чаще он через час-другой шел на убыль, претерпевал непонятные мне изменения и улетучивался совсем, оставляя по себе чувство подавленности и тоски. Снова войти в это состояние удавалось либо на другой день, либо несколько дней спустя, при перечитывании строчек, которые мне самому нравились и в совершенстве которых я не сомневался.

Весной я прочно втянулся в сочинительство. Сюжеты рассказов помню смутно, знаю только, что они, почти все, были фантастические. Один начинался примерно так: «Сегодня я встретил на дороге Бога. Ему нужен был прут. Он сломал ветку и спросил, нет ли у меня перочинного ножика...» Что было дальше, не помню. Герой другого рассказа, скромный провинциальный служащий, малограмотный, недоучка, в один прекрасный день, сам не зная почему, берется за перо и пишет несколько книг подряд. Потом показывает рукописи учителю литературы из местной гимназии. Учитель их листает, читает на выбор некоторые места, потом спрашивает: «Зачем вам понадобилось переписывать всем известные романы — «Жизнь в деревне» Дуилиу Замфиреску, «Мадам Бовари», «Крейцерову сонату»? Молодой человек клянется, что слыхом не слыхал об этих романах, что он вообще книг не читает, а накатал столько тетрадей, сам не понимая, что с ним происходит. Учитель настроен скептически. Он советует попробовать написать еще что-нибудь, например, пьесу для театра. Через несколько недель молодой человек является к нему с еще двумя рукописями. Это «Севильский цирюльник» и «Закат солнца»[20].

Иногда я вдохновлялся отцовскими рассказами про войну. Но выбирал исключительно случаи странные, загадочные. Помню сюжет одной своей длинной новеллы. Офицер получает приказ взорвать мост. Он ждет в камышах, по колено в воде, и пускает в ход динамит, как только первые немецкие солдаты всходят на мост, а сам, прячась

в зарослях, начинает отступать. Вдруг что-то с плеском плюхается прямо пред ним в воду, и он, как завороженный, на миг застывает. Потом опускает в воду руку и, нащупав какой-то предмет, его вытаскивает. На него смотрят, будто удивляясь встрече, открытые глаза с мертвого лица молодого немецкого солдата. Далеко за полночь офицер, страшно усталый, возвращается в свою часть, расквартированную в полупустом селе. Бросается на постель и засыпает. Скоро его будят сильные удары в дверь. Он нашаривает под подушкой револьвер и палит, пока не кончаются патроны: в дверях ему почудилась голова того немецкого солдата. По крайней мере, так он объяснил, когда его отдали под трибунал. На самом деле, это был его денщик. Пришел приказ об отступлении, и денщик стучал, чтобы его разбудить. Офицер умер тоже с открытыми глазами, с удивленным выражением лица.

Все эти тексты я переписал в толстую тетрадь, а на обложке вывел: ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ. ТОМ I. Я не сомневался, что рано или поздно мне удастся их напечатать, и что первым томом дело не ограничится. Однако литература была лишь частью, и то не самой главной, моих трудов. Она требовала вдохновения. В остальные же часы, как оказалось, я могу писать другое: к примеру, краткое изложение прочитанных книг или критический взгляд на какую-нибудь научную теорию, или подробное описание растений, которые я собирал, животных, которых я ловил, изучал, за которыми вел наблюдение. Я начал множество разных тетрадок: по морфологии и физиологии растений, по энтомологии, по разным эволюционистским теориям в краткой записи и так далее. Чтобы отличать их от школьных, которые казались мне холодными и безликими, я брал те, что сшивал мне белой ниткой отец — из бумаги получше, нелинованной, с разноцветными обложками. В последующие годы числу тетрадей предстояло ощутимо вырасти, потому что я увлекался все новыми и новыми предметами: физикой, химией, востоковедением, оккультными теориями, философией. Все тетради я сохранял и к окончанию лицея наполнил доверху целый сундук.

В следующий класс я перешел без единой переэкзаменовки. Отец остался мной вполне доволен, поскольку считал, что мое предназначение — стать великим пианистом. Лето я провел в Сэчеле, одном из семи сел под Брашовом. Наша текиргёльская вилла осталась полуразрушенной и для жилья непригодной. Впервые я оказался по ту сторону Карпат, с волнением открыв для себя сразу и горы, и Трансильванию, и жизнь в деревне. Жили мы в чистеньком светлом домике с кучей хозяйской ребятни. Среди них была девочка несколькими годами старше меня, с льняными волосами, веснушчатая, и пахло от нее молоком и сеном. Я запомнил ее на всю жизнь, потому что она влюби-

лась в Нику и все пыталась его поцеловать. Раз мы втроем сидели на стоге сена, и она гладила Нику по голове, приговаривая: «Страсть как люблю парней с волосами, как вороново крыло». Я сдержанно улыбался. Мне трудно было ей поверить. Я всегда знал, еще из первых сказок, которые мне рассказывали и которые я читал сам, что Фэт-Фрумос[21] бывает только белокурый. У меня, правда, в те годы волосы были ярко-рыжие, прямо-таки цвета меди. Но я считал себя все-таки ближе к Фэт-Фрумосу, чем Нику. В глубине души я давно ему сочувствовал — не повезло человеку родиться с черными волосами. Я думал, что его никто никогда не полюбит, что придет время — и все девушки будут любить только меня, потому что я блондин. Впрочем, я считал себя к тому же и красавцем. Я, конечно, помнил, что у меня маленькие, как обычно у близоруких, глаза и проволочные очки, но это, я полагал, придает моей внешности оттенок изысканной строгости, по которому можно угадать будущего ученого — великого медика, например, или естествоиспытателя.

В конце концов, наблюдая, с какой страстью хозяйская дочка ласкает Нику, я не выдержал и сказал ей все, что думал. А именно, что она совершает ошибку: что если мой брат, которого я тоже люблю, ей так нравится, я, конечно, рад, но что она ошибается, когда хвалит его черные волосы. Черные волосы — это некрасиво, девушки брюнетов не любят, и они все обречены на несчастную жизнь. Кто по-настоящему красив и заслуживает любви, так это я, потому что я почти белокурый, как Фэт-Фрумос.

Девочка слушала меня сначала с некоторым интересом, но скоро прыснула со смеху и смеялась долго, до слез. Потом слушал ее я, ухмыляясь, думая, что она шутит, описывая мне разницу между «молодцами, у кого волосы — как вороново крыло», и «такими, как мы с тобой, линялыми» — блондинами, рыжими. Но постепенно убедился, что она говорит серьезно, и пришел в уныние. Зашатался весь мир моих ценностей. Я обнаружил, что быть на вид почти что как Фэт-Фрумос — это, в глазах других людей, вовсе не бог весть что. Ты можешь прослыть некрасивым, или на тебя просто не будут обращать внимания, будь ты даже вылитый сказочный герой.

Спустя несколько лет я стал считать себя просто уродом. И, возможно, был прав: так меня преобразили переходный возраст, близорукость и устав лицея Спиру Харета, предписывающий стрижку под машинку. Линзы становились все толще, лицо было в рыжеватом пушке и в прыщах. Причем я казался себе еще большим уродом, чем на самом деле, и это отчасти определяло круг моих идей и моего тогдашнего поведения: я желал выделиться любой ценой, стать «*le veuf, l'inconsolé*», познать абсолютное одиночество. Было это в 1922–1923 годах, когда я писал «Роман о подростке в очках».

Откровение, которое я нечаянно получил от хозяйской дочки, не отравило мне летние каникулы в Сэчеле. Я уходил из дому спозаранку, запасшись книжкой и коробками для насекомых, и прочесывал лозняк по берегу ручья, залезал в малинник в поисках *cetonia aurata*, целыми часами торчал у муравьиной кучи, подкарауливал ящериц и змей. Я читал, сколько хотел и что хотел. Таскал с собой два тома «Энтомологических воспоминаний» Фабра и перевел из них несколько глав. Выучил назубок «Словарь лечебных растений» Захарии Панту. Продумывал замыслы разных рассказов.

В третьем классе, осенью 1919, у меня началась физика, а у Ику — химия. Физика мне нравилась, тем более что уже год назад я прошел ее основы по учебнику брата и с его помощью. Но химия захватила меня, как ни одна наука до этого. Я просто-напросто посчитал, что нашел свое истинное призвание, и в том учебном году, 1919–1920, оборудовал свою первую лабораторию, сначала довольно скромную. На чердаке, по соседству с нашей мансардой, разместил на металлическом столике реторту, дюжину пробирок, спиртовку и несколько банок с «субстанциями». Когда ко мне в гости приходили товарищи, я демонстрировал им классические опыты: горение фосфора, который шипел и кружился, если его бросишь в воду, таинственные превращения серы в процессе ее плавления и все такое прочее. На следующий год, когда у нас по программе ввели химию, несколько человек из класса, следуя моему примеру, тоже устроили у себя лаборатории. Мы собирались у каждого по очереди и делали опыты, сначала по учебнику четвертого класса, потом по другим, специальным пособиям. Учитель физики и химии Войтинович скоро заметил, как я увлечен и как много знаю для своего возраста, и доверил мне ключ от школьной лаборатории. Я приходил туда после уроков во всякий свободный час, один или с кем-то из товарищей, и мы проводили всевозможные опыты.

Благодаря химии у меня завелись в классе друзья. Кэрпиништяну тоже, как и я, играл на пианино и обожал химию. Он был мальчик красивый, бледнолицый, с высоким лбом и с горькой, меланхолической улыбкой, какие бывают у больных костной болезнью. Он единственный устроил себе серьезную лабораторию и увлекался химией почти до самых выпускных экзаменов. Потом он уехал во Францию учиться на медика, и больше я о нем ничего не слыхал. С Дину Сигиряну[22] мы подружились еще с прошлого года, но лаборатория еще больше нас сблизила. Правда, он скоро забросил химию и подарил мне все, что было годного в его хозяйстве. Но увлечение насекомыми у него осталось, и каждую осень он привозил мне из их поместья в уезде Яломица, близ села Сигирени, редкие виды бабочек и жесткокрылых. С Дину мне предстояло сойтись совсем накоротке в послед-

них классах лицея, когда мы ударились в чтение и раскопали в библиотеке его сестер множество новых писателей. Мне не забыть дивное время, когда я гостил, по целым неделям, у них в усадьбе. Но подробнее о Дину, как и о других своих товарищах, я расскажу несколько ниже.

И, наконец, из-за химии, хотя и косвенным образом, я приобрел нового друга, Мирчу Мэркулеску, и новую страсть — Бальзака. Движимый чисто научным интересом, я прочел «В поисках абсолюта». Мэркулеску, который химию не любил, но был без ума от Бальзака, дал мне почитать «Шагреневую кожу». Придя в полный восторг, я прочел после этого «Отца Горио», потом, сразу же, «Гобсека», и прием перехода персонажей из романа в роман сразил меня наповал. Мы с Мэркулеску пустились на розыски Бальзака по книжным магазинам и по букинистам. Каким счастьем была находка «Истории тринадцати» и «Кузины Бетты» — ведь в первые месяцы нам попадались только разрозненные тома «Юношеских сочинений», и, при всем нашем энтузиазме, мы не сумели прочувствовать из них ничего, кроме «*Le Centenaire*».

Но все это произошло двумя годами позже, когда я уже стал «автором, которого печатают».

* * *

Я до сих пор помню свою первую публикацию — заметку «Враг шелковичного червя» в «Зьярул штиинцелор популаре» [Газете народного знания] за май 1921 года. Я, гимназист четвертого класса, остался один в своей комнатушке на мансарде, потому что Нику учился теперь в Тыргу-Муреше, в военном училище. Предыдущее лето мы всей семьей провели в Текиргёле, на вилле «Корнелия», восстановленной только наполовину. Я скучал. Я захватил с собой мало книг и, проглотив их, безнадежно шарил по дому, ища, что бы мне еще почитать. В одном из гардеробов я наткнулся на полное собрание сочинений Василе Конты[23] и упрямо стал их штурмовать, далеко не всегда понимая. Только когда Конта разбирал теорию трансформизма, мне удавалось вникать в его рассуждения. В остальное время я собирал растения и улиток, ловил насекомых. Взялся писать работу о фауне и флоре Текиргёла, которую позже доработал и опубликовал зимой 1922, тоже в «Зьярул штиинцелор популаре».

Не помню, что меня побудило свою первую заметку посвятить именно «врагу шелковичного червя». Тема для меня была не самая интересная, и к тому времени я уже накопил столько знаний по энтомологии, что мог написать и что-нибудь более захватывающее. Видимо, я рассудил, что, поскольку речь пойдет о проблеме, имеющей,

кроме всего прочего, практическое значение, у меня будет больше шансов напечататься. Заметку в самом деле поместили в ближайшем номере газеты. Она была подписана: Элиаде Г. Мирча. Когда я увидел свое имя печатными буквами — в содержании и потом еще раз, в конце заметки, — у меня заколотилось сердце. Пока я шел от киоска, где купил газету, до дома, мне казалось, что все на меня смотрят. Я с торжеством предъявил газету родителям. Мама сделала вид, что ей сейчас некогда, хотела, вероятно, просмаковать мой опус одна, спокойно — как она потом читала иные из моих статей. Отец же надел очки, прочел заметку сразу (она занимала не более колонки) и сказал: «Не очень-то серьезно. Компиляция!..»

Так оно и было. Я, правда, попытался объяснить, что ставил своей целью не «науку», а «популяризацию» — дело такое же важное и насущное, как и научные изыскания. Но, по-моему, я не убедил отца.

Несколько месяцев спустя в «Зьярул штиинцелор популаре» объявили конкурс для лицеистов. Условия конкурса я прочел с необычайным волнением. Это было именно то, о чем я мечтал, — научный сюжет в «литературном» изложении. В первое же воскресенье я засел за работу: в моем распоряжении был весь день и вся ночь, и у меня нафантазировался рассказ под заголовком «Как я нашел философский камень». Он начинался примерно так: я сидел в лаборатории и ненароком уснул (конечно, читателю этого не сообщив). Далее является какой-то диковинный персонаж, рассказывает мне про философский камень, уверяет, что это не легенда, что камень можно получить, если знаешь формулу. Говорит, что присутствовал при опыте, который ставили знаменитые алхимики, и предлагает мне повторить, вместе с ним, этот опыт. Я полон недоверия, но уступаю. Незнакомец смешивает разные вещества в тигле, ставит его на огонь, подсыпает какого-то порошка и восклицает: «Теперь смотри! Смотри внимательно!..» И прямо на моих глазах вещества в тигле превращаются в золото. Потрясенный, я делаю резкое движение, и тигель, опрокинувшись, падает на пол. От его стука я просыпаюсь. Я один в лаборатории. В первый миг мне кажется, что это был не сон: на полу, рядом с тиглем, лежит золотой слиток. Только взяв его в руки, я вижу, что это кусок пирита, вещества, очень похожего на золото.

Мне не довелось никогда больше перечесть этот рассказ, но, вспомнив о нем десятки лет спустя, я понял, что все это было не лишено смысла. Я писал, будучи увлечен химией и почти ничего не зная об алхимии. Я был приверженцем материи, я верил в нее; я знал, какую практическую пользу приносят разные вещества, однако меня захватывала и тайна их химической структуры, бессчетное число возможных сочетаний между молекулами. Прошло еще несколько лет, прежде чем я нашел в библиотеке Фонда Кароля I «*Collection des*

alchimistes» Марселена Бертло. Тогда-то я и почувствовал настоящее влечение к алхимии, и с той поры влечение это меня не оставляло. В 1924–1925 годах «Зьярул штиинцелор популаре» опубликовала мои первые статьи по александрийской и средневековой алхимии. Учась в университете, я в письме попросил у Прапхуллы Чандры Рая — и получил из Калькутты — его двухтомник по индийской алхимии. В Индии мне удалось собрать богатый материал, который я использовал для серии статей, помещенных во «Времени», а затем, в 1935 году, включенных в «Азиатскую алхимию». Последовали: «Вавилонская космология и алхимия» — в 1937 году; «*Magic, Metallurgy and Alchemy*» — в 1939; «*Forgerons et Alchimistes*» — в 1956. Эта последняя книга вобрала и развила опубликованное мной на родине. Еще не зная работ Юнга, я тем не менее пытался показать, что алхимия не есть рудиментарная химия, предхимия, но духовная техника, преследующая цель более глубокую, чем познание материи и овладение ею, — в сущности, цель трансмутации человека, его спасения или освобождения.

Чего бы я не дал, чтобы перечитать сейчас тот рассказик, узнать, что доверил мне тот таинственный персонаж, при каких таких алхимических операциях он присутствовал! *Во сне* я нашел философский камень... Лишь много лет спустя, прочитав Юнга, я понял символический смысл этого сновидения.

* * *

Мой рассказ получил первую премию и был опубликован в конце 1921 года. На сей раз я почувствовал себя форменным писателем. Мне причиталось сто лей, и, отправившись за ними, я познакомился с профессором Даном Димиу, директором «Зьярул штиинцелор популаре». Он меня поздравил и предложил сотрудничество на регулярной основе. У меня уже было, почти в готовом виде, сколько-то очерков о разнообразных насекомых. По примеру нашего учителя истории Константина Мойсила, который вел в той же газете рубрику «Нумизматические беседы», я назвал свою «Энтомологические беседы» и стал посылать по очерку в редакцию. Они исправно выходили на протяжении ряда лет. Так как я их с тех пор не перечитывал, не могу сказать, насколько «оригинальными» были мои энтомологические упражнения. Я проштудировал от корки до корки тома Брэма и Фабра и сделал ряд собственных наблюдений. Под микроскопом учителя Мойсеску разглядел все, что касалось анатомии и физиологии насекомых. Заведя себе настоящий аквариум, потратил немало часов, описывая в тетради повадки *пера cineraria*. И все же годы спустя, окончательно отойдя от энтомологии, я с грустью отметил, что

не открыл ничего нового, ускользнувшего от других, ни об одном из видов живности, которую я наблюдал, которую растил и любил столько лет.

Но может быть, я ошибался. Может, все-таки были вещи, которые увидел один я. Так или иначе, в 1921–1922 годах я исписал стопку тетрадок, сочинив нечто вроде приключенческого романа, где смешались энтомология, юмор и фантастика: «Путешествие пятерки майских жуков в страну рыжих муравьев». Больше всего меня увлекало описание разных мест так, как их видели майские жуки, проползая по земле или перелетая по воздуху. Я создал, по сути дела, микрогеографию, выстраивая ее по мере сочинения; я открывал мир бредовый и парадоксальный, потому что он был одновременно и больше, и меньше, чем наш, привычный. Я физически чувствовал, как камешек, когда об него ударяется жук, разрастается до размеров глыбы высотой с меня и больше меня в обхват — и я сам ударяюсь об эту глыбу. Но секунда-другая — жук взлетает, и «глыба» уменьшается для него до размера камешка, то есть, по градации моего зрения, до песчинки...

Не помню, довел ли я до конца рассказ об этом путешествии в страну рыжих муравьев. Помню только, что, прежде чем распрощаться с энтомологией, в 1923–1924 годах, я решил доработать несколько из опубликованных статей про пчел, ос и муравьев, составить из них томик и отдать в «Библиотеку для всех». Я написал в издательство «Алкалай», не упоминая, ясное дело, что я еще лицеист, письмо с вопросом — не заинтересует ли их такая книга. Вскоре в ответ пришла открытка, мне предлагалось подать рукопись. Лучшим, на какой был способен, почерком я переписал текст в две толстые тетради, ни на миг не подумав, что ученический почерк может выдать мой возраст. И попросил, побоявшись отправлять тетради по почте, одного своего товарища, Раду Боссие, лично передать их в руки директора «Библиотеки для всех».

Я дожидался товарища через несколько домов от книжного магазина «Алкалай», в нетерпении прохаживаясь по улице. «Что он сказал?» «Сказал: хорошо, оставь тетради. Мы посмотрим...»

Никакого отклика не последовало. Но я быстро утешился. Год-другой спустя я испытал бы неловкость, если бы увидел в витрине магазина свою книжечку про пчел, ос и муравьев. Я стал студентом и хотел печатать уже другие книги, в первую очередь, мне хотелось напечатать «Роман о подростке в очках»[24].

Глава 4
Искусы для близорукого юнца

Осенью 1921 года я пошел в пятый класс. То есть окончил курс гимназии (летом сдал так называемый «экзамен на смекалку») и перешел на высшую ступень лицея. В те времена высшая ступень была с тремя уклонами: реальным (с математикой в большом объеме и без латыни), современным (с минимумом математики и с латынью в большом объеме) и классическим (без всякой математики, только с латынью и греческим). В полной уверенности, что буду в университете изучать физико-химические науки, я выбрал реальный. Но мне не понадобилось много времени, чтобы понять: я ошибся, выбрал неправильно. Я отказался от латыни, а, главное, от учителя латыни, Недели Локустяну, которым восхищался сверх всякой меры, потому что, кроме грамматики и словаря, он учил нас истории, литературе и философии, рассказывал на уроках о Пифагоре и Омаре Хайяме, о Новалисе и Леонардо да Винчи. Я выбрал математику, которая лишь краем задевала меня, зная, что без математической подготовки мне никогда не стать хорошим химиком.

К тому же я не поладил с учителем математики Банчиу. Все без исключения— учителя, ученики и родители учеников — считали Банчиу образцовым преподавателем. «Нельзя не понять, если объясняет Банчиу» — таково было общее мнение. Я тоже это знал. Когда я его слушал, я не просто все понимал, но и чувствовал, что математика меня захватывает. Однако я был верен себе, и, когда меня что-то интересовало: начатая дома книга, замысел статьи, сюжет будущего рассказа, — мне было не до объяснений учителя. Сначала я попробовал, не получится ли незаметно сбегать с урока. Если видел, что не получится, то оставался в классе, но ничего не слушал. Чаще всего мне удавалось читать свое, не привлекая внимание учителя.

Однажды, вызвав меня к доске и видя, что я не справляюсь с задачкой, Банчиу решил, что я не понял объяснений, и повторил для меня отдельно содержание одного из предыдущих уроков. Убедившись, что я в состоянии все понять, если слушаю внимательно, он стал мной заниматься. Вскоре он застиг меня за чтением «Красного и черного», поставил мне тройку, книгу конфисковал и заверил, что, если я попадусь еще раз, буду на неделю исключен из школы. Я не поверил, что он го-

ворит всерьез. Однако некоторое время спустя, застигнув-таки меня во второй раз, Банчиу сдержал слово. Он не просто поставил мне тройку и исключил на неделю, но и влепил мне в учительской пару оплеух.

Это произошло весной 1922 года. Мне исполнилось пятнадцать, и я уже знал, что такое унижение и ненависть. Эти оплеухи проложили между нами пропасть. Напрасно Банчиу излучал приветливость и дружелюбие, когда я через неделю вернулся в школу. Я заперся изнутри на засов, я стал тверже камня. Но за неделю своего исключения я прошел весь учебник алгебры и перерешал множество задач. Вызвав меня к доске, Банчиу так удивился, что чуть не рассыпался в поздравлениях. Видимо, он подумал, что урок, который он мне преподал, пошел мне на пользу. Он ошибался. Я окончательно порвал с математикой и занимался только под страхом переэкзаменовки. Математик во мне погиб. А поскольку переэкзаменовкой Банчиу грозил мне все время, добавляя, что, если я и к ней не подготовлюсь как следует, то он оставит меня на второй год, как бы я ни блистал по другим предметам (намек на физику, химию и природоведение), математика скоро стала для меня настоящим кошмаром. Все же мне удалось перейти в шестой класс без переэкзаменовки, и в седьмой тоже. Но в седьмом классе — после всех переживаний последних двух лет и после того как я понял, что не пойду в университет на химию, я решил перейти на современное отделение. В середине года, наскоро подготовившись, я сдал Локустяну экзамен и был переведен к нему. На прощанье Банчиу сказал мне: «Два с половиной года на реальном — теперь ты будешь лучшим математиком среди твоих латинистов! Да только математика есть и на современном, пусть всего час в неделю. Не будешь на высоте, получишь переэкзаменовку!»

Он и на сей раз сдержал слово.

* * *

Я вижу себя в те годы: мансарда, деревянный стол, покрытый листом синей бумаги, лампа с белым абажуром, я пододвигаю книжку под самую лампу по мере того, как у меня туманом заволакивает глаза и все хуже различаются буквы. Моя близорукость в те годы прогрессировала стремительно, «галопом», по выражению одного из окулистов, которым я показывался. Диоптрии росли скорее, чем я успевал менять линзы. Оставалось единственное, по мнению доктора, решение: не утомлять глаза чтением при электрическом свете. Но как я мог (да и кто бы, скажите на милость, смог?) щадить глаза, когда каждую неделю открывал нового автора, иные миры, иные судьбы? Что-то я все же предпринимал: читал без очков, буквально уткнувшись носом в книгу, или закрывал то один глаз, то другой, или с силой придавливал очки к переносице, или менял лампочки: белая —

синяя, послабее — посильнее. Когда глаза совсем заволакивало и они начинали слезиться, я шел в соседнюю комнатку и умывался холодной водой. Потом растягивался на кровати и несколько минут лежал с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать.

Деревянная кровать, выкрашенная в красный цвет. Над кроватью — прочно прибитый к стене ящик со стеклом, где я хранил самых красивых жуков и несколько больших бабочек с неповрежденными крыльями. Напротив, на другой стене — книжный шкаф, который мне сколотил из досок отец. В шестом классе у меня было уже около пятисот томов, по большей части из «Библиотеки для всех», «Минервы» и «Лумена». Но были и книги подороже: «Энтомологические воспоминания» Фабра, «Насекомые» Брема, трактаты по химии, «классики» трансформизма, почти все найденные мной во фламмарионовской серии «Научная библиотека» — томики в красном переплете, — и «Философская библиотека» Феликса Алкана. Каждую неделю мама давала мне немного денег на карманные расходы, но никогда не отказывала, если я говорил, что хочу купить книгу из дорогих. Только обычно просила ничего не говорить отцу. Война принесла с собой бедность, и, чтобы держать нас в школе, отцу пришлось сдать в аренду почти весь дом. Сначала квартирантами были два французских профессора, приехавшие по линии культурной миссии, потом венгерские чиновники из какого-то трансильванского общества и, наконец, сотрудники итало-румынской коммерческой палаты. Так я познакомился с Джованни Коста — именно в тот период, когда учил итальянский. Благодаря ему я имел возможность заказывать любые итальянские книги, какие считал для себя нужными.

* * *

Мансарда теперь была целиком моя, и тут были только мои вещи. Между кроватью и письменным столом — столик с подшивками газет и журналов: «Зьярул штиинцелор популаре», «Ревиста музикалэ», «Оризонтул» и разные другие. Чтобы их не разметал ветер, когда я сидел с открытыми окнами, я положил сверху самые красивые экземпляры из моей геологической коллекции: кусок пирита, гранит, обломки сталактитов. Над столиком я прикнопил рисунки египетских погребальных фресок, которые сам перерисовал разноцветными чернилами, — дань увлечения книгами Масперо и Александра Море. Под столиком — кофейного цвета сундучок, где я держал переписку с друзьями, исписанные тетради и на самом дне — припрятанный, чтобы не нашел отец, дневник.

Не помню, что навело меня на мысль вести дневник. Вначале, в 1921 году, я записывал просто, чем и сколько времени я занимался каждый день: столько-то часов в лаборатории или с насекомыми

и растениями, столько-то — чтением, присовокупляя названия книг и краткие к ним комментарии. Немного погодя я начал записывать наблюдения над учителями и над своими приятелями; но этого мне было мало: хотелось воспроизвести как можно больше разговоров, как можно подробнее описать разные происшествия в школе и на вечеринках, которые устраивались, начиная с шестого класса, дома у нескольких из наших однокашников, по очереди, и где мы встречались с девочками. Со временем я приноровился писать по десять-пятнадцать страниц о той или иной вечеринке, стараясь как можно точнее передать диалоги, с характерной для каждого их участника лексикой. Начав «Роман о подростке в очках», я использовал многие страницы дневника, иной раз — как, например, при описании нашего общества «Муза», — беря оттуда целые пассажи. Наконец, в последние два лицейских года дневник стал конфидентом всех моих срывов в меланхолию, и, может быть, эти эксцессы лирики и ламентаций в один прекрасный день настолько мне опротивели, что я забросил дневник и возобновил его только в 1928 году, накануне отъезда в Индию.

Дневник я писал обычно по ночам, иногда далеко за полночь, когда отец точно уж не мог подняться, чтобы меня проконтролировать. С пятого класса и до конца университетского курса я приучал себя спать все меньше и меньше, иногда довольствуясь тремя-четырьмя часами. К такому результату я пришел, упорно дисциплинируя себя. Много месяцев подряд я ложился спать на несколько минут позже, чем накануне, а будильник подводил на одну минуту раньше. Когда время сна сокращалось на час, я делал перерыв и несколько недель не трогал стрелки часов. Потом возобновлял опыт, ежедневно уменьшая рацион сна на одну или две минуты.

Не скажу, чтобы это давалось мне легко. Бывало, что, когда я засиживался над книгами до двух часов ночи и позже, я не мог уснуть и долго ворочался в постели. Но я упрямо не хотел брать в расчет эти бессонницы, а все так же отсчитывал часы и минуты, отводимые на сон, с того мига, когда гасил свет и ложился в кровать, даже если засыпал через час-другой после этого. Иногда сонливость одолевала меня после обеда, особенно летом, и если оказывалось, что никакие чашечки кофе и никакие умывания холодной водой не помогают, я ложился на полчасика, ставя в изголовье будильник. Однако не забывал отрезать эти полчаса от ночного сна.

В конце концов, я привык к четырехчасовому рациону, и даже если хотел, не мог спать больше. Потом, когда к чтению и письму прибавились и другие эксцессы юности, дело доходило порой до странных провалов в сознании, которые меня ужасно пугали. Я до сих пор помню два таких случая, спровоцированных, конечно же, нервным истощением. Раз ночью — я был тогда, кажется, в седьмом классе, — я раз-

делся, завел будильник на пять утра и лег, но несколько мгновений спустя очнулся одетым, за столом, перед раскрытой книгой, и ничего не помнил, даже что читал и читал ли вообще. Взглянул на часы: было три с минутами. Еще миг такого же страха я пережил, когда учился в университете. Я вдруг очнулся у нашего дома, на бульваре Домницы, не соображая, что я тут делаю, ухожу или возвращаюсь, и даже не очень-то понимая, кто я и как меня звать. Дело было в июле, в послеполуденное пекло. Я все же признал дом и нашел в себе силы подняться в мансарду, которая в тот час была раскаленной, как печь. Раздевшись догола, я бросился на постель и проспал до вечера, закрывшись на щеколду. Меня разбудил только сильный стук в дверь — отец пришел осведомиться, что со мной такое, почему я не спускаюсь к ужину.

От подобных происшествий, впрочем, довольно редких, меня по-настоящему пробрал страх. Я никому о них не рассказывал, но невольно призадумался. Последнее случилось в Калькутте, тоже в ужасную жару.

* * *

И все же я был вынужден прибегать к таким мерам. Я «боролся за время» — не только чтобы справиться с чтением книг, которые уже заполонили мой стол и полки, но в особенности потому, что кроме дневника и множества прочих тетрадей, где я приучал себя каждый день записывать резюме, критику, заметки, я — самое важное — начал фантастический роман циклопических размеров: «Воспоминания свинцового солдатика». Наброски для него я делал уже года два, в пятом и шестом классах, и, когда окончательно оставил эту затею, переписал набело, в нескольких тетрадках, те части, которые, как мне казалось, удались, и дал почитать их кое-кому из друзей. Роман был безрассудных масштабов, он включал в себя не только мировую историю, но и всю историю космоса, от возникновения нашей Галактики до образования Земли, от зарождения жизни до появления человека. Сколько помню, начинался он так: один скаут — то есть я — едет в поезде, который терпит крушение на Валя Ларгэ. В момент столкновения с другим поездом герой от страха прячет голову в дорожный мешок и, благодаря этому инстинктивному движению, остается цел и невредим. В дорожном мешке лежит игрушечный свинцовый солдатик, один из того многочисленного войска, которым он играл в детстве, а теперь, подросши, носит с собой как *porte-bonheur*. В растянувшийся до бесконечности миг аварии герой выслушивает из уст солдатика всю его судьбу. Дело в том, что кусочек свинца, из которого солдатик сделан, был свидетелем важнейших событий в истории человечества, среди которых завоевание Индии ариями, разрушение Ниневии, смерть Клеопатры, распятие Христа, опустошение Рима Аларихом, Магомет, кре-

стовые походы и так далее и тому подобное, — вплоть до событий наших дней, в число которых я не позабыл включить и самые недавние, например, сражение при Мэрэшешти. Но еще в доисторическое время свинец побывал в газообразной форме в разных космических заварухах, приведших к образованию солнечной системы и Земли. Он помнил миллионы лет без всякой жизни, помнил появление первых живых тварей, борьбу между доисторическими чудовищами — и так до появления человека и зачатков первых цивилизаций.

Получалась этакая заковыристая штука, сработанная, как мозаика, из моего беспорядочного чтения, из всего, что я, как мне казалось, знал, из всего, что выучил, не всегда переварив. Причем сей фантастический роман был не лишен некоторого пессимизма. Саркастические речи, которые я вложил в уста свинцового солдатика, показывали, насколько, в сущности, эфемерны и насколько непостоянны люди, как легко они забывают, предают и убивают, и как слепа судьба, которая возвышает никчемность и посредственность, будь то люди или народы, — истребляя народы героические (как, например, гетов или столько других доисторических племен) и людей истинно великих (это была одна из идей романа: что настоящие герои, творческие гении, истинные пророки никогда не получали возможность исполнить свое предназначение, поскольку судьба их сковывала или губила до времени). У истоков такого пессимистического взгляда на мировую историю лежал, конечно, кроме уныния, которое вызвали у меня книги о неисчислимых исторических ужасах и катастрофах или биографии мучеников за мысль вроде Джордано Бруно и Т. Кампанеллы, и мой собственный опыт. Сейчас я чувствовал себя выше всех моих коллег, хотя бы из-за того, что тратил неимоверные усилия на расширение и углубление своей культуры. И при всем том, хотя некоторые учителя относились ко мне благосклонно, я не удостоился ни одной премии, ни одного упоминания, даже по части естественных или физико-химических наук, и в конце каждого года с трепетом читал список тех, кто перешел в следующий класс.

Еще серьезнее было другое. Я вступил в самый разгар подросткового кризиса, каждое утро я находил, что мое уродство и моя неуклюжесть растут и растут, а на вечеринках, где были девочки моего возраста, меня уничтожала собственная робость и непривлекательность в сравнении кое с кем из моих приятелей. Этот кризис, подкравшийся ко мне в шестом классе вместе с началом «Воспоминаний свинцового солдатика», длился, нарастая в силе, до окончания лицея. Может быть, из-за этого я и не кончил роман. В какой-то момент я почувствовал, что больше не могу писать иначе как от первого лица, что никакая литература, кроме прямо или косвенно автобиографической, не имеет никакого смысла. Так я начал «Роман о подростке в очках».

* * *

Еще с первых классов лицея я подружился с Дину Сигиряну и Раду Боссие. Сейчас, на высшей ступени, Дину был красавцем, шатеном с зелеными глазами, и по нему вздыхали девушки. Он увлекался историей Франции, которую знал, как никто из нас, и Киплингом. Мы встречались почти каждый день, чаще всего — у меня в мансарде, которая была расположена просто идеально для встреч с друзьями. В последнем классе лицея и потом, в университете, дня не проходило, чтобы ко мне наверх кто-нибудь не зашел. Являлись поодиночке и компанией, так что я решил, наконец, прикрепить на дверь записку: в какие часы я по-настоящему рад гостям.

Раду Боссие совершенно не изменился за все время нашего знакомства — с первого класса лицея и до его внезапной, абсурдной смерти в двадцать три года. Он был сыном прокурора Боссие, его мать, англичанка, красивая, эксцентричная блондинка, развелась с его отцом и вскоре после этого умерла в маленьком именьице, в бедности и забвении. Раду был близорукий, как и я, и его совсем не красили толстые губы и нос картошкой, — но зато он отличался чувством юмора и необыкновенным обаянием. Учеба его настолько не увлекала, что на последней ступени, под угрозой переэкзаменовки, его перевели в интернат при брашовском лицее им. Андрея Шагуна. Я всегда был рад повидаться с ним на каникулах. Жизнерадостный и остроумный, он потешался, доходя до цинизма, над занудством учебы, но был человек добрейший и настоящий друг. Он верил в мое научное будущее и читал все мои статьи, а Дину Сигиряну, Хайгу Актериану[25] и Жану-Виктору Вожену[26] я доверял свои литературные опыты. Когда я уехал в Индию, Раду Боссие часто захаживал к нам, узнать от мамы новости обо мне. Являлся с большим портсигаром, с удовольствием соглашался выпить кофе и потешал весь дом рассказами о своей жизни великовозрастного студента. Потом как-то раз поехал по делам в Крайову, заболел и в считанные дни умер. Известие добралось до моей келейки в Сварга-ашраме, в Гималаях, в ноябре 1930. Он был первым из нас, кто ушел.

С Хайгом Актерианом я подружился позже, но с каждым годом эта дружба крепла, особенно после университета. В первых классах лицея мы оба выступали по праздникам, я играл сонаты на пианино, а он пел «*Le Grenadier*» —у него рано сформировался баритон (потом у них с Жаном-Виктором Воженом открылись актерские способности, и они вместе поступили в Высшую Школу драматического искусства).

На тех же лицейских вечерах, которые в последние годы проходили в Национальном театре, они оба получили главные роли в одной

комедии Вальжана (я играл помощника комиссара полиции) и в пьесе «Сармалэ, друг народа» Н. Йорги.

Хайг был очень смугл и красив ленивой, восточной красотой. Белокурый Вожен еще подростком соперничал внешностью, шиком и успехом у женщин с Дину Сигиряну. Он рассказывал нам о своем отце, которого никогда не видел, потому что тот рано исчез при странных обстоятельствах, и которого ему нравилось представлять великим авантюристом, донжуаном или новым д'Аннунцио (д'Аннунцио, впрочем, долго оставался любимым автором Вожена). К этой группе моих приятелей присоединился позже Петре Вифоряну[27], высокий, горделивый, ироничный. Ему удавалось быть отличником, не впадая в педантизм и успевая одновременно множество всего: заниматься литературой, латынью, вести светскую жизнь, следить за политикой. От него первого я узнал, что такое настоящее честолюбие, — когда в один прекрасный день он признался мне, что запишет себя в неудачники, если к тридцати годам не станет университетским профессором и депутатом, к сорока — министром, а к пятидесяти — премьер-министром.

В шестом классе лицея эта наша компания и еще несколько ребят завели обыкновение встречаться по воскресеньям у нашего однокашника по имени Мирча Мошуна-Сион. Приходили и девочки, а чтобы наши сборища не напоминали заурядные вечеринки, мы решили образовать культурно-художественное общество и назвали его «Муза». Программа была с претензиями: доклады с последующими обсуждениями, «концерты» и сверх того — драматические спектакли. В числе первых опытов был отрывок из «Дон Жуана» Виктора Ефтимиу, где я получил роль монаха, а Вожен — Дон Жуана. Я также не раз играл на пианино — Рахманинова, Грига, Дебюсси. Но никогда не соглашался сыграть арии из «оперы» под названием «Томирис», которую я в то время писал и о которой знали немногие из моих друзей. Работа над оперой, хотя этот проект и льстил моим амбициям, шла туго, потому что я жалел время на запись нот и старался просто запоминать сочиняемые мелодии, а поскольку музыкальная память у меня была весьма посредственной, то и мелодии менялись изо дня в день.

Зато сделать доклад о боге Раме я согласился. Документальный материал я почерпнул целиком из книги Шюре «Великие посвященные», на которую как раз недавно наткнулся. Имея очень смутные представления о Древней Индии, я поверил всему, что говорил Шюре. (И каковы же были мое изумление и моя ярость, когда я задним числом узнал, что речь идет о его «мистических» выдумках. Наверное, с этих пор во мне и поселилось недоверие к дилетантам, страх, что меня проведет какой-нибудь «любитель», и стало набирать силу желание идти к источникам, консультироваться только с трудами спе-

циалистов, досконально изучать всю библиографию.) Мой доклад получился длинным, многословным, вероятно, претенциозным, и я помню только веселое любопытство на лицах девочек и мальчиков — скорее всего, как сопротивление скуке.

Именно с эпохи нашей «Музы», к собраниям которой я относился рьяно и с энтузиазмом, я начал всерьез принимать свою некрасивость и свое одиночество, во многом надуманное. Я единственный являлся на собрания в лицейской форме (все остальные давно уже ходили в «цивильном») и был единственный, кто не только не пытался как-то скрасить короткую стрижку, но стригся прямо-таки под ноль. Я, конечно, давно заметил, что проигрываю рядом со своими красавцами-друзьями, и редко когда девочки изъявляли желание поговорить со мной, но, перестрадав это, стал упиваться ситуацией, убеждая себя, что имею внешность безобразную, отталкивающую. Напрасно друзья пытались убедить меня в обратном, я их не слушал. Дину Сигиряну доказывал мне, что, если я не уверен в себе, то должен, по крайней мере, пудриться (как он), дабы скрывать веснушки и прыщи. Вожен убеждал меня, что я вполне хорош собой: высокий лоб, уши, которые не топырятся, густые брови, — только надо уметь выигрышно все это подать, то есть, как он выражался, «создать свой стиль».

Впрочем, я чувствовал, что дело не только в близорукости и уродстве. Раду Боссие был, может, еще страшнее, а уж близорукий точно, как я, и все же девушки искали его дружбы, и он был душой общества. В отличие от него и почти от всех своих друзей, я рядом с девушками испытывал робость и неловкость. Оставаясь наедине с девушкой, я не знал, о чем с ней говорить. Я не умел ухаживать; мне казалось, что это какой-то особый «жанр» — как у Вожена или у Сигиряну, или что это, по меньшей мере, предполагает иронический, острый язык, как у Виформяну, или юмор, как у Боссие. Ко всему прочему моим минусом было то, что я не умел танцевать. Может, я и научился бы, как научились мои друзья и однокашники, по ходу дела, на тех же воскресных вечеринках, если бы сам не подсаживался к пианино играть модные фокстроты и танго, под которые они и танцевали. С тех пор и до окончания лицея меня приглашали на все сходки с чаем и танцами, потому что я слыл самым лучшим и неутомимым пианистом.

Однако, как я уже говорил, я все больше и больше смирялся с таким положением дел, видя в нем знак своей исключительности. Мне казалось, что все мои неудачи в «свете», как и все мои унижения, которые я сносил в лицее, имеют предназначение изолировать меня от мира и сохранить исключительно для книги, которую я был призван написать, для книги, которую намеревался назвать «Роман о подростке в очках».

* * *

Стремительно развивавшаяся близорукость совпала с открытием Бальзака, Вольтера, Хандеу[28], авторов очень плодовитых и привлекавших меня особенно своей широтой и разнообразием. Бальзака я глотал примерно по тому в день. И, как одержимый, вместе с Мирчей Мэркулеску, пропагандировал его среди коллег, убеждая всех и каждого читать его романы. Так на несколько месяцев нам удалось увлечь Жана-Виктора Вожена. У нас сложился род ритуала: на переменках мы обсуждали последние открытия и пробовали составить, в меру своих сил, реестр персонажей «Человеческой комедии». Мы перечитывали романы, которые не захватили нас с первого раза, затем только, что не могли вспомнить в точности какую-нибудь реплику Ораса Бьяншона. Впрочем, исчерпав все, что мы нашли у букинистов и по библиотекам, доступным нам в то время, мы принялись перечитывать каждый свои любимые вещи. Только в лицейские годы я перечел, думаю, раз по пять-шесть, «Отца Горио», который остался для меня самым бальзаковским романом и к которому я и после возвращался с неизменным удовольствием всякий раз, как меня снова одолевала страсть к Бальзаку. (Последний раз в Париже, в 1947 году, когда я даже начал писать «Жизнь Бальзака», доведя описание до 1829 года, до выхода в свет «Шуанов».) Но особенно увлекали меня его фантастические вещи («Серафита», «Шагреневая кожа», «*Le Centenaire*») и малоизвестные («*La vie des Marthyrs*», «*Les Proscrits*» и пр.). Меня совершенно покорил этот исполин, который действовал в стольких разных мирах, который не довольствовался тем, что «бросил вызов гражданским установлениям», но ввел в современную литературу *андрогина*, придумал множество мифологий, связанных с волей и энергией человека действия.

Вольтер привлек меня сначала тем, что с непревзойденным совершенством писал равно романы и памфлеты, эпистолы и исторические монографии, философию и литературную критику. Я прочел уже несколько его книг, когда у антиквара мне попались два разрозненных тома вольтеровской библиографии, составленной Бенжеско, и я купил их. Я листал эти тома с волнением и энтузиазмом. Там числились сотни и сотни крайне разнообразных работ — и это в точности отвечало моей тайной надежде, что мне будет дано писать о множестве вещей, что мне не придется ограничиваться, например, только наукой или только литературой, или только историей. Вольтер стал моей первой встречей с гением энциклопедизма — вероятно, поэтому я им и восхищался, он поощрял мои тенденции широкого подхода к истории, мои мечты об универсалистском духе. Но собственно вольтерьянцем я не стал. И, когда открыл других «универсалистов», когда открыл особенно Папини, а потом Гете и Леонардо да Винчи, я забросил Вольтера.

Хашдеу пленил меня широтой культуры и дерзостью историографических гипотез. Я читал его в библиотеке Королевского Фонда, а когда, в седьмом классе, вызвался делать о нем доклад, учитель Нанул дал мне записку к одному библиотекарю из Румынской Академии. Я пошел к нему после уроков и, хотя был в лицейской форме, меня приняли в читальном зале Академии. Так мне привелось познакомиться с юношескими сочинениями Хашдеу, в частности, с издававшимися им журналами «Дин Молдова», «Колумна луй Траян» и с работой, которая произвела на меня очень большое впечатление: «Правда ли, что даки исчезли?». Я написал форменную диссертацию, которую зачитал перед классом в два присеста. Из этой рукописи я потом извлек первые статьи о Хашдеу для «Универсул литерар», «Фоая тинеримий» и «Кувынтул». Восхищение перед гением Хашдеу я не утратил и по сей день. С 1934 по 1937 год, будучи уже ассистентом на кафедре Нае Йонеску, на филологическом факультете, я провел много вечеров в библиотеке Румынской Академии, работая над критическим изданием Хашдеу, и весной 1937 года в «Фундацийле Регале» выпустил двухтомник его литературных, критических и политических сочинений. Издание было далеко от совершенства, но в то время другого не было, да и потом ничего лучше не появилось.

* * *

Начиная с 1922 года, в «Зьярул штиинцелор популаре» я, кроме «Энтомологических бесед», стал вести рубрику под названием «Из блокнота натуралиста». Не думаю, что мои очерки были хорошо написаны, но для меня они имели сентиментальную ценность как своего рода беллетризованный дневник экскурсий в Карпаты, в монастыри Прахова и Молдовы, путешествий по Буковине и Трансильвании. Я вовремя заделался скаутом. Моя склонность к «авантюрам», которую я столько лет удовлетворял в шатаниях по пустырям и подвалам университета, в компании с разной шпаной и бродягами, теперь нашла выход в деле, способном эту склонность и упорядочить, и углубить. Когда я обнаружил, что могу, назвавшись скаутом, целыми днями скитаться по горам и долам, и родителей это отнюдь не смущает, я понял: вот он, ключ к свободе. Довольно было объявить, что наша центурия готовится к новой экскурсии, на три-четыре дня или на неделю, как мама тут же осведомлялась, сколько мне понадобится денег.

Родители были чрезвычайно довольны моими скаутскими занятиями. Особенно мама — ее очень беспокоило мое запойное и беспорядочное чтение. Она опасалась, что я либо ослепну, либо подорву здоровье. Ей казалось ненормальным, что мальчик моего возраста, годами привычно слонявшийся по пустырям, вдруг стал затворником

и читает день и ночь, причем те книги, которые, по ее представлениям, были слишком трудны для незрелого ума. Зная, что я ушел в поход с «научной» целью, она, по крайней мере, могла быть спокойна в одном: что я не читаю, что я на свежем воздухе, что утомляю не глаза и мозг, но тело.

И я действительно уставал. Никогда не забуду пасхальные каникулы в Карпатах, когда мы сквозь буран и сугробы пробирались к скиту Скея, прилепившемуся к утесу; или бесконечные холодные дожди, от которых мы дни напролет защищались только накидками, кое-как скроенными из полотна палаток, при переходе через теснину Биказа на Трансильванское плато. Не забуду бивуаки на Пьятра Краюлуй и первую экскурсию в дельту Дуная, от которой мы пришли в такой восторг, что, хотя раз я чуть не утонул в теплой топи, запутавшись в водорослях, мы решили не просто вернуться туда на будущий год, но даже купить собственную барку и проплыть от Тулчи до Констанцы.

Последние три класса лицея я перестал проводить каникулы с семьей в Текиргёле. Наш отряд уходил на неделю-другую в горы, потом на месяц — в какой-нибудь из скаутских лагерей в Пояна Сибиулуй или в Мангалии. Когда к концу августа я возвращался в Бухарест, я оказывался предоставлен себе самому. Семья была еще в Текиргёле — кроме Нику, которому поручалось обо мне заботиться: готовить еду или ходить вместе со мной по вечерам в молочную. У меня было абсолютное чувство свободы. Я мог читать, что хочу и сколько хочу, и, хотя мансарда раскалялась так, что даже в одной рубашке жара донимала невыносимо, мне следовало бы радоваться своему счастью. Но не тут-то было...

* * *

Начались приступы меланхолии, с которыми мне предстояло отныне бороться многие годы подряд. Мне понадобилось большое напряжение воли, чтобы противостоять первым наплывам тоски. Она накатывала внезапно, перед заходом солнца, и вначале я даже не понимал, что со мной происходит, я думал, что это усталость из-за недосыпания. Но напрасно я заставлял себя отдохнуть или даже подремать. Мне не спалось. Не было ни усталости, ни изнурения — только ужасное чувство чего-то непоправимого. Чувство, что я потерял что-то важное, невосполнимое, и к чему теперь тратить время на чтение и письмо, если ни в чем больше нет смысла: ни в музыке, ни в экскурсиях и прогулках, ни во времяпрепровождении с приятелями. Я мучительно пытался определить, *что* я «потерял», и иногда мне казалось, что речь идет о моем детстве, о годах, проведенных в Рымнику-Сэрат и в Чернаводэ, о первых годах в Бухаресте, которые сейчас казались мне сплошным блаженством и чудом. Мне довольно было

припомнить какую-нибудь подробность из детства: рождественскую елку, нашу бричку в Чернаводэ, мамино платье, парадную форму отца, — и меня одолевали слезы. Слез я боялся как огня, и никогда не простил бы себе, если бы разревелся. Так что я пытался избежать этого унижения всеми средствами: окунал голову в таз с водой или убегал с мансарды и бродил по улицам, или пробовал вслух, громким голосом, издеваться над самим собой. Но скоро я обнаружил, что моя непонятная грусть питается множеством других источников, о которых я не подозревал: например, чувством «преходящести», тем простым фактом, что были вещи, которых больше нет, которые прошли, подобно моему детству или детству моего отца; чувством, что у меня были возможности, которые я не использовал, а теперь уже поздно и ничего нельзя исправить. Или сожалением, что я вырос не в деревне, что я ребенком не знал сельской жизни, которая одна казалась мне по-настоящему истинной, что теперь я навсегда оторван от этого идиллического мира.

Литература тоски по прошлому, представленная писателями Молдовы: Садовяну[29], Йонелем Теодоряну[30], Чезарем Петреску[31], — которые вспоминали свое детство и тогдашнюю патриархальную жизнь, тоже питала мою меланхолию. Я не мог сдержать слез по прочтении «Тети Маргареты» Садовяну, «Улицы детства» Йонела Теодоряну, иных рассказов Чезара Петреску. И написанный мной позже гневный очерк «Против Молдовы» был как раз отчаянной попыткой трансмутации этой чувствительности, исподволь подрывающей мое душевное здоровье. Я потому и набрасывался с такой жадностью на животворную прозу Папини, на его памфлеты из «*Maschilità*» и «*Stroncature*». Так я попадал к «своим» — к тем, кого хотел считать своими, — к людям «из камня», как Данте и Кардуччи, а не «из меда», как Петрарка и романтики. Длинное эссе-гибрид «Апология мужества», которое я студентом опубликовал в «Гындиря»[32], тоже было жестом защиты от Молдовы, бывшей у меня в крови.

Мне было так трудно защищаться, потому что источников моей печали было много, и они были скрытые. Иногда меланхолия нападала на меня оттуда, откуда я меньше всего ее ждал. Целыми годами я лелеял и раздувал свою одинокость, внушал себе, что с детства был не как все, а уникальным, и оттого в изоляции. Очень долго установка на одиночество защищала меня как внутренний панцирь от всех неудач и унижений. И вдруг, разом, это самое одиночество, которое я воспринимал как свое предназначение, придавило меня могильной плитой. Чего бы я не сделал, чтобы расколоть ее, чтобы сблизиться с кем-то, кто бы «понял» меня, и тут подразумевался, конечно, *кто-то* не из моих друзей, а из тех девушек, которых я встречал воскресными вечерами в гостях или на «Музе». Точнее сказать, не конкретная девушка,

но собирательная, наделенная всеми свойствами моего тогдашнего женского идеала, в число коих я не преминул включить выдающийся музыкальный талант, энциклопедическую культуру, непревзойденное знание мировой литературы и оккультных наук. С другой стороны, чем яснее я рисовал себе красоту, обаяние и ум этой девушки, в которой сосуществовали, рядом с Юлией Хашдеу[33] и Марией Башкирцевой, Антинея из «Атлантиды»[34] и не помню уж какая из кинематографических звезд, тем непоправимее казались мне мои собственные недостатки, особенно уродство и застенчивость.

Все свои ламентации я записывал в дневник. Тоска наплывала в сумерках, набрасывая на меня огромную сеть, в которой я отчаянно бился до поздней ночи. Потом приходил в себя, чувствуя, что меня иссушило, что внутри пустота и покорность, почти смирение, — и снова привычно усаживался за работу.

* * *

Со временем я научился высмеивать самого себя, называя «дешевыми романсами» свои выдумки насчет всяких Антиней вперемежку с Ипатией[35] и Марией Башкирцевой, которых я по частям собирал из девушек, приходивших на вечеринки. Зато я открыл для себя дома на окраине, где стал бывать у других женщин, из плоти и крови, чья колоритность вызывала во мне влечение. В одной из глав «Романа о подростке в очках», названной «Суббота», я обрисовал, на основе дневниковых записей, свои вылазки в Круча де Пьятра[36] и еще дальше, чаще всего в компании Мирчи Мэркулеску, — вылазки, которые заканчивались нашими долгими, иногда до зари, беседами в местных корчмах. В последних двух классах лицея мы очень подружились — он был долговязый, худой, с острым носом (я прозвал его Цэндэрика), — и благодаря ему я узнал вблизи жизнь еврейской бедноты из Дудешти. Мы завели обычай вместе проводить праздники: христианские у нас дома, еврейские — с его семьей. Он был поклонник Бальзака, хотя одно время, поддавшись наивному скептицизму, увлекся Анатолем Франсом. Позже он открыл для себя Фрейда, и это определило его решение уехать в Париж, изучать, кроме медицины, психоанализ. Нас роднила неутолимая тяга к культуре, он тоже читал запоем. Нам с ним надо было обсудить столько всего, что мы уговорились встречаться исключительно по ночам, чтобы успеть затронуть все проблемы, которые нас занимали, от «Золотоглазой девушки» до происхождения Пятикнижия или до последней из прочитанных книг Фрейда. Мы были закадычные друзья, но, хотя и откровенничали друг с другом, я никогда не рассказывал ему о своих приступах меланхолии. Я стеснялся огорошить его известием, что его товарищ, ко-

торого он считал таким мозговитым, может самым жалким образом мучиться по той простой причине, что проходит время и что-то в нас, что-то важное, осыпается безвозвратно.

* * *

После того как я заделался скаутом, я стал подбивать Мэркулеску вместе с нами пуститься в экскурсии. Он согласился без особой охоты, потому что был совершеннейший горожанин и природа оставляла его равнодушным. На Пасхальные каникулы мы поездом отправились в Синаю, а оттуда пошли пешком в горы, к Яломичьоарскому скиту, где был приют для туристов. Но уже на подходе к Пьетре Арсе погода резко переменилась, пошел снег и поднялась буря. Нас было пятеро-шестеро мальчишек, одетых по-весеннему, Мэркулеску — даже в белых парусиновых туфлях. Из Синаи мы вышли довольно поздно, а непогода сбила нас с пути. Не знаю, сколько часов мы шли наугад по снегу. Уже давно стемнело, когда мы наткнулись на домик, который, по всей вероятности, построило для своих рабочих какое-то лесоразрабатывающее общество. Мы сбили замок и вошли. Разожгли огонь, приготовили чай и, подлив в него побольше рома, повеселели. Снежная буря злилась, а нам — хоть бы что. Правда, дверь наутро открылась с трудом, и, чтобы не увязнуть в сугробах, пришлось привязать к подметкам короткие дощечки крест-накрест.

Мы уже уснули, когда раздался сильный стук в дверь. Мы впустили двух рабочих, которые волокли за собой, на самодельных санях, мертвого человека. Они шли вниз с горы и, заметив у нас в окнах огонь от тлеющих углей, решили препоручить его нам. Рабочим надо было к раннему утру поспеть на фабрику, но они заверяли нас, что оповестят жандармский пост в Синае, и за телом придут.

— Ежели мы оставим его за дверью, его до утра волки съедят, — сказал один рабочий, видя наше замешательство.

Они положили тело, завернутое в плащ, прямо у двери. Не думаю, что кто-то из нас снова уснул в ту ночь. Это происшествие решительно отвадило Мэркулеску от экскурсий. Но мы, остальные, вернулись в Бухарест чрезвычайно гордые, что подверглись опасности. Я даже написал повестушку, навеянную этим приключением, «Ева», и она получила премию на конкурсе «Фоая тинеримий». Там шла речь о молодом человеке нашего возраста — как он раз весенним днем повел подружку на прогулку в горы. Но, за исключением снежных заносов, блуждания по лесу и взлома замка в домике, все было выдумано. Когда он ее спас, чуть ли не на руках втащив под крышу, и девушка, без сил, уснула на полу, рассказчик завершает: «И тогда я почувствовал, как нестерпимо желанно для меня тело Евы...»

Глава 5

NAVIGARE NECESSE EST...[37]

Я давно начал «Роман о подростке в очках», но только зимой 1923–1924 годов «увидел» его целиком, от начала до конца. На сей раз я был уверен, что смогу его закончить, и, более того, что это будет выдающаяся книга, которая наделает шуму и которая отомстит за меня всем учителям, всем отличникам, всем красивым и поверхностным девушкам, не сумевшим меня оценить. Я считал, что созрел для написания романа. У меня было опубликовано уже с полсотни заметок и литературных очерков в городской периодике, я регулярно сотрудничал с лицейским журналом «Влэстарул» и даже стал его ответственным редактором: собирал материалы, относил их в типографию, часами стоял рядом с наборщиком — удостовериться, чтобы он не наделал ошибок при наборе с рукописи. Кроме того, я хранил свой подробный дневник, Мне казалось: если я правильно распоряжусь всеми этими материалами, роман будет готов в считанные месяцы.

Я предполагал сделать больше, чем автобиографический роман, — образцово документированное отрочество. Я дал себе слово ничего не придумывать, не приукрашивать и, по-моему, слово сдержал. Даже девчоночьи любовные письма были настоящие — я просто-напросто списал их с тех, что получал Дину Сигиряну. Главы, где я обрисовывал наше общество «Муза», вечеринки у приятелей, стычки с Пападопулом и Банчиу, — все следовало дневнику, откуда я иногда брал дословно целые пассажи. Я добивался, чтобы диалоги были «настоящие», чтобы каждый персонаж четко отличался своей манерой речи. Ценность документа — вот что было для меня главным в «Романе о подростке в очках». Первый раз, думал я, подросток пишет об отрочестве, и пишет на «документальной» основе. Когда несколько лет спустя «Вьяца Ромыняскэ» начала печатать отрывки из второго тома «В Меделень», я понял, что не ошибся. Подростки Йонела Теодоряну были не те, которых знал я. Они принадлежали другому миру, может быть, чарующему и трогательному, но точно отошедшему навсегда. Мои же подростки не отставали от времени, они были из Бухареста первых послевоенных лет, лет джаза и «*La Garçonne*». Себе я, конечно, льстил (все-таки я писал *всем им* в отместку), но в остальном роман был «реалистичен» донельзя. Я не постеснялся посвятить

пространную главу эротическим открытиям, и почти все, что мы с ребятами думали о сексе, любви, о Боге, о смысле жизни и прочих проблемах, которые нас волновали, — все было записано там без прикрас, почти без отделки.

В общем, такая была у меня амбиция: показать, что мы, тогдашние подростки, — не какие-нибудь марионетки наподобие тех, что мелькали в литературе; мы крепко стояли на ногах — и в духовном, и в физическом смысле. И мир, в который мы намеревались вступить, не был миром наших родителей. Нам хотелось чего-то другого, мы мечтали о чем-то другом — хотя единственный, кто знал поточнее об этом «чем-то другом», был, очевидно, автор романа.

Сюжет я выбрал простой: один лицеист из лицея Спиру Харета пишет о себе и о своих соучениках, о друзьях и о преподавателях. Те, кто меня знал, сразу угадывали в этом лицеисте меня, потому что я упоминал мансарду, инсектарий, книги, которые мне нравились, свои мечтания стать когда-нибудь ученым, пианистом или писателем. Связи между главами не было: я писал то о меланхолии, которая подчас нападала на меня в сумерках (например, когда я смотрел из оконца мансарды на пустую улицу или когда воскресным днем до меня доносилась издали песня чьей-то служанки); то об уроках немецкого и обо всем, что приходило мне на ум, когда я слушал, как Пападопул объясняет нам «Разбойников»; то о нашем обществе «Муза», то о девушках, о девушках, которые мне нравились и перед которыми я робел. Но больше всего страниц занимали признания, кем я хотел бы стать, что бы мне хотелось делать; бесконечный анализ моих душевных состояний (экзальтация, апатия, усталость, отчужденность и так далее); портреты моих друзей, сюжеты новелл и романов, которые я собирался написать и с персонажами которых любил беседовать. (Я посвятил, кажется, целую главу разговорам с Норой, персонажем одной новеллы, которую я так и не дописал, потому что действие виляло, как хотело, и все время менялось.)

И все же из этих разрозненных, разностильных глав (то лирических и убийственно грустных, то чуть ли не юмористических, то едких и запальчивых) явственно проступал «сюжет»: подростка, который вырастает из отрочества, разрывает тоска, что эта пора (которая могла бы быть, по его ощущениям, исполненной блаженства) уходит, и в то же время ему не терпится поскорее освободиться от нее, чтобы начать «настоящую жизнь». Эта любопытная двойственность пронизывает книгу насквозь: автор настаивает, к месту и не к месту, что отрочество вообще важная эпоха, а отрочество его и его друзей представляет собой новое духовное явление, дотоле невиданное, и как таковое его следовало бы растянуть подольше, чтобы успеть проанализировать и верно истолковать; с другой стороны, автора донимают сложности его

возраста: прежде всего, меланхолия, разные сожаления и стеснительность, — из которых отрочество, по его мнению, и складывается.

Но несмотря на это все, какой отдушиной для меня, тогдашнего, был этот роман! Даже лучше, чем в дневнике, я разряжался, когда писал его (в надежде, что смогу опубликовать), исправляя все свои провалы и унижения. Уже несколько лет я регулярно участвовал в конкурсах газеты «Тинеримя Ромынэ» и ни разу не удостоился хотя бы упоминания. Когда я был в шестом классе, помню, что писал на заданную тему (какую, не помню) под таким «вдохновением», что, перечтя сочинение, сам пришел в восторг и ни на йоту не сомневался: «Первая премия с венком»[38] будет моя. Не найдя своего имени в списке награжденных из нашего лицея, я отказался верить глазам. Я был уверен, что это ошибка. В воскресенье я явился в Атеней лично присутствовать на вручении премий. Когда дошло до шестых классов, у меня забилось сердце. «Первую премию с венком» получил другой Мирча — Мирча Йонеску из лицея Матея Басараба. Я об этом знал, потому что имена лауреатов были опубликованы в «Универсуле», но до последней минуты считал, что это опечатка.

Ярость моя не знала границ. Я просто ненавидел Мирчу Йонеску (он тоже был очкарик и на вид еще страшнее меня). Я решил, что такую несправедливость нельзя зарывать в интимный дневник, но надо предать огласке. В задумчивости я пошел в сторону Шоссе. Дело было в мае, солнце клонилось к закату — час, которого я больше всего боялся, потому что в этот час меня одолевала грусть и тревога. Но в то воскресенье мне было не до грусти. Я истекал кровью. Что больше всего меня ранило, так это несправедливость — я точно знал, что Мирча Йонеску не мог написать лучше, чем я. Я считал, что мои странички — самые вдохновенные, самые удачные из всего, что я до сих пор написал. У меня не было оснований ошибаться, потому что множество других моих очерков, рассказов, эссе получали высокую оценку и публиковались.

В таких надрывных мыслях я бродил несколько часов и домой пришел, когда уже стемнело. В ту ночь я написал новую главу романа. Я, кажется, так и назвал ее: «Мирча Йонеску, первая премия с венком». Мне удалось вернуть себе покой, и я уснул, примиренный. Перечтя эту главу позже, я нашел ее великолепной. Но некоторое время спустя Йонел Теодоряну опубликовал в «Адевэрул Литерар» отрывок из «Меделень», озаглавленный «Мирча Йонеску», — и тогда я отказался от своей главы.

* * *

Впрочем, то была не единственная глава, которой я пожертвовал. На протяжении всех этих лет я непрестанно добавлял к роману или

выбрасывал из него страницы и целые главы. Роман был почти готов, но, когда я перечитывал его, мне чудилось, что я не все сказал или был не вполне достоверным, и, снова прибегая к тетрадкам дневника, я правил текст или вводил новые пассажи. Больше всего я трудился над передачей «умственного вожделения»: когда дойдешь, например, до мысли, что антропоморфного Бога не может быть, то это опыт столь же возбуждающий, как и открытие физической стороны любви. Я пытался поточнее и поподробнее описать мыслительный процесс: например, что произошло в моем мозгу, когда я впервые прочитал, что «время и пространство суть априорные восприятия», или что происходит, когда я закрываю глаза, затыкаю уши и говорю себе: вот он, я, это я, я сам, но кто он, этот *я*, кого в себе я называю самим собой?

Еще я хотел показать, насколько книги *живые*, какое это потрясающее чувство — найти у букинистов книгу, которую искал годами. Иногда такие находки полны драматизма — в силу обстоятельств, их сопровождающих. Помню, однажды летним днем я нашел у букиниста сиротливый томик из «Моралий» Плутарха и обнаружил в нем тот самый таинственный трактат «*De Pythiae oraculis*». Мне не хватило терпения добраться до дома. Я зашел в Чишмиджиу, сел на скамейку и прочел «*De Pythiae oraculis*» одним духом. Очнувшись, увидел, что солнце заходит, и тогда вдруг трактат показался мне далеким и ненужным, и все труды Плутарха вообще, а заодно и все другие труды, все книги, которые я любил, все писатели, которыми я восхищался, только один вопрос назойливо осаждал мозг: зачем? Что толку знать, почему Пифия перестала давать ответы в стихах?

И все тогда пошло прахом, я оказался в мире теней и сует, без смысла, без надежды, в мире, где все вещи напрасны и пусты. В минуты таких приступов безнадежности я пытался собраться с духом и найти ответ на вопрос: зачем? Зачем «*De Pythiae oraculis*»? На скамейке, с томиком Плутарха на коленях, я силился улыбнуться, долго протирал платком очки и искал ответа. «Чтобы тебе насолить, — шептал я. — Тебе, тому, кто меня пытает!..» Я чувствовал, что это не тот ответ, но я упрямился. «Да, именно потому, что в трактате Плутарха нет ни пользы, ни смысла, именно поэтому надо его читать. А поскольку ни в чем нет смысла, мне плевать и на *есть смысл*, и на *нет смысла*, я буду делать, что захочу, пусть даже без никакого смысла...» Но все это были крики немощи, я чувствовал, до чего они фальшивы, потому что в эти минуты мне ничего не хотелось; и уж во всяком случае — не хотелось читать Плутарха.

Незаметно Чишмиджиу погрузился в тень, и повеяло прохладой с только что политых клумб. Публика сменилась. Ушли пенсионеры, денщики и гувернантки с детьми. Фонари еще не зажглись, и те, кто вступал в сад, шли под цветущие липы. Это были, главным образом,

молодые пары, студенты, офицеры. Как будто бы слышнее, ближе стали трамваи, едущие вниз, к Елизаветинскому бульвару. Я все улыбался и чувствовал теперь, что ошибался, что, хотя я не знал, как себе ответить, но у мира был смысл, Плутарха стоило читать, а «*De Pythiae oraculis*» — настоящее открытие.

Той же ночью я все это записал, по горячим следам, в надежде потом вставить в какую-нибудь из глав романа. Мне казалось, что такой «опыт» важен. Я не считал, что живу головой (как персонажи «Сикстин»[39]), я упирал на то, что книги — по крайней мере, для меня — бывают живее людей, что они тоже бывают начинены взрывчатым веществом, что после встреч с иными книгами можно либо костей не собрать, либо оказаться вдесятеро сильнее, чем был раньше.

Такой встречей — решающей для меня и для судьбы «Романа о подростке в очках» — был «Конченый человек» Джованни Папини. Я прочел, как многие из моих товарищей, его «Историю Христа», но она меня не захватила. А «Конченый человек» полыхнул, как молния. Он появился в румынском переводе в «Культура Нацьоналэ», открыл его Хайг Актериан и настоял, чтобы я прочел. «Тебе понравится, — сказал он, — смахивает на тебя».

До той минуты я и никак не думал, что могу быть в такой мере на кого-то похож. Я увидел почти копию себя в детстве и отрочестве Папини. Как и он, я был урод, очень близорук, с ранних лет снедаем безграничной любознательностью, желанием прочесть все, мечтой написать обо всем. Как и он, я был застенчив, любил одиночество и находил общий язык только со своими умными или эрудированными друзьями; как и он, я ненавидел школу и не верил ни во что, кроме того, что изучал сам, без помощи учителей. Потом я разобрался, что сходство между нами все же не столь всеобъемлюще. Папини в детстве не был уличным мальчишкой, как я, его не интересовали естественные науки и химия, не увлекала музыка. А я не собирался написать, как он, ни энциклопедию, ни историю мировой литературы. Но тем не менее моменты сходства глубоко меня взволновали: раннее развитие, близорукость, жадность до чтения, энциклопедизм и, главное, тот факт, что, как и я в своем романе, Папини говорил об отрочестве, как об эпохе интеллектуальных открытий, а не как о физиологическом или душевном кризисе. Перечитывая «Конченого человека», я ловил себя на мысли, что я — всего лишь отзвук Папини. На смену моему энтузиазму пришли сомнения, ревность, ярость при мысли о том, сколько глав «Романа о подростке в очках» будут сочтены списанными с «Конченого человека» или на худой конец подражанием ему.

Я, конечно, не мог обойти столь важное открытие в моем романе. Уж не знаю, сколько раз я переписывал эту главу — мне все казалось, я не могу найти верный тон. Надо было высказать все, что я перечув-

ствовал и передумал, читая «Конченого человека»: радость оттого, что я нашел друга, старшего брата, маэстро, который пережил то же, что пережил я, — но и негодование оттого, что я вдруг оказался чьей-то тенью, что моя «оригинальность» — точь-в-точь как у другого и, значит, я не сказал ничего нового своим романом — по крайней мере, об основной проблеме главного героя: о чувстве обособленности и одиночества, из которого проистекали странности моего поведения. Несколько лет спустя, в университете, когда я начал публиковать фрагменты из «Романа о подростке в очках», я поместил во «Вьяца Литерарэ» окончательный вариант этой главы; глава называлась «Папини, Я и весь Свет» и была написана совершенно в духе Папини, стилем, который напоминал памфлеты его раннего периода. Я говорил о себе как о непризнанном гении, об исполине, который скрывается под видом школьника и грозит уничтожить всех, кто осмелится встать ему поперек дороги. Текст был такой неистово-нелепый, что позабавил всех моих тогдашних коллег-газетчиков.

Страсть к Папини засадила меня за итальянский язык, я хотел поскорее прочесть и другие его книги. Не забуду волнения, с которым я взял в руки издания Валлеки: цветные обложки и массивные буквы заголовков, будто бы высеченные из дерева. Заходясь от восторга, я прочел страницы с критикой и полемикой из «*Stroncature*», «*Maschilità*», «*24 Cervelli*» и так далее. За несколько месяцев я раздобыл все книги Папини, кроме тех, что никогда не переиздавались, — их я прочел только в 1927 году, в Центральной библиотеке Рима. Как я уже говорил, исступленная, ураганная и в то же самое время жесткая, язвительная проза Папини на протяжении многих лет помогала мне перебарывать меланхолию. Очень нескоро я отдал себе отчет в том, что Папини вовсе не был «великим писателем» масштабов Леопарди, например, или Кардуччи. Добрая часть его творчества привязана ко времени, и будущие поколения, вполне вероятно, еще больше от него отдалятся. Но я не сомневаюсь, что «Конченый человек» был и остается особенным документом, уникальным среди всей современной литературы.

Я признателен Папини и за то, что через него еще с лицейской скамьи познакомился с итальянской литературой и культурой, освободясь таким образом из-под опеки французской книжности; он помог мне —косвенно, раскрыв передо мной другие духовные запросы, напитав меня из других источников, — переломить ориентацию большинства интеллектуалов моего поколения, которые читали и обсуждали в первую очередь книги, доступные по-французски.

С тех пор я много раз писал о Папини и перевел несколько его фантастических новелл. В 1926–1927 годах я опубликовал о нем в «Кувынтул» три статьи и выслал ему, сопроводив письмом, где, среди прочего, сообщал, что я — студент филолого-философского фа-

культета. Несколько недель спустя мне пришло письмо на трех страницах. «*Cher ami inconnu*», — начиналось письмо, написанное крупным, разгонистым почерком. Он жалел меня за то, что я изучаю философию, «самую никчемную из всех наук», и приглашал в гости — если я окажусь во Флоренции. Я навестил его той же весной, в 1927 году, в свое первое путешествие по Италии.

* * *

Незаметно для самого себя в седьмом классе я оказался в стороне от дорогих мне естественных наук и от физики с химией и пристрастился, кроме литературы, которую любил с детства, к философии, ориенталистике и истории религий. В середине учебного года я сменил уклон на современный. Учитель Неделя Локустяну помог мне быстро нагнать, по части латыни, одноклассников. Локустяну отменно знал латынь, переводил Тита Ливия, был человеком богатой и светлой культуры. В юности, как оказалось, он изучал в университете химию, при лабораторных опытах ему взрывом оторвало кисть правой руки, и с химией пришлось распрощаться. Ему были ведомы такие вещи, какие трудно было ожидать от школьного преподавателя латыни. Настоящей же его страстью была антропософия, и, по-моему, он зауважал меня, главным образом, после того как я признался, что прочел кое-что из Рудольфа Штайнера. Немецким он владел слабо и продолжал его учить, переводя понемногу и только для себя те работы Штайнера, что не мог найти по-французски. Он интересовался оккультизмом, магией и даже имел любопытные идеи о роли колдовства в политической жизни Румынии. Потом я узнал, что он был приятелем Эм. Григораша, профессора-математика, который считал, что нашел криптографический ключ к тайной истории румынского средневековья.

Меня теперь совершенно захватил Древний Восток. В библиотеке Королевского Фонда, где я еще с шестого класса добился права заниматься, я делал открытие за открытием: от длиннющей и скучнющей «*Geschichte des Altertums*» Эд. Мейера, которую я подробнейшим образом конспектировал, делая выписки почти с каждой страницы, до публикаций музея Гиме, где нашел переводы с санскрита и с китайского и «Зенд-Авесту» Дж. Дармстетера. (Последняя меня разочаровала, потому что после «Так говорил Заратустра» я ожидал чего-то совершенно иного.) В те годы почти мистического восхищения Древним Востоком, когда я верил в «загадки пирамид», в глубинную мудрость халдеев, в оккультные знания персидских магов, мое усердие питала надежда, что в один прекрасный день я доберусь до скрытого источника всех этих традиций и разрешу все «тайны»: тайны религии, тайны истории, тайну человеческой участи.

Локустяну только поощрял эту надежду и, хотя в отношении латыни держал меня в ежовых рукавицах, не понуждал меня учить греческий, за который я взялся только на первом курсе, а подтолкнул именно к восточным языкам, посоветовав начать с древнееврейского. Я купил учебник, который издал как раз наш бывший преподаватель по истории религий, и взялся изучать иврит. По своему обыкновению, я занимался несколько часов в день, но, не имея опыта и без посторонней помощи, а, главное, при постоянном соблазне, исходящем от других восточных языков, больших успехов не добился. К тому же иврит меня не захватил. Локустяну напрасно уверял меня, что есть весьма важные каббалистические тексты, — то, что я прочел в переводе, меня не вдохновило.

Я засел за учебники персидского и санскрита Пицци и Пиццагалли, изданные в Милане. Вначале мне больше нравился персидский, и я мечтал когда-нибудь перевести на румынский «Шах-намэ». Корпел над этими двумя учебниками несколько месяцев, но не скажу, что заметно преуспел. Слишком много страстей меня разрывало, и я хотел угнаться за всем. Мне попались, среди прочего, «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом Завете» Фрэзера, открывшие передо мной неисчерпаемый мир первобытных религий и фольклора. И потом в то лето 1924 года, в седьмом классе, мне не терпелось кончить учебный год еще больше, чем всегда, потому что на скромной верфи города Тулча как раз тогда строили нашу барку. Мы давно нашли для нее имя, она называлась «Хай-хэй».

* * *

Она стоила двадцать тысяч лей и должна была перейти в нашу собственность — нашу, то есть восьмерых мальчиков, многолетних товарищей по походам. У нас за плечами было несметное число совместных путешествий и экскурсий. Мы решили купить барку после незабываемого похода в дельту Дуная. У одного из нас в Тулче жила семья, и он уверял, что там мы купим барку за половину ее рыночной цены.

В то лето мы не пошли, как обычно, в Бучеджи, а поехали в Тулчу смотреть, как строится барка. Натянули палатку во дворе у нашего товарища и обедали там, куда нас приглашали. Утро мы проводили на верфи, пытаясь определить, через сколько дней сможем спустить барку на воду. Потом упражнялись в гребле, купались в Дунае, а по вечерам, приодевшись, всей ватагой гуляли по главной улице, раскланиваясь с барышнями, отвечавшими нам улыбкой.

Дней через десять барка была готова. В длину она была двенадцать метров, имела каюту, три пары весел и огромную мачту. Мы зарегистрировали ее в управлении порта, сфотографировались перед ней вместе с мастерами, которые ее строили, и в разгар воскресного

дня, чтобы покрасоваться перед всеми нашими знакомыми из Тулчи, отправились в путь. Не было ни ветерка, и нам пришлось натужно грести. Мы работали веслами до позднего вечера, пока не нашли подходящего места под ивами, где и разбили палатку. В Тулче мы уже начали привыкать к комарам, но тут, на берегу Дуная, они напустились на нас тучами. Мы завернулись в дождевики, закутали головы полотенцами, и все равно уснули с трудом.

На другой день, как и еще несколько дней подряд, нас ожидал все тот же застывший, бездвижный воздух. Словно бы никто и ничто не дышало в этой волшебной дельте Дуная, ни один листочек не шелохнулся на деревьях. Чтобы срезать путь, мы ушли из рукава Святого Георгия и пошли каналами, проложенными среди камышовых зарослей. В прошлом году, выйдя из Сулины с детским отрядом на пятишести больших ботах, по два матроса на борту каждого, мы добрались до моря за считанные дни. На этот раз нам понадобилась целая неделя, потому что мы были вынуждены все время идти на веслах. Мы выбились из сил, к тому же у нас кончились припасы, осталось только несколько арбузов и полбочонка питьевой воды.

Как только мы вышли в море, поднялся ветер, да такой сильный, что мы засомневались, идти нам на риск или нет. Каждый день мы выбирали себе «капитана». Но в тот день «капитан» не осмелился взять на себя одного ответственность, а попросил принять решение сообща, тайным голосованием. Пятеро из нас, в том числе и «капитан», Львовски, проголосовали за отплытие. Торжествуя, с песнями, мы натянули паруса — и тут началось что-то невероятное. Барка слегка накренилась, словно под тяжестью мачты, потом резко развернулась и стрелой понеслась к берегам России. Мы силились повернуть ее к югу, но ветер был настолько сильный, а мы — настолько неумелые в обращении с парусами, что нам едва-едва удалось повернуть ее к юго-востоку. Теперь она неслась по диагонали, на Кавказ, разрезая волны с такой скоростью, что голова кружилась. Нам бы в голову не пришло, что наша увесистая барка может мчаться так резво. Скоро берег исчез, только очень-очень далеко, в дымке сумерек карликами стояли земляные холмы Добруджи.

Потом началась буря. Мы видели, как собираются тучи, как угрожающе растут буруны. Барка кренилась то в одну, то в другую сторону, иногда на мгновенье замирала, будто колеблясь — куда теперь, — потом все начиналось сначала. По-настоящему стемнело. Небо от края до края стали рассекать гигантские огненные зигзаги. Молнии падали все ближе и ближе к нам. Мы иногда слышали короткое шипение, когда они вонзались в воду, как раскаленные прутья.

В те времена я любил молнии. Два года назад нас застигла в Карпатах, на Пьетре Арсе, гроза необыкновенной силы. Когда молнии за-

били в нескольких десятках метров от нас, мой восторг перешел все границы. Я залез на скалу и стал распевать во весь голос «Кавалькаду» из «Валькирии». И в ту ночь, на море, я не испугался молний. И в ту ночь я пел «Кавалькаду» из «Валькирии». Скоро полил дождь. «Капитан» зашел в каюту, свериться с картой и компасом, и его затошнило, потому что качка теперь началась нешуточная. Мы решили спустить паруса. Это оказалось нелегко, потому что нас то и дело сбивало с ног. Наконец, нам удалось ослабить натяжение канатов, но высокая мачта, окутанная мокрыми парусами, так отяжелела, что то и дело опасно кренилась. Мы тут же всем скопом налегали на противоположный борт и кое-как выправляли барку. Еще большую задачу задавал нам штурвал. Как мы ни старались его удержать, барка то шла зигзагом, то ее вертело, как в водовороте. За полчаса три раза сменялся рулевой, но толку не было. И тогда мы взяли и открутили штурвал, положили его на дно и отдались на волю судьбы.

Может быть, это нас и спасло. Барка-то была построена отлично, с очень глубокой посадкой. Оставшись без управления, она закачалась легко, как ореховая скорлупка. Взлетала на гребень волны и падала в фосфоресцирующие бездны, но не опрокидывалась, потому что мы всегда были наготове перекатиться с одного борта на другой и удержать баланс. Ливень усилился, а кроме того, нас захлестывало водой от волн, которые бились вокруг. Совершенно одуревшие, мы вычерпывали воду чем придется: ведрами, консервными банками, котелками. И «капитан», и тот, кто пришел ему на смену, полегли, страдая от морской болезни. Но поскольку не надо было ничего решать, отсутствие руководства никак не ощущалось.

Ту ночь я никогда не забуду. Мокрый до нитки, лежа на дне барки, черпая, как сквозь сон, котелком воду и выплескивая ее за борт, я время от времени видел, как из темноты надвигается на нас страшная громадина высотой с дом. По мере ее приближения видно было, как она колышется, подрагивает и словно бы светится изнутри мерцающим светом. Помедлив, она издавала металлический скрежет, готовая рухнуть на нас. Мы оказывались у нее под брюхом, и, когда я глядел со дна барки вверх, мне казалось, что я смотрю снизу на золотисто-зеленый холм. Я говорил себе: все, спасу нет! И зажмуривался. Барка содрогалась, будто от удара в дно, мы чувствовали, как нас вздымает к небу, а когда я открывал глаза, мы были среди пены и золота, над пропастью, минута-другая, треск мачты — и мы ухали в бездну, обеими руками вцепившись в лавки.

Было жутковато, но все же страх меня не парализовал. Годом раньше, когда мы были в дельте Дуная и, измученные жарой и греблей, все бросились в теплую, стоячую воду заводи, я запутался ногами в водорослях, тело вдруг налилось тяжестью, и меня стало медлен-

но, но неотвратимо засасывать под воду. Те, кто уже вернулись на барку, все видели, но думали, что я притворяюсь, и только выражали восхищение, как я умело инсценирую утопленника. Меня спас в последний момент мой друг, поднырнув под меня и вытолкнув снизу на поверхность воды. Но сейчас боязнь утонуть меня не сковала. Было ощущение, что мы отданы на волю судьбы, что помощи ждать неоткуда. Абсолютная беспомощность, которая в каком-то смысле примиряла с ситуацией, дарила странного рода спокойствие. Поскольку ничего нельзя было сделать, я чувствовал полную раскованность. Воля, разум, все силы души были впервые в жизни свободны, не напрягались ввиду какой-то достижимой цели.

Молнии все так же рассекали темноту, приоткрывая нам то пропасти, в которые мы проваливались, то водяные горы, которые с ревом качали нас. Иногда высвечивалась верхушка мачты — тем же странным, фосфоресцирующим светом, что и волны, — и я слышал ее голос, как будто кричала птица-исполин. Только после полуночи буря унеслась дальше, хотя море не перестало кипеть и клокотать. Когда забрезжил рассвет, мы очутились среди лилово-седых огромных валов, но мы были уже привычные. Ветер не унимался, и это давало нам надежду. Мы решили отдохнуть часок-другой, выставляя по паре дневальных, потом поднять паруса и идти к берегу. Берега видно не было, однако компас показывал нам направление. Свет прибывал, и мы все больше отдавали себе отчет в размерах бедствия. Часть багажа смыло в море, другую часть разметало по дну барки, все вперемежку: книги, фотоаппараты, арбузы. Воды в бочонке осталось чуть-чуть, мутной и теплой. Мы были еле живы от бессонницы и усталости, но все же счастливы, а, главное, горды тем, что прошли через такое испытание.

Мы имели право гордиться, хотя нашей заслуги в том, что мы спаслись, не было. Когда через неделю мы прибыли в Констанцу, мы узнали, что в ту ночь утонуло много рыбацких лодок. Мы уцелели, потому что дали барке свободно нести себя. И в Констанце же мы узнали, что штаб скаутского лагеря в Мамае, где за несколько дней все переволновались, ожидая нас, выслал в то утро аэроплан с морской базы — искать нас по всему побережью.

Мы стали ложиться спать по очереди, пока около двух часов пополудни внезапный порыв ветра не сломал мачту и чуть не опрокинул барку. Так рассыпалась наша надежда в тот же вечер добраться до берега. Море утихло, тем не менее, мы чувствовали, что течением нас несет на восток — помедленнее, чем во вчерашнюю бурю, но так же верно. Тогда мы решили сесть на весла. Снова закрепили штурвал и, разбившись по четверо, стали грести: час гребли, час отдыхали. У нас оставалось немного кускового сахара, и мы экономно разделили его и ломти арбуза.

Через несколько часов показались низкие холмы Добруджи. Однако течение было сильным, а мы ослабли, поэтому барка шла медленно. Стемнело, у нас слипались глаза, и мы гребли молча, не переговариваясь. Чтобы прибыло сил, я представлял себя дома, в саду или на мансарде. Пытался припомнить названия книг, которые я еще не прочел, пытался испытать радость оттого, что они ждут меня там, в раскаленной, как печка, мансарде.

Перевалило за полночь, а мы все гребли, из последних сил, нас утешала мысль, что течение хотя бы не сносит нас обратно. Около трех утра нам показалось, что мы видим впереди, не очень далеко, темную полоску, которую не колыхали волны. Мы оживились. Решили, что это песчаная отмель и что мы сможем закрепить на ней барку и отдохнуть до утра. Скоро барка врезалась в песок. Те, кто выскочили посмотреть, как велика отмель, заулюлюкали от радости. Мы добрались до суши. Это был берег. То, что мы принимали за далекие холмы Добруджи, оказалось холмиками из песка и глины, которые тянулись на сотни метров в глубь суши.

Мы вытащили барку на берег, вынули из нее палатку и хотели ее установить. Но один из нас поскользнулся, упал и мгновенно уснул, не успев даже раздеться. Еще минута — и мы последовали его примеру. Мы только прикрылись полотном палатки, но спали прямо на песке.

На другой день после полудня нас разбудили рыбаки. Они увидели барку на берегу, покричали, но никто им не ответил. Тогда они подошли посмотреть, что случилось. Рыбачий поселок был в нескольких километрах. Мы дошли туда на веслах и набросились на еду, как голодные волки. Попросили возчика, который ехал в Меджидиу, дать телеграмму вожатому лагеря в Мамае, что мы живы. Когда, неделю спустя, окрепшие, опаленные солнцем, мы подходили к Мамае, работая веслами, как настоящие моряки, нас встречал криками «ура» весь лагерь.

* * *

Не сразу мы осознали последствия нашей авантюры. У одних началась водобоязнь, и они с тех пор наотрез отказывались купаться в море. У меня, которого с детства влекли гром и молнии, развился панический ужас перед ними, и я очень нескоро от него избавился. Насколько он въелся в подсознание, я обнаружил той же осенью, когда смотрел в Национальном театре «Короля Лира» и, не в силах вынести звуки грозы, вышел из зала. Меня даже показали доктору, он решил, что налицо следствие нервного потрясения и что со временем это пройдет. Но времени понадобилось много, и я помню, что в Лондоне, в 1940 году, я чувствовал себя спокойнее, когда бомбили город, чем когда собиралась гроза.

Интереснее показалась мне интерпретация одного психоаналитика из Цюриха, доктора Бенцигера, — где-то в пятидесятые годы я рассказал ему о своих злоключениях. По его трактовке, случилось вот что: тогда, на море, опасность утонуть я видел ясно и поэтому не заразился водобоязнью; а другую опасность — попадания молнии — не «осмыслил», и этот страх ушел в подсознание; поэтому его нельзя было ни контролировать рациональными аргументами, ни подчинить воле.

Так или иначе, морское приключение возвысило нас в глазах лицейских товарищей и скаутского сообщества. Дома я не решился рассказать об опасности, которой мы подверглись, а ограничился тем, что время от времени отпускал намеки на ужасную бурю, которая научила меня не бояться смерти. И, конечно, такой драматический опыт я как литератор не мог не пустить в дело. На следующий год я написал рассказик под названием «Рассвет на море». Опубликовал его в 1927 году, в «Эст-Вест», журнале, который мы выпускали вместе с Раду Каприелем и Йоном Анестином и который после второго номера закрылся, потому что Каприел, женившись, не мог больше его субсидировать. Я привел все наше приключение в точности, и, прочтя очерк, все его участники подтвердили, что снова пережили, час за часом, ту бурную ночь. Я только заменил большую барку на маленькую и посадил в нее всего двоих друзей. Рассказчик оставался на корме, а его друг — на носу. Когда буря унялась и рассвело, оказалось, что рассказчик на лодке один и что, вполне возможно, он был один всю ночь и разговаривал с тенью — с тенью, которая мерещилась ему, неподвижная, на другом конце лодки.

* * *

В ту осень 1924, когда начался восьмой класс, я чувствовал себя уже студентом. Кое-кто из моих друзей: Хайг Актериан, Петре Вифоряну, Вожен, — сдали экзамены за восьмой класс летом и были зачислены в университет. Они рассказывали мне о лекциях Николая Йорги и Василе Пырвана[40] и — с восторгом — о молодом профессоре логики и метафизики, Нае Йонеску[41], это имя я услышал тогда впервые. Я был полон решимости изучать классическую философию и филологию и стал готовиться, начитывая философские книги.

При этом я продолжал писать и публиковаться везде, где только мог. Я больше не сотрудничал со «Зьярул штиинцелор популаре», но у меня выходили статьи в «Оризонтул», «Фоая тинеримий», «Универсул литерар», «Лумя». Писал я, главным образом, статьи по истории религий, востоковедению и алхимии. За работу платили мне очень редко. Однажды я пришел к Эмилю Чербу, главному редактору

«Оризонтул», спросить, не могу ли я заработать что-нибудь переводами. Эмиль Чербу, который, без всяких гонораров, опубликовал множество моих статей и переводов и знал, что писать я умею, предложил мне переводить для «Оризонтул» и для «Оглинда Лумий» заметки из разных журналов, немецких, французских и итальянских, по тысяче лей за сто рукописных страниц. Это было негусто, но все же на эти деньги я мог купить десяток-полтора книг, и я согласился. Раз в месяц я приносил рукопись. Эмиль Чербу читал заголовки, тщательно пересчитывал страницы и выписывал чек, представив который в кассу, я и получал свою тысячу. Помню, как однажды он едко заметил, что я пишу слишком размашисто, что у меня слишком мало строчек на странице. Я покраснел до ушей и решил ему отомстить. На следующий месяц я принес сто страниц, исписанных так убористо, что в них втиснулось, наверное, добрых двести. Однако не думаю, чтобы Эмиль Чербу понял, что это месть.

И, конечно, я манкировал школой еще более открыто, чем прежде. Но поскольку у меня в лицейском листке «Влэстарул» выходили умные статьи и поскольку статья о Николае Йорге понравилась самому великому ученому и произвела впечатление на всех учителей, у меня была определенная репутация, и на мою безалаберность смотрели сквозь пальцы. Банчиу, правда, не упускал случая напомнить мне, когда я не справлялся с задачкой, что, если я не возьмусь за ум, он оставит меня на второй год. Я ему не верил. Мне казалось, что теперь у меня в учительской есть союзники. Кроме преподавателей латыни и румынского, был еще Александру Клаудиан, молодой учитель философии, который, можно сказать, «открыл» меня в результате одного внеклассного задания. В седьмом классе, проведя несколько уроков, он попросил нас написать о том, зачем современному человеку нужно классическое греко-латинское образование. Через неделю, войдя в класс со стопкой тетрадок под мышкой, он спросил с кафедры: «Кто из вас господин Элиаде?» Я встал, зардевшись. Он пристально взглянул на меня и улыбнулся. «Я так и думал, что это ты,— сказал он. — Ты написал отличную работу. Будь любезен, резюмируй ее для коллег».

Мое устное резюме получилось, ясное дело, гораздо слабее, чем написанный текст. Я был не готов к выступлению и не сообразил, как его выстроить. Кто-то из ребят по окончании урока сказал мне: «Ну и что? Я примерно так же написал. Что ж меня-то не похвалили?»

Я часто провожал Клаудиана до дома. Раз он сказал мне, что с первого взгляда определил, что у меня выдающийся ум. И уточнил: по строению лба. Он был другом и почитателем Х. Саниелевича[42] и, когда узнал, что я читал все его книги, проникся ко мне еще большей симпатией. «У него скоро выйдет большой труд по антропологии, —

сказал он мне. — Гениальный. Это первый вклад Румынии в мировую науку...»

Дружеское отношение со стороны Александру Клаудиана убедило меня, что, в конце концов, и лицейские преподаватели будут вынуждены признать достоинства за учеником, даже если он не отличник. Я и не подозревал, как горько я ошибался. Но пока у меня шел период эйфории. Я учил английский, чтобы читать Фрэзера, накупал книг по истории религий и по востоковедению, установил в мансарде еще один книжный шкаф. Моя комнатенка походила теперь на кабинет какого-нибудь старозаветного ученого мужа. Я собрал больше тысячи томов, коллекцию журналов, которую держал, где придется, — на полу, под кроватью, на сундуке с рукописями, и тут же у меня были инсектарии, гербарии, коллекция минералов, лабораторное оборудование, а на стенах висели картонки с египетскими письменами и барельефами, собственноручно мною перерисованные из книг. Вскоре мне пришлось выставить кровать в соседнюю комнату, но в студенческие годы и там тоже завелись книжные полки. Когда в 1927 году ко мне в гости заглянул Нае Йонеску, он пришел в восторг. «Вот это комната, всё — чтобы заниматься!» — сказал он, нажимая на последний глагол.

Я занимался рьяно, и рвение мое только росло, но занятия мои не имели отношения к школе. Я уже давно открыл Йоргу и восхищался им, в первую очередь, за его разносторонность. Я тоже мечтал написать если не сотни томов, как Йорга, то, по крайней мере, одну сотню. Некоторые уже были продуманы. Я даже составил список, и открывался он «Романом о подростке в очках», первом в серии под общим названием «*Dacia Felix*». Следующий роман долженствовал отразить студенческую жизнь, а действие третьего происходило в цирюльне.

Но вообще в списке были по большей части сборники эссе, книги по философии и истории культуры. Поскольку я недавно открыл орфизм и теории Витторио Маккьоро, я бредил книжищей в двух томах «Истоки Европы» (я даже дерзнул заявить ее в «Адевэрул литерар», в одной статье о Гераклите и орфизме). Помню еще «Воспитание воли», «Учебник примерного читателя», книгу о Хашдеу, книгу о Йорге и еще одну — «Народные представления о ботанике»... В общем, список был довольно длинный, и, когда я показал его Дину Сигиряну, тот посоветовал: «Ты как кончишь писать очередную книгу, ставь крестик в списке напротив заглавия...»

* * *

Я, разумеется, вел счет публикациям, и весной 1925 года мы с друзьями отмечали выход в свет сотой статьи. Мама приготовила нам угощение на мансарде. Вожен пожелал мне как можно скорее отпразд-

новать тысячную статью. Но другие больше хотели увидеть напечатанным «Роман о подростке в очках». Все знали, что речь там идет и о них тоже — кто бы отказался сохранить в книге, свежим и неизменным, свое отрочество, которое пролетело так, что мы и не заметили. Мне исполнилось семнадцать, а почти все мои друзья были на год старше. Мы уже давно не считали себя подростками. У Вожена, Сигиряну и Вифоряну были «связи» с женщинами, а Раду Боссие недавно прислал известие из Брашова, что он стал отцом. Даже я начал лучше вписываться в молодежную компанию; отказался от лицейской формы и от очков в проволочной оправе и перестал стричься наголо. Когда у меня отросла шевелюра, отец заставил меня сфотографироваться. Но я сфотографировался так, как мне хотелось: взгляд исподлобья, в уголке рта забыта горькая, саркастическая улыбка.

Той весной министерство народного образования неожиданно снова ввело экзамены на аттестат зрелости. Известие прозвучало, как гром среди ясного неба. Я завидовал тем, кто кончил восьмой класс годом раньше, избежав таким образом экзаменов, которые обещали быть крайне суровыми. Что еще серьезнее, экзамены на аттестат зрелости принимали не преподаватели нашего лицея, а специальная комиссия под председательством одного университетского профессора. Это означало, что меня будут экзаменовать незнакомые люди, и исключительно по школьной программе. Но поволновавшись и поразмыслив несколько дней, я решил заняться делом; то есть вместо того, чтобы всерьез засесть за материал, который надо было усвоить для выпускных экзаменов, вернулся к тому, что меня интересовало (а интересовали меня в ту весну прежде всего вавилонские религии, орфизм и английский язык; я пытался читать в оригинале Беркли и Уолта Уитмена, открыв и того, и другого через Папини).

Лето наступило как будто раньше обычного. На переменках мы гуляли по лицейскому двору с Мирчей Мэркулеску и разговаривали как ни в чем не бывало, совершенно не затронутые коллективной нервозностью нашего класса, террором надвигающихся экзаменов. Было очень жарко в то утро, когда мы пришли узнать годовые отметки. Мэркулеску получил переэкзаменовку по латыни, а я — по математике. Банчиу, столько раз выносивший мне предупреждения, сдержал слово. Назло им всем мы устроили вечеринку в летнем саду. Я демонстративно вырядился в лицейскую форму, которую не носил уже целый год и специально отыскал на чердаке, в каком-то сундуке, мятую и пропахшую нафталином.

Родители были обеспокоены, но я уже давно завоевал свободу самому отвечать за себя, так что, кроме советов, они мне ничем не докучали. Планы на летние каникулы были намечены загодя, и мы

с друзьями выполнили их в точности: экскурсия на Пьятра Краюлуй, потом лагерь скаутов в Мамае. Все же в августе я взялся всерьез за учебник по математике. По своему обыкновению, я работал часов по шесть-семь без перерыва, потом читал что-нибудь из философии или из истории религий и опять возвращался к учебнику по математике — еще на четыре-пять часов. Иногда, уже ночью, выходил прогуляться с Мэркулеску или с теми одноклассниками, которые уже попытались сдать на аттестат зрелости в июне и провалились. Они пугали нас ужасами этих экзаменов, приводили самые трудные вопросы, как будто нарочно придуманные, чтобы деморализовать выпускника.

Я пересдал математику в начале сентября, и пересдал блестяще. Поздравив меня, Банчиу сказал: «Я знал, что делаю, когда назначил тебе переэкзаменовку. Мне удалось тебя убедить, что математика тебе по зубам».

Через неделю в лицее Матея Басараба начинались экзамены на аттестат зрелости. Письменных я не боялся, и меня действительно допустили к устному. Впервые в жизни я оказался перед комиссией из семи-восьми преподавателей, которые, в принципе, могли задать мне любой вопрос по всему учебному курсу за восемь лет лицея. На мое счастье, учитель румынского языка задал мне ряд чрезвычайно трудных и каверзных вопросов (например, о византийской лексике в румынском языке, анализ Воронецкого кодекса), а я все эти вещи знал, потому что их не было в наших учебниках, и ответил на вопросы правильно. Остального не помню. Помню только, что глубоко переводил дух, когда очередной экзаменатор говорил мне «благодарю» и оборачивался к соседу, подавая тому знак, что он может начинать. Мне казалось, что шеренге экзаменаторов нет конца. После получасового допроса оставалось еще двое-трое, которые ждали своей очереди. Многие годы потом меня преследовал этот кошмар: я вдруг узнавал, что мне предстоит заново пройти это собеседование. То ли затерялись бумаги, то ли вышел новый декрет, который аннулировал прежние аттестаты и обязывал всех, независимо от возраста и общественного положения, пересдать экзамен. Причины варьировались, но кошмар был всегда один и тот же: я лицом к лицу с экзаменационной комиссией. И я просыпался в холодном поту.

Узнавать результаты я пошел, готовый к любому сюрпризу. В то время я практиковал «духовное упражнение», которое одевало меня изнутри в броню и делало неуязвимым: лежа я закрывал глаза и представлял себя в каком-нибудь из миров, для меня захватывающих, будь то миры астрономических романов Камиля Фламмариона или одна из исчезнувших цивилизаций — Египет, Месопотамия, ведическая Индия, Греция орфических мистерий. Я лежал так, неподвижно, сконцентрировавшись, примерно с полчаса, пока не добивался ощу-

щения полного своего *присутствия* в исчезнувшем или внеземном мире; тогда я начинал жить там, вступал в пейзаж, который казался мне единственно *взаправдашним*, разговаривал с необыкновенными существами, чьи заботы были *действительно интересны* (то есть такие же, как у меня), и слушал, как они обсуждают исключительно вопросы насущные и важные (например, почему мы ничего не можем знать о Боге или почему еще не найдено ни одного неоспоримого доказательства бессмертия души). Проделав такое «духовное упражнение», я выходил из него с полнейшим безразличием к тому, что со мной было или вот-вот будет.

Невозмутимый, безмятежный и неуязвимый, я отправился в лицей Матея Басараба узнавать результаты экзамена. Я оказался в списке тех, кто его выдержал. Особенной радости я не испытал, и ее еще поубавилось, когда, внимательно перечтя список, я не нашел в нем имени Мирчи Мэркулеску. И все-таки я чувствовал, что переживаю этапный момент. Кошмар экзамена на аттестат зрелости был позади, а главное, позади был мир, который столько лет казался мне доподлинной тюрьмой, мир учебы по шаблону, мир учителей, уроков и программ от сих до сих. Я знал, что теперь, как бы ни сложилась моя жизнь, ясно одно: меня больше не заставят учить то, что меня не интересует, а, главное, я не буду связан программой, составленной другими. Я полностью и в открытую стал тем, к чему шел уже давно: хозяином самому себе.

Все же домой я вернулся в задумчивости. Я не мог целиком отдаться радости. Против своей воли я чувствовал, что мне будет не хватать этой лицейской жизни, которая кончилась, как и началась, октябрьским утром; не хватать одноклассников и друзей, к которым я привязался за эти восемь лет и с которыми, как я догадывался, мы расстаемся окончательно; не хватать даже кое-кого из учителей и даже самого здания, в котором меня, по моим ощущениям, нещадно унижали и которое я, наконец, возненавидел так, что говаривал, пусть и в шутку, что в ближайшие десять лет я и на пушечный выстрел не подойду к лицею, пока сам его вид не изгладится насовсем из памяти.

В тот же день я собрал последние учебники, что у меня еще оставались, и отнес их к букинисту. Но не зря я любил Бальзака. Проходя мимо университета, я шепотом сказал: «*Et maintenant, à nous deux!*»[43].

Я тогда не подозревал, что такое почтенное заведение не завоевать только тем оружием, которым, как мне казалось, я владею.

Глава 6
«А ТЕПЕРЬ — КТО КОГО...»

Октябрь 1925 года. Мне восемнадцать лет — и я студент. Я свободен. Осталось только явиться в университетскую канцелярию с аттестатом зрелости и записаться на филолого-философский факультет. Я намеревался прослушать лекции по целому ряду дисциплин, но поскольку посещение было необязательным, я походил регулярно только на первые лекции, а потом, как-то так само собой получилось, стал заглядывать в университет все реже и реже. Не то чтобы меня разочаровали профессора, просто мне казалось, что дома, в мансарде, учиться лучше. Помню первые лекции Рэдулеску-Мотру. Ему было тогда от силы лет шестьдесят, но он выглядел стариком. Говорил потухшим голосом, почти ничего не видел, ходил еле-еле, опираясь на трость, и не запоминал ни лиц, ни имен. Несколько лет спустя ему сделали какую-то операцию, и он решительно омолодился. Когда в 1932 году, по возвращении из Индии, я пошел его проведать, он как будто сбросил десяток лет. Однако осенью 1925 года его лекции обманули мои ожидания. Я счел за лучшее как следует перечесть его старый курс по психологии.

П.П. Негулеску произвел на меня впечатление своей жреческой строгостью, которую он, уж наверное, считал высшим выражением самообладания. Он сохранял осанку и ронял слова редко, монотонно, в меру улыбаясь, время от времени отирая губы и лоб носовым платком, который продуманно-сдержанным жестом вынимал из внутреннего кармана пиджака. Говорили, что он подражает своему маэстро, Титу Майореску[44]. Курс, который он читал, назывался «Философская энциклопедия» и ставил целью показать зависимость философской мысли от научных открытий, от прогресса. На тех лекциях, что я прослушал, он прибегал к примерам из истории всех наук, от астрономии до химии. По идее, это должно было меня привлечь, но что-то меня останавливало. Во-первых, его комплекс превосходства, который выдавала вялая сардоническая улыбка, небрежность, с какой он говорил о метафизике, о великих философских системах, давая понять, что все это — не более чем «спекуляции, далекие от реальности». Он верил только в науку, и это, конечно, было похвально, но сам-то он не был

ученым; он черпал сведения из популяризаторских книг и статей. Я тоже так делал, когда был лицеистом. На его лекциях мне частенько казалось, что я узнаю пассажи из разных томов «Научной библиотеки», знаменитой фламмарионовской серии в красном переплете.

Во-вторых, я скоро понял, что Негулеску не откроет мне ни каких-то новых вещей, ни какой-то новой, своей, персональной методики. Он был честный профессор и много знал, но у меня никогда не возникало чувства, что его ученость отвечала его внутренней потребности. За его эрудицией не усматривалось фаустовской жажды знания — а только упорный и методический труд того, кто хочет во что бы то ни стало овладеть информацией, потому что к этому *его обязывает ремесло*. В сущности, он напоминал мне наших лицейских отличников. Если бы ему предложили преподавать сравнительную философию, он изучил бы ее с тем же усердием и прилежанием — по учебникам. Все тщательно рассчитывающий, он не стал бы читать монографии и статьи по специальности. Это большая затрата времени и риск отвлечься на сопутствующие проблемы. У него не было страсти к научным исследованиям. Ему хватало просто набираться информации — по большей части, из резюме и обзоров, написанных для широкой публики.

На первом курсе мне, в общем-то, не приходилось иметь дело с Негулеску. Помню только, что на одном семинаре о досократиках я поднялся и с места заговорил о восточных влияниях, которыми тогда очень увлекался. Думаю, он меня отметил, но не в благоприятном для меня свете. Ему не нравилось, когда студенты выдвигали на обсуждение гипотезы, которые он, профессор, достойными обсуждения не счел. Да и то, *как* я говорил, наверняка ему не понравилось: торопливо, с жаром, без готового плана, иногда запинаясь и с таким видом, будто то, что я говорю, крайне важно для понимания истоков греческой мысли. Негулеску предпочитал студентов, скроенных по его мерке, умеренных, уравновешенных, стертых. Еще той осенью он выделил Посеску, который позже стал его ассистентом и которого он прочил в наследники своей кафедры. Что говорить, Посеску не пропустил ни одной его лекции, подхватывал всякую его улыбку и провожал до канцелярии по коридорам университета, всегда держась на шаг сзади. Я вечно натыкался на П.П. Негулеску и на его учеников и в бытность мою студентом, и позже, став ассистентом на кафедре Нае Йонеску.

* * *

Лектором по истории философии был в то время Мирча Флориан. Я еще в шестом классе лицея прочел его «Введение в философию» и пришел послушать, как старого друга. Он меня не разочаровал, но и не захватил. На семинар по Беркли я записался в числе первых.

У меня создалось впечатление, что он хотел бы познакомиться со мной поближе; он держался приветливо, просил сопровождать его в походы по книжным магазинам — покупать книги для семинара. Мирча Флориан был блондином лет тридцати восьми-сорока, могучего сложения, чуть ли не толстяк, и всегда пахнул одеколоном. От его лекций у меня остались воспоминания весьма смутные. У него был слишком слабый для такой корпуленции голос, и его как будто еще глушило какое-то непонятное скрытое волнение. Ему нравилось говорить — и писать — «красиво». Он говорил, например: «Белая лилия философии Ницше...». Его первая книга называлась «Душевный трепетник». Он был к тому же библиотекарем в библиотеке Королевского Фонда, и я заставал его там, когда он величаво листал старые подшивки «*Revue Philosophique*». Может, я бы больше привязался к нему, если бы не было Нае Йонеску.

Нае Йонеску был тогда, как и Мирча Флориан, молодым лектором, всего несколько лет как в университете. Он преподавал логику и метафизику и вел семинар по истории логики. Никогда не забуду первую лекцию по метафизике, на которой я присутствовал. Курс назывался «Фауст и проблема спасения». Амфитеатр «Титу Майореску» был переполнен, и я с трудом нашел себе место на самой задней скамье. Вошел человек с темными, зачесанными назад волосами, на бледном лице — густые, по-мефистофельски изогнутые брови и прямо-таки сверкающие глаза, синие, со стальным оттенком; когда он вдруг переводил взгляд из стороны в сторону, как будто молния прорезала амфитеатр. Он был худощав, довольно высок, одет просто, но с элегантной небрежностью, и у него были такие красивые и выразительные руки, каких я никогда в жизни не видел, с длинными, тонкими, нервными пальцами. Когда он говорил, руки лепили его мысль, подчеркивали нюансы, предваряли трудные места, вопросительные знаки.

Его встретили, как тогда водилось, аплодисментами. Нае Йонеску остановил их резким взмахом руки.

«У кого есть право хлопать, — сказал он нам, — у того должно быть и право освистывать, если ему не понравится лекция. Но закон запрещает свистеть в стенах университета. Так что просьба не хлопать...»

Он сел на стул, устремил глаза в глубь амфитеатра и начал говорить. Установилась неестественная тишина, словно бы все затаили дух. Нае Йонеску говорил не как профессор, он не читал лекцию, не делал доклад. Началась беседа, он обращался к нам, как будто к каждому в отдельности — что-то рассказал, представил цепочку фактов, предложил свою интерпретацию, а нас попросил сделать свои комментарии. Было такое впечатление, что лекция — это прос-

то часть диалога, что каждый из нас приглашен принять участие в дискуссии, изложить в конце часа свои соображения. Чувствовалось: то, что говорил Нае Йонеску, не найдешь ни в одной книжке. Это было нечто новое, оно как будто осмысливалось и формировалось прямо на твоих глазах, на кафедре. И если тебя интересовал такой род мышления — чисто личностный, — ты понимал, что больше ты его нигде не встретишь, что нужно приходить сюда и получать его прямо из источника. Человек на кафедре обращался прямо к тебе, ставил перед тобой проблемы и учил их разрешать, вынуждал тебя думать.

Я даже не заметил, как прошли эти пятьдесят минут. Я почти ничего не записал. Но к концу часа я очнулся посреди жгучих вопросов и проблем: неужели Гете соблазнился манихейской антропологией средневековых сект, которые втайне дожили до позднего Ренессанса? Проблема зла, как она проступает из «Фауста», неверно поставлена и, значит, неразрешима в рамках традиционной философии, или тут предполагается другая проблематика, которая требует рассмотрения в другом плане? И так далее и тому подобное.

Мне еще очень много раз представится случай поговорить о Нае Йонеску и о том, что он значил для меня в мои юношеские годы. Но я не смогу, конечно, рассуждать здесь о его мысли и творчестве, так же как о влиянии, которое он оказал на мое поколение. Ограничусь суммарными замечаниями и буду дополнять их по мере того, как буду описывать наше с Нае Йонеску сближение. Это произойдет позже, когда я войду в редакцию «Кувынтул». Любопытно, что при всем энтузиазме, который вызывал во мне курс Нае Йонеску, я не нашел в себе смелости подойти к нему. Я посещал все его лекции по логике, хотя они меня не слишком увлекали, потому что в тот год профессор вел курс математической логики. На семинар я не записался. Там комментировались «*Regulae ad directionem ingenii*»[45], текст, который в то время меня не интересовал.

Ближе к Рождеству я уже ходил в университет только на лекции Нае Йонеску. При этом у меня было ощущение, что я сполна проживаю «студенческую жизнь». Каждый вечер у меня в мансарде собирались студенты и студентки, по большей части, коллеги мои и Нику, который был на втором курсе химико-технического. Студенческий центр уезда Ильфов, куда мы оба вступили, готовил хор на Рождество, и репетиции частично проходили у нас в мансарде. В этих предсумеречных сборищах было для меня столько смысла, столько тайны! Сначала я вообще не знал, кто сегодня придет, какие новые знакомцы. Мансарду освещала только лампа на письменном столе. Из полумрака появлялись незнакомые фигуры и расходились кто к печке, кто к кровати, кто к книжным полкам. Я угадывал их изумление и вос-

тор от этих двух комнатушек, набитых книгами и любопытными вещами, инсектариями, камнями, ретортами. В дождливые дни конца ноября приходящие по очереди сушили платье у печки. Присутствие в моей мансарде такого количества девушек явно принадлежало, в моих глазах, мифологии студенчества. Так я и представлял себе «жизнь студента» — смесь «Сцен из жизни богемы»[46], русских романов и сэмэнэтористской[47] литературы. Бедные девушки с медицинского и филологического, которые по ночам сидят за книгами при слабом свете керосиновой лампы, влюбленные и чахоточные; юноши из крестьянских или рабочих семей, которые зарабатывают на жизнь уроками и ютятся в нездоровых общежитиях, до рассвета просиживая над трактатами по медицине или инженерии и противостоя всем соблазнам хорошо устроиться через политику, чистые и наивные, так называемые идеалисты, полные решимости «принести свет» в забытые Богом села и местечки и остаться там на всю жизнь, борясь с малярией, помогая правосудию, строя школы.

Конечно, эта студенческая мифология не была в чистом виде моим изобретением, навеянным книгами. Она принадлежала духу времени, я снова и снова находил ее в постсэмэнатористской литературе, в журналах, в студенческих листках. Но все же я ее постоянно разрабатывал, вводя новые элементы; например, придумав такой персонаж: изможденный, на грани безумия студент, который не может прервать занятия, потому что ему все время чудится, что он — на пороге открытия, революционного для человеческой мысли.

Из студенток, которые приходили на репетиции в мансарду, я помню Ику, маленькую, худенькую блондинку с косами, уложенными на висках, как в бабушкины времена, и такую близорукую, что ее светло-голубые глаза едва виднелись из-под толстого стекла пенсне. Она была с филологического и готовилась в учительницы истории. Ее подруга Жижи была ужасно некрасивая, ее спасала только общительность. Большеротая, с неровными зубами, она к тому же гундосила из-за полипов. Зато отличалась бойкостью и остроумием, без конца болтала и смеялась, и при ней те, кто приходил в первый раз, быстро заводили дружбу. Была еще одна девица по фамилии Фыртату, дылда, я всегда боялся, что она мотнет головой и ударится о потолок. Как-то декабрьским вечером, когда выпал первый снег, появилась девушка с фиалковыми глазами, с короткой стрижкой, с челочкой. Она показалась мне прекрасной и далекой, будто спустившейся из иного мира, потому что она была не похожа ни на одну из моих знакомых девушек. Ее звали Ри. Голос у нее был глубокий, низкий, чувственный — в контрасте с внешностью героини английского романа.

Больше всего меня тянуло к смуглой гречанке по имени Теа, у нее были необыкновенно красные и пухлые губы. Она училась в Школе

драматического искусства, но говорила, что записалась также и на юридический. Позже оказалось, что у нее не было аттестата зрелости и что она поступила на актерское отделение после того, как провалилась на экзамене по скрипке. Она стала мне еще симпатичней, когда я узнал, что живет она на убогой окраине и что ее отец мастерит сифоны. Узнал случайно. Раз на одной нашей вечеринке в корчме ей стало дурно, и она вынуждена была согласиться, чтобы я проводил ее до дому на такси. Она, ясное дело, не дала мне точного адреса, а велела шоферу остановиться у довольно-таки респектабельного дома и упросила меня вернуться в корчму. Я сделал вид, что послушался, но пошел следом за ней, на расстоянии. Она быстро спряталась за углом, потом перешла улицу, кое-как огибая грязные лужи, и свернула в переулочек. Сифонная мастерская располагалась как раз в его конце: коряво сколоченная лавчонка, будто над землянкой взгромоздили одну на другую несколько будок. И где-то во чреве этой землянки Теа училась играть на скрипке и мечтала, как в один прекрасный день станет великой актрисой.

Председателем ильфовенского центра был «доктор» Зиссу. Его называли доктором, потому что он учился на последнем курсе медицинского и к тому же был лет на пять-шесть старше своих коллег. Был он почти совсем лысый, спокойный, уравновешенный, и его слова слушались все — видимо, он всегда умел найти правильное решение. Неразлучной с ним была студентка-медичка, угловатая и мужеподобная — и по наружности, и по манерам. Она опекала всех студентов-ильфовчан, ставила им банки и делала массаж. Директором хора был студент Пырвулеску, худющий малый, кожа да кости. Когда он не мог прийти на репетицию, его замещал сын какого-то генерала, брюнет, такой же верзила, как девица Фыртату. Он был бы красив, когда бы его не уродовало красное пятно, переходящее с подбородка на шею. Он говорил — родимое. Может быть, этот изъян и определил его характер. В жизни не встречал такого весельчака и острослова. Не было случая, чтобы компания не надрывала животики, когда он приходил. Все, что он говорил, было неожиданно, невообразимо и взрывчато-смешно, тем более что вырывалось как бы непроизвольно. Где бы он ни появился, уже через несколько минут его обезображенное пятном лицо становилось центром всеобщего притяжения.

Другие лица и имена хористов помню разве что очень смутно. Был среди них студент политехнического, белобрысый, разговорчивый, он использовал репетиции явно как предлог для того, чтобы порыться в книгах. Я потом узнал, что его тайной страстью была египтология, особенно изучение папирусов. Приходили и студенты с философского — со второго и третьего курсов. Разглядывая библиотеку, они меня спрашивали, знаю ли я Стелиана Матееску по прозвищу Ма-

ленький Кант. Они говорили о нем, как о феномене, как о втором Пико делла Мирандола, наводящем страх на профессоров. Он учился на последнем курсе, и его выпады против Михаила Драгомиреску[48] на семинарах по румынской литературе уже вошли в легенду.

Раз мы с одним моим коллегой отправились на него посмотреть. Он оказался низеньким, тщедушным, с огромным лбом и почти совсем облысевшим черепом. Носил очки без оправы, что подчеркивало его зрелость, придавало вид серьезный, профессорский. Говорил отрывисто, тонким голосом, и часто издавал короткий смешок, будто давился. Почти всегда при нем был черный блокнот, из которого он любил зачитывать фразу-другую, свою или чью-нибудь еще. Черный блокнот тоже вошел в легенду, и Стелиан Матееску ее поддерживал, всегда держа блокнот в левой руке, даже когда выступал с докладом в зале Королевского Фонда. Он вписывал туда — карандашом, мелко и четко — всякого рода наблюдения и раздумья, распределяя их по рубрикам: эстетика, логика, метафизика и т.д. Он жил на окраине, и его родители, которых я случайно увидел, были не бог весть что. Его брат изучал инженерное дело в Швейцарии и, как и вся семья, смотрел на Стелиана, как на гения. Он и был гений, бесспорно, хотя его опустошал и в конце концов погубил окончательно какой-то загадочный невроз.

Мы со Стелианом Матееску сблизились через год, когда я убедил его сотрудничать с «Ревиста университарэ», а особенно в 1928, когда я кончал университет и подружился с его коллегами, Мирчей Вулканеску[49] и Паулем Стерианом, как раз когда они вернулись из Парижа. Но я помню и наши первые встречи, в его рабочей комнате и у меня в мансарде. Книг у него было меньше, чем у меня, но все — фундаментальные и дорогие: классики западной философии в оригинале, трактаты по эстетике, психологии, социологии, «великие писатели» всех литератур, роскошные книги и альбомы по истории искусств. Когда он в первый раз появился в моей мансарде, ему понравилась библиотека и коллекции, энтомологические и геологические, но некоторых из моих любимых авторов: Папини, Хашдеу, Йоргу, — он не принимал. Принимал только Бальзака, Фабра и восточных писателей.

Интересовало его практически все, и он читал с напряжением всех сил и чрезвычайно въедливо. Помню, я дал ему почитать отрывок из статьи Р. Петтаццони *«L'origine du monothéisme»*. Стелиан Матееску держал его несколько недель, хотя там было всего страниц тридцать. Раз, когда мы были у него и зашла речь об этой работе, он разыскал ее на столе, чтобы зачитать мне один пассаж. Я смотрел на эти листки с испугом, не узнавая: все поля были исписаны тонким карандашом, да так мелко, что эти сотни и сотни строчек мог разобрать только он сам. Он принялся меня успокаивать, заверяя, что сотрет ласти-

ком все эти заметки, прежде чем вернуть мне отрывок. Но поскольку мое изумление не пропадало, он объяснил, что так он читает «ответственные» тексты: пытаясь усвоить всю информацию, которая ему представляется существенной, и рассматривая каждый аргумент, предлагаемый автором. Но это было только предварительное упражнение. Дойдя до конца текста, он начинал читать его сначала, прикидывая, можно ли как-то включить его основы в свою систему мышления, собственную систему Стелиана Матееску. И если нельзя включить, кто виноват? Микроскопические заметки на полях статьи Петтацони показывали, что тут вина великого итальянского ученого — не помню уж, по каким мотивам.

Я понял тогда, что каждое «ответственное» чтение — а другим он и не занимался — означает для Стелиана Матееску такое ментальное усилие, которое нельзя выдерживать до бесконечности. Я не удивился, когда в 1932 году, по возвращении из Индии, узнал, что этот исключительный ум уже не один год как соскользнул во мрак.

* * *

В канун Рождества 1925 года мы собрались колядовать во дворце, в митрополии и по домам у наших профессоров. Во дворце король Фердинанд и королева Мария побеседовали с каждым из нас, пока лакеи в расшитых золотом ливреях разносили на роскошных подносах куски кекса и белое вино в дешевых стаканах зеленого стекла. Король Фердинанд останавливался перед студентками и спрашивал всех по очереди, кто что изучает. «Интересно, интересно!» — повторял он.

В митрополии, как и у других хозяев, нас угощали на славу, а перед уходом кто-нибудь тихонько совал казначею Центра конверт. Деньги, собранные в ту ночь, частично предназначались для нашего гулянья в корчме. Подошли и другие наши коллеги, и мы сидели почти до утра, пили, ели, а главное, пели, и не только рождественские колядки. Нас было человек сорок-пятьдесят, студентов и студенток, мы сидели за длинными деревянными столами под низким задымленным потолком и радовались, что собрались вместе в этой корчме, затерявшейся среди сугробов. Я был счастлив чрезвычайно. Мне казалось: вот она, «студенческая жизнь», такая для меня желанная. Мне казалось, что все вокруг «по-новому», не так, как на наших детских лицейских вечеринках. Присутствие девушек превращало гулянье в неисчерпаемое драматическое действо. Рядом со студенткой все делалось возможным: идиллия, страсть, авантюра, просто приятельство; старый добрый Гейдельберг; легендарная жизнь первых румынских студентов начала XIX века. По крайней мере, думал я, мне не придется сожалеть, что я не отведал «студенческой жизни». Той но-

чью я выпил больше обычного, я целовался с девушками, я учился быть дерзким.

В те поры молодые люди учились преодолевать робость, главным образом, в зале кинематографа. Этой зимой я тоже множество раз ходил в кино, в основном, с Теа. И с ней же мне нравилось часами оставаться в полумраке мансарды. Но кроме сильного физического влечения и большой человеческой симпатии, никаких других чувств Теа во мне не вызывала. Иногда мне казалось, что я мог бы влюбиться в Ику. Но стоило мне заслышать в мансарде легкие шаги Ри., ее смешок, отрывистый, грудной и чувственный, как у меня начинало биться сердце. Ри. имела обыкновение приходить с большими интервалами, но всегда неожиданно и под самыми невероятными предлогами: то одолжить пять лей на трамвай, то с просьбой расшифровать какие-нибудь греческие заголовки или сыграть на пианино ее любимое танго «*Jalousie*». (Тогда надо было спуститься с мансарды, стараясь не попасться на глаза родителям, быстро закрыться в гостиной, и там, чтобы мама не подумала, что я спустился только ради «*Jalousie*», играть сначала другие пьесы, примерно с четверть часа, причем Ри. смотрела на меня с восхищением, как на музыкального гения.)

Раз она пришла перед ужином — спросить, что такое катарсис. Я объяснил, как умел, но я нервничал, мне все казалось, я слышу шаги на деревянной лестнице, что это папа идет ко мне узнать, почему я не спускаюсь к столу. Я не осмеливался пригласить ее отужинать с нами: домашние давали мне полную свободу в моей мансарде или вне дома, но не поощряли приглашение коллег к столу. Особенно это стеснило бы маму — если бы я вдруг сказал, что Ри. или Теа будут ужинать с нами. По маминым представлениям, присутствие гостя подразумевало ряд условностей: столовое серебро, редкие вина, а, главное, ей, маме, надо было бы переодеться, что было для нее хлопотно, потому что она до последней минуты не могла оторваться от стряпни на кухне. Однако в тот вечер, видя, что Ри. не собирается уходить, я спросил ее, не останется ли она на ужин. «Останусь, но при одном условии, — ответила она. — Если ты принесешь мне чаю и брынзы и я посижу здесь одна. Обожаю чай с брынзой», — добавила она.

Узнав, в каком я затруднительном положении, мама приготовила нам чай, и я забрал в мансарду поднос с ветчиной, брынзой, крутыми яичками и кексом. Ри. пришлось смириться с моим обществом, но мне кусок не шел в горло. Меня поразило, с какой жадностью набросилась Ри. на еду. Я почти ничего не знал о ее жизни — только то, что она жила сначала в общежитии для студенток, а потом снимала вместе с сокурсницей комнату в городе, но и оттуда ушла. В тот вечер Ри. рассказала мне о своей подруге, которую зовут Нишка, потому что она похожа на русскую, и с которой я тоже потом познакомился.

Ри. рассказала, как однажды зашла вечером в гости к Нишке, и та предложила разделить с ней ужин. В доме была только одна сосиска и одна булочка. Нишка, как обычно, поставила сосиску вариться в кофейнике, но в спиртовке оказалось спирта на донышке. Только вода начала нагреваться, он кончился. Тогда они стали вырывать из тетрадки листы и поджигать их спичками. Дошли до последней спички, а сосиска все еще чуть теплая. И в ту же минуту погасло электричество, они сидят в темноте и боятся пошевелиться, чтобы не опрокинуть кофейник. «Мы обе разревелись», — заключила Ри.

* * *

В наступившую зиму 1926 года я рьяно штудировал нескольких философов: Бэкона, Канта, Мальбранша. Но меня все больше и больше влекло к истории религий. Я нашел в библиотеке института древней истории Пырвана пятитомник «*Cultes, mythes et religions*» Саломона Рейнаха, Павсания и «Фасты» Овидия в переводе и с комментариями Фрэзера и труды Риджуэя и Джейн Хэррисон. Я уходил из дому рано утром и с нетерпением поджидал Метаксу, библиотекаря и ассистента Пырвана. Я читал запоем и усваивал столько, сколько мне позволяли возраст и буйство, с каким я переходил от предмета к предмету. Впрочем, я был еще под влиянием Хашдеу и увлекался фантастическими гипотезами. Я убил несколько недель, пытаясь проверить, нельзя ли объяснить загадочного Басараба через греческий термин *bássaros*, идентичный одному из имен Диониса, *bassareus*, от *bassára* (лисица). В таком случае у истоков Басарабов был бы тайный трагический культ с лисой в качестве священного животного — как козлоногие были у истоков дионисийского течения.

Я по-прежнему спал четыре, самое большее, пять часов в сутки и, может быть, на том бы и остановился, если бы не прочел где-то, что Александр фон Гумбольдт имел потребность всего-навсего в двух часах сна. Я задумался. Уже несколько лет, с тех пор как прочел «Испытание воли»[50], я пребывал в убеждении, что человек может сделать все, что угодно, при условии, что он *хочет* и *умеет* контролировать волю. Я давно научился преодолевать отвращение, поедая поочередно зубную пасту, мыло, жуков, мух, гусениц. Убедившись, что я могу жевать и проглатывать насекомое или личинку без нормального омерзительного ощущения в желудке или в гортани, я переходил к еще более смелому упражнению. Я говорил себе, что такое самообладание открывает путь к абсолютной свободе. Борьба со сном, как и борьба против норм поведения, означала для меня героическую попытку превзойти обусловленность человека. Я тогда не знал, что это — как раз отправной пункт йоговских техник. Но вполне вероят-

но, что мой интерес к йоге, который тремя годами спустя должен был привести меня в Индию, иллюстрировал мою непреходящую веру в неограниченные возможности человека и стал ее продолжением. Тогда я не отдавал себе отчета в последствиях этой фаустовской амбиции. То, что я знал о «магическом прагматизме» Папини до его обращения, укрепляло меня в моей вере. Любопытство, с каким в последних классах лицея я читал книги Штайнера и оккультистскую литературу, бесспорно, объяснялось тем же.

Но, может, было и еще что-то, что мне привелось понять только гораздо позже. Добывать свободу, поступая *наперекор* тому, что было «нормально», означало преодолевать свою историческую, социальную, культурную обусловленность. В определенном смысле я больше не был обусловлен тем фактом, что родился румыном, то есть принадлежал к провинциальной культуре со своей традицией, в которой смешались латинские, греческие, славянские, а с недавнего времени и западные элементы. Я приобретал открытость к любой авантюре в чужом и даже экзотическом духовном мире. Вероятно, поэтому я почти никогда не читал новинки французской литературы, которые глотали мои приятели, поэтому не пошел на поводу ни у одной «моды» в культуре, современником которой был. В общем, инстинктивно противостоял любой попытке смоделировать себя по расхожим меркам.

И все-таки мне не удалось ополовинить время на сон. Я заметил, что если, держась на кофе, я бодрствую двадцать два часа, у меня довольно быстро устают глаза и начинают слезиться так сильно, что приходится долго прикладывать к ним влажные платки. Близорукость тоже усилилась в последнее время, а по опыту Папини я знал, что есть риск потерять зрение. Так что я решил довольствоваться программой, выработанной в лицее: занятия до трех-четырех утра и подъем между семью и восемью.

* * *

Мои статьи выходили в «Универсул литерар», «Адевэрул литерар» и в ясском журнале «Лумя», но также и в журналах помельче: «Штиутот», «Оризонтул» и т.п. Я писал теперь о восточных авторах, об исторических персонажах, которыми увлекался, — о царице Хатшепсут, например, о книгах, вызывавших бесконечные споры, таких как «Звери, люди и боги» Оссендовского или «Тайна Иисуса» П.Л. Кушу.

В ту весну Мирон Гриндя, мой знакомый еще по лицею, сводил меня к Панаиту Мушою[51]. Он произвел на меня огромное впечатление: толстовская наружность мудрого старца, борода рыбака-липована[52], сапоги до колен, а жилище! Комната, до потолка заваленная брошюрами, тысячи и тысячи их экземпляров, все это он переводил или

перелагал и печатал за свой счет в маленьких, заштатных типографиях, на дешевой бумаге. Я тут же, в тот же вечер, написал восторженную статью. Ее взяли в «Курентул студенцеск», эту газету выпускал с периодичностью раз в несколько месяцев Йонеску-Мусчел, и в ней сотрудничал ряд университетских профессоров во главе с Рэдулеску-Мотру. Программным для газеты был лозунг «Студенты — в деревню!», что особенно привлекало Мотру. Правда, газета скоро закрылась. Однако у меня осталось чувство удовлетворения, что мою статью, которая чрезвычайно понравилась Панаиту Мушою (первая статья об этом анархисте-одиночке, опубликованная в буржуазной прессе), — что эту статью перепечатало несколько провинциальных газет.

Весной я стал готовиться к экзаменам. Я решил сдавать логику, эстетику, историю философии и философскую энциклопедию. И все сдал, но помню только экзамен у Нае Йонеску и у Д. Густи[53]. Последний принимал экзамен как титулярный профессор, хотя курс по эстетике читал нам его ассистент Тудор Виану. Я выбрал предметом для письменной работы «Эстетику» Кроче. Д. Густи похвалил меня, но так, что я пришел в замешательство. По его словам, ему понравилось, что я прочел книгу в оригинале, что моя библиография была в полном порядке (год, издание, число страниц), что я пишу ясно и сжато и оставляю поля для замечаний профессора. Он поставил мне высший балл, и мы расстались добрыми друзьями.

На экзамен по логике я представился не без волнения. Нае Йонеску не требовал письменных работ, а ограничивался только собеседованием. Мне было страшновато, потому что последние месяцы я не ходил на лекции и не читал «Трактат по логике» Гобло, над которым бились все мои коллеги. Нае Йонеску имел обыкновение сначала спрашивать, какие книги прочел студент. Когда дошел черед до меня, я ответил: «Логику» Кроче и «Логическую систему как теорию познания» Джованни Джентиле. Профессор взглянул на меня с интересом. «Но не могу сказать, что все из прочитанного я понял», — добавил я осмотрительно. «Я тоже не могу этого сказать», — успокоил меня Нае Йонеску. И, дав мне высказать все, что я понял из логической системы Джентиле, и заверив, что для моего возраста «это не так плохо», он задал мне следующий вопрос: «Вы знаете эту историю с Ньютоном — как он сидел в саду и открыл закон всемирного тяготения, увидев, как падает яблоко. Какую логическую операцию проделал его мозг, чтобы он смог понять, что это яблоко, то есть частный предмет, иллюстрирует всеобщий закон?»

Несколько секунд помедлив, я ответил, что не могу сказать вот так, сразу, но если мне дадут время, я, может быть, и подойду к решению. «Никакой спешки нет», — подбодрил он меня. «Я недавно прочел одну книгу Лучиана Благи[54], — начал я, — "Феномен происхож-

дения"». Профессор одобрительно кивнул. «Вы на верной дороге, дальше».

Я рассказал, что произвело на меня впечатление в тех фактах, которые приводит и толкует Блага. «Некоторые умы усматривают элементы единства в природе или в культуре, усматривают, что есть самое фундаментальное, и это позволяет им открывать структуры...» «Вот и ответ, — перебил меня Нае Йонеску. — Речь идет о структуре. Логическая операция, которую произвел разум Ньютона, именно это и совершила: уловила структуру феномена всемирного тяготения».

Тут он пристально оглядел меня. Невыспавшийся, с мутными глазами, в очках с толщенными линзами, нестриженый и одетый коекак, я выглядел не очень-то привлекательно. «Каникулы начинаются, — добавил он. — взгляните и на небеса. Вы что собираетесь делать этим летом?» «Иду в горы, в Бучеджи, а оттуда — на Пьятра Краюлуй».

Нае Йонеску явно удивил мой ответ. Вероятно, ему трудно было представить, как это я могу карабкаться на гору.

«Хорошая идея, — сказал он наконец. — Только не берите в горы книг».

* * *

Это лето прошло быстрее обычного. Несколько недель я бродил по горам с бывшими сотоварищами по походам. Первый раз в жизни получал письма от девушек: от Жижи, Теа, Ри. И, как всякое лето, невероятно много читал, хотя не всегда по тем предметам, к которым мне надо было бы подготовиться для следующего учебного года.

Больше всего меня занимал проект нового журнала. Я убедил «доктора» Зиссу и комитет ильфовенского студенческого центра затеять публикацию «Ревиста университарэ». Первый номер совпал с началом занятий. Как и для «Влэстарул», я один собирал материалы и заботился о корректуре. Только на сей раз речь шла о журнале, который должен был расходиться по киоскам и книжным магазинам. В этих хлопотах мне помогал Пырвулеску, под чьим управлением был хор, а теперь и журнал. Нам удалось напечатать три номера, пока я состоял в редколлегии, и четвертый (он же последний) — когда мне пришлось из редколлегии выйти. Из профессоров с нами сотрудничали Рэдулеску-Мотру и Д. Густи. Помню краткий, насыщенный, иронический текст Стелиана Матееску, юридическую статью Петру Виформяну. Я опубликовал, среди прочего, статью о Йонеле Теодоряну и критику на первый том «*Essai de Synthèse de l'Histoire Universelle*» Н. Йорги.

Мои молодые годы во многом определила эта критика в адрес Йорги. Она была преувеличенной и проникнутой юношеским макси-

мализмом. При моем безграничном восхищении этим гениальным знатоком истории всех времен и народов, я был глубоко разочарован первым томом его «Синтеза». Йорга, что правда, то правда, не выдавал себя за специалиста по Древнему Востоку или античности. Но поскольку «*Essai de Synthèse*» полагалось стать шедевром нашего великого историка, я ожидал, что издание будет подготовлено с большей тщательностью, чем сотни его предыдущих работ. Я воображал, что Н. Йорга постарается вложить в четыре тома «Синтеза» суть своего исторического мышления. Я не один год грезил этой книгой, представляя ее себе ясной, концентрированной, лапидарной — настоящим монументом, возведенным, чтобы стоять в веках.

Конечно же, я был горько разочарован, встретив то же торопливое, неровное письмо, известное мне по прежним работам Н. Йорги; разочарован и примечанием на обороте титульного листа, где нам сообщалось, что автор не всегда имел доступ к тем книгам, которые он цитирует; а больше всего разочарован открытием, что самый ученый из историков, каких только знал румынский народ, игнорировал новые публикации и использовал ходовые монографии времен его молодости, и, что еще серьезнее, не следил за изменениями, происходящими в проблематике востоковедческой и античной историографии.

Я входил в число давних и самых рьяных почитателей Йорги — и тем беспощадней была моя критика. Между строк статьи проглядывала ярость иконоборца, который вдруг видит, что обманут, что Бог его отрочества, оказывается, подвержен человеческим слабостям. Впрочем, провал «*Essai de Synthèse*» Йорги был ударом и по моей судьбе. Я верил в его энциклопедическое знание истории, и «Синтез» должен был блистательно подтвердить мою веру в возможность появления нового Пико делла Мирандола. Пусть тогда кто-нибудь осмелился бы критиковать меня за то, что я разбрасываюсь, я ответил бы им: вот результат такого «разбрасывания», вот «Синтез», к которому пришел Йорга!

Как и следовало ожидать, Йорга протелефонировал Густи и сказал: «Поздравляю вас, дорогой коллега, вы сотрудничаете в газете, где меня поносят по-извозчичьи!». В «Нямул ромыпеск» вышла его заметка «Имейте совесть!», где, среди прочего, он намекал на «газетенки, где студенты поливают грязью своих собственных профессоров». И, наконец, месяцев шесть-семь спустя в «Челе трей кришурь» появилась статья В. Богри под названием «Чего Н. Йорга не читал, а г-н Мирча Элиаде, студент с философского, читал». Это была язвительная отповедь, данная первоклассным эрудитом зарвавшемуся юнцу. Что касается Йорги, он меня никогда не простил, хотя, как он пишет в своих мемуарах «Жизнь человека», в 1930 году, когда он был министром образования, он продлил срок моей стипендии, которую

я получил за год до этого для учебы в Калькуттском университете и которая составляла 180 фунтов стерлингов в год. Еще он написал в «Жизни человека», что моя статья была единственной рецензией на первый том его «*Essai de Synthèse*», и это представляется мне несправедливостью, вопиющей к небу. Я-то думал, среди румынских историков загорятся дискуссии вокруг «Синтеза» того, кто был учителем для всех.

Трагическим парадоксом обернулось для меня то, что, едва поступив в университет, я напустился на профессора, которого боготворил, резко порвал с тем, кого взял себе за образец, чья жизнь, чье творчество играли для меня-подростка прямо-таки «магическую» роль — и не утратили этого свойства и позже. Всякий раз как я уставал или впадал в уныние, мне довольно было, для подкрепления, только взглянуть на те несколько десятков томов Йорги, что я собрал у себя на полках. И этого-то исполина, в тени которого мне хотелось взрасти, я глубоко оскорбил.

* * *

После статьи о Йорге мне пришлось уйти из редколлегии «Ревиста университарэ». Вскоре журнал прекратил свое существование. Но до этого в «Кувынтул» ему успел посвятить хвалебную статью Памфил Шеикару[55]. Он писал: «Среди имен выделяется одно, Мирча Элиаде». И с энтузиазмом разбирал достоинства, которые находил в моих текстах. Особенно ему понравились страницы о Йонеле Теодоряну, он даже перепечатал их несколько дней спустя в «Кувынтул». Такой успех меня подбодрил. Д. Густи в разговоре с Вифоряну сказал, что меня могут ожидать неприятности, что ректорат может применить ко мне дисциплинарные меры. Не знаю, насколько соответствовали истине эти слухи. Так или иначе, премию в несколько тысяч лей, которую мне присудили за одну работу на семинаре Мирчи Флориана, мне не выплатили.

Где-то через неделю я пришел в редакцию «Кувынтул» и спросил Памфила Шеикару. Я принес две статьи, одну о религиозном опыте и другую о книге К. Формики «*Il pensiero religioso nell'India antica*». В зале, куда меня проводили, сидели Памфил Шеикару, Нае Йонеску и еще несколько сотрудников, среди которых я узнал Чезара Петреску. Уже не первый месяц Нае Йонеску, кроме своей знаменитой еженедельной рубрики «Воскресенье», выступал с политическими заметками, подписываясь *Скиф* или *Калликл*. Присутствие моего профессора по логике и метафизике в редакции «Кувынтул» убедило меня, что есть род журналистики, не идущий вразрез со строгой научной деятельностью. Впрочем, для меня, как и для всего моего поколения,

«Кувынтул» была не простая газета. Я считал ее скорее журналом, поскольку статьи там были с подписями (и только на первой полосе было семь статей) и поскольку, кроме Чезара Петреску, Никифора Крайника[56], Памфила Шеикару, Нае Йонеску, там сотрудничали еще Лучиан Блага, Перпессичиус[57], Дж. Брязул[58], О.В. Чисек[59] и еще многие писатели, критики и эссеисты, принадлежащие к кругу «Гындиря» и к кругу «Идея еуропянэ».

Здесь не место рассказывать об истоках и истории «Кувынтул». Когда я впервые вошел в здание на улице Сэриндар, директором там все еще был Титус Енакович, главными редакторами — Памфил Шеикару и К. Гонгопол и секретарем редакции — Йон Драгу. Я назвал себя. Памфил Шеикару еще раз похвалил меня за образованность и литературный талант и спросил, не хочу ли я сотрудничать в «Кувынтул». Я в ответ показал ему статьи, которые принес с собой. К нам подошел Нае Йонеску и, просмотрев их, сказал, что они пойдут как обзоры. Памфил Шеикару предпочел бы литературную критику. Я пообещал тексты о Хащдеу, Папини и о нескольких современных румынских авторах.

Те две статьи вышли в течение недели, и, когда я принес следующие, секретарь редакции сказал мне пройти в контору, получить гонорар. Я получил тысячу лей, больше, чем смел даже надеяться. В начале декабря я стал редактором в «Кувынтул». С меня причиталось две статьи в неделю плюс заметки и информация для литературной страницы, и мне положили жалованье четыре тысячи лей в месяц. Все произошло так скоро и неожиданно, что я не успел порадоваться. Только получив деньги за первые две недели работы, я понял, что такое быть богатым. Я мог пригласить Ри. в ресторан, я мог заказать книги из Италии и из Англии.

Я приходил в редакцию почти каждый вечер, завороженный всем, что я там видел, слушал бурные тирады Памфила Шеикару, споры между Гонгополом и Нае Йонеску, болтовню репортеров. С неотступной пунктуальностью я приносил статьи, которые писал без усилий, иногда «по вдохновению», потому что мне дали свободу брать предмет на свой выбор, будь то энтомолог Фабр или Эманоил Букуца[60], «Книга о чае» или Михаил Драгомиреску. Иногда я касался масштабных проблем, которые, по молодости, совершенно искренне считал уже разрешенными и легко поддающимися изложению: «Восток и Запад», «История и Документ» и тому подобное. Заметки и информацию для литературной страницы я писал только на «свежем» материале: я читал статьи из «*Bilychnis*»и «*Archeion*», из журнала по истории наук, который вел Альдо Мьели, рецензировал бюллетень Румынской Академии и «Ревиста историкэ» Йорги, писал в память о Викторе Анестине.

Перед рождеством секретарь редакции попросил у меня для праздничного номера «что-нибудь художественное, рассказик или отрывок из романа». Я крайне удивился и спросил: «Откуда вы знаете, что я пишу свое?» «Догадался. Все студенты этим грешат...»

Я принес ему отрывок из «Романа о подростке в очках», главу о нашем обществе «Муза». Он занял целую страницу в «Кувынтул», и эта литературная манифестация привела некоторых моих профессоров в недоумение, зато резко возвысила меня в глазах сокурсников.

В последние месяцы мы особенно подружились с Ри., я даже спрашивал себя, не влюблен ли я. Но мне всегда удавалось убедить себя в обратном. Для того, каким я был в собственных глазах — или каким собирался стать, — любовь виделась мне непозволительной слабостью. Я задумал целый ряд, так сказать, жизненных «экспериментов», среди прочего — путешествие на Восток или даже вокруг света, когда по временам надо будет соглашаться на любую работу, чтобы продержаться на плаву. Влюбившись, я перестану быть собой, я больше не буду свободным, открытым приключениям.

С другой стороны, я себя достаточно хорошо знал и знал, что только того и жду — влюбиться. Прежде всего потому, что не представлял себе «жизнь студента» без большой страсти. И еще я надеялся, что, если влюблюсь, приступы меланхолии уйдут или, по крайней мере, притупятся. Такое двойственное отношение к любви сохранится у меня до самого зрелого возраста. Ри. его поддерживала, и ей это хорошо удавалось. Иногда я чувствовал, что она смотрит на меня не просто, как на «доброго друга», что ей хочется меня увлечь, очаровать: эта ее внезапная молчаливость, сияние радости при моем приближении; а иногда она казалась далекой или делала мне признание, что у нее никогда не было именно такого «доброго друга», которому можно по-настоящему доверять. И при всем том я очень мало знал о ней, о ее прошлом. Я часто заставал ее в библиотеке Королевского Фонда — зарывшись в груды книг, она готовила письменные работы для семинара Овида Денсушяну. Но хотя она выдерживала все экзамены, у меня не создавалось впечатления, что ее увлекает филология, история литературы, фольклор. Она добросовестно училась, чтобы получить лиценциат и с ним — право преподавать румынский язык. Вначале я подумал было, что она по развитию выше прочих моих знакомых девушек, потому что она прочла несколько книжек Ромена Роллана и Реми Гурмона. Но со временем я обнаружил провалы, которые считал недопустимыми, и заставил ее читать Достоевского, Новалиса, Кнута Гамсуна. Некоторые статьи я писал как бы нарочно для ее образования, для того чтобы она полюбила авторов, которых любил я. Я даже стал печатать в «Кувынтул» статьи с подзаголовком «Люди из книг» — о персонажах, которые меня когда-то интересова-

ли, среди них: Сикстин, Бранд, Мартин Иден и даже Адам и Ева из Книги Бытия.

В ту зиму 1927 года, уже через каких-нибудь два-три месяца после первых моих публикаций в «Кувынтул», директор и редактора считали меня за своего. После я узнал, что Титус Енакович хотел «сделать из меня газетчика», то бишь заказывать мне не только статьи о литературе, но воспротивился Нае Йонеску. «Дайте ему кончить курс», — сказал он им. Я бы и сам ни в коем случае не согласился, и Енакович, думаю, скоро понял, что я не приспособлен для журналистского ремесла. Во-первых, я совершенно не разбирался в том, что можно и чего нельзя печатать в газете. Когда я писал статью, я старался сказать все, что считал нужным, не думая ни о «политике газеты», ни о каком-то своем интересе. Так, например, я начал серию статей под заголовком «Читая Йоргу». Я хотел впоследствии собрать их в книгу — показать, как толково я читал Йоргу и как восхищаюсь его гением. Первая статья называлась «От Гермеса Трисмегиста до Николае Йорги», и я в самых восторженных выражениях говорил о многосторонности Йорги, предлагал основать институт для изучения творчества этого исполина.

Однако во второй статье я приступил к анализу «метода» Йорги и показал, среди прочего, что уже очень много лет Йорга не читает, а только листает книги, что казалось мне естественным для ученого с такой поразительной культурой, да еще в возрасте, приближающемся к шестидесяти годам. Еще я снова подчеркнул, что одним из недочетов своего «метода» Йорга обязан отсутствию интереса к философии; я комментировал его признание, что он никогда не читал Аристотеля, хотя Платона ему прочесть случилось, и заключал, что это очень серьезно и что гениальный ум Йорги чужд систематике.

Статья, возможно, содержала и другие замечания подобного рода, которые я сделал со всей добросовестностью, считая, что, только определив структуру «метода» Йорги, можно понять оригинальность его историографической концепции, которая граничила с профетизмом в культуре, не имеющим себе равных в этом столетии. Я забыл, что редактора «Кувынтул» были фанатичными поклонниками Йорги и что они просто не могли допустить, что великий ученый «не читает книг» или что его культурный профетизм искупает его философскую наивность. Назавтра после выхода статьи, явившись в редакцию, я встретил Памфила Шеикару, синего от гнева. «Ну, ты нам устроил!» — процедил он сквозь зубы. Меня вызвали в кабинет директора. Титус Енакович восседал за столом, величественный и скорбный, а Гонгопол, сидевший в кресле рядом, сказал мне, что я, вероятно, никогда не читал «Кувынтул» и не был оповещен о том, что значит для них Йорга, что если всякий молокосос будет «поливать грязью»

величайшего ученого румынского народа... и т.д. и т.п. Отныне я лишен права писать о Йорге в «Кувынтул», а все мои рукописи, на будущее, будет читать он сам или Нае Йонеску. Я выслушал его стоя, сгорая со стыда, не говоря ни слова, и когда, выдержав паузу, Гонгопол заключил: «Вот что я хотел тебе сказать», я выдавил из себя «Всего хорошего», поклонился и вышел.

Я не знал, что мне делать. Меня глубоко оскорбил выговор, полученный от Гонгопола, и к тому же я страшно огорчился, что из всего, написанного о Йорге в этих двух вступительных статьях, они выловили только негативное и что мне, едва начавшему серию «Читая Николае Йоргу», уже запрещено ее продолжать. Я говорил себе, что после такого инцидента я должен уволиться, но когда пришел за советом к Нае Йонеску, он похлопал меня по плечу и улыбнулся. «Делай как знаешь, — сказал он. — Но если в твоем возрасте ты не терпишь получать уроки от старших, это нехороший знак...»

Нае Йонеску, тоже фанатичный поклонник Йорги, добавил: «То, что ты говоришь о методе Йорги, справедливо, но такие вещи надо обосновывать в специальных работах; в газетном материале такую критику могут принять за памфлет...»

Так я остался в «Кувынтул», представляя теперь статьи на цензуру. Однако получилось, что все, что я писал в последующие недели, чрезвычайно нравилось Гонгополу и Енаковичу. Особенно большой успех имела серия полемических статей о Йоне Минулеску[61], Михаиле Драгомиреску, Пауле Зарифополе[62] и Тудоре Аргези[63], и Гонгопол не преминул поздравить меня в присутствии всех редакторов. Мне вернули титул «многообещающего юноши», и мои рукописи перестали контролировать. И тут я снова дал маху. Написал довольно-таки резкую рецензию на первый том «Затмения», вышедший в издательстве «Универсул», чем расстроил Памфила Шеикару. «Ты что, не знаешь, что Чезар Петреску — наш друг?» — вскричал он. А когда, в ответ на мой яростный выпад против Тудора Аргези, Дем. Теодореску напечатал в «Адевэрул» едкую заметку, а я, парируя, не полез за словом в карман, Памфил Шеикару снова принялся меня отчитывать. «Ты что, не знаешь, что Дем. Теодореску — наш сотрудник? Не знаешь что ли, что Растиньяк — это его псевдоним?»

Я этого не знал.

Глава 7
По примеру Кьеркегора

Весной 1927 года лицей Спиру Харета организовал трехнедельное путешествие в Италию, в котором могли принять участие и бывшие ученики лицея. Это стоило двадцать тысяч лей, сумма внушительная по тем временам, но мама выдала мне ее без колебаний. Она не была в Италии с 1909 года и обрадовалась, что хотя бы один из ее детей туда попадет. Для меня же Италия значила больше, чем вообще для любого юноши в двадцать лет. Я получал случай встретиться с теми из авторов, с кем я состоял в переписке: с Папини, Буонаюти, Маккьоро, А. Пандзини и др. Кроме городов с легендарными именами, меня ждали приключения, которые я предвкушал, итальянский язык, на котором я готовился говорить в первый раз, книжные и букинистические лавки, где я рассчитывал найти книги, в Бухаресте недоступные.

Ожидания сбылись. Первое путешествие в Италию осталось в памяти самым роскошным и самым удачным путешествием моей юности. Еще очень много лет мне не придется ночевать в хороших отелях или в спальных вагонах, обедать в дорогих ресторанах и три недели ездить из города в город с одной только заботой — каждое утро захлопывать крышку чемодана. Поскольку мы выехали в спальном скаутском вагоне и он сопровождал нас повсюду, я спокойно мог оставлять там книги, которые покупал. Нас было пятеро-шестеро студентов, столько же преподавателей и двадцать учеников старших классов.

Единственной докукой была необходимость посылать каждую неделю две статьи в «Кувынтул». Я и не подозревал, как трудно писать «путевые заметки», причем писать поздно ночью, в изнеможении от музеев и прогулок, или рано утром, за столиком в кафе, судорожно стараясь успеть до прихода гида, который забирал нас на целый день. Две заметки, посланные из Венеции, получились так себе. Равенна потрясла меня настолько глубоко, что я просто не посмел описывать свои впечатления. Во Флоренции, где мы остановились на три-четыре дня, мне повезло: я посетил Папини на виа Дж.Б. Вико, в доме номер три. Он оказался таким, каким я знал его по фотографиям: рубашка

без воротничка и без галстука и сигарета в углу рта. Я бы никак не назвал его уродом, поражала разве что толщина линз в его очках.

Мы беседовали в крохотной комнатушке, затертой между огромными залами, по стенам уставленными книжными шкафами. Он спросил, на каком языке я предпочитаю говорить, по-французски или по-итальянски, и я выбрал итальянский. Мне хотелось слушать его на том жестком и цветистом языке, который завораживал меня столько лет. Я послал ему три статьи, которые опубликовал о нем в «Кувын тул», но молодой человек, который обычно переводил для него румынские статьи, уехал из Флоренции, так что Папини не знал их содержания. Он перевел разговор на мои планы и занятия. Я признался, как был ошеломлен сходством между нами, когда прочел «Конченого человека», — даже испугался поначалу, что теперь все, что бы я ни написал, будет считаться подражанием ему. Он улыбнулся, обнажив зубы, крупные, неровные, пожелтевшие от табака. «Не бойся, — успокоил он меня. — С какой-то точки зрения все интеллектуалы похожи друг на друга, но с какой-то — никто ни на кого не похож, даже на самого себя».

Я спросил, не согласится ли он, чтобы я опубликовал нашу беседу, и, поскольку он согласился, начал расспросы. Особенно мне хотелось знать о его религиозном опыте и о том, как он примиряет свободу творчества с верностью церкви; что он сейчас думает о своей юношеской прозе, неистовой, полемической, иконоборческой; в какой стадии находится «*Adamo*», его шедевр, названный позже «*Giudizio universale*», и так далее. Папини отвечал с искренностью и жаром, каких я от него и ожидал, а когда мои вопросы иссякли, заговорил о современных итальянских авторах, мне не известных, особенно о П. Дзанфроньини и Г. Манакорда, и принес показать мне их книги из соседней комнаты; о плетворном влиянии гегельянства на итальянскую философию (он говорил, что, хотя и не согласен с Б. Кроче, но может его понять, а Джованни Джентиле — не может, хотя в юности читал и понимал Гегеля); о своей большой любви к Данте. На прощанье он спросил, какие его книги я хотел бы получить в подарок, но у меня были почти все, а те, которых не было, давно разошлись и переиздавать их не собирались. Он подарил мне свою фотографию с сердечной надписью, которую Перпессичиус воспроизвел в интервью, опубликованном в «Универсул литерар».

Я так давно хотел этой встречи, грезил ею с того момента, как узнал, что попаду во Флоренцию, что в каком-то смысле она меня разочаровала — хотя я не в силах был бы сказать, чем. Не тем ли, что я увидел свой сон наяву? Я не мог сказать, что ожидал другого. Папини был в точности такой, каким я его себе представлял, и он принял меня радушнее, чем я смел надеяться. Но когда я вышел из его дома,

мне не хотелось ни вопить от радости, ни плакать от избытка чувств. Если бы кто-нибудь сказал мне это несколько лет назад, когда я открыл «Конченого человека», я бы ему не поверил.

* * *

В Риме мы остановились на целую неделю. Поэтому у меня был случай побывать на лекции Джованни Джентиле, встретиться с Альфредо Пандзини и представиться Эрнесто Буонаюти. Я познакомился также с Клаудиу Исопеску. Он был тогда преподавателем румынского в университете и конфликтовал с нашим коммерческим атташе, Эуджению Порном, который одновременно был и атташе по прессе. Исопеску сопровождал нас по римским форумам, на древнюю Аппиеву дорогу, и, пока наша группа слушала гида, он отводил меня в сторонку и доказывал, что Порн на своем посту — это катастрофа для румынской пропаганды. Я записывал все, что он говорил, в блокнот. Через несколько дней я уже не мог сдерживать свое негодование и написал резкую и саркастическую статью «Рим господина Порна». Напечатанная в «Кувынтул», статья произвела форменный скандал в дирекции прессы и даже в министерстве иностранных дел, и Порну пришлось срочно прибыть в Бухарест защищать свои позиции. Я понял — задним числом, когда уже лучше узнал пылкого буковинца, — что не стоило принимать на веру все, что он мне говорил. Клаудиу Исопеску был в ссоре почти со всеми своими коллегами и с румынами, живущими в Италии, да к тому же сам метил на пост Э. Порна.

Из всех римских встреч наибольшее впечатление произвела на меня встреча с Эрнесто Буонаюти. Он жил далековато, на окраине, в домишке, набитом книгами. Мне открыла его мать, тщедушная молчаливая старушка. Буонаюти был одет в сутану. Хотя ему запретили выходить в ней на улицу, никто, сказал он, не может запретить ему ходить дома, как он хочет. Тогда Буонаюти было лет сорок пять. Он был высок, черноволос, с седыми висками, с глубоко посаженными, чрезвычайно пронзительными глазами, напомнившими мне Нае Йонеску, — и его как будто пожирал внутренний огонь, погасить который не было никакой возможности, потому что его разговор, письмо, жесты — все было торопливым, нервным, отрывистым и притом нескончаемым, как водопад. Мы были в переписке уже года два, с тех пор как я в полном восторге прочел его знаменитые «Профили» (бл. Августина, св. Иеронима и других). Я написал ему письмо с просьбой прислать мне и другие его работы. Он прислал мне несколько пакетов с книгами и свой журнал «*Ricerche Religiose*». Буонаюти был плодовитым и чрезвычайно разносторонним деятелем, он с одинаковой легкостью писал ученые трактаты и газетные статьи. Он рассказал

мне о своих стычках с римской курией, присовокупив, что книга о Лютере, которая только что вышла из печати, рассеет подозрения в «ереси», которые витали вокруг него. И с неожиданной торжественностью признался, что его самая сложная личная проблема — это его мать, которую он почитает как святую, потому что она научила его, что значит вера и христианская любовь, направила на путь богословия и поддерживала, пока он учился. Самой большой радостью матери был день, когда его рукоположили в священники. И если бы его отлучили от церкви, это, он знал, ее бы убило.

Он подарил мне свои последние работы, «*Mistica Medievale*» и «*Origini dell' ascetismo cristiano*». Когда он писал мне посвящения, его мать вошла в комнату с охапкой новых книг и молча положила их на стол. Буонаюти впился в них глазами. Я спросил, как он успевает столько читать и писать, да еще вести обширную корреспонденцию (он писал до пятидесяти писем в неделю, некоторые по семь-восемь страниц). Он ответил, что приступает к работе в четыре утра и что ему никогда не составляло труда выражать и мысли, и чувства, что письмо его не утомляет, а если он хорошо продумал ту или иную тему, то книгу может написать за несколько недель, а иногда и быстрее.

Вернувшись в отель, я тут же записал все, что показалось мне важным из беседы с Буонаюти. Интервью вышло в «Кувынтул», однако я невольно навлек неприятности на этого человека, которым восхищался и которого так любил. Я спросил, что он думает о фашизме, и Буонаюти ответил, что пока у него не было трений с властями, потому что Муссолини преследует антифашистов, но терпим к людям аполитичным. Он же, Буонаюти, не занимается политикой, а только религией и культурой. Однако, добавил он с улыбкой, у него, конечно, нет никакой симпатии ни к Муссолини, ни к фашизму. По простоте душевной, я привел в интервью и эти свидетельства. Эрнесто Буонаюти вызывали на допрос в политическую полицию. Правда, он скоро разобрался, что дело в моей наивности, и, будучи доброй натурой, простил меня.

Я оставался с ним в переписке до 1939 года, сотрудничал в его журнале «*Ricerche Religiose*», но с тех пор мы больше не виделись. Когда я снова написал ему, в 1945 году, из Парижа, он был уже при смерти.

* * *

Такой же грубый промах, но с последствиями куда серьезнее, повторился у меня с Витторио Маккьоро, повидаться с которым я поехал в Неаполе. Маккьоро был в ту пору директором музея древностей. Я еще с лицейских времен знал его книги по орфизму и состоял с ним в регулярной переписке, потому что мне вечно что-то было от него

надо: то какую-то его давнюю статью, то книгу из его личной библиотеки, то работы его друзей или выдержки из них. В один прекрасный день Маккьоро взял и написал всем своим друзьям и коллегам, чтобы они присылали мне свои публикации. Так я получил целые посылки от А. Ростаньи, Э. Биньоне и от других итальянских ученых, и даже книгу С. Ангуса, профессора сиднейского университета, о греко-восточных мистериях и христианстве. Зимой 1927 года я решил написать критическую статью о мистериях и попросил Маккьоро одолжить мне из его библиотеки некоторое число книг, недоступных в Бухаресте. Он прислал мне дюжину томов, которые теперь, в Неаполе, я и собирался ему вернуть.

Мне открыла его дочь Анна, моя ровесница, и проводила меня в библиотеку. Витторио Маккьоро было лет пятьдесят, он был лысый, в очках, подвижный и разговорчивый. После того как мы обсудили критическую статью, которую я задумал, он стал расспрашивать меня про Румынию. Я с жаром заговорил о Йорге, о Пырване и, наконец, об Эминеску и о «Миорице». Маккьоро рассказал мне о своем знаменитом соседе Бенедетто Кроче, о *Villa dei Misteri*[64], которую он считал орфической капеллой (у этого мнения были, впрочем, ярые противники), о своих религиозных воззрениях; признался, что его идеал религиозного сообщества — квакерство. (Году в 1950, как я узнал, он перешел в католицизм, а после смерти жены ушел в монастырь.) Больше же всего он говорил о неоязычестве, представленном фашизмом, и сетовал, что церковь не выступает открыто против этого вопиющего вероотступничества.

Я, разумеется, описал в статье свой визит к Маккьоро, передав суть нашей беседы. Не забыл и его антифашистские высказывания. Поскольку это были всего-навсего идеологические несогласия и объективная критика, я думал, что никого не задену. В те времена я не знал, что такое диктатура. Моя наивность стоила Маккьоро должности директора музея. Его немедленно вызвали на допрос. Возмущенный моей бестактностью, Маккьоро заявил, что мы едва знакомы, что он не говорил ничего из того, что я ему приписал, и что, по всей вероятности, недоразумение проистекает из моего несовершенного знания итальянского.

Это его спасло. Потом он прислал мне письмо, печальное и горькое, с вопросом, как я мог нанести ему такой жестокий удар. От письма Маккьоро я, наконец, очнулся, резко, в испуге, в холодном поту — так вырывают из глубокого сна удары грома. Я содрогнулся, когда до меня дошло, какие последствия имеет моя искренность. Но это было только начало. Припомнив скандал с Йоргой и промах с Буонаюти, я подумал — нет ли в моей судьбе чего-то, что заставляет меня невольно оскорблять именно тех людей, которых я больше всего люблю, ко-

торыми больше всего восхищаюсь. Я спрашивал себя, не бесовщина ли это, не проклятие ли это на мне — навлекать несчастье на тех, кого люблю и кто любит меня.

Не один месяц преследовала меня эта мысль, даже когда В. Маккьоро, после долгого молчания, ответил на несколько моих душераздирающих писем, что от их строк «исходит такая искренность», что ему ничего не остается, как простить меня. Теперь я боялся, как бы не нанести удар по лучшим из своих друзей, не сделать несчастными женщин, в которых буду влюбляться. Со временем я излечился от этой мании: что я осужден ранить все, что люблю. Но инцидент с Маккьоро был не последним в моей жизни. Может быть, то, что я считал тогда «бесовщиной», было не чем иным, как искренностью и тягой к достоверности, внедренными в подсознание. Поскольку у меня не возникало и тени сомнения, когда я писал и публиковал о себе самом все, что казалось мне правдой, «достоверным», даже если это было вопиюще нескромным, постольку и в отношении других у меня не было тормоза, когда я поверял листу белой бумаги их повадки, жесты или мысли. Если дочь у Маккьоро была девушкой скромной, одетой чуть ли не бедно, и мне захотелось сравнить ее с «молоденькой служанкой», я так и сделал. Мне даже в голову не пришло, что Маккьоро, получив от меня этот очерк, может попросить кого-нибудь его перевести (так, впрочем, и было), и сравнение его дочери с «молоденькой служанкой» покажется ему оскорбительным.

Несколько лет спустя, когда станут выходить мои первые романы, при этой неспособности отвлечься от «достоверности» или хотя бы контролировать пересказ своих переживаний я буду вечно попадать в неловкое положение.

* * *

С тех пор я не забывал Италию. Мне предстояло снова увидеть Милан, Верону, Венецию ближе к концу лета, по возвращении из Женевы, и я уже решил провести следующую весну в Риме, чтобы собрать материал для дипломной работы. Тяга к итальянскому пейзажу, языку и культуре была тем более благотворна, что я не специализировался на классических языках и собственно на Италии. Даже напротив, я определенно увлекся историей восточных религий и индийской философией. Более того, мое неупорядоченное образование, его опасный разброс, интерес к алхимии и герметизму, только что открытые Новалис и Кьеркегор, страсть к экспериментам, в ходе которых надо было обуздать или превзойти жизнь с ее законами, — все это контрастировало с традициями, встреченными мной в Италии. Но притяжение к ней, повторяю, шло мне на пользу. Я был захвачен мисти-

кой и, как многие из моего поколения, увлекался переоценкой средневековой философии, которую триумфально вели по Франции Жильсон и Маритен и которую Нае Йонеску обсуждал на своих лекциях, не принимая, однако, безоговорочно, поскольку, хотя он и заставлял нас читать св. Фому, все же симпатии его склонялись к византийскому богословию, особенно к Оригену, чей философский гений он ставил выше всех на Востоке (и это за двадцать лет до «пересмотра» Оригена западными богословами). Так или иначе, я выбрал темой диплома философию итальянского Возрождения, в частности, Пико делла Мирандола, Джордано Бруно и Кампанеллу. Не отдавая себе в том отчета, я пытался уравновесить серьезной работой по неоязыческому имманентизму, пантеизму и натурфилософии свою страсть к трансцендентному, мистическому и к восточной духовности. Но, может быть, дела обстояли не так просто, как мне это кажется сейчас, тридцать пять лет спустя. Магию и оккультизм я, в сущности, находил, сколько душе угодно, у Пико, порядочно неоплатоновской мистики — у Марсилио Фичино, безграничную фантазию — у Кампанеллы. Я также находил заново во всем итальянском Возрождении веру в беспредельные возможности человека, концепцию творческой свободы и прямо-таки люциферовскую гигантоманию — то есть все, чем я был одержим в моей юности.

Но главное — я открыл, как это важно — что мне двадцать лет. Я понял, что надо радоваться каждому мгновенью, что это все дары, которые дважды не даются, что наступит день — и мне придется пожалеть обо всем, чего я не сделал и чего не пережил сейчас, когда все кажется мне возможным.

* * *

Я вернулся в свою мансарду майским вечером, протащившись на бричке, груженной книгами, от Северного вокзала до дома. После семейных объятий и самых первых, взахлеб, описаний итальянских прелестей я поднялся в мансарду.

Выглянул в сад, за ним — та же темная каменная глыба дома, принадлежащего послу Джураве, все жалюзи опущены, как в разгар лета, все тот же огромный и таинственный дом, где огни зажигали на несколько дней в году, когда посол ненадолго заезжал в Бухарест. Я застиг себя на мысли о Ри., как множество раз в последние недели, на площади Сан-Марко, на Капри, в Амальфи. Я отовсюду посылал ей открытки, сплошную тайнопись и намеки. Но я и сам толком не понимал, на что намекаю. Я уже знал, что влюблен и что Ри., конечно же, догадалась об этом раньше меня. Я терялся в догадках о том, что творится у нее на душе. Она не скрыла от меня, что один человек из море-

ходного училища давно за ней ухаживает и предлагает ей выйти за него замуж сразу, как только он станет офицером. Она добавила, что, хотя он красивый и милый, она его не любит и предпочла бы найти мужа «из своего круга», а этот круг был очевидно наш, университетский.

Тема эта была мне чужда, да и вообще относилась к крайне отдаленному будущему. Я только-только начал расставаться с подростковыми комплексами и вышел преображенным из отношений с Теа. Я чувствовал, что любовь к Ри. — какая-то безвыходная; я не просто не мог помыслить ни о женитьбе, ни даже о романе, но и знал, что попробую себя убедить, будто вовсе не влюблен, или сделаю все, что в моих силах, чтобы не быть влюбленным.

Когда она пришла навестить меня на другой день, мы обнялись и простояли бы так очень долго, если бы не робкий стук в дверь. Это, конечно, был кто-то из моих друзей, желавший узнать, как мне понравилась Италия. Но в тот вечер все между нами словно бы переменилось, и скоро друзья начали замечать то, что мы предпочли бы держать в тайне. Мы все время были вместе, а по вечерам запирались в мансарде. Правда, оставаясь один, я пытался бороться с этой страстью, которая, как мне казалось, угрожает моей свободе и моей духовной целостности. Статьи, которые я тогда писал, продолжали мой шифрованный диалог с Ри. Так, в статье о Кьеркегоре «Жених, памфлетист и схимник» (первой, может быть, статье о Кьеркегоре, вышедшей на румынском) я, остановившись на его любви к Регине Ольсен, не забыл процитировать знаменитый пассаж о невесте, которая может помочь любящему ее человеку стать гением, тогда как жене под силу сделать из него разве что генерала. Очерк о Новалисе тоже был полон тайных намеков.

Тем летом я написал несколько литературных зарисовок, которые напечатали «Универсул литерар», «Синтез», «Вьяца литерарэ», «Эст-Вест». Я не перечитывал их с тех пор, так что судить о них не могу. Помню только, что по большей части это были фантастические вещицы со странными персонажами, с невероятными происшествиями. В «Синтезе» я опубликовал повестушку, герой которой отличался крайним уродством, и вся интрига держалась на его комплексе неполноценности. В «Универсул литерар» вышли отрывки из «Романа о подростке в очках» и еще — новелла, где я попытался описать потерю памяти и первые шаги человека, утратившего чувство своего живого присутствия в мире. (Вскоре, когда я познакомился с Камилем Петреску[65] и дал ему прочитать эту новеллу, он сказал мне: «Сумасшедшие неинтересны как сюжет для литературы»... Он был прав.)

«Эст-Вест», журнал, который финансировал Раду Каприел, а вели Йон Анестин, В. Стое и я, просуществовал недолго: вышло два или три номера, зато, среди прочих, в нем сотрудничал Нае Йонеску, по-

местивший там «Введение в румынскую драматургию». Еще зимой Раду Каприел написал мне, что ему нравятся мои статьи и что он хотел бы со мной познакомиться. Он оказался видным брюнетом лет на десять старше меня, с черными отвислыми усами. Мы быстро подружились. Он сказал, что располагает акциями, которые хочет продать, чтобы затеять издание журнала. Каприел приглашал нас по вечерам к себе домой на ужин, и мы подолгу обсуждали «линию журнала». Потом, в один прекрасный день, он признался, что собирается жениться и уехать в Аббазию, и что больше не может субсидировать журнал. С тех пор мы виделись довольно редко. Он выказывал такой интерес ко всем моим писаниям, что попросил у меня и мои юношеские рукописи. «Воспоминания свинцового солдатика» так и остались у него.

* * *

Во время экзаменов мы узнали, что Лига Наций выделяет несколько стипендий для студентов на двухмесячное пребывание в Женеве. Конкурс — письменный экзамен — прошли, кроме меня, Раду Котару, Николае Арджинтеску, Петре Вифоряну и Джордже Дука. Мы выехали в компании с Арджинтеску и Котару, и первой остановкой на пути была Вена. Котару — в ту пору высокий, красивый юноша, с интересом к социологии, числился среди любимых учеников Густи. Арджинтеску, белобрысый коротышка, отличался занудством и претензиями, которые всех раздражали, а меня чрезвычайно забавляли. В Женеве мы все поселились в одном пансионе, но клопов там оказалось столько, что мы бежали оттуда и устроились, кто где мог.

По идее, нам полагалось посещать лекции о структуре и о будущем Лиги Наций, но я предпочел записаться в университетскую библиотеку и читать книги, в Бухаресте недоступные, особенно по востоковедению. Харчевались мы в студенческой столовой, иногда вместо ужина довольствовались кофе с молоком, а на сэкономленные деньги покупали книги. Попавшийся мне поздновато «Дневник» Амьеля не слишком меня увлек. Зато я открыл Леона Блуа и укомплектовался Реми де Гурмоном. «Диалоги любителей» до досадного обманули мои ожидания. В Гурмоне меня подкупали его личная драма и многосторонняя эрудиция. Но наивное восхищение «наукой» и дешевый скептицизм вызывали раздражение. Я написал две рецензии, одну — с известной долей симпатии, другую, под названием «Гурмоновские методы», крайне и, может быть, незаслуженно критическую. Две-три недели спустя «Кувынтул» опубликовал статью никому не известного автора, Михаила Себастьяна[66], «Сентиментальный Гурмон». Статья, пришедшая по почте, стала первой публикацией Себастьяна, который тогда был лицеистом восьмого класса и жил в Брэиле.

В Женеве все время принадлежало мне. Гуляя вокруг Женевского озера, в уединении парков, я занимался наведением порядка в открытиях и переживаниях последних лет. Разумеется, я не переставал замышлять гигантские проекты: например, сравнительную историю мистики. Но пока взялся писать серию очерков под названием «Духовный путевник», где решил обозреть все кризисы и искушения, через которые я проходил. Причем я говорил не только от своего собственного имени. Мне казалось, что происходящее со мной, и в первую очередь, агрессивное, по нарастающей, размежевание с идеалами предшественников, определяет — или вскоре будет определять — жизнь всех моих сверстников. Так я написал ту дюжину статей — своего рода вехи духовного пути для «молодого поколения», то есть для тех, кто во время войны были детьми или подростками и кому сейчас, в 1927, было между двадцатью и двадцатью пятью годами.

С моей точки зрения, различие между «молодым поколением» и предыдущими происходило из того факта, что наши предшественники осуществили свою историческую миссию — объединение народа. Но если Румынии мировая война позволила восстановить ее реальные границы, то официальной западной идеологией война, напротив, воспринималась как нечто неоднозначное и ужасное. Миф о необратимом прогрессе, вера в определяющую роль науки и индустрии, которые должны были установить мир во всем мире и социальную справедливость, примат рационализма и престиж агностицизма — все это рассыпалось в прах на полях сражений. «Иррационализм», который сделал войну возможной и питал ее, теперь ощущался и в духовной жизни, и в культуре Запада: реабилитация религиозного опыта, впечатляющее число обращений в христианство, интерес к псевдодуховности и восточным гностическим системам (теософии, необуддизму, к Тагору и т. д.), успех сюрреализма, мода на психоанализ и т. п. Кризисное состояние западного мира говорило мне, что идеология военного поколения больше недействительна. Нам, «молодому поколению», предстояло найти собственный смысл жизни. Но в отличие от предшественников, которые родились и прожили жизнь с идеалом воссоединения народа, у нас не было под рукой готового идеала. Мы были свободны, открыты для «экспериментов» любого рода. В тогдашнем моем понимании эти «эксперименты» не предназначались для поощрения дилетантства или духовной анархии — нас принуждала к ним историческая судьба. Мы были первым поколением Румынии, не обусловленным обязательной исторической целью. Чтобы не скатиться в провинциальность или в духовную стерильность, надо было быть в курсе того, что происходит на свете в *наши* дни.

Итак, я начал подвергать обсуждению то, чем жил я сам, мои личные «эксперименты», книги, теории, гнозисы, будоражившие меня,

задававшие мне задачу. Я написал о дилетантстве Гурмона, о теософии, антропософии, о неовосточных гнозисах, потом о реставрации метафизики, о разнообразных мистических опытах, о наступлении католицизма, об историзме и заключил «Духовный путевник» статьей о православии. Она была довольно поверхностной — поскольку я слишком мало знал, а понимал и того меньше, — но обладала тем достоинством, что не была ни догматичной, ни программной. Я говорил только, что для части «молодого поколения» православие может стать целостной концепцией мира и экзистенции, и что этот феномен, если он осуществится, станет новым феноменом в истории современной румынской культуры.

«Духовному путевнику» удалось заразить немало моих ровесников. Шербан Чокулеску отозвался о нем критически, но с чрезвычайной симпатией, во «Вьяца литерарэ». Они с Мирчей Вулканеску и Паулем Стерианом вернулись из Парижа осенью 1927 года, и, благодаря «Духовному путевнику», я с ними со всеми познакомился. С Мирчей Вулканеску мне предстояло сойтись накоротке в последующие годы. Только побеседовав с Мирчей Вулканеску и Паулем Стерианом, я понял, сколь велико мое невежество в том, что касается восточного христианства и религиозной румынской традиции, не говоря уже об «опыте православия», которого у меня не было вовсе. Православие казалось мне важным для румын, потому что оно было внедрено давно, составляя часть румынской истории и культуры. Я лично, хотя традицию эту ощущал привлекательной, не жил ею. Тогда, в двадцать лет, я только-только избавился от последствий отроческого увлечения сайентизмом и агностицизмом. Я еще боролся с рядом трудностей и искушений, историю которых опишу несколько позже.

Насколько я был далек от концепции православия, которую разделяли Нае Йонеску, Мирча Вулканеску или Паул Стериан, я понял, когда, спросив Профессора, что он думает о финале «Духовного путевника», услышал в ответ: «Думаю, что ты не прав. Ты говоришь, что рождаются католиками или протестантами, а становятся православными. А я считаю наоборот: можно стать католиком или протестантом, но если ты румын, то рождаешься ты православным. Православие — оно в порядке вещей, оно или есть, или нет, а выстроить его крайне трудно. Я не очень-то представляю себе, как можно, родившись румыном, обратиться в православие, хотя прекрасно понимаю процесс обращения в католицизм. Но у тебя, я думаю, речь не о том: для тебя православие — как тихая гавань, куда ты надеешься вернуться после приключений на море. Но в гавань не возвращаются по доброй воле, а только когда остаются в живых после кораблекрушения, так что твое желание вернуться в гавань — это почти фатальность. Для тебя жизнь равняется череде духовных авантюр; думаю,

ты не прав, но это не имеет значения. Значение имеет только то, что ты *сделаешь*, что ты сотворишь до и после того как поймешь, что ты заблуждался...»

В «Духовном путевнике» я уточнял и артикулировал свои мысли, рассыпанные по разным статьям, а именно: что существует «молодое поколение» и что я лично в первую очередь обращаюсь к нему; что меня гораздо меньше интересуют другие читатели, не моего возраста и не моей формации. Находились люди в старшем поколении, для которых такой угол зрения был просто-напросто кривым. Кое-кто от души потешался над тем, что считал моей идеей-фикс или причудой. Помню, как мне нравилось встречать Ем. Букуцэ, потому что при встрече я слышал от него неизменно один и тот же вопрос: «Как там ваше поколение, господин Элиаде?» Я всегда смеялся в ответ, потому что шутка казалась мне отменной. Но в глубине души я знал, что прав. Мы отличались от предшественников не только тем, что были молоды, но и тем, что между нами пролегла война. Вот так же, думал я, будет и с нами, если через десять-пятнадцать лет случится новая мировая война. На счету у молодежи мы будем не просто людьми постарше, но и не такими, как они. Впрочем, скоро я обнаружил, что «проблема поколений» не принадлежит исключительно Румынии, что о ней говорят и в других странах. Позже Ортега-и-Гассет с учениками — Юлианом Мариасом и Лаином Энтральго — возведут концепцию «поколения» в ранг фундаментальной категории философии культуры.

Той же осенью 1927 я сочинил претенциозный и путаный текст со смешением стилей: философское эссе, диатриба, литания, — и назвал его «Апология мужества». Вскоре после этого текст опубликовала «Гындиря». Это была попытка скроить из «мужества» — клише, одолженного мной из «*Maschilità*» Папини, — модель жизни в мире и одновременно орудие познания, то есть подчинения мира себе. Я понимал под «мужеством» то, что после открыл и в Индии, — то, что махаяна определяет как *vajra*, «чистое сознание» (знаменательно, что *vajra*, буквально «удар молнии», символизирует и детородный мужской орган, а точнее, «духовные» потенции, внутренне присущие этому органу и для него специфические). То есть я считал, что мужество, в его абсолютной форме, равнозначно чистому духу. Я не принимал эрос иначе как целиком подчиненным «мужеству»; в противном случае абсолютной целостности чистого духа грозил раскол. Любовь, во всех ее проявлениях, была только орудием реинтеграции Духа.

Смесь аскезы, метафизической экзальтации и сексуальности (смесь, опять-таки отдающая Индией) привела публику в замешательство. Люди не знали, что и думать об этом тексте. Время от времени в провинциальных журналах и газетах я читал критику на него

или злорадные намеки. Стелиан Матееску как будто бы заинтересовался, но он не принимал то, что сам же назвал «сексуализацией Духа». Паулю Стериану пришлась по вкусу «поэзия», которую он усмотрел в этой норовистой прозе. Речь шла о фрагменте, в котором автор изливал свою ярость на то, что *не может быть всем и одновременно*. Мирча Вулканеску сказал мне, что текст подходит в качестве аргумента для демонстрации нужности метафизики.

* * *

С тех пор я все больше сбивался на личное. Очерк «Против Молдовы» возмутил кое-кого из моих друзей, а ответил мне один незнакомый человек, Петру Манолиу из Ботошань, в тамошней газете. На смерть Пырвана я опубликовал пафосную статью, имевшую заметный успех у молодежи. Я получал восторженные письма даже от гимназисток. Иногда я позволял себе фантазии, которые казались мне смелыми. Я написал статью об Антонио Мальябекки, потому что меня покорила его безумная страсть коллекционера, собирающего библиотеки, разрозненные Французской революцией, частенько покупающего экземпляры книг, которые у него уже были, — так невыносима для него была мысль, что их выбросят или сожгут. Поскольку Антонио Мальябекки собрал пятьсот тысяч томов, я поместил статью о нем в серии «Люди из книг».

Вскоре я начал еще одну серию, «Письма к провинциалу», где вел своего рода беседу с молодыми людьми моего поколения. По множеству писем, которые я получал, я выстроил образ «провинциала», которому придал и немало своих личных черт, к примеру, приступы меланхолии (по поводу которых я, разумеется, метал громы и молнии). Этому-то «провинциалу» я и давал уроки мужества и героизма, звал его отринуть клише, апатию и посредственность, принимать всерьез свою молодость, то есть в первую очередь трудиться, не щадя сил, что-то делать, созидать. Меня обуревал страх, что наше поколение, в истории румынского народа единственное свободное, «уволенное в запас», не успеет исполнить свою «миссию», что в один прекрасный день грянет «мобилизация», как это было с нашими родителями, дедами и прадедами, и тогда будет не до того, чтобы заниматься свободным творчеством, тогда нам ничего не останется, кроме как повторить судьбу наших предшественников: сражаться, отдавать себя в жертву, смолкнуть.

Помню одну из этих пафосных статей, «*Anno domini*», которая произвела впечатление на Перпессичиуса, поскольку он увидел за ней призрак войны. Но я думал все-таки не только о войне, когда ее писал, — мало ли какие бывают в истории катастрофы или пагубы. Со-

вет, который я давал «провинциалу», состоял вот в чем: пусть представит себе год, который начинается, 1928, как *последний свой год* и постарается *успеть* за эти двенадцать месяцев сделать все, что намечал в жизни. Откуда были у меня эти апокалиптические предчувствия? Ни в коем случае не от политической ситуации в Румынии или в Европе. В начале 1928 года немногих, полагаю, терроризировала неизбежность мировой войны. Я, впрочем, меньше всего думал о политической ситуации, внутренней и внешней. Мой страх был другого порядка: что Время нам враждебно, то есть у нас слишком мало времени для того, *что* нам надо успеть, и, следовательно, нам нельзя тратить его попусту. В другом плане это была все та же «борьба со сном», которую я начал в лицее, когда понял: для того, *что* мне надо успеть — прочесть тысячи книг, изучить столько наук, — шестнадцати часов в день недостаточно. Только на сей раз речь шла не обо мне. Я чувствовал себя ответственным за все «молодое поколение». Мне казалось — мы призваны для великих дел; я знал, что наш первейший долг — ощутимо расширить горизонты румынской культуры, открыв окна в духовные миры, до той поры находившиеся вне пределов досягаемости. Если я печатал статьи об Асвагоше и Миларепе, о Кьеркегоре и орфизме, я это делал, с одной стороны, затем что подобные личности и проблемы не интересовали наших предшественников, а с другой, затем, чтобы противостоять нашей зависимости от французской литературы, зависимости, которая казалась мне признаком умственной лени. Я призывал «провинциала», как и самого себя, к сверхчеловеческому усилию — дабы изучить и совершить все, чего не успели изучить или совершить наши предшественники.

Думаю, что я не ошибся. В сущности, моему поколению выпало лет десять-двенадцать «творческой свободы». В 1938 году установилась королевская диктатура, последовала война, а в 1945 — советская оккупация. И наступила немота.

* * *

В ту осень 1927 года Памфил Шеикару ушел из «Кувынтул», уведя за собой целую группу коллег, и основал газету «Курентул». В результате этого кризиса на плечи Нае Йонеску легла еще большая ответственность за политическую ориентацию еженедельника. Я по-прежнему писал по две статьи в неделю, но Титус Енакович старался убедить Профессора, что я мог бы занять место одного из ушедших редакторов.

В конце осени я первый раз выступил на публике. Стелиан Матеску, который был секретарем Общества Эстетики, организовал в Королевском Фонде конференцию по романтизму и предложил мне тему «Религиозный романтизм». Он сам выступил на открытии с докла-

дом о романтизме в искусстве, обильно уснастив его цитатами из своего черного блокнота, — и отбыл в Париж. В числе докладчиков были, если мне не изменяет память, Штефан Неницеску и Оскар Вальтер Чисек. Я согласился выступить, потому что, как мне казалось, нашел свое собственное толкование религиозного романтизма. Я собирался показать романтический характер всех религиозных движений, которые сопротивлялись, с большим или меньшим накалом, традиционным и государственным религиям. Последние я причислял к классическим. Таким образом, оппозицию и противостояние «даосизм—конфуцианство», «буддизм—брахманизм», «дионисийство или орфизм—религия греческих колоний» и даже реформу Заратустры или страстную весть еврейских пророков я трактовал как разные проявления все того же «романтического бунта»; каждый из бунтарей по-своему делал упор на личный опыт и отвергал или минимизировал коллективные религиозные ценности — семьи́, города или государства. Все эти «романтические» течения родились из необходимости придать религиозному опыту бо́льшую сокровенность и глубину, и, в первую очередь, из тяги индивида к «спасению» или к прямым и личным отношениям с божеством.

Эта скороспелая попытка найти общность у стольких реформистских и новаторских течений не была ошибочной, но я впал в преувеличение, определив их все как «романтические». По сути дела, речь шла о противостоянии двух типов религиозного опыта. Но поскольку общей темой был романтизм, я окрестил «романтическими» все религиозные движения, которые стояли за индивида против сообщества.

Я не записал свой доклад, а ограничился тем, что набросал довольно подробный его план. За несколько дней до конференции, будучи один в мансарде, я прорепетировал начальные фразы. Если знаешь, что сказать в первые пять минут, думал я в полной уверенности, остальное придет само по себе. Я боялся только одного — как бы меня не одолела робость, когда я окажусь на сцене Фонда, перед огромным залом. Потому-то я и репетировал, мысленно или вслух, зачин доклада. Раду Боссие и Хайг Актериан советовали мне говорить раздельно, четко выговаривая каждое слово, и не размахивать руками.

Я помню все очень хорошо. Я быстро сошел по ступенькам, которые вели из директорской ложи на сцену, быстро, но достаточно осторожно, чтобы не споткнуться, и, спускаясь, ощутил ропот зала, услышал аплодисменты, и на меня снизошло состояние спокойной эйфории. С самых первых произнесенных слов я уже знал, что все будет даже лучше, чем я себе представлял. Я без усилий нашел тон и подходящее словесное русло и был так уверен, что смогу сказать все, что имел сказать, что даже не вынул из кармана план и заметки. И плохо

сделал. Зачарованный легкостью, с какой сами собой подбирались слова, я отошел от плана, составленного дома. Меня увлекли комментарии, я подчеркивал аналогии, которые открывал тут же, по ходу доклада — может быть, они и были оригинальные и интересные, но, конечно, не для публики, сидящей передо мной. С другой стороны, не соотносясь с планом, я опустил целый ряд фактов и идей, существенных для темы, которую трактовал. Это, конечно, была скорее *causerie*, чем ученый доклад, и, может быть, как раз благодаря этой спонтанности и небрежности публика слушала с неослабным вниманием мои соображения о даосизме и орфизме — предметах, которые в иных обстоятельствах, вполне вероятно, ее бы не захватили.

Аплодисменты, сопровождавшие меня до директорской ложи, подтвердили мое впечатление, что у меня был «контакт с залом». Но уже минут через пять я вспомнил про опущенные факты и идеи, и радость от преодоленного с честью испытания омрачилась. Я поспешил заполнить лакуны, обратившись к друзьям, которые поджидали меня у выхода: «Я недосказал про орфизм...». И только потом, в пивном зале, где мы собрались, я основательно объяснил им, в каком смысле орфизм можно причислить к «романтизму».

* * *

В январе 1928 года я решил написать продолжение к «Роману о подростке в очках». «Жизнь студента» приближалась к концу, и я хотел всю ее уловить и сохранить в автобиографическом романе, который назвал «Гаудеамус». На сей раз дневником, как в лицейские времена, я не располагал. Впрочем, я не задавался целью написать роман-документ; речь уже не шла о таком малоизученном и трудном для понимания феномене, как отрочество. «Юность» казалась мне состоянием в некотором смысле банальным. Спасти ее от банальности могла разве что большая любовь — и то только если ее приносили в жертву, отринув. У меня была тогда своя концепция «большого чувства». Мне казалось, что любовь не заслуживает этого названия, если не исполняется в браке или если от нее не отказываются на самом пике страсти. В двадцать лет я восхищался единственно теми студентами, которые либо женились, либо отказывались (как думал поступить я сам) от любимой женщины. Затянувшийся роман, превращающийся в «связь», казался мне столь же нетворческим, как и череда более или менее эпизодических приключений. По сути дела, это тоже было своего рода сопротивление «упрощенности» поведения, нормального для возраста и ситуации студента. Студенческие браки были в те времена редкостью и всегда подразумевали определенные жертвы; один из двух, обычно муж, чем-то жертвовал: карьерой, которая могла бы

получиться блестящей, или, по крайней мере, беззаботной юностью. Те немногие студенческие пары, которые я знал, жили в нужде, на грани нищеты. Выбрать в двадцать лет бедность казалось мне примерным благородством.

Я чувствовал, что «Гаудеамус» надо написать прямо сейчас, зимой 1928, и как можно скорее. Надо было, с одной стороны, зафиксировать атмосферу, которая уже начинала тускнеть: начало «жизни студента», репетиции у меня на мансарде, первые встречи с Теа. С другой стороны, я предчувствовал, что откажусь от «большого чувства», которое в ту пору переживал, и начинал готовиться к этому испытанию, готовя и Ри., помогая ей понять, что в том-то и состоит вернейшее доказательство моего чувства к ней: я приносил себя в жертву любви, этой любовью жертвуя. Сюжетом романа и была эта любовь, начинавшаяся через отвержение и экзальтацию, исполнявшаяся в своего рода бредовом блаженстве и в конце концов задушенная вовсе не во имя кого-то и — по крайней мере, для нормального читателя — без всяких на то причин и оправданий. Автор романа в минуту расставания был чуть ли не больше влюблен, чем в последние месяцы. Я в точности передал мои чувства той зимы, когда писал роман, и не сомневался, что все так и произойдет восемь-девять месяцев спустя, когда мне предстояло уехать. Я окончательно расставался с Ри., потому что знал, среди прочего, что она примет предложение от кого-то другого и навсегда исчезнет из «нашего мира», мира, который мы закладывали сообща, и вместе со столькими друзьями, все три года студенчества.

Я писал, как обычно, по ночам. Но этот роман так меня захватил, что я вполне мог бы писать его круглые сутки, без перерыва. Поскольку в мансарде не было никакой уверенности, что меня не прервет кто-нибудь из друзей или Ри., я напросился в гости к бывшему однокашнику, Марину Попеску, в Клинчень. Там у его родителей был летний дом с прудиком — остатки усадьбы. И вот как-то утром Марин Попеску заехал за мной в кабриолете. До Клинчень — километров двадцать пять, и, хотя дело шло к концу января, дороги были еще приличные. Марин через несколько часов вернулся в Бухарест, а я остался один. Печь была затоплена в низкой, свежевыбеленной комнате, где я и придвинул к окну письменный стол. Прислуга приносила мне поесть два раза в день и заваривала кофе, когда я ее просил. Я уселся за работу в тот же день и писал до поздней ночи при керосиновой лампе.

Я постановил для себя написать «Гаудеамус» за неделю. У меня уже была готова сотня страниц, и, по моим расчетам, роман уместился бы примерно на двухстах пятидесяти. Я не считал, что это чересчур — выдавать по двадцать страниц в день, за восемнадцать часов.

По чем дальше я писал, тем сильнее меня одолевала грусть. Мне казалось иной раз, что я пишу некролог своей «жизни студента», которую так любил, которую еще два года назад превозносил как сказочную. На некоторых страницах мне даже слезы застилали глаза: когда я вспоминал репетиции хора на мансарде, первые свидания с Ри. У меня было чувство, что все это могло бы продлиться, если бы я не постановил, что *надо* лишить себя всего этого. Но любой ценой мне надо было освободиться от этих новых резервов меланхолии, то есть от воспоминаний студенческой поры и среди них от главного — от истории моей любви. Я должен был кончить «Гаудеамус» за неделю. Возможность его опубликовать занимала меня меньше, хотя я предполагал отдать его в одно издательство вместе с «Романом о подростке в очках».

Дня через три-четыре пошел снег, а потом поднялась метель и не утихала ни днем, ни ночью. Помню эти сугробы в человеческий рост, потому что у меня как раз кончились чернила, а за новой склянкой до села, до Клинчень, было не добраться. Я начал разбавлять остатки чернил водой, и последние главы, которые становились все короче и драматичнее, выходили из-под пера все бледнее и бледнее. Последние страницы было вообще трудно разобрать. Когда я дал почитать рукопись Ри., она спросила, не слезами ли я их написал.

Не знаю, поняла когда-нибудь Ри. или нет, что означал для меня «Гаудеамус». Роман кончался ее свадьбой и моим уходом; студенческое сообщество рассыпалось по миру, а мансарда подлежала слому; источник наших воспоминаний исчезал таким образом навсегда. В своем желании окончательно исчерпать прошлое и защититься от настоящего я дошел до предвидения события, которое казалось мне просто кощунственным. Ведь я не мог представить себя в Бухаресте без мансарды на улице Мелодии. Я знал, что уезжаю из страны на много лет, но был уверен, что по возвращении снова найду ту же мансарду, где вырос, где совершилась таинственная метаморфоза, меньше чем за десяток лет превратившая «капитанова шалопая», как меня называли соседи, в серьезного человека, автора «Гаудеамуса». В те клинченские ночи я словно бы жестоко расправлялся сам с собой, предвидя разрушение дома на улице Мелодии, и предвидению моему предстояло сбыться каких-нибудь семь-восемь лет спустя, в 1935.

Ри. не скрыла от меня, что, хотя роман ей очень понравился, но он ужасно грустный. Мы говорили о нем как о литературе, почти безотносительно к нам двоим. Я докладывал ей о впечатлениях других читателей. У меня был только оригинал рукописи, но рукопись была почти без исправлений и, за вычетом страниц с бледными чернилами, вполне разборчиво написанная. Я дал ее Йонелу Теодоряну в надежде, что ему понравится и он отдаст ее в издательство «Картя ро-

мыняскэ». С Теодоряну мы познакомились годом раньше в Яссах и, хотя я напечатал довольно-таки сдержанные статьи о «В Меделень», остались добрыми друзьями; он всегда давал мне знать о себе, когда дела приводили его в Бухарест. Через несколько недель Йонел Теодоряну вернул мне роман с кратким, теплым письмом. Он писал, что прочел все одним духом, как пьют стакан муста. Но, добавлял он, хорошее старое вино не пьют, как муст, а смакуют по глоточку. Так он дал мне понять, что мой роман — это еще не литературное произведение, а всего лишь крик юношеской души, которая страдает от многих и не вполне внятных причин.

Он был, конечно, прав. Когда четырьмя-пятью годами позже я перечитал «Гаудеамус», он показался мне сразу и лирическим, и исступленным, претенциозным, неуклюже-нескромным, без размаха. Но в ту весну 1928, как бы во хмелю от «популярности», которую я, по моему мнению, снискал двумя годами сотрудничества в «Кувынтул», я пошел к Мени Тонегину, в «Картя ромыняскэ». При виде его я не скрыл удивления, и, я думаю, он мне этого не простил. Тонегин был низенький молодой человек с редкими волосами, тщательно распределенными по голове, с замедленными движениями, подразумевавшими торжественность и изыск, особенно когда он смотрел на свой огромный *chevalière*. У него к тому же была булавка с жемчужиной в галстуке. Я показал ему рукописи двух своих романов и спросил, не расположен ли он их прочесть ввиду возможной публикации. Он устало улыбнулся и ответил, что издательство «Картя ромыняскэ» печатает не иначе как классиков вроде Михаила Садовяну и иже с ним или молодых романистов, имеющих успех, как Йонел Теодоряну, но пока что Йонел Теодоряну — единственный из молодых, кто имеет успех. Он добавил, что публика не читает румынскую литературу, предпочитая иностранные романы и что поэтому бесполезно сейчас начинать писать. Но что если я все-таки настаиваю, он мог бы полистать рукописи, однако он предупреждает меня сразу, что у меня нет никаких шансов напечататься в «Картя ромыняскэ».

Я вернулся домой со своими рукописями и с тех пор не искал для них издателя. Я довольствовался тем, что пустил «Гаудеамус» по кругу среди друзей. Еще я опубликовал один фрагмент во «Вьяца литерарэ». Потом рукописи легли в ящик стола рядом с другими. Последний раз «Гаудеамус» попался мне на глаза в 1937 или 1938 году. Я помню это еще очень отчетливо: двести двадцать страниц, исписанные четким, ясным почерком, какой я с тех пор утратил. Последние десять-пятнадцать казались выцветшими, как будто целое лето пролежали на солнце. Разобрать написанное было еще можно, но с большим трудом.

Глава 8
Письмо магараджы из Кассимбазара

В начале апреля 1928 года я отбыл на три месяца в Рим. Я написал нашему атташе по прессе, Теодору Солаколу, попросив его найти мне комнату в дешевом пансионе. Он подыскал мне нечто поудобнее: комнату в семейной квартире по виа делла Скрофа. Кроме утреннего кофе, мне там ничего не полагалось, так что я не был связан едой. Я часто завтракал у Теодора Солаколу, но по большей части в *trattoria* рядом с библиотекой, куда приходили иногда супруги Исопеску или кто-нибудь из Румынской школы[67].

Поскольку я хотел успеть все сразу, я почти не спал. День проводил в университетской библиотеке, вечерами бродил по городу, а по ночам писал дипломную работу или статьи для «Кувынтул» и для итальянской прессы. Среди ночи выходил подкрепиться кофе, чтобы продержаться до рассвета. У меня с собой были труды Джордано Бруно в издании Джентиле, несколько томов Кампанеллы и все, что я смог купить по философии итальянского Возрождения. В библиотеке я корпел над изданием ин-фолио Пико делла Мирандолы, делая из него выдержки, но одновременно заказывал и другие книги и подшивки журналов. Читал, конечно, «Леонардо», журнал, который основал и в котором дебютировал Папини. Открыл Менендеса-и-Пелайо, хотя вначале наткнулся на его юношескую работу «Испанская наука», которая меня не захватила. Однако вскоре после этого мне попались его «Мысли об эстетике», «История еретиков», «Происхождение романа»: гигантские опусы, по пять-шесть томов каждый, — и я проглотил их, не переводя дыхания. Меня потрясла фантастическая эрудиция Менендеса-и-Пелайо при пленяющей ясности мысли и изяществе стиля. Вот так бы Йорге написать свой «*Essai de synthèse*», думал я. Я сразу уловил, до чего схожи эти два исполина и до чего схожи их роли в истории соответствующих культур. Но Менендесу-и-Пелайо удалось освоить колоссальный материал, им собранный, поэтому *его* я взял себе за образец. Когда же я обнаружил, что он напечатал еще и томик стихов, моему энтузиазму не было границ. С почтением и завистью я написал для «Кувынтул» большую статью.

Многосторонние эрудиты были моей слабостью с отрочества. Менендес-и-Пелайо подвиг меня на углубление в испанскую литературу, и так я открыл ученые тома Адольфо Бонильи-и-Сан-Мартина. О нем я тоже написал статью, может быть, первую публикацию в Восточной Европе об этом энциклопедисте. Что касается Артуро Фаринелли, он был прямо-таки моим старым знакомым. В последнем классе лицея я прочел два тома «*La vita é un sogno*» и с тех пор старался следить за его многочисленными публикациями, покупая, что было возможным, и прося у него то, чего не мог достать, в восторженных письмах.

С таким размахом, с каким я взялся за работу в Риме, я бы никогда не кончил ничего из начатого. Я отдавал себе отчет в этой опасности, но искушение было слишком велико. Я впервые *жил* в западной библиотеке, среди материалов, в Бухаресте недоступных. Я хотел пересмотреть всё, перечитать всё, переписать всё. Я делал выписки чуть ли не в забытьи, не упуская ни одной страницы, которая могла больше не попасться мне на глаза. Моя дипломная работа грозила перерасти в сравнительную историю итальянского Возрождения. В отдельных папках я собирал дополнительную информацию по герметизму и оккультизму, по алхимии и связям с Востоком. Чего я только не планировал! Перевести на румынский избранные места из Леонардо да Винчи, откомментировать «Сонеты» Микеланджело, составить «Избранное» Пико делла Мирандолы.

И вся эта лихорадочная деятельность была только частью моих римско-библиотечных авантюр. Кроме всего прочего, я набирал информацию по Индии и, в частности, по индийской философии. Из журнала «*Bilychnis*» я несколько лет назад узнал о путешествии в Индию Карло Формики и Дж. Туччи. С профессором Формики, преподавателем санскрита, мы были в переписке, и я получал от него книги и статьи. Туччи я попытался разыскать в университете, но мне сказали, что он все еще в Дакке, в Бенгалии. Мне разрешили работать в библиотеке его семинара по индианистике.

Никогда не забуду тот майский день, когда я открыл «*A History of Indian Philosophy*» Сурендраната Дасгупты. Зимой я купил его книгу о йоге и знал, что это самый видный специалист по истории индийской философии. Но первого тома его «Истории...», которую назвали потом его шедевром, я не видел и заказать его не решился (он стоил две гинеи). Во вступительном слове Дасгупта писал, что без поддержки магараджы Маниндры Чандры Нанди из Кассимбазара его книга не вышла бы в свет. Субсидии этого мецената дали ему возможность проучиться пять лет в Кембридже, и тот же магараджа взял на себя расходы по изданию книги в «*Cambridge University Press*». Дасгупта добавлял, что имя магараджы из Кассимбазара связано со всем, что де-

вается в культуре и образовании Бенгалии. С волнением переписал я имя и адрес магараджы и тут же, на месте, начал сочинять письмо по-французски. Я писал, что готовлю диплом по теме из философии Возрождения, но что меня все больше и больше интересует индийская философия, и я хотел бы поехать в Калькутту и поработать два года с Дасгуптой. Я довольствовался бы самой скромной жизнью, наравне с индийскими студентами, и спрашивал, смогу ли, если приеду в Калькутту, получить от него стипендию на время учебы. Ночью, дома, я переписал письмо и на другой день отправил.

Не сомневаюсь, что, не будь этого письма, моя жизнь сложилась бы по-другому. Я знал, что лучшее место для изучения санскрита и освоения индийской философии — это какой-нибудь индийский университет, но я даже не смел надеяться, что попаду туда так скоро. Я думал, что больше вероятности получить стипендию от какого-нибудь западного университета. При таком обороте дел я бы стал изучать сравнительную философию. Так что мои изыскания по философии Возрождения не казались мне лишенными смысла. Потом мне предстояло дополнить их основательным изучением восточной философии. По-моему мнению, я был достаточно осведомлен по части истоков греческой мысли и досократиков и намеревался в скором времени вплотную заняться классиками. Примерно так мне виделись тогда следующие пять-шесть лет занятий: сравнительная философия должна была подвести меня к сравнительной истории религий. Поэтому меня меньше интересовала постренессансная философия. Для моих целей Джордано Бруно и Кампанелла представляли большую ценность, чем Декарт или Кант. Все эти планы, и даже сама магистральная ориентация моих занятий, были опрокинуты ответом магараджы. Но его ответ придет еще только месяца через три. Я получу его летним утром, на улице Мелодии, когда надежда на него будет почти утрачена.

* * *

Иногда мы, румынские студенты, по вечерам собирались и шли поразвлечься в «Библиотеку» или в какую-нибудь *trattoria* в Трастевере. Расходились поздно и с песнями. По дороге я пил кофе в последних открытых барах. Не помогало. В своей теплой комнате на виа делла Скрофа я тяжело боролся со сном.

В середине июня я решил вернуться домой. Мне надо было попасть в Бухарест до конца месяца, чтобы сдать последние экзамены. Случился неприятный сюрприз — я перестал получать жалованье из «Кувынтул». Умер Титус Енакович, и газета, где директором был теперь Нае Йонеску, боролась с растущими финансовыми трудностями. Из дому

мне пришел денежный перевод, которого хватило на билет морем от Неаполя до Константинополя. Наш консул дал мне письмо к своему коллеге в Стамбуле, заверив меня, что там я получу бесплатный билет на румынский пароход. С большим трудом я распихал свои записки, рукописи и книги по двум чемоданам. Для дипломной работы у меня были написаны разрозненные фрагменты; от многих из них пришлось отказаться в окончательном варианте, когда тему ограничили тремя мыслителями. Добрую часть собранных материалов я так никогда и не использовал. Эти сотни страниц с изложением и копиями от руки редких текстов скоро найдут приют, рядом с другими рукописями, за стеклом книжного шкафа, который мне подарил отец.

Я еще раз повидал Неаполь, правда, не застал Маккьоро. На другой день я сел на итальянский пароход. День я проводил по возможности на палубе, читая «*La conscienza di Zeno*» Итало Свево. Но душные ночи в трюме, в каюте третьего класса, казались мне бесконечными. На последние деньги я позволил себе двухдневную остановку в Афинах. Разыскал постоялый двор, куда пускали за гроши и где можно было иногда поесть, потому что еда почти ничего не стоила. Даже после трехмесячного пребывания в Италии Афины все во мне перевернули. Перед Парфеноном я поймал себя на том, что чуть не расплакался, нагнул от стыда голову и сделал вид, будто что-то потерял и ищу. Я нашел крохотный, не больше чечевичного зерна, бледно-голубой цветочек. Волнуясь, сорвал его, заложил в блокнот и решил никогда с ним не расставаться. После чего смог смотреть на Парфенон незамутненным взглядом.

В Пирее я сел на греческий пароход и доплыл до Константинополя, где пробыл три дня. И здесь восхищению моему не было предела. Я гулял по городу целыми днями и всякий раз, как выходил к берегам Золотого Рога, зарекался впредь записывать путевые впечатления. На стамбульском базаре у меня забилось сердце. Ответит мне магараджа или нет? Я почти не смел надеяться. Я чувствовал, что Восток для меня — больше, чем сказочный пейзаж или предмет исследований, чем часть света, которую стоит изучать за ее тайную историю или за величие ее духовных творений. В неясном притяжении к Востоку я как бы угадывал судьбу, непонятные чары, исходящие бог весть откуда: от минарета, открывающегося внезапно в конце улицы, от полоски тени под старой стеной, от неба, проглядывающего между кипарисами.

Наш консул достал мне даровой билет на румынский пароход, и в одно прекрасное утро, в конце июня, я прибыл в Констанцу. Еле-еле дотащил два свои баула до вокзала. Денег у меня осталось на билет и на обед. Я довольствовался чаем с хлебом, чтобы в Бухаресте хватило на извозчика.

* * *

То лето, последнее лето моего бухарестского студенчества, осталось в памяти как сказочное время. Я без особого труда сдал последние экзамены, но выше моих сил было закончить диплом. Так что я отложил его на осень. Ри., напротив, сумела сдать на лиценциат и подала в министерство прошение на должность учительницы. Мы жили оба, как во сне, страшно боясь, чтобы нас кто-нибудь не разбудил напоминанием, что жребий давно брошен, что все решено и кончено. Иногда наши глаза встречались в немом вопросе — почему *надо*, чтобы все произошло вот так, — но ни один из нас не смел искать ответа.

Я легко убедил Нае Йонеску в необходимости моего путешествия в Индию. Иначе и быть не могло с профессором, который сам призывал нас всегда обращаться к первоисточникам, не довольствоваться «книгами о», читать, по возможности, оригинальные тексты. Отдавая себе отчет в моем искреннем интересе к Востоку, и особенно к Индии, Нае Йонеску при каждом удобном случае повторял мне, что нигде лучше не поймешь философию, чем там, где она зародилась. В Индии, например, добавлял он, можно увидеть, как ведет себя, как ходит по улице человек, который не верит в онтологическую реальность мира.

Тем летом Нае Йонеску почти в одиночку вез на своих плечах «Кувынтул». Редакторов осталось мало, а поскольку жалованье теперь если и платили, то редко и не полностью, и эти немногие редактора писали статьи нерегулярно. Бывали дни, когда Профессор один заполнял почти целиком первую полосу газеты, подписываясь разными именами и псевдонимами. Раз он даже подписался именем редактора, который не удосужился прислать свой материал. Помню, Перпессичиус рассказывал мне, как, открыв однажды «Кувынтул», он с удивлением увидел свое имя под статьей, которую точно не писал. А прочтя, удивился еще больше: как будто он сам это написал!..

Без особых надежд получить жалованье за полмесяца, я продолжал приносить по две статьи в неделю, а иногда и сверх того. В какой бы час я ни приходил в редакцию, я всегда заставал там Нае Йонеску — за столом, пишущего. Он сохранял улыбку, ясность духа и юмор, хотя похудел и выглядел всегда усталым. Когда в конце июля, после недельного похода в Бучеджи, я пришел его проведать, он похвалил меня за отдохнувший, загорелый вид. «Хотел бы я тоже пройтись по горам, — сказал он мне. — Я совсем замшел с этой газетой».

Я часто встречался со Стелианом Матееску, Паулем Стерианом[68], Мирчей Вулканеску и Санду Тудором[69]. Мы планировали вместе затеять журнал по религиозной философии, для которого Санду Тудор нашел название: «Дух ши Словэ». Журнал должен был заместить и про-

должить те два выпуска «Логоса», которые Нае Йонеску опубликовал на французском языке вместе с несколькими русскими богословами, нашедшими убежище в Германии и в Париже. В «Логосе» я опубликовал свои первые работы, написанные на плохом французском; длинную критическую статью о греко-восточных мистериях и об орфизме и «*La vision chrétienne d'Ernesto Buonaiutti*». Но «Логоса» вышло всего два выпуска. Мирча Вулканеску и Санду Тудор считали, что наш долг — перенять эту инициативу, публикуя журнал по-румынски и адресуясь в первую очередь к юношеству. Первый номер должен был выйти в канун Рождества. Мне поручили разобрать структуру магических философий и показать, насколько серьезное искушение для духа исходило от магии. Стелиану Матееску предстояло продемонстрировать ущербность магической философии, а Мирче Вулканеску — представить характерные черты христианского религиозного опыта. Не знаю, управились ли они вовремя. Мне удалось кончить свою статью в начале декабря на борту парохода «Хаконе Мару», перед прибытием на Цейлон. Я озаглавил ее «Магический факт» и из Коломбо выслал Мирче Вулканеску. Но «Дух ши Словэ» так и не состоялся, и этот текст, не лишенный интереса, утонул среди бумаг Мирчи Вулканеску, и его след затерялся.

Через Михаила Полихрониаде[70], моего соученика по лицею, я познакомился с Йонелем Жиану[71] и с Петру Комарнеску[72]. Жиану недавно вернулся из Парижа, и, поскольку его интересовала религиозная философия, мы быстро подружились. В те годы это был робкий юноша, высокий, худощавый, застенчивый и безутешный оттого, что пришлось расстаться с Парижем. Комарнеску скоро приобрел известность благодаря своим хроникам за подписью *Пан.Черчетаторул* в еженедельнике «Лумя», где он обсуждал выставки, концерты, конференции, книги. У него было тогда очень легкое перо, за вечер он мог написать несколько статей, иногда даже об одном и том же спектакле или об одной и той же книге. С Михаилом Полихрониаде мы подружились в последних классах лицея. Мы всегда возвращались домой вместе — нам было по дороге — и разговаривали. Уже с лицейских времен Полихрониаде увлекался политикой и публиковал внешнеполитические обзоры в консервативной газете «Эпоха». На первых двух курсах университета мы виделись реже. Но теперь, в 1928, благодаря, главным образом, новым друзьям, возобновили лицейский ритм встреч. В этой нашей компании возникла идея нового журнала. Предполагалось, что он будет ежеквартальный и будет затрагивать все крупные проблемы, интересующие молодежь как у нас, так и на Западе. В отличие от «Дух ши Словэ», ограничивавшегося религией и философией, выпуски «Акцьюне ши Реакцьюне» предполагали охватить все идеологии и течения в политике и культуре, возникшие по-

сле войны. Опять же в отличие от «Дух ши Словэ», первые выпуски «Акцьюне ши Реакцьюне» на самом деле вышли из печати, хотя и с запозданием на два года. Главными сотрудниками журнала были Петру Комарнеску, Полихрониаде и Йонел Жиану.

* * *

Как-то августовским утром мне пришел конверт с индийской маркой. Я с трепетом распечатал его. Мне писал магараджа Маниндра Чандра Нанди из Кассимбазара. Он приветствовал мое решение изучать индийскую философию под началом Сурендраната Дасгупты, но оговаривался, что двумя годами тут не обойтись, что нужно по крайней мере пять лет, чтобы выучить санскрит и проникнуть в тайны индийской философии. Он был расположен предоставить мне стипендию на пять лет. А поскольку он не представлял себе, чтобы европеец мог вести жизнь индийского студента, то спрашивал меня, какую сумму мне положить ежемесячно.

Я прочитал письмо, я перечитал его, как во сне. Потом побежал сообщить маме грандиозное известие. В тот же вечер я ответил магарадже, заверив его, что буду счастлив пять лет находиться рядом с Дасгуптой в Калькутте. А что касается ежемесячной суммы, то я оставляю это на его усмотрение. Я старательно переписал письмо, потому что рука у меня дрожала от волнения. И заснул очень поздно, обуреваемый планами и вопросами: во сколько, интересно, обойдется билет до Индии; какой будет маршрут; доплыть ли мне до Бомбея и затем пересечь Индию на поезде или подождать парохода, который огибает сушу и подходит прямо к Калькутте?

Когда я на другой день поделился своей новостью с Нае Йонеску, он сказал мне, что к осени дела *должны* поправиться, а когда «Кувынтул» будет спасен, он сможет мне помочь в моих дорожных расходах. Он, очевидно, надеялся на Национал-цэрэнистское правительство, за которое ратовал «Кувынтул» так же, как и внушительная часть страны, чем пренебрегать было уже невозможно. Но пока «Кувынтул» чудом держался на плаву благодаря преданности редакторов и железной воле Нае Йонеску.

К концу августа я уехал на неделю в Бран, на семейную виллу Пушкариу. Мы собрались там почти в полном составе — те, кто сдружился в старших классах лицея: Раду Боссие, Петре Вифоряну, Дину Сигиряну, Хайг Актериан и еще несколько человек. Почти у всех было преддипломное время, почти все собирались работать над диссертацией за границей и готовились к отъезду — они в Париж, а я, как надеялся, в Индию. Теперь у нас был случай вспомнить о начале нашей лицейской дружбы и, в частности, о прогнозах, которые мы лет

пять-шесть назад сделали относительно друг друга. Потом каждый рассказал об «идеале», который он наметил для себя в жизни, и мы договорились встретиться, тоже в Бране, в первое же лето, когда вернемся из-за границы, а потом собираться тут каждые пять лет, чтобы посмотреть, кто как сдержал слово.

Вскоре я снова начал вести дневник. На сей раз я уже не сидел, как в лицейские времена, часами над тетрадкой, записывая все, что взбредет в голову, анализируя сам себя, сам себе жалуясь. Теперь это были краткие записи, подробности, важные, по моему мнению, для дальнейшего, заметки и соображения в связи с идеями, которые я намечал осуществить. Но в первую голову это был личный дневник, я писал его исключительно для себя. Любые запреты были сняты, хотя я и намеревался кое-какие страницы время от времени рвать, особенно при подозрении, что они могут попасться на глаза посторонним. С некоторыми интервалами я продолжаю вести этот дневник и по сей день. Первую страницу я порвал в конце того же лета, в Бране. Может быть, после того, как моему доброму другу Раду Боссие удалось ее прочитать.

* * *

В октябре я решил поставить точку в дипломе. Иначе была угроза, что я никогда его не кончу. Его прочитали П.П. Негулеску и Мирча Флориан, и какое-то время спустя я стал лиценциатом по философии. Но порадоваться тому, что я избавился от этого бремени, мне не удалось. Недели, остававшиеся до отъезда в Индию, были, пожалуй, самыми драматическими. Ри. получила место гимназической учительницы в Стрихае, откуда посылала мне каждый день отчаянные письма. Я отвечал ей тоже каждый день, сам не понимая своего рвения — потому что непоправимое произошло. Она обручилась с морским офицером, который просил ее руки еще два года назад, а мне пришло второе письмо от магараджы, где он заверял меня, что я получу стипендию сразу по прибытии в Калькутту. С.Н. Дасгупта, со своей стороны, написал мне, что с радостью берет меня под свое начало в том, что касается изучения индийской философии и диссертации по йоге. Мне ничего другого не оставалось, как получить английскую визу для Индии и приискать подходящий пароход. Однако в 1928 году такие вещи для румына были не столь просты. Английскую визу мне не выдали бы без рекомендации сэра Джона Вудрофа (который, под псевдонимом Артур Авалон, открыл западному миру тантризм) и лишь после того как я показал, что располагаю сотней фунтов стерлингов.

И все же волокита тянулась бы еще много недель, если бы Мирча Вулканеску не узнал, что в начале декабря в Поонамалее, подле Мад-

раса, состоится конгресс ИМКА, к участию в котором, разумеется, была приглашена и Румыния. Мирча Вулканеску как раз был секретарем румынской секции ИМКА, но он не мог поехать и делегировал на конгресс меня. Когда я предъявил британскому консулу официальную бумагу, подтверждающую мой мандат, он изъявил согласие выдать мне визу на три месяца (кстати, за три года в Индии никто не поинтересовался, не истек ли срок моей визы). Правда, из-за конгресса в Поонамалее мне пришлось изменить маршрут. Надо было плыть из Египта в Цейлон, а оттуда поездом добираться до Мадраса.

Не легче было и раздобыть пресловутую сотню фунтов стерлингов. Я надеялся хотя бы частично получить жалованье в «Кувынтул» и может быть даже весомый аванс, но финансовая ситуация в газете не улучшилась. В конце концов, нужную сумму мне одолжил дядя Митаке.

И вдруг в ноябре события ускорили свой бег. Юлиу Маниу поручили сформировать правительство. Это была своего рода «революция», которую призывал и подготовлял Нае Йонеску через «Кувынтул». Все сотрудники переживали эйфорию победы. Только я редко теперь выбирал время зайти в редакцию и разделить общую радость. Ри. приехала еще раз повидаться со мной. Мне было страшно, что я все брошу, сорву с ее пальца обручальное кольцо и выкину (как у меня в «Гаудеамусе» сделала она), и мы уедем вместе куда глаза глядят, без планов и без клятв.

И все же по ночам, оставаясь один в мансарде, я трезвел. *Здесь*, говорил я себе, по крайней мере, *пока*, мне нечего делать. Раскрывал книги по индийской философии, тома записок о путешествиях по востоку, которые я собирал, и погружался в раздумья. Индия меня манила, влекла, как тайна, в которой я предвидел судьбу. Мне надо было любой ценой порвать со всем и вся и попасть туда. Я чувствовал, что в каком-то смысле это преждевременный разрыв. Из моих трехгодичных трудов ничего не вышло. Мне не удалось опубликовать романы; Никифор Крайник обещал напечатать «Духовный путевник» в коллекции «Книга ко Времени», но рукопись лежала забытая в ящике его стола (а потом она вообще затеряется); я хотел сделать сборник под названием «Валькирии в библиотеке» — из статей, вышедших в «Кувынтул»; хотел составить сборник новелл и сборник эссе с «Апологией мужества» во главе. Если бы я задержался на несколько месяцев, может быть, хоть часть из этих проектов получила бы воплощение. Я знал, что, если уеду в Индию, на них будет поставлен крест, как случилось с материалами по философии Возрождения. С другой стороны, я знал, что, если не порву со всеми и вся — с Ри., с «Кувынтул», с моими «трудами», которые я уже осуществил и которые еще вынашивал, — что если я не порву *сейчас*, когда кровоточу и сохну

при мысли о разлуке, то упущу тайну, которая поджидает меня где-то в Индии, тайну, о которой я знал одно — она там есть, чтобы я ее расшифровал, и что когда я ее расшифрую, тут-то мне и откроется тайна моей собственной жизни, я открою, наконец, кто я и что я, такой, какой я есть, почему со мной случилось все, что случилось, почему меня по очереди увлекали субстанции, растения, насекомые, литературы, философии, религии, как от игры в ойну на пустыре за управой я дошел до проблем, которые мучили меня сейчас.

За несколько дней до отъезда я принялся закапывать тетрадки с дневником моего отрочества и груды книг, которые уже не умещались в ряд на полках и которые я хранил плашмя, как в сундуке, в шкафу со стеклянными дверцами. Большинство других моих рукописей лежало в походном сундуке, куда я сложил их еще в лицейские времена, и вместе с другими ящиками, набитыми записками и письмами, я перенес их на чердак. Иногда мой взгляд задерживался то на какой-нибудь рукописи, то на письме, о существовании которых я почти забыл. Так я наткнулся, думаю, что в последний раз, на тетрадку, где скомпилировал историю расшифровки иероглифов.

Потом грянуло утро, когда я узнал, что назавтра должен уехать. Мне вручили бесплатный билет на румынский пароход до Александрии, который отправлялся завтра, 20 ноября. Я оповестил друзей и собрал вещи. В два чемодана упаковал несколько рубашек, белье, книги Дасгупты и начатый летом дневник. Чемоданы были маленькие, нетяжелые — чтобы можно было долго таскать их самому, не уставая. Так я их и таскал без посторонней помощи, пока не осел в пансионе г-жи Перрис в Калькутте на Рипон-стрит, 82.

Не помню, каким выдался день 20 ноября, пасмурным или ясным. Накануне вечером я простился с Нае Йонеску. Он заверил меня, что всю зиму я буду получать стипендию от румынского правительства. С мамой и с Нику я попрощался дома. На вокзал меня провожали только отец и Корина. Корина училась в последнем классе лицея, и я надеялся, что скоро она поселится на моем месте в мансарде. На перроне из друзей меня ждали Раду Боссие, Хайг Актериан, Йонел Жиану, Полихрониаде. Остальные уже отбыли в Париж. Йонел Жиану принес мне большую пачку сигарет и книжку Жака Ривьера с теплой надписью. Он еще раз здесь, на перроне, сказал мне, как восхищается мной за бесстрашие перед «большой авантюрой».

Минуты тянулись медленно. Но наконец я услышал сигнал к отправлению, и поезд плавно пошел вдоль перрона.

Часть вторая

Индия в двадцать лет

Глава 9
С Рипон-стрит в Бхованипор

Я хорошо помню те декабрьские сумерки 1931 года в порту Бомбея. Я ждал на палубе, когда пароход отойдет от причала. Но как только начали удаляться огни города, не выдержал и спустился в каюту. Я делил ее с двумя индийскими студентами и знал, что, по крайней мере, на полчаса смогу остаться один. Кому бы пришло в голову закрыться в каюте сейчас, при наступлении вечера, когда пароход тихо пересекал Бомбейскую бухту?

Я расставался с Индией не по своей воле и принял это расставание только потому, что пообещал себе вернуться через год-два, после того как пройду воинскую службу. Меня вызвало патетическое письмо отца. Видя, что мои послания домой полны планами и проектами, которые явно растянулись бы на много лет, отец больше не стал просить за меня в штабе об отсрочке для продолжения учебы, как он уже трижды делал. Мне же в Калькутту прислал осенью 1931 года длинное письмо, в котором заклинал вернуться, потому что, если я уклонюсь от призыва, меня объявят дезертиром, а это самое тяжкое бесчестье для него как бывшего офицера. Конечно, мне пришлось покориться.

Насколько другим человеком я возвращался после трех лет индийской жизни, я понял, только оказавшись дома. Я был уже не тот юноша, что высадился ноябрьским утром в Александрии и пошел с двумя чемоданами наугад по пристаням, искать пароход, который отвез бы его в Индию. Как будто целая жизнь отделяла меня от недели, проведенной в Александрии, Каире и Порт-Саиде. Теперь мне казались смешными и даже унизительными наивность и восторг, с какими я приближался к пирамидам, взгромоздясь на верблюда, волнение, с каким в первую же каирскую ночь бросился в кварталы простонародья, гордость, с какой в Порт-Саиде смотрел с катера на пароход «Хаконе Мару», который должен был отвезти меня на Цейлон. За те дни, что я провел на пароходе, я пытался освоиться в английском языке и написал первые «путевые заметки»: Египет, Красное море, Индийский Океан. Подружился с молодым японским романистом, который изображал из себя нигилиста, и с Бхими Чандой, индийцем из Гуджерата, с которым мне предстояло ехать из Коломбо в Мадрас.

Цейлон покорил меня на расстоянии. Мы еще толком не подошли к берегу, а уже чувствовалось сильное душистое веяние джунглей. Но по-настоящему я проникся джунглями, только побывав в Канди и Анурадхапуре, где испытал страх до дрожи и экзальтацию при виде обильнейших сокоизвержений, распутства и жестокости флоры: мириады растений, раздавленные и погребенные заживо под полусгнившими стволами, под огромными папоротниками и лишайником, их отчаянные попытки пробиться из-под грибниц, многоцветных мхов и сетей паутины. Воспоминание о неделе на Цейлоне и о первых днях на юге Индии не покидали меня долго. Я проник в Индию через самую южную точку полуострова, Данушкоди, и заночевал в Рамешвараме, в доме одного брахмана, Рамчандры Гангадхара. Волнение от первого ночлега в Индии; взбудораженность чувств, с какой я приблизился к огромному знаменитому храму в Рамешвараме; его дикое, нечеловеческое величие, повергшее меня в прах. В поезде на Мадуру нам с Бхими Чандой выпало счастье познакомиться с молодым человеком, который пригласил нас на постой к своему брату, негоцианту. На другой день хозяин повел нас в огромный храм богини Минакши, где я впервые увидел священных слонов, и показал нам дворец последнего царя, Тирумала Наяка. Потом я поехал в Мадрас, где провел несколько дней в резиденции шведской дипломатической миссии, а к Рождеству добрался до Поонамалее. Здесь, в бывшем военном городке, происходил международный конгресс ИМКА.

Все эти открытия и встречи я записывал, восторженно и бегло, и тут же отправлял заметки в «Кувынтул». Как же глубоко в прошлое ушли с тех пор первые мои индийские впечатления — в ту эпоху, которая сейчас кажется мне небылью, в эпоху моей наивности, моего невежества, когда я плохо говорил по-английски и совсем не понимал хиндустани, когда на санскрите еле-еле читал по складам, и мне еще не внятна была красота южноиндийской скульптуры; в эпоху, когда я сам таскал два своих чемодана и путешествовал в переполненных вагонах третьего класса, чуть ли не первый европеец, который по тем временам осмелился на такую авантюру. От поонамалейского лагеря в памяти остался шум летучих мышей в соседней комнате; костры, вокруг которых пели и танцевали, по очереди, юноши и девушки со всего света; американский румын, миссионер-баптист, уже пятнадцать лет живущий в Рангуне, который убеждал меня, что мы тоже должны спеть свои народные песни, правда, он сам не помнил ничего, кроме как «На нашем стяге начертано Единство». Я давно не вспоминал о своем «опыте Южной Индии» — наверное, с тех пор как летом 1929 суммарно описал его в первых главах романа «Изабель и воды дьявола».

Путешествие, начатое 20 ноября, завершилось только через шесть недель, в Калькутте, когда я осел, наконец, в пансионе г-жи Перрис, на Рипон-стрит, 82. Пансион порекомендовал мне Дасгупта. Я встретил его случайно в Адьяре, в библиотеке теософского общества. Он приехал туда, чтобы поработать с санскритскими рукописями, нужными ему для третьего тома «*A History of Indian Philosophy*». В ту пору ему было лет сорок пять; он был приземист, несколько тучен, а его круглое лицо освещала широкая улыбка. Когда в одно прекрасное утро я добрался до Калькутты, проведя два дня и две ночи в поезде, я взял такси и попросил отвезти меня в какой-нибудь отель. Но узнав, что номер стоит двадцать рупий в день, вернулся в такси и дал шоферу адрес Дасгупты. Мы проехали чуть ли не через весь город, пока добрались до Бхованипора, чисто индийского квартала, где мне очень понравилось и где, впрочем, мне и довелось впоследствии пожить. Однако Дасгупта уверил меня, что, по крайней мере, поначалу мне будет трудно свыкнуться с бенгальским бытом и присоветовал остановиться в англо-индийском пансионе. В тот же вечер один его кузен проводил меня в квартал Парк-стрит, где размещалось несколько *boarding-houses*. Он поинтересовался у г-жи Перрис о цене, и он же решил, что цена приемлемая: девяносто рупий в месяц за квартиру и стол.

Дом был большой, двухэтажный, при нем — двор и сад, который показался мне огромным. Просторный холл служил столовой, в нем стояло к тому же пианино и много кресел и банкеток. Справа и слева от холла располагалось по три больших комнаты окнами в сад. В моей комнате спали еще трое: два сына г-жи Перрис и один местный англичанин из Гоа по имени Лобо. Мне оставалось только раздобыть кровать и письменный стол. Кровать я купил на другой день — походную, снабженную по углам шестами, на которые я перед сном натягивал ткань для защиты от москитов. Письменный стол нашла для меня г-жа Перрис. Ко всеобщему удивлению, я просиживал за этим столом иногда целый день и добрую часть ночи — тот же Дасгупта, сказав мне, какие учебники и словари санскрита купить, добавил, что заниматься надо серьезно, если я хочу догнать его студентов-бенгальцев.

Может быть, Дасгупта и сам не подозревал, сколь слепо я последую его совету. По заведенной привычке, я сконцентрировался исключительно на санскритской грамматике и на индийской философии. Несколько часов я штудировал учебник санскрита, потом — какой-нибудь текст по индийской философии в английском переводе, потом снова — санскритскую грамматику. Ничего другого я не читал. Так продолжалось три-четыре месяца, пока я не почувствовал, что начинаю ориентироваться в том, что казалось мне тогда лабиринтом санскритской грамматики. Я прерывался на час-другой, ког-

да наступала ночь, чтобы пройтись по кварталам аборигенов. И, конечно, прилежно посещал лекции Дасгупты в университете. Я был там единственным европейцем, и ради меня Дасгупта почти два года читал лекции по-английски, в ту зиму — о постшанкарианской веданте и о философии санкхьи. Нас было десять-двенадцать студентов и одна студентка, увлеченная ведантой. Дасгупта читал фрагмент из нее, чаще всего на память, очень быстро, прикрыв глаза, потом переводил, комментировал и спрашивал нас, по очереди, поняли мы или нет. Мне так нравились объяснения Дасгупты, и я так много записывал, что всегда отвечал утвердительно.

Я попал в Бенгалию в самое прекрасное время года. Поутру небо было всегда глубокого синего цвета, а солнце — ласковое и нежное. Первые облака я увидел не ранее, чем четыре месяца спустя, накануне муссона. И до марта жара меня не мучила. Выходя вечерами на прогулку, я даже надевал пиджак.

В ту зиму пансион г-жи Перрис вошел в пору процветания. Кроме меня и Лобо, здесь жили еще два француза из Индокитая, Абадье и Вэра, которые на маленьком, но, похоже, мощном автомобиле предприняли путешествие Сайгон-Париж. Им так понравилось в Калькутте, что вместо нескольких дней, как планировали, они остались на несколько недель. Скрепя сердце они все-таки уехали в конце января, и никаких вестей от них больше не было. Я так и не узнал, докуда им удалось добраться. Не знал даже, удалось ли им пересечь Индию. Но г-жа Перрис была гордой и счастливой, потому что французов сфотографировали: руки на моторе машины, они стояли у дома по Рипон-стрит, — и фотографию напечатали в «Стейтсмен».

У г-жи Перрис было три сына и три дочери. Пятилетний Джон, семилетняя Верна и десятилетняя Джерти спали в комнате у бабушки. Старшая дочь, Норинн, шестнадцати лет, делила соседнюю комнату с тремя, а иногда четырьмя девушками постарше. В ту зиму ее товарками были три танцовщицы из «*Globe Theater*». Я подружился больше всего с одной из них, Кэтрин.

Примерно неделю спустя после того как я обосновался в пансионе г-жи Перрис, позвонил Дасгупта и сказал, что сейчас заедет за мной на машине. Накануне вечером приехал магараджа и хотел меня видеть. Я до сих пор хорошо помню эту первую встречу (вторая состоялась год спустя в доме Дасгупты, когда я уже заговорил на бенгали). Магараджа оказался стариком, малорослым и сухопарым, одетым в *дхоти*, в домашних туфлях на босу ногу. Он поджидал нас во дворе, сидя на стуле. Дом выглядел не слишком презентабельным, может, это был и не его дом. Впрочем, как объяснил мне заблаговременно Дасгупта, магараджа вовсе не заботился о внешних признаках величия. Почти все свое состояние он потратил на пожертвования и суб-

Индии для бесчисленных культурных учреждений и на благотворительность. Он приходил на помощь всем религиям без разбора, а, кроме того, назначал изрядное количество стипендий прилежным школьникам и подающим надежду студентам. Он продолжал субсидировать библиотеку Дасгупты, что позволило моему профессору составить самую богатую из всех, что я когда-либо видел, коллекцию книг по философии и религии.

Наш разговор был кратким, потому что английским я тогда еще владел слабо, а главное, потому, что у Дасгупты, как у всякого великого человека, были свои амбиции и наивные представления, и он хотел поразить своего покровителя: говорил со мной по-французски, а потом переводил сказанное на бенгали. При этом по-французски он изъяснялся с такой натугой, что беседа не клеилась. Магараджа еще раз заверил меня, что ему очень интересны мои занятия санскритом и индийской философией. На прощанье Дасгупта сообщил мне, что стипендия будет составлять девяносто рупий в месяц. Ровно столько, сколько стоил пансион г-жи Перрис. На стипендию, которую я ожидал от своего государства, я мог бы одеваться, покупать книги и путешествовать.

С тех пор я регулярно, в начале каждого месяца получал запечатанный конверт и знал, что найду в нем девять банкнот по десять рупий. Года через два магараджа скоропостижно скончался. Его старший сын написал мне, что, хотя княжество Кассимбазар увязло в долгах (ибо щедрость магараджы превосходила всякую меру), он будет по-прежнему присылать мне стипендию, пока я учусь в Индии. Но еще через шесть месяцев он снова написал мне, выражая сожаление, что сдержать обещание не в его силах. Долги были так велики, что Кассимбазар прекратил существование как полуавтономное княжество и перешел в ведение Британской Индии. А он сам пошел служить на одно из промышленных предприятий, которые некогда принадлежали его отцу.

Но когда я получил это неприятное известие, я уже прошел через столько испытаний и так хорошо узнал Индию, что потеря девяноста рупий в месяц была для меня почти неощутима. Я увидел, например, что могу очень хорошо жить, не тратя ни единой рупии в год, в Гималаях, в ашраме.

* * *

Колокольчик зазвенел на ужин. Мои спутники в каюту так и не спустились, и я пошел искать их на палубе. Дул странный ветер, может быть, предвестник бури — то жаркий, то прохладный. Бомбей еще посверкивал, наполовину скрытый изгибом бухты. Я нашел своих то-

варищей в салоне, за столом. Это был их первый европейский ужин, и они сгорали от любопытства и нетерпения. С одним из них я познакомился несколькими днями раньше, в поезде. Как и я, он ехал из Калькутты. Он был бенгалец, а путь держал в Германию, учиться на инженера. Другой записался в «*London School of Economics*». Оба выбрали этот итальянский пароход, шедший в Венецию, чтобы по дороге осмотреть разные европейские города. Оба этим утром впервые оделись в европейское платье. Они купили себе пальто, но забыли про перчатки. Когда две недели спустя, свинцовым утром, при ледяном ветре, мы вышли на палубу взглянуть на Венецию, мои товарищи, подняв воротники пальто, дышали на руки, чтобы согреться.

На столе я нашел список пассажиров. Мы ехали третьим классом, но, бросив беглый взгляд на графу первого, я заметил имя Туччи. Я не виделся с ним давно, потому что, уехав из Дакки, он все время переезжал с места на место — из Кашмира в Непал, потом в западный Тибет. И тут вдруг на меня нахлынуло все мое «индийское прошлое», вся эта сказочная эпоха «начал», все, что было связано с первыми визитами к Дасгупте, в Бхованипор.

Там мы и познакомились зимой 1929. Туччи оказался неожиданно молодым, энергичным, переполненным жизненной силой; он работал сразу над несколькими книгами — история индийской логики, тантрическая литургия богини Дурги, символика тибетских храмов и т.д. и т.п. Он приехал проконсультироваться с Дасгуптой насчет одной детали касательно индийской логики, в то время он заново переводил на санскрит те трактаты по буддийской логике, санскритский оригинал которых был утерян и которые сохранились только в переводе на тибетский и китайский.

Зимой 1929 года я приходил домой к Дасгупте два раза в неделю. Он помогал мне разбираться в трудностях санскритской грамматики, но прежде всего — следил за тем, какие успехи я делаю в изучении философии санкхьи-йоги. Иногда он угощал меня чаем в своей рабочей комнате на втором этаже. Постепенно я перезнакомился с его семейством: с госпожой Дасгупта, доброй, моложавой и красивой, с двумя дочерьми, Майтрейи и Чабу, и с сынишкой лет пяти-шести, с которым я пытался говорить на бенгали.

В конце зимы мне пришла стипендия с родины за пять месяцев, так что я смог поехать в Центральную Индию: в Аллахабад, Бенарес, Дели, Агру, Джайпур, Аджмир. В иные из этих городов мне довелось еще не раз попасть в последующие годы. Но, наверное, никогда меня не пробирало так, как в то утро, когда поезд плавно проскользил по мосту Дафферина, и я в первый раз увидел Бенарес, *гхаты* со ступенями белого мрамора, уходящими глубоко в Ганг. Никогда после Аши-Гхат не казался мне таким пышным, утопающим в цветах.

По вечерам где-нибудь в скромном отеле, который держали местные англичане, или просто в снятой комнате, я усердно писал дневник и сочинял длинные восторженные письма к домашним и к приятелям, рассеянным сейчас по разным европейским городам. Помню, в Джайпуре впечатления просто переполнили меня, и, понимая, что мне никогда не передать свойства и, главное, тайну красот, которые сошлись вокруг меня, я написал Йонелу Теодоряну. Я признавался, что никогда так не завидовал его дару пейзажиста. Что только ему под силу выразить в словах все это бесконечное многообразие форм и арабесок, и переливов цвета.

Обосновавшись в пансионе г-жи Перрис, я более или менее регулярно стал посылать статьи в «Кувынтул». Мне было что сказать об этой неисчерпаемой Калькутте, о Белур-Матхе, о Чандернагоре с окрестностями, которые показали мне Дасгупта и мои сокурсники по университету. А из первого путешествия в Центральную Индию я вернулся с таким богатым грузом, сделал столько записей, встречался и говорил со столькими интересными людьми, что, по моим предположениям, мне хватило бы материала по крайней мере на десять статей.

Но десяти я все-таки не написал. С одной стороны, я начинал понимать, что слишком мало знаю об Индии, что рискую попасть в положение туриста, который, пробыв несколько дней в Бенаресе, считает, что постиг все его «тайны». С другой стороны, я так рьяно погрузился в чтение ученых трудов, что не мог выкроить время для газетных статей. Прозанимавшись три месяца, без перерыва, исключительно санскритом и индийской философией, я позволил себе почитать и другие книги, причем не только по Индии, но и по Тибету, Центральной Азии и Дальнему Востоку. Моя библиотека росла на глазах. Я сам накупал книги, но, кроме того, начал обращаться к разным индийским издательствам с просьбой выслать мне их издания, от классиков санскритской литературы до коллекций, опубликованных бомбейским «*Cama Oriental Institute*», — и неизменно все получал. Я давно купил себе этажерку, но она заполнилась очень скоро, и теперь книги громоздились поверх двух моих чемоданов.

Незаметно наступила жара. Вентилятор с большими деревянными лопастями, подвешенный к потолку, работал день и ночь, а окна днем держали закрытыми. Путь по солнцепеку до трамваев, которые отвозили меня в центр или в университет, или в Бхованипор, казался мне все тяжелее. Приходилось по три-четыре раза на дню менять рубашки и столько же раз закрываться в ванной комнатке, чтобы облиться водой из каменной кадки — на Рипон-стрит души не водились. Я ждал ночи, чтобы надышаться вволю, насидеться в саду, нагуляться по паркам. И тем не менее упорно просиживал двенадцать

часов за рабочим столом, зубря санскритские корни и делая переводы из Калидасы, к удивлению г-жи Перрис, которая за меня волновалась и твердила, что я рискую подорвать здоровье.

Может, я и подорвал бы здоровье, если бы не ввязался в такие дела, которые выбили меня из режима, неизбежно ведущего к истощению. Началось с того, что я выбрался на экскурсию в район Фаридпур, сопровождая г-на Перриса, который надзирал за телефонными и телеграфными коммуникациями Бенгалии. Он давно предлагал взять меня с собой в инспекционную поездку на окраину джунглей. Но его инспекции приходились всегда на дни, когда у меня были то лекции, то посещения Бхованипора. Все же в одно апрельское утро, предвещавшее жаркий день, мы отправились вместе в Фаридпур. В статье для «Кувынтул» под заголовком «110° по Фаренгейту, циклон зюйд-вест» я рассказал об этом приключении, преувеличив опасность, которой я подвергся. Впрочем, не преувеличить было трудно. У меня случился солнечный удар, а от него — что-то вроде кровоизлияния. К счастью, будучи только наполовину в сознании, я не отдавал себе отчет в том, что со мной происходит, и пошел искать отряд г-на Перриса как раз тогда, когда приближался циклон. Г-н Перрис потом уверял меня, что мне очень повезло. Нас чуть ли не подняло в воздух этим циклоном, и наши колониальные каски, термосы с водой и виски, вся аппаратура, которую отряд вез из Калькутты, исчезли в считанные секунды. Циклон гнал нас всех в одну сторону, и, хотя мы перекликались, но не слышали друг друга. Нам едва удавалось защищать глаза от веток и колючек, несомых ветром. Не знаю, каким чудом я ни разу не споткнулся о поваленные деревья. И не помню толком, как я на следующее утро попал домой, потому что пришел в себя только через несколько дней.

Последствия этого приключения нарушили программу, которую я свято соблюдал почти четыре месяца. Я отложил в сторону санскритскую грамматику и стал читать приключенческие романы, а по вечерам выходил со своей маленькой компанией в китайский квартал, поужинать, или в «*Globe Theater*». Это была странная неделя, когда я встречал самых разных незнакомцев и незнакомок и меня водили по домам, где танцевали и пили виски, и часто случались драки, и кое-кому из нас приходилось выбираться на улицу с разбитой в кровь физиономией. Раз я в компании попал в один дом в Чайнатауне, где за скромные деньги можно было покурить опиум. Оказалось, что даже г-н Перрис позволяет себе время от времени такие фантазии. Еще оказалось, что моя соседка по пансиону, танцовщица из «*Globe Theater*», пользуется высоким покровительством — и мы проникли в дома, о существовании которых в Калькутте я даже не подозревал, дома пышной и гротескной роскоши, где мужчины в смокингах и да-

мы в вечерних платьях заходились экстазом у витрин с китайскими нефритами или индо-тибетской бронзой, а потом знаками подзывали слуг в тюрбанах и с босыми ногами, подносящих им шампанское и черную икру, и говорили между собой по-русски, по-немецки, по-французски.

Домой мы возвращались под утро. В машине кто-то из девушек, Кэтрин или Норинн, еще раз напоминали мне, чтобы я не проговорился, где мы были, а сказал бы просто, что проводил время с приятелями в Чайнатауне, в каком-нибудь баре. Впрочем, впечатления у меня и так были путаные. Я не всегда мог различить, что происходило на самом деле, а что я нафантазировал или услышал от одного из тех таинственных незнакомцев, с которыми беседовал иногда часами напролет. Все это меня изможда́ло, голова была тяжелой, веки — как свинцом налитые. Когда поздно утром г-жа Перрис или ее мать-старушка приходили меня будить, принося мне в постель чашку крепчайшего чая, смесь черного с зеленым, я объяснял свою усталость тем, что накануне выпил залпом стакан виски.

Может, так оно и было, но не этим объяснялось состояние полувинчатости сознания и плутания в грезах, в котором я пребывал почти все время. Я чувствовал, что со мной что-то произошло, но никак не мог вспомнить точно, что именно. Я помнил про солнечный удар, случившийся со мной в Фаридпуре, и допытывался у окружающих, что и как, но все заверяли меня, что, если я не умер на месте, то никакой опасности нет. Город после полудня раскалялся все больше и больше. Растянувшись на кровати, я пытался понять, что со мной. Иногда, когда я был один, какая-то девушка входила на цыпочках и целовала меня. Я говорил себе, что это, должно быть, девушка, которой (но когда, при каких обстоятельствах?) я признался в любви. Или вдруг меня пробирала дрожь: я смутно припоминал, что делал кому-то предложение. Но кто была невеста, которую я выбрал? Другой раз мне казалось, что свадьба состоялась много лет назад, что все это происходило давным-давно; но когда, когда?

Чтобы не думать, я писал «Изабель и воды дьявола». Роман я начал как-то вечером, почти случайно. Сюжет представлял себе смутно. Речь шла о некоторых из моих индийских приключений, но они проектировались на среду, мне чуждую. Кое-какие южноиндийские образы, семейство шведского священника, которое приютило меня в Мадрасе, эпизоды жизни в пансионе г-жи Перрис, а теперь и имена и фигуры из ночных блужданий с Кэтрин и Норинн. Сюжет открывался по мере моего углубления в роман. Однако я писал очень сосредоточенно, можно сказать, завороженно, как будто в продолжение «грез», соскользнув в них почти незаметно для самого себя. Что еще любопытнее, так это то, что роман, по видимости автобиографич-

ный, был выдумкой от начала до конца. Может быть, меня захватывал как раз сам процесс выдумывания. Я в некотором роде грезил жизнью, которая не была моей, которой я и не хотел для себя, но которая меня искушала своей невероятностью, демонизмом и жестокостью. Порой мне казалось, что я сливаюсь с «доктором», странным персонажем, приехавшим, как и я, в Индию с познавательной целью — изучать хоть и не индийскую философию, но азиатское искусство. Однако у меня не было почти ничего общего с «доктором»: я никогда не верил в дьявола, меня не преследовала мысль о греховности, а проблема зла, по крайней мере, так, как понимал ее «доктор», оставляла меня равнодушным.

Мелкие происшествия в пансионе г-жи Перрис трансфигурировались, персонажи как одержимые гнались за тем, что было не просто недоступным им, но и чуждым духовной атмосфере английского землячества в Индии. Поскольку я во что бы то ни стало решил поместить в центр романа изучение «греха», я ввергал «доктора» в самые невероятные пансексуальные авантюры. Другая центральная тема романа, «стерильность», тоже была не моей. Я никогда не чувствовал себя «стерильным» ни в физиологическом смысле слова, ни в духовном плане. Откуда, спрашивается, взялось странное поведение «доктора», который, любя и будучи любимым Изабель, толкает ее в объятия солдата № 11871 и, узнав, что она беременна, делает ей предложение и усыновляет ребенка? Я сам не понимаю. Может быть, я хотел любой ценой выдумать нечто «новое» и «трагичное». Может быть, это были реминисценции лекций Нае Йонеску и бесед с Мирчей Вулканеску и Паулем Стерианом о «немощи в творчестве».

Но на исходе той бенгальской весны я, конечно, не задавался этими вопросами, потому что еще не знал, чем кончится роман. Что меня тогда держало в плену, так это «сон в летнюю ночь», который я переживал и который пытался воспроизвести из обрывков. Этот сон позволял мне жить в будущем; я порой воображал свою жизнь через десять-пятнадцать лет и от этой точки отсчета мог продолжить ее, как бы зная уже, например, тоску европейца, выброшенного на берег Индии вместе с обломками корабля и тридцать лет спустя вспоминающего свою родину. Меня засасывал морок какого-то темного, провалившегося эксперимента — упущенной жизни. Упущенной, потому что она была неистинна и истлевала в банальной и стерильной среде местных англичан, мелких колониальных чиновников; одним словом, я прикидывал, как это — жить в Индии, которую я так любил, на самом краешке ее «чудес», повернувшись спиной как раз к тому, что меня влекло больше всего: к истинной индийской жизни.

Тем временем налетел муссон — с невероятной силы электрическими разрядами, когда одна молния могла полыхать по многу беско-

нечных минут напролет. В первые дни тяжелый и частый тропический дождь лил без перерыва, потом обрисовался своего рода порядок: дождь начинался с определенного часа и через определенное время кончался. Остаток дня мы боролись с влажной, давящей жарой. Рубашка намокала, чуть только я выходил из дома. Я почти не мог работать. Дасгупта с семейством нашли убежище где-то в районе Читтагонга. На второй неделе мая я внезапно решился и уехал в Дарджилинг.

Я пробыл в Гималаях до конца июня. Остановился в скромном отеле «Санаториум» в Дарджилинге. С утра бродил по окрестностям, после обеда занимался санскритской грамматикой, а по вечерам пытался дописать роман. Иногда уезжал с группой на два-три дня в Гхум, осмотреть тот или иной из буддийских монастырей или понаблюдать на рассвете с Тигрового Холма белую, стекловидную вершину Эвереста, которая была километрах в двухстах оттуда, к западу. Я завязал кое-какие знакомства, но при всяком удобном случае старался побыть один. Давно мне не выпадало столько одиночества. Когда холодало и повисал туман, это напоминало мне воздух Карпат. Я писал длинные письма на родину, а для «Кувынтул» описывал Курсеонг, Дарджилинг, близлежащие села бхутов, особенно Лебонг, горную деревеньку, где я впервые присутствовал на ламаистском погребении. Я и не заметил, как меня покорил гималайский пейзаж и особенно тип «азиатского человека», который был мне внове и вызывал мечты о Тибете и Центральной Азии.

Я знал, что пока Тибет для меня запретен. Но не устоял перед искушением похода в Сикким, хотя понимал, что это съест все мои сбережения. Так, чтобы добраться до Сиккима, мне надо было нанять *сердара*, проводника и одновременно водителя каравана, купить небольшую походную палатку и дорожные припасы для нас и для восьмерых кули, которые понесут нашу поклажу. 31 мая, в дождь и туман, мы дошли до Джорепокри; на другой день были в Тонглу, на высоте 11000 футов, а 2 июня — в Сандакпху, увидели Кинкинджангу и заночевали в Кунгаллоу. Я пережил незабываемый вечер, разглядывая череду белых сверкающих ледников — за десятки километров от нас. Назавтра мы отправились в Сабаргхан, но туман был густой, снова начался мелкий, тяжелый горный дождик, а тут еще и нашествие пиявок. Они ползли по тропинкам, сыпались сверху, с деревьев и со скал. Я и сердар защищались как могли, зажженными сигаретами. Кули — тоже, но они были босые, и скоро ноги их стали кровоточить. Пришлось вернуться в Сандакпху.

Не один год после этого я просыпался в холодном поту от кошмара: я карабкаюсь по крутому, размытому дождем склону, поскальзываюсь, падаю и не могу подняться. Лежу и чувствую, как меня насти-

гает эта клейкая живая лавина из тысяч и тысяч пиявок, как она наползает на меня, медленно, но неумолимо. В действительности все происходило так: усталые, измученные укусами-уколами пиявок, мы решили срезать путь и начали спуск в долину прямо через джунгли. Вдруг все остановились. Пиявки сплошняком ползли нам навстречу, как будто сдвинулся с места покров из мха. Их не было видно, но мне казалось, я слышу, как шуршит эта ползучая масса. Мои спутники сообразили, что произошло. В долине муссон разразился раньше, и джунгли заполонили пиявки, медленно ползущие вверх. У меня кровь отхлынула от сердца, и я бы стремглав бросился в долину, если бы сердар не схватил меня за плечо и не развернул к тому склону, по которому мы только что сошли. Кули сбросили поклажу и стали снова карабкаться вверх. Я безотчетно последовал за ними, но то и дело спотыкался на бегу и не успевал прижигать сигаретой пиявок, которых чувствовал на лице, на ногах, по всему телу. Я только счищал их с груди и защищал глаза, без конца отирая ладонью лицо.

Наконец, рубашка и носки в клочьях, я добрался до бунгало. Через несколько дней, вернувшись в Дарджилинг, я написал, с неизбежным преувеличением, статью «Когда наступает муссон», которая перепугала моих домашних. Но все мои знакомые из Дарджилинга удивлялись легкомыслию сердара, который согласился отправиться в Сикким накануне муссона. Все были наслышаны о том, как пиявки живым ковром начинают движение с началом дождей, но никто — ни по наивности, ни послушавшись дурного совета — не шел на риск встречи с ними. Кто-то предположил: не хитрость ли это сердара, не затем ли он заставил нас войти в джунгли, убедил, что опасность надвигается и надо бежать, чтобы неделю спустя подобрать брошенный багаж и банки консервов, сахар и чай.

Это приключение меня деморализовало. Я провел последние недели в Дарджилинге, принуждая себя писать роман, но писал без всякой охоты, с большим напряжением. А поскольку дожди усилились, я уже не осмеливался отходить слишком далеко от отеля. К концу июня я вернулся в Калькутту.

Я снова попал в бенгальское лето, но как будто уже не такое раскаленное, с несколькими часами ежедневного дождя. В садах и парках растительность стала особенно пышной, и когда ночами мы прохаживались вокруг озер, нас опьяняли сильные запахи цветов и едва распустившихся листьев. Меня дожидались целые пакеты писем, журналов и газет с родины. В одном интервью Чезар Петреску заявлял, среди прочего, что положение румынских писателей изменилось, что сейчас молодой автор может найти издателя, если его творчество действительно того стоит. Весь в сомнениях, памятуя об опыте общения с Мени Тонегином из «Картя ромыняскэ», я написал

Чезару Петреску, что заканчиваю роман, и спросил, не может ли он отрекомендовать меня какому-нибудь издателю. Недели четыре спустя пришел ответ. Чезар Петреску писал, что очень доволен одним новым издателем по фамилии Чорней, который уже издал несколько его романов, и что ждет посылки с моим романом, как только я доведу его до конца. Он добавлял, что через несколько дней едет в монастырь Агапию «на мамалыжку и поработать в поте лица».

Известие меня окрылило. Я уже давно начал править и переписывать набело роман. Но окончательно поставить точку никак не мог. Каждая страница давалась мне чрезвычайно трудно. Я написал об «Изабель» кое-кому из друзей, и Йонел Жиану вызвался присмотреть за корректурой издания, как только Чезар Петреску заключит контракт с Чорнеем.

Невероятным усилием я завершил роман в начале августа. Я уже отошел от литературы, снова погрузился в свои штудии по индианистике, и каждый час, потраченный на последние главы, казался мне бесконечным. Перечитав еще раз рукопись, я не знал, что и думать. Некоторые терриблизмы раздражали, но я посчитал, что бороться с ними уже поздно. А вот что угнетало, так это общая «чужеродность» романа, сосредоточение на проблемах и конфликтах, которые меня никогда не интересовали, то есть фальсификация его структуры и направленности. Ничего мне в нем не понравилось, кроме страниц, где я припоминал «сон в летнюю ночь».

Я вздохнул с облегчением, когда отнес пакет на почту. Я вернул себе свободу.

* * *

Ранним утром я взошел на палубу. Мне вспомнился очерк, который я написал три года назад на пароходе «Хаконе Мару» и который озаглавил «На Индийском Океане». Это название вызвало у меня теперь конфузливую улыбку.

Я отправился искать Туччи. Но путь из третьего класса в первый был долог и труден. Надо было заручиться разрешением какого-то чиновника. Я ждал ответа у решетчатой ограды, отделявшей нашу палубу от верхней палубы второго класса.

«Повезло же тебе в двадцать два года работать с Дасгуптой! — сказал мне когда-то Туччи. — Чего бы я не дал, чтобы в твоем возрасте быть рядом с таким человеком!..»

Он сказал мне это осенью 1929 года в Бхованипоре. Дасгупта как раз только что нашел для меня *пандита* из своего родного села, чтобы тот читал со мной комментарий Анирудхи и помогал превзойти начальную стадию разговора на санскрите, которая длилась у меня

уже несколько месяцев. Пандит приходил три раза в неделю и просиживал со мной иногда по четыре-пять часов. Г-жа Перрис не выказывала восторга от частых и долгих визитов пандита. Местные англичане в те времена остерегались иметь отношения с «туземцами», с *natives*. Насколько ей льстило иметь среди своих пансионеров европейца с такой белой кожей, как у меня, настолько же она терялась, когда к ней на веранду входил бенгальский пандит в дхоти, с босыми ногами, вежливо приветствовал ее, поднося сложенные ладони ко лбу и иногда пытаясь сказать слово-другое по-английски. Г-жа Перрис всегда отвечала ему на хиндустани, кратко и холодно.

Когда пандит видел кого-нибудь из девушек, весьма легко одетых, у него разгорались глаза. Скоро я заметил, что он оттягивает свой уход, пока не увидит еще раз Норинн. Когда же я узнал с его слов, что он поэт, и когда он принес мне свои стихотворения на санскрите и на бенгали, где речь шла о бог знает какой красавице, надерганной из всех клише Калидасы и Кумарадасы, я понял, что в Норинн он влюблен. На мой прямой вопрос он признался, что я угадал. У него, конечно, были жена и дети, но он дал мне понять, что настоящую любовь узнал только сейчас. Было ли у него в мыслях, что он когда-нибудь может сблизиться с Норинн, не знаю. Он только попросил меня перевести на английский его стихи и показать их Норинн.

В сентябре Дасгупта взял меня с собой в Шантиникетон, познакомить с Рабиндранатом Тагором. Это стало ключевым событием года. Я вдруг оказался в «настоящей индийской жизни», по которой тосковал. Все обворожило меня в этом университете, где лекции проходили часто в саду, под деревом. Все студентки и вообще все женщины, с которыми я знакомился, казались мне прекрасными и загадочными. Дасгупта жил в доме Тагора, а я — в *guest house*. У меня была белая комнатка с верандой. Я заходил домой по нескольку раз на дню — записать в дневник очередную беседу с ученейшим Видхушекаром Шастри или очередную нескромную подробность из легендарной жизни Тагора. В специальную тетрадь я записывал почти все, что говорили о Поэте, о его неотразимом обаянии. Как сказал один его поклонник, половина женского населения Бенгалии влюблена в Тагора.

Мы познакомились только дня через два или три, причем в присутствии Дасгупты, что несколько стеснило беседу. Дасгупта восхищался Тагором как поэтом, музыкантом и создателем очагов культуры, но не верил в него как в теоретика. Всякий раз как Тагор заговаривал со мной о «смысле жизни» или о «познании Истины», взгляды Дасгупты рассеянно устремлялись в окно. От Тагора это не ускользало, он явно досадовал. К счастью, несколько дней спустя я ужинал с Тагором без Дасгупты. Только тогда мне довелось вкусить атмосферу мистической секты, в которой, и, конечно, без всяких усилий с его

стороны, жил Поэт. Настоящий церемониал сопровождал его появление за столом, на террасе, в саду. Присутствие Тагора было харизматичным. Гений проглядывал в самом его способе жить. Ты понимал, что Рабиндранат Тагор радуется жизни, пользуется ею, как это умеют делать очень немногие из его современников. Он не терял времени, он всегда был *здесь и сейчас*, как будто каждый предмет, каждый цветок, каждое пятно света были эпифанией. Он проживал жизнь, по сути, в непрерывном «созидании». Если не медитировал или не писал, то слагал мелодии (в ту пору он был автором около трех тысяч песен), рисовал или беседовал с друзьями или с теми людьми, что пришли его увидеть, — как уже не беседуют в современных обществах: словно проживал откровение за откровением.

Я вернулся к себе в комнату, завороженный. В тот вечер и в последующие дни я сделал восторженные записи в дневнике. Тагора мне привелось еще раз увидеть в марте 1930, и наши тогдашние разговоры я частично включил в одну из глав «Индии». Но первый визит в Шантиникетон меня потряс. Я понял, до чего вульгарна жизнь англичан в Индии, жизнь, в которую я дал себя втянуть. Дасгупта говорил мне о возможности пожить у него в Бхованипоре, и это помогло мне бороться с чувством отчаяния.

В ту ночь, когда я вернулся в пансион на Рипон-стрит, один из сыновей хозяйки обнаружил в гостиной маленького питона. Очень может быть, что это я привез его из Шантиникетона в раскладной кровати, с которой белые путешествовали по Индии. Мальчик увидел его в углу гостиной — питон сражался с крысой. Мальчик крикнул: «Не входите, в гостиной змея!» И, держа питона в луче карманного фонарика, убил его палкой.

На другой день было воскресенье, и приходила почта из Европы — *home mail*, как говорили местные англичане, хотя многие из них уже в нескольких коленах не имели родственников в Англии. Я один получал письма, пакеты с газетами, журналами и книгами. Воскресные послеобеденные часы я проводил за чтением корреспонденции. Мне присылали весточки друзья, уехавшие защищать диссертацию в Париж. Петру Комарнеску готовился отбыть в Калифорнию, в университет Лос-Анджелеса. Хайг Актериан опубликовал сборничек стихов за подписью Михаил. Это он был Михаил из посвящения к «Изабель» («Брату Михаилу и слепой Лалу, нищенке с Бабу-стрит...»). Позже я невзлюбил это посвящение за его претенциозность. Однако же раз в раскаленный майский день эта нищенка спасла меня от кризиса меланхолии и отчаяния. Было так жарко, что никто не приостанавливался, чтобы бросить ей в подол медный грош. Мне показалось, что она спит. Подойдя, я на миг подумал, что она мертва и тронул ее за плечо. Она проснулась и улыбнулась мне, а потом долго говорила,

благодаря за ту мелочь, что я ей подал. Я тоже заговорил на своем ломаном бенгали, вперемежку с хиндустани, который как раз учил. Домой я пришел примиренный. Мне казалось, что на страшном суде я, может быть, спасусь благодаря Лалу.

В ту осень в пансионе г-жи Перрис снова произошли перемены. Кэтрин и девушки из «*Globe Theater*» съехали, а их место заняли другие жильцы. Среди них — Франк, черноволосый молодой человек из Мадраса, с которым мы в конце концов подружились. Он был странной личностью. Несколько лет назад, сидя в мадрасском ресторане, он в приступе ярости швырнул мраморный столик вслед бою, который показался ему нахальным. Мальчик не сумел увернуться, и столиком ему перебило позвоночник. Поскольку инцидент произошел в разгар гандистского движения, судья-англичанин решил назначить Франку примерное наказание, его обязали всю оставшуюся жизнь выплачивать мальчику пенсию. Больше половины своего телеграфистского жалованья он отдавал на эту пенсию. Он питал дикую злобу к индийцам и к Ганди, но стал осмотрительнее и пил только дома.

Мы вместе ходили в китайский квартал или к кому-нибудь из его приятелей, но Франк почти не притрагивался к спиртному. Тем не менее через него я оказался замешан в ряде неприятных приключений. Франку нравилось заговаривать с незнакомыми людьми, а потом он делал все, чтобы быть приглашенным к ним в дом. Года через два после нашего знакомства он попросил меня одолжить ему некоторую сумму денег: он должен был выплатить пенсию мальчику, а свое жалованье уже потратил. Он заверил меня, что вернет долг через несколько недель. На самом деле, он уже знал, что его переводят на Андаманские острова, и хотел отыграться на всех, кто был у него под рукой. Поскольку мы были дружны, он отыгрался на мне. Несколько дней спустя он сказал, что едет проведать одного своего приятеля и очень скоро вернется, и с тех пор о нем никто не слышал.

В ноябре Дасгупта стал иногда, к концу дня, заезжать на Рипон-стрит. Ему нравилось выходить из машины и гордо проходить по дому, полному местных англичан, направляясь к комнате, где, как он знал, он застанет меня. Нравилось вступать в разговор с девушками, отмечая, что его английское произношение лучше, чем у них, и читать им наизусть из Шелли. Еще больше ему понравилось бы, если бы кто-нибудь завел философскую дискуссию. Тогда он мог бы поразить девушек с Рипон-стрит своим знанием западной философии, особенно Гегеля, на которого ему открыл глаза кембриджский профессор Мактаггарт.

Но девушек долгими разговорами было не удержать, и Дасгупте остальное время приходилось довольствоваться только мной. По дороге в Шантиникетон, и без всякой просьбы с моей стороны, он вы-

вался ввести меня в йогическую практику. Однако, навещая меня на Рипон-стрит, он больше интересовался темой «Технический лексикон философии санкхьи-йоги», которую я начал готовить, и моей диссертацией. Дасгупта предпочел бы, чтобы я сосредоточился на истории йогических доктрин или на связях между классической йогой, ведантой и буддизмом. Меня же, напротив, привлекали тантризм и различные формы «народной» йоги, то есть те, что я встречал в эпосе, в легендах и фольклоре. Я знал, что Дасгупта уже высказал все существенное, что можно было сказать о философии йоги и о ее месте в истории индийской мысли. Мне казалось ненужным еще раз возвращаться к этим проблемам, даже если я и привнесу что-то новое. С другой стороны, я уже изучил индийскую философию в такой степени, чтобы понять, что йога не слишком интересна как философская система. В сравнении с ведантой или махаяной «философия» йоги казалась мне не бог весть чем.

А вот что, напротив, представлялось мне оригинальным и нарочито замалчиваемым как индийскими элитами, так и западными учеными, так это тантрическая йога. Из тантрических текстов я узнал, что Индия — это не только аскеза, идеализм и пессимизм. Существовала целая традиция, которая принимала жизнь и плоть, не просто не считая их ни иллюзией, ни источником страдания, но и превознося телесную жизнь как единственно возможный путь к обретению абсолютной свободы. Я уже тогда понимал, что Индия знает не только желание *освободиться*, но и жажду *свободы*; верит в возможность блаженного и автономного существования здесь, на этой земле и в этом времени. Все эти идеи мне предстояло обосновать в докторской диссертации, которую я написал между 1930 и 1932 годами, а опубликовал в 1936. В те времена тантрические исследования находились на той стадии, на которой их оставил сэр Джон Вудроф. Мне казалось, что, если я представлю йогу и тантру в широком спектре истории индийских религий, я внесу значительный вклад в понимание всей индийской духовности.

Мало-помалу мне удалось убедить Дасгупту. Его возражения носили практический характер. Ему казалось, что, рискуя пойти сразу по стольким направлениям, я не справлюсь с документацией из первых рук. Конечно, он был прав, но в ту осень 1929 года у меня была неколебимая вера в свою способность добывать знания. Я, например, был уверен, что выучу тибетский и даже некоторые из дравидийских и австроазиатских языков. Я очнулся не раньше, чем год спустя, когда понял, что у меня нет лингвистического гения Туччи или Поля Пельо.

Дасгупта приезжал на Рипон-стрит, чтобы посмотреть, насколько я обжился в Калькутте, в какой мере мне подойдет житье в Бхованипоре. Потому что к концу осени уже было решено, что я переселюсь

в его дом. Мне предлагалось переехать в начале января. Семейство Перрис и другие жильцы пансиона были недовольны и посматривали на Дасгупту с растущим холодком. Я сказал им, что проживу в Бхованипоре только пять-шесть месяцев, чтобы поскорее выучить бенгали и научиться говорить на санскрите. Но в глубине души я принял другое решение: оставаться в доме Дасгупты до тех пор, пока он меня там продержит, а после этого подыскать себе квартиру тоже в каком-нибудь из бенгальских кварталов.

В ноябре я стал получать письма из Румынии в связи с «Изабель». Йонел Жиану и Мирча Вулканеску откликнулись с энтузиазмом. Чезар Петреску представил рукопись Чорнею, и издатель принял ее, не читая. Йонелу Жиану даже выдали аванс в 20000 лей, которые он послал мне телеграфом. Эта неожиданная сумма позволила мне купить рождественские подарки семейству Перрис и погулять в Чайнатауне с той молодежью, что оставалась на Рипон-стрит. Рождество оказалось не таким печальным, как я боялся, потому что семейство Перрис пребывало в уверенности, что я не продержусь слишком долго «в доме у туземцев». Я переехал утром 2 января 1930. Как призналась мне позже г-жа Перрис, она ждала, что я вернусь в марте. Я вернулся, и то на несколько дней, в сентябре, но вернулся против своей воли.

Глава 10

Хижина в Гималаях

На пароходе мне доставляло удовольствие объясняться на бенгали со своим соседом по каюте. Я начал уже подзабывать язык, потому что после ухода из Бхованипора говорил на нем очень редко. А ведь я учил его со страстью, повторяя наизусть отдельные фразы, припоминая стихотворения Тагора, заговаривая с детьми и соседями...

Моя комната была у самого входа. Я перевез туда кровать, свои книги и рабочий стол. На первом этаже располагались: огромная библиотека Дасгупты, занимающая несколько больших помещений, кухня и зал, который служил столовой. Кабинет Дасгупты, гостиная и спальни были на втором этаже. А совсем наверху почти надо всем домом простиралась терраса, осененная пальмами.

С самого начала жизни в Бхованипоре моя радость не знала границ. Как будто бы только тогда я по-настоящему попал в Индию. Все меня восторгало: странные звуки над потолком моей комнаты, которые никогда не прекращались, сильные и пряные запахи, предвещавшие ужин, голоса, долетавшие до меня из соседних домов. Рано утром я поднимался на террасу, где Дасгупта давал мне часовой урок санскритской грамматики. Потом весь день был мой, за исключением обязательных лекций в университете, куда профессор забирал меня с собой на автомобиле. Я проводил по меньшей мере восемь-девять часов за рабочим столом, потому что к санскриту и индийской философии прибавился теперь и язык бенгали. Перед ужином выходил прогуляться по кварталу. Весной и летом мы совершали долгие прогулки на автомобиле, всем семейством, по окрестностям Калькутты, особенно по Чандернагору. Я ловил любую возможность поговорить с Чабу, которая не знала по-английски, или с г-жой Дасгупта, или с родственниками и соседями, которые заглядывали посмотреть, что это за европеец поселился в бенгальском доме.

Вначале Дасгупта заставлял свое семейство есть за столом и со столовыми приборами, чтобы приучить их к европейским обычаям. В первые дни г-жа Дасгупта пыталась даже приготовить на ужин что-то вроде супа. Профессор сказал ей, что у европейцев к ужину подают суп. Однако скоро приборы исчезли, и я стал есть, как и все ос-

тальные, руками. А когда я в первый раз сел для трапезы на пол и тарелкой мне служил большой зеленый лист, я почувствовал, что становлюсь членом семьи.

К концу зимы я на несколько недель поехал на север Индии. Остановился в Аллахабаде — посмотреть на *Камбх-мела*, шествие аскетов, йогинов и саддху, которое происходит раз в двенадцать лет. Провел несколько дней в Бенаресе, на сей раз чтобы ознакомиться с коллекцией манускриптов в *Sanskrit College*. Затем на пути были: Дели, Агра, Фатехпур-Сикхри, Джайпур, которые я посетил вторично, а дальше — Биканир, Лахор и Амритсар.

Я видел Индию как будто бы другими глазами по сравнению с весной 1929 года. Мне казалось, что я начинаю понимать ее тайны, что мне открываются красоты и смыслы, которые не так много месяцев назад были мне недоступны. И все это благодаря тому, что я имел счастье жить в доме самого блестящего знатока индийской философии, благодаря тому, что начал привыкать к индийской жизни и заговорил на бенгали.

Мне больше не казалось, что я только гость в Индии. Я все больше и больше чувствовал себя *дома*, и если меня так тянуло посетить города, храмы и важнейшие памятники, то это потому, что я хотел познакомиться с моей приемной родиной. Я надеялся, что мне удастся прожить в Индии много лет. Я думал не только о диссертации и о карьере индианиста. Более даже, чем научная страсть, меня привлекало качество жизни, которое я, по моим ощущениям, мог узнать в Индии. Мне нравилось все: пейзаж, климат, люди, их языки и верования, их манеры, их одежда и их кухня.

Неудивительно, что к гражданской революции, развязанной Махатмой Ганди в начале мая по всей Индии, под видом ряда ненасильственных манифестаций, я отнесся с энтузиазмом. В ответ на арест Ганди 5 мая 1930 года, так же как на приговор, вынесенный Джавахарлалу Неру и мэру Калькутты — шесть месяцев тюрьмы, — по всей Индии прокатились манифестации, был объявлен *hartal* (закрытие лавок и прекращение работы). Как и следовало ожидать, агенты-провокаторы и мусульманские фанатики затевали столкновения, все жарче и жарче, между индуистами и магометанами. Несмотря на героическое вмешательство гандистов-волонтеров, эти межобщинные конфликты скоро выродились в настоящую бойню.

После нескольких покушений на убийство, организованных студентами, Калькуттский университет закрыли на неопределенное время. Дасгупту беспокоили мои долгие прогулки по городу. Он боялся, что я ввяжусь в какую-нибудь уличную манифестацию и меня арестуют. Поскольку я жил в его доме, такое происшествие могло бы иметь серьезные последствия. Он постоянно твердил мне, что я при-

ехал в Индию не затем, чтобы помогать политическому освобождению индийского народа, а чтобы изучать санскрит и индийскую философию.

Но я знал, что очень мало рискую, примыкая к манифестациям. Я был белый, на улице и в трамвае бенгальцы смотрели на меня с презрением и ненавистью. В Бхованипоре дети кричали мне вслед: «*White monkey*», — и иногда бросали в меня камнями. Я приходил в восторг от этого презрения, от агрессивности. Я воочию видел пропасть, которая пролегла между англичанами и индийцами. Понимал я также и то, что общественное мнение изменилось: индийцев больше не парализовало превосходство белых — просто-напросто они их больше не боялись. Когда на Рипон-стрит, куда я иногда заходил, я говорил об этом семейству Перрис, прибавляя, что *British Raj* уже принадлежит прошлому, все потешались над моей наивностью. Г-н Перрис уверял меня, что независимость Индии — это утопия, а единственное, что ее объединяет, — это английский язык и западная культура; что так называемая жажда свободы для Индии — это, на самом деле, изобретение «мистера Ганди»; что большинство индийцев *British Raj* удовлетворяет, и так будет еще по крайней мере сто лет.

Вскоре газеты сообщили, что в тюрьмы брошены пятьдесят тысяч индийцев. Исчезли некоторые из моих коллег по университету. Я записывал в дневник все, что узнавал из газет, и все, что говорилось вокруг, в надежде когда-нибудь написать книгу о гражданской революции. Я собирал также материал из публикаций, которые мне были доступны. Но и эту книгу мне не пришлось кончить. Позже я удовольствовался тем, что опубликовал фрагменты из моего индийского дневника, выбранные, откомментированные и переработанные, в томе «Черновые записки» (1935).

В июне кампания гражданского неповиновения сошла на нет. Проинформированный об эксцессах, которые имели место, Ганди из тюрьмы распорядился приостановить манифестации (в первую очередь, коллективные марши к морю, где добывалась и бесплатно раздавалась соль, которая была очень дорога и составляла самый тяжелый расход для бедноты). Чтобы удержать меня дома, Дасгупта попросил помочь ему в составлении индекса ко второму тому «*A History of Indian Philosophy*». Иногда он звал меня в свой кабинет, чтобы я писал под диктовку главы из третьего тома или из его книги об упанишадах. Он дал мне также на перевод «Бхамати», комментарий Вачаспатимишры на Веданту-сутру-бхашья, и каждый день проверял и правил параграфы, которые я переводил с утра. Поскольку лекции в университете отменили, он основательнее вникал теперь в мои занятия. Он выказывал восхищение моей работоспособностью, потому что, хотя настала жара, он все время видел меня за столом. К ночи я

падал от усталости. Но заснуть сразу не мог. Я теперь делил комнату с двоюродным братом профессора, который готовил диплом по политической экономии и по ночам занимался, как это было принято у индийцев, то есть читал вслух фразу-другую по нескольку раз, пока не заучивал их наизусть. Молодой человек, кстати, собирался жениться. Он еще не видел невесту, но знал, кто она такая и, в общих чертах, как она выглядит. Он много говорил об этой незнакомке, в которую влюбился, как только узнал, что она ему предназначена, и о том счастье, которое их ждет.

Из-за политических волнений Дасгупта решил провести лето в Калькутте и меня тоже уговоривал остаться. Это пришлось мне как нельзя более по душе. Мне было бы трудно вернуться опять к жизни среди англичан, местных или приезжих. Я знал, что не сдержусь и заведу разговор о гражданской революции. И еще мне хотелось остаться на лето в Бхованипоре, потому что я, сам того не заметив, впал в мечты о новом романе. Меня увлекло его начало: один ученый библиотекарь, Чезаре, раз вечером остается в библиотеке после закрытия. От кропотливых трудов его отрывает запах дыма. Он понимает, что где-то в книгохранилище вспыхнул пожар, и бежит в кабинет директора, позвонить по телефону. К своему изумлению, на пороге он сталкивается с перепуганным профессором славистики, доктором Вейнрихом, а ворвавшись в кабинет, видит юную ассистентку Вейнриха по имени Мелания, совершенно голую, рядом с каким-то незнакомым ему человеком. Эта троица совершенно потеряла голову, и, по всей вероятности, они все бы погибли, если бы Чезаре не выломал единственную дверь, через которую они еще могли выйти, и не пересек, с голой Меланией на руках, вестибюль, который уже начал гореть. Но от удара по темени — возможно, это была та же балка, что подожгла волосы Мелании, — он теряет зрение.

Так начинался роман. Хотя зрение возвращается к герою, доктор даст ему понять, что это всего лишь отсрочка, — через год-другой он окончательно ослепнет. Тайная драма героя, как я себе ее представлял, происходила из того факта, что он, хотя и решил любой ценой получить радость от последних лет своей зрячей жизни, никак не мог в мыслях отделаться от той сцены, которую застал в кабинете директора. Он не понимал, какой таинственный ритуал могли затеять чопорная девушка, профессор-педант и молодой человек по имени Маноил, фантазер, а может, и сумасшедший. Полиции, при всех ее усилиях, не удалось установить причину пожара. Маноил утверждал, что огонь произвела магия ритуала, но поскольку Чезаре не мог принять подобное объяснение, покоя ему не было, и он пытался сам, причем безуспешно, проникнуть в тайну. Все приключения, составляющие первую часть романа, спровоцированы отчаянными попытками Че-

заре раскрыть суть этой «тайны», которая радикально переменила его жизнь, приговорив к неминуемой слепоте.

Я писал, по большей части, когда начиналась послеполуденная жара и я знал, что весь дом спит, или ночами, когда засыпал мой сосед по комнате. Я не знал в точности, что произойдет с Чезаре, до самой финальной сцены — до его встречи с Маноилом, когда этот демон попытался убедить его покончить с собой, а не убедив, покончил с собой сам. И вполне вероятно, что в то время как я писал тайком первые главы, я еще не разбирался во всех значениях этих неправдоподобных авантюр. Самые разные концепции из области магии и философии перебивали друг друга, причем автор не выдавал своих предпочтений. Кроме рефлексий, давностью в несколько лет, в связи с «магическим деянием», сейчас давали о себе знать элементы, которые я мог бы назвать «тантрическими» (например, ритуальная нагота Мелании). Но не на них приходился центр тяжести, как мне стало понятно позже, при написании второй части; пафос был в том, что жизнь, давшая радикальный крен из-за некоего непонятного «деяния» — оргиастического ритуала и пожара, — и все же не вышедшая за рамки банальности, искусственности, даже при неизбежности слепоты, — эта жизнь приобрела нежданную глубину в ту минуту, когда Чезаре взял на себя «грех» Маноила (который наложил на себя руки) и заявил: «Я убил брата своего».

Возможно, эти слова, которыми кончается книга, могли бы дать ключ к роману, заставив пытливого читателя перечитать все сначала. Но не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сподобился на такое. Почти все критики и многие из моих друзей единодушно посчитали, когда «Меркнущий свет» вышел в 1934 году из печати, что роман не удался. Только Йон Бибери признал его самым значительным среди моих литературных трудов; может, потому, что впервые в румынской литературе там применялась техника внутреннего монолога, и местами, во второй части, различалось влияние Джеймса Джойса. Позже, когда я попробовал перечитать и поправить «Меркнущий свет», меня неприятно удивила искусственность и претенциозность языка, каким он был написан. Не думаю, что виною тому была моя жизнь за границей, то, что я за полтора года не произнес ни слова по-румынски. Скорее это были потуги «остраненно» написать о чуждых мне людях, которые жили в некоем неустановленном городе, например, итальянском, но напоминали жителей то ли Бухареста, то ли неважно какого провинциального городка — в Румынии или в Центральной Европе. После лихорадки первых дней, когда я писал очень бегло, захваченный происшествиями, которые выдумал, наступили недели натужного труда, когда я силился выстроить этот «нигдейный» мир, чтобы он все же не был марионеточным. Может, это была пара-

дигматическая Европа, собирательные пейзажи, города и герои, безотчетно хлынувшие из моих подспудных и задавленных томлений, Европа, пытающаяся отвоевать себе угол в моем сознании, полностью занятом Индией, защитить меня от азиатских чар, удержать меня? Или, напротив, за этими образцово-европейскими пейзажами и фигурами таилась моя собственная драма, о которой я тогда даже не подозревал и которую «Меркнущий свет» предвестил своей «тайной»?

Ибо в точности как в романе, драма, в которой я незаметно для себя оказался, тоже началась в библиотеке. Видя, что составление указателя идет довольно-таки медленно, хотя я и работал над ним по нескольку часов в день, Дасгупта попросил Майтрейи помочь мне. Мы стали вместе работать в библиотеке. В последние месяцы мы подружились. Я давал ей уроки французского, а она помогала мне в бенгали. Мы вместе переводили стихи Тагора. Я знал, что она поклоняется Тагору, которого называла *гурудев*, знал и то, каким сложным и двойственным может быть у индийских женщин восхищение гурудевом; однако, углубленный в санскрит и в свой роман, я не ревновал. Я не отдавал себе отчета в том, что, как я этому ни противился, мы уже были влюблены друг в друга. Я говорю «противился», потому что мне казалось, будто все семейство в заговоре, будто они нарочно оставляют нас на долгие часы наедине, и это подозрение вызывало во мне протест.

Я полагал, что начинаю понимать индийскую душу — но я ошибался. Ни о каком заговоре и речи не шло. Дасгупта думал скорее совсем о другом: принять меня в семью на положение «приемного сына». Возможно, он строил планы переселиться в Европу. Король Кароль уже прибыл в Румынию, и Нае Йонеску стал одним из его ближайших советников. Дасгупта написал королю, охарактеризовав меня как большую надежду индианистики и предложив основать в Бухаресте институт востоковедения. Написал он и Нае Йонеску, настаивая на том, чтобы продержать меня еще три-четыре года в Индии, для обучения под его началом. Может быть, Дасгупта собирался погостить в Румынии по приглашению этого института. Политическая ситуация в Индии все больше осложнялась, а климат Бенгалии был для Дасгупты нехорош (он страдал от высокого давления и жил под угрозой потери правого глаза). Ему бы, конечно, хотелось обосноваться в Европе, жить в Риме, куда его приглашал Туччи, в Бухаресте, где у него был бы я, его любимый ученик и, в каком-то смысле, приемный сын.

Все это я понял гораздо позже. На свадьбе кузена Дасгупты мне почудилось, что я различаю некие тайные намеки — на самом деле, они свидетельствовали о том, что душой эти люди уже приняли меня

в семью. На свадьбу, как и на другие праздники, я надел дхоти, бенгальское одеяние, изящества в котором было мало, но которое мне неописуемо нравилось по той простой причине, что это был костюм того народа, с которым я хотел слиться.

Я получил сигнальные экземпляры «Изабель», и Майтрейи, будучи поэтессой, теперь смотрела на меня другими глазами. Я стал равным ей, частью той же духовной семьи, что и Рабиндранат Тагор. Я рассказал ей про свой новый роман, который начал писать, но попросил ничего не говорить Профессору. А потом мы целыми часами, сидя вдвоем в библиотеке, пока весь дом спал, переписывали на карточки специальные термины из «*A History of Indian Philosophy*» и раскладывали их в алфавитном порядке. Однажды наши руки встретились над картотечным ящичком, и мы не смогли их разнять.

При всех сомнениях и попытках сопротивляться, при всем том, что разделяло индийское и западное и по образу чувств, и по культуре, при всех возникавших неловкостях и опрометчивых поступках, любовь взросла и исполнилась так, как ей было суждено. Зимой 1933 года, когда я в своей мансарде на улице Мелодии писал роман, который собирался представить на премию «Гекиргёл-Эфория», я перечитал, в первый и последний раз, дневник тех месяцев. Я даже использовал в романе некоторые страницы, просто переписав их. При всем пафосе случившегося, я старался придерживаться реальности. Однако эта «реальность», конечно же, дала крен в мифологию, как только я начал ее проживать. То снова был сон в летнюю ночь, долгий, блаженный напополам с пронзительным ужасом. Только в тот раз я проживал его не один.

Очнулся я утром 18 сентября. Вернее, пробуждение началось еще ночью. Я почти не смыкал глаз. Майтрейи удалось передать мне записочку, где говорилось, что родители все узнали и что она была вынуждена открыться им. Утром Дасгупта позвал меня к себе в кабинет и, сказав, что здоровье больше не позволяет ему держать в доме гостя, дал мне запечатанный конверт с тем, чтобы я открыл его, только когда перееду на Рипон-стрит. Переехать я должен был незамедлительно, в то же утро. Книги и вещи мне переправят в течение дня. Г-жа Дасгупта, с ледяной неприступностью на красивом лице, заставила меня позавтракать тут же, в ее присутствии. Прежде чем отправиться восвояси, я обязан был съесть завтрак. Кусок не шел мне в горло, и я украдкой отирал глаза.

С тех пор никого из них я больше не видел. Правда, Майтрейи удалось мне протелефонировать, не знаю уж, каким чудом, и среди прочего она сказала мне, что я должен спасти себя во что бы то ни стало, доказать всему свету, «человек» я или нет. Я только успел ответить, что уйду в какой-нибудь монастырь в Гималаях. И связь прервалась.

* * *

Семейство Перрис сделало вид, что не замечает моего состояния. Они были в восторге оттого, что я снова их *boarder*. Девушки старались отвлечь меня от мыслей о Бхованипоре, приглашая в кинематограф, в ресторанчики Чайнатауна. Все же на третий день, прихватив с собой несколько книг, санскритскую грамматику и словарь, я пошел в сторону Дели. Снова посетил Фатехпур-Сикхри, но как во сне. На меня смотрели с удивлением, а иногда и подозрительно. Я отпустил бороду и вид имел угрюмый и дикий. Ловил на себе взгляды местных англичан и полицейских.

Я страшно страдал. Страдал тем больше, что понимал: вместе с Майтрейи я потерял Индию. Все, со мной случившееся, проистекало из моего желания слиться с Индией, превратиться в индийца. Прочтя письмо Дасгупты, я понял, что скоро меня не простят. Та Индия, которую я начал было узнавать, о которой грезил и которую так любил, была для меня теперь определенно под запретом. Никогда я не стану здесь своим. Наша надежда, моя и Майтрейи, что мы сможем пожениться, соткалась из иллюзии. Я усвоил индийскую философию настолько, чтобы знать, как трудно освободиться от иллюзий, пробудиться ото сна. В редкие минуты просветления я прекрасно отдавал себе отчет в том, что поддался собственным химерам. Дал им опутать и околдовать себя, и смогу выбраться и снова стать свободным, здравомыслящим, неуязвимым, только если разорву сплетенную *майей* мережу.

Все это я знал давно, но мне было трудно проснуться. «Освобождение» — той ценой, какую я должен был заплатить, — меня совсем не привлекало. Как, впрочем, никогда не привлекала и веданта. Я склонялся к тантрической йоге, поскольку там были разработаны некие техники освобождения, при которых жизнь не приносилась в жертву, а трансфигурировалась. Однако пока меня изнуряли отчаяние, угрызения совести, бессонница, эти техники абсолютной свободы были мне недоступны. Прежде всего надо было прийти в себя. Я направился в Гималаи, к Хардвару и Ришикешу, в ту легендарную местность, которую века, если не тысячелетия назад, избрали для себя индийские аскеты и созерцатели. Это может показаться трагикомическим, но я шел в те места, куда давно хотел попасть. Почти целый год я собирался в Хардвар, и повременить советовал мне Дасгупта. Он советовал мне сначала изучить все, что может дать индийский университет, да еще при таком учителе, как он, — а потом провести несколько месяцев в ашраме, испробовать на практике некоторые медитативные техники. И вот нечаянно-негаданно, из-за трагического *malentendu*, наши позиции поменялись местами: те-

перь Дасгупта захотел, чтобы я ушел в гималайский ашрам, подальше от Калькутты.

Путь от Дели до Хардвара был трудным, потому что пришелся как раз на время праздника Пуджа, когда миллионы индийцев идут в святые места, особенно в те, что в Гималаях. Ганг, вырвавшись из горной теснины, несется с клокотаньем, потом утихает и мирно подкатывает к Хардвару. Я остановился в *dok-bungalow* неподалеку от речного вокзала и провел день, бродя по городу, заходя в храмы, спускаясь к воде по ступеням гхата. Поскольку я был единственным европейцем, которой совершал церемониальное омовение в Ганге и приносил лепестки роз в дар богине Лакшми, за мной по пятам ходила толпа любопытных. В тот же день, на одноконной повозке (*тонга*) я поехал в Канлхал, на другой конец Хардвара, посетить храм, окруженный огромными тополями и акациями, между которыми сновали обезьяны. Ганг протекал прямо перед храмом, и тишина была глубокая, неправдоподобная.

В последующие дни я обошел другие храмы и библиотеки, и колледж Гурукул, крупный центр изучения арья-самадж, в нескольких километрах от города. Но не для осмотра достопримечательностей я приехал в Хардвар Я отправился дальше, в Ришикеш. Меня поразил храм Шивы, только что, в этом году, выстроенный, белый, с белыми воротами и с хрустальным шаром на острие стрелы, летящей из центра купола. Не без труда я нашел ночевку в *dok-bungalow* на самом берегу Ганга. Ришикеш издавна стал раем для отшельников и созерцателей. Почти все здания там — ашрамы либо постоялые дворы для паломников. На улицах мне то и дело попадались *саддху* в оранжевых покровах, аскеты-*нага* с нагими, вымазанными золой телами, разного рода *свами*, но и группы паломников, целыми семьями приезжающие поклониться святым местам и тем, кто выбрал путь отречения.

На другой день я стал искать место, которое бы мне подошло, но сердце у меня ни к чему не лежало. Тогда я ушел за несколько километров от Ришикеша, на другой берег Ганга, и, как только моя нога ступила на землю Сварга-ашрама, я понял: вот оно, место. Течение Ганга здесь, среди скал, было быстрое, и джунгли подступали почти к самому берегу — густой лес, изобилующий обезьянами, змеями, павлинами и дикими кошками. Поздней осенью, когда пересохнут родники в горах, шакалы спустятся до границ скита, и из своей хижины я буду слышать их вой. Прямо в день прибытия я встретил Свами Шивананду. Он проводил меня в жилище *маханта*, и я получил разрешение остаться в ашраме при условии, что сменю европейское платье на желтую или белую накидку, буду ходить в сандалиях и питаться только растительной пищей. Затем махант показал мне *кутиар*, которой мне отвели: маленькую уединенную хижину с цементной за-

валинкой, внутри — деревянная кровать и керосиновая лампа. Назавтра я перевез свои вещи из Ришикеша и устроился на новом месте. Я думал прожить там несколько месяцев. Ближе к Рождеству я решил остаться до мая, когда дорога на Бхадринатх снова будет проходимой. Я ушел так же внезапно, как пришел, в марте, после шести без малого месяцев отшельнической жизни.

Хижины располагались в нескольких сотнях метров друг от друга. Три раза в день, заслышав удары в било, я шел к *chetra* с латунной миской и с кружкой «вымаливать» пищу: рис, вареные овощи, молоко, иногда рисовые лепешки с медом. Вставал я на рассвете и омывался в Ганге, от которого мой кутиар отстоял всего на несколько метров. В начале осени зелень джунглей была свежей и роскошной. Расположенный у подножья холмов, скит был защищен летом от зноя, а зимой — от ледяного северного ветра. Тишина была невообразимая. Никаких звуков, кроме быстрых вод Ганга и коротких гортанных вскриков обезьян. Если я хотел, я мог целый день быть один; но мне, особенно поначалу, нравилось беседовать со Свами Шиванандой или с другими отшельниками. Я старался записать как можно больше из этих бесед и так возобновил вкус к философии и санскриту. По вечерам часами сидел на завалинке, слушая Ганг, прислушиваясь к себе, собираясь с мыслями, пытаясь себя понять.

Прошло несколько недель, и я почувствовал, что начинается просветление. К тому же я начал понимать и смысл событий, приведших к разрыву с Дасгуптой. Если «историческая» Индия находилась для меня под запретом, то теперь мне открывался путь к Индии «вечной». Я стал также отдавать себе отчет в том, что должен был познать страсть, драму, страдание, прежде чем отказаться от «исторической» ипостаси жизни и встать на путь, ведущий к ипостаси трансисторической, вневременной, парадигматической, в которой напряженность и конфликты сами собой аннулируются. Позже я понял, что и драма-то моя следовала традиционной модели: надо было, чтобы мы с Дасгуптой прошли фазу чистосердечия и простоты и вступили в фазу напряженности и столкновений, которые характеризуют отношения между гуру и учеником в их начале. Марпа, например, не один год травил своего любимого ученика, Миларепу. Я говорил себе, что сейчас для меня наступила фаза «испытаний». Хотя меня жестоким образом изгнали из Бхованипора, но Дасгупта в один прекрасный день снова признает меня своим настоящим учеником — только это произойдет в ином плане, *in aeternum*, а не *in saeculum*. (Так в самом деле и произошло после того, как я опубликовал «Йогу» и начал журнал «Залмоксис». Весной 1939 года, по дороге в Англию, Дасгупта протелеграфировал мне из Рима, что хочет со мной увидеться, но по обстоятельствам, не зависящим от нашей воли, увидеться мы не смогли.)

Последние события в Бхованипоре казались мне теперь долгим плутанием в лабиринте (впрочем, образ лабиринта еще не раз возникнет в моей жизни — при каждом «пробуждении» от страсти, которой не суждено будет стать частью моей судьбы).

Я чувствовал, что смогу выбраться из лабиринта, не иначе как снова вернувшись в «центр». Надо было любой ценой «сконцентрироваться», снова найти свой подлинный «центр». Йоговские медитации и техники, которые я изучал с Дасгуптой по классическим текстам и которые практиковал сейчас под контролем Свами Шивананды, еще раз убедили меня, что они суть результат экстраординарного знания человеческого естества. Только тот, кто в полной мере познал искушения, страсти, смятение человека, «попавшего в мережу бытия», мог развить все эти психофизиологические техники, которые составляют йогу. И как раз тот факт, что я попал в Гималаи на исходе сил, до предела изнуренный, измученный, и позволяло мне сейчас «овладеть собой» и «избавиться от уз» быстрее, нежели чем я мог надеяться, если бы пребывал в «нормальном состоянии». Парадокс тут лишь кажущийся. Я проверял на деле «закамуфлированный оптимизм», как мне нравилось это называть, индийской духовности — веру в то, что избыток страдания вызывает жажду освобождения, и чем больше ты ощущаешь свою «потерянность», тем, по сути дела, ты ближе к «спасению», то есть к освобождению; а по-настоящему трагическая ситуация — у «счастливца» и у «довольного собой» (именно поэтому в понимании индийцев боги не могут познать абсолютную свободу — ведь они живут в блаженстве).

В канун Рождества я был уже «другим человеком». Не стану даже пытаться излагать здесь этапы этой внутренней трансформации. То, что можно было сказать о результатах различных предварительных упражнений, я описал, как умел, в моих работах по йоге. О других упражнениях и опытах умолчал, поскольку хотел остаться верным индийской традиции, которая не признает иначе как их инициатическую передачу от гуру к ученику. Впрочем, сомневаюсь, что я смог бы описать точно, то есть научным языком, некоторые опыты. Единственным средством выражения, и то приблизительным, был бы некий новый поэтический язык — но таким даром я никогда не обладал. Позже, в 1939 году, я попробовал воспроизвести кое-какие йоговские приемы в одной новелле, «Загадка доктора Хонигбергера». Художническая свобода «выдумывать» позволила мне дать больше подсказок, и они получились точнее, чем в моем чисто научном описании.

Свами Шивананда удивлялся тому, как быстро я осваивал начатки йогической практики. Он предвещал мне сенсационную судьбу: я, дескать, стану вторым Вивеканандой, которому суждено потрясти Запад и вернуть его к его же духовным истокам, почти позабытым. Мне

лично сравнение с Вивеканандой не льстило. Я восхищался Шри Рамакришной, а слащавые, морализаторские тексты Вивекананды меня совсем не привлекали, и я считал гибридными и неиндийскими его труды по пропаганде и «популяризации». Я был полон решимости проникнуть как можно глубже в тайны индийской созерцательности, возобновил и работу над диссертацией, но ни в коем случае не собирался делать из себя носителя какого-то гималайского «откровения». Впрочем, и судьбе предстояло вмешаться вовремя — чтобы восторжествовало мое тайное желание не посвящать себя ни одной «миссии», даже миссии «освобождения».

В январе 1931 пустая хижина по соседству с моим кутиаром обрела своего бывшего хозяина, аскета-нага с юга страны, который вернулся сколько-то месяцев спустя после паломничества. Несмотря на то, что похолодало, отшельник строго соблюдал правило ритуальной наготы. Большую часть дня и ночи он проводил в медитации, но если ему случалось оказаться у своей хижины, когда я шел к *chetra*, он приветствовал меня, поднося обе руки ко лбу и улыбаясь. Мы быстро подружились и, хотя объяснялись с трудом, на хинди, на котором оба говорили плохо, он помог мне в некоторых практиках. Сейчас, проведя три месяца в уединении, я достаточно узнал отшельников и многое усвоил из разговоров с ними. Я вошел в свой давнишний режим. Спал всего несколько часов и успевал сделать множество дел, не уставая и избегая скуки. Кроме часов, посвященных медитации и йоговским упражнениям, я каждый день читал санскритские тексты, работал над диссертацией, писал статьи для «Кувынтул», а ночами продолжал «Меркнущий свет».

Иногда я в одиночку отправлялся к брахмапурским пещерам. Проводил несколько дней в хижине одного свами, с которым познакомился во время первой экскурсии, когда сопровождал Шивананду. Отшельник соорудил себе хижину из бамбука посреди банановой плантации, которую культивировал, что было нелегко, поскольку целое племя обезьян (пепельно-серых, с белыми мордочками) поселилось на деревьях позади хижины. Каждое утро свами доставал леопардовые шкуры и оборачивал ими стволы. При виде этих шкур обезьян охватывала паника, и они убирались поближе к вершинам, а оттуда подсматривали за нами из-за ветвей. Свами признался мне однажды, что наблюдает их много месяцев и поражается их неистощимой витальности, а особенно — сексуальным резервам самцов. Это казалось ему тем более удивительным, что питались обезьяны скудно и как повезет. Свами был уверен, что причина такой выдающейся витальности — в том, что обезьяны едят какие-то корешки, только им одним известные. Он даже решил выследить, какие корешки и какие луковицы они выкапывают. Он надеялся в один прекрас-

ный день открыть чудесный корень и вернуть человечеству сексуальную неистощимость обезьян.

Сия любознательность показалось мне экстравагантной для индийского отшельника. Я навещал его, когда мог, потому что, хотя свами внешне действовал «по науке» (наблюдал за обезьянами, собирал и пробовал на вкус корешки, которыми они, по его мнению, подкреплялись), но на самом деле он искал «растение жизни», «молодильный плод», дарующий долгую жизнь, о котором говорится в стольких мифах и легендах, — и меня восхищало, с какой силой проявлялся этот архаический миф, закамуфлированный ныне под наукообразные занятия. Впрочем, пример был не единственный. По дороге к бамбуковой хижине я останавливался у одного непальца-брахмачарина, который тратил часть своего времени на выращивание и сбор медицинских растений. Я давно знал о «плоде *риши*», корневых луковицах, которыми питаются пустынники. Брахман показал мне, как он разводит «лист Брахмы», растение с мелкими круглыми листочками, с лекарственным вкусом, славящееся тем, что оно укрепляет силы. Растение это было известно в аюрведической фармакопее не одну тысячу лет, а не так давно его стало использовать калькуттское общество «*Bengal Pharmaceutical Works*» как лекарство от упадка сил.

Но больше всего я любил бывать у отшельников в пещерах, которые тянулись по берегу Ганга, от Брахмапури до Лакшманджулы. Пещеры были мелкие, скрытые среди скал, образованные при осыпи каменистых берегов. Я с трудом протискивался среди камней и садился на холодный песок, ожидая, пока меня пригласят внутрь. Настоящую пещеру отшельника, живописную и вместительную, занимал один старый свами из Малабара. Среди его настольных книг, кроме «Бхагаватгиты с комментарием Шанкары на полях, было «Подражание Христу», по его мнению, самое глубокое произведение христианской духовности после Евангелия. Мы иногда беседовали часами, а раз я провел ночь в пещерной нише.

Неподалеку находилась пещера старой отшельницы. Я так никогда и не узнал, кто она такая и откуда пришла. Все ее тело было вымазано золой, в золе была и бритая голова, и она день и ночь сидела в медитации, в одной и той же йоговской позе, на рассыпанной золе. Она почти ничего не говорила, но явно знала, я чувствовал, чужое присутствие задолго до того, как произносилось первое слово. Подведя к ней меня, Свами Шивананда посмотрел на меня проницательно и улыбнулся. Разом наступили умиротворение и ясность. Как будто бы я вдруг обрел некую уверенность, которая могла изменить мою жизнь. В следующий раз я увидел ее спустя много месяцев, в начале весны. Она взглянула на меня, и взгляд ее вдруг стал холодным, суровым, далеким. Я понял: она угадала, что я больше не тот брахмача-

рин, которого к ней когда-то подвели, и в замешательстве ретировался. Я понял, что путь, на который я вступил, для нее был глубоко, отталкивающе чужд, хотя его и превозносило столько духовных учителей Индии. Моя старая золушка не хотела знать ничего другого, кроме пути аскезы и молитвы, который избрала она.

* * *

Долгое время никто ничего обо мне не знал, ни родные и друзья, ни г-жа Перрис. Несколько недель я прожил, не получая вестей ниоткуда. Только почувствовав, что прихожу в себя, я написал г-же Перрис, прося ее переслать мою корреспонденцию в Сварга-ашрам. И вот наконец рассыльный добрался до моего кутиара, нагруженный письмами, газетами и журналами из Румынии. Так в октябрьских сумерках я узнал, сидя на скале, где любил слушать быстрые воды Ганга, о резкой рецензии Никифора Крайника в «Гындиря» и о защите, которую предпринял Мирча Вулканеску в «Кувынтул». Мирча озаглавил свои статьи «Послания об Изабель», и это действительно были письма ко мне, где говорилось о той буре, которую вызвала «Изабель», и объяснялось, что ввело в заблуждение Н. Крайника, который счел роман аморальным (с горечью и сожалением Крайник писал: «Столько ума и столько таланта зарыто в землю», — и с тех пор я перестал числиться в сотрудниках «Гындиря»). Мирча Вулканеску пытался проникнуть за камуфляж, устроенный автором, расшифровывая тайные интенции книги. Для него «Изабель» была прежде всего «книгой с ключиком», и о ней следовало судить как о таковой. Из письма Йонела Жиану я узнал, что Ф. Адерка очень хвалил роман в «Адевэрул» и, среди прочего, писал: «В стране с высокой культурой такой дебют принес бы автору признание, славу и состояние».

Я давно уже послал Йонелу Жиану первую часть «Меркнущего света», и он посоветовал мне опубликовать ее, по главам, в «Кувынтул». Публикация вышла зимой 1931, но не думаю, что у кого-нибудь хватило терпения прочитать все главы до конца. Сейчас я писал вторую часть. Писал по ночам, при слабом свете керосиновой лампы, слогом все более мне чуждым, как будто я писал не свою книгу. И все же меня захватывала *тайна*, которую я надеялся раскрыть сам для себя по мере приближения к финалу.

Иногда ночью, прокорпев несколько часов над рукописью «Меркнущего света», я чувствовал, что не смогу уснуть, если не припаду к моим «индийским истокам». Тогда я переводил на румынский, самым поэтическим языком, на какой был способен, отрывки из «Бхагавадгиты» или стихи из последнего томика Тагора. Но Индия для меня была и с тех пор осталась интеграционной культурой, в которой сочленя-

лись разные и часто антагонистические течения мысли. Меня интересовали не только техники и философии, через которые индийский дух заявил самое великолепное *Нет!* жизни и вселенной вообще, но и творения, в которых я усматривал позитивное осмысление космических и витальных реалий. Я давно уже узнал парадокс превознесения и преображения сексуальности в теологиях и техниках тантры. Теперь я открывал духовные корни интереса к органическому миру. Только такому индийскому ученому, как сэр Джагадиш Бозе, удалось научным способом продемонстрировать гомологию растительного и животного царств. Не знаю, в какой степени теоретические посылки опытов Джагадиша Бозе актуальны ныне. Для меня был важен тот факт, что современная наука зарегистрировала такую гипотезу единства земной жизни и что сформулировал ее индиец, в соответствии с философскими традициями Индии (которые Бозе, впрочем, не акцентировал, что делает еще более знаменательным его научное творчество).

Там, в моем кутиаре в Сварга-ашраме, я часто размышлял над возможностью написать *свою* историю индийской науки — но не в том апологетическом смысле, как некоторые индийские ученые, стремящиеся доказать, что Индия тоже способна на «точные наблюдения и объективные научные опыты», а просто-напросто показав, что индийский дух применял свои собственные методы, чтобы описать, классифицировать и объяснить природные явления. Теми ночами я написал в своем кутиаре объемистое исследование «Ботанические познания в Древней Индии», которое напечатали в 1931 году. Я планировал и другие работы, но успел в итоге завершить только небольшой текст о «качественном характере индийской физики», оставшийся неопубликованным, и главы по индийской металлургии и алхимии, включенные в «Азиатскую алхимию» (1935).

В конце октября я познакомился с Артуром Янгом, англичанином, еще нестарым, носящим оранжевый покров отшельника. Он возвращался из Бхадринатха, еле волоча ноги, так они распухли; иногда кто-нибудь из паломников покрепче нес его на закорках. Он служил в армейских частях в Месопотамии и после ряда авантюр, разнузданных до невероятия, попытался покончить с собой, ринувшись на мотоцикле в океан. Его спасли, но от крайнего отчаяния и безысходности он как-то раз вечером утопил свое европейское платье в болоте, надел оранжевый покров и отправился в Гималаи, прося по деревням милостыню. Некоторое время он прожил в Ришикеше и Сварга-ашраме, взял себе имя Свами Джнанананда, а потом с другими паломниками ушел в Бхадринатх.

Не знаю, в какой степени изменила его монашеская дисциплина. Так или иначе, он казался примиренным с жизнью. К нему даже вернулись — из первой молодости — любознательность и вкус к приклю-

чениям. Передохнув дней десять в Сварга-ашраме, он убедил меня вместе идти в Пешавар, чтобы оттуда проникнуть в Афганистан через перевал Кхибер. Поскольку мы выглядели странно, он — в оранжевой накидке, я — в белой накидке брахмачарина, и к тому же обросший, с рыжей неопрятной бородой; поскольку наш уход совпал с новыми беспорядками на севере Индии, мы все время были в поле зрения полиции. На вокзале в Лахоре нас даже арестовали и допрашивали, крайне вежливо, разные полицейские чины. Нам пришлось оставить паспорта у начальника вокзала и сесть в первый же поезд на Пешавар. На наше счастье, начальником вокзала в Пешаваре оказался родственник г-на Перриса, так что мы остановились у него, уйдя таким образом от бдительности полиции.

Чтобы перейти через Кхибер, надо было получить специальное разрешение. Родственнику г-на Перриса удалось раздобыть его для нас, и через три дня пребывания в Пешаваре мы сели в поезд на Ланди-Кхотал. На протяжении сорока километров, что отделяли нас от границы, мы миновали три десятка туннелей. До чего фантастическое зрелище — эта пустынная угрюмая теснина, по которой поезд поднимался из Лалабегха в Ланди-Кхотал среди отвесных рыжих скал, стремительно возносящихся вверх по обе стороны дороги. На зубчатых вершинах виднелись форты Али-Масджид, Джамруд, Ланди-Кхотал. Прибыв в Ланди-Кхотал, мы узнали, что граница закрыта даже и для тех, у кого есть разрешение. Обескураженные, мы вернулись в Пешавар. Однако оптимизм нашего хозяина не знал пределов. Он уверил нас, что мы сможем проникнуть в Афганистан через другой пограничный пункт, и на следующий день мы снова пустились в путь, на сей раз к Дургай. Но и на сей раз нам не повезло. У Артура Янга загноились два пальца, которые он отморозил по дороге из Бхадринатха. На какой-то маленькой станции санитар сделал ему перевязку, и мы снова вернулись в Пешавар. Я поехал обратно в Ришикеш, по пути забрав в Лахоре свой паспорт, а Янг — в Рурки, навестить своего друга Патера Брауна.

В канун Рождества в Сварга-ашрам прибыла некая виолончелистка из Йоганнесбурга. Свами Шивананда взял ее под свое покровительство и, ко всеобщему удивлению, ей разрешили жить в доме, построенном для себя одним *maharani*, на самом берегу Ганга. Дженни навсегда оставила Йоганнесбург и бросила музыку, чтобы искать «абсолют» в Индии. Облачилась в простое белое сари и медитировала на террасе или слушала Шивананду, который объяснял ей начатки философии веданты. Одна старая индианка из Хардвара одолжила ей патефон с пластинками. Иногда в вечерние часы мы вместе со Свами Шивандой приходили к ней послушать «Неоконченную симфонию» или «Юпитер», а Дженни подносила нам по чашечке какао.

Мне столько всего надо было успеть, что виделись мы довольно редко. Зимние месяцы пролетели быстро. Я почти безвылазно сидел в своем кутиаре за работой, а по ночам дописывал последние главы «Меркнущего света». Ждал весны, когда можно будет пойти в Бхадринатх. И не заметил, как попал еще в одну историю. Поскольку я был единственным молодым европейцем на весь ашрам, Дженни в меня влюбилась. Когда я это понял, я сказал ей прямо, что только любовной интрижки мне и не хватало — да еще здесь, в гималайском монастыре.

Я думал, что мы поняли друг друга, но судьба распорядилась по-иному. Свами Шивананда уехал в Бенарес, и Дженни попросила меня продолжить для нее «курс лекций» по веданте. Я отвечал, что не могу: за нехваткой, с одной стороны, времени, с другой — интереса к веданте. Свое отсутствие интереса я объяснил — рассказал о санкхье-йоге, о своей диссертации, о тантризме и заметил, не входя в подробности, что меня особенно привлекает тантрическая йога. Дженни, приехавшую в Индию на поиски «абсолюта», не оттолкнули моя сдержанность и безразличие. Как бы между прочим, но весьма хитроумно она вызывала меня на разговор и всякий раз вызнавала что-нибудь о тантрических ритуалах. Она по-прежнему приглашала меня на чашку какао к себе на террасу, и, хотя я по большей части отказывался, все же раз или два в неделю приглашение принимал.

Раз я пообещал ей прийти и забыл. Вечером я услышал робкий стук в дверь своего кутиара. Конфузясь, краснея, со слезами на глазах, Дженни призналась, что ждала меня весь день, и наконец разрыдалась от унижения, оттого что ею пренебрегли. Я извинялся, как мог, но, видя, что она совершенно убита, обещал зайти попозже и вместе с ней послушать «Пер Гюнта».

Потом я понял, как какая-нибудь мелочь, какое-нибудь происшествие, по видимости совершенно неважное, может радикально переломить твою жизнь, толкнув на путь, который всего несколько часов назад казался тебе попросту невозможным. Моя жизнь в Индии пошла бы по-другому, если бы в тот февральский вечер я удержался от визита к Дженни. Только я вошел, как сразу почувствовал: что-то изменилось в воздухе комнаты, просторной и белой, окнами на Ганг, в облике и в поведении Дженни. И это не просто оттого, что она в первый раз накрасила губы и надела сари из прозрачного шелка. Прежде всего это было предчувствие, что меня ждет трудное испытание и что это испытание «инициатического» свойства, то есть от него зависит либо последующее осуществление чего-то, либо плачевный провал. За час, который прошел с той минуты, что я нашел ее заплаканной и униженной у двери своего кутиара, в Дженни произошла полная перемена. Каким чудом ее тело обрело тайну, от-

куда взялась почти ритуальная торжественность голоса, тайный огонь во взгляде, я так никогда и не понял. Но *эта* Дженни жалости не вызывала. Мне даже было страшновато. Вместо робкой влюбленной блондинки, которая наводила на меня стеснение и скуку, я видел существо, одно присутствие которого развязало во мне борьбу с самим собой. Я чувствовал, что какой бы путь ни выбрал, мне больше не вернуть душевной ясности и полноты, добытых такими усилиями за последние пять месяцев. Если бы я показал спину, это означало бы, что я испугался первого же реального искуса, который мне был предложен, и носил бы свое унижение до конца жизни. Если бы я принял то, что казалось мне неизбежным, — нелепым и унизительным стало бы мое пребывание в ашраме.

Как уже много раз в жизни, решение лежало между этими двумя альтернативами. Когда, подав мне чашечку какао, Дженни спросила, видел ли я когда-нибудь *nayika* во плоти, я понял. Привкус ритуальной атмосферы, взбудоражившей меня, только я вошел, был именно в этом: не отдавая себе в том отчета, Дженни воплотила в себе *найику*, освященную участницу некоторых тантрических церемониалов. Я ответил, что, не пройдя инициации, не мог видеть найику в ее ритуальной наготе. «А можно мы пройдем инициацию вместе?» — спросила Дженни. «Без гуру нельзя», — ответил я. «Мы поищем гуру, — настаивала Дженни. — Но пока что...»

Я знал, что она хочет сказать. Пока мы найдем гуру (а я точно знал, что в этом ашраме мы его не найдем), мы могли бы опробовать предварительные ритуалы, о которых я раз обмолвился. Но и эти предварительные ритуалы несли в себе определенный риск. И все же отказаться было выше моих сил.

С тех пор я стал приходить поздно, после полуночи, и возвращался к себе в кутиар за час до рассвета. Мне удавалось сохранять ясную голову и самообладание не только при совершении «предварительных ритуалов», но и во всем, что за этим следовало. Дженни пребывала в ошеломлении, я же чувствовал, что становлюсь другим человеком. Я спал иногда всего по два-три часа и не уставал. Я все время работал и работал лучше, чем когда бы то ни было. Именно тогда я понял, на чем зиждется то горделивое блаженство, которое прокламируют некоторые аскеты, мастера хатха-йоги. Я понял и причину, по которой некоторые йогины считают себя подобными богам, если не выше их, и говорят о трансмутации и даже бессмертии тела.

Как-то раз в марте, когда я возвращался домой на рассвете, на завалинке моей хижины меня поджидал мой сосед-нага. «Я знаю, откуда ты идешь, — сказал он мне, как только мы вместе зашли в кутиар. — Думаешь сравняться с Маха Бхайравой. Но достанет ли тебе *virya* (энергии) на такой путь? Нынешние люди нечисты и склонны

к сухотке. Очень скоро ты почувствуешь сильное жжение в темени. Знай тогда, что тебе немного осталось. Лучше остановись вовремя...»

Он говорил на санскрите как мог отчетливее, полными предложениями, чтобы я понял. И я понял. «А если я найду гуру?» — спросил я. «Гуру у тебя уже был», — ответил он с улыбкой. Потом поднес ладони ко лбу на прощанье и ушел в свою хижину.

Я не лег спать. Несколько часов просидел неподвижно у стены, там, где разучивал первые йоговские позы и учился ритмизировать дыхание, концентрируясь на каком-то одном ментальном объекте. Мало-помалу забрезжило понимание. Во второй раз за неполный год я дал сыграть с собой шутку собственному воображению; в индийских терминах — призракам, сотканным майей. Я неправильно истолковал любовь, которую выказывало ко мне семейство Дасгупты, и дал ослепить себя страсти — чего мог бы избежать, сохраняй я трезвость ума. А теперь вот, когда мне показалось, что я «пробудился», я стал добычей первого же магического искушения, которое подсунула мне неугомонная майя. Ведь я не влюблялся в Дженни, и даже телесно она меня не привлекала. И тем не менее я согласился познать ее тело «магическим» порядком, то есть трезво и отрешенно, как может себе позволить только «инициат» — но я-то знал, что инициация невозможна без гуру. Я ввязался в «магическое игрище», бессмысленное и, как мне предрек нага, крайне опасное.

На сей раз тайну, которую я не сумел расшифровать, воплотила в себе юная девушка. И снова мое невежество или непонятливость закрыли передо мной еще один путь к «Индии», с которой я хотел слиться. Я провалил свое «усыновление» Дасгуптой и, значит, потерял «историческую» Индию. А теперь вот, сразу по уходе Свами Шивананды, упустил и шанс причаститься «вечной», трансисторической Индии. Я больше не имел права оставаться в этом ашраме. Придется начать все сначала потом, в другом ашраме. Но пока я должен уйти, и немедленно.

Я не мог знать тогда, что вечная майя, в своей слепой мудрости, спровоцировала и это второе *malentendu*, чтобы помочь мне найти мою собственную судьбу. Ни жизнь «бенгальского приемыша», ни жизнь гималайского отшельника не позволили бы мне исполнить то, к чему я был призван в мир. Рано или поздно я очнулся бы от своего «индусского бытия» — исторического или трансисторического — и мне было бы трудно вернуться обратно, потому что мне было бы уже не двадцать три года. То, что я попытался сделать, а именно: отказаться от своего западного наследия и искать «дом» или «общество» в экзотическом духовном мире, — означало, в каком-то смысле, раньше времени отречься от всех своих творческих возможностей. Я не мог бы ничего создать вне моего мира, который в первую очередь

был миром румынского языка и культуры. И я не имел права отречься от этого мира раньше, чем исполню свой долг перед ним, то есть раньше, чем истощу свои творческие силы. У меня было бы право окончательно удалиться в Гималаи в конце своей деятельности на ниве культуры, а не в ее начале. Мнение, что в двадцать три года я могу пожертвовать историей и культурой ради «абсолюта», — вот еще один довод в пользу того, что я не понимал Индию. Моим призванием была культура, а не святость. Мне надо было бы знать, что нельзя «комкать этапы» и отказываться от деятельности в культуре — разве что в случае особого призвания, но такового у меня не было... Однако же все это, разумеется, я понял только потом.

Тихий, просветленный, я отправился оповестить Дженни о решении, которое я принял. Она окаменела — потом разрыдалась. Я зашел к маханту, поблагодарил его за гостеприимство и, переодевшись в первый раз за шесть почти месяцев в европейское платье, пошел в Хардвар и сел в первый же поезд на Дели. На третий день, утром, я был в Калькутте. Я произвел настоящий переполох на Рипон-стрит, 82 — обожженный солнцем и с рыжей короткой бородкой, придававшей мне вид студента из пьес Леонида Андреева.

* * *

На пароходе я по вечерам после ужина часто заходил к Туччи. Его недавно избрали членом Итальянской Академии, и теперь он мог бесплатно путешествовать первым классом на всех итальянских пароходах. Он возвращался в Рим после шестилетнего отсутствия с огромной коллекцией рукописей, предметов искусства и редких книг. Но уже подумывал о новых экспедициях в Тибет, которые собирался предпринять в ближайшие годы при поддержке итальянского правительства.

Мы прохаживались по палубе, и Туччи говорил о востоковедческом институте, который он планировал создать. Это будет не просто академическое учреждение — это будет площадка, где смогут работать молодые ученые из Азии; и по проблемам не только древней истории и археологии — но и современной культуры, новой истории. Необходимо вывести Азию из музеев и библиотек, куда ее запрятали востоковеды прошлого века. Азия представляет собой комплекс *живых* цивилизаций.

Как я его понимал и с каким энтузиазмом признавал его правоту! Туччи оправдывал и подкреплял — своим опытом и авторитетом — заключения, к которым пришел и я, особенно в последние девять месяцев, после возвращения из Гималаев. Уже тогда я чувствовал: эта фаза моей индийской жизни отличается от прежних. Я заводил дру-

гие знакомства, вошел в другие круги общества, занимался другими проблемами. После уроков, полученных в Бхованипоре и Сварга-ашраме, я инстинктивно обратился к другим истокам этой неисчерпаемой Индии. На сей раз я не старался уйти от себя и жить на индийский лад, но увлекся тайнами неясных или игнорируемых сторон индийской культуры, а их было множество.

Сразу по возвращении я с головой ушел в работу. Утро проводил в *Imperial Library*, вторую половину дня — в библиотеке Азиатского общества, а по ночам работал допоздна в своей комнате, готовя вторую, компаративистскую часть диссертации. Годом раньше я выделил из нее две главы, о философии санкхьи и о философии йоги, и послал Радулеску-Мотру, который опубликовал их в «Ревиста де философие». Написал я и две статьи для «*Ricerche Religiose*», журнала Эрнесто Буонаюти. С Буонаюти, как и со многими другими итальянскими учеными, я по-прежнему был в переписке. Он все так же посылал мне свои новые публикации, а я, всякий раз как на меня нападала меланхолия, особенно в первый год жизни в Калькутте, писал ему. Он отвечал мне с неизменной теплотой и готовностью.

Сейчас, весной 1931 года, пытаясь выстроить сравнительную историю йоговских техник, я увидел, что мне недостаточно санскрита, пали и бенгали. Мне нужно было знание по меньшей мере тибетского, если не китайского, и хотя бы начатков нескольких дравидийских языков и языков Юго-Восточной Азии. Мне хотелось включить свой анализ медитативных техник в общую картину индийской культуры и, если получится, всей Восточной Азии. Я взялся за изучение тибетского языка, поощряемый Ванманеном, библиотекарем Азиатского общества, который снабдил меня необходимыми учебниками и словарем и вызвался мне помочь. Я думал, что это будет нетрудно. Но через неделю-другую увидел, что, если не применю ту же систему, по которой учил санскрит, то есть если не буду сидеть день и ночь только над тибетским, быстрого прогресса не получится. А я в ту пору открывал столько нового, особенно по этнологии Индии и Юго-Восточной Азии, что просто не мог сконцентрироваться исключительно на тибетском языке.

Кроме того, неожиданно возникли новые трудности. Однажды утром, когда я сидел в *Imperial Library*, г-жа Перрис вызвала меня к телефону — кто-то хотел со мной поговорить. Это оказалась Дженни. Она бросила Сварга-ашрам и приехала повидаться со мной. Что еще серьезнее: она остановилась в пансионе на Рипон-стрит. Она прожила там недели две, в продолжение которых я работал, как одержимый. Я совершенно искренне сказал ей, что все, что было, принадлежит прошлому. Но Дженни еще надеялась. Раз она заявила мне, что, если у нее не вышло найти «абсолют», она станет кокоткой. Надела

свое самое элегантное платье, накрасилась и отправилась на коктейль в самый роскошный калькуттский ресторан. Вернулась через час, в полной растерянности. Нашла утешение в ежевечерних выходах с пансионской публикой — кинематографы, Чайнатаун, бары. В конце концов, решила уйти в ашрам со второй попытки — ашрам Ауробиндо Гоша в Пондичери. Через неделю после отъезда написала мне, что счастлива, что *La Mère* придала ей новых сил для поиска «абсолюта», что она пожертвовала то немногое, что у нее было, ашраму, в котором решила остаться до конца жизни. Желала и мне как можно скорее найти «свой истинный путь». С тех пор я о ней никогда больше не слышал.

После отъезда Дженни я еще яростнее накинулся на работу. Изучение тибетского языка прервал и сосредоточился на этнографии Восточной Азии. Поскольку я думал остаться в Индии еще года на два-на три, я пообещал себе вернуться к тибетскому после того, как ознакомлюсь с народной культурой Индии и Юго-Восточной Азии. Экскурсия в Сахибгунгу, где я неделю прожил среди санталов, и походы по селам в окрестностях Калькутты укрепили мой интерес к туземному, доарийскому населению. Мне казалось, что я начинаю улавливать связующие элементы всех крестьянских цивилизаций, от Китая и юго-востока Азии до Средиземноморья и Португалии. Везде я обнаруживал то, чему позже дал название «космическая религиозность», то есть капитальную роль символа и образа, религиозное почитание земли и жизни, веру в то, что священное непосредственно проявляет себя таинством плодородия и космического обновления, а не через исторические события. Конечно, христианство преобразило крестьянские цивилизации Европы, но восточное и средиземноморское христианство было в то же время и «космической литургией». Воплощение, смерть и воскресение Христа в каком-то смысле освящали Природу. Мир снова делался «хорош», каким он был до грехопадения. Что же касается крестьянского населения Индии, то для него мир вовсе не был «иллюзией», а жизнь не сводилась к цепи страданий, как это представлялось в философиях и аскетических учениях поступанишадского периода. Мир, жизнь, радость были божественным творением, а «грех», то есть «незнание», состоял не в приятии их как таковых, а в вере, что мир и жизнь суть реальность в последней инстанции.

То, что мне удалось вникнуть в суть туземной индийской духовности, косвенным образом помогло мне позже понять устроение румынской культуры. Я все больше осознавал значимость автохтонного, доарийского элемента в формировании индуизма. Наиболее характерные черты индийской религиозности — в первую очередь, культ богинь плодородия и мистическое поклонение им — были

вкладом туземных народностей или происходили из синтеза духовности туземцев и духовности индоариев. Вскоре мне предстояло понять, что такого же рода синтез имел место и в истории румынской культуры. Даки — «автохтонный фонд», о котором говорил Блага вслед за Пырваном и Хашдеу, — сыграли в румынской культуре ту же роль, что доарийское население в культуре индийской. С той только разницей, что если в Индии эти доарийские пласты, с их культурой, были до сих пор ощутимы, то картина дакийского наследия не могла быть полной и поддавалась восстановлению лишь в приблизительном виде. Не подлежит, однако, сомнению, что среди элементов, общих для крестьянских цивилизаций юго-востока Европы, самым важным был фракийский субстрат. На этот субстрат наложились, в ходе времени, культурные влияния Греции, имперского Рима, Византии и, главное, христианства. Если же, как я еще больше убедился впоследствии, народные румынские традиции сохранили часть фракогетского наследия, то проблему истории и философии румынской культуры, мне казалось, следует рассматривать в другом плане. Во-первых, творения румынского народа артикулировались в гораздо более обширной перспективе, потому что были не только «румынскими»; точнее, масштабы их не были «провинциальными», не ограничивались пределами румынского этноса. Особый тип цивилизации, то есть особый способ бытия в мире, иллюстрировала как румынская народная культура, так и другие народные культуры юго-востока Европы, при всем их разнообразии и вариациях (что, впрочем, характеризует дух народного творчества повсюду в мире).

Во-вторых, если бы нынешняя румынская элита признала существование, истинность и универсальность такого типа бытия и созидания, это позволило бы ей понять и другие экспрессии того же типа бытия — понять, например, ценности народной индийской культуры. Поэтому в 1937 году, после выхода в свет моей «Йоги» и разных других работ по доарийским цивилизациям, меня удивили некоторые статьи в правой прессе, где меня упрекали или высмеивали за мои «экзотические» занятия. Мне казалось, что, выявляя доарийские элементы в индийской культуре или комментируя символизм храма в Барабудуре, я ближе к духовному миру румынского крестьянина и основательнее подхожу к пониманию этого мира, чем если бы я переводил Канта — как это делал в ту пору один из молодых теоретиков правой ориентации.

Было и еще кое-что, напоминающее о том, как насущно понять индийскую духовность и духовность азиатских культур вообще. Я знал, что достижение Индией независимости неотвратимо и что очень скоро вся Азия снова включится в историю. С другой стороны, в не слишком отдаленном будущем найдет свое место на арене миро-

вой политики и ряд архаических народностей. Мне казалось, что мы, румыны, могли бы сыграть определенную роль в сближении и в установлении диалога между этими двумя или даже тремя мирами: Западом, Азией и архаическими крестьянскими цивилизациями. Бесполезно, казалось мне, повторять какие-то западные клише или открытия — но мне также казалось, что бесплодно и опасно топтаться на старомодном устарелом «традиционализме». Именно из-за того, что у доброй половины румынской культуры были крестьянские корни, мы неизбежно должны были переступать через национализм и провинциальность в культуре и устремляться к «универсализму». Элементы единства народных культур — Индии, Средиземноморья и Балкан — были для меня свидетельством того, что именно *здесь* существует этот органический универсализм — результат общей исторической судьбы (судьбы крестьянских цивилизаций), а не абстрактная конструкция. Мы, Восток Европы, могли бы послужить мостом между Западом и Азией. Конечно, при условии, что советская Россия не станет мировой державой. Моя деятельность в Румынии между 1932 и 1940 годами во многом опиралась на подобные интуитивные мысли и наблюдения весны-лета 1931.

Я подружился с Ванманеном, который давал мне в пользование редкие публикации из своей богатой тибетской библиотеки, и с Лукьяном Богдановым, русским востоковедом, осевшим в Калькутте после четырехлетнего пребывания в Афганистане. Насколько Ванманен любил Индию, настолько Богданов терпеть ее не мог. Он еще как-то принимал Индию исламскую, но оставался совершенно глух к индийской культуре и искусству (окрестив их к тому же «идолопоклонством»). Он все бы отдал, чтобы уехать из Индии, где ему жилось трудно — на жалованье, которое он получал во французском консульстве в Калькутте, и на гонорары за переводы, которые делал для «*Cama Oriental Institute*». Я заговорил с ним раз о возможности приехать в Бухарест, преподавать восточные языки в университете, и это воскресило в нем надежды. Мы вместе написали Николае Йорге, но ответа не последовало.

В библиотеке Азиатского общества я встречал самых разных ученых. Так, я познакомился с тибетологом Жаком Бако и с сексологом Маврициусом Хиршфельдом, который вернулся из Японии с внушительной коллекцией фаллических камней и в сопровождении молодого ассистента, японца, одержимого мыслью, что в один прекрасный день его родина прославится за свои достижения и изыски по части эротики. Ванманен иногда приглашал меня к себе домой. Он любил поговорить со своим поваром по-тибетски, пока гости сидели и гадали, какое новое гималайское кушанье их сегодня ожидает. Через Богданова я познакомился с чиновником французской дипмиссии,

который провел два года в Бухаресте. Этот Андре, случалось, заходил на Рипон-стрит и приглашал девушек на чай в «*Firpos*», ухаживал за Норинн. В то время Норинн была обручена с одним молодым человеком, местным англичанином по имени Эрнест Манн, который работал на джутовой плантации в Восточной Бенгалии. Всякий раз, приезжая в Калькутту, Эрнест приглашал семейство Перрис в ресторан, а потом шел на танцы с Норинн. Раз ночью я услышал в холле голоса, вскрики и вышел посмотреть, что случилось. Г-жа Перрис сказала мне: «Эрнест утонул!». Эту весть принесли его брат и свояк — получили телеграмму от управляющего фирмой, где работал Эрнест. Он пошел охотиться на крокодилов, лодка опрокинулась, а он не умел плавать и утонул в речной протоке. Другой его брат, Кирилл, в ту же ночь поехал искать тело или то, что от него осталось, в места, изобилующие крокодилами.

Это был большой удар для г-жи Перрис, и следы его можно было еще долго прочесть на ее лице. Эрнест Манн был для Норинн партией, о которой они и не мечтали: шестьсот рупий в месяц, бунгало на джутовой плантации и дом в Калькутте. Норинн, правда, скоро утешилась. Стала снова принимать приглашения в рестораны, а в недолгом времени нашла работу у богатого парси, что дало ей возможность ускользнуть из-под бдительного материнского ока.

Я и участвовал и не участвовал во всех этих страстях, сотрясавших пансион на Рипон-стрит. За рамками своих занятий я жил без программы. Я больше ничего себе не вменял в обязанность; не принуждал себя стать тем-то и тем-то или сделать то-то и то-то. Я учился принимать свою жизнь так, как она разворачивалась в Калькутте: иногда высокая, чистая, сильного накала, иногда посредственная, пресная, банальная, но оттого не теряющая тайну. Еще я учился не впадать в восторг или уныние от знакомств или от связей, в которые впутывался, часто сам того не желая. Своего рода безразличие к событиям, которые по видимости составляли мою биографию, стало закрадываться с тех пор в мою душу. Не то чтобы это было в собственном смысле слова равнодушие к жизни во всех ее аспектах, просто я больше не принимал всерьез то, что со мной происходило — или не происходило. Это было начинающееся предчувствие, что глубинные слои жизни недоступны эрозии или волнениям, которые производятся событиями. Я чувствовал, что если сумею расположиться в *тех* слоях, то стану в некотором смысле неуязвимым. Тогда что бы со мной ни случилось, я буду оставаться самим собой и, значит, буду свободен для исполнения своей судьбы.

Прошла пора зноя, начался муссон, и, хотя было еще довольно тепло, я все не решался пуститься в дорогу. Я намеревался поехать в Альмору, потом на пять-шесть месяцев в Кашмир, но хотел до отъез-

да собрать как можно больше материала для компаративистских глав диссертации. Я хотел в полной мере использовать документы, к которым мне давали доступ две большие библиотеки, прежде чем снова уйти в Гималаи.

И вдруг, в середине июня, я почувствовал, что должен сесть за роман. Я назвал его сначала «Виктории», а потом переименовал в «Петра и Павла». Он отличался от всего, что я писал до тех пор: не автобиография, как «Роман о подростке в очках» или «Гаудеамус», не от первого лица, как «Изабель», но и не «фантастика», как «Меркнущий свет». Действие происходило в Бухаресте, сразу после войны. По виду это была история одной семьи: Франциска Аничета и его сыновей, Петра и Павла. По сути же, я хотел написать историю двух поколений — военного и следующего за ним, «молодого», которое я превозносил три-четыре года назад в своих статьях для «Кувынтул». Когда я начинал роман, я различал ясно только первые главы: юность Франциска, нетерпение, с каким он ждал войну, потеря имения после аграрной реформы, упадок и обнищание семейства Аничет и детство и отрочество двоих мальчиков, которые виделись мне очень разными и все же нераздельными. Заголовок «Виктории» можно было бы счесть либо ироническим, либо символическим, поскольку роман составляла вереница «падений» и «поражений» — в первую очередь, разорение Франциска Аничета и потеря им положения в обществе: некогда крупный помещик, он скатился до должности конторщика в банке у своего бывшего однокашника.

Я писал яростно, день и ночь, и за три дня исписал сотню страниц. Прервался на неделю, потом возобновил работу, но умерил ритм, садясь за роман только по ночам и не более, чем на два-три часа. Очень скоро, однако, я почувствовал, что сюжет вырвался у меня из рук, что роман грозит стать социологическим трудом о «генерациях», и тогда я окончательно его забросил. Большую часть рукописи уничтожил, оставив только страниц пятьдесят-шестьдесят, которые использовал позже в «Возвращении из Рая».

Это произошло в конце июля. В августе я несколько раз совершал экскурсии в дельту Ганга, задерживаясь, по возможности, в Пури. В сентябре один молодой индиец, с которым я познакомился в Азиатском обществе, сводил меня к своему духовному учителю, который жил в Ховре, пригороде Калькутты. Гуру был еще молодым человеком, прекрасно говорил по-английски и сразу покорил меня здравомыслием и оригинальностью. Я почти ничего ему не сказал, он же угадал все испытания, через которые я прошел. Не знаю, в какой степени он угадал конкретное содержание моих авантюр, но их природу и их последствия учуял. Он определил и безошибочно оценил опыт, который у меня был по части медитативных техник, и уже при второй встрече по-

мог мне восстановить то, что считал полезным из моих гималайских знаний. Вот парадокс: тут, в Ховре, в каких-то нескольких километрах от Рипон-стрит, я нашел гуру, которого искал в Гималаях. Не то чтобы он был «выше» Свами Шивананды и других отшельников из Сварга-ашрама и Лакшманджулы, от которых я столькому научился, но он был духовным наставником, в котором я нуждался, который мог мне помочь больше и лучше, чем все остальные.

Я стал ходить к нему регулярно, каждую неделю, и по нескольку часов слушал его. Он был женат, имел детей, и каждый день к нему приходили десятки людей, не только из Калькутты. Они приходили ради *darshan*: только поглядеть на него, прикоснуться к нему, потому что, по индийским верованиям, довольно созерцать, чтобы возвыситься и очиститься духовно. Гуру принимал в ученики очень немногих, и мне повезло быть избранным с первой же встречи, когда мой товарищ кратко меня представил, я был приглашен в дом, и мы начали беседовать.

Я снова отложил поездку в Альмору. Думал, что на два-три месяца, и тут-то воскресным днем получил письмо от отца. Я должен был без промедления ехать домой на военную службу. Известие грянуло как гром среди ясного неба. Моей первой реакцией было сказаться больным. Я думал, что мог бы достать медицинскую справку у одного доктора, с которым подружился. Но, поразмышляв несколько дней и обсудив все с друзьями, решил, что разумнее всего будет сейчас уехать и вернуться после того, как я пройду военную службу и закончу диссертацию. Через два года максимум я мог бы вернуться в Индию, уже доктором наук, и жить здесь, сколько мне будет угодно. Даже если я не получу во второй раз стипендию от румынского правительства, мне нетрудно будет найти какую-нибудь субсидию в Индии. Кроме того, я уже знал, что в гималайском ашраме мне почти вовсе не понадобятся деньги.

Итак, я написал, что скоро приеду, не уточнив при этом дату. Последние три месяца в Калькутте остались в памяти эпизодом из сказки. Я как будто бы предчувствовал, что больше сюда не вернусь, и мне не сиделось на месте. Если я не уходил в Пури или в Читтагонг, я проводил целые часы в музее индийских древностей или бродил по селам в окрестностях Калькутты, шел в Белурматх, в Чандернагор, доходил до Уттарпары, куда меня приглашал один *zemindar*, у которого было отличное собрание английских романов в изданиях *princeps*. Я дорожил каждым часом. Перерывал все полки в библиотеке Азиатского общества, судорожно добирая необходимые материалы. Иногда, в ночные часы, выходил прогуляться по кварталам, связанным для меня с первыми воспоминаниями; шел в сторону Бхованипора, но не осмеливался слишком уж приближаться, обходил его стороной,

прислушиваясь к звукам, доносимым ветром, — то тихим, приглушенным, то вдруг оживающим, близким, грозным.

После того как я отправил домой все книги, начались прощальные застолья, длящиеся до зари в Чайнатауне. Я будто вернулся в «сон в летнюю ночь» 1929 года. Воспоминания об этих последних днях быстро подернулись туманом и через каких-нибудь несколько лет исчезли окончательно. Они возвращались только во сне, нечасто. Я просыпался тогда, томимый непонятной, безнадежной грустью.

И вот уже вокзал, декабрьское стеклящееся утро, и я говорю всем: «До свидания! До свидания в 1933 году!..»

* * *

В Порт-Саиде я узнал, что румынский пароход отплыл в Александрию накануне вечером. Следующий будет только через десять дней. Тогда я решил продолжить путь через Венецию, а оттуда сесть на поезд до Бухареста. Адриатика была седой, пасмурной. Туччи высадился в Бари. Мы договорились встретиться в Индии, в 1933 году (увиделись только в 1950, в Риме, почти через двадцать лет!..)

Деньги кончились, и я ждал в Венеции перевод, телеграфом, из дома. Остановился в скромном отеле у вокзала и пытался защищаться от тоски, читая последние книги Папини, «*Gog*» и «*Sant'Agostino*».

Я добрался до улицы Мелодии незадолго до Рождества. Я все будто бы боролся со сном и не мог проснуться. Стоял сырой, холодный, чужой вечер. В мансарде топилась печка, и все равно мне было холодно. В ту ночь пошел снег.

Часть третья

Посулы равноденствия

Глава 11
Возвращение в мансарду

В это трудно было поверить, но все же пришлось признать, что так оно и было: я плохо говорил по-румынски, да еще и с иностранным акцентом. С трудом подбирал слова. Когда на другой день все собрались за столом и слушали мой рассказ, я заметил, что домашние тайком переглядываются, пытаясь скрыть улыбку.

Корина стала взрослой и очень похорошела. Она недавно вышла замуж за некоего судью, и они жили в том крыле дома, которое мы столько лет сдавали внаем итальянской коммерческой палате. Обзавелись женами и отселились от нас мой брат Нику и дядя Митаке. И все же, за исключением Корины, которую я оставил лицеисткой последнего класса, а нашел замужней дамой, все остальные нисколько, как мне показалось, не изменились. Маму годы как будто не трогали. Она явно хранила свою всегдашнюю веру в меня, хотя виду не подавала — точно боялась меня сглазить открытым признанием, что я стал таким, каким она мечтала меня видеть с давних-давних пор: «птицей высокого полета». Отцу перевалило за шестьдесят, но он был крепкий, как прежде, и не знал усталости. Месяц назад он в одиночку перетащил на мансарду гору ящиков с книгами, прибывшими из Калькутты.

Я взволновался, увидев книги, как их разложил отец, — стопками на полу у стены. Утром: та же печка, еще не остывшая, те же окошечки мансарды, я рассеянно смотрел из них на свежий снег и дома через дорогу. Я как будто силился проснуться. Никак не мог ухватить, что же случилось. Все казалось вроде бы таким же — и не таким. Несколько недель, с тех пор как я уехал из Калькутты, я только того и ждал— оказаться дома, и вот теперь, когда я был дома, *я никак не мог этого прочувствовать*. Будто бы мне, чтобы очутиться у себя дома, в кругу своих, надо было уехать еще дальше, проделать еще какой-то долгий-долгий путь. Я рассеянно смотрел на тот дом через дорогу, что всегда казался мне пышными, таинственными хоромами, потому что шторы там обычно были опущены, а свет зажигался только на несколько дней в году, когда приезжал из-за границы Трандафир Джувара. Дом стоял на своем месте, разве что стал как-то мель-

че, состарился, шторы опущены в ожидании посла (я еще не знал тогда, что посол умер и что его наследники судятся).

В то же утро я пошел проведать Нае Йонеску в редакцию «Кувынтул», в Пассаж Имобильяра. Он оглядел меня, улыбаясь, покачивая головой. «Я очень рад, что ты наконец-то дома», — сказал он. Он выглядел моложе и спокойнее, чем перед моим отъездом, осенью 1928 года, когда его истощала долгая и тяжелая борьба, которую он вел, почти в одиночестве, чтобы спасти «Кувынтул». И спас. Более того: с возвращением короля Кароля, в июне 1930 года, «Кувынтул» стал в некотором роде официальной газетой.

Вскоре выяснилось, что это *malentendu*, что его влияние во дворце, которому столькие завидовали, — легенда. Король Кароль прислушивался скорее к советам Видера или Урдэряну, чем к Нае Йонеску. Тогда, в 1931–1932 годах, политический авторитет Профессора был на спаде. «Техническое правительство» под председательством Н. Йорги, которое поддерживал Нае Йонеску, утратило популярность. Я вернулся как раз вовремя, чтобы присутствовать при постепенной «компрометации» Профессора в дворцовых кругах, приведшей в 1933 году к разрыву с Дворцом и, как следствие, к запрету «Кувынтул».

Немного погодя в кабинет вошли Георге Раковяну[73], Михаил Себастьян и Йон Кэлугэру[74]. Прослышали, что я вернулся, и пришли на меня посмотреть. Я знал их всех по статьям, но увидел впервые. Г. Раковяну, смешливый здоровяк, хохотал часто и с аппетитом, так что ему приходилось отирать слезы на глазах. Йон Кэлугэру, малорослый, с проницательным взглядом, потягивал сигарету и то чуть ли не шептал, то резко вскрикивал, а иногда изрекал краткие фразы, к которым непонятно было, как относиться, потому что они казались цитатами из Урмуза[75] или Саши Панэ[76] (а иногда так оно и было). Михаил Себастьян оказался не таким, каким я его себе представлял. Я восхищался им с первых же его статей, напечатанных в «Кувынтул», ожидал, что он будет более самоуверенным, даже отчасти снобом, или уж по крайней мере в летах. Ему же было тогда двадцать четыре, а выглядел он на двадцать, не больше. Росту был невысокого, и поначалу казалось, что он весь где-то далеко: затуманенный взгляд, застывшее выражение лица. Его сдержанность и деликатность граничили с застенчивостью. И только при близком знакомстве открывались его обаяние, щедрость, его *присутствие*, которое нельзя было спутать ни с чьим.

С тех пор мы встречались в редакции «Кувынтул» каждый день. Нае Йонеску поинтересовался, закончу ли я диссертацию за год, пока буду проходить военную службу. В этом случае я мог бы защититься и получить степень весной 1933 года. Если повезет, университетский совет даст согласие, чтобы я вместо него, Нае Йонеску, вел курс мета-

физики и семинар по истории логики, а у него останется только курс логики. Я не посмел тогда признаться, что собираюсь осенью 1933 года вернуться в Индию. Профессору хотелось показать мне, что он сохранил веру в мои научные возможности. Он сомневался, что кафедру санскритского языка или истории религий будет легко создать, и выбрал этот путь — разделить со мной кафедру логики и метафизики и таким образом ускорить мое вхождение в университет.

Но пока что надо было пройти военную службу. Я оттягивал, как мог, день прибытия в полк. Наступали праздники, и мне невыносима была мысль, что я и на сей раз встречу их вдали от семьи и от друзей, да еще в казарме. Я говорил себе, что в последний момент найду уважительную причину, чтобы оправдать свое опоздание.

Итак, я догуливал последние денечки свободы. Кое-кто из моих друзей женился, и мне нравилось думать, что я открываю в них новые стороны, о которых не подозревал еще три-четыре года назад, учась в университете. Мэри, жена Михаила Полихрониаде, была англичанкой и с недавних пор преподавала английский язык в мужской гимназии. Она была высокая, крепкая, рыжеволосая, а веснушки добавляли несколько мужской резкости ее открытому, честному лицу. Она всегда смотрела тебе прямо в глаза, говорила громко и выражалась очень точно. С ней я скоро подружился, как, впрочем, и с Маргой Жиану и Марьяной Вифоряну, женами двух своих других приятелей. О красоте Марги я был наслышан еще в Индии, мне писали о ней друзья. Такой она и оказалась: спокойная, ясная, улыбчивая, как будто сошедшая с полотна да Винчи.

Марьяна, как обнаружилось к моему удивлению, получила замечательное классическое образование. Когда она была еще ребенком, ее отец, Истрати Мическу, выучил ее греческому языку. Может быть, единственная в своем поколении, Марьяна прежде модных французских романов прочла в оригинале Пиндара и Платона. А Петру Вифоряну остался таким, каким я знал его по лицею: человеком светским, эрудитом и честолюбцем. Он хотел жить одновременно несколькими жизнями: стать крупным юристом и блестящим университетским профессором, но также преуспевать и в политике, не отказываясь при этом ни от светской жизни, ни от дружеских связей лицейских времен. Он был нарасхват, и мы не могли встречаться с ним столь же регулярно, как с Полихрониаде и Жиану или как с Хайгом Актерианом и Мариэттой Садова, которые жили теперь вместе на Елизаветинском бульваре.

Об их любви я знал еще с университетских времен, когда Мариэтта собиралась расстаться с Йоном Марином Садовяну[77]. Но в ту пору это было большой тайной, так что я не имел случая с ней познакомиться. Познакомились мы только теперь, в один из декабрьских вечеров. Она

была такой, какой я увидел ее впервые на сцене. У нее было «иностранное» лицо, она казалась скорее скандинавкой, чем арделянкой из Бистрицы, откуда приехала несколько лет назад, чтобы поступить в Школу драматического искусства. Только подружившись с ней, я понял, сколько доброты, ума, воображения и энергии в этой женщине, которая выглядела такой хрупкой, что было страшно, как бы ее не подкосила серьезная болезнь, и казалось, что ей впору заниматься исключительно своим здоровьем и своими проблемами. Но она жила только для других, и наряду с большой страстью к театру ее жизнь подпитывалась теми радостями, которые она доставляла ближним.

* * *

Недолго пришлось мне вникать в этот новый мир, который открывали мне мои женатые друзья, — меня ждали в противовоздушном артиллерийском полку. Он располагался в Генче, на другом конце города. Полчаса только на трамвае и двадцать минут пешком. Я, конечно, давно числился там в «уклоняющихся от призыва», однако не был отправлен прямо с порога в карцер, как предупреждали меня некоторые. Полковник знал, что я вернулся с «Дальнего Востока», и до дня дисциплинарного трибунала, перед которым мне полагалось предстать, принял во внимание смягчающие мою вину обстоятельства. Однако меня определили в казарму, по регламенту. Две недели я не выходил за ее ворота. К собственному немалому удивлению, я не чувствовал себя в ссылке. Тут было достаточно призывников краткосрочной службы, и теперь, пройдя трехмесячную муштру, они получили право ночевать и ужинать в городе (это было время «бюджетной экономии», и полк только приветствовал избавление от каждого лишнего рта). Так что к вечеру я оставался с одними рядовыми своей части, в большинстве своем крестьянами. Подростком я на каникулах исходил множество горных и придунайских сел, часто ночевал в крестьянских домах и думал, что не вовсе чужд сельскому миру. Но только в Генче, живя с крестьянами в одной казарме и ночуя в одной палате, я наконец-то узнал их ближе. Я не чувствовал себя чужаком среди них, а с некоторыми даже подружился.

Тем не менее я считал дни. От ранней побудки, в темноте, и до отбоя время тянулось еле-еле. Я проходил военную подготовку, но, поскольку прибыл с опозданием на три месяца, меня еще не прикрепили ни к какой из батарей. Один младший лейтенант вызвался меня подтянуть, но многому я от него не научился. Решив, что мне как «интеллектуалу, человеку ученому» не составит труда освоить механизм зенитного орудия («освоишь в два счета»), он с первого же дня предпочел слушать мои рассказы об Индии. Мы сидели у пушки, он

расспрашивал меня про жару и муссоны, про храмы и женщин, а я отвечал. Впрочем, я все равно не научился бы управляться с зениткой, глаза были слишком слабы, чтобы вовремя замечать вражеские самолеты. Вскоре обнаружилось, что из-за близорукости я вообще годен только для нестроевой. Так что мне назначили элементарную подготовку: как держаться в строю и все такое прочее.

По вечерам я с тоской смотрел, как мои товарищи-краткосрочники берут увольнительную и уходят в город. Бухарест был от меня словно в далеком далеке, засыпанный снегом по самые фабричные трубы, из которых валил дым. Я обращался мыслью к моей хижине в Сварга-ашраме, и воспоминание об этом дивном уединении просветляло. Я давно открыл почти тауматургическое свойство гималайских образов. Точно так же, как я подростком освоил ряд «духовных упражнений», с помощью которых проникал в воображаемые миры (в разные галактики, в Египет, в Грецию орфических мистерий) и оставался там, так теперь мне достаточно было припомнить с точностью, до мельчайших подробностей, мою хижину или утес на берегу Ганга, чтобы обрести себя целиком и полностью — ясным, примиренным, неуязвимым.

Однажды утром меня вызвали к полковнику. В ряд с ним сидели еще четыре офицера. Пришел мой черед предстать перед трибуналом за уклонение от призыва. Часовой, который меня сопровождал, снял с меня портупею. Полковник задал мне несколько вопросов. Офицер-прокурор указал, довольно-таки мягко, на тяжесть моего проступка и зачитал относящиеся ко мне параграфы военного кодекса. Мне полагалось наказание в виде скольких-то недель карцера. Но закончил он обвинение просьбой принять во внимание смягчающие вину обстоятельства, поскольку речь шла, как он выразился, о «блестящем лиценциате по философии, который три года обучался в Индии». В адвокаты мне назначили молодого капитана. Он произнес речь в мою защиту с видимым удовольствием. Понятное дело, меня оправдали и вернули мне портупею.

Однако три месяца службы предстояло наверстать. Так что вместо того, чтобы отпустить меня восвояси в октябре, как остальных, мне назначили срок почти до Рождества.

* * *

С волнением получил я, однажды февральским вечером, увольнительную. Я вышел из казармы в компании краткосрочников и все боялся от них отделиться — вдруг пройду мимо офицера или младшего командира и не откозыряю. Я потом долго отдавал честь издалека всякому, кто был в форме, — не только комиссарам полиции и посто-

вым, но и пожарным. Козырял точно по регламенту, как меня выучили, с силой прищелкивая каблуком.

Форму я себе не выправил и ходил в тех башмаках, кителе и плащ-палатке, что мне выдали в полку. Когда я впервые явился в таком виде в «Кувынтул», Нае Йонеску и все редакторы окаменели. Они не могли поверить, что я добрался от Генчи до Каля Викторией в этом широченном балахоне и в башмаках, которые грозили свалиться с ног при первом же слишком резком движении, и меня не остановил по пути ни один постовой, чтобы проверить документы. В точности так, по их словам, должен выглядеть дезертир, переодевшийся в чужое платье.

Но я привык к своему виду. Может, на меня и глазели на улице, но поскольку я весь был сосредоточен на высматривании в толпе военной формы, я не обращал внимания на иронические улыбки прохожих. Той зимой, добравшись до дому, я тут же переодевался и сразу после ужина отправлялся в гости к кому-нибудь из друзей. Познакомился с сестрой Йонела Жиану, Летой Штарк, и с ее подругой Верой. Они обе были архитекторшами. Я любил проводить у них вечера, иногда засиживаясь с разговорами далеко за полночь. Разговаривали мы по большей части об алхимии и об азиатских философиях, об истории религий. Помню, раз на прощанье Вера сказала мне: «Если ты хочешь выполнить все, что задумал, тебе нельзя жениться». Я совершенно искренне ответил, что мысль о женитьбе мне и в голову не приходила.

С удовольствием навещал я и Хайга с Мариэттой Садова на Елизаветинском бульваре. Однажды вечером, сам не зная почему, я рассказал им все, что произошло в Бхованипоре, все, из-за чего я больше не мог видеться с Дасгуптой. До тех пор я старался пореже вспоминать Майтрейи, но все время жил своими индийскими воспоминаниями. Куда бы я ни приходил, в чьем бы доме ни оказывался, все кончалось просьбой рассказать про Индию. Может быть, я только того и ждал, потому что никогда не отказывался. И товарищей по казарме я угощал Индией, у печки, ночами, проведенными в полку. Но при всем том были целые континенты воспоминаний, которые я никогда не трогал, а даже если бы захотел тронуть, то не знал бы как, — тайные, недосягаемые континенты, Атландиты, погрузившиеся в пучину. Вообще чем больше я распинался об образах, персонажах и происшествиях из области того, что мы называем «исторической Индией» и что составляло, в конечном счете, элементы одной биографии в двух измерениях, тем глубже я задвигал тот мир непередаваемых смыслов и открытий.

От Рэдулеску-Мотру, когда я пошел его проведать, я ожидал вопросов по индийской философии. Раз он написал мне в Калькутту,

что неоднократно пытался одолеть упанишады и тексты веданты, но безрезультатно, и надеется, что я ему объясню, когда вернусь, почему некоторые считают подобные тексты представляющими большой *философский* интерес. Я нашел его помолодевшим, поздоровевшим и с более ясным взглядом на мир, чем при моем поступлении в университет, осенью 1925 года. Вопросов по индийской философии Родулеску-Мотру задал мне очень мало. Зато всякий раз как я приходил к нему, он не уставал расспрашивать меня о моей жизни в Бенгалии и Гималаях, о политической ситуации, особенно о Ганди и национальном движении.

Вот кто не упускал случая завести разговор об индийской философии, так это Мирча Вулканеску. Он по-прежнему жил в родительском доме по улице Попа Соаре, но успел во второй раз жениться, и у них с Маргеритой уже была дочка. Он заметно располнел за эти годы, но оставался все так же хорош собой, и так же хороши были его глаза, большие, черные, глубокие. Таким он и оставался до нашей последней встречи, еще десять лет — все полнел, но двигался легко, без конца расхаживал по комнате, безостановочно рассуждая обо всем на свете, с блеском, все с той же изумляющей эрудицией и четкостью. Он читал все, по всем предметам, и за что бы ни взялся, у него получалось лучше, чем у других. Решив научиться играть в бридж, он несколько недель методично и с упорством осваивал игру — и стал непобедимым игроком. С одинаковой легкостью и компетентностью он трактовал проблемы восточного богословия и банковского дела или писал модернистский роман. Раз ему попался в руки французский журнал, где был объявлен конкурс на завершение детективного романа. Мирча Вулканеску прочел роман и с маху написал свою версию концовки. Разумеется, она оказалась самой верной. Неделю-другую спустя его имя уже фигурировало во главе списка.

Писал он довольно много, но печатался мало, и то под нажимом друзей или по стечению обстоятельств. Он был, как Гете, чей пример он приводил, «писателем по случаю». Он ввязывался в полемику или публиковал статью, чтобы защитить кого-то из друзей от несправедливых нападок. Печатался, главным образом, в «Кувынтул», не потому только, что газета ему нравилась, а скорее потому, что питал к Нае Йонеску восхищение и безграничную любовь, которые сохранил до конца, даже когда, несколько лет спустя, не безусловно соглашался с политической деятельностью Профессора. Однако по большей части он писал для себя и для горстки друзей: эссе, маленькие штудии по темным или никому не известным проблемам, развернутые планы будущих трактатов по богословию, морали или политической экономии.

В тот год он служил директором Таможен. Не понимаю, каким чудом он продержался на этом посту столько лет, потому что он был бо-

лее чем неподкупен: он был сама честность, иногда даже до потери чувства реальности. Раз он признался мне, что у него один-единственный критерий — таможенный устав, который он не позволяет себе интерпретировать, но применяет *ad litteram*.

От него я узнал, что Стелиана Матееску недавно поместили в лечебницу. В последние годы у него развилась мания на религиозной почве, но все же он успел написать, по словам Мирчи, несколько замечательных работ. Потом разразился кризис: раз вечером он пришел к Мирче и набросился на него с большим кухонным ножом, который вынул из-под пальто. Он задумал убить своих лучших друзей — чтобы защитить их от козней дьявола или что-то вроде того...

Кроме Нае Йонеску, еще только с Мирчей мы обстоятельно обсуждали индийскую философию. Особенно интересовали его сотериология и эстетика. Поскольку память у него была поразительная, он скоро усвоил всю техническую терминологию. Другие наши друзья изумлялись, когда он меня перебивал, чтобы вставить какую-нибудь деталь или уточнить выражение. Времени ему хватало на все, поэтому он не только читал мои очерки в «Кувынтул», но и слушал лекции, с которыми я начал выступать на радио. Тогда директором программ по культуре на радио был Адриан Маниу. Он передал мне через Йонела Жиану, что хочет со мной познакомиться. Вместе с Жиану я пошел к нему на радио, на улицу Эдгара Кине. Он предложил мне читать в месяц по два текста на двадцать минут, об Индии. За лекцию полагалось по восемьсот лей. Я согласился с радостью, потому что, помимо скромного жалованья в «Кувынтул», других заработков у меня не было, и мне было стыдно в двадцать пять лет просить деньги у родных.

Возможно, эти-то лекции на радио — многие из них вошли в 1934 году в книгу «Индия» — в значительной мере и поспособствовали моей популярности. Когда Йонел Жиану пригласил меня выступить в Королевском Фонде с рассказом о Рабиндранате Тагоре в рамках конференции группировки «Форум», которую он организовал, зал был переполнен. Я говорил без записок и, к сожалению, не подготовившись, — но тем больше был успех. Я в некотором роде дал волю «вдохновению», вспомнил раскаленные бенгальские ночи, деревья Чандернагора, усыпанные светляками, встречи и беседы с поэтом в Шантиникетоне. Не думаю, что доклад был очень поучительным, но так или иначе он приближал к Тагору — и энтузиазм публики не знал границ. С тех пор со своими рассказами про Индию я стал нарасхват.

У выхода, в толпе знакомых, меня поджидал Константин Нойка[78]. Он заметил с улыбкой — смесью иронии и доброжелательства, — что я произношу некоторые слова в их вульгарной форме.

Нойку я знал давно, с лицейских времен. Но поскольку я был года на три-четыре старше (он поступил в университет осенью того года, когда я уехал в Индию), мы не успели подружиться. Он написал мне в Калькутту несколько воодушевляющих писем. Робкий юноша, каким, уезжая, я оставил его, заметно возмужал. Вскоре по возвращении из Индии я узнал от общих знакомых, какие крены давала университетская жизнь Нойки. На первом курсе он ходил на лекции эпизодически и читал, что под руку попадется; «вращался в свете», как он сам признавался потом с улыбкой. Любил танцы и не пропускал ни одной вечеринки. Год кончился, и летом он понял, что остался ни с чем. Тогда он решил разумным способом организовать жизнь и учебу. Как он говорил, «мы знаем ровно столько, сколько выучили». Вначале основательно взялся за философию. Составил программу и придерживался ее, пока не защитил диссертацию. Когда осенью снова начались занятия, Дину Нойка сидел в первом ряду (пришел за полчаса, чтобы занять лучшее место), на коленях — тетрадь. Затем он неукоснительно стал посещать курсы лекций, которые выбрал. Принялся за греческий и каждый день определенное число часов читал кого-нибудь из классиков философии. «Критику чистого разума» перечел четыре раза. Читал он не с тем, чтобы получить информацию, но чтобы понять, усвоить, как философствовали великие — Платон, Аристотель, Кант, Гегель.

Сейчас он писал диплом у П.П. Негулеску, но не собирался потом уезжать за границу писать диссертацию. С одной стороны, потому, как он говорил, что ему еще есть чему поучиться дома; с другой стороны, потому что планировал вскоре жениться на Венди Мастон. Обо всем этом мне еще предстояло узнать позже, когда началась наша дружба. А тогда, после моего выступления о Тагоре, он довольствовался тем, что сделал мне некоторые стилистические замечания. Пришел он вместе с сокурсником, молодым человеком родом из Сибиу, чубатым блондином по имени Эмиль Чоран. Помню, что мы снова увиделись в компании скоро, той же весной, у меня в мансарде. В конце марта Рэдулеску-Мотру добился для меня месячного отпуска, чтобы я мог работать над диссертацией, и я таким образом возобновил студенческую жизнь. Диссертация была уже частично написана, но по-английски; я корпел теперь над переводом на румынский тех глав, которые, как я считал, могли бы заинтересовать профессоров из диссертационной комиссии (например, я в значительной мере отсек анализ «народных» форм йогической практики — то, что позже, во французском издании 1936 года, особенно привлечет интерес ориенталистов и историков религий).

Я снова был у себя в мансарде. Снова имел возможность, как когда-то, засиживаться до глубокой ночи за письменным столом, не бес-

покоясь, что в четыре утра мне надо вставать, чтобы поспеть в Генчу. Я купил себе новые полки под книги, привезенные из Индии. Разложил папки и тетради периода Рипон-стрит и Бхованипора. В глубине души я, как тайну, еще сохранял решение вернуться сразу после защиты. С другой же стороны, Бухарест, в котором я снова начал обживаться, притягивал меня все больше и больше. Мне казалось, что я попал в незнакомый город с немеренными возможностями; что переживаю тот звездный час, когда каждому из нас дано заложить «труд всей своей жизни». Я бы не хотел вернуться в Индию, не завершив сначала нечто, не опубликовав хотя бы часть рукописей.

В ту зиму я переписал из своих тетрадей целый ряд заметок и комментариев, которым предстояло несколько месяцев спустя войти в книжицу страниц на сто, «Солилоги». Вместе с Михаилом Себастьяном и Йоном Кэлугэру мы решили издавать коллекцию, которую назвали «Книжка с закладками». Думаю, все началось с заверения Захарии Станку[79], что Тороуциу, директор типографии «Буковина», расположен напечатать нашу коллекцию на неожиданно выгодных условиях. Тороуциу довольствовался скромным авансом, остальное мы могли заплатить по продаже первых пятисот-шестисот экземпляров.

Точно таким образом Захария Станку начал издавать «Азь». За появление этой газеты, где меня потом бесконечно честили, я тоже нес в определенной степени ответственность. Я сотрудничал с ней с самого начала (первый номер открывался фрагментами из «Солилогов», а во второй или третий я отдал страницы индийского дневника, озаглавив их «Черновые записки»). Но это еще не все. Чтобы набрать сумму, необходимую для аванса, Захария Станку задумал организовать несколько конференций и «литературных посиделок» в придунайских городах и пригласил меня (конечно, с рассказами об Индии). Я согласился, тем более что с нами ехал Джордже Михаил Замфиреску, чья «Мадонна с розами» очень мне нравилась. Запомнились Олтеница, Рошиорий де Веде, улицы под снегом или в слякоти, когда снег таял. Запомнились плохо освещенные залы, набитые самым разным людом, от городского головы и священника до гимназистов и гимназисток; политические деятели в окружении чад и домочадцев и неизбежный юноша-интеллектуал с претензиями на литературный или научный талант, который после конференции подходил ко мне поплакаться, как его заедает среда. (Помню, что однажды я был жесток — и, может быть, даже несправедливо, — когда, шлепая по слякоти при бледном, грязном свете газовых фонарей и слушая жалобы своего спутника, я грубо прервал его: «Знаешь что, у русских писателей прошлого века улицы вряд ли были лучше, только таланта у них от этого не убывало!..» Не знаю, имел ли я право так его срезать. Но я продолжал печатать свои «Письма к провинциалу» и просто повторил

но, что без конца декларировал с 1927 года: ничто, *абсолютно ничто* не в силах выхолостить способность духа к творчеству до тех пор, пока человек свободен — и осознает это; только потеря свободы или сознания свободы может стерилизовать творческий дух.) Не знаю, удалось ли Захарии Станку обеспечить выход первых номеров газеты тем, что он заработал на придунайских «литературных посиделках». Газета «Азь» вышла зимой 1932 года. Михаил Себастьян и Йон Кэлугэру, которые дали статьи в первый ее номер, приготовили каждый по книге для коллекции «Книжка с закладками». Себастьян — «Фрагменты из найденного блокнота», а Кэлугэру — «Пальто и больше ничего». Вместе с моей все три книжки увидели свет весной 1932 года. Помню, как однажды утром я вошел в кабинет к Нае Йонеску и протянул ему всю троицу, экземпляры с посвящениями. Михаил Себастьян был особенно счастлив. У него это была первая книга, и то, что она так скоро вышла из печати, подвигло его на подготовку сборника новелл «Женщины». Как и «Фрагменты из найденного блокнота», новеллы были написаны годом раньше, в Париже. Часть он уже распечатал по журналам, но ему очень хотелось собрать их все в один томик. «Культура националэ» как раз издала книгу дебютанта Константина Фынтынеру под названием «Изнутри». Себастьян надеялся, что директор издательства, Ал. Росетти, издаст и его. Но Росетти ему отказал, и, страшно огорченный, Себастьян решил искать другого издателя. «Женщины» появились следующей осенью в издательстве Чорнея.

Наши книжицы были хорошо приняты критикой. Но поскольку продавались они только в самой типографии «Буковина», читатели находили их с трудом. В коллекции «Книжка с закладками» было заявлено около десяти названий. Среди участников числились Мирча Вулканеску, Дан Ботта[80], Паул Стериан. Вышли же в свет только сборнички стихов Паула Стериана и Иларие Воронки. Ни мы, ни Тороуциу не остались довольны этим опытом и, по общему согласию, решили его не продолжать.

Той зимой я познакомился, у Мирчи Вулканеску, с Даном Боттой. Он подарил мне свой сборник стихов «Евлалии», от которого я пришел в восторг. Он стал захаживать ко мне в гости. Был он высокий, красивый, светловолосый и, разглагольствуя, вздымал вверх правую руку и грозно поводил указательным пальцем (он говорил: «убедительным пальцем»). Первый раз попав в две мои комнатки, набитые книгами, он воскликнул: «Да это Александрийская библиотека!» Хотя он читал мало и только «классику» (от народной поэзии до Пруста), но восхищался библиотеками, где находил подсобные рабочие материалы: словари, грамматики, философские исследования, критику. Ему нравилось разыскивать этимологии, его увлекала история

слов, и когда он раскапывал редкие слова, забытые прилагательные, архаические выражения, он повторял их с чувством, раздельно, на разные лады, приговаривая: «Какая красота!..»

Мансарда снова стала, как когда-то, местом встреч. Мирча Вулканеску часто заглядывал по дороге домой, а Паул Стериан приходил с женой Маргаретой, чтобы «окунуться в свою парижскую студенческую юность». Маргарета любила смотреть в круглое, как иллюминатор, окошко, пока Паул делился с нами своими проектами (детективный роман или молитвенник), вдруг разражаясь пронзительным смехом, в естественности которого можно было усомниться, и тогда мы ждали, что он еще скажет, засмеется ли еще раз — а Паул как раз это и обожал: сбить собеседника с толку, прочесть недоумение во взглядах. Как и Мирча Вулканеску, Паул Стериан мог писать самые разные вещи, но, в отличие от Мирчи, он писал тогда быстро, «со скоростью пера», как он любил повторять. Иногда он мог выдать за ночь сразу несколько замечательных стихов. Иногда диктовал за неделю детективный роман. Ему нравилось писать картины, но он от этого оказался, как я понял, из-за Маргареты. «Мы бы копировали друг друга, сами того не желая», — якобы сказала ему Маргарета. Правда, год-другой спустя я узнал, что Паул снял комнату, установил там мольберт и, как только выдавался свободный час, запирался там и писал. Не знаю, повлияло ли открытие его женой этой тайной комнаты на кризис их отношений, приведший позже, в 1935 году, к распаду брака.

Частым гостем был Петру Комарнеску, и я помню, что первое время мы говорили между собой по-английски. Комарнеску провел два года в Калифорнии, где защитил диссертацию по философии, и изо всех сил старался не забыть английский. Он написал тогда ряд статей о человеке в американской цивилизации, которые позже собрал в книгу «*Homo americanus*». И, как всегда, печатал во многих газетах и журналах хроники по литературе, пластическим искусствам, музыке. Он не знал усталости, был в курсе всего, что происходило в светских, политических и артистических кругах, и полон проектов. Организовывал литературные вечера, циклы докладов. Благодаря ему возникнет, той осенью, «Критерион».

* * *

Отпускной месяц кончился, и меня перевели в штаб, на переводческую службу. Я работал в длинном светлом помещении на последнем этаже, со мной вместе — еще несколько рядовых и два офицера. Я переводил статьи из американских и итальянских военных газет. Помню, перевел даже учебное пособие по средствам защиты от химической войны. Переводил я его с чувством тоски и тревоги, потому что

средства защиты показались мне иллюзорными. За одним столом со мной работал молодой бессарабец. Он стал давать мне уроки русского языка и перевел для меня большую и сложную статью Щербатского по истории буддийской логики.

Незаметно настал месяц май, и когда, с наступлением вечера, я возвращался домой, как будто бы весь мир принадлежал мне. Я каждый день заходил в «Кувынтул», навестить Нае Йонеску. Подружился с Михаилом Себастьяном и Г. Раковяну, и мы часто вместе обедали или ужинали. У нас завелся обычай в воскресенье после полудня собираться у Флории Капсали и Мака Константинеску. Они жили в квартале Круча де Пьятра, в старинном доме с очень большим садом, часть которого Мак отвел под волейбольную площадку. Сюда регулярно приходили — и пораньше, чтобы поиграть в волейбол, — чета Полихрониаде, Вулкэнеску, Стериан, Дан Ботта, Петру Комарнеску, Михаил Себастьян, Хайг и Мариэтта Садова. Но каждое воскресенье появлялись и новые фигуры: Мэрьоара Войкулеску со своим приятелем, судьей, Лили Попович, Гари Браунер, Сильвия Капсали, Габриэль и Адриан Негряну и многие другие. Часто приходила Нина Мареш, которая снимала комнату на последнем этаже в том же доме в Пассаже Имобильяра, где помещался «Кувынтул». Миниатюрная блондинка, хороший товарищ, она расположила к себе всю компанию. Она служила тогда в Телефонном обществе и, хотя жизнь у нее была, как я после узнал, тяжелая, всегда улыбалась и держала при себе свои неприятности. Больше всего она сдружилась с Михаилом Себастьяном и перепечатывала на машинке его рассказы — с рукописей, мелко исписанных листочков, так исчерканных исправлениями, что их не смог бы разобрать никакой типограф.

По вечерам мы всей компанией (иногда человек двадцать и больше) шли ужинать в какой-нибудь из ближайших трактиров. И может быть потому, что мы принадлежали к смежным, но разным мирам: театр, скульптура и живопись, танец, журналистика, литература, философия, — мы очень хорошо ладили друг с другом. Когда я рассказал Нае Йонеску о наших встречах и застольях, он удивился и позавидовал. В его юности, сказал он, живописцы, газетчики и книжники на сближение друг с другом не шли. Особенно любопытным ему казалось, что сошлись такие художники, как Мак Константинеску, Марчел Янку, — и скульптор Милица Пэтрашку; что актрисы Лили Попович, Сорана Цопа, Мариэтта Садова, Мариэтта Рареш, Мэрьоара Войкулеску водят дружбу с писателями, философами, музыкантами. «Вам надо будет придумать новый язык, — сказал он. — Но поскольку с вами Мирча Вулканеску, это у вас получится...»

Раз за воскресным ужином в трактире Комарнеску предложил нам всем организовать в Королевском Фонде цикл докладов-дискуссий

либо о великих личностях современности, либо по актуальным проблемам. В каждом симпозиуме участвовали бы пять или шесть докладчиков, по большей части из нашей компании. Председательствовать мы бы попросили какого-нибудь ученого старшего поколения. Все начали предлагать имена и темы. Дискуссия продолжилась далеко за полночь, в саду Мака и Флории, и, хотя все мы впали в энтузиазм, проект, может быть, не исполнился бы через несколько месяцев, осенью того же года, если бы Петру Комарнеску не взял на себя труд арендовать зал Королевского Фонда и заняться составлением программ, печатанием и расклеиванием афиш. Он собрал по тысяче лей с каждого из нас на аренду зала. Мы расстались с тем, что утвердим программу в следующее воскресенье.

Так, сами того не подозревая, мы учредили сообщество «Критерион». Никто из нас не думал в ту летнюю ночь, когда, расходясь по домам, мы продолжали перебирать имена и темы, что мы готовим самую оригинальную и самую значительную коллективную манифестацию «молодого поколения». (Мы еще вполне могли считать себя молодыми, средний возраст наших заводил составлял двадцать пять лет.)

И, конечно, никто даже и предположить не мог, что наше предприятие будет иметь такой необыкновенный резонанс. Собрать достаточно публики, чтобы покрыть расходы, вот на что мы надеялись, и ни в коем случае не рассчитывали, что нам придется повторять некоторые симпозиумы по два — по три раза.

В следующее воскресенье мы договорились, какие деятели культуры и политики пойдут у нас первыми, кого мы, вчетвером или впятером, представим и обсудим с разных, но взаимодополняющих точек зрения. Мы выбрали Ганди, Ленина, Муссолини, Чарли Чаплина, Пруста, Андре Жида, Фрейда, Бергсона, Пикассо, Стравинского. Мы наметили и вторую серию симпозиумов, вокруг проблем: современный румынский роман, современное румынское искусство, Америка и американская культура, Азия глазами Запада и др.

И в то же воскресенье мы запланировали уйти в горы, Бучеджи, и неделю провести в Каса Пештера и в Булбоч.

* * *

Было начало июля, и, благодаря тому же Рэдулеску-Мотру, я снова получил в штабе отпуск. На денек мы остановились в Брязе, где Мак и Флориа снимали летний дом. Компанию составляли: Себастьян, Комарнеску, Дан Ботта, Вулкэнеску, Лили Попович, Мариэтта, Хайг Актериан, супруги Полихрониаде, Адриан Негряну и Сильвия Капсали. На следующий день доехали поездом до Синаи и оттуда начали

подъем на Пьетре Арсе. Я не был в Бучеджи четыре года. В горы своего отрочества я вернулся с другой компанией друзей. Удивительно, с какой точностью я вспоминал тропы, сокращавшие путь. Оповещал товарищей, какие скалы сейчас нам встретятся, к каким родникам мы приближаемся. И, как когда-то, искупался в ледяной воде речки Яломичьоарэ.

В горах мы пробыли неделю. Мы с Мэри Полихрониаде переводили «Пигмалиона» для Лени Калер. Михаил Себастьян и Петру Комарнеску ухитрялись писать статьи. Но каждое утро мы совершали долгие прогулки до Булбоч или Пьятра Краюлуй. По вечерам разжигали костер из хвороста и еловых веток. Дан Ботта читал фольклорные стихи, которые Мирча Вулканеску, под шуточки Полихрониаде, толковал в совершенно неожиданном и невероятном свете. Мы говорили то по очереди, то все разом, и среди смешков и перебивающих реплик слышали и понимали друг друга. Каждый из нас, по-своему, возвращался в каникулы своего детства и отрочества. Мы подружились достаточно, чтобы не думать о том, как нам хорошо вместе и как нам удается быть спонтанными без всякой позы и без вульгарности. Нам до того понравилась эта неделя в Бучеджи, что мы решили возвращаться сюда каждое лето. И еще несколько лет подряд держали слово, хотя состав группы, восходящей к Пьетре Арсе, не всегда был один и тот же.

Моя мансарда в Бухаресте к вечеру раскалялась, и я с тоской вспоминал о вентиляторах на Рипон-стрит. На закате я возвращался из штаба, но духота не располагала к работе, и я старался по вечерам встречаться с друзьями. Мы часто ужинали где-нибудь в городском саду с Хайгом, Мариэттой и Сораной Цопа, с которой я познакомился недавно. Я видел ее в «Мадемуазель Настасье» Джордже Михаила Замфиреску, и, хотя она явно «пережимала» (мне иногда казалось, что я смотрю какую-то русскую пьесу), мне понравилось. Сорана Цопа любила цитировать отзыв о себе Нае Йонеску: она-де самый ценный подарок, который Молдова преподнесла нам со времен Эминеску. Она и вправду была молдаванкой с головы до пят: хорошего роста, крепкая, круглолицая, может быть, даже чересчур, волосы — цвета спелой пшеницы. И, хотя читала всевозможные умные книги, а недавно с упоением открыла для себя Кришнамурти, тем не менее гордилась, что родилась и выросла в деревне, бегала босиком и играла в пыли с другими крестьянскими детьми. Правда, при всем своем исключительном обаянии она могла и раздражать. Чувство товарищества, благородство в отношениях с коллегами по театру — это, конечно, подкупало, но у нее была мания дискутировать на высокие темы, мания анализировать себя и собеседников, часами напролет. Она не знала усталости, как я вскоре убедился.

Не скажу, что я ею увлекся, но всегда с радостью встречал ее у Мариэтты. Как-то раз она пригласила меня на чашку чая в свою квартирку рядом с Чишмиджиу. Мы проговорили долго, и меня поразили некоторые ее наблюдения, ее интуиция. В другой раз она прочла мне начало одной пьесы по Книге Бытия, которая показалась мне чрезвычайно оригинальной. Я стал заходить к ней все чаще и чаще, по дороге из штаба. Она рассказывала о своей учебе в Ясской Школе драматического искусства, о Ясских ночах. Вот только когда она принималась убеждать меня, что Кришнамурти — главный гений века, я выходил из себя. Она увидела Кришнамурти этим летом в голландском городе Оммене и вернулась в полном восторге. Она не сомневалась, что Кришнамурти один понял, что такое Жизнь — Жизнь с большой буквы, подчеркивала она. А Сорана преклонялась перед чудом Жизни. Она только о том и говорила: о преступлениях, которые мы ежедневно совершаем против самих себя, когда отказываемся жить просто, спонтанно, когда сами себя выхолащиваем с помощью клише, формул и систем. По сути, с ней трудно было не согласиться, но она всегда вещала именем Абсолюта, Жизни, Любви, и от этого претенциозного жаргона спиритуалистов, озвученного с пафосом и мастерством настоящей актрисы, я выходил из себя. Никогда я с такой силой не чувствовал, до чего это великая, нужная, *здоровая* вещь — обывательщина, — как после многочасового разговора с Сораной. Я, конечно, отдавал себе отчет в том, что не прав. Речь шла об актрисе, которая имела несомненный успех на сцене, но сама поставила под угрозу свою карьеру, может быть, бессознательно отходя все дальше от театра, отказываясь от борьбы за главные роли, иногда пропуская целый сезон, вообще не появляясь на сцене или появляясь в ролях, достойных разве дебютантки, — и все из-за того, что жаждала «абсолюта» и считала, что открыла к нему дорогу. Цена, которую Сорана Цопа платила за право говорить о жизни так, как она ее понимала, была столь велика, что хотя бы друзьям не следовало терять терпение, выслушивая ее. Только вернувшись домой, иногда довольно-таки поздно, я корил себя за резкость, за сарказм и клялся назавтра быть снисходительнее и не обрывать ее высокоумные и кришнамуртианские монологи.

Назавтра — потому что теперь, в сентябре, мы встречались уже каждый день. Бывало, что шли поужинать в один из ближайших ресторанов, не прекращая спор. Она прочла «Изабель», и роман пришелся ей не по вкусу. Она читала все, что публиковали у меня «Кувынтул» и «Время», и то нахваливала меня сверх меры, то разбивала в пух и прах. Она была непредсказуема, как непредсказуемы были смены ее настроения: то ее разберет смех после патетической тирады, то ей взгрустнется до слез посреди радостного гимна жизни. Она пыталась

отрешиться от всего — и оставалась агрессивно-женственной, капризной, изломанной. Но все ее причуды уравновешивало обаяние. Перед этим обаянием, вкупе с красотой и талантом, пожалуй, никто бы не устоял, когда бы она не изничтожала его сама, с неистовым упорством стараясь стать не тем, чем была.

* * *

Сейчас мне трудно представить, как это за два месяца почти ежедневных встреч я даже не задумался над тем, к чему идет дело. Однажды Сорана осторожно осведомилась, «есть ли кто-то в моей жизни». Я ограничился ответом, что «кто-то был», но что это история такая бурная и печальная, что у меня нет охоты что-либо подобное повторять. Сколько я мог судить, в ее жизни до сих пор «никого не было». Я получил в некотором роде предупреждение, но не перестал приходить все так же, каждый вечер. Вероятно, я решил, что, раз я не влюблен, то ничем не рискую, — хотя случай с Дженни мог бы навести меня на кое-какие мысли. С другой стороны, я, пусть и не вполне явственно, чувствовал, что меня тянет к ней — может быть, с той же силой, с какой раздражает ее общество. Ноги сами каждый вечер вели меня в ее дом. Часто, после первых же слов, я ругал себя, что пришел, — и при этом знал, что если тут же уйду, то буду жалеть. Иногда я говорил себе: напрасно я сопротивляюсь, ведь я один, а мне вовсе не хочется быть одному; к тому же при любом раскладе через год я снова окажусь в Индии и буду с улыбкой вспоминать свою теперешнюю маету и сомнения. Из той дали, куда мне нравилось себя помещать, все, что бы ни случилось, не могло иметь особого значения.

Так я и посчитал сначала, что особого значения это иметь не должно. Когда раз октябрьским утром я спустился по ступеням ее дома, я сказал себе, всего лишь, что вот, теперь и у меня, как у всякого молодого человека моего возраста, есть «связь». Я по-прежнему шел к ней прямо из штаба. Потом мне дали еще один отпуск, и мы смогли встречаться пораньше. Утром я работал, запершись в мансарде. По вечерам мы, всей компанией, собирались у кого-нибудь дома: шла подготовка первых симпозиумов общества «Критерион».

На открытие мы поставили Фрейда. Среди докладчиков я помню только Мирчу Вулкэнеску и Паула Стериана, но вообще нас было пятеро-шестеро, включая и одного психоаналитика. Войдя, мы не поверили своим глазам: амфитеатр Королевского Фонда был переполнен. Билеты в партер распродали заранее, и публика теснилась на балконах и на галерке, рассевшись где попало, на ступеньках, на балюстрадах. Потом, сметая все на пути, хлынула вниз: кто расположился вдоль стен, кто примостился прямо на сцене. Мы бы, наверное,

не смогли начать, если бы Петру Комарнеску не объявил в зале и в фойе, что симпозиум будет повторен через несколько дней. После этого, при помощи дежурной части пожарных, мы заперли входные двери и даже вывесили на них афишку с объявлением о повторе. Но одному из нас пришлось пожертвовать собой и остаться снаружи, у дверей, давая объяснения и битых два часа успокаивая толпы неудачливых слушателей.

Я вызвался говорить о Фрейде, поскольку мне казалось, что я разглядел в его теории последнюю фазу десакрализации ветхозаветного монотеизма и профетизма. Уверенность Фрейда в том, что он нашел универсальный ключ к объяснению психоментальной жизни и человеческого творчества, магический ключ к любой тайнописи — от сновидений и *actes manqués* до происхождения религии, морали и цивилизации, — эта уверенность, говорил я, выдает монотеистический запал иудейского духа. Точно так же страсть, с какой Фрейд выдвигал, внедрял психоанализ и защищал его от любой «ереси», напоминает нетерпимость и неистовство пророков Ветхого Завета. В определенном смысле Фрейд считал, что предназначение его открытий — преобразить, «спасти» человечество. Психоанализ удовлетворял жажде абсолюта, характерной для иудаистского гения, вере в *единственный*, царственный путь Духа, и отражал типичное для ветхозаветных евреев неприятие плюрализма, политеизма и идолопоклонничества.

Не знаю, насколько выпукло и ясно выразил я свои мысли. Как и всех, меня наградили бурной овацией. Позже я узнал, что Эмиль Чоран остался под таким впечатлением, что пришел послушать симпозиум, когда мы его продублировали. (В Бухаресте мы выступали с ним три раза, а потом не помню сколько раз в провинции. Но поскольку у меня не было ни написанного текста, ни стимула для импровизации, я чувствовал, что *повторяюсь*, и, боюсь, каждый раз говорил все слабее.)

С таким же успехом, как первый, прошли, по два раза в неделю, остальные симпозиумы. За полчаса до начала зал Королевского Фонда заполнялся до отказа. Докладчикам приходилось буквально прокладывать себе путь через толпу, запрудившую тротуар, и с невероятными усилиями, при помощи полиции, протискиваться в битком набитое фойе. Префектура полиции выставляла дюжину постовых и сколько-то комиссаров, чтобы обеспечивать движение транспорта у здания Фонда и не допускать давки при входе. Такой неслыханный успех насторожил министерство внутренних дел, привел в волнение сонм газетчиков и писателей, вызвал всплеск зависти и ревности. И, конечно, наш риск возрастал, когда мы ставили на обсуждение противоречивые фигуры. Не обошелся без инцидента, как мы и опасались, симпозиум, посвященный Андре Жиду. Писатель недавно посе-

тил советскую Россию и был сочтен коммунистом. Примерно сотня студентов, приверженцев Кузы[81], попыталась проникнуть в зал. Сдерживаемые постовыми, они начали петь и кричать. Симпозиум начался, но зал был наэлектризован. Представители от нас вышли переговорить с вожаками манифестантов. Переговоры длились больше часа. Студенты утверждали, что пришли не с тем, чтобы учинить скандал, а просто чтобы послушать и убедиться, что тут не устраивают апологию коммунисту. В конце концов, мы их впустили. Симпозиум уже подходил к концу, но в тот вечер он кончился не совсем так, как мы предполагали. Втиснувшись в переполненный зал, студенты подняли ор, и председательствующий закрыл собрание несколькими ионическими, едкими фразами, потонувшими в общем гуле.

Инцидент менее серьезный и завершившийся в нашу пользу произошел на симпозиуме о Чарли Чаплине. Среди выступавших был Михаил Себастьян. Когда настала его очередь, кто-то с галерки крикнул: «Еврей про еврея!» Михаил Себастьян стоял, держа в руках листки с тезисами доклада. Он сделался очень бледен. Разорвал листки, шагнул вперед и заговорил гневно, глухим от волнения голосом:

— Я намеревался говорить об искусстве Шарло, об одной из его сторон. Но кто-то из вас напомнил мне о евреях. И я буду говорить, как еврей, о еврее Шарло...»

В зале грянули аплодисменты. Михаил Себастьян поднял руку, сказал: «Благодарю вас», — и началась импровизация, одна из самых проникновенных и блистательных, что мне было дано услышать в жизни. Он представил такого Шарло, какого только выходец из Восточной Европы мог разгадать и понять. Он говорил об одиночестве человека в фильмах Шарло, как об отражении духа гетто. Он говорил минут двадцать, а когда кончил, ему рукоплескали неистово, половина зала — стоя. Мы выиграли бой и знали это. В комнате, сообщающейся с ложей докладчиков, мы ликовали. Нина Мареш кружилась и обнимала нас всех подряд.

На симпозиум о Ленине мы пригласили, кроме Белу Зильбера, еще и Лукрециу Пэтрэшкану. Мы хотели, чтобы у нас была парочка марксистов — наряду с Мирчей Вулканеску и Михаилом Полихрониаде, которые собирались критиковать комммунизм с позиций демократии и национализма, соответственно. С Белу Зильбером я познакомился еще в редакции «Кувынтул». Он подружился с Г. Раковяну с тех пор, как тот, года два тому назад, когда Белу Зильбера судили по обвинению в шпионаже, написал статью в его защиту. Белу Зильбер был тронут до глубины души, и, как только его оправдали, пришел поблагодарить. С тех пор он часто заходил в редакцию. Более всего дружил с Мирчей Вулканеску, Йоном Кэлугэру, Паулем Стерианом. С виду тщедушный, он говорил блестяще, был довольно образован и,

хотя без конца повторял, что он марксист, не производил впечатления ни догматика, ни человека нетерпимого. Мной он восторгался за то, главным образом, что я в своих статьях об Индии критиковал колониализм и *British Raj*.

Лукрецию Пэтрэшкану я увидел впервые, кажется, в тот самый вечер. Мне понравилось сочетание кротости и суровости на его лице. Он говорил без *éclat*, но искренне и взвешенно, и его не трогали выкрики студентов из зала. Он пережидал, пока они улягутся, и продолжал излагать свои мысли, спокойно, сосредоточенно. Михаила Полихрониаде студенты, напротив, прерывали аплодисментами, как только он заводил речь о необходимости национальной революции. А когда он процитировал высказывание Ленина — что буржуазное государство есть труп, который будет опрокинут одним ударом, — ему хлопали как студенты-националисты, так и группы сочувствующих коммунистам, которых привело в Фонд участие Лукрецию Пэтрэшкану.

После этого симпозиума распространился слух, особенно в кругах сигуранцы, что группа «Критерион» — скрытокоммунистического толка. Правда состояла в том, что единственным коммунистом среди нас был Белу Зильбер. Но тот факт, что мы осмелились пригласить, да еще в Королевский Фонд, самого секретаря коммунистической партии Лукрецию Пэтрэшкану, истолковали неверно. Мы просто пытались быть объективными: *audiatur et altera pars*[82]. В большой культуре, считали мы, могут быть представлены все течения мысли. Мы чувствовали в себе достаточно силы, чтобы не бояться идеологий и систем, идущих вразрез с нашими убеждениями. Чувствовали и то, что не преодолеем провинциальность, если не избавимся от комплекса неполноценности и не откажемся от инфантильных механизмов защиты, присущих обычно малым культурам. Раз поверив в творческие возможности румынского духа — как верило большинство из нас, хотя и по разным мотивам, — мы уже не страшились «пагубных влияний» или «подрывных идей». Кроме того, мы чувствовали себя взрослыми; мы не стали бы терпеть, если бы нас одернули: «Не играйте с огнем!» Потому что мы знали: то, что мы делаем, — не игра.

«Дух Критериона» (это определение появилось позже) выступал все яснее и отчетливее по мере исполнения нами программы. Но уже с первых симпозиумов публика учуяла, какое это значительное и масштабное явление культуры, — и осталась верной нам до конца. Даже когда обсуждались не столь сенсационные темы, как Ленин, Фрейд или Андре Жид, залы были полными. Михаил Себастьян блестяще расправился с Чезарем Петреску и был крайне суров с Йонелем Теодоряну, самыми популярными романистами того времени, а все свои похвалы расточил Гортензии Пападат-Бенджеску, Камилу Петреску,

Матею Караджале. Мирча Вулканеску в ответ показал, в каком смысле романы Чезара Петреску вписываются в традицию румынской литературы и потому знаменательны, даже если в художественном плане ценности не представляют. Что приводило публику в восторг, так это перепалки между членами «Критериона». Очень редко, и то лишь в деликатных вопросах — например, о Ленине или о Муссолини, — докладчики встречались заранее и основательно готовили симпозиум. Обычно же каждый просто заявлял, какие свои соображения он будет развивать. И только если обнаруживалось, что двое или более из нас собираются защищать одну и ту же точку зрения, их просили изменить план. Так или иначе, спонтанность диалога была почти всегда обеспечена. Иногда от этого возникали забавные сцены. Так, например, слушая, как мы сравниваем Америку с Западной Европой и Востоком, Петру Комарнеску, который в некотором смысле отождествлял себя с американцами и американской культурой, проявил выдержку, когда я критиковал Америку от имени восточной духовности, но сорвался, когда Михаил Себастьян стал подтрунивать над *homo americanus* во французском духе, и многократно пытался его перебить. А будучи призван к порядку председателем, не перестал охать, фыркать и вертеться на стуле всякий раз, как ему казалось, что Михаил Себастьян слишком много себе позволяет.

* * *

Для членов «Критериона» симпозиумы не кончались в зале Фонда. Мы шли в кофейню «Корсо», где занимали целый угол на втором этаже, и продолжали дебаты за полночь. Обычно Дан Ботта, который сам очень редко выступал на симпозиумах, излагал — сжато, но непререкаемо, — свои впечатления, никогда не забывая напомнить об ответственности, которую мы несем перед публикой. По его мнению, это означало, в первую очередь, подтягивать публику — не до нас, но выше, до наших идеалов. Дан Ботта считал, что «Критерион» может произвести в головах самых умных из слушателей платоновский анамнесис. Присутствуя на наших симпозиумах, где высказывалось и разбиралось столько точек зрения, публика-де, в сущности, участвовала в новом типе сократовского диалога. Цель, которую мы преследовали, должна состоять не столько в информировании, сколько в «пробуждении» аудитории, в посылке ей идей и, в конечном счете, в изменении образа ее бытия в этом мире.

Естественно, следовали долгие, воодушевленные споры. Не потому, что другие не разделяли идеи Дана Ботты о роли «Критериона», а потому, что не всегда были согласны с теми средствами, которые он рекомендовал. Дан Ботта настаивал на том, что хотя бы один из

докладчиков должен отказываться от уступок «рядовой публике» и пускать в ход специальный язык метафизики, науки или поэзии. Примерно так все и происходило. Но кое-кто из нас считал, что сам факт обсуждения сложных проблем — уже изрядная смелость, и не стоит усложнять дело, прибегая еще и к специальному языку. Хотя мы все, конечно, соглашались, что каждый из выступающих свободен использовать тот стиль, какой считает нужным.

Сорана Цопа всегда была с нами. Когда я провожал ее, она еще раз давала оценку симпозиуму и в первую очередь мне — если мне случалось выступать в тот вечер. Ее наблюдения, как обычно, бывали то справедливыми и вескими, то совершенно к делу не относящимися или агрессивно-претенциозными. В начале декабря у меня кончился срок армейской службы, и я получил бумаги о демобилизации. Теперь мы могли проводить вместе много времени, что давалось мне порой нелегко. В обществе Сораны не полагалось расслабляться. Рядом с ней надлежало быть неизменно умным, глубоким, оригинальным, а пуще всего — «спонтанным». Любовь для нее означала ежеминутный накал страсти, «белое каление», как она это называла. И всякая пауза, всякая банальность, проскользнувшая от усталости или по рассеянности, расценивались как мои промахи, с которыми следовало тут же тщательно разобраться, чтобы поправить дело.

Часто я с облегчением вздыхал, очутившись в одиночестве у себя в мансарде. Мне все больше не хватало этого одиночества. Диссертация была почти закончена, и я относил Нине Мареш на перепечатку главу за главой. Но вдобавок к переводу и внесению изменений в диссертацию, вдобавок к статьям, выступлениям на радио и участию в симпозиумах, меня начал одолевать новый замысел. Я прочел в газетах объявление о литературной премии, которую учредило издательство «Культура Нацьоналэ», о премии за неизданный роман. Среди членов жюри фигурировали Перпессичиус, Шербан Чокулеску, Дж. Кэлинеску[83]. На меня подействовали эти имена. Я подумал, что, по крайней мере, мне дадут оценку настоящие литературные критики. Вначале я хотел вернуться к роману «Петр и Павел», начатому еще в Калькутте, но, перечитав некоторые отрывки, почувствовал разочарование. И я решил написать «Майтрейи». С одной стороны, я чувствовал, что должен вновь пережить и окончательно исчерпать эту драму, радикально изменившую мою жизнь, заставившую отказаться ото всех планов, которые я строил вокруг своего пребывания в Индии. С другой стороны, я предполагал, что смогу уложиться к 15 марту, дате, установленной для подачи рукописей, в то время как на «Петра и Павла» мне понадобилось бы по меньшей мере шесть месяцев работы. Поскольку рукописи представлялись анонимно, я никому не сказал о своем замысле.

И вот настал декабрьский вечер, когда я уселся за стол и с волнением вскрыл конверт, куда сложил осенью тридцатого свои реликвии: записочки, которые присылала мне Майрейи, когда мы уже не могли видеться, письма Дасгупты, старую фотографию, засушенные цветки, прядь волос. Потом я принялся перечитывать индийский дневник, даже те его страницы, которые перечитывать до тех пор не осмеливался. В тот вечер я не отдавал себе отчета, что, решившись написать «Майтрейи», я отбираю у себя последний шанс вернуться в Индию.

Глава 12
«Человек без судьбы...»

Для того чтобы отвоевать себе право на уединение в мансарде, мне пришлось объявить Соране, что я пишу роман. Как я и ожидал, сюжет не вызвал у нее энтузиазма. Про события в Бхованипоре я рассказал ей давно. Она выслушала с сочувствием и серьезно, но, как после призналась, мои юношеские похождения в расчет не приняла — ведь это не было подлинной, «добела раскаленной» страстью, сравнимой, как она давала мне понять, с тем, что происходило между нами. К тому же она не могла позволить себе ретроспективную ревность, поскольку, признавшись, что ее сотрясали в прошлом великие страсти, заявила, что наша жизнь началась сначала в тот миг, когда мы встретились. Мы вместе проживали новую жизнь, и даже наше общее прошлое не многого стоило. Цену и смысл имело лишь «настоящее» — а вернее, настоящее по Кришнамурти, как она его понимала. Все же она пожалела, что я не хочу представить на премию, в исправленном и переделанном виде, «Роман о подростке в очках» и «Гаудеамус», которые только что прочитала и сочла «исключительными», гораздо более интересными, чем, например, «Изабель»...

Я писал больше по ночам, когда знал, что никто не явится и не постучит в дверь мансарды. Первые главы написались быстро, почти без труда. А потом я как-то незаметно снова оказался в том сказочном бхованипорском времени и вдруг понял, что пишу уже не роман, как предполагал, но исповедь. Часто я вставлял туда целые страницы из дневника, и, будь мой дневник лета 1930 года поподробнее, я, ей-богу, переписал бы его целиком. Ни на минуту я не задумался, что собираюсь совершить нечто неделикатное. Перед лицом белой бумаги, запечатлевая людей и события, которые сыграли решающую роль в моей юности, выше моих сил было что-то придумывать. Я, правда, изменил имена действующих лиц, за исключением Майтрейи и ее сестры Чабу, но оставил точные даты, адреса, номера телефонов. Еще я дал другие профессии Дасгупте и рассказчику и радикально переломил финал, как будто хотел окончательно расстаться с Майтрейи (толкнув ее в объятия первого попавшегося зеленщика, поставив на грань самоубийства). И, конечно, окутал этот далекий мир золотис-

той дымкой, дымкой воспоминания и грусти. Разумеется, если бы мой роман прочли соответствующие персонажи в Калькутте, им не понадобился бы ключ к шифру. Но я не думал, что он дойдет до Калькутты. По правде говоря, я не думал и о том, что его прочтут какие-то неизвестные мне читатели даже здесь, в Бухаресте. Я не выстраивал «образ публики». Самое большее, прикидывал, что подумают друзья, если роману повезет, его удостоят премии и напечатают. Не могу даже сказать, что я старался для себя или для Майтрейи. Я как бы отстранился и посылал свидетельство *in aeternum*.

Тогда, в канун Рождества, я особенно не ломал себе голову надо всем этим. Для меня еще длилась эйфория всякого начинания. С промежутком в полтора года я писал новый роман: на сей раз автобиографический. Я опять мог быть один день и ночь, потому что Сорана уехала на пару недель в Молдову, к своим, провести с ними праздники. Я тоже провел Рождество с семьей, но по мере возможности встречался с друзьями. Мы договорились собраться на Новый год у Мии Стериаде, точнее, в тех залах, которые занимал отец Мии, художник Стериаде, в музее Калиндеру. Мы — это почти все друзья и соратники по «Критериону» и несколько приглашенных. Каждый внес определенную сумму, кто-то взял на себя труд украсить залы, кто-то — купить вина и устроить буфет. Пригласили и пианиста, так что желающие (во главе с Мирчей Вулкэнеску и Мишу Полихрониаде) могли танцевать до утра. Новый год удался как никогда.

Только вот со мной что-то творилось — я просто не знал, что и думать. Тщетно пытался я разобраться в себе. Несколькими днями раньше нечаянно случилось такое, о чем я за полчаса до случившегося и помыслить не мог. На третий день рождественских праздников мы оказались у Флории и Мака большой компанией, в которой была и Нина Мареш. Не знаю, почему, я посмотрел на ее руки, и они показались мне невероятно маленькими. Я взял их в свои. Пальцы были такие маленькие и нежные, как у ребенка. Я никак не мог их отпустить. Нина улыбалась в замешательстве, кое-кто из друзей бросал на нас любопытные взгляды. Нина, как и эти кое-кто, знала про Сорану. Нередко в редакции «Кувынтул» или в комнатушке Нины, куда мы с Михаилом Себастьяном поднимались на чашечку кофе, я признавался им, как трудно мне бывает с Сораной, а они меня посмеиваясь утешали. Мы трое очень подружились, виделись, когда только могли, часто обедали вместе. Было бы преступлением против нашей дружбы смотреть на Нину «мужскими глазами». Я знал, как дорог Нине Михай, а он знал, как дорог ей я.

Но в тот вечер я не понимал, что со мной творится. Не понял и после того, как проводил ее до дому и поцеловал. Возвратясь в мансарду, я сел было за роман, но только протомился почти всю ночь. Потом

два дня не выходил из дому и писал. Я сказал себе, что не должен больше ее видеть — и мы тут же увиделись. Поужинали вместе, сходили в кино, и в ту ночь я остался у нее.

Однако на новогоднем празднике я постарался вести себя, как раньше, как ее добрый друг.

* * *

Я давно знал жизнь Нины Мареш. Совсем молодой она вышла замуж за офицера, Йонеску, который сейчас в чине полковника командовал гарнизоном где-то в Бессарабии. Лет пять-шесть тому назад, когда они жили в Брашове, Нина влюбилась в одного лейтенанта — красавца и, как мне показалось при встрече, человека с воспитанием и умом. Скандал оказался громкий: муж ни за что не желал расстаться с Ниной, и тогда она ушла из дома. Отец лейтенанта, генерал с известным именем, предпринял попытку спасти сына, откомандировав его в Париж. Вероятно, он считал, что женитьба, предваренная таким скандалом, испортит ему карьеру. Молодой человек подчинился, но объявил родным и начальству, что женится сразу по возвращении (Йонеску тем временем дал согласие на развод). Может быть, так все бы и произошло, но в последний момент помешал трагикомический случай. За день до отъезда из Парижа товарищи лейтенанта давали ему прощальный ужин. Было приглашено несколько соотечественниц, среди которых одна свежеприбывшая девица. Не знаю, был ли это заговор, устроенный генералом, но девице с помощью товарищей лейтенанта удалось его напоить, а на другой день, в номере отеля, прямо в постели, сочетаться с ним, еще не протрезвевшим, гражданским браком в присутствии консула и необходимых свидетелей.

Когда в брашовских газетах появилось объявление о его женитьбе, для Нины это был такой удар, что ее пришлось поместить в больницу. Напрасно лейтенант засыпал ее телеграммами, объясняя, что стал жертвой злой шутки и что уже подал прошение о разводе. Напрасно пытался увидеться с ней, примчавшись один, без жены, из Парижа. Нина долго отказывалась его видеть. И долго доктора сомневались, что она все переживет, не повредившись в рассудке. Ее продержали в клинике месяца три-четыре. Когда лейтенанту удалось получить развод, она согласилась его принять. Она сказала ему, что любви больше нет, все перегорело, и что он может считать себя совершенно свободным. Молодой человек, конечно, не поверил. Он являлся к ней каждый день — сначала в клинику, а потом в немецкий пансион, куда она переехала. Уверял, что будет ее ждать, что не оставит в покое, что и помыслить не может, что в один прекрасный день не будет прощен, и что он решил ждать этого дня, если понадобится,

пять, десять, пятнадцать лет. Она отвечала, что простила его, но что больше не любит, не может любить, как бы себя к тому ни принуждала. Он все равно приходил, с охапками цветов, с подарками. В разговоре Нина делилась с ним планами: поскольку все свое имущество ей пришлось отдать мужу как плату за развод, она должна была подумать о ремесле, чтобы зарабатывать на жизнь. И она решила поехать в Бухарест, окончить курсы секретарш. А пока она будет искать работу, поживет у своего дяди, генерала Негряну. Так она и поступила.

Через год молодого человека, уже в чине капитана, перевели в Бухарест. Он не поверил глазам, когда увидел, что Нина живет в каморке под крышей и работает по восемь часов в день. Он снова заговорил об их любви. Нина, не дослушав, кивнула. «Да, любовь была настоящая. Я ни о чем не жалею...» Тогда капитан изменил тактику. Он загулял и по вечерам приходил пьяный, поджидал ее у входных дверей и заклинал сжалиться над ним, не губить его молодость, его карьеру. Нина по-доброму пыталась его выпроводить. Напрасно. «Я пойду к лореткам!» — грозился он, когда она направлялась к лифту. «Лиха беда начало», — отвечала она. (При одной такой сцене я случайно присутствовал, когда под вечер возвращался из «Кувынтул». Нина показалась мне бледней, чем всегда, но улыбалась с обычным для нее самообладанием. У капитана были слезы на глазах.) Однажды поздно ночью он поднялся на последний этаж и колотил в ее дверь до тех пор, пока не вышли разъяренные соседи и не вынудили его убраться. Изредка, встретив его трезвым, Нина пыталась поговорить с ним серьезно, советовала найти себе достойную жену. Ответ всегда был один и тот же: он ждет ее (он и в самом деле прождал лет пять-шесть и женился не раньше, чем Нина вышла замуж).

Рассказав мне все в ту осень, Нина прибавила: «Мне очень жаль, что так получилось. Мне бы хотелось опять полюбить его — хоть сколько-нибудь, но полюбить, потому что простила я его давно. Только я уже не смогу, наверное, полюбить — никогда и никого. С мужчинами мне придется довольствоваться дружбой». (На этом основании мы, Себастьян, Г. Раковяну и я, считали, что друг из Нины — идеальный.)

* * *

Шли дни за днями, а я все не мог понять самого себя. Иногда мне казалось, что произошедшее важнее для Нининой жизни, чем для моей, что это судьба распорядилась вывести ее таким образом из одиночества. Нина проявляла редкую выдержку: никогда не говорила о любви и не спрашивала, что я намерен делать. Но вернулся из Браилы Михаил Себастьян — и нам пришлось ему открыться. Себастьян заявил, что

простит нас только после того, как убедится, что наша дружба втроем осталась прежней. (Последующие месяцы вполне его убедили.)

Надо ли признаваться Соране в том, что произошло в ее отсутствие, я не знал. Это была не только неизбежная трусость «неопытного» молодого человека, который не умеет толком ни заводить «связь», ни кончать с ней. Чем дальше, тем все больше, вопреки своим же ожиданиям, я запутывался. Я, например, обнаружил, что не хотел бы потерять Сорану, что она мне нужна, что, в сущности, я к ней привязался, как бы ни утомляло меня подчас ее общество. Еще я думал, что Нина, раз она никогда не заговаривала о любви, может порвать со мной в любую минуту, и я не считал себя вправе этому воспротивиться.

К тому же я не оставил надежды вернуться в Индию сразу после защиты. Эта надежда давала мне силы переносить мое положение, которое усложнялось с каждым днем. И одна, и другая знали, что я должен окончить роман к 15 марта, поэтому я был волен сам назначать обеим время свиданий. Поскольку Нина работала в конторе до вечера, я встречался с Сораной в послеобеденные часы. У меня всегда наготове была отговорка, когда она предлагала поужинать вместе или остаться у нее на ночь: я должен вернуться домой, к работе. Я и в самом деле, с трудом расставшись с одной и другой, далеко за полночь сидел за рабочим столом. По ночам я хоть как-то, пусть не в полной мере, приходил в себя. Мне бы осознать, излагая гипотетическому читателю события 1930 года, что я снова дал себя впутать, почти против своей воли, в авантюру, грозившую мне гибелью (для меня тогдашнего «гибель» означала в первую очередь невозможность вернуться в Индию). Но *такой* опасности я не осознавал. Я только допытывался у себя, воскрешая страсть, пережитую в Бхованипоре, не было ли все, пережитое потом, особенно после Рождества, только ложью, усугубленной кощунством. И, к своему удивлению, вынужден был признать, что нет. Что это все что угодно, только не ложь. Противу всяких ожиданий эти две женщины *существовали* вправду и всерьез. Если бы мне тогда чудом представилась возможность уехать в Индию, я бы уехал, не сомневаюсь, но мне было бы по-настоящему больно их потерять.

Мучительные думы приходили на рассвете, когда я пытался заснуть, проработав пять-шесть часов кряду. Утром я просыпался разбитый и не сразу мог сообразить, где я, какой сейчас год, что вообще со мной происходит. Иногда я чувствовал: это испытание, и мне снова надо ждать от судьбы чего-то, что еще раз изменит траекторию моей жизни. Тогда на долю секунды передо мной проступали *знаки*, как прожектора, которые вдруг вспыхнут в темноте и тут же погаснут, слишком быстро, не успеешь сообразить, к чему. Я вставал с постели, понимая, что мне были *знаки* — только как их расшифровать?

Я всячески оттягивал развязку, выбор, неизбежность которого внутренне принимал. В феврале я представил в деканат филологического факультета три экземпляра диссертации. Председателем ученого совета был Дим. Густи, оппонентами — П.П. Негулеску и Рэдулеску-Мотру. Я ждал, когда назначат дату защиты. Но не предпринимал никаких подготовительных мер для своего «вхождения в университет», чего так настойчиво желал мне Нае Йонеску. Правда, за последние годы я опубликовал три большие работы в «Ревиста де философие», еще три — в «*Ricerche Religiose*», журнале Э. Буонаюти, а в Бюллетене научного общества города Клужа у меня вышли «Ботанические познания в Древней Индии». Сама моя диссертация тоже была подготовлена к печати — на случай, если бы я решил опубликовать ее по-румынски. Но с момента моего возвращения из Индии я ввязался в деятельность лихорадочную и по очень многим направлениям: статьи в «Кувынтул» и во «Времени», лекции на радио, «Критерион», выступления в провинции, — и эта гонка смущала кое-кого из моих профессоров. Вероятно, они задавали себе вопрос, не слишком ли я разбрасываюсь. Узнав, что я заканчиваю второй роман, Нае Йонеску улыбнулся. «Придется тебе объяснять Рэдулеску-Мотру, что тебе опять нужны были деньги». Я попытался возразить: настоящий-де университет, *подлинный* университет нашего времени не замыкается стенами аудиторий. Газета, эстрада, радио — все это сегодня тоже входит в *studium generale*. И добавил: «Впрочем, это в традициях румынского Университета. Хашдеу писал стихи, романы, пьесы, а каким был плодовитым журналистом — и самым крупным после Эминеску! Что говорить, вспомним деятельность Йорги! Да и сам Рэдулеску-Мотру в юности писал пьесы для театра и статьи о политике. Василе Пырван был превосходным эссеистом. Что же до вас, господин профессор...»

Нае Йонеску мягко прервал меня: «Я именно об этом и хотел тебе сказать. Посмотри на меня: минуло десять лет, а я остался тем же, чем был вначале, — несчастным доцентом. И не потому, что я не умен. Известны случаи, когда умные люди поступали в университет и с годами выходили в штатные профессора. Но у меня есть изъян: я газетчик. Несерьезный, можно сказать, человек». «Но есть порядочно университетских профессоров, которые печатают статьи в газетах», — возразил я. «Да, только их никто не читает,— кивнул Нае Йонеску. — Так что они всегда могут сослаться на то, что пишут для потомства, что обращаются к человечеству вообще, через века. А я пишу в расчете на 24 часа. Ведь что, в сущности, значит быть газетчиком: толковать и судить мир, каков он есть *сейчас* и *здесь*, у нас. Если то, что ты пишешь сейчас, не обесценится завтра или через десять лет, во Франции ли, в Индии, тем лучше. Так, на самом деле, и бывает у некоторых первоклассных газетчиков. Но не о том на-

до думать, когда пишешь статью, — что скажут о ней читатели через десять лет. Если тебя так беспокоит мнение будущих поколений, лучше напиши научный труд, книгу...»

Я, конечно, давно знал мысли профессора о журналистском деле, но мне доставляло удовольствие слушать, как он говорит о том, что он называл расшифровкой события в ходе его развертывания. «Однако вернемся к тому, с чего мы начали, — продолжал он. — Мне и в голову не приходило осаживать тебя: пиши то, не пиши этого, печатай побольше научного и философского и поменьше беллетристики. Но, допустим, я бы тебя осаживал, считая это своим долгом, — ты ведь меня все равно бы не послушал. Потому что если бы ты меня послушал, ты был бы не ты, Мирча Элиаде, а один из наших отличников, вроде Посеску. А будь ты Посеску, ты бы меня не интересовал, и я, хоть и давал бы тебе по-прежнему разные полезные советы, но не читал бы то, что ты пишешь... Так что пиши и печатай то, что считаешь нужным писать и печатать. Соловей должен петь, остальное неважно. Тем не менее, хотелось бы все же предостеречь тебя: если ты предпочтешь остаться тем, что ты есть, тебе будут вставлять палки в колеса, особенно в университете. Как говорил один мой приятель, *и будут тебе наградой преграды, а венцом — препоны*. И то сказать: что бы мы делали без препон, без преград?..»

* * *

Я кончил роман, помнится, всего за несколько дней до 15 марта. Но рукопись была уже, в основном, отпечатана секретаршей одного моего лицейского однокашника, так что я успел представить необходимое количество экземпляров вовремя. Больше ничего не оставалось, как ждать. Энтузиазм юной машинистки придал мне уверенности. Она сказала, что в жизни не читала ничего такого душераздирающего: «Красиво до слез... Вообще-то я плакала».

Я снова стал свободным. Но скоро понял, что эта, столь желанная, свобода еще больше осложнила мою жизнь. Когда миновало 15 марта, в один из вечеров Нина призналась мне, что любит. «Я не хотела тебе ничего говорить, потому что ты писал. Да я и сама долго не знала. Поверить не могла. Но сейчас я уверена. Вряд ли я смогу делить тебя с другой, — добавила она. — До сих пор это было тяжело, я терпела ради тебя и ради Сораны. Но впредь больше не смогу. Ты должен ей сказать...»

Вероятно, Сорана что-то подозревала — в ту зиму она несколько раз заводила разговор о Нине. Я неизменно отвечал, что нас связывает дружба. Иногда меня так и подмывало порвать с Сораной. Среди прочих талантов у нее был талант изводить и оскорблять меня с самым не-

винным видом, дар устраивать невыносимые сцены. Например, спросив, почему я сказал ей, что молодой писатель имярек одного со мной роста, тогда как он явно выше, и это видно с первого взгляда, она, таинственно улыбаясь, замечала, что я тоже смогу в этом убедиться, поскольку он зван к чаю и будет с минуты на минуту. И когда я немедленно собирался уходить — прежде чем меня столкнут, а того гляди и смерят по росту, спина к спине, с моим коллегой, — Сорана бледнела, бросалась мне на шею и заклинала остаться, уверяя, что любит, как не любила никого в своей жизни, и что как я мог подумать — какой вздор, — будто меня можно с кем-то сравнивать, меня, уникального и гениального, — а моего коллегу она позвала только потому, что прочла одну его довольно-таки любопытную статью. Я отвечал, что тоже прочел эту статью и не нашел в ней ничего любопытного, и Сорана снова менялась в лице. Вот уж не думала, говорила она, пронзая меня взглядом, что я такой эгоцентрик, что я не выношу, когда кто-то, кроме меня, тоже имеет талант, ум, гений, образованность. Я защищался, напоминая ей обо всех своих друзьях и приятелях по «Критериону», чей гений, ум или талант я признаю во всеуслышание. «Это разные вещи, — отрезала она. — Друзья есть друзья. Восхищение ими, которое ты выражаешь, — тоже признак эгоцентризма...» Я брался за дверную ручку, но тут звенел звонок. Входил молодой писатель, неприятно удивленный, что застал здесь меня. И, конечно, Сорана ставила нас спиной к спине и торжествовала: он и вправду оказывался выше.

Не раз после подобных сцен я уходил домой в решимости прекратить отношения. Я писал ей письмо. Стараясь удержаться от резких фраз, я объяснял, почему мы больше не можем быть вместе: мы не созданы друг для друга, мы только невольно друг друга мучаем, не принося один другому счастья. В ответ она умоляла меня прийти или даже приходила сама и робко стучалась в дверь мансарды. Говорила, что не спала сутки или двое — и я ей верил. Она выглядела постаревшей лет на десять. Опять начинались заверения, что я свободен, что «на свете еще не было мужчины свободнее меня», что она никоим образом не станет меня удерживать и — как все ни обернется — навсегда останется мне признательной «за то, что я есть».

Я не мог устоять. Это была не только слабость, трусость, боязнь экстравагантных жестов и душераздирающих сцен. Я на самом деле чувствовал, что растроган и в то же время унижен собственной рассудочностью, скудостью воображения. Сорана переживала свою любовь на высотах, для меня недоступных. Я видел следы бессонницы и слез на ее лице, и мне делалось стыдно за самого себя. Если бы я сказал ей, что больше не люблю ее, что люблю другую, — Сорана, вероятнее всего, мгновенно исчезла бы из моей жизни. Но этого я ей сказать не мог, потому что именно в такие минуты на грани разрыва

чувствовал, до чего сильно я ее люблю. В одном я был уверен: мы никогда не будем счастливы вместе, не перестанем бессмысленно мучить друг друга, пока один из нас не рухнет, — тогда другой подхватит его на руки, изойдет жалостью, просьбами о прощении и, посреди слез и всхлипов, от избытка любви удушит окончательно. Я попытался все это ей обрисовать, что дало результат, обратный ожидаемому, поскольку такая развязка как раз отвечала ее представлениям о любви. И спустя всего несколько минут после провозглашения меня «самым свободным в мире мужчиной» она объясняла мне, почему накал нашей страсти подразумевает пытки и не исключает смерть, в каком бы виде та ни предстала: физическом, духовном или социальном. Без зримого или, на худой конец, призрачного присутствия смерти — что за любовь? Разумеется, я с ней соглашался.

Я мог бы сказать ей, что, хотя не перестал любить ее, но теперь люблю другую. Не знаю, что бы она ответила. Должно быть: что мне только кажется, будто я люблю другую, что я — жертва иллюзии, временного затмения; ведь кто любит ее, полюбить другую просто не может. Скажи она так, не исключено, это бы меня убедило. Глядя на ее бледное лицо с горящими и отчаянными глазами, постаревшее на десять, на двадцать лет, и зная, что передо мной молодая, красивая и многими желанная женщина, великая актриса, которая пожертвует не только карьерой, но и молодостью, здоровьем, спокойствием, пожертвует всем, чего от нее потребуют, лишь бы ей позволили любить так, как ей грезилось, «до белого каления», — я не отваживался усомниться, что люблю ее, что она единственная заслуживает любви.

* * *

За несколько дней до обнародования результатов я уже подозревал, что получу премию. Ко мне зашел, не скрывая своих восторгов, Шербан Чокулеску. Потому что в моем случае анонимность была условной. Кто, кроме меня, мог описать с такой патетической «достоверностью» и саму Майтрейи, и жизнь в Калькутте и Гималаях? И члены жюри это знали. Прочтя в газете, что мне присудили премию, я немедленно отправился в издательство «Культура националэ». Директор, Александру Росетти, поздравил меня и вручил мне чек на 20 000 лей. Я не знал, на каком я свете. Среди прочего, я мог теперь раскошелиться даже на два костюма.

«Майтрейи» вышла в свет в самом начале мая под превосходной обложкой: головка индийской девушки в стиле аджантских фресок. Первые читатели приняли роман восторженно. Михаил Себастьян написал для «Кувынтул» рецензию «взахлеб». Те немногие из моих друзей, кто был посвящен в эту историю, сначала впадали в некоторое

смущение от моей нескромности, но в конце концов перевешивала литературная сторона исповеди. Впрочем, в то время как раз входила в моду литература-документ, автобиографические романы. «Майтрейи» похвалило все сообщество критиков. Единственный, кто не отозвался на нее рецензией, был Дж. Кэлинеску. Однако позже, в «Истории румынской литературы», он признал во мне создателя румынского «экзотического романа». Из друзей только Мирча Вулкэнеску не выказал особого энтузиазма. Не оттого что роман ему не понравился, а оттого, как он мне объяснил, что «тут и сказать-то нечего. Книга прозрачная, без тайны, все выложено: прочел и добавить нечего, *нечего комментировать*». И это в отличие от «Изабель», которая захватила его множеством своих загадок и разнообразием символов.

Недели через две меня позвал в издательство Исайя Рэкэчунь — сообщить, что, к его крайнему изумлению, продажа идет довольно плохо. Может быть, предположил он, читателей смущает название. Они не знают, как его произносить, и стесняются заходить в книжный магазин и просить книгу, тыча в нее пальцем... С другой стороны, признал Рэкэчунь, ему еще не попался ни один читатель, который бы не пришел в восторг от книги. Ливиу Ребряну, например, купил сразу много экземпляров и раздарил их друзьям и знакомым. О книге то и дело крайне благосклонно упоминали в обзорах, все же она прокладывала себе дорогу исключительно благодаря устной пропаганде немногих, хотя и восторженных читателей. Это я понял в начале июня на «Неделе книги», которую организовали тогда впервые. Прошел месяц с момента выхода романа, а по сведениям Исайи Рэкэчунь, было продано всего 600–700 экземпляров. Это подразумевало тысячу с чем-то читателей, сделал он вывод, «энтузиастов, которые будут делать книге рекламу». В самом деле, уже в первый день «Недели книги» к столу, где я сидел наготове — подписывать экземпляры, — направилась плотная группа читателей. Несколько часов спустя Исайе Рэкэчунь пришлось послать курьера на склад за еще одной сотней томов. Начиная со второго дня у стенда, где продавали «Майтрейи», а я ставил свои автографы, толпилось больше всего народа. Тираж разошелся к концу июня, и в то же лето было напечатано и раскуплено второе издание. Третье появилось осенью. К Рождеству распродали почти десять тысяч экземпляров. Многие предсказывали мне популярность Йонела Теодоряну или Чезара Петреску. Но те книги, что я публиковал в последующие годы, все ускоряя и ускоряя темп, эту мою популярность сурово откорректировали.

Вскоре после выхода романа я защитил диссертацию. Помню, что председатель ученого совета, Дим. Густи, бывший тогда также министром образования и искусств, поздравил меня еще прежде, чем заседание окончилось, и удалился, поскольку был «прикомандирован

к Его Величеству». П.П. Негулеску сделал мне несколько замечаний, касающихся философии санкхьи, от которых я вспылил. Много лет потом я сожалел, что ответил ему с резкостью, какой мой старый профессор не заслуживал. Правда, и он мне этого не забыл. В то время как Посеску, его любимый ученик, получил *summa cum laude*, мне присудили *magna cum laude*. И сколько бы раз в последующие годы кто-то из профессоров ни предлагал на совете дать мне вести курс по санскриту или по истории религий, П.П. Негулеску противился с ожесточением. Зато ученый совет освободил меня от обязанности печатать румынскую версию, которую я представил, и позволил мне опубликовать диссертацию на французском или на английском языках. Это значило, что мне надо приниматься за работу. Если бы я опубликовал английскую версию, в Румынии у меня нашлось бы очень мало читателей. Значит, мне надо было перевести ее на французский. А поскольку я не осмеливался переводить сам, пришлось искать помощников. Доработка, дополнение, перевод заняли два года.

* * *

К концу июня я стал доктором философских наук, получил официальное приглашение читать курс и вести семинар на кафедре Нае Йонеску — и прослыл «знаменитым писателем», да к тому же разбогател, получив, кроме премии, 36 тысяч лей за авторское право на первое издание «Майтрейи» (в те годы доцент в университете получал жалованье от 12 до 15 тысяч). Мне следовало радоваться. Я же, напротив, чувствовал себя несчастным, угнетенным, сбитым с толку. Шли дни, а развязки не предвиделось. Я подумывал о том, чтобы снова уехать, куда угодно, по меньшей мере на год. Однако Нае Йонеску потратил немало усилий, пробивая мое назначение ассистентом, и, откажись я в последний момент, мои профессора сочли бы, что я просто осознал свою несостоятельность, что я, видимо, гожусь для того, чтобы читать публичные лекции в Королевском Фонде и на радио, пописывать статейки и романы, а для университета не гожусь. Признайся я Нае Йонеску, в какое затруднительное положение я попал и почему вынужден снова уехать — в Париж, в Оксфорд, в Калькутту, — он бы меня понял и простил, но, конечно, спросил бы, почему я не сказал ему это раньше, почему спокойно смотрел, как он хлопочет, выбивая мне место ассистента. Я не смел еще раз принести ему разочарование (я знал, как разочаровал его, когда написал, несколько лет назад, что больше не могу работать с Дасгуптой). Впрочем, у него было немало хлопот и с моей деятельностью вне университета, по поводу которой ему приходилось объясняться, оправдывая ее, всякий раз как он встречался с Йоргой, Рэдулеску-Мотру, П.П. Негулеску.

Если бы дело было только во мне, я думаю, выход бы нашелся. В конце концов я сделал бы выбор, и, хотя мне было бы больно порвать с одной из женщин, я бы постепенно смирился. Но я понимал, что выбрать одну означает разбить жизнь другой. И что не кто иной, как я, виноват в создавшемся положении. Донжуан из меня был никудышный. Я не умел вовремя расстаться. Особенную вину я чувствовал перед Ниной. Мы были очень хорошими друзьями, я знал, что она прошла через тяжелое испытание, но обрела покой и приняла как данность, что во второй раз полюбить никогда не сможет. Невольно я сделал все, чтобы разрушить эту ее веру, тем самым отняв у нее с трудом добытые покой и ясность. Она просила немногого — только не делить меня с другой. И просила единственно потому, что я сам не раз жаловался ей на то, как мне трудно с Сораной, как она меня изводит. У Нины были все основания предположить, что Сорану я не люблю — и тогда, спрашивается, зачем тянуть эту лямку и сохранять положение, для всех троих стеснительное. Ей хотелось простоты и ясности, ей претило скрываться. (Поскольку мы вращались в одном и том же кругу, мне приходилось накануне каждой вечеринки узнавать, будет на ней Сорана или нет, могу ли я привести Нину.)

Я многажды лгал ей, что порвал с Сораной. Да я и сам думал, после очередного письма, что мы расстались окончательно: я писал Соране четко, без обиняков или говорил (в который раз), что мы не можем больше быть вместе, что в один прекрасный день я не удержусь и задушу ее, если она сама не успеет на минуту опередить меня. Я напрасно надеялся, через день-два она появлялась снова. И чем больше дней проходило между моим ультиматумом и ее появлением, тем больше меня терзали угрызения совести и раскаяние. При виде нее я думал: как я могу бросить такое существо? Мне выпало незаслуженное счастье быть любимым необыкновенной женщиной, каких в сто лет рождаются единицы. Да, она изведет меня, вытянет все жилы и в конце концов погубит — она такая, но что с того? Важно одно: я имел счастье быть избранным для исключительного переживания. Месяцы или годы, которые мы проведем вместе, примирят меня со всем, что будет дальше, даже если дальше останется только изломанная жизнь — или смерть. (Если бы Сорана умела читать мои мысли, она бы разрыдалась от горя: она-то считала, что я «самый свободный на свете мужчина», что рядом с ней я могу только «раскаляться добела», что она ни в коем случае не может поломать мне жизнь, потому что ее присутствие благодатно для всех видов творчества, от романа и философии до ученых трудов, критики и памфлета...)

Все же мне удавалось оказать ей сопротивление, когда речь заходила о Кришнамурти. Сорана умоляла меня поехать с ней в Оммен, вместе послушать Кришнамурти, раскрывающего тайны жизни, и не-

ренять у него секрет счастья и мудрости. Я отказался наотрез. Я попытался объяснить ей, почему меня не интересует Кришнамурти. Я восхищался им за мужественный поступок — разрыв с Теософским обществом и с Орденом Звезды и отказ от всей той мифологии, что вокруг него накрутили, с отроческих лет провозгласив Мессией. Но, судя по его выступлениям в Оммене и по манере отвечать на вопросы, я видел — мне у него нечему учиться. Он был человек бесспорно умный и честный, который мог очень многим помочь. Вот только у меня решительно не было причин искать с ним встречи. Скрепя сердце Сорана и на этот раз отправилась слушать его одна.

Две следующие июльские недели показались мне благословенными. По воскресеньям ближе к вечеру мы снова собирались у Флории Капсали и Мака Константинеску, играли в волейбол и за ужином в трактире готовились к осеннему открытию «Критериона». Потом мы поехали в Брязэ, а через несколько дней взошли на Бучеджи. На сей раз с нами была и Нина. Снова наступили блаженство и ясность, как на прошлогодних каникулах. Мы могли позволить себе жить свободно, без проблем, без самоедства. Я знал, что очень скоро у меня будет невпроворот работы, но эти несколько дней покоя и разрядки снова придали мне уверенности. С одной стороны, я должен был подготовиться к осеннему курсу лекций и семинару, с другой — завершить начатый роман. Издатель Чорней, под впечатлением успеха «Майтрейи», предложил мне контракт на исключительно выгодных условиях — я получал авансом, еще до представления рукописи, половину гонорара за авторское право на первый тираж в четыре тысячи экземпляров.

Я решил снова взяться за своих «Петра и Павла», озаглавив их теперь «Возвращение из рая». Это была повесть о Павле Аничете, которого, несмотря на различия между нами, я понимал: точно так же, как я, Павел Аничет любил двух женщин. Правда, Уна и Гиги ничем не походили на Сорану и Нину, но растерянность и колебания Аничета были мне знакомы. Кроме всего прочего, я хотел написать роман о судьбе «нового поколения» — так, как я ее видел. «Возвращение из рая» означало утрату блаженства, иллюзий и оптимизма, которые преобладали в «Великой Румынии» первые двенадцать лет ее существования. Мое отрочество и ранняя юность, как и у многих моих сверстников, прошли в этой атмосфере эйфории, веры и беззаботности. Но теперь я знал, что «Рай» незаметно сошел на нет. Мы утратили его, не успев осознать, что были, по сути, первым и единственным поколением, которое могло насладиться «золотым веком», наступившим в 1919–1920 годах. (Речь шла, разумеется, о парадизе духовного порядка: просто-напросто об эйфории, порожденной воплощением коллективного идеала и не предполагавшей никакого

райского синдрома в социальной, экономической или политической жизни.)

Когда в жаркие ночи июля я сел за «Возвращение из рая», вся конструкция еще не была мне ясна. Я знал только, что это будет первый том трилогии — а именно, история Павла Аничета, вплетенная в вереницу событий и конфликтов, переживаемых сообществом «интеллектуалов», к которым он принадлежал. Дело происходило в Бухаресте, в 1932–33 годах, то есть как раз после моего возвращения из Индии. Я решил не развивать историю Франциска Аничета: упадок семьи вследствие экспроприации имения, бедность, в которой росли братья Павел и Петр. В первом томе трилогии Петр если и появлялся, то только эпизодически, ему были посвящены, в большой мере, два других тома. Поскольку я хотел заодно дать фреску «молодого поколения», я не мог писать от первого лица, как в «Изабель» и в «Майтрейи», но и стиль «Меркнущего света» меня тоже не устраивал. Я хотел, чтобы мой роман был по видимости реалистический, но с использованием внутреннего монолога и некоторых рецептов, перенятых у Джона Дос Пассоса.

Я писал трудно, с неожиданной для себя натугой, и недоумевал, что со мной происходит, почему я так мучительно продвигаюсь, откуда у меня этот надрывный слог, уснащенный ненужными неологизмами, с претенциозным, искусственным, агрессивным синтаксисом. Я утешал себя тем, что, вероятно, всему виной усталость. Спал я мало и скверно, потому что ложился на рассвете и часто мне удавалось заснуть, когда мансарда уже начинала накаляться. У меня созрело решение снова отправиться в горы. Нина план мой одобрила, хотя и очень жалела, что не может поехать со мной. А я не сказал ей, конечно, что еду не один.

* * *

Сорана вернулась из Голландии. Мариэтта и Хайг нашли недавно один постоялый двор на краю села Сэчеле. Они расхваливали тамошнюю тишину, уединенность и красоту окрестностей. Хозяйка сдавала несколько комнат на втором этаже, с пансионом. Я мог бы работать весь день у открытого окна с видом на горы. Устоять было трудно. К тому же я подозревал, что предстоящее мне испытание — прожить с Сораной под одной крышей, день да днем, две недели — может стать решающим.

Постоялый двор был таким, как я его себе и представлял. Мы приехали под моросящим, типичным для гор дождем, поужинали в компании нескольких путников, потом вышли пройтись в дождь по шоссе. Я смотрел на Хайга и Мариэтту и завидовал. Они давно любили

друг друга, лет семь-восемь; сначала им приходилось это скрывать, но после того как Мариэтта рассталась с Йоном Марином Садовяну, они стали появляться в обществе открыто — и были счастливы вместе, им не надо было больше лгать, и самим себе они не лгали. И я мог бы жить в такой же ясной, ровной полноте чувств, не взгляни я раз ненароком в рождественский вечер на Нинины пальцы, не покажись они мне такими крохотными точеными миниатюрами, что мне было уже не отвести глаз, или ответь я «да» тем октябрьским вечером, когда Сорана спросила, «есть ли кто-то в моей жизни», и начни заходить к ней пореже, а то и вообще прекратить свои визиты. Сколько бы раз я до сих пор ни влюблялся — или сколько бы раз мне ни казалось, что я влюбился, — всегда вмешивалось что-то, что ущемляло или вообще уничтожало радость, и я в конце концов оказывался снова один, в мучениях и в то же время в ярости на себя за эти мучения. Если никакого внешнего препятствия не было, я сам его изобретал. Мне ничто не мешало сохранить Ри., но я предпочел уехать в Индию, зная, что теряю Ри. окончательно. И теперь я снова был обречен страдать и доставлять страдания другим, самым нелепейшим образом, и только по своей вине. После уроков, которые, как мне казалось, я извлек из моего индийского опыта, каких-нибудь два года спустя я снова заблудился в лабиринте. Я думал, что хотя бы это усвоил — как не поддаться миражам, не попасть в сети, которые, я знал, будет бесконечно расставлять мне «наша всеобщая матерь», майя. И вот, я не только ничего усвоил, но и оказался еще более безответственным, чем был в своих индийских приключениях несколько лет назад.

И при всем том перипетии, которые выпадали на мою долю, имеют, я чувствовал, свой смысл, свою цель, пока что зашифрованную, но не безнадежно — в один прекрасный день я ее расшифрую. Сколько бы мучений ни приносила мне ситуация, в которую я попал по собственной вине, я вынужден был признать, что в глубине души *этого* и хотел: иметь возможность любить одновременно, одинаково сильно и искренне, двух женщин. С точки зрения логики, это желание казалось мне самому абсурдом, но тут, по моим ощущениям, логика была ни при чем. Я говорил себе, что, может быть, хочу испытать нечто парадоксальное, не поддающееся рациональному объяснению, потому что примеряю на себя другой способ жить, не тот, что положен человеку. Если бы у меня было призвание мистика, возможно, я захотел бы — и попытался — стать святым. Но вопреки утверждению стольких моих друзей и врагов, мистического призвания у меня не было. (И это очень хорошо понял Чоран, когда в тридцать пятом или тридцать шестом году, рецензируя «Хулиганов», сказал, что, будь там хоть на гран мистицизма, мое сочинение могло бы сравниться с романами Достоевского.) В каком-то смысле я был ближе

к «магии», чем к мистике. Еще подростком я пытался преодолеть нормальные человеческие привычки, я бредил радикальной трансмутацией образа жизни. Страстью к йоге и тантре я обязан этой фаустианской тоске. Может быть, желание любить сразу двух женщин было лишь еще одним эпизодом моей долгой тайной истории, которую я и сам не очень-то понимал. Так, на свой лад, я пробовал компенсировать свою мирскую неспособность стать «святым» — через такой парадоксальный опыт, человеку не присущий, но, по крайней мере, открывающий путь к тайне целостности.

Однако в те летние дни, когда я писал, подле Сораны, «Возвращение из рая», я, конечно, не улавливал, какие глубокие корни у этого желания. Чаще всего оно оборачивалось пыткой, муками совести, внутренним нытьем и подпитывалось двусмысленностью моего положения. Только много позже я понял, что это испытание шло в русле моей судьбы, которая требовала от меня существовать «парадоксально», вразрез с самим собой и с эпохой, вынуждая идти в ногу с историей, но притом выпадать из нее; жить настоящим и быть при этом незлободневным, заниматься вещами и проблемами, на вид отжившими, экстраисторическими; устраивать быт по-румынски и селиться в чужих, далеких, экзотических мирах; быть коренным жителем Бухареста и гражданином мира. Не *les extrèmes se touchent* — но *coincidentia oppositorum*. Я думаю, это была не просто склонность к экстравагантности и парадоксу. Скорее — в камуфляже биографических событий и деятельности на поприще культуры — *мой способ быть религиозным*, смыкающийся как с «народной» религиозностью Восточной Европы, так и с религиозным опытом Востока и архаических обществ. Я мог бы пойти дальше и сказать, что парадокс совпадения противоположностей лежит в основе всякого религиозного опыта. В самом деле, всякая иерофания, всякое проявление сакрального иллюстрируют *coincidentia oppositorum*. Вещь, тварь, жест становятся святыми, то есть превосходят *этот* мир, продолжая оставаться тем, чем были: вещью, тварью, жестом; они в мире — и они за его пределами.

Но тогда ничего такого я не думал. Я прикидывал, как Павел Аничет решит свою проблему, которая была и моей тоже. Прошло совсем немного дней, а присутствие Сораны стало меня утомлять. Зарядили дожди, и ей приходилось по большей части сидеть в одной комнате со мной. Она читала, но стоило мне на минуту подняться из-за стола или закурить, тут же спрашивала, как идет дело, пишется ли мне, когда она рядом, или просила прочесть, что я написал. Я обещал показать ей рукопись, как только кончу первую часть. Но, вернувшись раз из лесу, куда вырвался погулять в одиночку, под предлогом, что должен обмозговать какой-то сложный романный ход, я застал ее в слезах за своим столом.

— Сколько же ты со мной натерпелся, — проговорила она, — а я-то ничего не понимала.

И она показала мне первые строки рукописи. Это была сцена, которой начинался роман: «Услышав, как закрывается дверь ванной, Павел соскочил с постели и глубоко, с облегчением перевел дух. Он проснулся минут десять назад, но виду не подал и, прикрывая изгибом локтя лицо, старался дышать ровно и тихо, чтобы женщина ничего не заподозрила. Когда он почувствовал, что она встает, у него забилось сердце: неужели хоть несколько минут он побудет один?..»

— Тебе так трудно было меня терпеть? — повторила она.

И довольно было взглянуть на нее, чтобы понять, каково ей: она снова постарела на десять, на двадцать лет. Я попробовал соврать.

— Речь идет не о тебе. Или не только о тебе. Это свойственно любому мужчине — желание побыть одному, хоть несколько минут, даже если рядом существо, которое он любит. — И добавил: — Женщинам это тоже знакомо. В неразлучности есть что-то дьявольское. Вспомни слова Гете...

Она перебила меня — еще раз напомнить, что я «самый свободный из всех возлюбленных на свете». И если ее присутствие меня угнетает, это значит, я ее не люблю. Однако такое немыслимо — она-то знает, что я ее люблю. Тут что-то другое. И мы сейчас вместе должны подумать, почему меня утомляло ее присутствие вместо того, чтобы вдохновлять.

— Обсудим это в другой раз, — ответил я. — Сейчас мне надо работать...

Мой эгоизм ее разозлил, что неудивительно. В единый миг она снова стала валькирией, которую я так хорошо знал. Ей снова было тридцать, и, расхаживая по комнате, она метала молнии. На меня обрушилось, что я непостижимый. Что я — загадка. Вот мы одни, в горах, мы, которым выпало счастье встретить друг друга и полюбить, полюбить так, как только мы умеем, — но вместо того чтобы рука об руку взбираться на самые высокие вершины духа, анализируя, толкуя, совершенствуя друг друга, я пишу роман! Мне мало успеха, который имела «Майтрейи» каких-нибудь несколько месяцев назад? К чему такая поспешность? Зачем я снова ищу убежища в книге вместо того, чтобы нам вместе проживать Жизнь?..

Как всегда, слушая ее, я соглашался, что в определенном смысле она права. Если бы не Нина, может быть, я бы и стал сопровождать Сорану на «вершины духа», не считаясь с тем, насколько это рискованно. Но Нина была. Значит, Павлу Аничету волей-неволей предстояло найти решение, чтобы помочь мне. Я должен был написать «Возвращение из рая». Я вернулся за стол, а Сорана снова взялась за кни-

гу. Я слышал, как она вздыхает. Я тоже вздыхал, и она наконец спросила, в чем дело.

— Трудно идет. Не могу понять, что происходит в голове главного героя. Он считает, что влюблен сразу в двух женщин...

Она побледнела, но ответила с улыбкой, непривычно кротко:

— Так не бывает.

— Я тоже так считаю, — согласился я. — Но он уверен, что любит обеих. Не может решиться на выбор.

— Значит, он трус! — вспылила Сорана.

И тут я понял, что решение, к которому стал склоняться Аничет, — самое правильное. Павел Аничет, как и я, был в некотором роде трусом — по крайней мере, в глазах других его самоубийство будет выглядеть трусостью. Но самоубийство — единственный для него выход: только уйдя из жизни, он сохранит обеих. Смерть вообще восстанавливает цельность. Всякое существование дробно по определению — ограниченно, ущербно, фрагментарно. А в случае с Аничетом, который стяжал цельность здесь, на земле, через любовь к двум женщинам сразу, смерть сохранит эту цельность *in aeternum*. Сделай он выбор — цельность нарушится, и он будет жить в мучениях, в тоске, в бесконечных думах о смерти, в ожидании ее.

— Ты права, — сказал я Соране. — Павел Аничет — форменный трус. В конце концов он наложит на себя руки...

* * *

Настал день, когда я, не выдержав, один вернулся в Бухарест. Сорана бросилась в Сибиу к Эмилю Чорану. Как я потом узнал, она ему все рассказала: что я хочу ее оставить, избавиться от нее и уже несколько месяцев только и делаю, что ищу для этого предлог. Чоран был потрясен до глубины души страданиями Сораны и, соответственно, возмущен моей жестокостью и слепотой. Он не мог взять в толк, как это умный человек, которого любит такая женщина, не понимает своего счастья и хочет спровоцировать разрыв. Напрашивалось единственное приемлемое объяснение: моя духовная инертность, неспособность отдаться роковой страсти, которая, не исключено, подведет меня к безумию или смерти, — одним словом, моя посредственность и мое ханжество. В статьях Чорана, которые «Время» печатало тем летом и той осенью, я читал между строк бесконечные намеки на отсутствие у меня воображения и мужества. В сентябре или октябре появился уничтожающий опус «Человек без судьбы», в котором я тотчас же узнал себя и который, конечно же, пролил бальзам на израненную душу Сораны.

Но все это мне предстояло узнать после. А пока я вернулся с мыслью сосредоточиться на романе. Однако я пошел проведать Нину. Встретясь со мной глазами, она побледнела, но я видел, что она очень рада мне. Очевидно, ей кто-то сказал, что, кроме Мариэтты и Хайга, со мной в горах была Сорана. Но я не поддержал разговора на эту тему. С первых же слов я прервал ее, направившись к двери.

— Если и тебе от меня одни мученья, — сказал я, — лучше я исчезну, и ты меня больше никогда не увидишь. Уйду куда глаза глядят, не могу больше мучить людей, это невыносимо...

Нина, без кровинки в лице, попросила меня не уходить. Я остался — и с тех пор она долго не задавала мне никаких вопросов.

В мансарде все еще было очень жарко, и я работал главным образом ночью, почти голый. Роман продвигался трудно, но все же скорее, чем в горах. Мне не доставляло никакого удовольствия описывать все ужасы, эротические и прочие, которые я считал нужным непременно дать как бы для того, чтобы вдохнуть хоть какую-то жизнь в головной роман, где правили «интеллектуалы», в роман, чьи герои, стоило им сойтись, пускались в бесконечные дискуссии (впрочем, именно так и происходило с нами, критерионцами). Хотя для моих персонажей я кое-что позаимствовал от своих приятелей, у кого — привычку, у кого — тик, все же конкретных прообразов у них не было. Потому-то, может быть, впоследствии они показались мне бесцветными, искусственными. Что меня, в сущности, интересовало, так это их идеи, тенденции и жесты — в первую очередь, идеи. Может быть, так я безотчетно протестовал против традиционного румынского романа, особенно против миров Чезара Петреску и Йонела Теодоряну, в качестве протеста выводя почти исключительно молодых бухарестских интеллектуалов, озабоченных тем, что они в ту пору считали «существенным». Февральская забастовка 1933 года в железнодорожных мастерских Гривицы со зловещим воем сирены, который я слышал целый день, играла у меня важную роль. Когда Михаил Полихрониаде прочитал «Возвращение из рая», он сказал мне, что «политически роман совершенно ошибочный», потому что я уделил слишком много внимания эпизоду, политического значения не имеющему. Но для меня забастовка в железнодорожных мастерских Гривицы тоже проиллюстрировала, самым патетическим и нарочитым образом, утрату «рая», нашу выброшенность в историю.

Хотя и скрытая за разными посредственными псевдоидеологиями, лейтмотивом тут проходила все та же проблематика: поиск смысла, пригодного для «послерайского» существования. Всех этих болтливых, претенциозных и агрессивных интеллектуалов так или иначе терроризировал призрак «провала». Интеллектуал-неудачник часто появлялся в отечественном романе, от Влахуцэ до Чезара Петреску.

По своими неудачами он, как правило, был обязан либо провинциальной среде, где был вынужден жить, ее узости и застою, либо проблемам личности (алкоголь, наркотики), либо, чаще всего, соблазну, который предоставляла политика. Герои же «Возвращения из рая» жили в Бухаресте, а не в провинциальном городке, так что были в некотором смысле свободны в выборе занятий по душе, не зависимы от экономических и политических соображений. Несмотря на это, они влачили существование хаотичное, путаное, в общем-то ненормальное, пытаясь — всякий в меру своих сил— перебороть грозящую им безнадежность, «спастись» — то есть в первую очередь выйти из круга неудач в полновесную жизнь. Для кого-то «полновесность» означала бунт против родителей, против «стариков», против буржуазного общества и его ценностей. Почти все носились как одержимые с «проблемами», а, главное, о них спотыкались. Единственный, кто перед «проблемами» не тушевался, был Петр Аничет. Поэтому я и хотел назвать роман, посвященный ему, его сверстникам и идеологическим соратникам, «Хулиганы». Петра Аничета призрак провала не терроризировал вовсе. Он, напротив, верил в своего доброго гения и в свою судьбу. Верил, что он, первым из Аничетов, не даст одолеть себя ни исторической конъюнктуре, ни личным проблемам. Полное безразличие к нравственным понятиям превратит его, в глазах некоторых, в истого беса или самого что ни на есть «хулигана». Но только так, думал Петр Аничет, можно что-то сделать — освободившись от всех тормозов, проблем и терзаний, которые подрывали и, в конце концов, парализовали жизнь его отца, Франциска Аничета, и брата Павла. С него, Петра Аничета, начнется «Новая жизнь» (заглавие последнего тома трилогии), когда Аничеты восторжествуют в «истории»: не потому, что Петр воспримет историю всерьез, а потому, что не будет ее бояться и, не боясь, не будет ей больше сопротивляться. (Точнее, не станет рисковать жизнью, чтобы ей противиться или ее изменять; он сумеет «адаптироваться», без всякого чувства стыда, поскольку таков, по его вере, для румынского народа единственный способ творчески пережить террор истории. Но все это должно было проясниться только в последнем томе, над которым я начал работать четыре года спустя, в 1937.)

Пока же, в конце лета, я находился только на середине «Возвращения из рая», а мой издатель Чорней ждал рукопись к первому октября, чтобы успеть выпустить ее к Рождеству. Может, я и кончил бы роман за четыре-пять недель, если бы с возвращением в Бухарест Сораны меня снова не увлекло в омут. Ни под каким видом Сорана не желала меня потерять; не только потому, что теперь любила меня больше, чем когда-либо, но и потому, что собиралась меня спасать. По ее ощущениям, я рисковал полностью утратить способность

к творчеству, если мы расстанемся. Только подле нее я мог бы стать тем, кем она одна меня видела: больше, чем великим писателем, ученым и философом, — гением и пророком. От друзей она, конечно, узнала о моей связи с Ниной и не сомневалась, что связь эта для меня окажется фатальной.

Мое семейство и друзья терялись в догадках, что со мной творится и что у меня на уме. Как писатель, я имел успех, мое имя было в то лето у всех на слуху, я получил несколько сот писем от читателей (вернее сказать, от читательниц), а выглядел хуже некуда и избегал людей. Больше всего недоумевала мама. Я мог по нескольку дней где-то пропадать и являлся только переодеться и прихватить с собой книгу-другую. Или надолго запирался в мансарде, не спускался к столу и бесконечно просил кофе. Иногда они приходили — то одна, то другая, разговаривали с мамой, спрашивали, как я. (Напрасно они поднимались по деревянной лестнице и стучались в мою дверь. Я не откликался. А может, я и не слышал, потому что работал по ночам и добрую часть дня спал.)

Мне казалось, что единственный выход — в том, чтобы расстаться с обеими. В каком-то смысле эта «смерть любви» соответствовала самоубийству Павла Аничета. Я знал, что мне будет очень нелегко, но любую боль я предпочел бы тому положению, в котором оказался. В последних числах сентября у меня состоялся долгий разговор с Нае Йонеску. Он вернулся из Германии под впечатлением от начавшейся там «революции» и считал, что такая же революция ожидает и Румынию. Он все еще находился в открытой оппозиции к Дворцу. Король Кароль уже давно перестал прислушиваться к его советам, и Нае Йонеску в «Кувынтул» подвергал критике, тонкой, но откровенной, королевскую политику, с прозрачными намеками на камарилью. Напоследок Профессор снова оглядел меня, нахмурясь, и спросил: «Что с тобой происходит? Ты как будто не знаешь, на каком ты свете. Неужели пишешь роман?..» Пришлось признаться, что он угадал. «Как называется?» — с улыбкой поинтересовался он. «Возвращение из рая».

Он взглянул пристально, словно не веря своим ушам. Долго ничего не говорил. Моя неловкость нарастала, я испугался, что снова разочаровал его. «Так скоро?!» — проронил он наконец.

«Как он прав!» — повторял я по дороге домой. *Так скоро...* И двух лет не миновало со дня моего отъезда из Индии. Неполный год — как я отбыл армейскую службу. Те времена казались мне блаженными и невозвратными. Подумать только, я был свободен, открыт для любых приключений, я мечтал о неминуемом возвращении в Индию. И эту свободу я сам у себя отнял — рядом необдуманных поступков. Я еще и еще раз твердил себе, что один во всем виноват. Да, оставал-

ся единственный выход: попросить их простить меня и забыть, и расстаться с обеими.

Я помню тот сентябрьский вечер. В комнатушке у Нины я пытался объяснить ей мое решение. Она слушала, белая как мел, стоя у открытого окна — она отошла к окну, пока я говорил. Главное я сказал, но не мог остановиться, мне было страшно, что между нами повиснет молчание. «Я не выдержу, — услышал я. — Боюсь, что во второй раз не выдержу...»

Она неотрывно смотрела в окно. И тут я вспомнил всю ее жизнь, ее злополучную жизнь. Она полюбила во второй раз и во второй раз ее любимый дал втянуть себя в игру, которая для нее означала конец. На сей раз здесь, на седьмом этаже, было открытое окно. Но и не будь этого окна, все, что я ей сказал, могло снова превратить любовь в золу. И бесполезно будет потом приходить с цветами и подарками, она ответит мне, как когда-то лейтенанту, что больше не любит, что как бы ни старалась, больше не может меня любить... При всяком исходе я — во второй раз — принес бы ей несчастье, как будто нас преследовало проклятье. И тут — как молния вспыхнула — я понял: это майя подбила меня на страшные слова, это ее последняя дьявольская попытка меня погубить. Я понял: я не только что не причиню Нине горя, но и смогу одарить ее всем, чем она была до сих пор обделена; мое предназначение — сделать ее счастливой, и я не постою за ценой...

— Хорошо, — выдохнул я. — Я остаюсь. Но мы больше не можем так жить. Нам надо съехаться...

Она смотрела на меня улыбаясь, как сквозь сон, сказала:

— Я знаю, что это для тебя большая жертва. Но ты не жалей. Я должна открыть тебе одну тайну, я никому ее не открывала: мне недолго жить. Я знаю, что умру молодой...

* * *

В тот же вечер я написал Соране длинное письмо, объясняя свое решение. Выждал день, потом отправился к ней сам. Я нашел ее такой, как и ожидал: всю ночь она не сомкнула глаз. Она давно знает, сказала она, что со мной происходит, и испробовала все, что в ее силах, желая — для моего же блага — удержать меня от решения, которое я все-таки принял.

— Я бы хотела спросить у тебя только одну вещь, — прибавила она. — Если тебе пришлось выбирать, почему ты выбрал не меня?

Я не посмел еще раз повторить то, что столько раз повторял ей: что мы не смогли бы жить вместе, что мы погубили бы друг друга.

— Ты знаешь почему, — сказал я. — У тебя достанет силы и воображения, чтобы забыть меня... Я выбрал того, кто слабее...

С тех пор мы встречались только случайно, и всякий раз у меня сжималось сердце. Почему я принес ей одно несчастье? Почему она полюбила именно меня — и не могла забыть, а призраком блуждала в тех местах, где мы бывали вдвоем, обходя сборища у общих знакомых в надежде увидеть меня, хотя знала, что при ее появлении я скроюсь, исчезну. Многие годы после того я не смел быть счастливым, я знал: то, что я подразумевал под словом *счастье*, зиждилось на чудовищной, бессмысленной жертве, которую никакой мужчина не принял бы с легким сердцем. А Сорана и вправду приносила свою жертву еще много лет. Отказывалась, одно за другим, от общих знакомств, ушла из кружка «Критерион», сохранила только Мариэтту Садова, но и с ней виделась все реже и реже. Ее имя почти перестало появляться на афишах Национального театра. Все больше и больше она замыкалась в себе. И единственную поддержку, единственное утешение находила в учении Кришнамурти.

Принятое мной решение разбило сердце не только Соране. Такой же катастрофой стало оно и в глазах семьи. Мои родители прочили мне партию получше, чем конторщица из Телефонного общества, разведенная и держащая дочку где-то в интернате. За много лет до этого Нику женился на бесприданнице, и я очень хорошо помнил, сколько в семье по этому поводу было сетований и слез. Нику был еще студентом, и домашние боялись, как бы ему не пришлось вместо того, чтобы писать кандидатскую по промышленной химии, довольствоваться сразу после лиценциата какой-нибудь скромной службой. Я оставался их последней надеждой. Им хотелось бы подняться в глазах других ветвей папиной семьи, побогаче и поудачливее, — благодаря моей сенсационной карьере и женитьбе. Они уверовали в мою способность «сделать карьеру» после того, как я получил место ассистента на кафедре Нае Йонеску, и мне оставалось только подобрать себе достойную подругу, что примирило бы их с неудачным выбором Нику. Они благосклонно терпели мою связь с Сораной, появление Нины восприняли с недоумением, но без особого беспокойства; с одной стороны, Сорана еще никуда не делась, с другой — сумел же я расстаться с Ри. На их взгляд, это была просто очередная юношеская авантюра, и я снова выйду сухим из воды.

Когда я объявил им, что съезжаюсь с Ниной, это было как гром среди ясного неба. И родители, и Корина, которая тоже присутствовала при разговоре, потеряли дар речи от ужаса и негодования, а, главное, от возмущения перед несправедливостью судьбы. Все трое, наверное, подумали тогда, что над нашей семьей тяготеет проклятие. После войны все мамины братья, мои дяди, постепенно нищали, и та малость, что у них еще оставалась, таяла в последние годы из-за необдуманных и экстравагантных браков. Дом по улице Мелодии при-

надлежал теперь Корине и был заложен-перезаложен. Единственный доход составляла папина капитанская пенсия. Но они выносили лишения с достоинством и верой в будущее — потому что был я. Их столько раз бросало в дрожь от моих авантюр, от моей безалаберности. Они дрожали, узнавая об опасности, которой я подвергся в Индии, и дрожали от догадки, что я не хочу возвращаться. Но вот, я вернулся, одолел срок армейской службы, стал знаменитым писателем, получил преподавательскую должность в университете, и все это неполных двадцати семи лет отроду. В один прекрасный и уже близкий день я представлю им избранную мной невесту — бесподобно красивую девушку, дочь министра, посла, банкира, генерала, университетского профессора, может быть, даже иностранку, с громким именем или из знаменитой политической династии, и, конечно, богатую, даже чрезвычайно богатую. Потому что всего этого, они не сомневались, я заслужил, ведь я был такой одаренный и работал как каторжный, читал столько, что рисковал потерять зрение, — но и они заслужили, ведь они жертвовали всем, чтобы я мог покупать книги, путешествовать, побывать в Индии. Все их жертвы, и бедность, и лишения, которые они претерпевали последние десять лет, все искупится моей карьерой, женитьбой и успехами. Даже если я не получу сразу причитающиеся мне десятки миллионов, я получу воздаяние другого рода — и это воздаяние распространится и на них тоже.

Эти образы и сценарии имели источником не только отвлеченные грезы. Несколько раз за последний год мама подступала ко мне с разговорами о такой-то и такой-то «партии». К ней приходили разные люди с вопросом, не намерен ли я жениться, говорили о домах, виллах, миллионах, показывали фотографии красивых девушек, иногда даже еще не кончивших университет. Я всегда отвечал, что у меня и в мыслях нет жениться — и мама верила. Очевидно, говорила себе, что никакой спешки нет; может, и лучше, если я отгуляю сейчас, в юности. И вдруг — нате вам, нежданно-негаданно я заявляю, что съезжаюсь с Ниной. Я не сказал, что женюсь, потому что о женитьбе не думал — но, по сути, это было то же самое. Как только мы заживем вдвоем под одной крышей, на всех блестящих партиях, мне причитающихся, можно поставить крест. Никакая посольская, генеральская или банкирская дочка не придет говорить со мной о свадьбе на квартиру, которую я собираюсь разделить с Ниной.

Поверить в это они не могли и, среди слез и причитаний, пытались уверить меня, что я совершаю безумство; более того — и я это знал, — что я омрачаю их старость, отнимаю единственный свет и утешение, которые у них еще оставались. Моему твердокаменному упрямству они предпочли бы все, что угодно, — узнать, что я снова уехал в Индию или женился на Соране (она по крайней мере была

знаменитой актрисой, и у нее не было детей). Мое решение не укладывалось у них в голове. И я даже не пытался его оправдать. Что бы я им сказал? Что люблю Нину? Этого было недостаточно. Они знали, что я любил Ри. и Майтрейи (роман они читали), они знали, что я любил Сорану — но, вынужденно или нет, расстался со всеми. Что бы я им сказал — что все началось лет шесть-семь назад, когда одного красивого и влюбленного лейтенанта напоили приятели и он проснулся наутро в постели с незнакомкой, в присутствии консула и необходимых свидетелей? Или что все началось в один рождественский вечер, когда я вдруг увидел, что у Нины тоненькие слабые пальцы? Или уж сказать, что, если я в детстве тонул в дельте Дуная, а во второй раз — в Черном море — и не утонул, и меня не заели пиявки в джунглях Сиккима, что если я не сошел с ума в сентябре тридцатого, а сумел собрать косточки в кутиаре Сварга-ашрама, что если я столькому научился, столько написал и столько всего набрался, — что все это произошло в свое время только для того, чтобы сейчас, осенью тридцать третьего, мне хватило ума и твердости сделать этот жест, по видимости безумный, — доказать Нине, что *во второй раз с ней такого не случится*, что на сей раз исполнится, рядом со мной и благодаря мне, ее судьба, которую разбил дурацкий инцидент на парижской вечеринке много лет назад.

Ничего этого сказать им я не мог. И потому повторял и повторял, из последних сил, что я все решил и что мы съезжаемся с Ниной. Причем я прекрасно знал, что Нина меня об этом не просила. Когда-то она просила меня только об одном: чтобы я расстался с Сораной. А потом отказалась и от этого условия. Просила просто не бросать ее. Остальное решил я сам — и это решение выглядело безумным. Мне удалось расстаться с Сораной. Я мог бы ничего не менять в своем положении — и Нина была бы счастлива. Но я хотел для Нины больше, чем счастья, я хотел исправить ее судьбу через *restitutio in integrum*: все, что она имела и нелепым образом утратила, мне было суждено ей возвратить. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это будет означать для меня, но я был готов на любую жертву. Я пожертвовал Сораной, но что огорчало меня еще больше, — я жертвовал семьей. В глубине души родители чувствовали, я догадывался, что теряют меня навсегда. Я не просто развеял все их надежды, сосредоточенные на мне, — я отрезал от семьи себя. Обо всем этом я догадывался и ужасно страдал, тем сильнее, что не мог никому открыться. Они дали мне все, а я взамен не мог дать им даже своего физического присутствия. (Потому что я предвидел, как будет дальше: они не захотят принимать Нину, а я не соглашусь приходить без нее. Я все же приходил проведать их время от времени, а по праздникам обедал с ними, на Новый год являлся с двумя бутылками шампанского подмышкой

и просиживал часок. Но и все. Я больше не был их ребенком. Я был призраком, который материализуется иногда на несколько мгновений, а потом исчезает, возвращается в свой мир. Только через четыре-пять лет между нами установились нормальные отношения. Но было уже поздно.)

* * *

Когда на Святого Димитрия приехали возчики перевозить книги с мансарды, у меня было чувство, что я присутствую на собственных похоронах. Не только оплакивали меня мама с Кориной, а папа глядел через окно, чтобы не видно было его слез, — но как будто все умерло вокруг меня. Я плутал среди одних реликвий и воспоминаний — и я знал, что *здесь* я вижу их в последний раз. Я укладывал в ящики тетради и записки своего отрочества, пачки газетных публикаций и лихорадочно перебирал всю историю — мою и моей мансарды. Я видел подростка, который принуждал себя читать при синей лампе, обливаясь слезами от чересчур сильных новых линз в очках. Я видел своих сначала лицейских, потом университетских однокашников; я видел Теа, Ри., потом — своих друзей по «Критериону», я видел Сорану, Нину — в начале нашей дружбы, когда мы все были свободны, когда все было возможно, когда жизнь пьянила меня десятью тысячами дорог. Из всех десяти тысяч я выбрал самую трудную. Я слышал, как возчики, покряхтывая, сгибаясь под тяжестью ящиков, сносят их вниз по деревянной лестнице — и будто это несли вниз мой собственный гроб. Я не смел лишний раз оглядеться, попрощаться со всеми. Я боялся, что разрыдаюсь, что упаду на рассыпанные книги и зайдусь в стенаниях, оплакивая свое детство, отрочество, юность, все блаженства, которые я познал здесь, в мансарде, и которые закапывал теперь собственными руками.

Глава 13
Нам надо было торопиться

Дом стоял на бульваре Динику Голеску, неподалеку от Северного вокзала, — по-моему, в том же году и выстроенный. Наша квартира была на верхнем, четвертом этаже; мы ее выбрали, главным образом, из-за того, что, помимо огромной столовой-холла и двух спален, там была просторная комната с окнами во всю стену, где я собирался разместить книжные шкафы и письменный стол. Но когда мы переехали, стол и шкафы (заказанные несколькими неделями раньше по эскизам Габриэля Негри) еще не подоспели. Грузчики перевезли пять-шесть тысяч моих книг и сложили их на полу. Владелец дома, живший на первом этаже, где располагалась и его адвокатская контора, одолжил мне кухонный стол, за которым я в первый же вечер начал работать. От меня ждали столько всякого-разного, что иногда я в отчаянии подумывал, не подписать ли мне еще три-четыре контракта. Тогда бы я знал, что просто *выше человеческих сил* закончить к сроку все, за что я взялся, — и такая определенность, может быть, принесла бы мне покой.

Я еще не довел до конца «Возвращение из рая», хотя сидел над ним ночами, с одиннадцати вечера до четырех-пяти утра. Чорней во что бы то ни стало хотел выпустить роман к Рождеству и подстегивал меня, тем более что в начале октября я имел неосторожность передать ему все, что уже написал, и рукопись немедленно пошла в набор. Я получил гранки, и типограф ждал следующую порцию. Чорней уже начинал терять терпение, и мне надо было задобрить его любой ценой, потому что в большой степени благодаря ему я смог арендовать и обставить квартиру. Той же осенью я подписал еще один контракт. Сверх сумм, уже выплаченных за «Возвращение из рая», Чорней дал мне 50000 лей в счет двух романов, которые я обязался представить ему в тридцать четвертом и тридцать пятом годах. Конечно, и эта сумма не покрыла всех расходов, и я вдобавок подписал множество векселей со сроком платежа три и шесть месяцев. В поисках источников доходов к каким только ухищрениям я не прибегал: брался за переводы, корректуру, за издание классики. Александру Ралли дал мне на перевод «Восстание в пустыне» полковника Лоуренса для Фонда

литературы и искусства, который в то время как раз создавался. А когда, вскоре после того, Александру Росетти, сменивший Ралли, предложил мне заняться изданием трудов Хашдеу, я дал свое согласие с энтузиазмом, в особенности потому, что мне обещали солидный аванс. Я продолжал регулярно писать по две статьи в неделю для «Кувынтул» и одну-две для «Времени», но принимал и любые другие предложения сотрудничества, за которые платили.

Часть дня уходила на перевод Лоуренса, переводил я второпях и, что неудивительно, получалось не ахти как. Но поскольку срок, к которому я обещал подать рукопись (и, соответственно, получить остаток гонорара), истек, я прибег к отчаянному решению: расшил книжку на части и попросил перевести по порции Мэри Полихрониаде и Венди Нойку; затем купил французский перевод «Восстания в пустыне» и распределил по главам между Ниной, Михаилом Себастьяном и еще двумя нашими друзьями. Я пообещал сам себе, что проверю и поправлю переводы, сделанные другими, и сдержал данное слово, насколько мне позволило время. Однако, как мне помнится, когда в декабре я подал Росетти рукопись, в ней осталось несколько десятков страниц, которые я не успел даже прочесть. Я попытался спасти перевод, испещрив корректурой гранки, но все равно в полной мере мне этого не удалось. «Восстание в пустыне» стало похоже на то, что я хотел и что мог из него сделать, только со второго издания.

Кроме всего прочего, мне надо было к началу ноября подготовить курс лекций. На свое счастье, я заявил курс «Проблеме зла и спасения в истории религий» и семинар «Распад концепции причинности в средневековой буддийской логике». Я много размышлял над этими проблемами, прилично знал первоисточники, так что мне оставалось только прикинуть план курса. Но когда я в урочную пятницу явился на филологический факультет (моя лекция была с пяти до шести) и подошел к аудитории «Титу Майореску», я подумал, нет ли тут ошибки. Мне не верилось, что публика, толпившаяся в коридоре, пришла послушать меня. Повторилась ситуация с первыми симпозиумами «Критериона». Я с трудом проложил себе путь в профессорскую. К счастью, Нае Йонеску отсутствовал. Мне было стыдно, что на открытие моего курса собралось больше публики, чем собирается на его лекции, хотя большинство, я понимал, пришли не с тем, чтобы узнать, в чем состоит проблема зла и спасения, а чтобы увидеть и услышать автора «Майтрейи».

Я не ошибся. Когда я вышел на кафедру, меня поразили не только битком набитый амфитеатр и гроздья облепивших стены людей, но и, главное, светский характер публики. В передних рядах тесно сплотились элегантные дамы и барышни, веяние их духов отчетливо доходило до кафедры. Женщины, впрочем, составляли большинство.

Возможно, там были и студентки с филологического, но не думаю, что они посещали и другие курсы по философии, за исключением разве лекций Нае Йонеску. Я уже поднаторел в выступлениях, так что мне удалось проговорить почти час, не заглядывая в записки, которые я держал в кармане, и, хотя концепцию зла и спасения на примере Индии представил довольно-таки сухо, меня слушали, как оракула, и наградили аплодисментами, как на политической сходке. А когда я сошел с кафедры и направился в профессорскую, за мной потянулся плотный шлейф дам и девиц. Они заполонили всю комнату до отказа, а часть «поклонниц» осталась снаружи, ждать, когда до них дойдет очередь. Большинство пришли, просто чтобы познакомиться, сообщить, что хотят побольше узнать об Индии, или куда-нибудь меня пригласить: на чашку чая, на концерт или выступить перед избранной публикой. Некоторые заводили разговор о «Майтрейи» и даже вынимали из сумочек свои экземпляры в надежде, что я надпишу их. Но я довольно-таки резко отвечал, что здесь, в стенах университета, не вступаю в литературные дискуссии, а экземпляры надписываю только в День Книги. Мне понадобилось примерно полчаса, чтобы переговорить со всеми, кто проник в профессорскую (среди них было и несколько робких студенток, пришедших за библиографическими подсказками). Потом я извинился, сказав, что меня ждут на другом конце города.

По дороге я улыбался: кому бы из этих богатых и изысканно одетых дам и девиц пришло бы в голову, что я спешу домой, потому что, если не успею написать статью до одиннадцати, когда сажусь за роман, то не получу своих пятисот лей от газет «Время» или «Кувынтул» и через три-четыре дня мне нечего будет дать Нине на пропитание? Я улыбался, но ни о чем не жалел. Великое испытание, я чувствовал, только начинается. Страшновато, может быть, и было, но ни за что на свете я не пошел бы на попятный.

* * *

Большинство моих друзей отнеслись к моему решению с сердечной тоской. В их глазах, я совершил ошибку, которая могла меня погубить. Мало того, что женился на бедной (они еще больше удивились, узнав, что по моему настоянию Нина уволилась из Телефонного общества), — но к тому же на женщине несколькими годами старше меня и с ребенком, а, главное, не принадлежавшей к нашей среде — «художников и интеллектуалов». С тревогой задавались они вопросом, под силу ли бывшей офицерской жене поддерживать и «вдохновлять» писателя (он же ученый), да еще такого, как я, эксцентричного и неуправляемого. Мой поступок казался им абсурдным и притом

опасным. Я столько раз твердил, что не собираюсь жениться — и вдруг завел общий дом с Ниной, что для многих подразумевало тайный или неминуемый брак. Выкинуть такое именно сейчас, в начале своего мощного литературного взлета, когда можно было бы иметь без счета «авантюр», в которых писатель набирает «опыт». Зная мою бедность, друзья думали, что мне придется отказаться от многих моих принципов, чтобы расплатиться за квартиру и обстановку: придется, например, строчить романы на потребу публике, стряпать посредственные научные труды (иначе на что покупать дорогие книги, на что путешествовать и т.д.?).

Кое-кто из друзей пытался даже поговорить со мной, дать мне совет. Я, разумеется, не мог сказать им, что, по крайней мере, на ближайшее время главной целью моей жизни будет сделать Нину счастливой через *restitutio in integrum*. Не мог я и ссылаться на любовь, потому что они точно так же, как мои родители, спросили бы меня, какая связь между любовью и «буржуазными» замашками, которыми я вдруг заразился: слишком большая для моих нужд квартира, слишком дорогие книжные шкафы. Двойственное положение: с одной стороны, я работал как каторжный, чтобы платить за квартиру и отдавать долги, с другой, опустился до идеала самых что ни на есть типичных молодоженов-буржуа. Моя предстоящая жизнь на бульваре Динику Голеску угнетала их своей банальностью, отсутствием «стиля». То, что они сами, мои друзья, пошли на такую жизнь несколькими годами раньше, — это не считалось. У них-то не было моего везения: побывать в Индии в 21 год, встретить Майтрейи, помедитировать в гималайском монастыре, а, вернувшись домой, тут же «войти в литературу», получить место университетского лектора в 26 лет и прочая и прочая. Они именно хотели бы видеть, как проживает свою жизнь человек, который родился в сорочке, как в Бухаресте продолжается та авантюра, которую я затеял пять лет назад своим отъездом в Индию; им бы понравилось, если бы я, например, примкнул к изысканному обществу, появлялся бы на наших сборищах в сопровождении экзотических или просто экстравагантных любовниц, остался бы тем, кем они знали меня с отрочества: оригиналом, человеком со странностями. Можно было понять их разочарование наполам с досадой, когда я повел себя, как провинциальный студент, который женится сразу после диплома и на приданое жены «устраивает гнездышко». (С той только разницей, что у Нины не было ни гроша. Как я любил потом хвастаться, в приданое мне досталась девочка семи-восьми лет, Адальджиза.)

Да можно ли в такой «среде» сохранить способность к творчеству? — недоумевали они, боясь, что я стану неудачником. Некоторые в конфиденциальных разговорах уже называли меня «конченым че-

ловеком», прибавляя, что от судьбы своего народа не очень-то уйдешь. Румынские гении и таланты пролетают, как метеоры: либо безвременно погибают, либо терпят крах.

Часть этих соображений и тревог я узнал тогда же, из уст друзей, которые пытались спасти меня *in extremis*, часть узнал позже. В каком-то смысле я с ними соглашался. Я не мог отрицать, что взял на себя большой риск. Если бы даже когда-то в будущем мне бы удалось это *restitutio in integrum* и Нина получила бы недоданное ей, я рисковал погубить свою собственную судьбу. С другой стороны, я просто не мог не взять на себя этот риск. Я всегда был уверен и повторял это в статьях, лекциях и дискуссиях, что задвинуть в неудачники человека по-настоящему творческого не может ничто, кроме потери свободы. Я не мог поверить, что бедность или богатство, или среда могут «заесть» творческий дух. Если писатель скатывается в неудачники, это не из-за среды или обстоятельств биографии, а просто-напросто из-за того, что у него были скромные или кажущиеся возможности. Хотя в глубине души я чувствовал, что мне *нигде* больше не найти атмосферы моей мансарды, я не мог представить себе, что лишусь способности «творить» в апартаментах на бульваре Динику Голеску. Да, если бы мне было позволено жить рядом с Майтрейи, я, уверен, написал бы сколько-то «великих книг», — но неужели я не смог бы написать их рядом с другой женщиной, рядом с Ниной, например? Мне трудно было в это поверить. И даже в «крайнем случае» моя несостоятельность как писателя или деятеля культуры могла бы иметь положительный смысл, то есть отказ от эфемерной цели ввиду цели «абсолютной» — духовного совершенствования... Так произошло бы, не исключаю, если бы я остался навсегда в Гималаях или если бы мне удалось остаться в живых при Соране. Но в обоих случаях «крах» означал бы только мою самореализацию в другом плане, отличном от литературного или научного.

Так что, при всех рисках, которые я сознательно брал на себя, я не мог поверить, что по виду банальный и буржуазный стиль жизни непременно влечет за собой творческий крах. Мне не верилось, что жизнь меняется со сменой декораций и персонажей, что в мансарде или в ателье станешь и останешься художником, а в приличной квартире непременно превратишься в буржуа. Для меня стилем жизни было непрерывное внутреннее творчество, которое не имело ничего общего ни с материальными условиями, ни со средой или с декорацией, в которую тебя поместили обстоятельства. Кроме того, жизнь, которую я для себя выбрал, казалась мне интересной еще с одной точки зрения. Многие годы я размышлял: что было бы, если бы Гете женился на Лотте или на Лили Шёнеманн? Что было бы, если бы Сёрен Кьеркегор не отказался от Регины Ольсен? (Тот смысл, который

Кьеркегор придавал этому жесту, подвиг меня пять-шесть лет назад отказаться от Ри. Но мне хотелось знать, из этого ли отказа он почерпнул свою творческую силу, — или отказ просто направил ее в известное нам направление; в таком случае, мне хотелось бы знать, какого *другого* Кьеркегора мы бы имели...) Я задавал себе вопрос: как эволюционировали бы те или иные писатели, которыми я восхищался, если бы они в юности решились на «банальное» существование.

Что до меня, то банальные жизни меня привлекали. Я думал, что если фантастическое, или сверхъестественное, или сверхисторическое каким-то образом нам доступно, то встретить его мы можем не иначе как закамуфлированным в банальное. Как я верил в нераспознаваемость чуда (именно потому, что начиная с Воплощения чудо камуфлировалось в события и персонажи *по виду* профанные), точно так же я верил в необходимость, на диалектическом уровне, камуфляжа «особенного» — в банальное, и трансисторического — в исторические события. Эти мысли, которые мне предстояло позже сформулировать в «Змее» (1937), «Купальской ночи» (1949–1954) и в нескольких работах по истории и философии религий, были мне поддержкой в моем новом опыте. Когда, вместо того чтобы вернуться в Индию, я принял ситуацию, неизбежно ведущую к женитьбе, я, в сущности, знал, что в Бухаресте мне придется заниматься тем же, чем в Калькутте или Бенаресе, а именно: камуфлировать свою «тайную жизнь» видимостью полного погружения в научные исследования. С одной только разницей: на сей раз тут присутствовал в некотором роде трагический момент, поскольку все зиждилось на той посылке, что я безошибочно понял свою судьбу. Как раз из-за того, что женитьба на Нине *казалась* катастрофой, все должно было быть, при моей вере в диалектику и тайну камуфлирования, в точности наоборот.

Не все мои друзья равно пессимистично глядели на вещи. Михаил Себастьян сказал мне, что я не мог бы сделать лучшего выбора. Те, кто знали Нину давно: Флория Капсали и Мак, Г. Раковяну, Нинины кузены, Габриэль и Адриан Негряну, — были в восторге. Нае Йонеску воспринял новость с тем же интересом, с каким относился ко всем злоключениям и авантюрам тех, кто был ему дорог, но комментариев, по крайней мере, сразу, не сделал никаких. Его брак был неудачным, и уже много лет они с женой жили врозь, хотя и не развелись. Профессор верил только в любовь — в любовь, говорил он, как «орудие познания» и как «средство спасения». И именно в тот период его тогдашнему страстному увлечению снова грозил серьезный кризис.

Но по прошествии немногих месяцев в моем окружении начали понимать, что испугались понапрасну. Во-первых, я остался прежним, не отказался ни от одной из своих привычек. Во-вторых, мои

друзья нашли в Нине умную, добрую и обезоруживающе искреннюю подругу, что в конце концов их покорило. Со временем они пришли к мысли, что благодаря Нининой любви и преданности я стал «неуязвим». Зная, что она рядом со мной, они перестали бояться за мое будущее. Что бы ни случилось, Нина, они знали, сумеет вызволить меня из любой передряги. Прошло несколько лет, и в глазах моих друзей Нина стала больше, чем «идеальная жена», — она стала легендарной фигурой, без которой, по их представлениям, я вряд ли мог бы делать то, что делал. Восхищала в ней прежде всего исключительная энергия, которую превосходили только такт и юмор, с какими она ее вуалировала. Помню, что когда я раз спросил Камила Петреску, это было в тридцать четвертом или тридцать пятом году, почему он не женился, он ответил, что ему не выпало счастье встретить «свою Нину Мареш». Его особенно потрясало то, что Нина, хотя жила исключительно для меня, так хорошо это скрывала, что он понял это далеко не сразу. Как он мне однажды признался, его стесняли слишком очевидные любовь и преданность, но и жениться он не смог бы ни на ком, кроме такой женщины, которая не только была бы в него влюблена, но и полностью растворялась бы во всем том, что он думал, во что верил, о чем мечтал.

Я спрашивал себя по прошествии времени, что было бы, если... Если бы, например, мы не оказались рядом в тот рождественский вечер, или если бы Нина влюбилась не в меня, а в Михаила Себастьяна. Прекрасно понимая, что игра в «что было бы, если» лишена смысла, я не переставал в нее играть. В какой степени приближались к истине гипотезы, которые я строил, не знаю, но я думал, что, как бы долго ни длилась моя связь с Сораной, в конце концов мы все равно бы расстались. Вполне возможно, я бы воспользовался своей свободой и повел бы, в той или иной степени, жизнь молодого удачливого писателя. За эти годы я написал бы, может быть, меньше, потому что мне не нужны были бы деньги, но и книги, не исключено, получились бы лучше. Чтобы я вообще не женился, в это мне верилось с трудом. Но, насколько я себя знаю, думаю, что расстался бы с любой женой после первой же «сцены» или при первом же непонимании, или при попытке поломать мой образ жизни. Вряд ли нашлось бы много жен, которые могли бы сохранять любовь, доверие и ровный нрав рядом с таким человеком, каким я был в те времена. Бывало, я спускал на книги, заказанные в Лондоне или Лейпциге, все университетское жалованье и, придя домой, обнаруживал, что денег осталось ровным счетом на завтрашний обед; частенько возвращался из города самдруг, забыв протелефонировать, что приведу к обеду гостя; приглашал, случалось, по десять-пятнадцать человек на вечеринку и до утра сидел с ними за беседой; вел жизнь беспорядочную, ставил все с ног

на голову, работал ночами до рассвета и ложился спать утром (причем требовал, чтобы не было никаких звонков, ни телефонных, ни в дверь, ни шагов по дому); бесконечно получал письма и звонки от «поклонниц» — письма находил на рабочем столе, а на звонки Нина отвечала с чувством юмора, прося незнакомку подождать минуту и приходя ко мне со словами: «Тебе звонит поклонница. Подойдешь или сказать ей, чтобы позвонила через часок, когда ты кончишь статью?»

Я спрашиваю себя, опять-таки, что было бы, если бы моя жена была богата или имела бы аристократические замашки. Вероятно, я ушел бы при первых же ее попытках намекнуть на свое богатство или на престижность семьи. Не менее вероятно, что с ее друзьями я бы не ужился, хотя и попытался бы свести ее со всеми своими, в большинстве своем принадлежавшими к богеме: с писателями, актерами, художниками, журналистами. Это привело бы к «сценам», а поскольку сцен я не выношу, я бы ушел. Но если бы даже она приняла меня таким, как я есть, и приняла бы моих друзей, вполне могло бы быть, что мы бы не пришли к согласию по главной проблеме: о детях. По разным причинам я не хотел заводить детей — в обозримом будущем. Трудно представить, что мои мотивы убедили бы гипотетическую молодую жену. (Тут Нина пошла на еще большую жертву, и эта тайная драма дает ключ к роману «Небесная свадьба».)

Что бы я там себе ни напридумал, жизнь моя обернулась бы по-другому — счастливее, несчастливее, — но по-другому. В любом случае, у меня не было бы утешения, что при всем моем эгоцентризме хотя бы в одном я преуспел: в том *restitutio in integrum*, в котором сам себе поклялся одним сентябрьским вечером 1933 года. Нина никогда от меня не таила, что счастлива, всегда присовокупляя, что ее страшит такое счастье. Она все это вспоминала на смертном одре, в 1944; но тогда ей уже не было страшно. Как она и предвидела, она умерла молодой. Последний год дался ей очень тяжело не только из-за болезни, но и прежде всего потому, что она боялась, как бы я не узнал, что у нее рак. Она заклинала докторов, мою семью в Бухаресте, друзей в Румынии и в Лиссабоне ничего мне не говорить, чтобы не дай бог не заставить страдать, не встревожить и не помешать моей работе. Ко всеобщему удивлению, тайна была сохранена. Я узнал о ее настоящей болезни не ранее, чем за несколько дней до того, как она ее убила.

* * *

В ноябре привезли стол и шкафы, которые закрыли все стены, с пола до потолка. Я до известной степени обрел покой и одиночество своей мансарды, чтобы работать ночами над последними главами «Возвращения из рая». Возобновились симпозиумы «Критериона» в Королев-

ском Фонде, но мы арендовали и залу Фонда Даллеса, где начали цикл лекций, посвященных истории музыки. Мне досталась в качестве темы музыка азиатская и первобытная. Поскольку лекции сопровождались хоровыми и инструментальными примерами, надо было подыскать записи и аранжировки. У меня самого нашлось только несколько пластинок с бенгальскими религиозными и народными мотивами и две-три аранжировки балийских мелодий. Большую часть материала я нашел у Г. Брязула. Несколько молодых музыкантов вызвались сделать переложение мелодий Африки, Азии и Океании для инструментов, которыми мы располагали, и сымпровизировать хоровое пение, которое бы воспроизвело как ритмы экваториальной Африки, так и тоскливую монотонию индонезийских напевов. Спектакль имел необыкновенный успех. После вступительного слова, минут на десять-пятнадцать, об индийской музыке, бенгальской в частности, я ретировался, уступая место инструменталистам и хору, и в зале Фонда Даллеса звучали, впервые, может быть, в Румынии, мотивы из Траванкора или Пури. Я снова выходил на сцену и, в меру своих сил рассказав о мифологии и религиозных представлениях тех или иных архаических народностей, снова скрывался, а публика завороженно слушала ритуальные песни банту, меланезийские речитативы, выкрики-синкопы австралийских племен. Каждая последующая лекция цикла собирала все больше и больше энтузиастов. В завершение, Петру Комарнеску прочел доклад о джазе, обильно проиллюстрировав его лучшими образцами джазовой столицы.

На мой курс «Проблема зла и спасения» по-прежнему приходило порядочное количество народа. Несколько докладов я посвятил буддизму. Помню, когда я взошел на кафедру и объявил: «Сегодня я буду излагать закон Двенадцати Причин», — зал, после мгновенного ропота, замер в таком неестественном, экстатическом затишье, что я даже впал в замешательство, не зная, с чего начать. Послушать меня приходили теперь многие мои друзья — и враги. Раз, после лекции об упанишадах, в профессорскую зашел Эмиль Чоран — сказать, что я выступал с таким пылом и в таком ритме, что еще десять минут, и его бы разнесло на куски или он сам, тут же, наложил бы на себя руки!..

Но не все выражали такой же энтузиазм. После лекции о буддизме Оскар Лемнару (чьи первые статьи я опубликовал два года назад в «Кувынтул», чего он не мог мне простить и с тех пор не упускал ни единого случая напасть на меня) сказал, что ничего не понял, что я говорю скороговоркой и злоупотребляю специальными терминами. А Посеску, обеспокоенный наплывом ко мне студентов и специально пришедший послушать, посоветовал не читать лекции стоя и в свободной манере, но брать пример с него: усаживаться на стул, хорошенько упираться локтями о стол и говорить четко, ровно, без жести-

куляции и по плану, составленному и продуманному дома (две-три странички, не больше). К счастью, после лекции ко мне подходили и студенты с философского, медицинского и богословского факультетов, которые укрепили меня в моем убеждении, что я годен для чтения лекций только в своей манере и что мне бесполезно менять себя. Таков был мой «стиль» — спонтанный, несистематический, личностный, преследующий цель, в первую очередь, не информировать студента (потому что лучше книг все равно никто не проинформирует), а наводить его на существенные проблемы и, главное, удивлять, «будить» — шоком от резкого поворота к горизонтам, лежавшим до сих пор вне поля его зрения (анамнесис, о котором говорил Дан Ботта).

В некотором смысле я тоже принадлежал к той категории профессоров, которую так блестяще представлял Нае Йонеску: тех, кто не повторяет текст, заготовленный дома, а «обдумывает вопрос» прямо на кафедре, перед студентами. С той громадной разницей, что у меня не было уникального дара Нае Йонеску делать доступными для понимания даже крайне специальные вещи; и у меня не было его гениальности строить лекцию, как симфонию: отсекать лишнее, перебирать в последние пять минут все поднятые сегодня темы и сводить их вместе, проясняя каждую в свете целого. Мои лекции носили не столь систематический характер и могли вполне показаться импровизациями, поскольку я отвлекался на размышления и комментарии, провоцируемые реакцией зала. (Я мгновенно угадывал, поняла публика то, что я сказал, или нет; кроме того, я чувствовал, какие идеи или замечания ее заинтересовали. «Публику» для меня, разумеется, представляли те несколько десятков студентов, за чьими внимательными взглядами я следил.)

Часто по ходу лекции я «открывал» аспекты или смыслы проблемы, которые до тех пор не замечал, хотя сама проблема была мне знакома и я изучал ее много лет. В конце ноября Нае Йонеску попросил меня взять вместо него на год курс по психологии в институте физического воспитания. Психология не очень меня занимала, но я согласился. У меня был час в неделю, и платили 5000 лей. (Остаток жалованья забирали на покрытие займа, который взял у института Профессор.) Эту сумму Нае Йонеску предложил мне, когда я раз обмолвился о вопиющей к небесам несправедливости — что нет ни одного издания произведений Хашдеу. Профессор спросил меня, не расположен ли я начать предварительные исследования, если он будет давать мне пять тысяч лей в месяц в течение года. Затем мы посмотрим, в какой мере возможно издать наиболее полное собрание сочинений Хашдеу, сколько в нем будет томов, каков состав и так далее. Я уже несколько раз побывал в библиотеке Академии, но серьезно к работе еще не приступал. Чтобы подтолкнуть меня, Нае Йонеску

и предлагал мне теперь свое жалованье в институте физического воспитания. И в самом деле, как только я поставил точку в «Возвращении из рая», я приступил к работе над изданием Хащдеу.

«Возвращение из рая» я кончил в начале декабря. Книга была фактически набрана, и, посылая в типографию последние страницы, я надеялся, что она успеет выйти к Рождеству. Однако Чорней счел, что уже поздновато, и отложил ее выпуск до начала января.

Декабрь 1933 года для нашей компании прошел напряженно. Нае Йонеску перестал скрывать свою откровенную враждебность к королевской политике. В целом ряде статей он выражал протест против правительства Дуки и привлекал внимание к тем опасностям, которые влек за собой роспуск Железной гвардии, — акт, который он считал не только незаконным, но и бесполезным. Либо, говорил он, речь идет о движении надуманном, не имеющем корней в румынской общественной жизни, и тогда роспуск бессмыслен, поскольку оно все равно сойдет на нет, само по себе; либо, напротив, это движение подлинное, сильное и набирающее мощь, и тогда его нельзя упразднить министерским указом. В ту осень Нае Йонеску познакомился с Кодряну и ходил к нему в Каса Верде[84]. На него произвело впечатление, что *сделано* что-то конкретное, в данном случае — дом. Он сказал об этом Кодряну, а когда тот заметил, что и он, Нае Йонеску, много всего сделал, Профессор его перебил: «Нет, все, что я до сих пор сделал, — это двух мальчуганов. Немного, но все же кое-что. Остальное делал не я: в политике я только садовничал, полол грядки, поливал деревья, цветы, овощи. Не я делал плоды. Я только помогал им расти, защищал от сорняков...»

Новый год мы встречали у Йонела Жиану. Но накануне И.Г. Дука был убит на перроне вокзала в Синае. Хотя Йонел Жиану попросил гостей не говорить о политике, в ту ночь мы не сходили с этой темы. Только на другой день я осознал последствия покушения на Дуку. «Кувынтул» закрыли, а Нае Йонеску арестовали. Арестовали и верхушку легионеров (из группы «Критерион» — Михаила Полихрониаде и Александру Телла). Поскольку было объявлено чрезвычайное положение, снова ввели цензуру — не только в отношении газет, но и книг тоже. «Возвращение из рая» должно было выйти из печати на той же неделе. С нелегким сердцем я представил несколько экземпляров на цензуру, памятуя, сколько там пассажей, из-за которых книгу могут запретить; в первую очередь — описание забастовки в мастерских Гривицы с упором на зверства жандармов и военных.

Мы встречались в редакции «Кувынтул» и гадали, что будет с Нае Йонеску, с газетой, с нами. Через несколько дней мы узнали, что Профессора держат в Котроченской казарме и что его допрашивал военный прокурор. Его хотели любой ценой вовлечь в судебный процесс

за подстрекательство к убийству — на основе нескольких статей из «Кувынтул». Примерно неделю спустя мы узнали, что он попросил принести ему из библиотеки «*Sein und Zeit*» и «Поэзию и правду»[85]. Ходили всякого рода слухи насчет диктатуры, которую якобы готовился установить король Кароль. Может быть, многие из них соответствовали истинному положению дел. Однако вердикт, вынесенный военным судом, напомнил королю Каролю, что он еще не может опираться на армию. Были приговорены к пожизненному заключению убийцы Дуки. Корнелиу же Кодряну и всю остальную верхушку легионеров оправдали как непричастных к этому убийству. Все они с торжеством разошлись по домам. Мы, друзья и сотрудники газеты «Кувынтул», собрались, чтобы отпраздновать освобождение Профессора. (Освободили его несколькими днями раньше, так и не возбудив против него дела.) Но напрасно мы являлись, как обычно, каждый день в редакцию. Запрета с газеты не сняли. Дворец мстил, как мог, до поры до времени, в ожидании конечной расправы. Хотя многие другие правые и крайне правые газеты и журналы регулярно выходили, газете «Кувынтул» пришлось ждать четыре года. Когда же, наконец, добились ее возобновления, в январе 1938, это была скорее грустная песня. Цензура усиливалась, а Кароль II спешно готовился ввести диктатуру. «Кувынтул» продержался три месяца и был запрещен окончательно в марте 1938.

* * *

За несколько дней до убийства И.Г. Дуки религиозный поэт Санду Тудор затеял выпуск нового еженедельника «Крединца». Помню, в ноябре Тудор попросил меня пойти с ним к одному важному деятелю из министерства финансов, чье имя я за давностью лет забыл. Деятель оказался средних лет, довольно потертый на вид и с обдуманными жестами. Для начала он заявил, что, «поскольку пахнет грозой, порывы ветра сметут все обломки», потом спросил нас, расположены ли мы выпускать газету «честную и смелую». Санду Тудор немедленно заверил его, что готов. Я же ответил, что моя приверженность к «Кувынтул» возбраняет мне сотрудничество с другим еженедельником. Деятель стал убеждать меня оказать содействие газете «по крайней мере, в начале — наладить выпуск». Санду Тудор нажал со своей стороны, прося «помочь, чтобы у нашего поколения тоже была своя газета». В конце концов, я уступил их просьбам, но с условием, что буду писать свои статьи под псевдонимом и ограничу сотрудничество с газетой тремя первыми месяцами. Я был более чем уверен, что этот проект провалится или не протянет более пяти-шести месяцев. Я ошибся. На волне политических обстоятельств, а, главное, на волне

скандалов, которые «Крединца» впоследствии затеяла, предприятие имело бурный успех.

Я писал статьи прямо на месте, в редакции «Крединца», и подписывался Йон Плэш. Испытывал я при этом как угрызения совести, так и ярость. Когда Нае Йонеску попал в тюрьму, а «Кувынтул» запретили, эта бульварная газета оказалась без тормозов. Статьи Санду Тудора были неудобочитаемы. Написанные с претензией на «поэтичность», агрессивно-морализаторские, они гневно обличали — всегда расплывчато и в обобщенной форме — преступления, злодеяния и вообще изъяны нашего общества. Видя, что я твердо решил не отрекаться от «Кувынтул», Санду Тудор пригласил в качестве главных сотрудников П. Манолиу, Захарию Станку и Э. Жебеляну.

Роман «Возвращение из рая» появился на книжных прилавках в конце января. Нае Йонеску прочитал его, еще находясь в заключении, и назвал «книгой висельника». Он спрашивал, откуда во мне такие залежи тоски и горечи, откуда такая склонность к жестокому, варварскому и безнадежному. Ответить, опираясь на автобиографический контекст романа, было нелегко. Тем не менее я ответил, что атмосферу романа, которую он ставит мне в упрек, я чувствую вокруг: по напряженности, конфликтам, брутальности, а прежде всего, по трудноопределимому чувству, что наша эпоха вошла в переломный период, — я с очевидностью ощущал это после убийства И.К. Дуки и его следствий. Группа «Критерион» продолжала пользоваться успехом, но и по ней прошла трещина. Все труднее и труднее было собирать на одной трибуне легионеров, либералов и коммунистов. Отношения между критерионцами оставались по-прежнему дружескими, только теперь кое-кто из нас, Полихрониаде и Телл, среди прочих, больше уже не могли, или не хотели, обсуждать на публике определенные проблемы с некоторыми собеседниками.

* * *

«Возвращение из рая» удивило многих моих друзей, так же как и большинство критиков. Роман, написанный следом за «Майтрейи», которая вся была — нежность и прозрачность, — четырехсотстраничный опус, изобилующий героями, которые мало чем отличались друг от друга, и претенциозно-абстрактными диалогами вперемежку с внутренними монологами, богатый на сцены насилия и жестокости, искусственно выпячивающий повсюду Павла Аничета, — такой роман не мог не сбить читателя с толку. В каком-то смысле я это и ставил себе целью, потому что никоим образом не был расположен поддерживать марку «молодого блестящего автора», каким меня сделал успех «Майтрейи». Мой последний роман стал для меня одним из

звеньев той литературной цепи, что началась с «Романа о подростке в очках» и должна была продолжиться во множестве разных планов. С моей точки зрения, «Возвращение из рая» было моим первым настоящим эпическим романом. Так что я имел право ввести туда столько персонажей и «проблем», сколько их числилось в моей жизни. Точно так же я считал себя вправе использовать, по своему усмотрению, любые литературные приемы.

Споры вокруг «Возвращения из рая» несколько приутихли к марту, когда в «Картя ромыняскэ» вышел «Меркнущий свет». Этот роман тоже немало удивил читателя. Те, кто надеялся понять смысл книги, прочтя вторую часть (первая выходила порциями в «Кувынтул» 1931 года), остались разочарованы. Вторая часть показалась им совсем заумной, а внутренний монолог уступил место «*stream of consciousness*», из-за чего некоторые страницы было вообще трудно читать. Один только Йон Бибери написал восторженную статью, потому что он один из тогдашних критиков читал «Улисса» и выдержки из моей *Work in Progress*. Что касается меня самого, то я давно понял, что «Меркнущий свет» — книга неудачная, и опубликовал ее только потому, что она принадлежала к истории моих литературных опытов, дополняла эпический мир, начало которому положил «Роман о подростке в очках».

Мы часто виделись с Михаилом Себастьяном. То, что выпуск «Кувынтул» приостановили, больно ударило по нему, хотя Нае Йонеску старался изо всех сил, чтобы редакторам платили хотя бы часть жалованья. Себастьян давно начал писать роман под названием «Две тысячи лет напролет», и Профессор обещал ему предисловие. Последние события предвещали, в каком ключе будет написано это предисловие, но Михаил Себастьян не допускал и мысли об отказе от него. Он слишком любил Нае Йонеску, слишком им восхищался, чтобы все это перечеркнула нынешняя политическая ориентация Профессора, как бы она его ни тревожила и ни огорчала. Себастьян часто приходил пообедать с нами и жаловался, что ему никак не удается завершить роман. Он подрядился писать хроники и статьи для «*L'indépendence roumaine*» и для «Рампы», но писать надо было по пять-шесть статей в неделю, и Михаил страдал от этой трудовой повинности, только истощавшей его силы.

Той весной группу «Критерион» потряс еще один «кризис». Габриэль Негри устроил в оперном театре танцевальный спектакль, который имел неожиданно большой успех. В антракте Флория Капсали, которая была его преподавательницей, не смогла сдержать приступ зависти и заявила перед журналистами, что «*L'après-midi d'un faune*»[86] Габриэль Негри истолковал «сквозь призму педераста». В нарядной программке, которую напечатал Габриэль, среди прочих были тек-

сты Мирчи Вулкэнеску и Петру Комарнеску. На другой день «Кредин-ца» опубликовала заметку, в которой давалось понять, что «Критерион» поощряет мужеложество. Встретив Санду Тудора в кофейне «Корсо», Вулкэнеску потребовал от него объяснений. Не знаю, что ответил ему Санду Тудор, но присутствовавший при разговоре Александру Телл дал последнему пощечину и вызвал на дуэль — так началась долгая и гнусная кампания против Вулкэнеску, Телла, Комарнеску и Габриэля Негри. В сущности, министерство внутренних дел, которое всячески эту кампанию поощряло, использовало ее для компромитации «Критериона». Можно было взять реванш за те залежи зависти и ревности, которые вызывал и питал наш беспрецедентный успех. Особенно не знали удержу статьи, не всегда подписанные, Захарии Станку и Петру Манолиу, напоминая — за вычетом литературного таланта — памфлеты Н.Д. Кочи против монархии. Гнусность кампании состояла в том, что ее вела кучка журналистов и писателей против других писателей и людей искусства, и вела, хорошо зная, что мотивы ничем не обоснованы. Но благодаря этим сенсационным репортажам «Крединца» удесятерила свой тираж и стала самой популярной вечерней газетой. Скандал пришелся правительству весьма кстати — как отвлекающий маневр. Со своей стороны, министерство внутренних дел намеревалось любой ценой парализовать деятельность «Критериона», группировки крайне подозрительных интеллектуалов, тем более опасных, что они стали слишком уж популярными.

Как и следовало ожидать, «Крединца» и Санду Тудор проиграли в процессе, возбужденном по факту клеветы Теллем и Вулкэнеску. Но, разумеется, только очень немногие читатели узнали о приговоре, потому что газеты напечатали эту заметку так, что обнаружить ее было нелегко. Кроме того, Санду Тудор подал кассационную жалобу, а потом апелляцию, так что когда приговор был вынесен окончательно — 1 лей за моральный ущерб, — про скандал уже забыли. Тем временем «Критерион» прекратил свою деятельность. Поводом стала студенческая манифестация, которую префектура полиции попыталась разогнать: сначала дала ей набрать размах, а после прислала в Королевский Фонд роту жандармов.

Результаты кампании, развернутой газетой «Крединца», оказались катастрофическими. Старые и новые дружеские связи — как те, что были между Санду Тудором и Вулкэнеску, Флорией Капсали и Габриэлем Негри, Петру Комарнеску и Петру Манолиу, — распались. У Габриэля Негри случился нервный срыв, который на много лет отстранил его от сцены, а Петру Комарнеску какое-то время не решался выступать с лекциями, и его безграничные знания и способность зажигать словом оставались невостребованными. Благодаря кампании «Крединцы» единство группы «Критерион» дало трещину, а по-

литическая напряженность 1935–1939 годов ее только углубила. Телл выпускал, в 1934 году, журнал под названием «Критерион», но выдвигал свои условия для сотрудничества; вышло только несколько номеров, и журнал прекратил существование.

* * *

Ко Дню Книги 1934 года издательство «Куджетаря» выпустило сборник «Индия», куда я включил часть опубликованных в «Кувынтул» статей и тексты нескольких лекций, которые читал на радио. По-моему, к тому же Дню Книги вышел и роман Себастьяна «Две тысячи лет напролет» с предисловием Нае Йонеску. Себастьян, как я помню, пришел ко мне бледный, с искаженным лицом, сказал: «Он дал мне предисловие. — И добавил, протягивая мне рукопись Профессора: — Это трагедия. Смертный приговор». Я прочел с волнением, но и с сердечным содроганием. Иуда страдает, потому что так должно, писал Нае Йонеску. И объяснял почему: евреи отказались признать мессию в Иисусе Христе. И это страдание в истории отразилось на судьбе еврейского народа, который, именно потому, что отказался от христианства, не может обрести спасения. *Extra Ecclesiam nulla salus*[87].

Для того, кто писал, что «евреи только замешкались на пути к спасению», кто изучал каббалу и иудаистскую мистику и говорил (в 1927–1928 годах, во времена моего студенчества): «Меня так и подмывает бросить и газету, и политику, и отдаться своим древнееврейским штудиям», — это свеженаписанное предисловие означало отход на явно ретроградные позиции. Конечно, и я, и Себастьян понимали источник и смысл этого ретроградства. Профессор знал, что его будет читать определенная публика крайне правых взглядов, и хотел высказаться относительно еврейского вопроса: он рассматривал этот вопрос в плане, прежде всего, религиозном, что позволяло ему не произносить суждений ни политического, ни социального порядка.

Михаил Себастьян не подвергал обсуждению право профессора думать так, а не иначе. Его подкосило другое — что Нае Йонеску воспользовался выходом его первого романа как поводом изложить в предисловии выводы, к которым пришел в последнее время. Но предисловие, повторял Себастьян, он сам у него просил, ждал его столько недель, в то время как книга была уже набрана, и не хотел отступать, чего бы ему ни стоила эта верность Профессору...

Никто из нас не подозревал тогда, как дорого она ему обойдется. Роман подвергся нападкам почти во всей прессе, от крайне левой до крайне правой. Левые упрекали Себастьяна за то, что, принимая интерпретацию Нае Йонеску, он поощряет вековую подтасовку — что антисемитизм якобы имеет корни и объяснение религиозного поряд-

ка. Белу Зильбер написал в «Шантьер» разгромную статью, из-за которой Себастьян был вынужден на долгое время порвать с ним отношения. Со своей стороны, Петру Манолиу написал в «Крединца», что «Михаилу Себастьяну надо перекрыть кислород», не помню уж, чем он это мотивировал. Михаил тщательно собирал все эти статьи, рецензии и брань, поскольку уже в то лето решил написать книгу «Как я стал хулиганом», чтобы ответить на каждую критику, одновременно объясняя смысл романа и соображения, по которым он поместил предисловие к нему Нае Йонеску. Но эти несколько месяцев лета и осени 1934 года Себастьян переживал как тяжелое испытание. Мы виделись почти каждый день, и я подбадривал его, как мог. После, даря мне «Как я стал хулиганом», он признался в посвящении, что находил во мне единственную поддержку в те времена, «когда вокруг него все рушилось».

Я виделся, естественно, с Нае Йонеску и обсуждал с ним доводы его предисловия. Я говорил, что аргумент «Иуда страдает, потому что так должно» (гегельянский тип аргумента) меня не убедил, потому что он отталкивается от исторического факта — страданий евреев — и ищет их корни и смысл в некоем таинстве: Воплощении. Еще я говорил, что не понимаю, как можно утверждать, что евреи или какой-либо другой нехристианский народ не спасутся; это означало бы, что мы подменяем Господа Бога. Ни один богослов не может знать, что решит Господь. Ни один человек не может претендовать на знание того, что случится в *абсолюте*, за пределами истории. Я добавил, что хочу все это обсудить в статье для «Времени», и Нае Йонеску одобрил мое намерение. «Мне будет трудно, — сказал я. — Не потому, что я вас критикую, а потому, что это первая статья, которую я пишу о вас, и так получается, что пишу в отрицательном духе». «Так всегда, — утешил меня Нае Йонеску. — Если ученику есть что сказать, он начинает с того, в чем он не согласен с учителем, и только после этого признается, в чем и до каких пределов он с ним согласен. Конечно, ко мне будут приходить разные люди и будут говорить: "Надо же, как он тебя, твой ученик и почитатель!" А я сделаю вид, что ничего не заметил...»

В то лето «Время» опубликовало две мои большие статьи, которые вызвали негодование у Раковяну. Раковяну разозлился на Себастьяна, прочтя его роман. Теперь он как будто бы разозлился и на меня: ему не понравился мой поступок (критиковать Профессора!), и он довольно-таки резко отозвался о богословских постулатах моей докторской диссертации. Раковяну печатался в «Крединца», я же ответил ему, без всякой обиды, во «Времени». Наша дружба оказалась под угрозой, но я сделал все, чтобы ее сохранить. Только Раковяну с тех пор стал заходить к нам реже из опасения встретиться с Себастьяном.

* * *

Ближе к середине августа я поехал в Берлин — дополнить библиографию к моей диссертации свежими материалами и просмотреть периодические издания по ориенталистике, недоступные в Румынии. Берлинская Государственная библиотека была ближайшей из крупных библиотек, а кроме того, я слышал, что жизнь в Германии дешевле, чем во Франции и Англии. Я отправился прямиком на квартиру, которую нашел мне один мой приятель на Берлинерштрассе в Шарлоттенбурге. Город пленил меня с первого же дня, я даже не разобрался чем. Это была моя первая поездка в Берлин; влюбленный в Италию, Грецию, Восток, я опасался, что буду разочарован. Тем неожиданнее была моя очарованность. Я нашел ту тайну и обаяние Берлина, которые знал по «*Remember*» Матея Караджале. Меня коробило только от красных флагов со свастикой, реющих над домами, и от коричневых и черных рубашек, которые я видел на улицах. Но очень скоро я перестал их видеть. Я гулял по Берлину исключительно по ночам. С утра до позднего вечера работал в библиотеке. Так я работал когда-то в Риме и в Калькутте, с открытия до закрытия. И домой возвращался всегда с ранцем, набитым книгами, которые просматривал или читал в ночные часы. За те пять-шесть недель, что я пробыл в Берлине, я обновил библиографию по «Йоге» и собрал достаточно материалов для «Азиатской алхимии» и для «Мандрагоры». Ни с кем не общался, кроме как с румынским студентом, жившим у той же хозяйки, что и я, и с Николае Арджинтеску. Неплохо было бы, конечно, сделать попытку познакомиться с кем-то из берлинских индологов или историков религий, но это было связано с визитами, встречами и дискуссиями, а время мое было измерено. Я решил оставить эти знакомства на следующее лето, когда снова приеду в Берлин (мне там так понравилось, что я решил повторять это путешествие каждое лето).

Николае Арджинтеску я не встречал со своей доиндийской поры. Мы сдружились летом 1927 года, когда вместе с ним и Ромулусом Котару провели почти два месяца в Женеве. Он уже несколько лет жил в Берлине, неспешно работая над диссертацией по какой-то теме из области эстетики. Как он мне объяснил, ему важно исследование само по себе, а не результат. Не знаю, удалось ли ему защитить диссертацию в Берлине, хотя он пробыл там еще три-четыре года. У него было столько интересов, что он не мог сосредоточиться на чем-то одном. Писал он, впрочем, трудно, тщательно, без конца возвращаясь к написанному, внося поправки, «вычищая стиль». Он был помешан на формальном совершенстве. Восхищался Даном Боттой, в том числе за его стилистическую строгость, и показал мне свою пространную статью о нем. Статья мне понравилась, и я предложил опубликовать

ее в газете «Азь». А поскольку Арджинтеску сказал, что ни с кем не знаком, я пообещал самолично представить его статью и позаботиться о корректуре. (Мне пришлось чуть ли не пожалеть о взятых на себя обязательствах. Арджинтеску многократно просил рукопись назад из Бухареста, чтобы заменить одно слово другим или добавить запятую. Засыпал меня письмами, давая указания, как надо печатать его статью, каким шрифтом, дрожа при одной мысли, что туда вкрадутся опечатки, допытываясь у меня, будет ли редакция расположена дать их список, и так далее. А после того как статья вышла и я сам держал корректуру с такой тщательностью, какой не удостоилась ни одна из моих собственных книг, Николае Арджинтеску продолжал писать мне, интересуясь «откликами» на статью, спрашивая, что я думаю о ней сейчас, по вторичном прочтении — ведь такой текст раскрывается, только когда прочтешь его несколько раз, и так далее и тому подобное...)

С Арджинтеску мы встречались почти каждый день в библиотеке и иногда по вечерам прогуливались по Шарлоттенбургу. Слушать его было всегда одно удовольствие. Не из-за тех интересных вещей, которые он рассказывал, а, главным образом, из-за его фантастического самомнения. Какая прелесть — такое безмерное честолюбие, эти воображаемые миры, в которых он жил (он признался, что его участь сродни донжуановой, и с ним происходят разного рода потрясающие приключения), эта абсолютная уверенность в своей гениальности. В ту пору ему было лет тридцать, и он не написал ничего, кроме нескольких статей, но давал понять, что цена их выше, чем у всего, что написало целое «молодое поколение». И еще он давал понять: он счастлив, что существует, он еще не пришел в себя от самого факта своей собственной эпифании; изо дня в день он открывал, что стал еще одареннее, еще гениальнее, еще уникальнее. Я расставался с ним с сожалением, особенно после тех ночей, когда он намекнул, что, в сущности, я звезд с неба не хватаю, что мой индийский опыт, в культурном смысле, — провинциального свойства, а знание санскрита никому не нужно; что «Майтрейи» — роман неудачный, что так, как я понимаю свои обязанности на кафедре у Нае Йонеску, — это неинтересно, что если бы *он* был на моем месте, он придал бы делу совершенно другой размах, так же, как и «Критериону», — находись *он* тогда на родине...

Меня давно занимал вопрос, почему меня так привлекают люди, которые имеют преувеличенное мнение о себе и декларируют его, почему меня тянет к мегаломанам-неудачникам, к писателям, которые страдают манией величия, к темным, посредственным личностям, надутым от спеси, в чьих глазах читается одно только холодное упоение своим абсолютным триумфом. По-моему, никакого внятного ответа я

не нашел. Но я счел нужным упомянуть здесь о своем странном пристрастии, поскольку, как я подозреваю, у него есть свой смысл...

* * *

Я вернулся в конце сентября, и из долгого путешествия «Берлин—Бухарест» в вагоне третьего класса вынес сюжет одного романа, который придумал, глядя в окно на леса, тонущие в вечернем тумане. Перед войной, где-то в 1910–1912 годах, на летних каникулах в Текирдёле или в Мовиле, встречаются молодой человек и девушка, влюбляются и даже тайно обручаются. В силу разных причин они не могут пожениться и расстаются. Через несколько лет и он, и она заводят каждый свою семью, детей. И его, и ее подхватывает и несет по жизни. Начинается и кончается война. Проходят годы. Они снова встречаются через двадцать лет, оба свободны, давняя любовь возрождается. Наконец-то они могут пожениться. Наконец-то наступает для них настоящая жизнь...

Мне бы хотелось написать этот роман, но я не смел ни за что браться, пока не кончу трилогию «Возвращение из рая». Однако сюжет преследовал меня долго. Я снова вспомнил о нем в июне 1949 года, в Париже, когда начал писать «Купальскую ночь». Тайна возмещения «потерянного времени», бесспорно, увлекала меня уже с двадцати семи лет — надежда, что все можно спасти, если суметь начать жизнь *ab initio*. И, вполне вероятно, эта вера, что нам дано рождаться вновь через возвращение к «началам», позволила мне, несколькими годами позже, понять сущностную характеристику человека архаических и традиционных обществ, которую я подверг анализу в «*Le Mythe de l'éternel retour*».

Сразу же по прибытии в Бухарест я взялся за подготовку сборника эссе «Океанография» — я обещал его Вирджилу Монтауряну, владельцу книжной лавки «Культура попорулуй», излюбленного места встречи писателей. Вирджил Монтауряну был большим энтузиастом современной румынской литературы, и в то время как покупатели спрашивали, за очень редким исключением (М. Садовяну, Йонел Теодоряну, Чезар Петреску), французские романы или романы английские и американские в переводе, Вирджил Монтауряну старался представить читателю книги румынских писателей, особенно молодых. Когда он предложил мне издать сборник эссе, я с радостью согласился. Мне очень хотелось собрать вместе эссе последних лет, потому что они именно с этой целью и писались. Я считал тогда — считаю и сейчас, — что иногда статьи и эссе выигрывают, если их читать или перечитывать в одной книге. Выигрывают, то есть поворачиваются той стороной, которая не была видна при первом их прочтении

в периодике. Какие-то аллюзии или побочные наблюдения, сделанные в одной статье, подхватываются или дополняются в других текстах, написанных позже; но этого не заметишь, если не собрать всё под одной обложкой. С такой мыслью я писал серию статей для «Времени», их заголовок всегда начинался с предлога «про» («Про один аспект вечности», например). Я думал о читателях не столько «Времени», сколько будущего сборника.

Отбор и правка текстов, которые должны были войти в «Океанографию», заняли у меня не слишком много времени. Я сочинил также особое предисловие на семнадцати страницах, небезынтересное само по себе. Я признавался там, что, если бы мог, то написал бы по предисловию к каждой из моих предыдущих книг, в том числе и к романам, потому что только так автор может *напрямую* поговорить с читателем. Но я сделал и много других признаний, граничащих с легкомыслием, поскольку они мне вовсе не льстили. Например, в том, что, «будучи по характеру человеком тихим, камерным, поддаюсь панике всякий раз, как мне надо написать что-то для широкого читателя или выступить на публике. (Те, кому пришлось меня слушать, знают, как ужасно я запинаюсь и какого труда мне стоит не потерять нить.) В эти минуты мне кажется, что люди ждут от меня истину, которая им настоятельно необходима»... И далее: «Я начинаю тогда спешить, спотыкаюсь, делаю языковые и логические ошибки (но какое это все может иметь значение?), лишь бы поскорее достичь цели».

Не один год эти мои откровения кропотливо воспроизводились и толковались. Кто-то из редакторов газеты «Рындуяла», которую издавали Эрнест Берня и Д.К. Амзар, писал, что «поспешишь — людей насмешишь» — это как раз мой случай, и пытался объяснить мое поведение и мою культурную деятельность пристрастием к гонке. Я никогда не отвечал таким критикам. Я прекрасно понимал, что сам себя подставил, что, по сути дела, спровоцировал их, выйдя на арену «без забрала». Кто угодно мог нанести мне удар, пользуясь моей открытостью. Но откровенничал-то я, и в первую очередь насчет спешки, чтобы разбудить читателя, заставить его понять, что «времени у нас нет». Я твердил, что «бесполезная трата времени — это проклятье», что мы не умеем «овладевать временем и оплодотворять его».

Столь же опрометчиво я признавался, что в моей книге могут быть ошибки, противоречия, провалы, добавляя, что это совершенно неважно. Открывал книгу статьей, озаглавленной «Приглашение к несуразности», а затем говорил «Про истины, найденные нечаянно», «Про конкретное счастье», «Про мужскую моду», про секс, про детективный роман, про «высших» женщин и про многое в том же роде, к вящей досаде моих профессоров и коллег и к возмущению некоторых серьезных и строгих умов.

При всем том книга имела заметный успех, особенно среди молодежи. «Океанография» в некотором смысле вводила в румынскую литературу новый тип эссе: тип личностной прозы, небрежно и скоро написанной, свободной от академических запретов и тормозов. Книга напоминала Нае Йонеску и Эухенио д'Орса и предвосхищала философскую прозу и эссеистику кануна Второй мировой войны, когда такие авторы, как Габриэль Марсель или Жан-Поль Сартр, не стеснялись философствовать, отталкиваясь от личных переживаний, от текущих событий. Я перепечатал в сборнике «Пять писем к провинциалу», написанных между 1932 и 1933 годами, и множество «Фрагментов», либо опубликованных в «Кувынтул» и во «Времени» того же периода, либо, по большей части, взятых из моего дневника и записных книжек. А заключал том «Приглашением к мужеству», которое было, по сути дела, приглашением к радости и надежде: «Столько смерти вокруг меня — не знаю, как подавить дикую радость, что из всех этих трупов вырастет завтра новый мир».

В каком-то смысле это была правда. Я знал о смертях и трупах. И более того, предвещал их в самом ближайшем будущем. Я не забыл ни воя сирены в мастерских Гривицы; ни выстрелов в ночь на 30 декабря на перроне Синайского вокзала, которые стоили жизни премьер-министру И.Г. Дуке, не забыл студентов и жандармов, которые наводнили зал Королевского Фонда, ни то, как разбивались дружбы, ни как «расступились воды», положив конец эксперименту «Критерион». Некоторых из нас — впрочем, таких было считанное число (Камил Петреску, Себастьян, Вулкэнеску и еще несколько человек), — очень беспокоил приход Гитлера к власти. Мое беспокойство и мои страхи были связаны не только с подобными политическими событиями. Я давно, с отрочества, предчувствовал, что нам не хватит времени. Сейчас я чувствовал не просто, что наш срок отмерен, но и что скоро время примет устрашающие черты (черты «террора истории»). Я пытался защититься с помощью отчаянного, парадоксального переворота всех ценностей: принимал смерти в своем окружении, принимал и те, которые последуют как знамение нового нарождающегося мира. Для меня лично это в первую очередь означало, что «мне надо спешить», надо успеть сказать то, что мне казалось необходимым сказать, пока есть время, пока мне еще позволено говорить.

* * *

В ноябре я начал курс «Метафизика и мистика» и семинар по книге Николая Кузанского «*De docta ignorantia*». На вводной лекции амфитеатр оказался таким же переполненным, как и в прошлом году, но спустя несколько месяцев поклонники и поклонницы схлынули,

и я остался с верными мне студентами. Только теперь я начал узнавать их получше. Многие были с политехнического, с богословского, с медицинского факультетов. Среди студентов, которые работали на семинаре, я помню Михаила Шору и Марьяну Клейн (вскоре они поженились), Аксенте Севера Поповича и еще нескольких, чьи имена я забыл, но не забыл их лица, их интеллект и чувство юмора. (Например, один молодой человек, лиценциат по юриспруденции, утверждал, что латынь Кузанского для него слишком проста, оттого-то он, видно, и не может его понять. И еще была загадочная, умная, оригинальная дама, ярая поклонница Нае Йонеску, которая ходила на все наши лекции и семинары и опубликовала замечательную статью о «Возвращении из рая».)

Той осенью или зимой я познакомился с Лучианом Благой. Его привела как-то вечером Мариэтта Садова. Он взглянул на меня с симпатией, улыбаясь, и сказал, что прочел «Майтрейи» главным образом потому, что давно знал, по «Брихадараньяка-упанишаде», о Майтрейи, супруге Яджнавалкьи, и хотел посмотреть, нет ли в моем романе, пусть замаскированно, того урока метафизики, который Яджнавалкья преподал ей, дабы раскрыть бытие атмана.

Круг друзей оставался прежним, и мы по-прежнему регулярно встречались. Я начал сближаться с Камилом Петреску, хотя ему редко нравилось то, что я писал. Сошелся накоротке с Белу Зильбером, и тем более меня расстроила одна его статья в «Шантьер», где среди прочего он обмолвился, что я «чуть-чуть мистик, чуть-чуть агент сигуранцы». Через несколько дней после этого он как ни в чем не бывало пришел к нам в дом к обеду. Я сказал ему: «Белу, ты меня знаешь, ты знаешь, чем я зарабатываю на жизнь, знаешь, сколько я работаю, чтобы платить за квартиру, иметь возможность покупать книги, приглашать к обеду друзей. Как же ты в таком случае мог написать, что я "чуть-чуть агент сигуранцы"?» Он рассмеялся, сказал: «Ты наивнее, чем я думал. Это ровным счетом ничего не значит. Просто жаргон марксистских газетчиков. Я вынужден атаковать твои идеологические позиции и прибегаю для этого к классическим клише, но я люблю тебя как человека и ценю твою дружбу...» Я посмотрел на него с грустью. «Мне очень жаль, — сказал я. — У меня другие представления о дружбе, да и о журналистике тоже...» С тех пор, как мне помнится, мы больше не виделись.

* * *

Зима 1934–1935 годов показалась мне очень короткой. Я надеялся завершить доработку диссертации, использовав материалы, привезенные из Берлина. Я также надеялся кончить том «Азиатская алхимия»

и ускорить работу над изданием Хашдеу. А справился только с первым выпуском «Азиатской алхимии», где разбирал алхимию индийскую и китайскую. Отрывок из этого текста вышел во «Времени», в виде книги его напечатал все тот же В. Монтауряну весной 1935 года. В следующих выпусках я намеревался представить алхимию вавилонскую, греко-египетскую и арабскую. Но успел опубликовать, в 1937 году, только «Вавилонскую космологию и алхимию», где, как явствует уже из заглавия, горизонты исследования значительно расширились. (В главах о космологии я рассматривал символику Центра мира и идеологическую подоплеку первообразов городов и храмов — те проблемы, что будут развернуты в «*Traité d'histoire des religions*» и в «*Le Mythe de l'éternel retour*».) Необъятный материал по алхимии греко-египетской и арабской, который я начал собирать еще с выпускного класса лицея, остался лежать мертвым грузом, как и множество других заметок и рукописей, в моей бухарестской, утраченной библиотеке. (Когда в 1955 году я готовил «*Forgerons et alchimistes*», где частично использовал материал из книжечек, опубликованных в 1935 и 1937 годах, я подумывал, не надо ли представить там и арабскую алхимию. Но в конце концов отказался от этой мысли.)

Кроме Нае Йонеску, Октава Оническу и еще нескольких человек, не думаю, чтобы мои алхимические изыскания кого-то особенно интересовали. Камил Петреску прямо спросил меня, зачем я трачу время на такие пустые и ненужные предметы, почему бы мне не заняться, например, какой-нибудь проблемой из области эстетики. Через двадцать лет после выхода «Азиатской алхимии» интерпретация, которую я предложил, была принята почти единодушно. Я взялся доказать, что алхимия — это не предхимия, не элементарная наука, а некая традиционная техника, включающая в себя к тому же космологию и сотериологию. Если подходить к ней так, то у алхимии есть все, чтобы стать интересной проблемой, поскольку ее изучение может пролить свет на некую темную фазу в истории духа. Если же считать ее предхимией, эмбриональной наукой, наукой в зачаточном состоянии, то ее изучение теряет всякую культурную ценность и сводится к простому курьезу для эрудитов. Через шесть месяцев после публикации «Азиатской алхимии» К.Г. Юнг выступил на «Эраносе» с докладом о психологической ценности алхимии, доклад был опубликован в 1936 году и стал отправным пунктом для серии исследований, завершенных четверть века спустя.

Мне не удалось в ту зиму 1935 года довести до конца «Йогу», хотя первые главы были уже переведены с английского на румынский Лидией Лэкс и Венди Нойкой. А для издания Хашдеу я подготовил только тексты стихотворений и двух версий восхитительной новеллы «Ба-

рышня-мамаша». Я обещал представить Чорнею роман «Хулиганы» в том же году, но скоро понял, что смогу им заняться не раньше летних каникул. При этом мне остро нужны были деньги (за авторское право на «Океанографию» и «Азиатскую алхимию» я гонорар не получил — правда, все время заказывал через Вирджила Монтауряну книги, и он не брал с меня денег).

И тогда я принял предложение Джорджеску-Делафраса — дать новую книгу для его издательства «Куджетаря». Поскольку фрагменты из индийского «Дневника», вышедшие в «Азь», вызвали большой читательский интерес, я решил добавить к ним еще страниц сто-сто пятьдесят, снабдить комментариями и опубликовать под названием «Черновые записки».

После я сожалел об этом решении, принятом, чтобы внести квартирную плату еще за шесть месяцев. Не то чтобы я считал непозволительной нескромностью публиковать выдержки из относительно свежего дневника (никакая нескромность меня вообще не смущала). Дело в другом. Делафрас думал, что получит от меня роман. Я и вправду говорил ему о «Черновых записках», как о «косвенном романе» (даже написал предисловие — объяснить, что я понимаю под этим термином). В результате мне пришлось, с одной стороны, вырезать ряд наблюдений, раздумий, путевых заметок, которые были важной и характерной частью дневника. С другой — усилить «романический» элемент, подчеркивая и выпячивая некоторые эпизоды и добавляя, по ходу дела, всякого рода детали в связи с пансионом г-жи Перрис, что, в конечном счете, нарушало единство дневникового стиля. Поскольку довольно много страниц дневника было уже воспроизведено или использовано в «Майтрейи», я был вынужден опустить самый драматический период — Бхованипор и Сварга-ашрам, — то есть отказаться как раз от тех страниц, где я записал и истолковал самое важное из пережитого мной в Индии. «Черновые записки» представляют исключительно мою жизнь в пансионе «индийских» англичан и подчеркнуто сосредоточены на ее внешних аспектах. Когда несколько лет спустя меня одолели сожаления о сделанном выборе, я подумал, что мне следовало опубликовать дневник полностью с минимумом комментариев и без потуг превратить его в «косвенный роман», то есть без более или менее драматических вставок, с помощью которых я хотел подбавить ему сенсационности.

Я до сих пор так и не смирился с тем, что в те годы, когда позволял себе все и всяческие свободы, выбрал гибридное решение «косвенного романа». Опубликуй я индийский «Дневник» целиком, вышла бы знаменательная книга. В Румынии было бы положено начало литературному жанру, который, возможно, приобрел бы популярность в европейской литературе через десяток-другой лет. Я и сейчас считаю,

что многочисленные «кризисы», через которые прошли роман, театр, систематическая философия, подтолкнут к жизни новый *литературный жанр*, пока еще трудно определимый, но который по выразительным средствам будет далек как от традиционных философских сочинений, от эссе и критики, так и от личных дневников типа гонкуровского или амьелевского. Некие с виду гибридные записи, сопрягающие блокнот и дневник со стилистикой научной монографии, переписки, философской рефлексии, социально-политической проблематики и историографии.

* * *

Той весной мы с Михаилом Себастьяном, Даном Боттой и еще несколькими молодыми авторами стали членами Общества румынских писателей. Все мы надеялись на радикальное обновление Общества. С тех пор как учредили «Неделю книги» и Королевский Фонд начал издательскую деятельность, престиж писателя отчасти вырос. До той поры только таким, как Ребряну или Михаил Садовяну, удавалось прожить исключительно пером. Йонел Теодоряну, при всех своих огромных тиражах, продолжал адвокатскую практику, а Чезар Петреску писал статьи для газет. Но вот Королевский Фонд литературы и искусства затеял серию коллекций: эссе, философия, роман, поэзия, критика, переводы и прочее, — и почти все писатели определенного уровня, даже самые молодые, стали получать авансы за будущие книги или переводы. Директором Королевского Фонда был назначен генерал Кондееску, сам писатель и большой друг пишущей братии. Кое-кто из молодых, во главе с Мирчей Дамианом, уговорили его выставить свою кандидатуру на пост председателя Общества румынских писателей. Таким образом они надеялись добиться разных благ для писательского цеха: пенсий, пособий по болезни и так далее. Мирча Дамиан, явившись ко мне просить, чтобы я вошел в комитет под председательством Кондееску, где секретарем был Н.И. Хереску, сказал: «Надо, сударь мой, его выбрать, генерала. Он нам построит дворец!..» Дворец писателей и вправду был занесен в том же году в программу Общества. Вскоре был принят закон о книжной марке, и стали собираться денежные суммы. Строительство дворца наметили на осень 1939 года. Но именно в ту осень началась война.

Как и следовало ожидать, новый комитет был избран подавляющим большинством голосов. Благодаря выборам я познакомился или снова повидался с целым рядом писателей, молодых и старых, с которыми встречался раньше разве что на Дне Книги. Я не был завсегдатаем ни кофеен «Капша» и «Корсо», ни литературных кружков. Не то чтобы мне было недосуг — просто писатели встречались обычно око-

ло полудня или ближе к вечеру, когда я должен был сидеть дома и работать. Помню, как Мирча Дамиан всякий раз при встрече спрашивал: «Что ж ты, сударь мой, не приходишь в кофейню, поразвеяться немного?» Я отвечал, что бываю иногда в «Корсо», по вечерам или даже поздно ночью. «Мы ночи проводим в трактире, — просветил меня Мирча Дамиан. — В твои-то годы неужели ты даже этого себе не можешь позволить?» Я не хотел говорить ему, что я себе это позволяю, и при любой возможности, но только вместе со своими друзьями, особенно сейчас, в начале лета. Однако признаться все же пришлось, когда я случайно встретил Креведию и Джордже Дорул-Думитреску и они сказали, что как раз говорили обо мне и говорили, как всегда, с тревогой, ибо, видя, сколько я работаю и сколько публикуюсь и не встречая меня ни в одном из ресторанов и трактиров, где они проводят время, они беспокоятся о моем здоровье. Не подорву ли я его, не потеряю ли смолоду рассудок, как Эминеску, не хватит ли меня удар? Они заклинали меня рассказать хоть что-то о своей жизни — может, я недосыпаю, может, недоедаю, хожу ли хоть когда-нибудь в трактир поесть бифштекс с кровью, выпить бутылочку вина? Я успокоил их, как мог.

Позже, когда я уехал из страны, я жалел, что не ходил по кофейням и литературным кружкам. Правда, встречи с друзьями и товарищами по «Критериону», «Кувынтул» и «Времени» удовлетворяли мою потребность в общении и писательских спорах. Но все же я сожалел, что не посещал кружок «Летатель», хотя был знаком с Эудженом Ловинеску[88] и, случалось, беседовал с ним у Монтауряну или в книжной лавке «Алкалай». Поскольку Эуджен Ловинеску читал все, он читал и мои книги, но подозреваю, что ценил меня больше как деятеля культуры и газетчика, чем как романиста. Ему тем не менее нравилось, что я много пишу и публикую. «Кое-кто, знаю, тебя критикует, — сказал он мне раз, — а я им на это отвечаю: писатель должен писать...»

Довольно часто мы встречались с Ливиу Ребряну[89], которому понравилась «Майтрейи», но еще больше — «Возвращение из рая», хотя он усматривал в этом романе художественные несовершенства. «Жаль, — сказал он мне, — что ты выпустил его сразу, как написал. Поработай ты над ним еще годик-другой, перепиши его несколько раз, получилась бы великая книга...» Я слушал его с грустью. Конечно, он был прав. Вспомнить только о его бессонных ночах, о том тщании, с каким он писал, правил, переписывал еще и еще раз, исключая торопливость, наотрез отказываясь представить рукопись, пока не убедится, что наконец-то ею доволен. С другой стороны, я знал, что я сейчас не могу писать иначе, как в лихорадке, в спешке, чуть ли не в исступлении; что сама по себе такая манера письма не идет вразрез с литературным творчеством (так написал или продиктовал несколько романов Достоевский); что если написанное мной не дотягивает до

высокого уровня, виной тому не спешка, а малость моих возможностей. И потом я знал еще одну вещь — что впереди у нас совсем немного времени. В тогдашних моих планах было около двадцати книг: романы (три-четыре тома цикла «Возвращение из рая», роман, который я «увидел» по дороге из Германии), несколько книг фантастической литературы, «Мандрагора», одна книга о мифе, другая — о религиозной символике, «Волшебная гора» (об архитектонической символике), «Комментарии к легенде о мастере Маноле», завершение работы по восточной алхимии, история индийской философии, монография о Хашдеу и об энциклопедической традиции в румынской культуре (от Кантемира до Н. Йорги), книга о концепции смерти в верованиях и обычаях румын и что-то еще, чего сейчас уже не припомню. Мне довелось только частично выполнить эти планы до отъезда из Румынии, зато я написал другие книги, о которых тогда и не думал (например, «Змея», «Миф о воссоединении», «Небесную свадьбу» и пр.).

Итак, я торопился. Не только потому, что постоянно испытывал нехватку денег, но и потому, что хотел обозначить начало собрания своих сочинений, то есть выпустить обойму книг, из которых стало бы понятно, о чем я думаю, что люблю, на что надеюсь и что, по моим представлениям, могло бы стать румынской культурой, если бы у нас было время, если бы нас оставили в покое. Я опасался, что не успею выпустить *всю* обойму. Часто я задавал себе вопрос, не надо ли мне поступить по-другому: сосредоточиться, например, на одной, самое большее, на двух книгах. Но это означало бы отказаться от целого, вырвать несколько фрагментов из *собрания*, о котором можно было судить лишь в совокупности, иначе оно не обретало смысла. К тому же у меня вовсе не было уверенности, что при попытке «сосредоточиться» я напишу шедевр. В той мере, в какой определенный возраст позволяет автору понять свои возможности, их характер и вектор, я склонялся к мысли, что мои книги может спасти от забвения отнюдь не формальное совершенство. Я предпочитал быть ведомым инстинктом, то есть писать, как писал до сих пор, невзирая ни на какой риск. А риск был значительный, и я это знал. Ведь если бы я не успел напечатать столько, сколько надо, и в разных областях, чтобы начали проступать контуры *собрания*, в напечатанных книгах никто не заметил бы то тайное измерение, которое высвечивалось исключительно в составе целого.

Я думал: как выглядело бы наследие Гете, если бы он не дожил до сорока лет? И как выглядело бы наследие Эминеску или Хашдеу, продлись их творческий период еще на два десятка лет? (Творческим силам Хашдеу нанесла урон, если не подорвала их окончательно, смерть Юлии, когда ему исполнилось всего пятьдесят лет.) Любое творческое наследие, каким бы полным, «законченным» оно ни было, «спаса-

ет», я это понимал, только исключительная ценность считанных вещей, которые в него входят. «Человеческую комедию» без этих десяти-двенадцати шедевров давно бы забыли. Мы с интересом читаем «Психологию брака» или «*Les Employée*», потому что есть «Кузина Бетта», «Отец Горио» и еще ряд романов такого же масштаба. А в случае Гете нас интересует «Метаморфоз растений», тексты о минералах, о теории цвета или даже «Эгмонт» только потому, что существуют «Фауст», «Ифигения» и поэтические шедевры. Благодаря этим вершинам любой фрагмент из обширного и полиморфного творчества Гете приобретает вес и значимость. Я говорил себе, что если сподоблюсь написать одну-единственную из ряда вон выходящую вещь, будь то роман или философский или исторический труд, все, мной написанное, может быть «спасено» — в том смысле, что его будет читать по крайней мере горстка людей, которые, в таком случае, смогли бы расшифровать Весть, раскрываемую наследием в целом.

Я прекрасно знал, чем рискую. Например, я держал в памяти долгий период литературного бесплодия у Гете, причем в зрелом возрасте, — возможно, из-за его чрезмерного сосредоточения на научных проблемах. Но Гете посчастливилось — он прожил после этого еще около тридцати лет, обновил творческие силы и написал не один шедевр. Я пытал себя, не истощатся ли в конце концов мои писательские возможности из-за растраты энергии, времени и страсти на внелитературные исследования? Ответа я не находил, но знал, что каков бы он ни был, сделать ничего нельзя. Я не мог отказаться от этих сторон своего «наследия», точно так же, как Гете никогда не мог бросить свои научные изыскания. Еще существовал риск безвременной смерти, которая не обошла многих румынских писателей и ученых. (Из числа последних я думал не только о рано ушедшем Пырване, который успел напечатать хотя бы «Гетику» и «Памятные записки», но еще больше о В. Богре, «ученейшем из румын», как его называл Йорга, который умер в сорок лет, не выпустив ни одной книги; после него остались только рецензии и короткие статьи, блистающие эрудицией.)

Но тут уж я был бессилен. Я только надеялся, что мне повезет больше, чем стольким моим предшественникам.

Что я знал точно, так это то, что мне надо написать хотя бы одну «великую книгу». К несчастью, всякий раз как я начинал писать новую, я говорил себе: это еще не та, та будет следующей...

* * *

Как только у меня закончился курс в университете, я взялся за «Йогу». Генерал Кондееску поговорил с королем Каролем, которому было известно, что я прожил несколько лет в Индии, и который про-

чел, похоже, с энтузиазмом, «Майтрейи». Король предложил напечатать «Йогу» в своем Фонде. Я подумывал напечатать ее во Франции и написал в этом смысле Полю Жетне. Но Ал. Россетти заверил меня, что все можно устроить: книгу напечатает Фонд, а распространять ее за границей будет *Librairie Orientaliste Paul Geuthner*. За несколько недель я привел рукопись в порядок. Оставалось перевести последние главы. Поскольку я спешил и не осмелился просить Венди Нойку и Лидию Лэкс тратить на работу летние каникулы, я прибег к помощи С. Ривена, которого мне порекомендовал Алкалай. Ривен много лет прожил во Франции и даже хотел перевести «Майтрейи». Он перевел последние полтораста страниц меньше, чем за месяц, и я послал рукопись в типографию со вздохом облегчения. Я работал над этой книгой, с перерывами, почти шесть лет.

Как каждое лето, мы с компанией пошли в горы, Бучеджи, и на десять дней остановились в Каса Пештера. Вернулись в начале августа, и я сразу же начал «Хулиганов». Сюжет в основных его линиях я знал, но оставалось уточнить довольно-таки много подробностей. Мне были ясны только реакции, мысли и авантюры Петра Аничета, от сцены, которой открывался роман — урок музыки на вилле «Тихо Браге», — до заключительной сцены на кладбище, после похорон матери. Действие в общем-то и сосредотачивалось вокруг Петра и его друга Александру Плеша. Каждый из них по-своему иллюстрировал тот образ жизни, который я назвал «хулиганским», поскольку он включал в одно и то же время безрассудство, граничащее с жестокостью, и абсолютную уверенность в себе. Тогдашнее наполнение термина «хулиган» было другое: так назывались группировки антисемитской молодежи, готовой бить стекла, дробить головы, громить и грабить синагоги, жечь книги. Ничего подобного не происходило в моем романе. Политический, а точнее сказать, антисемитский контекст «хулиганства», отсутствовал вовсе. При всем том, поведение Петра Аничета, Плеша или Митики Георгиу было таким же неистовым и безответственным, как у заурядного хулиганья. Что отличало персонажей моего романа от молодых людей предыдущего поколения и их сверстников, так это напористость, с которой они входили в жизнь, а, с другой стороны, уверенность, что если они «победят», то их правоту признают. Речь не шла, разумеется, о внешней победе, какие бывают у парвеню или у политических оппортунистов, а об исполнении собственной судьбы. Для Петра Аничета, например, «победой» было бы раскрыть свой музыкальный талант и взлететь по социальной лестнице. Он верил в свои творческие возможности и, если бы в один прекрасный день обнаружил, что композитор он второразрядный, вполне вероятно, перестал бы сочинять музыку. Но именно потому, что он не сомневался в своем гении, он не хотел вести

«жизнь бедного художника». Он рассчитывал получить все, что, по его мнению, заслуживает гений: славу, имя и состояние, — когда его сочинения будут записаны и получат признание. Пока что он был очень молод и жил уроками музыки и разными сомнительными доходами. Так, он не стеснялся брать деньги у женщины легкого поведения, которую звали Норой, и не моргнув глазом принимал золотые монеты и украшения, которые одна влюбленная в него девчушка украдкой тащила из дома.

Эта вопиющая аморальность дала повод некоторым критикам, особенно Дж. Кэлинеску, говорить о моем подражании Андре Жиду. Вряд ли они были правы. Как все мои ровесники, я тоже прочел несколько книг Андре Жида, но восхищался им больше как критиком и эссеистом, автором скорее «*Prétextes*», чем «аморальных» романов. Поведение Петра Аничета объяснялось скорее моими недавними переживаниями и тогдашними моими идеями по поводу румынской культуры. Двумя годами раньше я прошел через большое испытание и справился с ним, приняв на себя определенную ответственность. Я нисколько не жалел о своем поступке, но хотел вывести персонажей, в чьих глазах подобный жест выглядел бы нелепо. С другой стороны, я хотел возвысить в экзистенциальном и ценностном смысле некоторые поведенческие модели румын, которые до той поры толковались единственно с социологической точки зрения или морализаторски клеймились в литературе. Вокруг меня было достаточно «аморальных» личностей и оппортунистов, которые праздновали свой триумф, но это был триумф только политический, социальный или экономический. Впрочем, за редким исключением, эти триумфаторы ни о чем ином и не помышляли. Понятия судьбы, творчества, внутренней свободы были им безразличны или недоступны. Мои же «хулиганы» существовали на другом уровне. Чего они желали в первую очередь, так это освоить такой стиль жизни, который позволил бы им, с одной стороны, «творить», а с другой — «одержать триумф в Истории». Мои «хулиганы» были сродни не столько героям Андре Жида, сколько некоторым личностям итальянского Возрождения.

Я потому позволил себе описывать подобных героев, что верил в возможность румынского Возрождения. Но, с другой стороны, мне было страшно, что «История» помешает нам его осуществить. Я отчаянно пытался придумать, что тут можно сделать. В одном я был уверен: избыточная интеллектуальность персонажей «Возвращения из рая», их навязчивые идеи и неприятие тех или иных вещей, их страх «провала» — все это уже преодолено. Отступить перед историей, принять традиционную судьбу румынского интеллектуала — потерпеть «провал» или вести жалкую жизнь на периферии общества — не представлялось мне выходом. Вечное поражение «поэта», вечный

триумф «политикана» — лейтмотив румынского романа от Валхуцэ до Чезара Петреску —удручали меня, хотя я знал, что в социологическом смысле ситуация верна. Я говорил себе, что, на первый случай, мне надо выйти из этого порочного круга, где «интеллектуал» не в состоянии победить, потому что это подразумевает аннуляцию его статуса интеллектуала. Моим хулиганам удалось справиться с дилеммой «гордиевым способом», как я это тогда называл. Так они доказывали, что причастны к другому способу «жить по-румынски», отличному от того, какой изведали интеллектуалы в романах Чезара Петреску.

* * *

Я писал в послеобеденные часы, с двух до восьми, и потом ночью, с трех до четырех. Иногда отмахивал по двадцать-тридцать страниц за двенадцать часов, и эти главы и сегодня кажутся мне самыми удачными. Но выпадали дни и ночи, когда я беспомощно медлил, не зная, как выйти из затруднительного положения, которое провоцировал кто-то из персонажей, пускаясь в непредвиденные и нелепые авантюры (как, например, в случае с Митикой Георгиу, которому явно стало тесно на том месте, что я определил ему сначала). Часто приходил пообедать с нами Михаил Себастьян и спрашивал, как идет дело. Удивлялся и завидовал, если слышал про двадцать-тридцать страниц, написанных за последние сутки. Он писал тяжело, охая и вздыхая, вставая из-за стола, в отчаянии расхаживая по комнате, зачеркивая и исправляя без конца. Я же, в отличие от него, если видел, что за несколько часов напряженной работы написал неполную страницу, да еще, перечтя ее, находил не бог весть какой, рвал этот листок бумаги и в тот день больше не работал. Речь шла не скажу о «вдохновении», но скорее о присутствии, явственном до галлюцинации, моих персонажей. Я не мог нормально писать, если не *чувствовал* героев, почти физически, рядом, прямо перед глазами.

Четыре-пять недель спустя роман достиг своей середины. Книга обещала быть побольше, чем «Возвращение из рая» — я понимал, что только если «продержу» своих героев на пятистах-шестистах страницах, они «войдут в силу». Поскольку большинство из них были интеллектуалы, готовые по любому поводу анализировать себя или затевать дискуссию, они выглядели бы искусственно, если бы я ограничил роман тремястами страницами. Они не обрели бы рельефность и автономию, не оставь я их на сцене на достаточно долгое время. Кроме того, я пытался вывести четыре группы персонажей, действующих в разных мирах и, по крайней мере, вначале, друг с другом не связанных. К концу книги эти группы должны были пересечься, и кое-кто из персонажей ввязывался в общее действо. На все это нуж-

но было *время*, то есть листаж (и я не сомневаюсь, что роман заметно выиграл бы, будь в нем на две-три сотни страниц больше).

Последнюю часть я дописывал чуть ли не больной, с надрывом. Брутальность некоторых сцен, жестокость иных персонажей вгоняли меня в болезнь. Но мне было невмоготу ни отказаться от этого, ни как-то это смягчить. Я хотел написать «хулиганский» роман и отступить не мог. Искупление за ошибки должно было наступить потом, в «Новой жизни» — как цена, которую герои платили за то, чтобы стать самими собой.

Я кончил роман с большим усилием, с мучением, как мне было суждено кончать почти все мои книги. И на сей раз, когда первый том уже вышел из печати, а начало второго тома уже набиралось, я дописывал последние главы. К счастью, мой курс был поставлен на ноябрь, и я объявил тему, которой был очень увлечен: «религиозный символизм», — а для семинара выбрал Книгу X Аристотелевой «Метафизики». Вот только на Святого Димитрия нам предстоял переезд. Нам давно уже разонравилась квартира на бульваре Динику Голеску, и мы нашли другую — на улице Паладе, 43, тоже на четвертом этаже, но на тихой, зеленой улице, с садом у дома — несколько комнат, на редкость просторных и светлых, от которых я был в восторге.

«Хулиганы» вышли в свет через несколько дней после того, как мы обосновались на новом месте. Успех у публики и отчасти у критики оказался довольно заметным. Четыре тысячи экземпляров разошлись быстро, и после Рождества было выпущено второе издание, одним томом. Но обилие в нем варварства и эксцессов всякого рода многих обеспокоило. Эуджен Ловинеску сказал мне раз, что при чтении «Хулиганов» он все время боялся сердечного приступа. «От таких героев, — сказал он мне, — можно ждать чего угодно, и все равно они учинят что-нибудь такое, чего никак не ждешь». Как и в «Возвращении из рая», эротические сцены отличались неуместной, по крайней мере, для эпохи, когда был написан роман, откровенностью. Н. И. Хереску, с которым у меня завязалась дружба, признался мне, что, хотя он нрава вовсе не застенчивого и не пуританин, но его представления об искусстве вызывали у него протест против избытка эротики. «Чем мы занимаемся в повседневной жизни, к делу не относится, — сказал он. — Нет нужды раскрывать всю подноготную в романе...»

В определенном смысле я признавал правоту обоих. Но, с одной стороны, было не обойтись без буйства в книге о «хулиганах», а, с другой, — так я бессознательно восставал против тихого, размеренного существования, которое для себя выбрал. Что-то во мне выражало протест против меня самого, решившего жить такой жизнью. И как я понял позже, пока что было предпочтительнее, чтобы такие протесты находили выражение только в романе...

Глава 14
Когда писателю исполняется тридцать лет

В доме 43 по улице Паладе у нас была квартира на четвертом, последнем этаже и пышный розовый сад. Улица была меланхоличная и тихая, с сохранившими красоту домами постройки начала века. В 1935 тот дом, в котором мы поселились, был, по-моему, единственным «современным». Он понравился мне прежде всего за свои огромные, во всю стену, окна и за то, что стоял в глубине сада, в пятнадцати метрах от улицы. В самой большой из комнат я расположил свою библиотеку. Успех «Хулиганов» позволил мне прикупить новые полки, так что теперь все стены были заставлены книгами.

Зимой 1936 были напечатаны последние главы «Йоги», и книга вышла в начале весны — и в Королевском Фонде, и в *Librairie Orientaliste Paul Geuthner*. Семь лет прошло с тех пор, как я начал писать первую ее главу, в раскаленные послеполуденные часы, в большой комнате на Рипон-стрит, еще до того, как Дасгупта пригласил меня пожить у него, в Бхованипоре. При всех ее лакунах и несовершенствах, иные из которых объяснялись юношеской неопытностью, иные — двойным переводом нескольких глав (с английского на румынский и с румынского на французский), «Йогу» сочли важным вкладом в понимание мистических индийских техник. Почти все крупные востоковеды того времени, от Жана Пшылюски и Луи де ла Валле-Пуссена до Ананды Кумарасвами, Генриха Циммера, В. Папессо и Дж. Туччи, высказали согласие с моими интерпретациями. Только Поль Массон-Урсель опубликовал несколько двойственную заметку в «*Revue Philosophique*». Позже я понял почему: он тоже готовил книгу по йоге, правда, ему удалось завершить ее только пятнадцать лет спустя. Что еще интереснее: как только я приехал в Париж, осенью 1945 года, Поль Массон-Урсель пригласил меня прочесть лекцию о йоге в Сорбонне, в институте индианистики. С тех пор еще лет десять, до самой своей смерти, во всем, что он публиковал о йоге, он ссылался на меня как на «авторитет мировой величины», наряду с д-ром Жаном Фийозой.

Но, разумеется, в Бухаресте знали только похожую на ругательную рецензию из «*Revue Philosophique*». И я не сомневаюсь, что ее обнаружили со вздохом облегчения, а то и просто с радостью, кое-кто

из моих бывших профессоров и многие мои коллеги по университету, не говоря уже о бесчисленных публицистах и газетчиках, которые, по разным причинам, не верили в серьезность моих научных занятий. Подозреваю, что большинству моих хулителей не верилось, что автор нашумевших романов и плодовитый журналист, каким я был в ту пору, может одновременно быть «ученым». Не исключаю, что те, кто помоложе, в некоторой степени завидовали: им казалось, что мне привалило слишком много счастья, от путешествия в Индию до успеха «Майтрейи» и популярности, которую я завоевал на филологическом факультете. Так или иначе, задолго до появления рецензии Поля Массон-Урселя мне уже подпускали шпильки в периодике как левого, так и правого толка. Для националистов «Йога» не представляла интереса, поскольку не занималась «румынской реальностью». Для левацких газетчиков «Йога» не имела ценности, поскольку ее написал я, ассистент Нае Йонеску и сотрудник «Кувынтул», то есть «человек правой ориентации». Помню одну заметку Оскара Лемнару: там говорилось, что он, войдя в книжный магазин, наткнулся на мою книгу, перелистал ее и сразу определил, что она не представляет для него интереса, поэтому он даже не дал себе труда ее прочесть. Такая злонамеренность возмутила Константина Нойку и подвигла написать статью в «Ревиста Фундациилор Регале» под названием «"Йога" и ее автор». Нойка предлагал румынским критикам и журналистам ограничиться разбором моей литературной и газетной продукции и не трогать мое творчество востоковеда и историка религий, которое было и будет для них за семью печатями. Он рассказывал им о моей библиотеке, напоминал о годах моей учебы в Индии и, в своем неподражаемом духе, язвил, что они пытаются судить о «Йоге» по тем крохам «индийского опыта, который приобрели, читая "Майтрейи"». Это была еще одна иллюстрация его знаменитого *адажио* «мы знаем ровно столько, сколько выучили».

Среди моих самых ревностных хулителей помню Антона Думитриу; раз ополчившись на меня, он не знал устали в своих нападках на протяжении многих лет. Знакомство наше было шапочным: молодой человек высокого роста с лицом невзрачным, но добрым и почти без выражения. Я знал, что он — теософ и считает себя последней инкарнацией графа Сен-Жермена. Потом я узнал, что он либерал и интересуется философией науки. Когда мне сказали, что он написал статью, где якобы «изничтожил» «Йогу», я не стал ее читать по той простой причине, что для человека, который не знает даже санскритского алфавита и читает только по-французски, недоступен никакой йоговский текст и практически никакие тексты по индийской философии. (Тогда единственные серьезные монографии по индийской мысли выходили на немецком и английском.)

Антон Думитриу, очевидно, решил, что я ему отвечу. Видя, что проходят недели, а я не подаю признаков жизни, он вложил свою статью в конверт, добавил еще несколько свежих текстов, направленных против меня, и послал все это мне на дом. Я распечатал конверт и, посмотрев на подпись, бросил в корзину. Но автор не сдался. Он стал присылать мне все свои выступления против меня. Я уже узнавал его почерк и бросал конверты в корзину, не вскрывая. Тогда он прибегнул к другой, более тонкой стратегии. Мне звонила какая-нибудь «юная поклонница» и спрашивала, «что такое йога», добавляя, что Антон Думитриу выражает свое несогласие со мной в статье из «Лумя ромыняскэ» (или где-то еще), которую она, юная поклонница, только что прочитала и желает знать, что я об этой статье думаю. Я отвечал, что позволяю себе не думать ровным счетом ничего.

Может быть, он в конце концов отстал бы от меня, если бы не один тягостный случай. Произошло это три года спустя, весной 1939, когда я уже давно перестал быть «баловнем судьбы», не преподавал в университете, а Антон Думитриу получил от министра образования А. Кэлинеску назначение на кафедру логики вместо Нае Йонеску. Я стоял в очереди к окошечку заказных писем на Центральном почтамте, когда вдруг увидел рядом господина, который дружелюбно улыбался и протягивал мне руку.

— Не знаю, помните ли вы меня, — сказал он. — Я — Антон Думитриу.

— Как же, как же, — ответил я, тоже улыбаясь и пожимая его руку.

— Очень рад, что вас встретил, — продолжал он. — Мне давно хотелось вам сказать, что я сожалею о своей позиции.

— О какой позиции? — совершенно искренне спросил я. (У меня было столько неприятностей последние два года, что я совершенно забыл о нападках Антона Думитриу.)

— Я имею в виду, — сказал он в замешательстве, — статьи, где я вас критиковал.

— Простите, — отвечал я (тоже в непритворном замешательстве). — Мне очень жаль, но я их не читал...

На мое счастье, как раз в эту минуту подошла моя очередь, и я, улыбнувшись, показал ему спину. Позже я узнал, что он снова начал на меня нападать. Что еще забавнее, в годы войны, когда я был советником по культуре в Лиссабоне, Антон Думитриу, «человек левых взглядов», работая редактором в «Тимпул», газете Г. Гафенку, продолжал свои нападки. А в 1946 году, в Париже, я раз прослышал, что он прибыл с какой-то нефтяной комиссией. Он был теперь очень богат и выпытывал у румын, давно поселившихся в Париже: «Если тратить по миллиону франков в год, за сколько лет, как вы думаете, я смогу завоевать Париж?»

* * *

Я посвятил «Йогу» памяти магараджы Маниндры Чандры Нанди и профессорам Нае Йонеску и Сурендранату Дасгупте, единственным, коих считал своими «учителями». Дасгупта не подтвердил получения экземпляра книги, который я ему отправил; но два года спустя протелеграфировал мне из Рима, спрашивая, можем ли мы встретиться, в Бухаресте или в Италии. Ниже станет понятно, почему мы не встретились.

Нае Йонеску вздохнул с облегчением, когда увидел мою диссертацию опубликованной. Теперь он настаивал, чтобы я довел до конца издание Хашдеу и затем полностью посвятил себя исследованиям по истории восточных философий и духовных техник. Ему очень понравился первый выпуск «Азиатской алхимии»; он знал, что я работаю над «Вавилонской космологией и алхимией», и любопытствовал, какое толкование я даю доэмпирическим наукам. Он говорил мне, что подобные исследования могут составить весьма полезное и внушительное введение в философию культуры.

Со временем я это понял, но не сомневаюсь, что моя неожиданная литературная популярность, которая свалилась на меня между 1933 и 1938 годами, навредила моему научному творчеству. Не потому, что я отдавал слишком уж много времени и энергии литературе. Скорее меня подспудно угнетало негативное отношение многих из моих профессоров и коллег. Мне надо было, как следствие, любой ценой доказывать им, что я не только «преуспевающий писатель», но также и «человек науки». Поскольку большинство из них не располагали никакими возможностями дать оценку моим исследованиям по истории религии и восточных философий, я был вынужден предъявлять им «документы», на которых основывал свои интерпретации. Я всегда уважал эрудицию, но вряд ли стал бы злоупотреблять ею, когда бы не знал, что только обилие документов и расширенная библиография могут убедить университетскую публику. Если бы я в юности не вкусил писательской славы, моя тогдашняя научная и философская продукция, вполне вероятно, облеклась бы в более изящную форму. Именно потому, что я написал «Майтрейи», я не позволил себе в «Йоге» или в «Азиатской алхимии» писать «красиво», ясно, без перегрузки текста сносками и ссылками. Что еще серьезней: я не позволял себе додумывать до конца результаты, к которым приходил. Я боялся обвинений в том, что слишком поспешно «обобщаю» или придаю используемым документам «личное толкование». Почти все идеи, которые я развил в книгах, вышедших по-французски после 1946 года, в *ядре* своем содержались в тех работах, что я написал между 1933 и 1939 годами. Но кроме горстки читателей — правда, калибра Нае Йонеску, Лучиана Благи, Мир-

чи Вулкэнеску и Константина Нойки, — никто не понял, что за экстравагантной ученостью этих книг стоит разработка новой интерпретации архаических и восточных мифов, символики и религий.

* * *

Я по-прежнему посещал все лекции Нае Йонеску, которые приобрели как будто бы еще большую популярность в университете с тех пор, как стали известны политические идеи Профессора. Кроме того, мы почти каждый день встречались в редакции «Кувынтул». Хотя запрет на газету действовал уже два с половиной года, Нае Йонеску продолжал платить арендную плату за помещение и жалованье нескольким редакторам. Профессор оставался верным себе — спокойным, ироничным. Он великодушно выслушивал по очереди наши ламентации, был полон оптимизма и любопытства ко всему, что происходило вокруг, интересовался всем, что мы делали. Я никогда не понимал, на чем основывалась его надежда, что рано или поздно «Кувынтул» снова станет выходить. Его отношения с Дворцом окончательно испортились. У него завелись враги не только среди левых политических деятелей и газетчиков, но теперь уже и среди правых.

Иногда я спрашиваю себя, не поддался ли Профессор на обман пустых надежд — по случаю издания сборника «Роза ветров». Когда я как-то раз заговорил с Александру Росетти о хрониках Нае Йонеску на злобу дня, тот заверил меня, что расположен хоть сейчас опубликовать их в «Культура националэ». Я сказал об этом Профессору, и, к моему удивлению (я знал, что он не любит книг, составленных из статей), он дал свое согласие. Но, собрав значительную часть его хроник из «Кувынтул» 1923–1925 годов, я понял, что сборник может оказать ему медвежью услугу, если будет представлять только один аспект его многогранной деятельности как философа, критика и журналиста. Я убедил его позволить мне включить в книгу ряд статей по богословию и по исторической и социальной критике. Получился солидной толщины том, к которому я написал послесловие. Название выбрал сам Нае Йонеску. Я думал, что у книги будет большой читательский успех. И ошибся. Первое издание тиражом 4000 экземпляров разошлось только через несколько лет. Судьба распорядилась так, что это собрание статей и заметок стало единственной книгой Нае Йонеску, опубликованной при его жизни...

* * *

Настало лето, то время года, когда я любил писать «литературное»: это была моя манера отдыхать, грезить, пользоваться каникулами.

С другой стороны, мне нужны были деньги, чтобы поработать пять-шесть недель в Берлинской библиотеке, довести до конца «Вавилонскую космологию и алхимию». По контракту с Чорнеем, на мне лежало обязательство представить ему еще один роман. Я пообещал продолжение «Хулиганов» — «Новую жизнь». Начиная этот последний роман трилогии, я понял, что он будет в нескольких томах. Сейчас я писал первый, «Штефанию». Писал, как обычно, начиная с полудня до вечера и потом с одиннадцати ночи до трех-четырех утра. Ложился спать на рассвете, а иногда и после восхода солнца, и спал до обеда.

Часто приходил пообедать с нами Михаил Себастьян. Он был теперь редактором в «Ревиста Фундациилор Регале» и тоже сражался с романом под названием «Несчастный случай». Он спрашивал меня, «как идет дело», а я не знал, что ответить. Мне писалось тяжелее, чем всегда, но угнетало не это, а слишком медленный темп, которым разворачивалось действие. Как будто бы я писал не роман, а монографию, описание некоей заурядной компании со Штефанией в центре — как пришелицей из другого мира. Я хотел во что бы то ни стало избежать нервного, дерганого ритма «Хулиганов». Поскольку «Новая жизнь» могла растянуться страниц на 1200–1500, стремительность действия с начала первого тома лишила бы роман «плотности». Значит, мне следовало по возможности «придерживать» персонажей, замедлять действие. Как я это себе представлял, Штефания была личностью исключительной, но я все откладывал эпизоды, из которых это стало бы ясно читателю. И в первую очередь, я отодвигал ее встречу с Петром Аничетом. Вероятно, меня самого безотчетно пугала жестокость этого образцового «хулигана», и я пытался, как мог, продлить «рай», в котором жила Штефания. Штефания и правда до встречи с Петром Аничетом могла показаться персонажем из *roman rose*: у нее было все. Она была не только красива и умна, но у нее был замечательный, подстать ей, муж, которого она не переставала любить; она была богата и радовалась богатству, в котором выросла, которое позволяло ей путешествовать, покупать картины и дорогие книги, заводить в Париже, Риме, Барселоне знакомства с приятными ей людьми. От всего этого ей пришлось отказаться — и она отказалась, как во сне, зная, что убивает этим мужа, отталкивает от себя детей, но все же надеясь, что каким-то чудом все останется, как было. Признавшись во всем мужу и поспешив на свидание, назначенное ей Петром, она прождет его напрасно. Потому что он встретит Нору — уличную проститутку, с которой у него была связь в ранней юности и которая стала теперь шикарной кокоткой, содержанкой у одного помещика с фантазиями, и готовила свой дебют в театральном ревю. Петр проводит ее домой, а потом они будут гулять до утра, кочуя из трактира в трактир.

Вот так, с конца, должна была начаться великая любовь Штефании к Петру Аничету. Потому что, разумеется, после ночи такого ожидания Штефания расстанется с Аничетом, но не перестанет его любить. Многие годы она будет ему помогать, подбадривать его, поддерживать, особенно в его творчестве, которое связь с Норой поставит под угрозу. В следующих томах «Новой жизни» я предполагал сосредоточиться на борьбе Петра Аничета (но и Штефании) с его собственным гением. Петра еще с отроческих лет искушал замысел «Еретиков», оперы, которая должна была заявить на языке музыки о раскрепощенности современного человека, о его высвобождении от любой догмы, закона или нормированного поведения. Порой бесы овладевали им с такой силой, что дни и ночи напролет Петр писал, как сомнамбула. Штефания и немногие слушатели зачарованно внимали отрывкам — но иногда прямо в их присутствии Аничет понимал, что фальшивит или что он мог бы сделать лучше, и он начинал все сначала, другой техникой, другими средствами. Буквально чудом «Еретиков» удалось закончить в считанные годы после встречи со Штефанией (он работал над ними около пятнадцати лет). И только благодаря Штефании, которой удалось сохранить фрагменты из отвергнутых вариантов (Петр сжигал рукописи, как только терял к ним интерес) и показать их кому-то из музыкантов, только благодаря ей «Еретиков» исполнили, в один прекрасный ноябрьский вечер, в Бухарестской Опере. В ложе третьего яруса спокойная, невозмутимая, разве что теребя в руках платочек, Штефания присутствовала при триумфе. В ту же ночь она исчезнет без следа.

Но всему этому предстояло случиться гораздо позже, во втором и третьем томах «Новой жизни», вместе со многим другим, потому что, кроме персонажей из «Хулиганов», в этом романе-потоке должно было появиться порядочное число лиц из наиразличнейших общественных кругов (я старался решительно отделаться от «интеллектуалов» «Возвращения из рая»). Первый том, «Штефания», кончался на той ночи, когда Петр Аничет встретил Нору и отправился с ней по бухарестским трактирам. (Эпизоду я отводил треть романа, поскольку в ходе этой авантюры, гротескной и все же «инициатической», похожей на блуждание в лабиринте, эта пара встречает всякого рода типов и становится свидетелем сцен, которые проявят свой смысл в следующих томах.)

За месяц я написал около двухсот страниц, а еще почти ничего не произошло, даже встречи Штефании с Петром Аничетом. Я увлекся подробнейшим представлением свекра и свекрови Штефании, нескончаемыми диалогами Штефании с ее детьми. Чрезмерно задержался на группе персонажей, живописных и зловещих, крутящихся вокруг покровителя Норы, похотливого старика со странностями, ко-

торый завораживал меня своим непредсказуемым поведением. Перечитывая по нескольку раз очередную главу, я спрашивал себя, как будет реагировать на нее читатель, не испытает ли соблазна выпустить книгу из рук. «Вдохновение» стало давать перебои, и я отложил роман. Мне так или иначе пришлось бы его отложить в конце июля, на который я наметил поездку в Берлин.

И тут мне позвонил профессор Д. Густи. Сообщил, что король Кароль интересуется *Oxford Group Movement* и хотел бы послать меня в качестве наблюдателя на конгресс, который начинается через неделю, поскольку я говорю по-английски и знаком с религиозной проблематикой. Я знал, что король Кароль наслышан обо мне еще со времен моей поездки в Индию, — со слов Нае Йонеску. Знал и то, что он с энтузиазмом прочитал «Майтрейи». Но я даже не думал, что после его разрыва с Нае Йонеску он вдруг проявит ко мне какой-то интерес. Хотя приходилось отрывать от работы в Берлинской библиотеке две недели, я согласился. С одной стороны, мне хотелось увидеть Лондон и Оксфорд; с другой, на ту сумму, что выдал в мое распоряжение Густи, я мог одеться и купить очень много книг.

Я выехал один, Нина должна была присоединиться ко мне в Берлине через две недели. Не могу сказать, что в то лето 1936 года я хорошо узнал Лондон. Я пробыл там всего несколько дней, и провел их в музеях, книжных и антикварных лавках. Мне привалило счастье купить почти всего Фрэзера, которого я знал давно, но который был только частично представлен в бухарестских библиотеках. Я купил себе, кроме того, два костюма, причем почти случайно; остановился у одной витрины и мялся — войти-не войти, — когда в дверях показался приказчик и пригласил меня внутрь. Еще я купил последнюю книгу Олдоса Хаксли, «Слепой в Газе», которую прочел на одном дыхании. Помню, что дочитал ее за несколько минут до приезда в Оксфорд.

Я почти ничего не знал об *Oxford Group Movement*. Только то, что было написано в одной книге, которую дала мне перед отъездом Ивонн Райт. Именно она говорила с королем Каролем об этом движении и убедила его послать на конгресс «наблюдателя». На меня произвели глубокое впечатление собрания с медитацией и молитвой, со спонтанными и трогательными публичными исповедями. Через несколько дней Фрэнк Бухман пригласил меня к себе и спросил, может ли в Румынии иметь успех это Движение, которое он основал. Я со всей откровенностью ответил ему, что сомневаюсь в этом, и попытался объяснить почему. Революционные приемы, которые применяло Движение, в первую очередь, публичная исповедь и медитация-молитва с блокнотом в руке, в ожидании послания (которое, по мысли Бухмана, тебе продиктует, прямо или косвенно, Господь Бог),

были не из тех, что могли бы произвести впечатление на румын. Во-первых, исповедь была для православных одним из главных таинств, и не верилось, что ее может заменить признание своих грехов на публике. Во-вторых, молитвы и медитации входили в литургическую жизнь общности в любви; вряд ли они могли материализоваться в «послания», которые верующий записывает в свой карманный блокнотик. Но разумеется, добавил я, такие приемы, адаптированные к жизни современного западного человека, вполне могут быть полезны для тех, кто давно расстался с живой традицией православия и живет вдали от какой бы то ни было религиозной жизни. Для таких людей *Oxford Group Movement* или какой-то другой подобный опыт мог бы стать первоначальным импульсом, вводящим его в религиозную сферу.

Подобное же впечатление создалось, по-моему, и у Алисы Войнеску, которая приехала через несколько дней после меня. В любом случае, знакомство с оксфордским движением было очень поучительным. Я начал размышлять над возможностями пробудить в современном десакрализованном человеке интерес к сфере религиозного. *Oxford Group Movement* оказалось знаменательным и с другой точки зрения: тут сошлись не только разного рода неверующие и верующие, принадлежащие к разным христианским конфессиям, но и приверженцы других религий. Так, я познакомился с евреем румынского происхождения, Филиппом Леоном, профессором манчестерского университета и автором, среди прочих книг, замечательной «*The Ethics of Power*». Филипп Леон считал *Oxford Group Movement* первым и последним шансом, данным современному человеку, чтобы обрести Бога. Поэтому он отказывался обсуждать какие бы то ни было другие богословские проблемы, кроме проблемы конкретных отношений между Богом и человеком. (Например, он не вступал в дискуссию о тайне Воплощения, о христологии или об иудаистской традиции, об исламе, веданте и т.д.)

В Берлине меня ожидало почти то же самое, что и в 1935 году. Та же квартира на Берлинерштрассе и практически тот же распорядок дня: утром и после обеда — библиотека, ночью — работа дома. Когда приехала Нина, мы в обществе нашей хозяйки стали выходить на прогулки по Берлину. Я разыскал Арджинтеску — он нисколько не изменился. Августовские недели прошли быстро. Я расправился с библиографией к «Вавилонской космологии и алхимии» и приступил к сбору материалов для монографии о происхождении легенд, «*La Mandragore*». В начале сентября мы поехали в Лейпциг, где я встретился с Антоном Голопенцией. Он посоветовал мне прочесть «*Philosophie*» Карла Ясперса и преподнес блестящий анализ силы и слабости национал-социалистов. Если не вмешаются другие факто-

ры, сказал он, через несколько лет начнется война. И тогда у нас, румын, будет одна-единственная проблема: как «перезимовать», как пережить этот новый катаклизм.

Потом, через Мюнхен, который я видел впервые, мы добрались до Вены с несколькими шиллингами в кармане. Я отправился в румынское консульство на поиски Лучиана Благи, чтобы попросить у него взаймы. Но Блага уехал в отпуск в Клуж, так что в тот день мы довольствовались одним бутербродом, который съели на скамейке в парке, и больше не ели ничего, пока поезд не пересек румынскую границу.

* * *

Перечитав рукопись «Штефании», я пришел в уныние. Вот уж не думал, что способен на такую преснятину. «Талант», я считал, что бы он ни делал, не может опуститься ниже определенного уровня. Оказывается, я ошибался. Текст был по большей части никуда не годным. Михаил Себастьян не хотел в это верить; говорил, что это, вероятно, временный упадок духа, и просил у меня рукопись — прочитать и составить свое мнение. Может быть, я и дал бы ему рукопись, если бы не понял: хорош или плох, роман все равно не поспеет вовремя, к нынешней осени. А значит, мне надо было написать что-то другое, другой роман.

Я подумал — не напечатать ли мне, переделав и подправив, две моих рукописи из отрочества и ранней юности, «Роман о подростке в очках» и «Гаудеамус». Но Михаил Себастьян отсоветовал мне прибегать к такому поверхностному решению. Я, дескать, не вправе публиковать сейчас, в преддверии своей литературной зрелости, недозрелые юношеские опыты. Им еще придет черед, говорил он, их напечатают в один прекрасный день ради историко-литературного интереса.

Он скоро меня убедил, и я решил написать короткий роман, никак не напоминающий по атмосфере цикл «Возвращение из рая» и к тому же без автобиографических параллелей. После многолетних занятий «реалистической литературой» меня снова потянуло на фантастическое. Меня одолевала одна история, героиней которой была молодая девушка, умершая тридцать лет назад. С виду речь шла о «вампире», но я не хотел развивать ни фольклорную тему, столь популярную у нас и у наших соседей, ни романтический мотив вампиризма (по образцу «Леноры»). Меня вообще не занимал *этот аспект* проблемы. Захватывала меня печальная и безысходная участь того, кто рано умер, но не в силах покинуть землю, кто упорно верит в *конкретное* общение с живыми и даже надеется, что может любить и быть любимым, как любят люди в своем плотском образе.

Моя героиня, девица Кристина, была помещичьей дочкой, которую убили во время крестьянских бунтов 1907 года и которая все время возвращается в те места, где прошло ее детство и где ей не привелось прожить свою юность. Разумеется, будучи «вампиром», она не может поддерживать это призрачное и хлипкое постсуществование иначе как подпитываясь кровью домашнего скота, который держат в имении и по крестьянским дворам. Но не этот фольклорный мотив служил отправным пунктом драмы, а тот факт, что девице Кристине удалось «испортить», в духовном смысле, девочку лет десяти-одиннадцати, Симину, свою племянницу, то есть ей удалось вступить с ней именно в конкретное общение, приучить не бояться своего «физического» присутствия. Еще совсем ребенок, Симина, благодаря этому уникальному опыту, стала «зрелой» во всех отношениях. Так что, когда девица Кристина влюбится в одного из гостей имения и попробует его завоевать, зачаровывая сначала во сне, потом внушая не сбрасывать чары и после того как он проснется, в Симине в точности отразится эта «страсть», и она будет вести себя с Егором, как взрослая женщина. Речь шла не о раннем созревании — половом или другого рода — но о совершенно аномальном явлении, об извращении вследствие попрания законов естества. Я прекрасно отдавал себе отчет в «кошмарности» этого персонажа, но именно это мне и хотелось показать: что всякое противоестественное застревание в парадоксальной фазе (бесплотное создание, ведущее себя как плотское) есть источник перверсии для всего, что вокруг. Под ангельской внешностью Симины таилось чудовище, и это не в силу каких-то инстинктов или дурных наклонностей, но, напротив, в силу ложной «духовности», в силу того факта, что она целиком жила в мире девицы Кристины, «духа», который отказывается мириться со своей участью.

Зайдя как-то раз в издательство «Культура националэ», я рассказал Исайе Рэкэчунь о «Девице Кристине», и ему так понравилось название, что он попросил у меня рукопись. Рукопись я принес ему недели через две. Книга вышла в свет на исходе осени и скоро приобрела равно фанатичных поклонников и хулителей. Среди поклонников оказались как поэты (Дан Ботта), так и политизированные скептики (Михаил Полихрониаде). Кое-кто из друзей признавал, что мне удалось создать фантастическую атмосферу гораздо более убедительную, чем в предшествующей румынской литературе, но сожалели, что я отказался от фольклорных деталей. За некоторым исключением, критики высказались благожелательно. По коммерческому же успеху книга очень отставала от «Хулиганов».

Вскоре «Девица Кристина» стала мишенью для нападок Джорджеску-Кокоша, редактора «Нямул Ромынеск», который вел давнюю кампанию против «порнографии». Изо дня в день Кокош перепечатывал

на страницах «Нямул Ромыneск» отрывки из сцен, представляющих «зрелую не по годам» Симину. Вырванные из контекста, цитаты часто выглядели удручающе. Еще серьезнее было то, что против «порнографии» в литературе выступал сам Н. Йорга, и я ждал, что он тоже поднимет свой голос, на сей раз исключительно против меня, используя не только цитаты из «Девицы Кристины», но и из всех других моих романов, которые команда Кокоша, как мне было известно, изучала теперь с красным карандашом в руках. Поскольку «Нямул Ромыneск» читали, главным образом, в университетских кругах, я понимал, что многие познакомятся с моими книгами только по «порнографическим» выдержкам из них, и я представлял себе, сколь страшен будет их гнев.

Итак, к Рождеству ситуация грозила стать трагикомической. Почти никто уже не говорил о фантастическом романе, который я написал, о его достоинствах и недостатках, а также о возможностях и ограничениях фантастической литературы вообще — но только лишь о «порнографии» в «Девице Кристине». Что еще забавнее, я сам высказался, весной того же года, на внеочередном собрании Общества румынских писателей, против порнографии как средства скандализовать и привлекать публику. Мы все, разумеется, сопротивлялись допечатной цензуре и еще раз заявили о правах писателя творить сообразно своему собственному эстетическому вкусу. В ходе дискуссии я все же настаивал на том, что проблема порнографии существует, хотя, к счастью, такие сочинения не выходят за подписью серьезных писателей. Я напомнил несколько случаев, из которых явствовало, что определенные авторы, по большей части молодые, любители скандалов или сомнительные дилетанты, скрывающиеся под псевдонимом, прибегали к эротическим описаниям и сценам исключительно с целью шокировать публику. А значит, говорил я, мы не можем потворствовать всем без разбора авторам порнографической прозы. Мое выступление пришлось не по вкусу многим членам Общества. Они опасались, что, ратуя за введение различий между настоящими писателями и любителями скандала, я поощряю идею допечатной цензуры.

Так что теперь, зимой 1936–1937 годов, когда я стал мишенью для Джорджеску-Кокоша, писатели не только не встали на мою защиту, но и не скрывали удовлетворения от того, что я пал первой жертвой кампании, в которую сам же, по наивности, пытался внести нюансы и различия. Шербан Чокулеску напечатал в «Адевэрул» статью «Язык мой — враг мой», где припоминал мне мое выступление на собрании Общества румынских писателей и на моем же примере показывал, что предложение проводить грань между «писателями» и «оппортунистами» на практике не применимо. Статья меня не убедила. Да,

многие из моих романов содержали сцены агрессивной, дикой эротики, но я-то понимал, к чему это. Мои герои были в большинстве своем «интеллектуалы», живущие в некотором роде «сбоку от жизни»; их спорадические сексуальные всплески и эксцессы, на самом деле, были безнадежной попыткой «воплотиться», обрести витальность, которой они не имели. Не думаю, что я написал хотя бы одну эротическую сцену с простенькой целью «шокировать» или развязать литературный скандал, чтобы привлечь внимание к своим книгам, как то происходило не только с сомнительными «оппортунистами» в Румынии 1936–1937 годов, но и с некоторыми талантливыми зарубежными писателями. Что касается меня, ситуация была в точности противоположная. Меня смущала популярность, которая выпала мне после «Майтрейи», и я старался свести ее к разумным пределам, публикуя не только сложные романы, такие, как «Меркнущий свет» и «Возвращение из рая», но и сборники эссе и научные работы. Меня интересовал не коммерческий успех, а создание «своей» публики, которая следила бы за всей моей деятельностью; я искал читателей для всего «собрания сочинений», не для отдельного романа или научного труда.

* * *

«Скандалу» с «Девицей Кристиной» суждено было иметь неожиданные последствия три-четыре месяца спустя, весной 1937.

В ту зиму я сосредоточил всю свою энергию на издании Хашдеу. Переписал несколько тысяч страниц, выявил варианты стихотворений, составил довольно-таки обширную библиографию. Начал работу над подготовкой текстов и над общим введением. Часы, проведенные в Государственных Архивах, куда перевезли ящики с бумагами из «замка» в Кымпине, оставили во мне неизгладимое впечатление. Там были сотни и тысячи листков, на некоторых — только по нескольку слов: «послания» от Юлии, полученные во время спиритических сеансов. Я обнаружил бесчисленные журналы по лингвистике, истории и фольклору с неразрезанными страницами. Старый Хашдеу совершенно отошел от всех страстей своей юности и зрелости. Иногда мне казалось, что я блуждаю среди руин.

Я написал бы целую книгу: «Хашдеу и его современники». Но поскольку издание должно было выйти в свет непременно в том же году, я ограничился пространным вводным словом, представив биографию и исторические, философские и политические концепции Хашдеу. Двухтомник его «Избранного» начали набирать в зимние месяцы. Я и теперь помню свой письменный стол, заваленный гранками и рукописями, помню долгую, изнурительную работу по корректуре и выверке. Если бы я мог работать день и ночь только над «Избранным»

Хашдеу, я управился бы к марту. Но я еще читал курс и вел семинар в университете, мне приходилось писать хотя бы одну статью в неделю для «Времени» и одну в месяц для «Ревиста Фундациийлор Регале». Кроме того, я ездил с лекциями в провинцию — часто с подачи того же Королевского Фонда, — а груды книг по востоковедению, истории религий, да и просто беллетристика не могли до бесконечности оставаться непрочтенными. Еще со студенческих времен я получал книги и журналы от многих востоковедов и специалистов по истории религий, по большей части итальянцев. После того как я вернулся из Индии, число авторов, которые дарили мне публикации, значительно выросло. Теперь же, после выхода в свет «Йоги», я установил отношения еще с двумя-тремя десятками ориенталистов, этнографов и религиеведов, и не проходило недели, чтобы я не получил по почте книгу или кипу оттисков. Я особенно подружился с Анандой Кумарасвами, Ж. Пшылюски, Карлом Хенце, К. Клеменом, с которыми, впрочем, мне предстояло сотрудничать в первых выпусках «Залмоксиса».

Кроме того, мой парижский издатель, Поль Жетне, дарил мне почти все новинки, и я прочитывал их залпом, а потом писал длинные рецензии или критические статьи для «Ревиста Фундациийлор Регале». Большинство статей, перепечатанных в «Острове Евтанасия» (1943), были написаны в 1937–1938 годах. Меня приглашали сотрудничать несколько зарубежных журналов по востоковедению, и я уже опубликовал свои работы в «*Asiatica*» Дж. Туччи, «*Religio*» Э. Буонаюти, «*Journal of the Indian Society of Oriental Art*», издаваемом Стеллой Крамриш в Калькутте. В Румынии, конечно, очень немногие знали об этой моей научной деятельности. Может быть, и я не проявлял достаточно рвения — посылал выдержки из публикаций только своим заграничным учителям и коллегам. Дома же не показывал их никому, кроме Нае Йонеску и нескольких друзей.

9 марта мне исполнилось 30 лет. Как обычно, собрались все друзья, от самых старых, таких как Хайг Актериан и Михаил Полихрониаде, до недавних, среди которых были Михаил Себастьян, Дину Нойка, Петре Туця. Помнится, пришли и Н.И. Хереску, В. Войкулеску и Камил Петреску; последний изумился, узнав, что мне всего 30 лет. Было ли чувство, что завершается цикл? Я только знал, что готовлюсь к новому этапу, когда уже не смогу позволять себе некоторые свободы, небрежности и ошибки. У меня было опубликовано двенадцать книг, я издал «Розу ветров», а два тома «Избранного» Хашдеу были на выходе, и я думал, что еще несколько книг, часть из которых была уже в работе, — и уже уточнятся контуры *собрания сочинений*. Только после этого, говорил я себе, я буду вправе «сконцентрироваться» и написать книгу-другую без спешки. Одно меня беспокоило — неудача со «Штефанией». Мне оставалось написать три тома «Новой

жизни», чтобы выявились подлинные масштабы всего цикла «Возвращения из рая». Плотно писать я мог только в летние каникулы. Мне нужны были два-три лета только на «литературу», но я уже сомневался, что они будут принадлежать мне, как раньше, полностью...

В апреле два солидных тома «Литературных, нравственных и политических сочинений» Хашдеу были набраны и откорректированы, а отчасти даже и напечатаны, но я еще не кончил введение и библиографию. Директор Королевского Фонда Ал. Росетти намеревался выпустить издание Хашдеу ко Дню Книги, то есть к концу мая. Но к тому же Дню Книги и Чорней хотел выпустить какой-нибудь мой роман. Может, мне и удалось бы отложить Чорнея до осени, если бы мне не нужны были деньги на путешествие за границу. Так что я пообещал ему ко Дню Книги «Змея». Это означало, что передать ему рукопись я должен через две недели.

Вряд ли я когда-нибудь забуду весну 1937 года. Каждый день, за вычетом пятницы и субботы, когда у меня были лекции и семинар в университете, я садился за рабочий стол сразу после завтрака, около двух часов. Писал статью, если в тот день надо было ее писать, потом брался за Хашдеу, делая от пяти до пятнадцати страниц (введение, примечания, библиография) до десяти-одиннадцати вечера. Потом расчищал стол для романа. До трех-четырех утра я исписывал пятнадцать-восемнадцать страниц и, иногда не перечитав, вкладывал в конверт и оставлял его у входной двери, чтобы утром его мог забрать мальчик из типографии. Каждый день там набирали по одной моей ночной главе.

«Змей» — единственная моя книга, которую я писал без плана, не зная, как будет разворачиваться действие и чем все кончится. Это, бесспорно, плод воображения в чистом виде. Я не использовал тут ничего из того, что мне было известно или, в принципе, могло бы быть известно, в связи с символикой или мифологией змеи. Начиная эту историю, я знал только, что одна бухарестская компания, не имеющая никакой наклонности к мистике, отправилась поразвлечься с ночевкой в монастыре и что один незнакомец, по имени Андроник, встреченный ими по дороге, в какой-то момент скажет: «Не пугайтесь, пожалуйста, но здесь, очень близко от нас, змея...» Все остальное я придумал, а точнее, «увидел» за четырнадцать ночей, по мере того, как развивалась повесть. Когда на рассвете я выносил рукопись за дверь, я довольно смутно представлял себе, что произойдет в следующей главе. В течение дня у меня почти не было времени думать об Андронике и о его змее. Когда я снова садился писать, в моем распоряжении были только разрозненные заметки, наспех набросанные в предшествующие ночи; сама рукопись была уже в типографии. Некоторое время я сидел, глядя в пустоту, пригубливал первую чашечку

кофе и пытался уловить нить. Иногда я начинал писать, весь в сомнениях, потому что не помнил точно конец предыдущей главы.

Когда я получил гранки, я глазам своим не поверил. История текла без провалов и без повторов и отличалась таким стилистическим единством, какого я редко достигал в своих книгах. Что мне еще больше понравилось: мне удалась «фантастическая атмосфера», как я и хотел, без «оккультного» и без «символического», и без фольклорных отголосков, неизбежных, как рок, в фантастической румынской литературе. «Змей» получился таким, каким я увидел его начало: повесть с банальными персонажами, поехавшими «провести время» в окрестностях монастыря и вовлеченными, против своей воли, почти того не ведая, в ряд странных происшествий, которые в конце концов их заворожат и преобразят. «Фантастическое» проступало постепенно, незаметно и, я бы сказал, в своем роде «естественно»; ибо ничего необычного не происходило, ничто сверхъестественное не вмешивалось, дабы упразднить мир, в котором родились и жили до сих пор мои герои. По сути дела, «фантастический» мир, в котором стараниями Андроника они оказались после полуночи, был их, привычный — с тем лишь отличием, что он приоткрывал еще одну свою грань, недоступную в обыденности. Как если бы в каждодневной жизни камуфлировалось тайное измерение, познав которое, человек одновременно познает и глубокий смысл Космоса, и истинный свой способ быть — быть в совершенной, блаженной спонтанности, которая не есть ни безотчетность животного существования, ни ангельская благодать.

Неосознанно, помимо собственной воли, в «Змее» мне удалось «показать» то, что я буду потом разрабатывать в своих сочинениях по философии и истории религий, а именно: что «сакральное» не отличается с виду от «профанного», что «фантастическое» камуфлируется в «реальном», что мир таков, каким он выглядит, и в то же время он есть шифр. Ту же диалектику — в контексте, правда, крупной эпической фрески — поддерживает и «Купальская ночь», которую я начал писать двенадцать лет спустя, в 1949; с той только разницей, что речь в ней идет не о глубоком смысле Космоса, но о «шифре» исторических событий. На тему камуфляжа «фантастического» в повседневном написаны и некоторые мои поздние вещи, например, новеллы «У цыганок» (1959) и «Мост» (1964). В каком-то смысле я мог бы сказать, что в этой теме — квинтэссенция всех моих зрелых сочинений.

* * *

«Змей» вышел, как я и обещал Чорнею, на День Книги, почти одновременно с двухтомником «Избранного» Хашдеу. Но я даже не успел порадоваться, что написал книгу, которая меня совершенно удовле-

творяла и что наконец-то издание Хашдеу позади. За несколько дней до всего этого Конст. Кирицеску, директор министерства народного образования, поместил во всей органах печати официальное заявление, в котором обращал внимание ректора бухарестского университета на то, что я, ассистент на кафедре метафизики филологического факультета, являюсь автором «порнографических» сочинений. Это было, разумеется, естественным следствием кампании Кокоша против «Девицы Кристины». Трагикомическим тут было то, что заявление министерства исходило от того самого Конст. Кирицеску, которого прозвали «директором при диване» (он был кошмаром молодых преподавательниц). Мне пришлось подать в суд на министерство народного образования за клевету, потребовав символическое взыскание — один лей.

Эти летние месяцы я числю среди самых славных в моей юности, среди тех, что дали мне больше всего поддержки. Потому что отовсюду поднимались голоса в мою защиту. Н.И. Хереску, первый секретарь Общества румынских писателей, устроил в мою честь банкет в «Капше» с присутствием председателя Общества генерала Кондеску, а также Ливиу Ребряну, В. Войкулеску, Йонела Теодоряну и других писателей, пригласив и декана филологического факультета Рэдулеску-Мотру и многих других профессоров, среди которых были, помнится, Нае Йонеску, К.К. Джуреску, Ал. Россетти, О. Оническу. Свидетельствовать в мою пользу на первое заседание суда пришли Нае Йонеску, Мотру, Россетти, Хереску. Не помню, как звали адвоката министерства, но защищать меня вызвалось невероятное множество адвокатов. Придя, вместе с Нае Йонеску, в суд на первое слушание, я встретил в вестибюле одну из самых моих блестящих студенток, Марьяну Клейн (вскоре после того вышедшую замуж за другого моего студента, тоже из самых способных, за Михаила Шору). В то утро она, с рассыпавшимися по плечам светлыми волосами, казалась валькирией, охваченной отчаянием. Она бросилась к Нае Йонеску, схватила его за руку.

— Господин профессор, вы должны его выручить! — воскликнула она со слезами на глазах.

Нае Йонесу успокоил ее, похлопав по плечу. Когда мы остались одни, он сказал:

— Если тебе удалось вызвать в студентах такую преданность, у меня нет сомнений в твоем будущем...

— Лишь бы министерство оставило меня в покое, — отвечал я. (Тогда я даже не подозревал, насколько был прав...)

Вскоре после публикации официального сообщения министерства газета «Время» на нескольких страницах поместила протесты студентов филолого-философского факультета. Это были на редкость сме-

лые заявления, под каждым — сотни подписей. С того дня на протяжении всего лета во «Времени» продолжали выходить «манифесты»: от студентов с богословского, политехнического, медицинского, так что можно было подумать, что это кампания, организованная то ли мной, то ли редакцией «Времени». Я раз спросил об этом Владимира Донеску, директора газеты. Он заверил меня, что никого ни на что не подбивал, и, показав кипу писем, полученных в ту неделю, добавил: «Все опубликовать невозможно. Это заняло бы слишком много места. Я даю только имена подписавшихся...»

Не помню сейчас всех подробностей процесса. Помню, что два раза заседания переносились, потом, после нескольких выступлений моих адвокатов, суд решил дело в мою пользу. Министерство образования подало кассацию. Осенью, когда я пришел на открытие своего курса, меня встретили такими бурными аплодисментами, что я поднял руки вверх и попросил зал успокоиться из опасения, как бы ректор не счел, что тут устроена политическая манифестация. Разбирательство возобновилось в конце ноября и снова было отложено. Потом установилась королевская диктатура, а весной 1938 года министром народного образования стал А. Кэлинеску. Один из первых его декретов приостанавливал все процессы по искам, которые работники просвещения подали против министерства в последние годы. Так что я никогда не получил того символического взыскания, которое требовал. Впрочем, в 1938 году это уже не имело значения...

Однако я давно знал, что Кирицеску вовсе не доволен оборотом дела. Он-то помещал в газетах свое сообщение, чтобы меня «со скандалом» выдворили из университета. Но декан, К. Рэдулеску-Мотру, выгораживал меня на процессе, а в университетском совете не нашлось ни одного человека, который бы требовал моего исключения из системы образования. С другой стороны, неожиданное, массовое, напористое вмешательство студентов всех факультетов произвело впечатление как на ректорат, так и на министерство образования.

...И при всем том я чувствовал, что надвигаются те времена, которые я предвидел и которых боялся еще со студенческой скамьи, те времена, которые называл в душе «временами, когда мы не будем свободны делать то, что хотим». Речь шла не о тоске по анархической и антиобщественной свободе, но по свободе творить в согласии с собственным призванием и возможностями. По свободе, если угодно, «делать культуру», единственной свободе, которая казалась мне тогда решающей для нас, для румын.

Том II

Жатва солнцеворота

(1937–1960)

Часть четвертая

Когда смерть камуфлирует свою мифологию

Глава 15

Загадка «коллективной смерти»

Когда в ночь на 9 сентября 1940 года мы спустились в бомбоубежище под домом, где на пятом этаже жил один из моих коллег по дипломатической миссии, во мне вдруг затеснились вперехлест, как будто они составляли единый неразрывный эпизод, события последних трех лет*. Переживание было до того необычным, что я подумал: вполне вероятно, мне уже не выйти живым из этого убежища. Страшно мне было или нет, не знаю. Но, заметив там детей, я с трудом удержался от желания подойти к их родителям и посоветовать уходить как можно скорее, *пока еще есть время*, укрыться в первом же *basement* или убежище, которое им попадется, потому что наше обвалится.

Минуту-другую спустя, чтобы не вступать ни с кем в разговоры, я сделал вид, что у меня разыгралась мигрень, снял очки, закрыл ладонями глаза и снова увидел внутренний фильм, который мне было не прервать. 9 сентября 1940 года. Лондон бомбили и раньше, но так, как сегодня, — никогда. Я перестал проводить вторую половину дня в Британском музее. Книг я накупил достаточно и мог работать дома, хотя в небольшой квартирке, которую мы сняли неподалеку от дипмиссии, не нашлось солидного и по-настоящему большого стола — разложить рукописи и папки. Я поставил купить себе стол, но так и не собрался, все ждал, «как оно повернет», то есть эвакуируют из Лондона вспомогательные службы дипмиссии или нет.

Я был культурным атташе, а значит, принадлежал к этим вспомогательным службам, куда входили и комиссии по экономике и военным вопросам, вынужденные к бездействию после перемирия, подписанного Петеном. Впрочем, должность культурного атташе была своего рода синекурой. Помню, в апреле, за несколько дней до отъезда из Бухареста, когда я представился в английскую дипмиссию (мой первый «протокольный визит»), секретарь, отменно вежливый молодой человек, все же не скрыл сарказма при слове «культура».

---

* Эти события я подробно описал в романе «Купальская ночь» (часть 1, глава 7) и сейчас не стану на них останавливаться.

— Вряд ли вам удастся выполнить свой долг, — сказал он с улыбкой. — Великобритания в войне. Все мобилизованы, даже поэты с философами...

— Я попробовал было объяснить ему, что присутствие Англии в культурном плане — у нас, как и по всей Центральной Европе, — более чем полезно; можно считать его равносильным политическим действиям. Не думаю, что я его убедил, но вскоре все дипломатические миссии и посольства крупных государств удвоили штат журналистов на постах, отвечавших за культуру. Правда, скоро я понял, что атташе и советники по печати, озабоченные военными и политическим событиями, не очень-то располагали временем, да и не слишком разбирались в том, как устанавливать и крепить культурные связи — по части, например, устройства конференций, выставок или театральных турне, по переводу «полезных» (не обязательно в смысле пропаганды) книг. Вместе с Матилой Гика, бывшим профессиональным дипломатом, а сейчас советником по культуре в Лондоне, я участвовал в заседаниях Пен-клуба, познакомился с рядом писателей, ученых и историков, получил права на перевод множества книг, нашел издателей для антологии современной румынской прозы и книги по румынской истории. Но удалось осуществить только часть этой программы, поскольку 10 февраля 1941 года Англия разорвала дипломатические отношения с Румынией.

Внутренний фильм набирал ритм. Я увидел Лондон в час нашего приезда, 15 апреля. Это был, конечно, не тот Лондон, что я узнал летом 1936 года. Небо сплошь закрывали дирижабли, покачиваясь на разной высоте. Никакому юнкерсу «Штука» не удалось бы пробиться сквозь них. Нам зарезервировали номер в отеле «Рембрандт». На другой день я представился нашему посланнику В.В. Тиле. Я познакомился также с советником по печати Димэнческу, с секретарем дипмиссии Ионом Вардалой, с коммерческим атташе Димитрие Даниелопулом. К светомаскировке (*black-out*) мне было не привыкать — мы жили так уже в Париже. На третий день я включился в работу, готовил сводки — обзоры периодики и, главное, многочисленных *News Letters*, появившихся в последнее время. Резюмировал самые важные статьи, переводил из них отрывки, стараясь передать состояние духа британской «интеллигенции». Я был, возможно, наивен, но мне казалось, что такие сведения, если их вовремя доставлять на родину, внесут свою лепту в понимание истинного положения дел в Англии. Сводки — мои и службы печати — еженедельно передавались с курьером в Париж, а оттуда — в Бухарест. После падения Франции эти сводки, естественно, только изредка доходили до места назначения.

Сюрпризом и большой радостью стало прибытие в первых числах мая экономической миссии во главе с Мирчей Вулкэнеску. (Мирче,

одному из первых, еще в начале войны я говорил о своем желании уехать в Соединенные Штаты в надежде найти там кафедру по истории религий.) Мы часто обедали или ужинали вместе, обсуждая, что неудивительно, положение на фронтах после начала немецкого наступления 10 мая. Мирча долго упорствовал в своем оптимизме. Стремительное продвижение немецких дивизий его не обескураживало; он ждал решительной схватки у стен Парижа; все время напоминал нам об осени 1914 года, о битве при Марне. Не знаю, каких результатов добилась экономическая миссия, но вскоре после оккупации Парижа ее членов отозвали в Румынию. На нашей прощальной встрече Мирча признался мне, что не верит в победу Германии.

— Разве только если они займут Англию *прямо сейчас*, за несколько дней, самое большее за неделю. Но не думаю, что Гитлеру это удастся...

После отъезда Мирчи мне стало одиноко, хотя я сблизился с двумя своими коллегами, Йоном Вардалой и Димитрие Даниелопулом. Работа в дипмиссии оставляла мне довольно досуга, и я рьяно трудился в Британском музее, дорабатывая кое-какие главы из «Мандрагоры» и собирая материал для «Шаманства». О только что прошедшем лете я почти не вспоминал в ту ночь на 9 октября 1940 года. Быстро (как будто меня подталкивал в спину неведомый и суровый дух) перешагнул через трагические события 26 июня (потеря Бессарабии) и 30 августа (Венский диктат, по которому к Венгрии отошла часть Трансильвании). Прошелся по дням, проведенным в Париже (с 12 по 15 апреля), когда мы увиделись с Эмилем Чораном, Эудженом Йонеску и моим бывшим студентом Михаилом Шора. С тревогой подумал об их судьбе. Но меня неудержимо вело все глубже и глубже в прошлое.

Не так ли происходит перед смертью? — думал я, слушая разрывы бомб, которые падали как будто все ближе и ближе. Судьба начала «показывать клыки», как выразился раз Нае Йонеску, не помню уже, в связи с каким событием или с каким персонажем. С пугающей отчетливостью пронеслось в мозгу: я нес, вместе с тремя друзьями, гроб Нае Йонеску к могиле. Споткнулся, припал на колено и с большим усилием продержался, пока ко мне не подбежали и не помогли подняться. Я знал народную примету — кто поскользнется, неся гроб, обречен умереть в том же году. Когда я рассказал маме, что случилось, мама стала меня успокаивать, приводя примеры из истории нашей семьи — примеры, которые опровергали, иногда с юмором, народное суеверие.

Правду сказать, я больше не вспоминал об этом «знаке», хотя часто думал о последних месяцах жизни Нае Йонеску и особенно о его смерти. Утром 15 марта 1940 года зазвонил телефон. Ответила, как обычно, Нина. Потом пришла ко мне.

— Умер Профессор, — сказала она, очень бледная.

Я видел его несколько дней назад, на его вилле в Бэнясе. Он лежал в постели под одеялом. Посмотрел на меня пристально, попробовал улыбнуться. Не выговорил ни слова. Потом меня под руку взял доктор, и мы вышли на цыпочках. Профессор попросил, чтобы мы пришли, его самые близкие друзья, ученики и соратники — как будто хотел попрощаться с каждым из нас в отдельности...

Это из-за смерти Нае Йонеску я оказался сейчас в Лондоне. Как и Мирче Вулкэнеску, я давно говорил профессору Александру Росетти о своем желании уехать в Соединенные Штаты. Когда его коллега и друг, историк К.К. Джуреску был назначен министром пропаганды в так называемом «последнем свободном правительстве короля Кароля», профессор Росетти попросил его послать меня в качестве культурного атташе в Англию. Пригласив меня в свой кабинет в Королевском Фонде, он сказал:

— Теперь, когда умер Нае Йонеску, тебя ничто не удерживает в стране... Ты знаешь, кафедре индианистики или истории религии здесь не бывать. Что же касается Америки, не забывай, что ответил тебе Кумараевами. К тому же на одни переводы и сотрудничество в газетах ты не проживешь. Сейчас тебе место в Лондоне, рядом с В.В. Тилей и с Матилой Гика.

Я нанес визит профессору К.К. Джуреску, который поддержал меня в скандальной ситуации, развязанной заявлением министерства образования (гл. 14). Он твердо сказал мне, что *культурная* пропаганда, если она хорошо продумана, по действию не уступит противовоздушной батарее. Правда, пост культурного атташе, добавил он, к сожалению, еще не утвержден официально. Мне дадут не дипломатический паспорт, а только служебный...

Мы отправились в путь 10 апреля — впервые в жизни я путешествовал первым классом, в *wagon-lit*. Семья и друзья провожали меня на вокзале. На вопрос, надолго ли я еду, я отвечал: «На год, самое большее на полтора». Но Михаил Себастьян повторял: «Он уезжает на десять лет...»

...После каждого особенно сильного взрыва я думал: смерть Нае Йонеску, которая дала такое неожиданное и благодатное направление моей жизни и «карьере», не приближает ли и мой собственный конец? Я думал, не связаны ли наши жизни каким-то таинственным образом, смысл которого я не могу разгадать? Я вспомнил, как у меня началось кровохаркание в лагере Мьеркуря-Чук, из-за чего я попал в санаторий, — за несколько дней до сердечного приступа у Нае Йонеску и его отправки в военный госпиталь в Брашове. Да, связь наших судеб была по видимости очевидной, но если Нае Йонеску умер от сердечного приступа в пятьдесят лет, я знал только угрозу смерти

и именно благодаря болезни, которая могла меня погубить, был вовремя спасен и в тридцать три года послан в Лондон с официальной миссией. Возможно, говорил я себе, меня ждал *иной* конец, характерный для эпохи, которая как раз началась, — «коллективная смерть», не только подле Нины и сослуживцев-румын, но и в компании десятков жителей Лондона, в большинстве своем, стариков, женщин и детей. Я чувствовал, что сам образ этой неизбежной «коллективной смерти» силится открыть мне тайну, но я никак не мог ее ухватить. В Румынии уже несколько лет смерть превозносилась легионерами как высшая жертва, а убийство — одиночное или массовое — практиковалось как самая обычная вещь. 30 декабря 1933 года команда легионеров убила премьер-министра И.Г. Дуку; в ноябре 1938 король Кароль и Арманд Кэлинеску постановили казнить Кодряну и легионеров, замешанных в заговоре против Дуки. 14 сентября 1939 года команда легионеров убила Арманда Кэлинеску. В качестве карательных мер Кароль приказал казнить их и еще несколько сотен легионеров, по большей части из лагерей и из тюрьмы в Рымнику-Сэрат. Их трупы были выставлены на площадях всех городов со следующей надписью: «Такова кара предателям родины и народа». Но поможет ли мне, думал я, память об этих «политических» казнях понять «тайну» нашей коллективной смерти, когда десятки людей, хороших и плохих (скорее все-таки хороших), осуждены на медленную гибель от удушья в руинах бомбоубежища. В одном я был уверен: с момента моего поступления в университет и с начала работы в «Кувынтул» (ср. гл. 6) Нае Йонеску был для меня больше чем любимый профессор; я считал его своим мэтром, «вожаком», который был мне дарован, чтобы я мог исполнить свое предназначение, то есть, в первую очередь, что-то сделать в сфере культуры, в единственной сфере, куда, по моему убеждению, нас пускала «История». Нае Йонеску, напротив, завораживала «мистерия Истории», потому-то он, с 1926 года, страстно увлекся журналистикой; потому-то втянулся в «политику». Прямо или косвенно мы все, его ученики и его сотрудники, разделяли концепции и политический выбор Профессора. Смерть Нае Йонеску затронула меня глубоко; я потерял наставника, вождя; в духовном смысле, я остался сиротой. Но в каком-то другом смысле его смерть освободила меня от нашего непосредственного прошлого, то есть от идей, надежд и решений Профессора последних лет, от всего, что я, из преданности ему, разделял.

Сейчас, в ночь на 9 сентября 1940, *необходимость* — я бы сказал, фатальность — «коллективной смерти» в лондонском бомбоубежище смущала меня своим загадочным равнодушием (я не смел назвать это *абсурдностью*). Если меня ждет такой печальный *finale*, это значит, что с определенного момента я свернул на путь, который к моей

судьбе не относился. Если была, как мне казалось, какая-то общность у наших судеб, я должен был умереть *в одиночку*, так, как умер Нае Йонеску, давший себе время (несколько дней? несколько часов?) для раздумий, для молитвы. Загадка коллективной смерти, поджидающей меня, мешала мне «собраться», проникнуться мыслью, что с минуты на минуту я перестану существовать...

* * *

...Меня вдруг отнесло на три года назад. Летом 1937 года мы поехали в Берлин. Остановились сначала в Венеции, посмотреть Тинторетто, потом заехали в Берн, куда был назначен атташе по печати Лучиан Блага. Он нашел нам дешевый пансион, и целую неделю мы каждый день вместе обедали. На родине мы несколько раз встречались, и ему нравилось то, что я пишу. А больше всего — то, что у меня разнообразные интересы. На одной из своих последних книг он сделал мне такое посвящение: «Мирче Элиаде, от универсала универсалу». В то лето он работал над книгой «Происхождение метафоры и смысл культуры». Мы подолгу просиживали за беседой; а точнее, я задавал ему вопросы, умолкал в ожидании ответа, заговаривал снова, повторяя вопросы, и, в конце концов, Лучиан Блага отпускал два-три слова — весомых, точных и все же отдающих чарами древней сакральности. Неделя таких диалогов меня изнурила и одновременно наполнила до краев. На прощанье госпожа Блага отвела меня в сторону и поблагодарила: «Никогда с тех пор как я его знаю, я не видела Лучиана на таком подъеме и таким разговорчивым...»

Несколько недель спустя, в Берлине, я записал «Разговоры с Лучианом Благой», и они вышли во «Времени» на целой полосе. Это были выдержки из «Путевого блокнота», который я начал в Венеции. Я купил себе блокнотик, носил его всегда в кармане, без конца записывая всякого рода детали: выражение глаз ребенка, просверк ассоциаций, вызванных обрывком какой-то песни, ту или иную мысль в связи с книгами, которые я читал или писал, и тому подобное. По ночам в комнатах дешевых отелей, в бернском пансионе и потом на Берлинерштрассе я листал эти краткие записи, скорее даже шифровки, и переписывал их, уточняя и разрабатывая. Так у меня набрался не один десяток страниц о знаменательных пустяках, о встречах, пейзажах, раздумьях или воспоминаниях при посещении Венеции, Берна, Ульма, Гейдельберга и т.д. Большинство из них было опубликовано во «Времени» и в «Универсул Литерар» в 1937–1939 годах. Эти страницы так мне самому нравились (может быть, в том числе и потому, что Дину Нойка сказал: «Не знал, что из тебя такой хороший *путешественник*. Первый, в сущности, румынский *путешественник*»), что

мне ужасно захотелось собрать их в книгу. Однако «Путевой блокнот» в компании нескольких других, почти законченных книг, так никогда и не был напечатан.

По приезде в Берлин я сразу включился в тот же распорядок дня, что и в прошлые разы: день в библиотеке, вечером и ночью — работа дома. Доработал тексты по вавилонской космологии, которые выходили во «Времени», и написал последние главы по алхимии, так что домой привез готовую рукопись — «Вавилонская космология и алхимия», она вышла в конце осени*.

Я вернулся на улицу Паладе с грузом заметок, документальных материалов и проектов. Сбор материалов для «Мандрагоры» был почти завершен, и я собирался дописать ее в том же году. Ал. Росетти просил ее для издательства Королевского Фонда, и ее ждал Поль Жетне. *Habent sua fata libelli*[90]... Я начал собирать материалы для этой книги в *Imperial Library*, в Калькутте, в 1930–1931 годах. Опубликовал две статьи в «Кувынтул» в 1932, и с тех пор, как только у меня появлялся просвет, продолжал пополнять свои папки. Йон Мушля, директор фольклорного архива в Клуже, по моей просьбе прислал мне не публиковавшиеся еще материалы, так что той осенью я закончил первую главу «*Le culte de la mandragore en Roumanie*». Этот текст появится весной 1939 в «Залмоксисе», журнале религиеведческих исследований, который я решил издавать по возвращении из Берлина. Нае Йонеску, Ал. Росетти и другие одобряли этот проект. Генерал Кондееску пообещал мне субсидию от Королевского Фонда, а Поль Жетне согласился издавать журнал. Многие зарубежные ученые заявили о своем согласии сотрудничать, и зимой 1938 я уже получил статьи от Ананды Кумарасвами, Р. Петтаццони, К. Хенце, Ж. Пшылюски, Б. Роуланда.

Я решил издавать «Залмоксис» в надежде, что, с одной стороны, подтолкну исследования по истории религий в Румынии, а с другой, буду пропагандировать достижения румынских ученых, публикуя их

* Эта книга содержит *in nuce* все мои трактовки в связи с символикой Центра мира, с архетипическими моделями храмов, городов и жилищ, с платоновской структурой архаической и восточной мысли — трактовки, развитые позже в «Мифе о вечном возвращении», «Трактате по истории религий» и «Образах и символах». Лучиан Блага, Нае Йонеску, Тудор Виану и другие прочли книгу с энтузиазмом. Но, разумеется, напрасно было бы ждать, чтобы ее приняли все румынские интеллектуалы. Камил Петреску упрекал меня за то, что я трачу свой ум и эрудицию на такие неинтересные проблемы — лучше бы мне изучать, например, Гуссерля и делать феноменологический анализ искусства. А иные из интеллектуалов-националистов сожалели о моем «отходе», о том, что я даю увлечь себя экзотическим феноменам культуры вместо того, чтобы изучать коренное, румынское. Я же, повторюсь, считаю, что мои усилия понять строй архаической и восточной мысли лучше помогали расшифровать ценности румынской народной духовности, чем, к примеру, экзегеза Канта или социологические трактовки, взятые из новейших немецких, французских или американских книг.

на языке, имеющем широкое распространение. Кафедры по истории религий не было на филолого-философском факультете, хотя Василе Пырван, Нае Йонеску, а в последние годы и я сам читали курсы по истории религий. Мне хотелось к тому же вывести из провинциального состояния исследования по фольклору и сравнительной этнологии, ведущиеся в Румынии. Я намеревался в некотором смысле принудить румынских фольклористов проникнуться историко-религиозной ценностью материалов, которые они собирали и использовали, то есть перейти от филологической фазы к фазе герменевтики*. Планы, которые я строил тогда, осенью 1937 года, были грандиозны, но они не казались мне неосуществимыми. Я собирался завершить «*La Mandragore*» за год, чтобы потом заняться книгой по теории структуры мифов и символов. В последние годы я читал курсы лекций по этим проблемам. Осенью 1937 объявил специальный курс по религиозному символизму, в рамках которого хотел сосредоточиться в особенности на акватическом символизме и на символизме Космического древа. Главные мысли этих лекций будут изложены позже во втором томе «Залмоксиса» и в «Трактате...». Этими проблемами живо интересовалась небольшая группа студентов, с которыми я ближе познакомился на семинаре по «*De docta ignorantia*» и по книге X «Метафизики» Аристотеля. Для них я объявил на следующий, 1938–1939 учебный год, курс о мифе. Но прочесть его мне не привелось.

Политическая атмосфера незаметно изменилась и грозила обострением. Популярность легионерского движения продолжала расти. Кое-кто из моих друзей и коллег уже несколько лет как состояли в Железной гвардии. Другие как будто ждали подходящего момента, чтобы подать прошение о вступлении. Нае Йонеску, хотя официально в нее не вступал, считался «идеологом» легионерского движения, к досаде других правых интеллектуалов и журналистов. Незадолго до осенних выборов Юлиу Маниу и Корнелиу Кодряну заключили электоральное соглашение, которое позволило им помешать правительству злоупотребить своей властью. Вполне возможно, что это-то соглашение и решило судьбу легионерского движения. Мало того, что

* Я и не подозревал тогда, осенью 1938 года, когда готовил первый номер «Залмоксиса», что мне будет дано выпустить только три номера, последние два из которых — после отъезда из страны. Тем более я не подозревал, что книга «*La Mandragore: Essai sur les origines des légendes*», над которой я работал с таким подъемом, не увидит свет и через сорок лет после написания. На первый взгляд, это была монография по сравнительному фольклору; на самом же деле, как уточнялось в ее подзаголовке, — попытка дать обобщенную теорию происхождения и формирования легенд. Я ставил перед собой задачу изложить сначала народные верования о матрагуне и других «магических» растениях, потом сделать обзор легенд, касающихся их происхождения, и показать их связь с архаическими мифами о космогонии.

его успех на выборах превзошел все ожидания, но правительство к тому же не получило и сорокапроцентной квоты голосов, которая обеспечила бы ему парламентское большинство. Поэтому результаты выборов были аннулированы. Король поручил Октавиану Гоге сформировать правительство с Армандом Кэлинеску в качестве министра внутренних дел, и на зиму были объявлены новые выборы.

В январе 1938 года, после четырехлетнего запрета, снова стал выходить «Кувынтул». Но это была уже не та газета, которую я знал и любил со студенческой скамьи. Вновь введенная с недавнего времени цензура, а, главное, предчувствие, что вот-вот грянут решающие события, словно бы изменили ее «стиль». Поскольку Михаил Себастьян и Йон Кэлугэру больше в ней не сотрудничали (хотя Себастьян сохранил привязанность к Нае Йонеску), то за раздел культуры отвечал я. Я писал по две-три статейки в неделю и привлек к сотрудничеству нескольких своих бывших студентов.

Зимой избирательная кампания возобновилась с еще большим накалом. После говорили, что Арманд Кэлинеску, основываясь на информации, которую он получил в министерстве внутренних дел, оповестил короля, что результаты выборов будут убийственными, что легионерское движение может набрать большинство голосов. Поэтому 11 февраля правительство Гоги было отправлено в отставку и сформировано новое, во главе с патриархом Мироном, но фактически возглавляемое Армандом Кэлинеску. Поскольку конечной его целью было сокрушить легионерское движение, многие из нас гадали, от какой искры вспыхнет конфликт между Каролем и Кодряну. Вождь Железной гвардии выбрал путь непротивления. В открытом письме он заявил, что правительство может истязать их и убивать — легионеры не ответят. Однако же, когда Н. Йорга написал в «Нямул ромыняск», что в легионерских ресторанах замышляются заговоры, Корнелиу Кодряну, опять же в открытом письме, обвинил его в том, что у него «нет ни чести, ни совести». Так нечаянно возникла оказия, которую поджидал Арманд Кэлинеску. Н. Йорга подал в суд за клевету, и в апреле 1938 года Кодряну арестовали, судили и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Накануне ночью в легионерских ставках прошли обыски, а на другой день все газеты дали по целой полосе факсимильных писем, из которых должно было явствовать, что легионеры подготовляли восстание. Действие конституции было приостановлено, посыпались специальные декреты-законы. Все легионерские газеты, разумеется, были запрещены.

Нае Йонеску арестовали заодно с почти всей верхушкой легионеров. Через некоторое время я узнал, что их держат под арестом в помещении сельскохозяйственного училища вблизи Мьеркуря-Чук. В мае состоялся еще один судебный процесс над Кодряну и группой

главарей легионерского движения — уже по обвинению в государственной измене. На сей раз Корнелиу Кодряну приговорили к десяти годам тюрьмы.

В напряжении этих недель я продолжал читать лекции. Все было по-прежнему, разве что я замечал в первых и последних рядах амфитеатра «Титу Майореску» каких-то подозрительных типов. Однажды вечером зазвонил телефон. Незнакомый голос сказал, что «мне лучше не ночевать сегодня дома». Я знал, что обыски и аресты производятся в ночное время, и еще я знал, что если тебя арестуют, вырваться на свободу невозможно. Я давно задумывался над ситуацией с арестом, но генерал Кондееску, председатель Общества румынских писателей, уверял меня, что подвергаются обыску и «домашнему аресту» только те, кто занимался «активной политикой». Поскольку генерал Кондееску был другом юности и библиотекарем короля Кароля, я думал, что он хорошо информирован. Но избежать ареста мне надо было любой ценой. К нам как раз заглянул один из моих друзей. Я предложил ему поужинать вместе со мной в городе, а потом погулять по улицам до рассвета. Так мы и поступили. Около двух часов ночи мы прошлись перед нашим домом. Горела, как мы договорились с Ниной, лампа на столе — в знак того, что обыск уже кончился, но возвращаться еще рискованно. Мы пришли еще раз через три часа. Лампа была потушена, и я вошел. Нина рассказала, что произошло. Вскоре после полуночи в дом вошли два комиссара полиции и один инспектор из сигуранцы и спросили меня. Она сказала им, что я в отъезде. Они принялись рыться в ящиках стола и в книжных шкафах, ища компрометирующие тексты. Перечитали всю свежую заграничную корреспонденцию (по большей части в связи с «Залмоксисом», который как раз был в печати), конфисковали письма, написанные по-английски, потому что по-английски не знали. Мне не хотелось спать, столько кофе я выпил в ту ночь, и я стал разбирать папки с «Залмоксисом» и «Мандрагорой» — убедиться, все ли там на месте. Однако мне надо было искать прибежище, где бы укрыться, пока Кондееску не прояснит ситуацию. Меня приютил, в тот же день, отец одноклассницы Джизы, у себя в доме на другом конце Бухареста. Я отправился туда, прихватив пижаму и несколько книг, думая пробыть там день-другой, не больше. А пробыл почти три недели. Нина в тот же день пошла к Кондееску, с которым она, впрочем, была в родстве. Генерал пообещал поговорить с Армандом Кэлинеску, но посоветовал мне не возвращаться домой, пока он не даст знать. «Если его арестуют, — сказал он Нине, — тогда я ничего не смогу сделать. И никто ничего не сможет сделать. Даже сам король. Таково было условие Арманда: абсолютно никакого вмешательства...»

Из газет я узнал не только о судах над легионерам и о приговорах, но и подробности, которые касались меня лично; например,

об увольнении Нае Йонеску из университета, то есть, косвенным образом, и меня, его ассистента. С июня, следовательно, я лишался жалованья, и было непонятно, на что нам жить. Хозяин квартиры заверил Нину, что сделает нам отсрочку, но все равно: статью, посланную мной во «Время», не пропустила цензура, хотя я выбрал предмет нейтральный и даже скучноватый (помнится, что-то в связи с индийской мыслью). К моему удивлению и к радости, статья, написанная для «Ревиста Фундацийлор Регале», все-таки вышла, но она была последняя в том году. По счастью, Ал. Росетти предложил мне перевести роман Пёрл Бак «Ангел-воитель» и дал хороший аванс. На тот час голодная смерть нам не угрожала. Но я не строил себе иллюзий. Я предчувствовал, что рано или поздно меня «изымут из обращения», чего мне давно желали иные из моих критиков. Даже если я избегу домашнего ареста, то университетской кафедры мне точно больше не видать. Я знал и то, что писать и печататься при диктатуре тоже не смогу. И все же у меня не было ни печали, ни ощущения обманутых надежд. В какой-то степени я всего этого ждал. Одиннадцать лет назад я написал статью *«Anno Domini»*. Я знал, что теряю «рай», изведанный в отрочестве и в ранней юности: открытость, абсолютную свободу мысли и творчества. Поэтому я писал так много, поэтому торопился — я знал, что «История» дает нам передышку, всего лишь. Правда, я никогда не думал, что мы окажемся в такой ситуации благодаря некоему националистическому движению, к которому во времена моего студенчества я относился безразлично, и благодаря юному королю, чье вступление на престол я считал, вместе со всем моим поколением, провиденциальным.

Меня не разбирало раньше времени любопытство, «под каким соусом меня съедят». Я просто знал, что настанет день, когда «История» воспрепятствует мне расти и становиться самим собой. Я знал об этой угрозе — оказаться в брюхе чудовища, заживо переваренным. И утешался тем, что успел написать пусть часть из книг, о которых мечтал, и опубликовать пусть только «Йогу». Хотя кошки скребли на душе: «Новая жизнь» не дописана, *«La Mandragore»* не закончена, и первый номер «Залмоксиса» не напечатан. Если мне так хотелось свободы, то прежде всего — чтобы завершить хотя бы начатые работы. Я подозревал, что в каком-то смысле мой «румынский период» подходит к концу. Мне только что исполнился тридцать один год, я был еще очень молод — и, главное, чувствовал себя молодым, полным планов и сил. Я говорил себе, что для меня найдется кафедра в Италии (куда меня приглашал Туччи) или в Соединенных Штатах (куда звал меня Кумарасвами). Я не усматривал в эмиграции разрыв с румынской культурой, а только смену перспективы, точнее — переход в *диаспору*. Я думал об изгнании без горечи и без всяких мсти-

тельных мыслей. За несколько лет я приобрел все, что можно было приобрести в Румынии, за исключением имущества: славу, известность, престиж; я был, а может, еще и оставался «вождем молодого поколения». Во всем, что произошло со мной в последние месяцы, я не мог обвинить никого, ни даже Кароля или Арманда Кэлинеску. Я видел в этом судьбу нашего поколения: десять лет свободы, а потом снова «обусловленность» историческим моментом. События могли развернуться по-другому, но приговор не мог быть отменен, разве что отодвинут на два-три года. На сей раз и я не хуже других знал, что надвигается война, что, как ни крути, нас в нее втянут и что единственная задача румын, по выражению Антона Голопенции, — «как перезимовать». В отличие от большинства молодых людей, я не считал, что судьба моего поколения — в политике, как это было с военным поколением и как это будет, по моему предположению, с поколениями, которые придут нам на смену. Наша судьба была исключительно в культуре. Нам следовало ответить на один-единственный вопрос: способны мы или нет создавать высокую культуру — или обречены, как до 1916 года, на культуру провинциального типа, которую по временам пересекают метеорами одинокие гении — Эминеску, Хашдеу, Йорга. Явление таких личностей, как Василе Пырван, Лучиан Блага, Йон Барбу[91], Нае Йонеску и других, укрепляло мою веру в творческие возможности румынского народа. Но на вопрос, поставленный перед нашим поколением, мы должны были ответить немедля. Как я повторял с 1926 года, отвечать надо, «пока еще есть время».

Никогда прежде я не чувствовал так конкретно, до чего мало времени нам осталось. Любой ценой мне надо было выпустить «Залмоксис», и я писал день и ночь, я сам написал почти все рецензии для первого номера. Джиза передала мне через свою одноклассницу нужные мне книги и тетради с записями. Недели через две меня пришли проведать Нина и кое-кто из друзей. А в начале июля генерал Кондееску прислал весточку, что я могу возвращаться домой. Он повидался с Армандом Кэлинеску, и тот заверил его, что против меня нет никаких обвинений, что обыск произошел из-за избыточного рвения сигуранцы, желавшей удостовериться, не прячу ли я кого-то из преследуемых и нет ли у меня «компрометирующих документов».

Я вернулся домой, но поначалу не осмеливался слишком открыто гулять по городу. Впрочем, у меня и времени для этого не было. День и ночь я работал над «*La Mandragore*». Вскоре я получил из типографии корректуру статей зарубежных сотрудников «Залмоксиса» и отправился на центральный почтамт отправить их заказными письмами, чтобы не затерялись. Это было утром 14 июля. Во второй половине дня ко мне пришел итальянский студент, который взялся переводить «Майтрейи». Он едва успел прочитать мне одну страницу,

как на лестнице раздался топот башмаков, и минуту спустя в мой кабинет ворвались шестеро-семеро агентов и два жандарма. Они проникли в дом со всех входов сразу и заняли все комнаты, даже ванную, где поставили на караул одного из жандармов. Старшина посмотрел на меня с любопытством, окинул взглядом книжные шкафы и, проверив документы у итальянского студента, довольно вежливо обратился ко мне: «Вы едете с нами в сигуранцу, давать показания. Но прихватите пижаму и что там еще. Может быть, допрос затянется...»

Эта сцена из памяти резко встряхнула меня, хотя я не услышал взрыва. Отсюда все началось, сказал я себе. Путешествие к «коллективной смерти», поджидавшей меня, началось в тот день, 14 июля. Я совершил какую-то ошибку, но никак не мог нащупать какую. Неужели на мою судьбу наложило клеймо то, что я с утра отправил заказными письмами гранки статей Петтаццони, Кумарасвами и Пшылюски? Это казалось мне диким. Правда, как я вскоре узнал, когда в сигуранце проверяли списки заказных писем, отправленных в то утро, наткнулись на мои конверты. Значит, у меня были «контакты с заграницей», подозрительный факт в те времена (особенно в отношении ассистента и сотрудника Нае Йонеску). Все же я не мог поверить, что именно эта случайность открыла мне дорогу к «коллективной смерти». Я *знал*, что совершил фатальную ошибку, вполне возможно, в связи с моими занятиями последнего времени («*La Mandragore*»? «Залмоксис»?), но разобраться было выше моих сил...

— Объявили *all-clear*! — крикнула Нина, тряся меня. Она подумала, как и все, что я уснул, закрыв глаза руками, уронив голову на колени. Мне понадобилось несколько минут, чтобы опамятоваться.

— Значит, на сей раз пронесло. *На сей раз,* — повторил я раздумчиво. — По крайней мере...

Я хотел добавить: «По крайней мере, не «коллективная смерть». Но вовремя прикусил язык.

Глава 16
Шанс, который дает болезнь

С тех пор я не раз вспоминал свое навязчивое состояние во время достопамятного блица в ту лондонскую ночь 9 сентября. Я не понимал тогда (да и потом, сомневаюсь, что понял во всех ее подтекстах) загадку «коллективной смерти», которая скрепляла наши с Нае Йонеску судьбы и в *то же самое время* их разводила. Еще я не понимал, отчего в ту ночь я был *так уверен*, что всему произошедшему после 14 июля 1938 года я обязан некоей «фатальной ошибке», которую совершил либо в тот же день, либо чуть раньше. Я, разумеется, наделал немало разных ошибок и до, и после 14 июля 1938, но ни в одной из них я не видел объяснения неизвестно откуда взявшейся навязчивой мысли о «коллективной смерти», которая ожидала меня со дня на день...

...Меня препроводили в генеральную сигуранцу и заперли в какой-то служебной комнате, приставив часового. Ночью я спал на полу. Заснул с трудом, потому что не разрешалось гасить сильную лампочку под потолком. Потом я привык: я провел в этой комнате почти сорок дней. Вероятно, в отношении меня были какие-то четкие указания, поскольку, за исключением спанья на полу, мне не на что было пожаловаться. Зато я слышал стоны и крики тех, кого допрашивали в подвале, особенно по ночам, когда стихала музыка в кинематографе по соседству. Я понял, что мне дают поблажку, когда мне было разрешено получать из дому еду и, более того, книги и рукописи. Так как обещанный допрос все откладывался, я серьезно взялся за работу. За те недели я написал «*Magic, Metallurgy and Alchemy*». По сути, это была переработка, значительно расширенная, нескольких глав из «Вавилонской космологии и алхимии». Она вышла потом в «Залмоксисе» и еще, отдельно, первым выпуском «*Cahiers de Zalmoxis*».

Уже в день моего ареста, под вечер, Нина пошла к генералу Кондееску. Он был как будто удручен случившимся и пообещал ей поговорить с Армандом Кэлинеску. Разговор состоялся через несколько дней, но Кэлинеску только пожал плечами.

— Покажи мне его дело, — попросил Кондееску, — я хоть посмотрю, в чем его обвиняют.

— Он человек Нае Йонеску, — был ответ. — Что, недостаточно?.. — И добавил: — Он — символ.

— Символ чего? — поинтересовался Кондееску. — Индии? Истории религии?

— Символ всего, в чем я подозреваю помеху моей борьбе за спасение монархии и демократии в Румынии.

— Шутки в сторону, — перебил его генерал.

— Вот и я о том же. Я ничего не имею против него. Мне, в общем-то, нравится то, что он пишет. Пусть подпишет отречение, и я его отпущу.

«Декларация отречения» от легионерского движения была последним новшеством Арманда Кэлинеску. Он считал — и, может быть, не без оснований, — что такие декларации, публикуемые во всех газетах, должны обескуражить и дезориентировать легионеров и тех, кто им симпатизирует. Череду отречений открыл один священник, бывший духовный отец Корнелиу Кодряну. Поскольку я не считал себя «политическим деятелем», я отказался подписывать «декларации» в той или иной форме, которые мне подкладывал инспектор сигуранцы на разных стадиях «следствия». Ибо «следствие» началось-таки примерно через неделю, в течение которой я должен был, по их замыслу, потерять терпение или присутствие духа. Меня водили в кабинет к инспектору, или он приходил в комнату, где держали меня, рявкал на часового, чтобы тот ждал его в коридоре, и начинал задавать мне вопросы: когда я в последний раз видел такого-то и такого-то? Что сказал Нае Йонеску в тот день, когда появилось письмо Кодряну по поводу статьи Н. Йорги? И прочее в том же духе.

По сравнению с избиением и пытками других заключенных, а тем более по сравнению с убийствами, которые последуют, — не говоря уже о советских и нацистских концлагерях или о терроре и геноциде, которые обрушатся на Румынию после 1945, — это были, конечно, цветочки. Но в контексте 1938 года моя ситуация была достаточно серьезной. Меня преследовали и арестовали за дружбу с Нае Йонеску и за то, что я сотрудничал в газете, выход которой возобновился с одобрения правительства. Тысячи и тысячи людей были арестованы за то, что они примкнули к легальной политической партии, с которой Юлиу Маниу, не колеблясь, заключил электоральное соглашение. Их обвиняли задним числом за политическую позицию, право на которую до зимы 1938 года им гарантировала конституция. Диктатура Кароля предваряла то, что должно было произойти семь-восемь лет спустя, после оккупации страны Советами. Как и террор, развязанный после 1948 года коммунистической партией, террор, осуществляемый по приказу Арманда Кэлинеску, был предпринят во имя и в защиту «демократии». Если что и отличало Кароля, так это

его уверенность, что он может позволить себе все, потому что «народ» все стерпит; уверенность, основанная на весьма плохом мнении о румынах. Поскольку Кароль знал только бесчестных политиканов и людей бесхребетных, он и всех румын мерял на свой аршин. Что он смыслит в политике, стало ясно, когда он взял в советники Пуйю Думитреску и Эрнеста Урдэряну — вместо Нае Йонеску. Все остальное: честь, верность данному слову, «выдержка характера», — зависело от решения или каприза его метрессы, Елены Лупеску. Сам сребролюбец, Кароль видел в румынских политиках тоже одних только сребролюбцев, мошенников и трусов. Поскольку ему удавались все его интриги и маневры, поскольку ему удалось сломить единство либеральной и национал-цэрэнистской партий, он думал, что может позволить себе все. И умер, наверняка в том не разуверившись.

В 1937–1938 годах он опасался одного — восстания легионеров при поддержке армии. Однако о надежности армии он позаботился, устранив всех, кто не соглашался быть простой пешкой в его руках и укреплять генеральную сигуранцу и жандармерию. С другой стороны, он знал, что Корнелиу Кодряну не поднимет восстания в такой критический момент с риском спровоцировать ввод советских войск. (В разгаре была гражданская война в Испании, и оставался год до советско-германского пакта.) Он знал, наконец, что «массы» не прореагируют, если террор будет разворачиваться постепенно. Почти безраздельный успех диктатуры Кароля основывался, в первую очередь, на тактике, применяемой Армандом Кэлинеску, — той же, что после 1945 года применят коммунистические партии Центральной и Восточной Европы. Сначала — ничего эффектного, только изматывание противника по мелочам. Потом — приостановка действия Конституции, массовые аресты, ужесточение репрессивных средств и несколько сенсационных, но без смертных приговоров, процессов. Наконец, когда в стане легионеров наступила растерянность, на грани коллапса, когда почти все их главари попали в тюрьмы и лагеря, последовал финальный удар, казнь вождя.

Не знаю, каков будет суд истории над Корнелиу Кодряну. Факт остается фактом: через четыре месяца после феноменального успеха на выборах легионерского движения его предводителя приговорили к десяти годам строгого режима, а еще через пять месяцев казнили. События, которые еще раз убедили меня, что судьба моего поколения — не в политике. Корнелиу Кодряну вряд ли бы мне возразил. Потому что для него легионерское движение представляло собой не политический феномен, но принадлежало к сфере этики и религии. Сколько раз он повторял, что не захват власти его интересует, а сотворение «нового человека». Он заранее знал, что король готовит его гибель, и, если бы хотел, мог спастись, найдя прибежище в Ита-

лии или Германии. Но Кодряну верил в необходимость жертвы, считал, что каждое новое гонение лишь очищает и укрепляет легион; кроме того, он верил в свою звезду и в покровительство Михаила-архангела.

В 1937–1938 годах самой популярной темой у легионеров была смерть. Образцом им служила смерть Моцы и Марина[92]. Слова Моцы: «самый сильный динамит — это твой собственный прах», — стали буквой Евангелия. Добрая часть «легионерской деятельности» состояла в отправлении служб, панихид, в строгих постах и молитвах. И самая патетическая ирония весны 1938 года заключалась в том, что разгром единственного в Румынии политического движения, которое *принимало всерьез* христианство и церковь, начался с легкой руки патриарха Мирона. Не знаю, какие мысли были у Кодряну, когда он понял, что через несколько часов его казнят. Я думаю не о его вере, но о его политической судьбе. Потому что *именно он* уверил Арманда Кэлинеску, в ряде письменных обращений, что легионеры не будут отвечать действием, даже если их подвесят вверх ногами и будут пытать. Он отдал строгий приказ о неприменении насилия, об отказе даже от пассивного сопротивления и распустил партию «Все для Отечества». Кэлинеску преуспел в своей тактике: все легионеры дали себя схватить и сидели теперь в клетке, ожидая, как мыши, пока их сожгут заживо. Возможно, Кодряну, наряду со многими другими легионерами, умер, будучи уверен, что их жертва ускорит победу движения. Спрашивается, однако: не видел ли кто-то из них в этой неизбежной смерти не только жертву, но и фатальное следствие катастрофического просчета в политической тактике? Знаю лишь, что Михаил Полихрониаде, один из немногих их главарей, которого занимала политическая победа, а не спасение душ, сказал раз своей жене на тюремном свидании в Рымнику-Сэрат, после расстрела Кодряну:

— Вот куда нас завели службы и панихиды!..

Меньше, чем через год, казнь ждала и его, не имевшего даже утешения в службах и панихидах. Но он умер не хуже других, верующих — такой же просветленный. Попросил папиросу, затянулся и с улыбкой встал к стене, под дула пулеметов.

* * *

Летом 1938 года быть легионером или «сочувствовать» легионерам означало рисковать всем: службой, свободой, жизнью, в конце концов. Нетрудно понять, почему такой, как я, не верящий в политическую судьбу своего поколения (и в звезду Кодряну тоже), видел в предложении отречься от легионерского движения не только что-то неприемлемое, но и просто-напросто бредовое. Мне было не предста-

вить, как можно отречься от своего поколения посреди гонений на него, когда безвинных людей преследовали и травили*.

Итак, поскольку я отказался подписать декларацию, через шесть недель содержания в генеральной сигуранце меня переправили в лагерь Мьеркуря-Чук. Тем временем я кончил «*Magic, Metallurgy and Alchemy*» и приступил к переводу «Ангела-воителя». Многие свои тюремные и лагерные воспоминания я использовал в «Купальской ночи» и сожалею об этом; таким образом могло сложиться впечатление, что Штефан Визиру — мое *alter ego*. Но события 1938 года, как и годы войны, проведенные в Лондоне и Лиссабоне, предоставили мне богатый эпический материал чуть ли не в «готовом виде» — и я поддался соблазну. С какого-то момента вместо того, чтобы и дальше выдумывать из головы жизнь Визиру, я стал составлять ее из пережитого. Думаю, это стоит подчеркнуть, чтобы объяснить недостаток энтузиазма в описании событий лета и осени 1938 года: у меня ощущение, что я их однажды уже рассказывал.

Лагерь помещался в бывшем сельскохозяйственном училище километрах в десяти от Мьеркуря-Чука. Это было здание начала века, четырехэтажное и с просторными комнатами; в каждой содержали от пяти до десяти заключенных. Двор метров сто в длину и тридцать в ширину, за колючей проволокой, охраняли жандармы с автоматами. По углам стояли деревянные вышки, на них — пулеметы, направленные дулами во двор. Тут мы гуляли, разговаривали, а рано утром, под руководством инструктора, делали гимнастику. Отсюда тянулась равнина до гор Одорхей, и мы с тоской смотрели на их очерк, проступающий в синеве на горизонте. От Чука сюда вело единственное шоссе, но машины на нем появлялись редко. Когда же машина направлялась к нам, минуя первый кордон жандармов, метрах в пятистах от нас, весь лагерь приходил в волнение. «Свидание»! К кому-то из нас едет мать или жена. Хотя это свидание происходило в присутствии жандармского майора, коменданта лагеря, все же с воли просачивались какие-то вести. Вообще же новости приносили прибывающие арестанты. Газеты, разумеется, были под запретом, но по рукам ходило несколько книжек, зачитанных до дыр. Мне было позволено взять с собой «Ангела-воителя» и еще кое-какие книги, среди них — полное собрание сочинений Шелли, этот том я отдал Нае Йонеску, когда сколько-то месяцев спустя его перевели в Брашов, в военный госпиталь. Еще мне позволялось иметь бумагу для письма. По сравнению с будущими лагерями, жизнь в Чуке летом 1938 года была вполне

* Тут же оговорюсь: в те три месяца, когда у власти была коалиция генерала Антонеску и Хории Симы (сентябрь-декабрь 1940), легионеры-террористы совершили бесчисленные и страшные преступления.

сносной. Хотя мы жили в изоляции от семей и от остального мира, но нам давали гулять, беседовать и читать, а еда была не хуже, чем в обычной воинской части (правда, иногда в макаронах попадались черви, брынза была — голая соль, зато щедро кормили чорбой, вареной картошкой и квашеной капустой). И все же мы первые в 1938 году хлебнули того, чему после предстояло усугубиться и распространиться как у нас, так и в других странах. Может быть, поэтому мы так остро ощущали свое «зэковское» положение: то, что происходило с нами, было всем *внове*, было дьявольским изобретением в сфере румынских политических нравов, и без того достаточно порочных. Впрочем, никто не знал, что будет завтра. Никакая диктатура долго не продержится, когда есть хоть минимум человечности (я усвоил это в Индии). Пулеметы были направлены на нас не только символическим образом.

Пока же я радовался, что избавился от четырех стен префектуры и от лампочки, которую никогда не гасили, что мог гулять по двору и, главное, беседовать с Нае Йонеску. Мне поставили раскладную кровать в его камере. Еще там были: Неллу Манзати, молодой и остроумный священник, и один врач, тоже молодой, с больным сердцем, который знал, что его дни сочтены, и, может быть, оттого вечно всему радовался, зубоскалил, сыпал анекдотами и острыми словечками. Распорядок дня был простой: подъем в 6, поверка во дворе в 7, чай в 7.30, обед в 12 и ужин в 7 вечера, после чего, в 9 — снова поверка и общая молитва. Исключение — пятница, постный день, когда всех, за вычетом легочных больных, кормили только вечером. Все остальное время каждый занимался, чем хотел. Когда привезли меня, организовались разные курсы: Нае Йонеску читал лекции по метафизике, а меня попросили сымпровизировать курс по истории религий и рассказать о Ганди и об индийском националистическом движении.

Среди заключенных были самые разные люди, университетские лекторы и профессора, врачи, священники, учителя, рабочие, крестьяне. Интеллигенция составляла большинство. По вечерам общая молитва заключалась потрясающим душу «С нами Бог!..» — хоровым, в триста голосов. На верхнем этаже одну комнату отвели под «непрерывную молитву». Постоянно, день и ночь, чередуясь каждый час, заключенные по одному молились или читали Библию, смолкая, только когда приходила смена. Самые тяжкие для бодрствования и молитвы часы были, естественно, между тремя и пятью утра — и многие просились, чтобы их занесли в список на эти часы. Нечасто в истории современного христианства окупались такой большой кровью посты, молитвы и слепая вера во всемогущество Бога. И уже после трагедии меня больше всего восхищало, когда я находил ту же незыблемую веру у тех немногих, что пережили резню. Довольно было

нескольких подобных сопоставлений, чтобы понять, что легионерское движение по своему предназначению и строю было мистической сектой, а не политическим движением. Мне об этом, впрочем, твердил Пуйю Гырчиняну во время наших долгих бесед, подчеркивая, что высшая цель легионерского движения — это даже не личное, например, через мученичество, спасение, а «воскресение нации», которая «сыта по горло пытками и кровавыми жертвами». Единственное весомое опровержение известного рефрена, что румынский народ не религиозен (христианский народ без единого святого, как нам все время ставили на вид), дало поведение нескольких тысяч румын в 1938–1939 годах в тюрьмах и лагерях, гонимых или еще на свободе. Тем серьезнее ответственность тех главарей легионеров, которые аннулировали эту «сытость по горло пытками и кровавыми жертвами», совершив гнусные убийства 30 ноября 1940 года, когда среди многих прочих были убиты Н. Йорга и В. Маджару. Но и эта трагедия неотъемлема от судьбы румынской нации, злосчастной нации, которой не дано было хотя бы даже сохранить незамаранной самую чистую из своих многочисленных жертв.

* * *

Нае Йонеску не изменился: ясный духом, оптимистичный, блестящий, тот же, что был на кафедре и в своем кабинете в «Кувынтул». Большинство заключенных отпустили бороду и ходили в поношенном платье, а Нае Йонеску брился каждый день, всегда был в свежей рубашке со своим легендарным галстуком-бабочкой и менял костюм, как только предоставлялось возможность (ему разрешили иметь три костюма, жилет и несколько пуловеров). Он говорил, что до тех пор, пока ему это позволяется, он будет одеваться и вести себя в лагере так, как одевался и вел себя, выходя на улицу, бывая при дворе или в университете.

Не припомню, чтобы хоть раз видел его печальным, подавленным или растерянным. Порой, когда мы оставались наедине или в узком кругу, он говорил о книгах, которые собирался написать: «Комментарий на послания святого Павла» и «Выпадение в Космос», подборка писем, по большей части к К.Д., его большой — и последней — любви. Нае Йонеску считал святого Павла самым главным христианским мыслителем — не потому, что его философский гений превосходил, например, святого Августина, Оригена или святого Фому, но потому, что он показал, каким образом можно философски, созидательно мыслить после Воплощения. Не знаю, сколько ему удалось написать из «Комментария на послания святого Павла», но мы видели и обсуждали план этой книги зимой 1940 года вместе с его бывшими учени-

ками (Мирчей Вулкэнеску, Дину Нойкой и другими) на наших еженедельных встречах на его вилле в Бэнясе. Что касается текстов, которые должны были составить «Выпадение в Космос» и которые он написал в 1938–1939 годах, то во время войны они еще существовали.

Нина приехала проведать меня в начале сентября, но поскольку на свидании присутствовал жандармский майор, комендант лагеря, ей не много удалось мне рассказать. Однако она принесла мне весточки от семьи и от друзей, кофе и сигареты, и теплую, уже на осень, одежду. Относительно моей ситуации я понял, что она «стабильна». Арманд Кэлинеску повторил генералу Кондееску, что никто не выйдет из лагеря без декларации об отречении.

Я только что кончил переводить «Ангела-воителя», как меня начал одолевать сюжет нового романа. Несколько дней я мучался, отыскивая для себя тихий уголок, переходя из зала в зал, напрасно пытаясь приступить к письму. В конце концов, я нашел на верхнем этаже пустую комнатку, где до недавнего времени, пока его не перевели в Мьеркуря-Чук, в военный госпиталь, жил один заключенный с тяжелой формой туберкулеза. Я перенес туда столик и сел писать в ту же ночь, при свете коптящей керосиновой лампы. Лагерь постепенно замирал, ничего не было слышно, кроме переклички часовых, патрулирующих по ту сторону колючей проволоки, и, каждый час, шагов тех, что шли на молитву. Около полуночи я заварил кофе и писал еще до двух-трех утра. Скоро, однако, меня стал пробирать холод, потому что комнату не отапливали, я надел два-три свитера и еще набросил на плечи пальто Нае Йонеску.

Я начал писать в середине сентября. А когда очнулся, был разгар осени; лес за лагерем порыжел, и горы Одорхей различались все слабее, утопая в тумане. Потом начались дожди, сначала робкие и как будто где-то вдалеке, так что я гадал: это падают капли или шумят на ветру сухие листья? Но скоро зарядил бесконечный осенний дождь, я слышал, как он мягко постукивает по крыше, словно бы стараясь сказать мне, что подходит к концу еще один год, еще один цикл, может быть, жизнь, и что мне надо спешить, кончить роман, пока еще есть время...

Нине удалось опять получить разрешение приехать. Она привезла мне еще кофе и сигарет и совсем теплую, зимнюю одежду. Поскольку в Бухаресте она узнала, что по лагерю ходит туберкулез, она привезла мне и лекарства с наказом от генерала Кондееску, Н.И. Хереску и других моих коллег-писателей беречь и не изнурять себя, чтобы «продержаться». Конечно же, я не посмел сказать Нине, что пишу по ночам в комнате, где жил чахоточный, которого, из-за частого кровохарканья, нашему майору пришлось срочно перевести в госпиталь.

Нае Йонеску по временам спрашивал меня, как движется дело. Я отвечал, что брежу романом о любви, который был бы не похож ни

на что написанное мной до сих пор, — о любви, которая была и должны была бы остаться *совершенной*, не вмешайся мистический фактор, а именно, желание продлить ее до бесконечности в биологически-временном смысле, сделав «приносящей плоды». Сюжет был по видимости прост. Два человека, встретившись случайно на охоте, ночью рассказывают друг другу поочередно историю своей «большой любви». Признание начинает младший, романист Мавродин, когда на вопрос товарища, что он пишет, отвечает: книгу про «небесную свадьбу», где он-де хочет попросить прощенья у Иляны, которую он любил и сейчас все еще любит, но которая скрылась без следа год назад. Я говорил Профессору, почему хотел бы написать этот роман, но содержания не раскрывал; мне казалось, что, тронув подробности, я предам книгу, аннулирую самую суть того, что собирался поведать. Это была, разумеется, история любви, пережитая с разрывом в восемь лет двумя мужчинами, но трагедию, которая дважды обрывала эту «совершенную любовь», провоцировали отнюдь не события, принадлежащие обыденному миру. В сущности, ни тот, ни другой из мужчин — которые вначале даже не подозревали, что речь идет об одной и той же женщине, — не понимали, почему она их бросила. Поэтому они долгое время не могли поверить, что Иляна ушла от них всерьез и навсегда. Хотя они были люди совсем разные, ни тот, ни другой не сомневались в «совершенстве» своей любви; мистическая, свадебная ее сторона, о которой мечтала Иляна как о финальном «свершилось!», была для них недоступна, хотя тоже по разным мотивам.

— А почему — «Небесная свадьба»? — спросил меня раз Профессор.

Я тогда не сообразил, как ответить. А надо было ответить так: потому что *небесная свадьба* выражает всю двойственность ситуации. Прося прощенья у Иляны, романист пытается этим названием оправдать свою позицию. Выбрав себе судьбу «творца» в сфере духа, он, писатель, надеялся, что «свадьба», о которой мечтала Иляна, исполнится *где-то* в трансцендентном мире, на Небесах, *in aeternum*. Но если бы Иляна узнала заглавие романа, она поняла бы его по-другому; она с самого начала переживала *небесную свадьбу*, свою «совершенную» — ничего не прибавить — любовь: бесконечное блаженство, *raptus*, полнейшее, самодостаточное слияние. Однако все это касалось только ее — *небесная свадьба* была для Иляны не чем иным, как неотъемлемым условием последующего развития ее личности. Речь не шла, как ошибочно мог заключить Мавродин, о чисто женском инстинкте, о материнстве, ведь тогда непонятно, почему Иляна бросила мужа, когда он предложил ей завести ребенка (она тоже хотела ребенка; «но не так, походя», — сказала она ему как-то, хотя чувствовала, что их «совершенная» любовь трещит по всем швам и что по-

следний шанс ее спасти — это ребенок). Дело было не в материнстве как таковом, но в желании — мистической природы — *воплотить* «небесную свадьбу», включив ее в сферу жизни, в каком-то смысле заново придав жизни святость... Но, конечно же, ни один из двух мужчин догадаться ни о чем таком не мог: Иляна никогда не говорила с ними ни о какой «мистике». Да, впрочем, и не сумела бы поговорить, потому что вряд ли знала, что речь вообще идет о мистике: она просто-напросто этим жила, что вообще присуще женщинам, хотя редко в таком цельном и завершенном виде.

Я попытался очертить здесь своего рода «вечную женственность» — в румынском преломлении, когда есть понятие о сакраментальном смысле жизни. Кроме Стефании из «Новой жизни», которую я так и не успел дописать, мои женские персонажи до сих пор были представлены в двух измерениях; их своеобычность, их глубина не раскрывались. Я сводил все к «психологии» и «событиям». Зато увлекался «глубинным измерением» мужественности; может быть, поэтому столько моих персонажей-мужчин выглядели «демоническими», раздражали своим бесплодным эгоцентризмом, в своей жажде «свободы» и «подлинности» доходили до жестокости и безответственности. В те времена я считал, что банальность положения мужчины на свете можно преодолеть разве что *абсолютизацией* некоторых чисто мужских тенденций (тут первенствовала потребность в свободе) или через парадоксальный опыт (как, например, попытка Павла Аничета любить двух женщин сразу, одинаково искренне и безраздельно)*.

* * *

В октябре стало заметно холоднее, а поскольку в комнатушке, где я работал, так и не затопили, я мог работать там только усилием воли и не больше нескольких часов. К полуночи мне приходилось возвращаться в общую спальную, к печке, чтобы согреться. Скоро я начал кашлять: сухим кашлем, приступами, — так что в конце концов забеспокоились все мои товарищи по камере. Меня послушал один из докторов и попросил майора, чтобы мне сделали рентген в военном госпитале в Чуке, тем более что он обнаружил у меня подозрительную температуру (не исключаю, что я температурил давно, просто не

* Но хотя «Свадьба на небесах» имела большой успех у критиков и у публики, не думаю, что многие читатели увидели в ней нечто большее, чем «любовный роман» (каким она, бесспорно, тоже была). Постольку поскольку Иляна воплощала в себе «вечную женственность» *по-румынски*, этой «вечной женственности» суждено было остаться незамеченной или, точнее сказать, нераспознаваемой под кротким пламенем и ровным светом, характерными для румынского образа жизни во всех его проявлениях.

обращал на это внимания). Майору пришлось протелефонировать в Бухарест — за разрешением на рентген. Как можно было ожидать, известие быстро дошло до Арманда Кэлинеску, который распорядился, чтобы меня перевели в госпиталь. Но узнал обо всем и генерал Кондееску и снова вступился за меня, прося Кэлинеску поместить меня в легочный санаторий. Что убедило Кэлинеску, неизвестно — может быть, весть, что у меня уже неделю идет горлом кровь. Так или иначе, я был на привилегированном положении, и майор это быстро усвоил; среди десятков чахоточных, которых держали в лагере, я был единственный, о чьем состоянии надо было держать в курсе «Бухарест». Других переводили в Чукский военный госпиталь только тогда, когда кровохарканье принимало угрожающие формы, — и после этого речь о том, чтобы кому-то «быть в курсе», уже не шла...

В те последние недели я написал вторую часть «Небесной свадьбы». Я знал, что рукопись, как и перевод романа Пёрл Бак «Ангел-воитель», надо будет представить на цензуру майору, но надеялся, что тот скоро мне их вернет. А вот что делать с дневником, который я стал вести сразу по приезде в лагерь на гигиенической бумаге, чтобы легче было прятать, я не знал. (Я надеялся, что сумею как-нибудь сунуть его в руку Нине, но не стал даже пытаться, когда узнал, что без обыска нас в «комнату для свиданий» не пускают и что майор всегда при обыске присутствует.) В конце концов я решил спрессовать листочки и привязать тоненький брикетик прямо к телу, под рубашку. Я говорил себе, что сопровождать меня в санаторий прибудут специальные агенты из Чука или даже из самого Бухареста, и тогда майор, может быть, не станет меня досматривать слишком уж дотошно.

Как я предполагал, так и случилось. 25 октября прибыл жандармский капитан из Брашова и, в сопровождении одного унтер-офицера, на машине сигуранцы меня доставили в Брашов. За день до этого майор объявил мне о моем переводе и потребовал передать ему все книги и рукописи. К большому моему удивлению и к радости, он все их мне вернул, когда я садился в машину. День стоял пасмурный, туманный, заключенные высыпали во двор посмотреть, как я иду мимо часовых и выхожу за колючую проволоку, вон из лагеря. Им было жаль, что меня забирают, но, считая меня серьезно больным, они радовались, что я попаду в санаторий.

Мне привелось после увидеть лишь очень немногих из тех, кто собрался во дворе, чтобы попрощаться со мной. Сначала их частично перевели в лагерь Васлуй, а через десять месяцев примерно две трети из них были расстреляны, в Чуке и Васлуе. Из-за сердечной болезни Нае Йонеску вскоре после моего отъезда отправили в военный госпиталь в Брашове, и мне пришлось свидеться с ним только через тринадцать без малого месяцев.

...Я даже не смел радоваться, глядя, как лагерь заволакивает туманом и скрывает далью. Унтер-офицер сел рядом с шофером, а я, на заднем сиденье, сидел молча рядом с жандармским капитаном. В Брашове мы пересели в поезд, в отдельное купе, и спустились в Предял. Там ждал другой автомобиль, который доставил нас в санаторий в Мороени. Мы прибыли с наступлением темноты, через час езды по лесу. Санаторий светился издали, как будто это был какой-то дворец, сверкающий огнями.

Я не поверил своим глазам, когда меня поселили в большой комнате с ванной, с верандой; в прихожей поместился, чтобы сторожить меня день и ночь, жандармский унтер-офицер из Синаи. Комната была на пятом этаже, в самом конце правого крыла, выбранная специально, чтобы пресечь попытки к побегу. Окно выходило в лес, а над ним, совсем близко, как мне казалось, нависала гора Пьятра Краюлуй, какой я ее никогда не видел, белая от снега.

* * *

На другой день с утра начались анализы и рентгены. Только через несколько дней доктора выяснили, в чем дело, — и тут я понял, как мне повезло. Оказалось, что мое кровохарканье было не легочного происхождения — это жилку в горле прорывали приступы кашля. При всем том температура держалась, а в груди прослушивались те же подозрительные хрипы, которые ввели в заблуждение лагерных докторов. Новая серия рентгенов выявила причину: у меня было воспаление плевры, уже почти плеврит; и если бы я остался в лагере еще хоть на месяц, туберкулез был бы мне гарантирован, как многим другим узникам. Я вовремя покинул лагерь. Доктора заверили меня, что за два месяца санаторного лечения я совершенно поправлюсь. С условием, что выполню все предписания, то есть: проводить по крайней мере четыре-пять часов в шезлонге на террасе, много есть и не курить.

В меру своих сил я эти предписания выполнял. Однако отказаться от ночных часов работы не мог никак. Я должен был поправить и окончательно отделать те две мои рукописи и любой ценой издать «Небесную свадьбу» к Рождеству. С одной стороны, мне нужны были деньги, с другой, я думал успокоить друзей и читателей, показав им, что все, произошедшее со мной в этом году, не парализовало мои творческие силы. Кроме этой работы, мне предстояло переписать дневник. На тоненьких листочках бурого цвета, мелко исписанных карандашом, было трудно что-либо разобрать; особенно после того как я попытался их спрессовать под каблуком, сложив в несколько раз, чтобы они занимали как можно меньше места. Я не осмеливался заниматься расшифровкой и переписыванием этих заметок иначе,

как в ночное время, убедившись сначала, что мой страж, жандармский унтер-офицер, заснул. Я жег листочки по мере того, как их копировал, и прятал переписанное среди страниц романа. На этот труд у меня ушло почти две недели. Вскоре приехала навестить меня Нина и забрала рукописи, с тем, чтобы, по моей просьбе, попробовать предложить роман издательству «Куджетаря». К моему удивлению и радости, Джорджеску-Делафрас одобрил «Небесную свадьбу» и попросил передать мне, что к Рождеству она выйдет.

В один прекрасный день, недели через три после моего приезда в санаторий, унтер-офицер объявил мне, что получил приказ вернуться на свой пост в Синаю. Мне не верилось — я свободен! Я сообщил Нине по телефону эту важную весть, потом пошел прогуляться вокруг санатория. Всего-то шесть-семь месяцев минуло с тех пор, как я в последний раз беззаботно прогуливался, но мне они казались вечностью. Только теперь я *прочувствовал*, какая это волшебная вещь, с виду такая простая, — *жить*, быть живым. Оказывается — и никогда, думалось мне, я этого не забуду, — можно быть счастливым просто потому, что свободно выходишь из дому и гуляешь по улице, и этого блаженства не затмить никакой печали. Но, конечно, эйфория вновь обретенной воли долго не продлилась. Несколько недель спустя я вошел в свою рутинную колею. С той только разницей, что на сей раз уже не мог забыть, до чего хрупкая вещь свобода и, в конечном итоге, жизнь. И когда меня иной раз одолевали заботы, мне довольно было вспомнить комнату в сигуранце, лагерный двор или жандарма, который спал подле меня, чтобы снова обрести ясность духа и радость жизни.

Нина приехала на другой же день, и директор санатория позволил ей остаться со мной. Она привезла, среди множества писем и записок от моих друзей и от коллег по Обществу румынских писателей и по университету, одно очень трогательное письмо, подписанное моими студентами, в котором говорилось, что они «выстраиваются в ряд» у моей постели, едва-едва дыша (практикуя *пранаяму*, так они писали) и сосредоточенно медитируя (*экаграта*, то есть «в сосредоточении на одной точке»), — все выстраиваются у моей постели и приветствуют меня. Они, конечно, не знали тогда, что в каком-то смысле прощались со мной, что они сообща приветствовали своего профессора в последний раз. Кое-кого из них, правда, очень немногих, мне еще придется увидеть, но порознь. К их выпуску, к их курсу, которому я читал лекции последние годы, мне больше не будет доступа.

Я профессорствовал каких-нибудь пять лет и все же еще долгое время с волнением и гордостью беспрестанно узнавал, насколько сильное воспоминание осталось от моих лекций. Много лет спустя, году в 1956–1957, итальянский этнолог Эрнесто де Мартино, проведя

несколько месяцев в Румынии за изучением фольклора, рассказал мне, что находил везде отголоски моих лекций и семинаров 1933–1938 годов, и поздравил меня с тем, что я оставил след, который не смогли стереть никакие невзгоды. Я был очень тронут особенно такой подробностью: один «научный сотрудник», который работал вместе с ним в институте фольклористики, спросил его, не встречались ли мы когда-нибудь.

— Встречались, — ответил де Мартино. — Мы с ним встречались не далее как в этом году, в Риме.

Незнакомец пристально посмотрел на него — и вдруг заплакал. Как его звали, де Мартино не помнил.

Глава 17
Мне тридцать три года — за неделю до смерти Нае Йонеску

Меня продержали в санатории до 25 ноября, хотя доктора вначале определили мне срок как минимум два месяца. Однако когда отозвали жандармского унтер-офицера и я выбыл из числа заключенных, а, соответственно, был снят с государственного довольствия, мне пришлось бы самому платить за санаторий. И, хотя генерал Кондееску и профессор Н.И. Хереску, один — председатель, другой — секретарь Общества румынский писателей, заверили меня, что Общество даст мне кое-какую субсидию («вспомоществование по болезни»), все равно оставшаяся сумма была мне не по карману; пока что я мог рассчитывать только на аванс, обещанный издательством «Куджетаря».

С бурей чувств, но и не без грусти, я вернулся в квартиру на улице Паладе. Рабочий стол был завален сотнями писем, пришедших в мое отсутствие, и последними корректурами журнала «Залмоксис», с августа ожидающими одобрения для печати. Рядом, на полу, громоздились десятки и десятки пакетов с книгами, главным образом, из-за границы. Еще долго часть из них оставалась нераспечатанной. Как бы ни тянуло меня к «запойному чтению», я знал, что надо сосредоточиться на уже начатых работах (на «*La Mandragore*», в первую очередь) и ограничить круг чтения теми книгами, о которых я мог писать обзоры или статьи.

Однако какое было счастье, в первый же по возвращении вечер, навестить свою семью и друзей. Отец не сумел скрыть волнения, чего с ним никогда прежде не бывало. Столько слухов ходило о моей болезни (двусторонний прогрессивный туберкулез), что он, видно, не надеялся увидеть меня живым. Мама, напротив, была все та же: спокойная, уверенная (в том, что правда, рано или поздно, возьмет свое, а справедливость восторжествует), полная надежд. А Корина и Тику — может быть, от неловкости, наперебой ахали, что никогда не видели меня таким крепким, налитым здоровьем. Я пришел вместе с Ниной. События последних месяцев имели по крайней мере один положительный результат: Нина вошла в семью.

Друзей, и из «правых», и из «левых», я нашел такими же преданными и душевными, какими я их оставил. Зная наше финансовое поло-

жение, они норовили прийти в обеденный час, всегда нагруженные гостинцами. Они знали, что с апреля я не получаю жалованье в университете, а с момента моего ареста Нина жила на те деньги, что они ей ссуживали, на авансы за «*La Mandragore*», которые давал ей Ал. Росетти, и на «вспомоществование по болезни» от Общества румынских писателей. Но если отдачу долгов можно было отложить, то типография правительственного вестника давно ждала остаток в 60 000 лей (значительная сумма, и не только для меня), чтобы напечатать первый выпуск «Залмоксиса».

На мое счастье, Александру Росетти, которого я повидал уже на следующий день, заверил меня, что я волен возобновить сотрудничество с «Ревиста Фундацийлор Регале», и выдал хороший аванс. Вскоре генерал Кондееску нашел способ покрыть типографский долг, и «*Zalmoxis. Revue des Études Religieuses*», том I, вышел несколько месяцев спустя. А к Рождеству опубликовали «Свадьбу на небесах», и ее первый тираж, четыре тысячи, разошелся довольно быстро. Роман, как тогда говорили, был «хорошо принят критикой и публикой». Однако, хотя он и выдержал еще два издания, популярности «Майтрейи» и «Хулиганов» не достиг.

При всем том зимой 1939 года я стал понимать, что сколько статей я ни опубликую в еженедельной периодике и в «Ревиста Фундацийлор Регале», сколько ни получу от переиздания своих прежних романов, все равно мне не обеспечить того минимума, который позволил бы нам жить по-человечески. Наш домовладелец, что правда, то правда, не требовал от нас немедленной платы за последние триместры, но этот долг так или иначе на нас висел. Ананда Кумарасвами в одном своем письме дал понять, что, вследствие бегства множества ученых из нацистской Германии, найти кафедру в американском университете почти невозможно. В Королевском Фонде, я это знал, все должности были давно заняты. На распространение первого выпуска «Залмоксиса» я потратил уже много тысяч лей, подпиской за границей занимался парижский издатель, а в Румынии число подписчиков было незначительным.

Выходов из положения было много, и разных, от займов на короткий срок и переводов без подписи до сверки дурно переведенных текстов и корректуры. Поскольку выданные мне авансы давно покрыли стоимость авторских прав на «*La Mandragore*», Александру Росетти предложил мне составить книгу из научных работ и обзоров, выходивших в «Ревиста Фундацийлор Регале», и при подписании договора я получил довольно большую сумму. Сборник, названный «Остров Евтанасия», был сдан в издательство зимой 1940 года, но из-за перемен, произошедших вскоре в руководстве Королевского Фонда, его

не смогли напечатать раньше 1943, через три года после моего отъезда из страны.

* * *

Весной 1939 года генерал Кондееску скоропостижно скончался от разрыва сердца. Я потерял самого главного своего «покровителя», с которым, несмотря на разницу в возрасте, очень сблизился в последние годы. Писатели и деятели культуры потеряли того, кто поддерживал их, как никто другой. Благодаря ему Общество румынских писателей располагало теперь фондами и могло помогать многим своим членам, молодым и старым, в бедности или болезни; он устроил в Королевский Фонд Михаила Себастьяна, Пэсторела Теодоряну[93] и многих других писателей и критиков. Генерал Кондееску хорошо знал ненадежность нашего ремесла в Румынии и никогда не забывал своих обещаний. Его жена сказала мне, что в последний свой день, между двумя сердечными приступами, он несколько раз повторил ей, что обещал мне субсидию на издание второго выпуска «Залмоксиса» и что никак ее мне не передаст.

На другой день, на панихиде, которую служили прямо в его комнате, у постели, где он лежал, присутствовали король Кароль, Елена Лупеску и Арманд Кэлинеску, так что и я тоже увидел их, в первый раз. Из его друзей-писателей были Н.И. Хереску, Ал. Росетти, Михаил Себастьян и я. *Никто*, даже г-жа Кондееску, не знал, что прибудет король в сопровождении своей метрессы и премьер-министра.

В скором времени на большом собрании Общества писателей председателем был избран профессор Хереску. Должность секретаря освободилась, и Хереску убедил меня ее занять. Это тоже входило в план, разработанный им и генералом Кондееску, — как вернуть меня в нормальную жизнь, то есть избавить от клейма бывшего заключенного. Функция секретаря жалованья не предусматривала, но и не требовала больших усилий. Мне надо было приходить три-четыре раза в неделю, по вечерам, в помещение Общества и сидеть там не больше часа. Единственным заданием было распределение на правку, грамматическую и стилистическую, переводов — как правило, диалогов из заграничных фильмов. Кинематографические агентства платили по 1600 лей за каждый выправленный текст. Общество писателей отдавало правщику половину суммы, а другая половина шла в фонд «неотложной помощи».

Я никогда не сожалел об этих часах, проведенных в приемной Общества, где, кроме кассира, я всегда находил кого-то из старых членов — во главе с Корнелиу Молдовану — и молодых поэтов и прозаиков, с разной мерой таланта, но равно нищих, заходивших узнать,

не найдется ли для них фильма на правку. (Правка нескольких страниц на машинке занимала самое большее полчаса, почти все делали се на месте или в кафе по соседству.) Старики предавались воспоминаниям, а молодые кипели сплетнями, интригами и ревностью друг к другу. (И только слушая, в какой нужде они живут, я понимал, что не имею права жаловаться.) Это был мой единственный опыт «литературного кафе», хотя и не самый полноценный, потому что, разумеется, молодые люди не осмеливались при мне болтать так, как болтали бы в настоящем кафе.

Я должен был распределять фильмы таким образом, чтобы никому не оказывать предпочтения. Бывало, я не мог дать текст на правку кому-то из молодых, поскольку тот уже получил два или три в этом месяце, а он признавался, что ему вечером нечего будет есть. Тогда я отзывал в сторонку кассира и убеждал его выделить сумму из фонда «неотложной помощи». (Иногда мне случалось узнать, что молодой человек сказал неправду, что, на самом деле, деньги ему были нужны не на кусок хлеба, а на попойку с приятелями в каком-нибудь злачном и дешевом месте. Но мы все были снисходительны и смотрели на это сквозь пальцы.)

* * *

В то лето мы пошли в горы, Бучеджи, только втроем: Нина, Джиза и я. Не знаю, почему не в компании, как столько раз раньше. Может быть, потому, что Нина хотела непременно остановиться на день-два в санатории Мороени, чтобы меня осмотрели доктора, лечившие меня прошлой осенью. Я тогда и не подозревал, что в последний раз поднимаюсь на Бучеджи, которые полюбил с отрочества и которые столько раз вспоминал в Гималаях, глядя на закат из окна отеля в Дарджилинге, гуляя по скалистым берегам Ганга в Ришикеше или пробираясь джунглями вверх, к Лакхманджуле.

С грустным чувством входил я опять в мороенский санаторий. Но меня хотя бы порадовали результаты анализов: воспаление плевры почти прошло и, *sauf imprevu*, больше не угрожало плевритом. Мне даже разрешили курить и пить кофе, который был мне так необходим. Мы вернулись через неделю, прокаленные солнцем, но без той эйфории, с какой обычно возвращались с Бучеджи, — по крайней мере, я. Я чувствовал, как и все вокруг, что цикл, начатый в 1918 году, вот-вот закончится, чуть ли не со дня на день. После Мюнхенского соглашения и поэтапного раздела Чехословакии уже никто не сомневался в неизбежности второй мировой войны.

Для тех, кто, как и я, считал, что уж в этом-то столетии маленькие страны еще не смогут сами созидать свою историю, вопрос ставился

так: как нам спасти этнос и дух в грядущем историческом катаклизме. Что касается меня, то я все надежды возлагал на замечательную способность румынского народа, которую он выказал в прошлом, — выдерживать «террор истории». На сей раз, правда, речь шла не только о сохранении религиозных и духовных традиций народа, но и об отстаивании культуры, которую создали за последние два-три столетия «элиты», то есть горстка мыслителей, ученых, поэтов и провидцев. Я обдумывал «способы камуфляжа», сокрытия, которые могли бы применить «элиты» в том случае, если бы нам пришлось снова, и может, не на одно столетие, сойти во тьму румынского средневековья. Пессимистом я не был, но и не слишком поддавался иллюзиям. Я давно убедился в том, что в «Истории» румынская нация — бесталанная. «История» дала ей разве что лет двадцать национального единства и политической автономии: 1918–1938. Этот промежуток времени принес Румынии много хорошего, но уцелеют в катаклизме, я был уверен, только творения духовного порядка. Они одни могли обеспечить нам этническое тождество и преемственность культуры. Такую модель сбережения себя через культуру прекрасно иллюстрирует история еврейского народа. В самом деле, после разрушения Храма и Иерусалима евреям как этническому и культурному целому грозило исчезновение, но они уцелели благодаря той *начальной школе*, которую основал Йоханан бен Закай в Явне и которая отстояла фундаментальные ценности иудаизма.

* * *

Я рьяно взялся дорабатывать «*La Mandragore*», но успел прибавить к ней только еще две главы. Первого сентября немецкие войска вошли в Польшу, за несколько недель захватив полстраны; другую половину оккупировали советские дивизии. Последовала «*la drôle de guerre*», введшая в заблуждение многих наивных людей. Если говорить обо мне, то я старался привести в порядок хотя бы часть из того, что задумал и начал готовить в последние годы. Той осенью я собрал во «Фрагментариум» ряд статей и заметок последних лет*. У меня были эссе, написанные тоже в 1938–1939 годах, об идее *coincidentia oppositorum* в истории религий, где я комментировал, главным образом, мифологию и символику андрогина и диалектику воссоединения противоречий в образах тех или иных божеств. Из этих текстов, печатавшихся в разных журналах, я составил, дополнив их, томик «Миф о воссоединении», его опубликуют в 1942 году. Некоторые при-

* В эту книжечку включены многие наблюдения и толкования, связанные с магико-религиозной символикой.

меры и выводы я использую позже в «Трактате по истории религий» и в исследованиях, на которых строится «Мефистофель и андрогин».

Тогда же я сдал в печать второй номер «Залмоксиса» со знаменитой работой А.К. Кумарасвами «*Janua Coeli*», а также и с моей статьей по акватическому символизму, включенной затем в «Образы и символы». На исходе осени 1939 года я написал свою первую пьесу, «Ифигению», представил ее вскоре в литературную часть Национального театра, и ее приняли. Но увидеть постановку мне не пришлось. Пьесу сыграли в начале 1941 года и, несмотря на блестящий состав исполнителей, успеха она не имела. Мне сказали: нет «драматического нерва», — что, вероятно, соответствует истине. Если у «Ифигении» и есть какие-то достоинства, их надо искать в чем-то другом.

Зимой 1940 года мне выпала нечаянная радость снова обрести Нае Йонеску. Его выписали из брашовского военного госпиталя, и он пришел на Паладе проведать меня. Хотя на кафедру его не вернули, но разрешили принимать, раз в неделю, у себя на вилле в Бэнясе, группу молодых философов и учеников: Мирчу Вулканеску, Михаила Себастьяна, Йоана Герю, К. Нойку и других. Мне не передать, насколько интересные, разнообразные и жаркие были дискуссии. Впервые я почувствовал в Нае Йонеску решимость — я бы даже сказал, нетерпение — написать «Метафизику», предмет, по которому он прочел столько курсов*. Не помню, чтобы мы когда-либо на наших встречах говорили о политике, даже о необъяснимом военном промедлении на западном фронте.

Зимой 1940 года меня обуял один фантастический замысел, и я, не переводя дыхания, написал новеллу «Загадка доктора Хонигбергера». Мне хотелось использовать некоторые реальные факты (мои собственные эксперименты в Ришикеше и то, что Хонигбергер — историческая личность), замаскировав их под фантастическое, так, чтобы только предуведомленный читатель мог отличить истину от вымысла. Новелла вышла в «Ревиста Фундацийлор Регале», и директор издательства «Алкалай» предложил мне написать еще одну в том же роде, чтобы выпустить их отдельной книгой. Пришлось сочинить «Серампорские ночи», где каждый, кто знал Бенгалию, мог бы разоблачить мой камуфляж: например, вокруг Серампора нет никаких лесов...

В начале марта нас потрясло известие о новом сердечном приступе у Нае Йонеску. Наши еженедельные встречи прекратились. Одни слухи сменялись другими: он вне опасности, он при смерти, его отра-

* Тексты этих курсов частично были опубликованы посмертно — Мирчей Вулканеску и К. Нойкой, — но они не представляют воззрения Нае Йонеску в законченной и систематической форме.

вили в ресторане, где он в последний раз ужинал с друзьями. Наконец, 15 марта, зазвонил телефон, и Нина сказала мне:

— Умер Профессор!

* * *

О нем, о Нае Йонеску, я неотвязно думал в ту осень сорокового года, следя, насколько это было возможным, по газетам, по радиопередачам и по телеграммам, поступавшим в дипмиссию, за событиями на родине. Как, интересно, думал я, отнесся бы Нае Йонеску к отречению короля Кароля, к провозглашению генералом Антонеску национал-легионерского режима, к назначению Хории Симы вице-президентом? Если бы он был жив, ему-то бы уж доверили важный пост. Но надолго ли?

В середине сентября мы перебрались, вместе с Даниелопулом и Вардалой, в Оксфорд, в скромный пансион под названием «Оксониенсис». Вскоре после отречения Кароля посланника В.В. Тилю хотели отозвать в Румынию, но он отказался вернуться и поселился с семьей в деревне под Оксфордом. Поверенным в делах стал, в результате, Раду Флореску. Я ездил в Лондон раза два в неделю, повидаться с коллегами по работе или с иностранными журналистами и за новостями, приходившими в дипмиссию (не обязательно в виде шифрованных телеграмм). Все остальное время я читал, делал выписки и разрабатывал план широкоохватного синтеза по морфологии и истории религии — синтеза, который раз, в убежище, во время одной воздушной тревоги, высветился передо мной, как вспышка молнии. Я еще скажу об этих «Пролегоменах к сравнительной истории религий» (*«Traité d'Histoire des Religions»*). Пока же выделю главную мысль: иерофании, то есть проявление священного в реальностях космоса (предметах или процессах, принадлежащих профанному миру), имеют парадоксальную структуру, поскольку они *являют* и одновременно *камуфлируют* сакральность. Проследив до конца эту диалектику иерофаний (священное явлено и в то же время сокрыто в Космосе, в некоем человеческом существе, высший пример чему — Воплощение, — в некоей «Священной истории»), можно было бы вычленить своего рода новый камуфляж в современном мире — в его практиках, институтах и творениях культуры. Известно, разумеется, что важные биологические функции (питание, отношения полов, рождение детей), искусства (танец, музыка, поэзия, живопись и скульптура), различные виды деятельности и ремесла (охота, сельское хозяйство, всякого рода конструирование и т.п.), техника и наука (металлургия, медицина, астрономия, математика, химия) имели в истоках магико-религиозную функцию или ценность. Но я хотел показать, что запад-

ная культура, даже под своей решительно десакрализованной формой, маскирует магико-религиозный смысл, о котором современники (за исключением отдельных поэтов и художников) даже не подозревают...

* * *

Однако террор истории непрерывно давал о себе знать. С ужасом узнал я об убийстве Н. Йорги и В. Маджару, и группы арестантов, которые сидели в тюрьме Вэкэрешть в ожидании следствия. Этими убийствами ночью 29 ноября команды легионеров, их совершившие, думали отомстить за Кодряну. На деле же они аннулировали религиозный, «жертвенный» ореол легионеров, казненных при Кароле, и безнадежно скомпрометировали Железную гвардию, которую с тех пор стали считать террористическим и пронацистским движением. Убийство Н. Йорги, великого историка и гениального пророка культуры, надолго запятнает слово «румын».

В первый раз я порадовался, что Нае Йонеску нет в живых. Ранняя смерть избавила его от этого кошмара — когда убивают столько людей (даже если кто-то из них был не без греха) без суда, без приговора. Что же касается Н. Йорги, он был — и остался — великим учителем Нае Йонеску. Какие бы ошибки он ни совершал, Н. Йоргу нельзя было и пальцем тронуть. Как говорил Нае Йонеску, «когда грешит Николае Йорга, это — как пьяный поп со святой чашей в руке. Если его ударишь, опрокинешь чашу и осквернишь святое причастие».

С таким же ужасом я переживал январь 1941 года, когда разразилось легионерское восстание — событие, которое трудно понять, поскольку Хориа Сима был вице-президентом в правительстве генерала Антонеску, наряду с другими министрами-легионерами. Сведения доходили до меня, конечно, в сжатом виде и очень часто — неточные. Но все же я узнал об эксцессах и преступлениях легионеров (упоминались случаи погромов, особенно Ясский погром). Вскоре после подавления восстания силами армии, которая оставалась верной генералу Антонеску, я узнал о вступлении в страну, в массовом порядке, немецких частей — с целью обучить элитные румынские дивизии (на самом деле, инфильтрация немцев началась несколькими месяцами раньше). В дипмиссии гадали, сколько еще времени британское правительство будет поддерживать дипломатические отношения с Румынией.

После Рождества мы, вместе с Даниелопулом и Вардалой, перебрались в просторное жилище, которое снимала наша общая приятельница г-жа Сэссун. Чтобы перебороть безнадежность, я с головой ушел в работу. В кабинете было холодновато, потому что экономили

и уголь, и электричество; все же я стал дорабатывать главу из «Пролегоменов». Но хотя питание теперь, когда мы жили у г-жи Сэссун, было получше, я чувствовал такой же упадок сил, как и в «Оксониенсисе». Доктора, к которым я обратился за консультацией, посоветовали мне подкрепляющие средства (кальций и фосфор) и отдых. С другой стороны, я отдавал себе отчет, что не очень-то и нужен: моя деятельность сводилась к «рапортичкам» по культуре Центральной Европы (хроники и библиография), которые я эпизодически вручал поверенному в делах.

Поэтому я обрадовался телеграмме с извещением, что меня переводят в Лиссабон, секретарем по культуре. Раду Флореску уведомил *Foreign Office* о моем переводе и попросил, чтобы забронировали два места на самолет, который все еще курсировал между Англией и Португалией. Я доверил попечительство над библиотекой г-же Сэссун (встретив ее в 1946 в Париже, я узнал, что большинство книг утрачено в ходе переездов...) и начал приготовления в дорогу. Однако *Foreign Office* очевидным образом не проявлял никаких признаков спешки. Разрыв дипломатических отношений, вполне вероятно, был делом уже решенным, и они ждали, что нас эвакуируют вместе со всеми остальными членами дипмиссии, которые захотят вернуться домой.

В мои намерения входило провести неделю-другую в Бухаресте, прежде чем обосноваться в Лиссабоне. Не только с тем, чтобы повидать семью и друзей, о которых я ничего не знал, но и чтобы получить аудиенцию у генерала Антонеску. В.В. Тиля поручил мне кое-что передать генералу. Что касается меня лично, то я хотел сказать генералу следующее: а) румынское правительство считает, что Англия проиграет войну, и ведет себя соответствующим образом, но чем дальше, тем менее вероятным представляется поражение Англии; б) но даже если предположить, что Англия проиграет войну, Румынии все равно без нее не обойтись (в 1918, когда проиграла войну Германия, самый важный дипломатический пост, после Парижа и Лондона, был Берлин); а, значит, высмеивать Англию в печати и на бухарестском радио — не только глупо, но и опасно для политического престижа Румынии. Еще одну вещь хотелось мне сообщить генералу Антонеску: Лондон спасли *homeguards*, то есть гражданские. Единственная возможность сопротивляться массированным бомбардировкам состоит в организации гражданского населения.

В начале февраля Раду Флореску получил ответ, что для нас есть места на 10 февраля. 7 февраля мы закончили приготовления к отъезду. 9-го выехали из Оксфорда на автомобиле Флореску. Пообедали в «Савойе» со всеми коллегами по дипмиссии, которые проводили нас потом на вокзал. Поезд на Бристоль отправился в три часа дня.

Переписываю или даю в пересказе отрывки из лиссабонского дневника.

«Как я берег опечатанный чемодан, хотя мне сказали, что в нем нет ничего особенного! Всю дорогу мы почти не разговаривали. Мы оба были в тревоге и не хотели показывать этого друг другу. Мы не знали, уцелеем мы или нет под бомбами, — Бристоль в последние недели подвергался жесточайшим бомбардировкам. Мы не знали, останемся ли мы целы-невредимы в самолете. Поезд пришел поздно вечером, во время воздушной тревоги. Вокзал — почти полностью разрушен. Ни одного носильщика, ни одной машины. Моросил дождь. Кое-как мы выбрались из вокзала, погрузили на тележку чемоданы, положили сверху цветы, с которыми нас провожали, и стали ждать. Через четверть часа, поскольку *all-clear* не объявляли, а такси так и не было, я оставил Нину у багажа и пошел в темноту. Грохотали по временам противовоздушные батареи, но я был привычный. Такси, наконец, нашлось. Шофер колебался, везти нас или нет, но я пообещал ему 10 шиллингов сверху. Мы добрались до отеля в десять вечера. Ресторан был уже закрыт. Нам досталось только два сэндвича и чай. Я еще не знал, что отель, где нам забронировали номер, — единственный уцелевший после бомбардировки, и то не целиком — одно крыло. Я вошел в ванную комнату, находившуюся в коридоре, но только пустил воду, как поблизости стали падать бомбы. Мы спали, почти не раздеваясь. В шесть надо было вставать, потому что автокар должен был забрать нас в семь.

Мы выехали затемно. Напротив меня сел офицер с усталым взглядом, куривший беспрерывно (это тот, кто будет меня обыскивать). С первых же минут пути мы замечаем катастрофические следы бомбежек. Едем через руины. То здесь, то там торчит целый по виду дом, но через окна видно небо. Зловещее зрелище, оно еще долго будет меня преследовать. Приезжаем в аэропорт около восьми. Мы двое, молоденькая англичанка, секретарша дипмиссии в Мадриде, какой-то неизвестный молодой человек и экипаж самолета. Нас оставляют напоследок. Ждем в зале, рядом с нами — резервист, одетый до того странно, в форму, которая ему велика, что я задумываюсь: не агент ли он *Secret Service*, который знает по-румынски и подсажен к нам, чтобы слушать наши разговоры. Меня вызывают одного. Я беру с собой дипломатическую передачу».

Когда я предъявил служебный паспорт, чиновник, сидевший рядом с капитаном, заявил, что культурные атташе не фигурируют в официальном списке аккредитованного дипломатического корпуса. А значит, привилегии дипломатов ко мне не относятся. Он требует мой бумажник, но не находит ничего компрометирующего. Капитан выходит из комнаты и впускает специальных агентов, которые

сноровисто приступают к личному досмотру. Раздетый догола, я испытал унижение и еле сдержал порыв глухого гнева — не думаю даже, что агенты это заметили, слишком уж они были заняты обыском. Они работали так кропотливо, с таким знанием дела, что, ей-ей, если бы я проколол иголкой шнурок на ботинке или оставил бы на галстуке незаметные глазу брызги, меня арестовали бы как шпиона. От них ничто не могло укрыться. Они оторвали подметки у ботинок, исследовали пуговицы, швы, подкладку, одним словом, все. Уже в самолете я узнал, что такому же тотальному обыску подвергли и Нину. При этом в соседней комнате разбирались с туалетными принадлежностями; тюбики зубной пасты, губной помады, пудреницы и прочее протыкали иглой, потрошили и т.д. Наш багаж, как мы узнали только в аэропорте Синтра, перетрясли, вещь за вещью, а потом затолкали все обратно ногами, с некоторой нервозностью, потому что обыск шел почти три часа и абсолютно ничего компрометирующего не выявил. В спешке упихивая наши пожитки обратно (самолет опоздал на два с половиной часа), они сломали молнию у сака и замочки у чемоданов.

Снова появился капитан и сказал мне, что, поскольку я не вхожу в дипломатический корпус, я не могу везти с собой диппочту. Я говорю, что отказываюсь лететь. Он отвечает, что без меня самолет не улетит — либо мне придется подписать протокол с обязательством уплатить, лично или через дипмиссию, сумму в 1000 фунтов стерлингов. Я прошу разрешения позвонить в Лондон. Невозможно. Позволили только дать телеграмму. Вместо диппочты мне выдали квитанцию, которую я сохранил, — очень забавную. На бланке *British Air Mail* написано, что они получили от меня некий чемодан с печатью.

«Встречаю Нину, она в слезах. Бежим к самолету. Капитан провожает нас с любезным видом. По-французски желает нам счастливого пути и протягивает мне руку. На виду у всех я получаю сатисфакцию — не пожимаю ему руки. Это моя единственная месть».

Полет длился почти девять часов, потому что самолет сначала круто свернул к Атлантическому океану, а потом взял курс на португальский берег, к городу Вьана-ду-Каштелу. Снова подступила ко мне загадка «коллективной смерти». На сей раз мне казалось, что загадка сводится к *malentendu* (политической природы, разумеется). Я был первым из румын, кто покидал Англию, осажденную крепость. Те, кому было положено знать, знали о моих связях с Нае Йонеску, которого многие считали самым умным (а, значит, самым опасным) германофилом. Если «спецы» придут к заключению, что моя позиция и вся моя просоюзническая деятельность составляют часть банальной системы камуфляжа, то мое возвращение в Румынию, занятую германскими войсками, они расценят как чреватое рядом неприятностей.

«Военные тайны» мне, конечно, известны не были, но я мог бы информировать о результатах бомбардировок, более того, я мог бы вести негативную пропаганду, рассказывая о скудости питания и о нехватке того и другого. Почему, спрашивал я себя, этот самолет пустой, когда нам столько раз твердили, что на недели вперед расписаны все места на всех самолетах с пунктом назначения Португалия? Неужели они пожертвуют экипажем, который был голландским, и своей молодой секретаршей из дипмиссии в Мадриде? Не исключалась и другая возможность: нас мог сбить немецкий истребитель. Та же «коллективная смерть», хоть и вызванная другим *malentendu*...Вечером мы приземлились в Синтре, я прежде позвонил в дипмиссию, потом мы взяли такси. Город был весь в огнях — так что глазам не верилось. В дипмиссии нас ждали: поверенный в делах Кэмэрэшеску, советник по экономике Жан Антохи и консул Бастос. В вечерних газетах появилось сообщение, что Великобритания разорвала дипломатические отношения с Румынией.

— Этим все объясняется! — воскликнул Кэмэрэшеску. И дал телеграмму в министерство иностранных дел о том, что у меня конфисковали диппочту и подвергли меня личному досмотру.

Нам отвели номер в отеле «Суисс-Атлантико», где нам предстояло прожить почти три месяца. После огней города вторым сюрпризом стало меню гостиничного ресторана: шестнадцать видов блюд...

Глава 18
От Камоэнса до Салазара

Лиссабон пленил меня с первого же дня; точно так же, как лузитанские провинции, которые я узнавал одну за другой. Я начал учить португальский в последний год пребывания в Калькутте, но только сейчас, весной 1941 года, взялся за него основательно и со страстью. Каждый день я прочитывал несколько газет, потому что замещал атташе по печати, Арона Котруша, уехавшего в Мадрид. Утренние часы проводил в здании дипмиссии, обсуждал с Кэмэрэшеску и Антохи «положение дел» и старался быть полезным (составлял, например, краткие обзоры прессы, поправлял рапорты Кэмэрэшеску).

В остальное время я осматривал те кварталы города, где еще не успел побывать, или до поздней ночи читал со словарем, в номере «Суис-Атлантико» или на даче в Кашкайше, романы Эсы де Кейроша (к счастью, сразу после «*O prima Basilico*» мне попались великолепные «*Os Maias*»), исторические монографии Оливейры Мартиниша и Альфреду Пименты или фундаментальную «Историю Португалии» Жуана Амеаля. Однако заветным моим желанием было сосредоточиться на жизни и творчестве Камоэнса. Со временем я купил все комментированные издания «Сонетов» и «Лузиад», и как-то весенним вечером мне повезло — я нашел у букиниста замечательную монографию Каролины де Вашконселош, которая в магазинах давно уже иссякла. Камоэнс привлекал меня еще и по одной особой причине: его биография и поэзия были связаны с той провинцией Индии, которую я не знал — с Гоа и берегом Малабара. Я решил написать книгу о Камоэнсе и о португальской Индии. Мне казалось, что будет интересно (и в своем роде символично), если румын, который жил и учился в Бенгалии, представит самого великого лузитанского поэта, который за три столетия до него жил на другом, западном, побережье Индии. Но эта книга, как и столько других, осталась в стадии замысла.

В музее Жанелаш Вердеш я обнаружил, наряду со многими полотнами Иеронима Босха, совершенно поразительного художника Нуно Гонсалвеса. Только еще раз, в музее городка Визеу, той же весной, вдруг выйдя на картины Васко Фернандеса, я так же онемел от волне-

ния, как перед триптихом Нуно Гонсалвеса. Я стал захаживать в Жанелаш Вердеш, исписывал страничку за страничкой карманного блокнота, с которым не расставался и на прогулках по городу. Вместе с другими бумагами, эти заметки тоже были утрачены. Я разыскал только несколько отрывков, которые переписал на отдельных листах*.

* * *

В первую же неделю, из телеграмм министерства пропаганды, я понял, что в Бухарест уехать не смогу; не смогу, следовательно, встретиться с генералом Антонеску, на аудиенцию с которым я, так же, как В.В. Тиля, возлагал столько надежд. Я получил дипломатический паспорт и должен был остаться в Лиссабоне в качестве атташе по культуре и — временно — атташе по печати. Поверенный в делах Кэмэрэшеску, по-моему, был очень доволен этим назначением, поскольку он не слишком ладил с Ароном Котрушем. Думаю, впрочем, что я оказался ему полезен, когда в начале весны экс-король Кароль и Елена Лупеску спешно покинули Севилью и попросили убежище в Лиссабоне.

Как и следовало ожидать, генерал Антонеску протелеграфировал Кэмэрэшеску, требуя подать протест самому Салазару. В ответ главный секретарь министерства иностранных дел заявил, что португальское правительство считает Кароля политическим эмигрантом и, следовательно, свободным от всяких обязательств. Тогда генерал Антонеску направил послание Каролю с предупреждением, чтобы он не пытался выступать с какими бы то ни было политическими действиями, поскольку первый же его шаг поставит под угрозу всю династию.

Кэмэрэшеску подробно описал мне, как проходила аудиенция. В сюртуке, как потребовал Урдэряну, он явился строго в назначенный час и был препровожден в гостиную бывшим румынским послом в Лиссабоне Жаном Пангалом. Там он прождал пять минут, после чего появился Урдэряну, который провел его в другую гостиную. И только затем — в третью, где стоя его ожидал Кароль (по выражению Кэмэрэшеску, «постаревший, усталый, без *éclat*»). Он спросил:

— Что вам угодно?

Кэмэрэшеску зачитал ему послание генерала.

— Передайте румынскому правительству, что я буду соблюдать взятые на себя обязательства, — ответил ему бывший монарх.

Кэмэрэшеску готов был уйти, но Кароль предложил ему сесть, и они побеседовали с четверть часа. (Кэмэрэшеску повторил мне, под сильным впечатлением, хвалебные слова бывшего короля о «Майтрейи» и «Йоге».) Кароль заверил его, что поживет некоторое

* См. приложение в конце главы.

время в Португалии, потому что хочет написать историю семьи Браганца, с которой он состоял в родстве.

Однако вопреки всеобщим ожиданиям и, по свидетельству Пангала, не выплатив ему месячного жалованья в 1000 долларов, которое сам назначил, Кароль с Еленой Лупеску отплыл на американском трансатлантике в Южную Америку.

В середине апреля Нина уехала домой на пять-шесть недель. Тем временем прибыл новый посланник, Юрашку, которого, вместе с г-жой Юрашку, мне пришлось сопровождать в долгом путешествии до Порто.

23 апреля я наблюдал с балкона министерства финансов, выходящего на Пласа ду Комерсью, многолюдную манифестацию в честь Салазара. Переписываю несколько строк из дневника: «Он одет в простой серый костюм — и улыбается, подняв руку в приветствии, очень спокойный, никакой жестикуляции. При его появлении сверху стали опрокидывать корзины с лепестками роз, желтых и розовых» (*n.b.* цвета португальского флага). «Я смотрел потом, как он держит речь. Он читал, довольно проникновенно, но без выспренности, время от времени отрывая глаза от страницы, чтобы взглянуть на толпу. А когда кончил речь и толпа разразилась бурными овациями, он с улыбкой склонил голову».

Три дня спустя я, со всей дипмиссией, присутствовал при церемонии вручения верительных грамот посланнику Юрашку. Я присутствовал при такой церемонии впервые, по случаю чего, тоже впервые в жизни, надел фрак. От отеля «Авиш», где поселился Юрашку, до президентского дворца наши машины сопровождал кортеж мотоциклетов. Я был единственный без орденов (кроме, разумеется, Салазара, который принимал все награды, но ни одну не носил). Президент, старый генерал Кармона, выслушал, опершись о саблю, речь, прочитанную Юрашку, с многозначительным видом кивая всякий раз, когда слышал слово *latinitas*. Переписываю из дневника: «Стоящий рядом с ним Салазар, во фраке, был сама скромность — по виду, один из секретарей президента. Он слушал, никак не обозначая своего присутствия. Я увидел, наконец, как следует, его глаза. Их взгляд не сверкает, не пронзает, вызывая смущение, но проходит сквозь тебя без враждебности».

* * *

Во второй половине мая Нина вернулась из Бухареста, привезя с собой Джизу. Она повидалась с друзьями и кое с кем из министерства пропаганды — с Александру Марку, Бэдэуцэ и др. Все они, хотя и приводя разные мотивы, настойчиво советовали одно и то же: чтобы мы

оставались в Лиссабоне. Я был единственным, кто пережил, под бомбардировками, осаду Англии; у меня были знакомства в среде писателей и журналистов, и я следил за английской прессой. От меня требовалось во что бы то ни стало держать министерство в курсе той информации и тех комментариев, что печатали британские газеты — их регулярно доставляли в Лиссабон по воздуху. Скоро, однако, эту задание препоручили Г. Мунтяну, прибывшему из Лондона. Так что к началу лета я освободился и мог сосредоточиться исключительно на португальской прессе и культуре.

У одного приятеля Кэмэрэшеску, адвоката Косты Пинто, была небольшая дачка в Кашкайше, живописном рыбацком селении неподалеку от Эшторила, самого роскошного курорта на побережье. Мы арендовали этот домик в июне, на все лето. Каждое утро я садился в поезд и за полчаса доезжал до Лиссабона. Обычно я оставался в дипмиссии до вечера и даже до поздней ночи, но иногда возвращался в Кашкайш к обеденному времени. В конце июня жара усилилась. Было приятно возвращаться в прохладу домика Косты Пинто. В самой просторной комнате, окнами во внутренний дворик, стоял простой стол и несколько этажерок. На них я разместил свою библиотеку, состоявшую по большей части из португальских и испанских книг*.

Я урывал любой свободный час — послеобеденный, утренний, ночной, чтобы закрыться в своей рабочей комнате. Седьмого мая я получил из Лондона пакет с моими записками и рукописями, конфискованный в Бристоле, — мне отправил его Вардала с курьером шведской дипмиссии. Я с радостью обнаружил там — кроме «*La Mandragore*» и заметок для «Пролегоменов к истории религий» — «дневник» романа «Штефания» (первой части «Новой жизни»), который я начал в пансионе «Оксониенсис» 5 ноября 1940 года и прервал 10 декабря. Первые семьдесят пять готовых страниц мне понравились, чему я потом удивлялся. В ту же ночь, 7 мая, я взялся писать дальше и за неделю написал сто двадцать страниц. Однако когда в Кашкайше перечел рукопись целиком, понял, что она непригодна. Пришлось начать другую версию. Я пользовался уединенностью Кашкайша и писал каждую ночь, хотя в жизнь вторгались разные встречи и события, о которых пойдет речь ниже. Из «дневника» романа (который я, по счастливому наитию, продолжил) следует, что 21 августа я дошел до страницы 201. Но в начале сентября Нина, перепечатав первые семьдесят страниц, осталась разочарованной. Много месяцев

* В Мадриде я разжился всем, что можно было найти из коллекции «*Classicos Castellanos*», и первыми двенадцатью томами из полного собрания сочинений Менендеса-и-Пелайо, еще одной «страсти» моих студенческих лет.

спустя, 20 мая 1942 года, я для отдыха, чтобы на пару часов отвлечься от изнурительной работы, в которую впрягся (я кончал тогда книгу о Салазаре), перечел и эту новую версию романа. Меня охватила безмерная грусть. Я не мог не признать, что и на сей раз потерпел провал. Роман получился нудный, без проблесков, с бездарными длиннотами. Я забросил его, надеясь, что когда-нибудь все же возьмусь переписать. Но с тех пор больше так и не притронулся к рукописи. Цикл «Новая жизнь», начатый «Возвращением из рая» и продолженный «Хулиганами», остался незавершенным.

После я задавал себе вопрос — может быть, этой болезненной неудачей я обязан событиям в мире: шла вширь, разгоралась Вторая мировая война, и чем дальше, тем более устарелым и неинтересным с психологической и социальной точки зрения казался мне мирок «Новой жизни». В «Хулиганах» я представил, по-моему, достаточно искусно, поведение и «идеологию» молодежи, которая своим резким разрывом с моральными ценностями современного общества предвосхитила «*the angry men*» 60-х годов. Но масштабы, в которых я задумал «Новую жизнь» (около 2000 страниц), число и разнообразие персонажей заставляли меня так или иначе поднять мир 30-х годов, а он стал к тому времени уже историей.

* * *

22 июня я был на пляже в Гиньшу, когда Нина принесла мне весть о нашем вступлении в войну против Советской России. В тот вечер я записал в дневнике: «Признаюсь, я не ожидал этой войны уже в 1941. Думал, что так называемое русско-германское сотрудничество еще сколько-то протянется. Значит, немцы поняли, что не смогут выиграть войну в этом году, и готовятся к войне затяжной. По-моему, нападение есть знак слабости со стороны Германии...»

Я немедленно поехал в дипмиссию. Но из телеграмм, поступивших в тот вечер, узнал не слишком много. И только 29 июня появились первые военные сводки немцев; они, конечно, производили впечатление, но молниеносную победу никак не предвещали. Не стану припоминать здесь ни эпизоды первых месяцев войны, ни те чувства, надежды или сомнения, которые они вызывали. Что касается меня, я не позволял себе оптимизма. Я знал силу и решительность Англии и, как многие другие, не мог отвергнуть мысль, что в более или менее отдаленном будущем Соединенные Штаты непосредственно вступят в войну.

Разумеется, сделать я ничего не мог. Я проводил время в дипмиссии, читая все газеты подряд, ожидая телеграмм, или ходил по редакциям, где у меня завелось довольно приятелей, объясняя «позицию

Румынии», разузнавая у журналистов-англофилов реакции британского общественного мнения. Иногда, в ночные часы, в моем кабинете в Кашкайше, я пытался вернуться к себе и написать страничку-другую романа. Но и эта защита от «прессинга событий» была отнята у меня в первые недели июля, когда приехал Памфил Шеикару.

Шеикару был послан правительством Антонеску с официальной миссией к маршалу Петену, к Франко и Салазару. Я не видел его уже много лет, но издалека восхищался умением, с каким ему удавалось стать полезным, поочередно, как королю, так и генералу Антонеску. Я думал о судьбе Нае Йонеску, Арманда Кэлинеску, Йорги; взлет Памфила Шеикару, думал я, имеет, бесспорно, символический смысл. Но в нынешний, столь трагический момент, и от него, Шеикару, может быть прок стране. Посланник Юрашку устроил ему аудиенции у Салазара, у президента Кармоны, у патриарха. Все восемь-девять дней я водил его по всем редакциям, представил министру пропаганды Антонио Ферро, Эса де Кейрошу, который занимал важный пост в дирекции прессы, главным редакторам газет и всем журналистам, с которыми завел знакомство. Постарался, чтобы в печать пошло как можно больше информации о его визите в Португалию. Почти все время проводил либо в обществе Шеикару, либо подготавливая его встречи. Сопровождал его в Коимбру на машине посланника; иногда, вдруг увидев себя со стороны рядом с ним в Алкобасе, Баталье, Буссако, усмехался. Но одергивал себя: у нас война, самая страшная война в истории Румынии. В ожидании «коллективной смерти», забыть о которой не удавалось, я исполнял свой долг.

В ходе тех недель я решил сосредоточиться на книге о Салазаре и сразу после отъезда Шеикару взялся перечитывать документальный материал, который собрал, и искать другие источники. (По ночам я все же ухитрялся работать над романом...) Но в первые дни сентября меня надолго свалил грипп. Зарядили дожди, и в сельском домике стало сыро и холодно, как в подвале. Так что 1 октября мы перебрались из Кашкайша в Лиссабон, в просторную, с приятной обстановкой, квартиру на четвертом этаже дома 147 по авенида Элиас Гарсиа.

* * *

В те четыре без малого португальских года я вел довольно подробный дневник, особенно между 1942 и 1945 годами. Если его когда-нибудь напечатают в полном виде, потенциальный читатель найдет там много фактов и полезных сведений для понимания эпохи. Воздержусь от их пересказа в сжатом виде. Довольствуюсь тем, что припомню случаи, повлиявшие на траекторию моей жизни, и отмечу пере-

смотр, изменение и, в конечном итоге, обновление концепций и надежд, которые у меня были до отъезда с родины.

Осень проходила под знаком войны. По временам я все же делал попытки ускользнуть от террора современной истории. Помню, например, какой энтузиазм вызвало у меня знакомство, в начале октября, с Рейнальду ду Сантушем, директором музея современного искусства. Мне говорил о нем в Мадриде Эухенио д'Орс; когда я спросил его, насколько возможно сегодня существование *uomo universale* по образцу Леонардо да Винчи или Лейбница, Эухенио д'Орс назвал имя ду Сантоша — лучшего хирурга Португалии, заслуженного искусствоведа и новатора в области эстетической мысли. При первой встрече мы беседовали два часа, главным образом, о Камоэнсе и приморских цивилизациях. Я вернулся домой с новыми силами, но и не без тоски: я помнил, что назавтра меня ждет «долг службы»...

В ноябре посланника Юрашку отозвали в Румынию, и его сменил посол Виктор Кэдере, профессор права из Клужского университета. Две последние ноябрьские недели изобиловали приемами по случаю разных перестановок. Нам тоже, в квартире на авенида Элиас Гарсиа, пришлось устроить подобный церемониал: отметить новый этап моей «инициации» в мифо-ритуальный сценарий дипломатического корпуса.

Много месяцев подряд я почти целиком был сосредоточен на книге «Салазар и революция в Португалии». Я располагал уже значительным количеством материалов, в том числе неопубликованных, которые предоставили мне журналисты и историки — Мануэл Мурьяш, Силва Диаш, Коррея Маркеш. 19 ноября я начал писать. Я писал каждую ночь до трех-четырех утра. Так что за месяц набралось шестьдесят машинописных страниц. Иногда, для разрядки, я писал длинные статьи в журнал «*Acção*» («*Latina ginta*», «Камоэнс и Эминеску» и др.). В книге, как и в статьях, были интересные темы, но, за немногим исключением, они не вписывались в мой литературный «проект». Я развивал их ради установления связей, культурных и в то же время политических, лузитано-румынских.

В декабре неожиданно грянуло нападение на Пирл-Харбор, и в войну вступили Соединенные Штаты. С этого момента Португалия стала не та. Люди — нервозные, подозрительные. После первых успехов японского флота Лиссабон, казалось, оцепенел от паники. Юрашку отбыл, а новый посланник, Кэдере, еще не прибыл. Кэмэрэшеску давно уже перевели в Рим. Поверенным в делах назначили молодого человека по фамилии Тотеску, секретаря дипмиссии. Вместе с Леонтином Константинеску, новым советником по печати, мы помогали ему, как могли, исполнять свои обязанности в той критической ситуации, которую никто не предвидел.

Когда посланник Кэдере прибыл и когда я поделился с ним своими проектами по «культурной пропаганде», мне пришлось удвоить число рабочих часов: книгу о Салазаре надо было завершить как можно быстрее и без промедления напечатать. В январе 1942 из-за простуды мне выпало несколько домашних дней, и я, как в лихорадке, накатал страниц пятнадцать. Эту работу я не прерывал до середины февраля, когда в обществе г-жи Кэдере и семейства Ленонтина Константинеску мы отправились на юг Португалии, в Алгарву, единственную провинцию, где я еще не бывал. В первый раз я увидел миндаль в цвету и апельсиновые деревья под тяжестью плодов.

Несколько дней спустя я был в гостях у Алфреду Пименты, историка, эрудита и знаменитого памфлетиста, из тех немногих португальских интеллектуалов, которые, в силу своего непримиримого антикоммунизма, поддерживали ось Рим-Берлин. Меня привело в восхищение богатство его библиотеки и — еще в большей мере — то, что он не боялся быть непопулярным. В конце марта я познакомился, у Антонью Ферру, с Ортегой-и-Гассетом; нам предстояло много встреч, и я всегда поддавался обаянию его личности, умению всколыхнуть каждую беседу, пусть самую что ни на есть банальную, превращая ее в философский диалог.

Я писал с надрывом, урезая сон, как в ранней юности, до четырехпяти часов. Только сердечный приступ (позже оказалось, что это был просто спазм сосудов) вынудил меня сократить число рабочих часов. Я так усердствовал, поскольку чувствовал, что эта книга быстро и необратимо отодвигается от меня. А если это случится — я знал из своего богатого опыта, — каждая страница будет даваться мне удесятеренным усилием. Мне и вправду не удалось доделать последнюю главу до 30 апреля, когда Нина с Джизой уехали на три-четыре месяца в Румынию.

Книга «Салазар и революция в Португалии» была завершена в конце мая. Несколько дней спустя пришла телеграмма из Бухареста от Н.И. Хереску, где он сообщал, что записал меня на конкурс — вести новосозданную кафедру философии культуры. Известие и порадовало, и опечалило меня. С одной стороны, после трехгодичного отсутствия меня приглашали вернуться на работу в Бухарест, на филолого-философский факультет; с другой, смутное чувство грусти подсказывало вопрос: не слишком ли поздно? Так или иначе, я попросил в министерстве двухнедельный отпуск и назначил отъезд на 10 июня. Дипмиссия достала мне билет на самолет «Люфтганза», который два раза в неделю совершал рейс «Лиссабон-Берлин». Получив на руки билет, я, как в озарении, с необыкновенной яркостью вспомнил про «коллективную смерть»...

* * *

Вечером 6 июня мне позвонил Антонио Ферро с известием, что Салазар назначил мне аудиенцию на завтрашний день, на пять часов пополудни. Не найдя такси, я чуть ли не бегом добрался до дворца Сан-Бенту. Привратник спросил, кто мне нужен. Я ответил: «*Senhor Presidente*». Он кивнул на лестницу в глубине. «Третий этаж, направо». Так входят к португальскому диктатору... За те несколько минут, что пришлось прождать, я выпил залпом стакан воды — у меня пересохло в горле, и я боялся, что не смогу говорить.

Переписываю из «Дневника»: «Захожу в кабинет, он сам встречает меня у дверей и без искажений выговаривает мое имя. Кабинет скромный, на столе — ни единой папки с бумагами, слева — столик с телефоном [...] Вблизи он не такой суровый. Есть какое-то простодушие, свежесть, невинность в этом лице хорошей чеканки и очень мужественном. Глаза влажные, с тенью, как будто смотрят из далекого далека; порой взгляд скользит мимо, огибая тебя. Голос теплый и тихий, в отличие от того, что я столько раз слышал по радио». Он задает мне вопросы о моей учебе в Индии, о моих португальских впечатлениях; когда я завожу разговор о книге «Салазар и португальская революция», которую только что кончил, он выказывает удивление моей осведомленностью и толкованием, которое я даю его работе «Новое государство» («*Estado Novo*»).

Аудиенция должна была продолжаться пятнадцать минут, но когда секретарь вошел напомнить, что четверть часа прошла, Салазар сделал жест рукой. Секретарь вошел еще через четверть часа и тут же ретировался. Истекли пятьдесят пять минут, я то и дело порывался встать. Салазар вдруг встал сам, пожелал мне счастливого пути и с благодушным видом пожал мне руку.

Придя домой, я записал в «Дневник», подробно и не комкая, все, что счел интересным из этой долгой аудиенции. Перечитанные через сорок лет, некоторые фрагменты показались мне чрезвычайно ценными. Ни к чему пересказывать их здесь*. На отдельном листе я выписал все, что относилось к нынешнему положению Румынии, и, главное, к тем проблемам и кризисным моментам, с которыми Румыния столкнется после окончания войны. Я отдавал себе отчет, что, какими-то замысловатыми ходами, эти соображения представляли собой личное послание Салазара, адресованное маршалу Антонеску. «Если бы я был на его месте, — говорил, по сути дела, Салазар, — я бы сохранил в стране как можно больше вооруженных сил. Маршал Антонеску —

* Если будут напечатаны выбранные места из «Лузитанского дневника» (1941–1945), в них войдет текст целиком.

не политик; он добился своего положения без опоры на какую бы то ни было политическую партию; вся его сила — в армии. Зачем же тогда губить ее в русских степях? Я бы оставил ее в стране или как можно ближе к границам, тогда в трудном положении я мог бы опереться на армию». Салазар очевидным образом подсказывал маршалу следовать примеру Финляндии*. Я много раз перечитывал этот листок, почти что выучил его наизусть и перевез в Бухарест в дипломатическом чемоданчике. Но в силу обстоятельств, о которых пойдет речь ниже, счел, что осторожности ради его лучше уничтожить.

Как и следовало ожидать, моя длительная аудиенция у Салазара, да еще то, что три дня спустя я отбыл в Бухарест, привлекло внимание разных секретных служб. Посланник Виктор Кэдере конфиденциально сообщил мне, что за мной уже следят агенты гестапо, и добавил, что ситуация осложнится после того, как меня примут маршал и Михай Антонеску; он настойчиво советовал мне «быть как можно осторожнее».

Я остановился на два дня в Берлине и почти все время проводил со своими коллегами из службы печати. Запись в «Дневнике»: «После пятилетнего перерыва нахожу Берлин погрустневшим. Народа мало, и у всех в глазах озабоченность». Потом поездом я добрался до Бухареста и через двадцать четыре часа после того, как сошел на перрон Северного вокзала, уже был вызван на аудиенцию к Михаю Антонеску, вице-президенту совета министров.

Аудиенция имела место вечером, в 8.00. Михай Антонеску начинает с того, что знает меня еще по «Кувынтул», когда он приходил туда повидаться с Нае Йонеску, и что у него в заводе нет забывать знакомых своих «давних лет» («*Дневник*»). Мы разговариваем примерно с час, сидя друг напротив друга в креслах у письменного стола. Передаю ему «послание», адресованное Салазаром маршалу, но не без труда, потому что он меня все время прерывает. Ему нравится разглагольствовать: он наговорил мне кучу всяких вещей, неглупых, но довольно-таки банальных и, главное, с ораторским пафосом. По тому, как он отзывался о военных («у них прагматический ум, и они не умеют вести страну»), сомневаюсь, что он передал маршалу «послание» Салазара...

Уже на другой день, отправившись в министерство пропаганды познакомиться с новым министром, профессором Александру Марку, я почувствовал, что за мной следят. С тех пор всякий раз как я выходил из своего дома или из дома, где жила семья, или от друзей, или из министерства, я обнаруживал — иногда сразу, иногда через несколь-

* Здесь не имеет смысла обсуждать, в какой мере могла быть повторена политика маршала Маннергейма.

ко минут — двух-трех агентов, которые старались незаметно выполнять свою миссию. Приходилось, по выражению В. Кэдере, «быть как можно осторожнее». Поэтому из своих старых друзей я навестил только Мирчу Вулкэнеску, Константина Нойку, Дана Ботту и еще очень немногих. Только раз я встретился с профессором Александру Росетти. Избегал встречи с Михаилом Себастьяном, и этот факт, для меня крайне неприятный, а Михаила Себастьяна просто удручивший, будет иметь серьезные последствия много лет спустя.

Я старался как можно больше времени проводить в своем кабинете на улице Паладе (шлифуя главки, которые составили книжечку «Миф о воссоединении») или в кругу семьи. Корина и Тику не изменились, а вот Сорин, которому немного недоставало до пяти лет, был уже не тот робкий малыш весны сорокового. Моего брата Нику мобилизовали по месту работы, в химической лаборатории, которой он руководил. Родители показались мне постаревшими. Но я догадывался: они счастливы, что я далеко от Румынии, далеко от фронта.

Из немногих бесед с друзьями, из того, что рассказали мне родные, я понял, что маршал не слишком популярен, а Михая Антонеску презирают — в лучшем случае, не принимают всерьез. Что касается войны на Востоке, то немногие румыны, я думаю, осознавали, какие катастрофические последствия будет иметь поражение. Неделя, проведенная в Бухаресте, осталась в моей памяти меланхолическим сном, перемежаемом кошмарами. И все же я и заподозрить тогда не мог, что, кроме Корины и Сорина, я никогда не увижу никого из семьи, никогда не увижу свою страну и большинство друзей, а моя библиотека, рукописи и папки с заметками и корреспонденцией станут мне недоступны, запрятанные на чердаках тех домов, где будут жить еще годы и годы мои родители и Корина.

Я вздохнул с облегчением, когда поезд отошел от перрона Северного вокзала. До последней минуты все боялся, что меня, под тем или иным предлогом, задержит секретная служба, как это случилось кое с кем из моих коллег, которые приезжали в Бухарест по особому заданию или в отпуск. Листок с «посланием» Салазара я сжег, увидев, как неусыпно за мной следят. По той же причине не осмелился взять с собой дневник 1928–1940 годов, который позже Нина вверит попечению Н.И. Хереску и который через несколько лет будет утрачен заодно с его собственными рукописями и письмами.

Мы остановились на два дня в Берлине. Один из атташе по печати, Горуняну, повел меня в гости к Карлу Шмидту, в Далем. Шмидт заканчивал тогда работу над книжицей «Земля и море» и хотел задать мне кое-какие вопросы о Португалии и о приморских цивилизациях. Я заговорил с ним о Камоэнсе и, в частности, об акватическом символизме. (Горуняну подарил ему второй том «Залмоксиса», куда были

включены «*Notes sur le symbolisme aquatique*».) По мнению Карла Шмидта, «Моби Дик» был самым великим творением маринистского духа после «Одиссеи»; «Лузиады» в немецком переводе не слишком его захватили. Мы проговорили три часа; а провожая нас до метро, он объяснил, почему считает авиацию земным символом...

* * *

Сразу по прибытии в Лиссабон, я продолжил, по крайней мере, внешне, исполнение программы, прерванной две недели назад. Меня назначили советником по культуре, что обязывало читать всего одну газету за день. Остальное время я мог работать над своими исследованиями и писать. Первым делом я взялся за доработку большого фрагмента из так и неоконченной книги «*La Mandragore*», ей предстояло выйти в томе III «Залмоксиса». Кроме того, я начал писать по-французски книгу, которую опубликуют в 1943 году под заголовком «*Os Romenos, Latinos do Oriente*». Историк Жуан Амеал пригласил меня сотрудничать в коллекции «*Gládio*», которую он вел. Таким образом я продолжил деятельность по установлению лузитано-румынских связей, начатую статьями в «*Acção*» и книгой о Салазаре. Одновременно я организовал программу культурного обмена. Ее открыли лекции Н.И. Хереску, приехавшего по приглашению Лиссабонского университета*.

Тем не менее сохранять присутствие духа удавалось не всегда. Вести с восточного фронта не обнадеживали. Я чувствовал, что готовятся катастрофы и радикальные преобразования, и все думал, в какой мере смогут уцелеть духовные ценности, в которые я верил. Искал поддержку в медитации на некоторых текстах, мистических и метафизических, в созерцании творений искусства. Потому-то и составил с удовольствием компанию Н.И. Хереску в поездке в Мадрид. Мы с Ниной пробыли в Испании дней десять. Новый советник по культуре, критик и искусствовед Александру Бусуйочану, сопровождал нас по Кастилии; мы еще раз побывали в Толедо, открыли очарование легендарных городов Сеговия, Аранхуэз. Я много беседовал с Эухенио д'Орсом, мы сообща готовили его сборник, который я задумал перевести на румынский. Я перепроверял то, к чему пришел давно: лучшая после религиозного опыта защита от «террора истории» — это духовность, творчество, культура.

---

* В последующие два года приедут читать лекции и другие румынские ученые. В 1943 году одну из пьес Фердинанды де Кастро поставят в Национальном театре, в Бухаресте, а в 1944 Джордже Джорджеску будет приглашен дирижировать рядом концертов.

Вместе со многими моими соотечественниками и многими европейцами я воспринял высадку американских войск в Северной Африке как обнадеживающий знак. Соединенные Штаты признали приоритет европейских проблем. Но операция не принесла желаемых результатов, кампании предстояло продлиться до апреля 1943. В канун Рождества я получил книжечку Карла Шмидта «*Land und Meer*». Я давно уже послал ему третий выпуск «Залмоксиса». Из письма Горуняну я узнал, что Эрнст Юнгер попросил у Карла Шмидта предыдущий выпуск и взял его с собой, в ранце, когда его мобилизовали и отправили на Восточный фронт*. В январе 1943 ректор Мюнхенского университета пригласил меня на открытие музея Центральной Африки «*Sven Heddin*». Но я сказался больным гриппом и не поехал. Я мог думать только об агонии взятых в кольцо под Сталинградом войск, среди которых было и несколько румынских дивизий. Без снотворного не мог заснуть.

Я защищался, как умел. Защищался прежде всего, пытаясь писать. Начал новый роман, назвав его ориентировочно «Апокалипсис», главным героем был некий мифоман, нахватавшийся поверхностных знаний. В тот год я начинал и бросал этот роман много раз и наконец совсем от него отказался**. В феврале занялся подробным компаративистским исследованием ритуалов строительства и написал его за несколько месяцев. Оно вышло из печати в конце года под заголовком «Комментарии к легенде о Мастере Маноле».

* * *

Персонал дипмиссии удвоился. Раньше всех переехал из Вашингтона бывший поверенный в делах Брутус Косте; из Хельсинки прибыл Дину Кантемир, а из Бухареста — Тику Буриляну. Филологический факультет Лиссабонского университета организовал курс лекций по румынскому языку. Н.И. Хереску рекомендовал в преподаватели своего бывшего студента Виктора Буеску. Чем дольше длилась война, тем важнее становилась Португалия. Нейтральная страна, вековая союзница Англии, но притом — национализм и антикоммунизм как политика правительства, которое давно порвало дипломатические отношения с СССР. Для нас, румын, Португалия представляла еще большую ценность благодаря принадлежности к латинской культуре, на которую мы претендовали в равной мере. Так что я продолжал

---

* Позже я прочел в «Дневнике» Юнгера его впечатления от моей статьи «*Notes sur le symbolisme aquatique*».

** Его персонажа, Вэдастру, я использую в романе «Купальская ночь».

«культурную пропаганду»: статьи, интервью, приемы, встречи с португальскими журналистами и писателями.

В конце апреля я с радостью принял приглашение нашего посланника в Мадриде поехать с ним в большое автомобильное турне по Андалузии. Впервые я посетил Кордову, Севилью, Гранаду, Малагу, Кадиз. Несколькими днями раньше Нина уехала в Бухарест; она показалась мне грустной и чем-то озабоченной. Из писем, полученных по диппочте, я понял, что ее на неделю положили в больницу, но она уверяла, что ничего серьезного у нее нет. 19 июня, когда она вернулась, вместе с Джизой, я увидел, что она скрыла истинное положение дел. Тогда она призналась, что у нее оперировали кисту — операция несложная, и ей просто нужен отдых. На самом деле, ей удалили, и притом слишком поздно, злокачественную опухоль, но она попросила всех: семью, друзей, коллег по дипмиссии, врачей, — ничего мне не говорить. Я узнал правду за несколько недель до конца.

Первую половину ноября мы провели в Париже. Нине надо было проконсультироваться у специалиста. Она снова заверила меня, что все идет хорошо, что мне не о чем беспокоиться. И в самом деле она вернулась в очень хорошем расположении духа из парижской клиники, которую ей в Бухаресте порекомендовал хирург — результаты анализов оказались удовлетворительными. В Париже я познакомился с Жоржем Дюмезилем, Рене Груссе, Полем Мораном (тогдашним послом в Бухаресте), с Жаном Кокто. Большую часть времени провел с Эмилем Чораном. Мы с ним обходили книжные магазины, и я накупил больше книг, чем за два года в Лиссабоне.

Это короткое погружение в культурную атмосферу Парижа меня взбодрило. Я понял, чего мне стоили годы, проведенные вдали от библиотек, без серьезных контактов с востоковедами и специалистами по истории религий. Разумеется, я всего-навсего исполнял свой долг, да еще в самых прекрасных условиях: я знал, что негоден для военной службы по близорукости и из-за плеврита, которым болел в 1938, но ведь меня могли послать на фронт в качестве репортера, как стольких других. Тем не менее мне надо было наверстать время, потраченное на «культурную пропаганду»; другими словами, удвоить рабочие часы. Когда в конце ноября Хереску уведомил меня телеграммой, что 12 декабря состоится конкурс на должность заведующего новой кафедрой, я ответил, что не буду присутствовать*. Я чувствовал, что эпоха «творчества» в контексте современной румынской культуры кончилась. Я знал, что стою на пороге какого-то нового этапа.

* Хереску был мне признателен, потому что менее чем через год он с семьей попросил убежище в Лиссабоне.

Мы отпраздновали Новый год на авенида Элиас Гарсиа очень скромно, в обществе Брутуса Косте и Леонтина Константинеску с супругами. 1944 год для нас, румын, обещал быть довольно-таки мрачным. В конце января я записал в дневнике: «Хотелось бы написать про *террор истории*». Но сосредоточился на «Пролегоменах...» («Трактат по истории религий»); я располагал богатым документальным материалом (кроме привезенного из Парижа, выписал целые коллекции книг из Финляндии, Германии и Италии). Работа над «Пролегоменами» дала мне душевное равновесие и помогла противостоять испытаниям, которые готовила нам «История». После того как Советы перешли Днестр, и в те дни, когда американская авиация массированно бомбардировала Бухарест, наша жизнь, Нины и моя, была сплошным кошмаром. Только изредка встреча, долгая беседа с каким-нибудь мыслящим человеком или значительным художником освобождали меня от давления современности. Такими были, в конце мая, беседы с Карлом Шмидтом, приехавшим в Португалию на неделю, и с Ортегой-и-Гассетом.

* * *

Летом 1944 здоровье Нины ухудшилось. К счастью, приехал Н.И. Хереску с женой и дочерью, и я пригласил его пожить с нами. (Они прибыли без вещей и без денег — немецкий самолет, на котором они летели, подвергся бомбардировке и сгорел в каком-то из аэропортов.) В эти тяжелейшие дни и ночи присутствие друга-соотечественника очень мне помогало.

Доктор посоветовал нам поместить Нину в санаторий, а именно в *Casa de Saude e de Repouso* в Лозе, в нескольких километрах от Лиссабона. Она пробыла там два месяца, август и сентябрь, но результаты если и обнадеживали, то крайне мало. После капитуляции Румынии 23 августа 1944 года почти весь персонал дипмиссии отозвали на родину, и, в ожидании перевозочных средств, все получали треть жалованья. Сбережений, которые у нас были, еле-еле хватило на покрытие двухмесячного пребывания в санатории, на сиделок, лекарства и гонорары доктору. Брутусу Косте, которого назначили поверенным в делах вместо отозванного посланника Кэдере, удалось добиться для меня от министерства иностранных дел весомую прибавку жалованья, так что я смог справиться с расходами.

В последние недели Нина жила только на переливаниях крови. Она уже давно не могла читать. Доктора удивлялись, как ей удается держаться. Она угасла во сне утром 20 ноября. Большую часть ночи я просидел у ее изголовья, читая ей Евангелие от Иоанна. Меня утешала мысль, что она больше не будет страдать.

* * *

Я продал большую часть библиотеки, отказался от квартиры на авенида Элиас Гарсиа, и в канун Рождества мы — Мария, наша старая и преданная экономка, Джиза и я — перебрались в Кашкайш. Я арендовал, сроком на шесть месяцев, у семьи обедневших помещиков старый, но еще вполне крепкий дом по живописной руа де Саудаде, 13, с террасой на скалах в двух шагах от океана. В самой большой из комнат стояли голые полки, их как раз хватило, чтобы поместить те книги, которые я оставил у себя.

Я долго не мог читать ничего, кроме Библии и нескольких авторов: Кьеркегора, Льва Шестова, Дильтея, Хайдеггера, — и не мог писать ничего, кроме «Дневника». Все же я с пристрастием следил за ходом войны. Мы были изолированы от родины и узнавали из газет или ловя радиоволны, новости, касающиеся Румынии. Раз вечером мне случайно попалась передача на румынском языке. Это было радиовещание из Бухареста — ежедневная сводка новостей для провинциальных газет. С тех пор я слушал новости каждый день, передавая Брутусу Косте их запись, которую делала Джиза. Так мы получали информацию обо всех кризисах и трудностях, которые в ту зиму и весну выпали на долю первых «свободных правительств» Румынии.

Снова началась бессонница, до трех-четырех утра я не мог уснуть, но больше не прибегал к снотворному; перечитывал и обдумывал Евангелие, пробовал нащупать направление, следуя которому, мог бы выйти из лабиринта. Мне давно казалось, что я заблудился в лабиринте, и с течением времени убеждался все больше, что речь идет еще об одном инициатическом испытании, каких было много в последние годы. Безысходность, разного рода депрессии и муки имели смысл: мне следовало понимать их как ряд «инициатических пыток», приуготовлявших символическую смерть и духовное воскресение, к которому я направлялся. Я знал, что не могу до бесконечности оставаться в нынешнем состоянии: я был уже не тот, что в первый год войны, но еще не выстрадал *другой способ быть*. Я застрял в темной, переходной фазе.

Впрочем, весь свет переживал изменения, и по крайней мере одно из них не могло меня не радовать, потому что я его предвидел и возвестил во многих моих работах 1933–1940 годов. Индия стояла на пороге независимости, и Азия с неизбежностью входила в Историю. Для меня это событие имело не только политическое значение. Скоро станет возможным новое столкновение — на равных — между духовностью восточной и духовностью западной. Но диалог произошел бы единственно в том случае, если бы Запад узнал и правильно понял *настоящую* восточную духовность, то есть ее религиозную подопле-

ку. Феноменология и история религий в том ключе, в каком я ими занимался, казались мне самым подходящим приготовлением для этого неминуемого диалога. Не мог же архаический мир — «первобытные» народы, которых антропологи изучали все последнее столетие, — вечно пребывать в колониальном обличье. Правда, для того чтобы западным людей вникнуть в архаическую духовность, им надо было хотя бы минимально разбираться в мифическом мышлении — задача не из простых.

Поэтому, когда я возобновил работу, я со всем рвением занялся «Пролегоменами». Существенные документы были у меня уже собраны и классифицированы, так что я писал довольно быстро. В Лиссабон ездил все реже и реже. Сидел весь день дома и работал. По вечерам выходил на полчаса погулять по океанскому берегу, слушал сводку новостей, а после ужина закрывался у себя в комнате и работал до трех утра. Этот распорядок дня, который я назвал «бальзаковским», прерывала время от времени какая-нибудь сверхважная новость (например, когда Молотов грубейшим образом отправил в отставку генерала Рэдеску). В конце марта мы с Леонтином Константинеску за восемь дней пешком прошли не одну сотню километров до Фатимы. Для отдыха я откладывал иногда рукопись «Пролегоменов» и брался за «Космос и историю» («Миф о вечном возвращении»), книжечку, где попытался уточнить происхождение феномена, который назвал «террором истории».

Как все, я ждал конца войны. Поскольку я решил не возвращаться пока в Румынию, я надеялся как можно скорее попасть в Париж, чтобы довести до конца обе начатых книги и попробовать опубликовать их на французском. Я считал, что они полезны для диалога Восток-Запад. Или по крайней мере окажут содействие в преодолении культурной провинциальности, которой еще страдали некоторые европейские страны. Мне казалось, что сама современная история принуждает нас раскрыться для универсальных ценностей. У меня не было чувства, что, если я поживу сколько-то времени в Париже и буду печататься по-французски, то оторвусь от румынской культуры. Я знал, что нет монолитных культур, где бы доминировала какая-либо одна духовная традиция. У истоков румынской культуры стояло две традиции: пахарей и пастухов; последняя была открытее для общемировых ценностей, чем традиция хлеборобов. Образцовой моделью мне представлялся межзаветный иудаизм с двумя творческими источниками: Храм и диаспора. Эти мысли я буду развивать и бесконечно обсуждать в первые годы, проведенные в Париже.

29 мая я узнал о смерти Михаила Себастьяна, который попал под грузовик, когда шел в университет, на открытие своего курса по французской литературе. Весть была удручающей, и мысль об этой

нелепой случайности преследовала меня долгое время. Иногда меня донимало чувство непоправимого: Михаил Себастьян никогда не узнает, в силу каких причин я избегал встречи с ним в Бухаресте летом 1942 года. Я был уверен, что он понял бы меня при первом же разговоре, что мы вернули бы нашу старую дружбу. Но судьба распорядилась по-другому.

Я работал, чуть ли не с ожесточением, над «Пролегоменами» до 19 июля, когда пришлось перебраться в дом, который арендовала на лето семья консула Кэлина Ботеза, прямо напротив рыбного рынка. И здесь тоже, как только я нашел рабочий стол, я разложил рукопись «Пролегоменов»; но кончить книгу мне не пришлось.

Николае Хереску уехал в Париж в начале июля. Шпитцмюллер, бывший поверенный в делах в Бухаресте, который знал мою «Йогу» и журнал «Залмоксис», давно обещал мне французскую визу. Я получил ее только в конце августа. Тогда я продал почти все книги, какие еще у меня оставались (зная, что в Париже они будут мне доступны без труда) и заказал билеты в спальном вагоне. Последние дни, проведенные в Кашкайше, были очень тяжелые и показались мне длиннее некуда. Дом, в котором мы прожили семь недель, подлежал сносу до 1 октября. Нас окружал строительный мусор, мы ходили с носовыми платками наготове и прижимали их ко рту, как только ветер поднимал пыль. Мне это казалось образом Европы конца Второй мировой войны.

Приложения

Нигде, ни в какой стране я не слышал звуков столь же меланхоличных и душераздирающих, как у лиссабонского точильщика. Этот мастер обычно возвещает о своем прохождении по улицам, выдувая из свирели всего несколько звуков, они протяжны, вибрируют, пронзают тоской и обрываются выкликом на высокой ноте, как будто песню ранили. Точильщик обычно высвистывает свою безысходность в жаркие послеобеденные часы, когда солнце усыпляет высокие деревья и ветер вязким дуновением тянет по мостовым. Будто бы последний живой человек выпевает свою тоску в брошенном городе.

А перед закатом я снова слышу его, когда к воздуху возвращается прозрачность и деревья начинают курить свои благовония. Вот самое совершенное выражение того, что называется *saudade*[94].

*

Я люблю сидеть по вечерам в эту позднюю весну на Праса ду Комерсью, на балюстраде над Тежу, где столько не знающих устали чаек пытают свое счастье в мутных, желтых, маслянистых водах реки. Сле-

дя за их короткими, резкими бросками, между вскриком и нырком, я, наконец, застаю себя без мыслей, тихим, отрешенным от самого себя, на вопросе: в какой момент переменилось окружение и стало таким красивым.

*

Это печальный народ. Так сказал мне раз один мой португальский знакомый, но мне не хотелось в это верить. Чем лучше я его узнаю, тем больше убеждаюсь, что *saudade* — не выдумка Коимбры, романтических поэтов и странников. У португальцев нет южной экспансивности, нет и следа запальчивости, несдержанной крикливости. Я думаю обо всех своих друзьях, обо всех португальцах, которых встречал в поездах, на площадях, за столиками в кафе, в театральных залах. У всех них особая, безыскусная степенность в движениях, хотя нельзя сказать, что они невозмутимы. Они меланхоличны, все время рассеянно улыбаются, они приветливы, как все, кто носит в себе неясную, беспричинную печаль.

Часть пятая

INCIPIT VITA NOVA

Глава 19

ПАРИЖ, 16 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА

Мы прибыли в Париж в воскресенье, 16 сентября. На вокзале нас встречали Эмиль Чоран и Ликэ Краканера — «деловой человек», друг и покровитель интеллигенции, с которым мы познакомились два года тому назад. Чоран нашел для нас номера в отеле «Авенир» на рю Мадам, вблизи Люксембургского сада. Мы позавтракали у Н.И. Хереску, в квартире, которую ему уступил на время кто-то из его коллег. Он был настроен по-прежнему оптимистично. Говорил: еще только год перетерпеть, потом ситуация выправится... Вечером, как это повторится еще много раз в ту осень 1945, Краканера пригласил нас в дорогой ресторан, где все было с «*marché noir*»: я не поверил глазам, когда увидел счет.

Неделя прошла быстро. Некоторые формальности надо было выполнить прямо на другой день: мы прошли регистрацию в полиции и в мэрии, чтобы получить продуктовые карточки и удостоверения личности. Теперь у меня был обычный паспорт, но французская виза — с неограниченным сроком, что облегчало наше положение. Если нас никто не приглашал к столу, мы питались португальскими запасами (привезли с собой сардины в баночках, тушенку, сухари, сахар, кофе и чай). По моим расчетам, сбережений, которые я сделал за последний год, нам должно было хватить на восемь-девять месяцев скромной, «студенческой» жизни. За это время я надеялся получить либо стипендию для ученых, либо должность в каком-нибудь американском университете. Рассчитывать на гонорары за книги, которые я готовил, можно было не раньше, чем через год-два.

Очень скоро я возобновил знакомство со Стефаном Лупаско, Жоржем Дюмезилем, Рене Груссе и познакомился кое с кем из крупных индологов: Луи Рену, Жаном Фийозой, Полем Массон-Урселем. По представлению Рену и Дюмезиля меня избрали членом Азиатского общества. С тех пор много лет подряд я регулярно посещал собрания почтенного *Société Asiatique*. Вместе с Эмилем Чораном мы побывали на приеме у Елены Вэкэреску, недавно назначенной советником по культуре в румынской дипмиссии. С пятилетним перерывом я увиделся с Эудженом Йонеску, мы поужинали у него дома на Клод-Тер-

рас, и Родика с гордостью показала мне Мари-Франс, которой только что исполнился год. Повидался я и со своими бывшими студентами, Марьяной и Михаем Шора, и был рад услышать, что «Галлимар» принял рукопись Михая «*Du dialogue intérieur*». Познакомился, а потом и подружился со многими румынами — в первую очередь, с художницей Лили Веря, в чьей мастерской мне предстояло провести не один воскресный вечер, и с Лизикой Кодряну, которая в то время работала над комплексом медицинской гимнастики, используя некоторые упражнения хатха-йоги.

Открытие Парижа дало повод для нечаянных радостей. Не одни только музеи и парки, но и концерты (прежде всего ансамбля «*Ars rediviva*», руководимого Клодом Крюссаном), спектакли (мне не забыть «*Meurtre dans la Cathédrale*») во «Вье-Коломбье»), кафе Монпарнаса и Сен-Жермен-де-Пре. Вечером 29 октября я слушал, стиснутый толпой, набившейся в зал, лекцию Сартра «*L'existentialisme est un humanisme*». (Сартр говорил без бумажки и за полтора с лишним часа ни разу не прикоснулся к стакану с водой...)

Я старался пользоваться этой новой свободой, о которой мечтал столько лет. За много недель я не прочел ни одной газеты (зная, что о важных событиях мне расскажут друзья). Зато ненасытно читал новые журналы и книжные новинки; мне казалось, что надо быть в курсе парижской литературной и философской жизни. Однако вскоре меня взяли в оборот срочные дела; с грустью обнаружил я, что наслаждение свободой свелось к двум часам в день, которые я упорно проводил в музеях, парках или на улицах.

* * *

Зайдя проведать, в его старомодной книжкой лавке, издателя Поля Жетне, я услышал от него, что, располагай он большей квотой на бумагу, он переиздал бы «Йогу»; ее все время спрашивали, и не только во Франции. Пока что он подсказал мне издать книгу потоньше и не такую «техническую». Несколько дней спустя Жорж Дюмезиль представил меня Брису Парену, который вел в «Галлимаре» коллекцию «*La Montagne Sainte-Geneviève*», и рассказал ему о моих проектах. Я еще не кончил ни «Пролегомены» («Трактат по истории религий»), ни «Космос и историю» («Миф о вечном возвращении»), но поскольку Брис Парен выказал интерес к «*Introduction à l'étude du Yoga*», я взялся за работу. Я подумал, что мог бы резюмировать свою докторскую диссертацию, переписав из нее или пересказав как можно больше кусков. Но скоро отказался от этого легкого решения. По прошествии стольких лет я снова погрузился в санскрит, индийскую философию и йогическую проблематику. Купил себе санскритско-французский словарь

Рену, взял в *Société Asiatique* тексты и журналы по востоковедению и через несколько месяцев владел предметом лучше, чем когда бы то ни было (разумеется, на основе самой свежей критической библиографии). Весной 1946 года я сделал в *Institut de Civilisation Indienne* сообщение о лексике йоги и, по приглашению Жюля Блока и доктора Жана Фийозы, прочел две лекции о йогических техниках. Меня стали звать на выступления то одни, то другие группировки и центры духовных штудий. Йога пробуждала интерес, что я давно предвидел, у все более и более многочисленной и разнообразной публики. Конечно, подобный интерес грозил перерасти, как это вскоре и случилось, в моду. Поэтому Луи Рену и другие индологи с симпатией смотрели на мои старания представлять, по возможности, философию и практику йоги по-научному, и притом — в более широком контексте истории религий. Книгу я завершил к началу лета, и Брис Парен обещал мне аванс, как только рукопись пойдет в печать. В силу издательских трудностей «Техники йоги» выйдут в свет не раньше весны 1948 года. Но аванс я, к счастью, получил вовремя...

В начале ноября Жорж Дюмезиль открыл свой курс в *École des Haute Études*, на отделении религиозного знания, — этот курс я буду слушать с самым живым интересом до 1950 года. Узнав, что я работаю над морфологией религиозных феноменов, Жорж Дюмезиль предложил мне прочесть ряд лекций на его кафедре сравнительной мифологии. Я, разумеется, был чрезвычайно польщен. Я уже располагал машинописной версией первых объемистых глав; в последующие недели их перевели, более или менее удачно, несколько молодых людей*. Однако предстояло выбрать страницы, которые подходили для устной передачи, и, главное, дать свои комментарии. Я открыл цикл лекций 8 февраля 1946 года анализом ураноподобных божеств в древних религиях. Кроме Жоржа Дюмезиля и специалистки по Тибету Марсель Лалу, присутствовала еще небольшая группа румын. За десять лекций я успел обсудить только темы первых четырех глав из «Трактата по истории религий». Дюмезиль настаивал, чтобы я продолжил лекции зимой и весной 1947, но, занятый другими проектами, я не смог выбрать время. Зато весной 1948 я изложил суть книжки «Миф о вечном возвращении», и на сей раз перед гораздо более многочисленной аудиторией.

* * *

Краканера уверял, что подыщет для меня квартирку. Осенью 1945 в такую удачу почти не верилось, и не без оснований. Совершенно

* Окончательный текст во французской версии — «*Traité d'histoire des religions*» — будет откорректирован Жоржем Дюмезилем.

случайно мы узнали, что одна дама русского происхождения, мадам Шернасс, расположена сдать часть квартиры, которую она занимала на рю Сен-Пер. Мы вселились туда в феврале 1946; нам достались три комнаты, почти без мебели, и мы могли пользоваться кухней. К счастью, в квартире нашелся письменный стол, на котором я разложил папки и рукописи.

Начались лекции в *Haute Études*, и письменный стол был мне большим подспорьем (все четыре месяца в отеле я довольствовался хлипким журнальным столиком). Санскрит пробудил во мне желание снова взяться за древнегреческий, а, главное, серьезно изучить русский язык. Во время войны — в Оксфорде, в Лиссабоне, в Кашкайше — я много раз принимался за русский, но прерывал занятия (по два часа в день) через несколько недель. На сей раз я решил изучить его любой ценой. С одной стороны, чтобы читать работы русский этнологов о сибирском шаманстве; с другой, чтобы, изучая язык (в который я давно был влюблен), доказывать себе, что я не смешиваю русский народ с режимом — советским империализмом. Я все время говорил себе, что ненависть к оккупационным войскам и их приспешникам в Румынии нельзя распространять и на русский народ.

Располагая теперь кухней, кое-какими столовыми приборами и дюжиной стаканов, мы могли приглашать друзей. Провизия, привезенная из Португалии, была на исходе, но оставались еще чай, кофе и несколько банок сардин. Время от времени Н.И. Хереску и Эмиль Чоран дарили нам бутылочку вина. Мы долго не смели предлагать гостям ничего, кроме кофе, и изредка — стакан вина.

Мало-помалу круг знакомых, а потом и круг коллег и друзей расширялся. Той весной я познакомился с Филипом Лавастином, меня восхищала его начитанность, его богатая библиотека; через Лавастина познакомился с доктором Анри Хунвальдом, увлеченным алхимией и герметизмом; он преподнес мне мою же «Азиатскую алхимию», купленную в Клуже в год ее выхода в свет, 1935. Вскоре мы сошлись накоротке с Анри и Анной Хунвальд; в их квартирке на улице Сен-Жак мне предстояло познакомиться со многими писателями и герметиками: со старым Полем Вюйо (которого поразило, что еще в 1926 году, в Бухаресте, я имел два тома «*La Kabbale Juive*»), с критиками Эме Патри и Мишелем Карружем, с алхимиком Эженом Канселье и, главное, с Андре Бретоном, который с интересом прочтет мои «Техники йоги». Луи Рену оказал мне честь, пригласив отобедать вместе с Э. Бенвенистом, который любопытствовал насчет некоторых подробностей экстаза азиатских шаманов, а потом — с Полем Мю, который только что вернулся из Индокитая (он еще ходил в офицерской форме). Мю вспомнил мою пространную статью о Барабадуре: он

буквально расшифровал ее с румынско-французским словарем в Сайгоне, перед самой войной.

Лето сорок шестого я провел, работая, как в мои молодые годы, по двенадцать-четырнадцать часов в день. Несмотря на сильную жару, в июле довел до конца «*Le problème du chamanisme*», работу, которую просил у меня А.-Ш. Пюэш для «*Revue de l'histoire des religions*»; потом без перерыва принялся за еще недописанные главы «Трактата». Шаманство интересовало меня много лет; первые материалы я собрал в Британском музее летом сорокового; в Лиссабоне прочел все тома «*F F Communications*», объемлющие информацию и экзегезу в связи с азиатским и сибирским шаманством. В статье для «*Revue de l'histoire des religions*» я отталкивался от книги Аке Олмарка; следуя старой наивно-материалистической интерпретации, автор причислял шаманский экстаз к трансам, которые провоцирует «арктическая истерия». Я попытался поместить «проблему шаманства» в контекст истории религий, в ту единственную перспективу, которая не аннулировала ни его значение, ни функцию. То есть я проанализировал типологию шаманской инициации и структуру экстатических путешествий шаманов в небесные и подземные области, подчеркивая аналогии с инициатическими обрядами и мистическим опытом некоторых первобытных и восточных народов. «*Le problème du chamanisme*» было моим первым исследованием, которое вышло в свет (в феврале 1947). Множество проникнутых энтузиазмом писем, которые я получил тогда от востоковедов и специалистов по истории религий, побудили меня рассмотреть проблему подробнее, в форме монографии.

Режим двенадцати-четырнадцатичасового рабочего дня иногда, конечно, нарушался «политической злобой дня». Началась Мирная конференция, и сразу же после официальной декларации Румынии в Париж приехали представители интеллигенции. В начале августа мне позвонил профессор Ал. Росетти, сказав, что ему срочно надо со мной увидеться. Назавтра мы встретились. Он подтвердил слухи, которые я уже слышал, но отказывался в них поверить: министерство образования, намереваясь доверить мне кафедру в *École des Haute Études*, обратилось за одобрением в дипмиссию (поскольку я был румынский подданный); наш посланник, интеллигентнейший математик Стойлов, запросил Бухарест, и ответ, разумеется, пришел негативный. Через несколько дней Ал. Росетти пошел вместе со мной на прием к Стойлову, «посмотреть, что можно сделать». Сделать ничего, естественно, было нельзя. Я не скрыл от Росетти, что удивлен и расстроен, — я не мог поверить, что большой ученый может вести себя, как агент-осведомитель. (Пройдет немного лет — и эта практика будет считаться в порядке вещей...)

* * *

На Мирной конференции, как и следовало ожидать, официальная делегация под руководством Анны Паукер поддерживала тезисы коммунистической партии, то есть Москвы. Григоре Гафенку и другие румынские дипломаты, из тех, что остались на Западе, образовали пресс-центр, чтобы информировать европейские политические круги и общественное мнение. Среди самых активных оказался Брутус Косте. Так что, не видевшись год, мы снова сошлись и возобновили некоторые темы наших португальских дискуссий*. Среди «технического» персонала комиссии по Мирной конференции находился и добрый приятель Косте, Антон Голопенция. Я был рад снова встретиться с ним. Он сказал, что отправил своему бывшему профессору, Йоахиму Уочу, все три выпуска журнала «Залмоксис», а в письме рассказал обо мне и попросил подарить мне его последние работы. Уоч, который преподавал историю религий в Чикагском университете, в самом деле прислал мне «*Sociology of Religion*» и написал, что скоро приедет в Европу. Но приехал только летом пятидесятого; когда мы встретились, в Асконе, Антон Голопенция был уже давно арестован. (Несколько лет спустя его жену пригласили на опознание тела...)

Месяц октябрь оказался для нас довольно-таки тяжелым. Иногда мне уже чудился призрак нищеты. Нам удалось продать часть одежды, привезенной из Португалии, потом мы нашли ломбард, и я много раз закладывал там серебро и шубу Нины. Джиза научилась мастерить шляпки, но первое время не могла найти клиентов. К счастью, время от времени Брутус Косте и другие приятели присылали нам небольшие денежные переводы. Мне удалось также одолжить у Кракенеры необходимые суммы — заплатить за квартиру и за перевод нескольких глав из «Трактата». Но бывали дни, когда это затянувшееся зыбкое положение меня крайне удручало.

И тогда я решил попытать счастья в Соединенных Штатах. Ананда Кумарасвами написал мне в начале октября, что я должен непременно навестить его в Бостоне в сорок седьмом году, поскольку в сорок восьмом он окончательно уедет в Индию. Я попросил найти мне в США какую-нибудь работу. Он ответил, что все кафедры индианистики и истории религий в университетах и колледжах давно заняты, но заверил, что будет искать еще. Только в августе сорок седьмого он

* Речь Черчилля 20 сентября 1946, в которой он предлагал создать федерацию европейских государств и добиться окончательного примирения между Францией и Германией, вызвала бесконечные дискуссии и полемику. Некоторые наивные люди недоумевали, почему Черчилль так поздно пришел к этому смелому политическому решению...

сообщил, что как будто бы намечается место... преподавателя французского языка в новом колледже, который вот-вот откроют (кроме жилья и средств на содержание мне полагалось бы жалованье 2800 долларов в год). Я согласился и на такой выход из положения (говоря себе, что это временно), но в октябре Луи Рену сообщил мне о смерти Кумарасвами. Это известие меня глубоко опечалило. Я мечтал о путешествии в Соединенные Штаты прежде всего, чтобы встретиться с Анандой Кумарасвами, неспешно побеседовать с ним о его последних экзегезах, основанных на *philosophia perennis*.

Нищета нищетой, но я продолжал работу над последними двумя главами «Трактата». Еще я радовался всякий раз, как мне удавалось лично познакомиться с авторами, которых я только что открыл для себя, например, с Робером Дессуай и Габриэлем Марселем. В начале декабря мне позвонил Теодор Бестерман, недавно занявший ответственный пост в ЮНЕСКО. Мы познакомились в Лондоне весной сорокового и встретились еще раз в Оксфорде, зимой следующего года. Меня поражала его эрудиция и смелость, с какой он менял «специальности»: от парапсихологии к этнологии и фольклору, потом — к библиографии по регионам и, наконец, к ее пику — масштабной Библиографии библиографий. Сейчас я нашел его в страстном увлечении Вольтером, чье творчество он как раз собирался целиком перевести на английский. Несколько дней мы вместе с ним обходили книжные и букинистические лавки; Бестерман искал «любые книги Вольтера и о нем»* ...

* * *

24 декабря г-жа Шернасс заявила, что мы должны съехать в ближайший месяц. Поскольку надежды еще раз найти квартиру не было, мы стали искать комнаты в «резидент-отелях». Для меня нашлась большая и просторная комната в «Шведском отеле» на рю Вано. Поскольку мы были вынуждены завтракать и ужинать дома, Джиза искала отель, где можно было бы готовить простые блюда на примусе. В конце концов она нашла в скромном отеле на рю де Бон комнатку, которая переходила в нечто вроде алькова, где стоял умывальник; тут она расположила свои чемоданы и примус.

Перед Рождеством меня навестил Жорж Дюмезиль и принес главы «Трактата», французскую версию которых он имел любезность улучшить. Сказанное им в тот день о ценности и важности книги отодвинуло в сторону невзгоды и нищету. Он посоветовал предложить «Трактат» издательству «Пэйо» и обещал в случае необходимости написать

* Теодор Бестерман позже сосредоточился исключительно на переписке Вольтера и опубликовал замечательное критическое издание в ста десяти томах.

предисловие. Но поскольку две последние главы были у меня не дописаны, я не осмелился предлагать рукопись издательству. Год закончился в мастерской Лили Веря, куда я привел и Теодора Бестермана; это было его первое соприкосновение с тем, как, по его выражению, «развлекается послевоенная интеллектуальная элита Франции».

Мы съехали с квартиры 28 января 1947 года, проведя последние два дня в напряжении и страхе; хозяйка по непонятным причинам впала в ярость, и по ночам мы спали одетые, готовые ко всему. Мы вздохнули с облегчением, когда погрузили чемоданы и книги на пикап и направились сначала на рю де Бон, а потом на Вано. Мы скоро вошли в новый режим. Работали весь день и часть ночи; Джиза мастерила шляпки и искала клиенток; утром и вечером мы перекусывали в комнатушке на рю де Бон, а иногда даже приглашали друзей на чашку кофе.

Подписание мирного договора энтузиазма не вызвало. Незадолго до этого мне рассказали трагические подробности о голоде в Румынии, а несколько часов спустя я узнал о том, что у Синтры разбился самолет, в котором летели Клод Крюссар и восемь членов ансамбля «*Ars Rediviva*». В ту зиму и весну у меня было две главных заботы: как достать денег для еженедельной платы за отель и как закончить «Трактат по истории религий». Я брал взаймы у всех друзей и знакомых. Раз одолжился даже у студента, Альфонса Жюйана, который как раз приехал из Бухареста в числе других, получивших во Франции государственную стипендию. Джиза, бывало, плакала от отчаяния, не находя покупателей для своих шляпок. (Осенью все же ситуация переломилась: один дом моделей купил у нее всю коллекцию и заказал еще партию. Это были месяцы, когда мы жили исключительно на ее заработки.)

В мае я получил от Брутуса Косте, из какого-то особого фонда, которым он ведал, 20 000 франков, что дало мне возможность расплатиться с большой частью долгов и погасить задолженность за номер в отеле. В том же месяце Н.И. Хереску представил меня генералу Рэдеску, главе последнего свободного правительства Румынии. После того как Вышинский в марте 1945 предъявил ультиматум королю Михаю, генерал Рэдеску попросил убежище в английской дипмиссии, и несколько месяцев спустя военный самолет доставил его с секретарем на остров Кипр. Он только что прибыл в Париж, куда начали стягиваться, различными путями, и другие политические деятели. Так, в июле мы встретились с бывшим министром иностранных дел Константином Вишояну. Мы познакомились на родине, в 1938, когда он директорствовал в журнале «Вьяца Ромыняскэ». Во время войны, как оказалось, он проникся «социализмом» и считал, что мы должны любой ценой войти в доверие к Советам и добиться их дружбы. Но те-

кущие события рассеяли его иллюзии. На меня произвел впечатление пессимизм, с которым он смотрел в ближайшее будущее. Он считал, и совершенно справедливо, что союзники, великие державы, нас бросили. Румыния, как и вся остальная Центральная и Восточная Европа, была отдана на откуп Советам.

Происходящее было печально, но удивления не вызывало. После Тегеранской конференции, когда Европу поделили на две крупные «зоны влияния», я знал, что судьба наша предрешена. Теперь у нас была одна задача — «как перезимовать», по выражению Антона Голопенции, как сохранить национальное тождество во времена этого нового средневековья, которое могло распространиться на жизнь многих поколений. Но мы, находившиеся на Западе, не имели права позволить безысходности парализовать себя. Любой ценой мы должны были продолжать работу и созидание, в соответствии с призванием каждого.

Так что я со рвением взялся за свои труды. В июне написал очерк о творчестве Дюмезиля, который заказал мне Люсьен Февр для «*Annales*», а в августе закончил «Трактат». Оставалось довести до завершения «Миф о вечном возвращении», частично уже переведенный моим бывшим студентом Михаилом Шора. Однако, как я и опасался, надрыв последних шести-семи месяцев выбил меня из колеи теоретических исследований. Я и не заметил, как в сентябре меня скрутила страсть к Бальзаку. Когда удавалось выкроить вторую половину дня, и каждую ночь допоздна я читал и перечитывал этого идола моих отроческих и юных лет. Вскоре мне попалась корреспонденция Бальзака и свежие монографии о его молодости и ранних литературных опытах. Поскольку в 1950 году должно было исполниться сто лет со дня его смерти, я подумал, что смог бы написать — и опубликовать под псевдонимом — «Жизнь Бальзака»; это была бы биография, вышедшая из-под пера *писателя*, привычного к экзегезе разного рода *символизма*, религиозного и парарелигиозного. К тому моменту, когда я окончательно забросил этот проект, мое повествование дошло до года, предшествовавшего первому успеху Бальзака у публики и у критики, до «Шуанов». Но я не жалел о потерянном времени; неожиданное бальзаковское *интермеццо* помогло мне обрести равновесие.

Той же осенью я познакомился с Антуаном Бибеско и был впервые приглашен на обед в его великолепные апартаменты на острове Сен-Луи. Кроме того, меня пригласили в свой дом на Белльвю Марука Кантакузино и Джордже Энеску. Так мне привелось ближе узнать эту легендарную чету, с которой — благодаря «эпизоду с Нае Йонеску» 1931–1932 годов — нас связывало столько воспоминаний.

В начале октября, последовав совету А.-Ш. Пюэша и Альфонса Дюпрона, бывшего директора Французского института, которого я знал

давно, по Бухаресту, я подал прошение о стипендии в Центр Научных Исследований. К прошению прилагались рекомендательные письма Луи Рену, Жоржа Дюмезиля, Поля Массон-Урселя и ряд публикаций («Йога», «Залмоксис», I—III, «*Le problème du chamanisme*» и т.д.). Думаю, мое досье произвело кое-какое впечатление, потому что буквально через несколько дней я получил от Центра «скорую помощь» — 25000 франков. Однако, чтобы избежать недоразумений с диимиссией, Альфонс Дюпрон счел нужным проинформировать Стойлова. Посланник, по всей видимости, и тут неукоснительно исполнил свой долг. К моему недоумению и возмущению французских ученых, которые похвально отзывались о моей деятельности, я узнал, 3 декабря 1950 года, что мое прошение отклонили. (В 1951 Луи Массиньон «поднял мое досье» — на сей раз с полным успехом. Но через две-три недели я получил стипендию «Боллинген», и мне пришлось отказаться от предложения Центра.)

* * *

Через несколько дней после «незаслуженной катастрофы» (по выражению одного из моих друзей) я побывал у Гюстава Пэйо. Жорж Дюмезиль уже поговорил с ним о книге и обещал предисловие. Меня встретил высокий сухощавый старик, который, вопреки диабету и другим болезням, поражал замечательной энергией. Он насупил брови, как только увидел название: «*Prolégomènes a l'histoire des religions*». Перелистал рукопись и насупился еще больше: в ней было почти семьсот страниц на машинке.

— Если для пролегоменов тебе нужно семьсот страниц, то для «Истории религий» понадобится десять томов!.. Надо поменять название.

Я предложил: «Морфология священного». Но он покачал головой.

— Слишком туманно. Есть единственный заголовок, который сможет заинтересовать и привлечь покупателей, это — «Трактат по истории религий».

И добавил, что, если я согласен, он немедленно примет книгу. В противном случае, поскольку существует проблема с бумагой, мне придется повременить. Я вспомнил зимний день 1941, когда в доме, который мы арендовали вместе с госпожой Сэссун в Оксфорде, я написал первые страницы. Перебрал в памяти ночи последних двух лет, когда на рю Сен-Пер и в «Шведском отеле» бился над заключительными главами... Конечно же, я никогда не думал, что работаю над «Историей религий». Но я дал свое согласие сразу. Главное было, чтобы книга увидела свет, даже под заголовком, которого она не заслуживала.

Гюстав Пэйо спросил меня, подаю ли я рукопись в полном и окончательном виде: он обратил мое внимание, что типографы — народ привередливый, и самые простые поправки стоят огромных денег. Я заверил его, что текст полный, но что в любом случае мне надо будет его пересмотреть еще раз, прежде чем посылать в набор. Через три дня он позвонил мне и сказал, что нашел типографию, которая, буде я представлю рукопись в течение двух недель, сможет выпустить книгу в начале весны. И добавил, что при сдаче рукописи я получу 60 000 франков.

Эти дни и ночи между 13 и 18 декабря мне никогда не забыть. Работал я главным образом ночью, когда на рю Вано и в «Шведском отеле» наступало необычное, какое-то сверхъестественное затишье. Ложился спать под утро, но спал не более трех-четырех часов. Заваривал большую чашку кофе и снова садился за работу. В какой-то момент я попытался вспомнить, какой сегодня день, и понял, что не знаю. Спуститься вниз и спросить портье не решился — боялся, что рухну с лестницы. У меня снова, как в юности, начались головокружения, вызываемые кошмарным ощущением *deja vu*. Я бросился одетым на постель, и мне удалось уснуть. Несмотря на такое переутомление, я успел в срок дополнить библиографию и выправить текст. (Но с тех пор не осмеливался больше повторять опыт двадцатичасового, без перерыва, рабочего дня.) Сдав рукопись Пэйо, я решил почитать Бальзака, какую-нибудь новеллу, чтобы вырваться из инфернального круга, в котором бился целую неделю. Напрасно. От умственного истощения у меня случилось обострение ваготонии, и несколько дней подряд я жил, как личинка, в полудреме с утра до вечера.

Немного погодя Гюстав Пэйо позвонил мне с известием, что его возмутила смета, представленная типографией, и он забрал рукопись. Когда будет другая оказия, он не знал. (Оказия появилась в начале лета, но я с большим запозданием услышал эту добрую весть.)

* * *

Я давно ничего не знал о Ликэ Краканере — только то, что он, ввиду некоей «просто-напросто сенсационной» сделки, назанимал большие суммы денег и исчез из Парижа. Как-то в студеный январский вечер Эмиль Чоран принес мне известие о его самоубийстве: тело нашли на пляже в Бельгии. По слухам, когда Краканера понял, что у него мошеннически выманили деньги, он поехал в Брюссель, чтобы попытаться вернуть хотя бы часть вложений в злополучную «сделку». Но куда там. Так потеряли свои сбережения многие представители румынской интеллигенции — они доверили ему деньги, чтобы те

«приносили доход». Не сомневаюсь, что Ликэ Краканера пал жертвой своей чрезмерной наивности. То, что у него были благие намерения, подтверждает даже факт его самоубийства. Мошенник исчез бы, перебрался бы на другой континент. В любом случае, я не забуду, с какой щедростью Краканера помогал стольким румынским интеллектуалам во время немецкой оккупации и сразу после освобождения*.

Для румын 1947 год кончился вынужденным отречением от трона короля Михая, а год только что наступивший обещал усиление политической напряженности. Число тех, кто уезжал из страны — политических деятелей, интеллигенции, студентов — заметно выросло за последние месяцы и росло не переставая. Стягивались в Париж и те, кто вышел из лагерей Германии и Австрии, по большей части легионеры.

Дипмиссия в официальном порядке объявила, что скоро начнется репатриация румынских граждан. Те, кто не вернутся в течение шести месяцев, автоматически теряют гражданство. За исключением нескольких рабочих и стариков, все остальные решили остаться во Франции. Была создана Международная Организация Беженцев (*IRO*). Каждый беженец мог сдать свой паспорт (если тот у него имелся) и подписать декларацию об отказе от соответствующего гражданства. Тогда он получал удостоверение личности и попадал под протекцию государства, в котором решил в дальнейшем проживать. Что еще важнее: *IRO* обеспечивала беженцам проезд до стран, которые их принимали, то есть до республик Южной Америки, до Канады и Австралии.

Многие румыны, вырвавшиеся из страны, или те, что были заняты в дипломатических, консульских и экономических службах, решили как можно скорее уехать в Аргентину. С одной стороны, аргентинский режим поощрял иммиграцию; с другой, напряженность между США и Советами время от времени усиливалась — все думали, что война неизбежна. Риск, что «события застигнут» тебя в Центральной Европе или на Западе, порой казался неотвратимым. Кроме того, многие беженцы считали, что на других континентах заработать на жизнь с каждым годом будет все труднее. Этим и объясняется тот факт, что большинство румын эмигрировало в Аргентину на протяжении 1948 года.

Из тех же соображений Джиза записалась весной в список аргентинского консульства. Дома моды продолжали заказывать ей шляпки, и еще она освоила портняжное дело. Ей казалось, что сейчас самый подходящий момент попытать счастья в Буэнос-Айресе. Однако число записавшихся в консульский список было внушительным. Пришлось набраться терпения и ждать.

---

* Фигура и судьба Ликэ Краканеры послужили мне прообразом для одного из персонажей «Купальской ночи», Мишу Вайсмана.

Лично я не думал никуда уезжать и решил, при любом риске, остаться во Франции. Я дожидался, чтобы вышли хотя бы запущенные в печать книги и исследования. В феврале я получил корректуру книги «Техники йоги» и объемистой работы «*Le-Dieu-lieur et le symbolisme des noeuds*», выходящей в «*Revue de l'histoire des religions*». В марте я познакомился с Жоржем Батаем. Мы долго беседовали в моей гостиничной комнате. Он прочел «Йогу» в тридцать шестом году, и его особенно заинтриговали главы о тантризме. Он пригласил меня сотрудничать в «*Critique*», и через пару недель я послал ему первую статью. Не терял я и надежду, что Пэйо до конца года опубликует «Трактат». В мае, вскоре после того как вышли в свет «Техники йоги», я прочел в *École des Haute Études* несколько лекций, в которых обобщил свою любимую работу «Миф о вечном возвращении»*.

Вообще же весна сорок восьмого связана в моей памяти с первыми попытками организовать беженцев через культуру. Кроме тех, кто, отказавшись возвратиться на родину, получил пособие от французского государства, в Париже жили бывшие студенты довоенного и военного времени и к тому же много интеллигенции (журналисты, профессора, ученые). Генерал Рэдеску попросил меня набросать план культурной деятельности для румын в изгнании. Я предложил на первый случай создать общество «Михай Эминеску», которое устраивало бы публичные выступления и издавало литературный журнал («Лучафэр»), и учредить ряд стипендий для нуждающихся студентов и для интеллектуалов, не имеющих средств.

Я не буду здесь пересказывать историю румынской диаспоры тех лет. Достаточно вспомнить, что после отречения короля Михая и бегства многих политических деятелей и бывших служащих министерства иностранных дел замаячила возможность основать Национальный комитет, который представлял бы все движение сопротивления как в самой Румынии, так и за ее рубежами. Определенные фонды, давно заложенные в Швейцарии и Португалии, могли, по крайней мере, на первых порах, покрыть расходы по созданию и деятельности Комитета. (Пройдет несколько лет, и американская организация «*Free Europe*» начнет поощрять и поддерживать Комитеты «наций-узников».) Естественно, что последний премьер-министр генерал Рэдеску, при содействии Григоре Гафенку и Брутуса Косте, попытались основать Национальный комитет. Но зависть и конфликты, неизбежные спутники всякой эмиграции, в конце концов сорвали их начинание. Тем временем промышленник Н. Малакса, который недавно покинул Румынию, предоставил в распоряжение генерала Рэдеску часть

* Начатая в Кашкайше в марте 1945, эта книжечка будет дописана в ноябре 1948 и появится в «Галлимаре» следующей весной.

суммы, полученной при продаже знаменитых заводов Малакса и хранящейся в швейцарском банке. Так что с мая 1948 и до весны 1949 генерал Рэдеску смог предоставить стипендии студентам и интеллигенции и обеспечить выход в свет двух номеров «Лучафэра».

Мы вместе с друзьями и коллегами основали культурное общество «Михай Эминеску». Первым публичным действом было празднование десятого мая в переполненном зале *Société Savantes*. В том же *Société Savantes* мне предстояло позже делать доклады о двух духовных румынских традициях и о Михае Эминеску. Одновременно я готовил первый номер «Лучафэра» при участии многих румынских писателей из диаспоры. Журнальная книжка на сто восемьдесят страниц открывалась стихотворением «Адье, свобода», подписанным *Валерцу Ангел*. На самом деле, оно принадлежало перу Василе Войкулеску[95] и было прислано из Румынии тайными путями.

Конечно, я отдавал себе отчет в том, что подобная деятельность чревата неприятностями для моей семьи. Но так обстояли дела со всеми румынами, оказавшимися в изгнании. Я знал, что уже два года мои книги не переиздаются, я стал *persona non grata*. Все реже и реже я обменивался письмами с семьей и друзьями, а в сорок восьмом году переписка прервалась на много лет. Из последних писем от родителей я понял, что круг их знакомых сузился сверх всякого ожидания, однако они радовались, что я могу жить, работать и публиковаться в Париже. Как только предоставлялся случай, я посылал им посылки с продуктами, а позже — небольшие суммы денег, хотя и не был уверен, что все это до них доходит. Годом позже мне довелось узнать, что благодаря одному такому «переводу» Корину вызывали на допрос в милицию. С тех пор я больше не пытался помогать им деньгами. Долгое время вести из дома доходили до меня не иначе как окольными путями.

* * *

В конце июля в Париже состоялся первый Международный конгресс востоковедов. Это был и первый конгресс, в котором я принял участие (с коротким сообщением о символике семи шагов Будды). Мне довелось познакомиться со многими зарубежными востоковедами; с некоторыми из них (Дюшен-Гильемен, Г. Виденгрен, Стиг Викандер и др.) у меня завяжется дружба. Я был доволен и тем, что встретил Этьена Ламотта и других индологов, которые с энтузиазмом писали мне о «Техниках йоги».

Незадолго до конгресса Теодор Бестерман предложил мне заместить на три-четыре месяца одного чиновника из ЮНЕСКО, посланного в командировку на Восток. Таким образом я узнал распорядок дня

и рабочую программу интеллектуала, состоящего на службе в организации, соприкоснулся со всякого рода техническими тружениками образования и чиновниками по культурному планированию. Однако мне предоставили свободу самому организовывать свой труд, так что я каждый день выкраивал несколько часов для чтения. Как-то в послеобеденный час мне позвонил Пэйо — поинтересоваться, когда я смогу кончить «Шаманство», о котором говорил ему давно. По этому случаю я узнал, что «Трактат по истории религий» находится в наборе (в самом деле, первую корректуру я получил в сентябре).

27 августа мы вместе с нашей приятельницей Мартой, дочерью доктора Василе Войкулеску, проводили Джизу до Марселя. Она села на пароход, нанятый *IRO* для двух тысяч эмигрантов. Из первых ее писем я узнал, что путешествие проходило в чудовищных условиях. К счастью, друзья и знакомые, уже обосновавшиеся в Буэнос-Айресе, помогли ей быстро забыть этот кошмар. За несколько месяцев Джизе удалось наладить собственное портняжное ателье. Со временем она стала зарабатывать достаточно, чтобы купить себе маленькую квартирку. Но приехать в Париж смогла не раньше, чем через пять лет.

В конце октября мне представился случай провести день в Солшуаре, с отцом Менасом и группой «*Eau vive*». Я вернулся, плененный величием уединенности. Дорогой я все думал: моя бесконечная работа, книги и статьи, которые я писал, — не отдаляли ли они меня незаметно от источников жизни и духа...

Новый год я встречал с Хереску, Чораном и другими приятелями в доме мадам Фоль, на рю Трюдэн. На самом же деле, я встречал его подле Кристинель, как будто мы были там наедине, только она и я.

Глава 20
Кристинель

Среди румын, которые жили в Париже и с которыми я свел дружбу, был некто Михай Никулеску, в прошлом корреспондент газеты «Универсул». В то время он работал над докторской по Жану Жироду. Как-то вечером, поздней осенью 1947, Джиза пригласила его к нам на чашечку кофе, и он привел свою приятельницу, с которой давно хотел нас познакомить, Сибилл Коттеску. Это была красивая молодая девушка с темными волосами до плеч. Меня с первого взгляда поразили ее неспешные жесты, ясность и уверенность, с какими она глядела тебе в глаза. По-румынски она говорила бегло, но с отчетливым французским акцентом. От Михая Никулеску мы знали, что она живет в Париже с шестилетнего возраста и получила образование в католическом колледже, где сейчас преподавала латынь. Еще я узнал, что она была свояченицей Ионела Перли, который подписал контракт с «Ла Скалой» на весь зимний сезон.

Мы стали видеться и познакомились с ее подругами, преподававшими, как и она, в том же колледже Святой Терезы. Сибилл жила в маленькой квартирке в Буа-Коломб, которую сняла еще во время войны. Туда она пригласила друзей на встречу Нового года, но у меня разыгралась ваготония, и я не мог пойти. Впервые я пришел в Буа-Коломб весной сорок восьмого. Подробностей об этой встрече за обедом не помню — помню только, что именно в тот день я познакомился с Кристинель. У Кристинель, в отличие от сестер, глаза были голубые, а волосы светлые, но носила она их так же, как Сибилл, распущенными по плечам. Первое впечатление не стерлось из памяти никогда: она смеялась, как девочка, и все же по-женски волнующе, обнажая зубы, чуть склоняя голову.

Я знал, что она недавно приехала из Италии, где провела больше года с Лизетт и Ионелем Перлей. Я не подозревал тогда, слушая ее рассказы о Неаполе, Санта-Маргерите или Риме, что мы оба готовимся исполнить свою судьбу. Меня занимали только перипетии путешествия: как они сели в Констанце на румынский пароход «Трансильвания», как прибыли в Неаполь и сразу же отправились в Милан; часть зимы провели с Ионелем и Лизетт в Санта-Маргерите и в Милане, по-

том переехали в Рим и, наконец, в Неаполь, где Ионел дирижировал оркестром в нескольких спектаклях театра «Сан Карло». В Неаполе она встретилась с Ниной Баттали, молодой художницей, с которой мы подружились в тридцать восьмом году. Узнав, что Кристинель едет в Париж, Нина Баттали упомянула обо мне. Но Кристинель уже читала «Майтрейи» и другие мои романы, имевшие успех, и считала меня известным писателем, то есть «в летах». Когда я спросил ее, насколько же старым она меня представляла, она засмеялась, слегка смутившись, и не ответила. Я тоже невольно засмеялся.

Может быть, в тот день там была и мама трех сестер, Мария Шендря, Мами, как называли ее подруги Сибилл и как довольно скоро стал называть ее и я. Никогда на своем веку не встречал я другую такую красивую женщину, которая сохранила бы молодость и привлекательность в возрасте бабушки. Сколько я ее знал, она не менялась: та же сияющая белизна волос, то же благородство и доброта в лице, глубина глаз, иногда чуть меланхоличных, но никогда не темнеющих от грусти. Для всех, кто ее знавал, Мами воплощала в себе красоту княгинь из прошлых веков. (Двадцатью годами позже Петру Комарнеску не упускал случая напомнить нам, к месту и не к месту, что Шендри происходят из рода Штефана Великого.) Мне не привелось никогда больше увидеть свою мать, которая умерла в 1976, в возрасте девяноста лет, но Мами, пока была жива, заменяла мне ее...

Довольно скоро я познакомился с Лизетт (самой, наверное, красивой из сестер) и с Ионелем Перлей, носившим эспаньолку, с которой он вернулся из Австрии, из Мариафарского лагеря. О них обоих я подробнее расскажу ниже. Я быстро нашел общий язык с Лизетт. Мне сразу понравились ее непосредственность и доброта, оптимизм, с каким она смотрела в будущее. Трогательна была ее любовь к сестрам, самоотверженная забота о них, тяга проводить как можно больше времени подле Мами, Кристинель и Сибилл.

Ионел Перля был, по крайней мере, в первое время, более сдержан. Он с удовольствием слушал, но не вступал в разговор, если это не касалось его напрямую. Мы сблизились позже, и по мере того, как я его понимал (и угадывал его настоящую жизнь, замкнутость в мире собственного музыкального гения), росло и мое восхищение им. На Пасху Ионел пригласил семью и нескольких друзей в румынский ресторан, открытый недавно на рю Сен-Жак. После года интенсивной работы и успехов по всей Италии он позволил себе краткие Парижские каникулы (правда, ему не нравилось говорить: «на лоне семьи»).

В ту Пасхальную ночь, продлившуюся до двух часов, я открыл, до чего чарующей, веселой, ребячливой может быть Кристинель, подхваченная праздничной атмосферой. Я не представлял, что этот белокурый ангел с голубыми глазами и рассыпанными по плечам,

как у девочки, волосами, может так хохотать и, в особенности, петь так сочно и с таким юмором. Я смотрел на нее и слушал, очарованный, но не отдавал себе отчета, что со мной происходит, не знал, что мы предназначены друг другу...

Я встретил ее через две недели, на празднике, организованном обществом «Михай Эминеску» в *Société Savantes*. Шляпку, которую сделала для нее Джиза, оживлял маленький букетик фиалок. Я почувствовал, что ей хотелось бы, чтобы я был рядом, но меня ждали приятели и коллеги. Мы увиделись не слишком скоро — у меня было очень много визитов и встреч. Она позвонила мне как-то в послеобеденный час сказать, что читает «Техники йоги». Книга ей интересна, однако, как она, робея, призналась, специальные термины и санскритские слова замедляют чтение... Я и представить себе не мог тогда, что через несколько лет она будет перепечатывать на машинке рукописи моих монографий «Шаманство» и «Йога» и что в совершенстве освоит терминологию на многих восточных языках...

* * *

Та осень была затяжной и, как я помню, бесподобно прекрасной. Должность, которую я временно занял в ЮНЕСКО, довольно хорошо оплачивалась, так что я имел возможность приглашать друзей в рестораны и в театры. Я справлялся с ежедневными обязанностями по службе за два-три часа, оставшееся время читал рукописи для «Лучафэра», перепроверял корректуру «Трактата» и составлял для него индекс. Только по вечерам я целиком принадлежал себе. Я чувствовал, что начинаю новую жизнь. Даже Париж казался мне новым — таким я открывал его в долгих прогулках с Кристинель. Она жила тогда, вместе с подругой, на рю Сегюр, довольно близко от рю Вано. Домовладелица, мадемуазель Бланш де ла Ривьер, пожилая, с изысканными манерами, сдавала им две комнаты.

Мы встречались почти каждый вечер и вместе ужинали. Иногда приглашали Сибилл или Хереску и отправлялись на Монпарнас, в кафе или в театр. Но больше всего нам нравилось бродить вдвоем по улочкам между Эколь Милитер и площадью Севр-Бабилон. Мы знали тут каждую скамейку, каждый табачный киоск, каждый фонарь. И все равно как-то ночью не на шутку заблудились и добрались до рю Сегюр только к утру...

Иногда я задумывался, каким чудом я снова впал в наивность и восторженность отрочества и как это меня нисколько не смущает смехотворность моего поведения. Я вел себя, ей-богу, как влюбленный гимназист. Но я чувствовал, что в этом что-то есть и что за жалкой банальностью подросткового поведения могут таиться процессы

некоего тотального обновления. Рядом с Кристинель я восстанавливал свою жизненную силу, расчищал области духа, за последние годы ушедшие в тень благодаря «Истории».

Припоминая в номере «Шведского отеля» какие-то свои поступки или слова, на вид дурацкие, я пожимал плечами и улыбался. Видимостью меня было не обмануть. Я давно уже знал о таинственных и внешне нелепых проявлениях сакрального в профанных вещах или действиях. Эта диалектика иерофаний, как мне представлялось, вообще составляет, *хотя и скрыто*, образец всякой человеческой жизни. Было бы и трагично, и смешно не угадать, что происходит, не увидеть, что благодаря Кристинель я смогу снова, в полной мере, найти себя...

Ей нравилось, когда я пересказывал эпизоды из своей жизни. Раз она спросила, над чем я сейчас работаю, и я, в довольно-таки легком тоне, описал шаманские инициации и экстазы. Она приуныла, хотя и постаралась улыбнуться. Я спросил с нарочитым удивлением:

— Тебе это кажется неинтересным?

— Что ты! Все, что ты делаешь, интересно. Все увлекательно — и то, что ты написал об индийской философии, и то, что об истории религий. Это твое призвание... Однако же, — добавила она, помолчав, — и литература — точно такое же твое призвание...

— Для кого мне писать? — возразил я. — Литературное я могу писать только по-румынски. На языке, на котором вижу сны...

— Пиши для тех немногих румын, которые тебя ценят.

Усмехнулась и выпалила:

— Пиши, например, для меня...

Мы взглянули друг другу в глаза, захваченные тем, что с нами произошло. (Но миг-другой спустя я несколько раз повторил про себя: что произошло, что?) Все же надо было что-то сказать.

— Я не пишу романов уже года три-четыре, и все, что я написал в последнее время, — сплошные неудачи...

— Ну и что? — возразила она. — Если это и правда язык, на котором тебе снятся сны, не может быть, чтобы рано или поздно...

— Это к тому же язык, на котором я могу признаться женщине, что люблю ее...

Я догадался, что она покраснела, но в ее улыбке была ирония.

— Ты не преувеличиваешь? — тихо обронила она. (Очевидно, ей вспомнилась моя «индийская» юность.)

Мы оба знали, что влюблены друг в друга, но я не делал признания — я как будто хотел продлить редкостное блаженство, мару, от которой не хотел просыпаться. И все же как-то вечером, когда мы остановили такси и сели, я сказал:

— Мне бы хотелось, чтобы ты знала: я был счастлив в браке.

Она просияла и посмотрела на меня долгим взглядом, улыбаясь. С минуту мне казалось, что она хочет что-то ответить, но она по-прежнему молчала, глядя на меня так странно, как раньше не глядела никогда. (Я знал, что она была замужем, что рассталась и со вторым мужем, но развод еще не был оформлен.) Потом мы заговорили о другом.

Но «знаки» (как я назвал их позже) множились. Однажды, когда меня пригласили на ужин на рю Сегюр, я с каким-то особым вниманием выбрал грушу, очистил ее от кожуры и предложил половину Кристинель. Поскольку второй половиной никто не соблазнился, я оставил ее себе. Тогда мадемуазель де ла Ривьер, как бы вскользь и шутя, рассказала нам о традиционном поверье, а именно: что тому, кто разделит пополам очищенную грушу, суждено разделить оставшуюся жизнь с женщиной, которой он предложил половину... Поскольку от меня, я чувствовал, ждут каких-то слов, я сказал, что всегда восхищался мудростью народных традиций...

* * *

В последние недели года мы все время были вместе. Мы не стеснялись ходить в обнимку по улицам, то и дело останавливаясь, иногда прямо под фонарями, чтобы поцеловаться — точь-в-точь молоденькая парочка, которая открывает для себя раскованность и невинность желания. Мы уже не очень хорошо соображали, где мы, что мы, и имеет ли еще смысл таиться. Мы оба были уверены, что все вокруг нас — начиная с Мами — давным-давно угадали правду. Что до меня, то я не считал нужным называть вещи своими именами и пытаться прояснить ситуацию, которая казалась мне совершенно прозрачной.

Мы решили праздновать Новый год всей семьей в доме мадам Фоль, матери Жаклин Дежарден, лучшей подруги Сибилл. Кроме двух своих юных сослуживиц, Сибилл пригласила Хереску, Эмиля Чорана, Лучиана Бэдеску и Михая Никулеску. Я знал, что Кристинель простужена, но поверить не мог, что она откажется от празднества. Когда она появилась, в изумительном платье с открытыми плечами, я, обнимая ее и целуя в обе щеки, испугался: от нее исходил неестественный жар. Смеясь, она объяснила, что когда, несколько часов назад, она смерила температуру, у нее оказалось сорок, и, чтобы не расплакаться, она убрала градусник подальше. Она умоляла меня больше не говорить ни про жар, ни про то, что она поступила неблагоразумно.

— Рядом с тобой мне не страшно, — шептала она. — Если ты сумеешь меня защитить, со мной ничего не случится!..

Я защищал ее, не отпуская от себя ни на шаг. Иногда забывал, что мы на вечеринке, что вокруг столько наших близких. Видел только

ее, говорил только с ней. К счастью, Кристинель, несмотря на лихорадку, удалось расшевелить нас всех — своим пением, своим смехом, своими шуточными импровизациями (например, она изображала, будто одним духом, быстрее всех, осушает бокал с шампанским). В конце концов, она успокоила даже Мами и Лизетт, заставив их поверить, что температура значительно спала.

Мы веселились до восьми утра — и с тех пор больше не расставались. Девятого января, когда Кристинель переехала жить одна в отель рядом с Эколь Милитер, я остался у нее — это была наша помолвка. Ни о чем другом мы не думали, мы были счастливы, что наконец-то можем быть почти все время вместе. Не загадывали, что принесет нам будущее. (По разным причинам, оформление развода затягивалось, но Кристинель все-таки его добилась. Как мы пообещали друг другу, гражданским браком мы сочетались 9 января 1950 года, ровно через год после нашей помолвки, и в тот же вечер обвенчались по церковному обряду.)

Постепенно я начинал различать, как именно должна измениться моя жизнь. Я по-прежнему выполнял свою программу (в первую очередь, исследования по востоковедению и истории религий), но больше не хотел, чтобы мной владела исключительно научная деятельность; все больше и больше меня влекли глубокие, загадочные измерения последних событий. Я чувствовал, что каким-то таинственным образом они были мне предначертаны и что они преследуют определенную цель, которую я пока не могу понять.

Итак, я выполнял свою программу. 15 января прочел, в музее Гиме, лекцию о тантризме. Присутствовали, среди прочих, Пюэш, Массон-Урсель и тибетолог Жак Бако. Все трое советовали мне развить эту тему в отдельной монографии*. Несколько дней спустя я сделал сообщение для прессы о «Трактате по истории религий». Я отдавал себе отчет, какой интерес и какую ценность может представлять эта книга. Восхищенная оценка Дюмезиля, а потом и письма, полученные от стольких ученых, перед которыми я преклонялся, первые рецензии, особенно благосклонные, утвердили мою веру в судьбу этой книги. «Трактат» был раскуплен, быстро допечатан, и всего несколько месяцев спустя после его публикации издательство «Эноди» уже заказало его перевод на итальянский. (Но ни я, ни Гюстав Пэйо не подозревали тогда, каков будет успех книги у публики и у критики, на сколько языков она будет переведена). В конце мая вышел в свет «Миф о вечном возвращении». Из моих сочинений он вызвал, может быть, больше всего дебатов, особенно у философов, а в Соединенных

* Жорж Батай давно предлагал мне то же самое, заверяя, что «*Édition de Minuit*» опубликует книгу незамедлительно.

Штатах — и у богословов. (Я с волнением читал почтовую открытку от Бенедетто Кроче; досточтимый философ позже развил некоторые замечания, которые он мне прислал, в статье, вышедшей в *«Quaderni della Critica»*.)*

В ту весну я познакомился с Рафаэлем Петтаццони. Он остановился в Париже, чтобы встретиться со мной; кроме всего прочего, он надеялся, что я смогу убедить Гюстава Пэйо перевести его работу 1924 года *«La religione greca»*, исправленную и дополненную новейшей библиографией. На Лионском вокзале, узнав его издалека: невысокого, одетого со строгой элегантностью, с улыбкой на лице, иногда смущенной (он плохо слышал и, если не мог разобрать, что ему сказали, впадал в замешательство), — я вспомнил свою мансарду на улице Мелодии, где читал *«I Misteri»*, и комнату на Рипон-стрит, где зачитывался по ночам *«La religione greca»*... Я был чрезвычайно доволен, что способствовал выходу этой книги во французском переводе. С тех пор мне не раз довелось встретиться с Петтаццони: в Риме, куда он пригласил меня читать лекции о шаманстве, на конгрессе в Амстердаме и, в последний раз, осенью 1958, в Токио, за несколько месяцев до его кончины.

* * *

С февраля Кристинель поселилась у Сибилл в Буа-Коломб. Мы встречались, когда только представлялась возможность. Она по-прежнему любила слушать, когда я рассказывал ей о том, что пишу, и особенно о планах на будущее. С трепетом перелистывала она экземпляр *«Das Mädchen Maitreyi»*, который прислали мне из *«Nymphenberger Verlag»*, и захлопала в ладоши, по-детски и в то же время с экзальтацией, когда я сказал, что Брис Парен в восторге от романа и придержал его для «Галлимара».

— Надеюсь, у него будет такой же успех, как в Румынии... Тогда переведут и другие романы, начиная с «Небесной свадьбы»... И кончая тем, который ты еще напишешь, — тут же добавила она.

Я возразил с некоторой неловкостью:

— Но ведь мне надо сначала докончить «Шаманство».

— Ничего-ничего, — подбодрила она меня с лукавой улыбкой. — Не к спеху...

Я возвращался из Буа-Коломб перед полуднем и, если у меня не было встреч, запирался в своей комнате в «Шведском отеле» и рабо-

* В ряде статей из цикла *«Nuevo Glosario»* Эухенио д'Орс с энтузиазмом разбирал «Миф о вечном возвращении». Первая статья называлась: *«Se trata de un libro muy importante...»*. Эухенио д'Орс больше всего ценил тот факт, что я раскрыл платоническую структуру в традиционных («народных») архаических онтологиях.

тал до вечера, пока не приходила Кристинель и мы не отправлялись ужинать в какой-нибудь из ближайших ресторанов. Лизетт и Ионел сняли виллу на Капри для всей семьи; нас всех пригласили провести там вместе часть лета. Во второй половине мая туда поехала Кристинель, а Сибилл и я должны были приехать через два месяца. Я надеялся до тех пор кончить первые главы «Шаманства». Я снова вошел в режим двенадцати-четырнадцатичасового рабочего дня. После обеда почти каждый день уходил в музей Человека, проверять и дополнять этнологическую документацию. По ночам же, почти до самого утра, писал. Я давно закончил главу о символике шаманского костюма; очень благосклонный комментарий Жоржа Дюмезиля, который с присущей ему замечательной скрупулезностью внес в текст свои поправки, удесятерил мою охоту к работе. Я писал со страстью, замирая от прикосновения к смыслу, который открывался мне в том, что я назвал «*les techniques archaiques de l'extase*».

Один вечер в Роямонском аббатстве, куда меня пригласили на последний концерт из цикла *Semaines musicales internationales*, пробудил меня от этой эйфории. По записи в дневнике видно, с каким волнением в тот день, 26 июня, я смотрел из окна автобуса на поля, испещренные маками; они напомнили мне пейзажи детства, румынские поля и небеса. И как-то разом меня объяла магия сердцевины лета. Даже чудесный концерт Пуленка не смог развеять эти чары. Когда ночью я возвращался обратно в том же автобусе, в мозгу завертелись кадры из нового романа. Но «видел» я, более или менее отчетливо, только начало и конец. На следующий же день я начал писать. Пришло название — «Купальская ночь», — и я уже знал, что действие будет разворачиваться в течение двенадцати лет. Я собирался посвящать «Шаманству» послеполуденное время и вечера, а по ночам работать над романом. Но мне пришлось скоро отказаться от таких оптимистических планов.

Перечтя первые триста страниц «Апокалипсиса», того романа, что я начал, приехав в Лиссабон, и прервал в сорок четвертом, я подумал, что смогу «спасти» одного персонажа, Вадастру, и порядочное число эпизодов, где он играет главную роль. Может быть, это была моя ошибка, не знаю, но включение Вадастры в ансамбль «Купальской ночи» задало мне задачу. Поскольку написание этого романа-потока растянулось почти на пять лет (правда, я мог уделять ему лишь несколько месяцев в год), у меня еще будет случай не один раз вернуться к нему. Конечно, само действие, сюжетные ходы и персонажи «Купальской ночи» претерпели за эти годы многочисленные изменения. Но центральная тема осталась той самой, какой я «увидел» ее в автобусе, возвращаясь из Роямона: убежденность главного героя, Штефана Визиру, в том, что космические ритмы и исторические события ка-

муфлируют глубокие, духовного порядка, смыслы; а главное — его надежда, что любовь может стать прорывом на новый экзистенциальный уровень или, другими словами, опытом абсолютной свободы. Надо, однако, добавить, что очень скоро Штефан Визиру столкнется с парадоксальной, не отпускающей его надеждой — что можно быть влюбленным в двух женщин одновременно*. В понимании Штефана такой опыт, по видимости неосуществимый, уравнялся бы, в другом плане, с опытом святых.

Кристинель — я другого не ждал — была счастлива, узнав про роман. Как она предсказывала, так и вышло. Я же чувствовал, что мне будет работаться лучше, если мы снова будем вместе. Первая сотня страниц, написанная в гостиничной комнате, не во всем, как мне казалось, удалась, и я прервал работу над романом. К тому же мне надо было написать статью для «*Critique*» и несколько рецензий для «*Revue d'histoire des religions*»; довольно много времени отнимало получение *titre de voyage* в префектуре полиции и итальянской визы.

14 июля мы отправились в путь: я, Сибилл, Жаклин и Оани (сынишка Лизетт и Ионеля Перли), — и через два дня прибыли на Капри. Начиная с Женевы, где меня встретили олеандры моей юности, я пребывал в постоянной эйфории. Мне казалось, что я обрел меру и путь своей *подлинной* жизни; что впредь судьба позволит мне посвятить себя исключительно моему призванию, которое я угадал еще в отрочестве: расшифровывать, на основании строжайшего анализа, значения религиозных явлений и, когда это позволяют документы, пробовать воссоздавать их историю — при этом не сдерживая, как в последние годы, свое литературное воображение.

Первые две недели мы с Кристинель жили в пристройке виллы Монаконе, прямо напротив знаменитых скал Фаральоне. Потом, до первого сентября, до отъезда в Рим, нас приютила Нина Баттали на вилле Руджьеро, которую она недавно арендовала. Я писал как одержимый, где придется: в тени развесистой сосны *ombelifer*, притулившись к скале, а когда мы поселились на вилле Руджьеро, в уголке террасы. Но чаще всего мы гуляли вдвоем по диким тропам, еле различимым среди камней.

То лето, когда все, как мне казалось, снова становится возможным, осталось в нашей памяти как дар с других берегов. С тех пор нам приходилось несколько раз бывать на Капри, но даже после того как мы выбились из бедности, мы ни разу не осмелились провести каникулы в том месте, которое однажды было «нашим островом»...

---

* Павел Аничет, один из главных персонажей романа «Возвращение из рая», кончает жизнь самоубийством именно потому, что не смеет окончательно выбрать одну из двух женщин, которых любит.

* * *

За девять дней, проведенных в Риме в гостях у нашей приятельницы Джины Массари, я познакомился лично с Эрнесто де Мартино, который, после перевода на итальянский «Техник йоги», взялся за перевод «Трактата по истории религий». Де Мартино расстался со своей первой женой, дочерью В. Маккьоро (с которой я познакомился в Неаполе в 1927 году), и женился на молодой девушке, которую встретил на юге Италии во время своих полевых исследований. Любимый ученик Маккьоро, последователь Бенедетто Кроче (Кроче опубликовал его первую книгу по истории и этнологии), Эрнесто де Мартино несколько лет назад вступил в коммунистическую партию, и его авторитет признавали интеллектуалы из крайне-левых. В коллекции, которую он вел у Эноди, недавно опубликовали «*Il pensiero magico*», где он попытался распространить «историцизм» Кроче на толкование архаической ментальности. По концепции де Мартино, сама природа, а не только человеческое существование *обусловлены культурой*. Другими словами, феномены магического или шаманского порядка (пребывание в двух местах одновременно, вызывание духов, одержимость и т.д.), ирреальные для западного человека, который живет во Вселенной Ньютона и его последователей, — эти феномены реальны и естественны для «первобытных» людей, живущих в мире, где доминирует магическое мышление. Природа, будучи тоже обусловлена культурой, позволяла архаическому обществу на самом деле вызывать духов, тогда как спиритизм, практикуемый в западном обществе, есть только иллюзия или фарс. Бенедетто Кроче раскритиковал эту попытку «историзировать» Природу, напомнив, что История есть творение исключительно духа*.

От Эрнесто де Мартино я узнал, что после выхода в свет книги «*Tecniche dello Yoga*» Эноди получил несколько доносов на меня, вероятно, из дипмиссии, относительно моей «фашистской» деятельности в довоенные годы. Ответ де Мартино был прост и ясен: при обсуждении коллекции, которую он ведет, он не допускает аргументов ненаучного порядка. Замечания, которые он адресовал мне в предисловии к итальянскому переводу «Трактата по истории религий», несколько месяцев спустя, касались исключительно метода, к которому я прибегнул для исследования религиозных фактов и который де Мартино назвал «феноменологией» (для меня это была скорее морфология), противопоставляя его историцизму Кроче. Все же присланные Эноди доносы, хотя они не возымели того действия, на какое рассчитывали их писавшие, очень кстати напомнили мне, что не-

* Такого же рода замечания я набросал в одной из статей для «*Critique*».

осмотрительность и ошибки, совершенные мной в юности, составили ряд *malentendus*, которые будут преследовать меня всю жизнь.

Однако позже я понял, что мне грех жаловаться. Благодаря этим самым *malentendus*, я оказался на Западе и мог свободно продолжать занятия историей религий, востоковедением и философией культуры. Если бы не было Нае Йонеску (а точнее, если бы Профессор, в своем все более и более радикальном противостоянии королю Каролю, не сблизился бы с гитлеровской Германией), я бы остался на родине, возможно, преподавал бы в университете года до сорок шестого — сорок седьмого; потом разделил бы судьбу многих своих ровесников. (Правда, порой я подумывал, что эта судьба просто отложена. Иначе почему меня занимает, столько лет спустя, «загадка коллективной смерти»?)

* * *

11 сентября я вернулся в Париж один — на конгресс по религиозной психологии, который проходил с 14 по 19 сентября в Роямоне. Мой доклад (мне была предложена тема «*Images religieuses — images naturelles*») имел определенный успех, и дискуссия по нему продолжалась два с лишним часа. После конгресса, в Париже, я перечел триста семьдесят готовых страниц романа; за вычетом фрагментов, довольно многочисленных, взятых из «Апокалипсиса», и текст меня разочаровал. Я лихорадочно взялся переделывать рукопись, беспощадно выкидывая эпизоды, связанные с персонажами из другого романа, и переписывая, иногда полностью, целые главы.

Случалось все же, что какие-то известия, какие-то встречи отдаляли меня от горизонта «Купальской ночи». 3 октября ко мне зашел Р.П. Бруно, директор журнала «*Études Carmelitaines*», с приглашением на Конгресс о «*Chasteté et expérience mystique*», который намечался на сентябрь 1950 года. Двумя днями позже я получил письмо от г-жи Ольги Фрёбе-Каптейн, которая предлагала мне выступить с докладом на «Эраносе» в августе 1950. Приглашение мне польстило и очень меня порадовало. Еще в Румынии я читал первые «*Eranos Jahrbücher*», и меня захватила идея такого плюралистического, по разным дисциплинам, симпозиума, в котором участвовали, кроме К.Г. Юнга, столь уважаемые мной ученые: Поль Пельо, Жан Пшылюски, Луи Массиньон, Х. Циммер, А.-Ш. Пюэш, Гершом Шолем и другие.

Анри Корбен, который в этом году впервые выступил на «Эраносе», пригласил меня в свою маленькую квартирку на рю де л'Одеон и, вместе со Стеллой, мы поговорили о том, какие встречи и дискуссии бывают в Асконе. Стелла чрезвычайно тактично передавала ему все нюансы и подробности, которые он упускал из-за своей глухоты, да-

же когда надевал слуховой аппарат. Анри с пониманием дела и с восхищением отозвался о «Трактате по истории религий» и «Мифе о вечном возвращении». Кроме того, он предложил мне совместно возобновить журнал «Залмоксис» и печатать его под эгидой Тегеранского института иранологии, которым он руководил. Если бы я не участвовал в стольких проектах, я согласился бы с радостью. А так пришлось отложить возобновление журнала до лучших времен.

К концу октября сделалось так холодно, что я мог писать, только согревая руки о бутылку с горячей водой. С большой затратой сил я приводил в порядок начало романа. Мне не терпелось, чтобы его прочла Кристинель — она как раз недавно вернулась из Италии. Прочтя те же триста семьдесят страниц на машинке, она в волнении обняла меня. Эта реакция первого читателя (а Кристинель с тех пор стала первым читателем всех моих литературных сочинений) меня воодушевила. Наконец-то, думал я, мне удалось «спасти роман»! (Я не подозревал тогда, с какими трудностями мне еще придется столкнуться.) Я продолжал писать, по крайней мере, два-три часа в день, хотя меня искушали другие проекты. Недавно прибыл из Лунда и остановился в «Шведском отеле» профессор Стиг Викандер, образованность, ум и оригинальность которого восхищали меня с самых первых его работ. Конечно, мы много общались, обсуждая прежде всего историю индоевропейских религий, которую с таким блеском пересмотрел в последние десять лет Жорж Дюмезиль. Как и следовало ожидать, подобные дискуссии, вкупе с другими занятиями, отрывали меня от «Купальской ночи». В ноябре я возобновил работу над одной из глав «Шаманства», прерванную четыре месяца назад. Я догадывался, что Кристинель огорчается, когда я бросаю роман. Но, с другой стороны, она отдавала себе отчет, что речь идет о труде, очень для меня важном, и пыталась помочь мне, как могла. (Именно тогда Кристинель освоила машинопись и начала перепечатывать главы «Шаманства» по мере того, как я приводил их в порядок.)

Через Дениса Ружмона «*Le Mouvement Européen*» пригласило меня на конференцию по культуре, которая должна была проходить между 8 и 13 декабря 1949 года. Поскольку у меня при себе не было ничего, кроме простого *titre de voyage*, на франсузско-швейцарской границе меня одного из всего вагона пригласили с чемоданом в вокзальную контору и там устроили настоящий обыск. Наткнувшись на «Трактат по истории религий» и на«Миф о вечном возвращении» и узнав, кем я был, прежде чем стать апатридом, инспектор принес свои извинения, хотя и добавил, что на мне тоже лежит вина: почему в *titre de voyage* написано «*sans profession*»? Почему я не указал, что являюсь *homme de lettres*? Я посчитал, что он прав. (Несколько месяцев спустя я стал членом Ассоциации французских писателей.)

В Лозанне я не был двадцать три года и первые часы провел, гуляя вокруг озера. Познакомился с Денисом Ружмоном, а на другое утро — с Сальвадором Мадарьяга, со Стефеном Шпендером, с Этьеном Жильсоном; собственно, практически только с ними и стоило познакомиться. Большинство участников имели другие заботы: в первую очередь, заполучить место в одной из «комиссий», которые там создавались. Я упрямо верил в «*Le Mouvement Européen*», в возможность «европеизировать» культуры (и, даже если пока — нет, то и политические институты), выявив сходство разных европейских духовных традиций. Но в действенность бюрократии, в креативность «комиссий» я не верил. Все же я исполнил свой долг. Чтобы еще раз подтвердить тенденцию к преодолению румыно-венгерских трений, я предложил профессору Андреасу Алфёльди, чтобы он дал мне прочесть, на финальном заседании, свой текст — патетический призыв в защиту интеллектуальных элит по ту сторону железного занавеса.

* * *

9 января 1950 года, после гражданского бракосочетания, религиозная церемония, которую отправляли два священника, один православный, другой — греко-католический, состоялась (поскольку румынская церковь была еще закрыта), в пышных старомодных апартаментах одной близкой подруги нашей семьи, на рю Миньяр. Моим свидетелем был Н.И. Хереску, посаженными родителями — Сибилл и Эмиль Чоран, а среди гостей — Жорж Дюмезиль и А.-Ш. Пюэш с женами и Стиг Викандер. За несколько дней до этого мы сняли в «Шведском отеле» комнатку, смежную с номером 18, в котором я жил с 1946 года, и у нас образовалась небольшая «квартира». Так как там не разрешалось готовить ничего, кроме чая и кофе, мы обедали неподалеку в дешевом, но опрятном ресторане. Внешне ничего не изменилось. И все же — как я почувствовал это год назад — началась новая жизнь.

Глава 21

Успех книг по истории религий и востоковедению не утешает, если жертвуешь литературным творчеством

1950 год был богат событиями, и не только для меня. Перелистывая тетради дневника, я вспоминал беспорядочную деятельность тех зимних месяцев, изнурительный труд и надежды, которые я питал и которые обернулись сюрпризами и разочарованиями к концу весны.

Но прежде всего пятидесятый был годом конференций и конгрессов. По приглашению Жана Валя, я сделал в «Философском колледже» два доклада: «Структура мифов» (13 января) и «Миф в современном мире» (20 января). На первом присутствовали, среди прочих, Морис Леенхардт и Клод Леви-Строс. Судя по всему, Леви-Строс не принял мою интерпретацию, но хранил многозначительное молчание во время дискуссии. Второй доклад имел больший успех (впрочем, на сей раз я располагал написанным текстом); последовали захватывающие (по крайней мере, для меня) дискуссии с Эриком Вейлем, с аббатом Морелем, с Мишелем Карруж и Эме Патри.

На следующий день я читал вступительное слово на открытии «Румынского исследовательского центра» в присутствии его попечителя принца Николая*. В докладе «Румыния и Восток» я развивал одну из своих любимых тем. Прежде всего — о функции посредничества, которую могла бы взять на себя румынская культура, о функции в прямом смысле слова «связующего моста» между Востоком и Западной Европой. В самом деле, эта культура осуществила, на протяжении веков, синтез нескольких духовных традиций: неолита и Древнего Востока, Фракии и Византии. Кроме того, она несла в себе, наряду с культурным вкладом славянского происхождения, а с недавних пор и дальневосточного, еще и знакомство с верованиями, обычаями и институтами, специфическими для Оттоманской Империи.

---

* В этом «*Centre Roumain des Recherches*», секретарем которого был Октавиан Вуя (по настоянию принца Николая, я согласился быть председателем), в течение многих лет велась разнообразная и плодотворная деятельность. Из французов, которые выступали здесь с лекциями, я помню священников Жана де Менас и Жана Даньелу; Габриэля Марселя, Марселя Бриона, Анри Корбена, Марселя Гриоля.

В конце января Жан Даньелу, с которым мы познакомились и сошлись накоротке год назад, пригласил меня на обед в Дом отцов-иезуитов на рю Вано, где располагалась и редакция журнала «*Études*». Так что я имел случай познакомиться с Тейаром де Шарденом. После обеда мы, вместе с Жаном Даньелу, уединились в комнате Тейара и долго беседовали. Вернувшись в «Шведский отель», я по горячим следам записал часть нашей беседы. К сожалению, эти страницы затерялись, но самое существенное я не забыл. В те времена Тейар не мог опубликовать ни одну из своих философских или богословских работ; все же ему позволялось раздавать короткие тексты, размноженные на мимеографе. На прощанье он подарил мне несколько таких текстов. Я прочел их в тот же день, с пристрастием; но оригинальность мысли Тейара понял лишь много лет спустя, после выхода его книги «Феномен человека»...

В феврале я снова взялся за «Шаманство». Писал яростно, по двенадцать часов в день, а Кристинель начала перепечатку готовых глав. Но материальное наше положение ухудшилось. С января генерал Рэдеску прекратил выдавать субсидии румынским студентам и интеллектуалам, живущим в Париже. Выход в свет «*La nuit bengali*» (заголовок, выбранный в «Галлимаре» для «Майтрейи») откладывался, и я не решался просить еще один аванс в счет авторских прав. Кроме гонораров за статьи, публикуемые в «*Critique*», мы могли рассчитывать только на 20 000 франков, которые ежемесячно присылала нам Лизетт. (Они жили тогда в Нью-Йорке, где Ионел Перля, получивший ангажемент в Метрополитен-Опера, пользовался большим успехом, дирижируя «Тристаном и Изольдой». Один из критиков писал, что за сорок лет, со времен Густава Малера, не было столь совершенного исполнения.) Мы стали занимать деньги, где могли. Но все еще не решались отказаться от второй комнаты, номер 17, в «Шведском отеле».

* * *

В начале марта мне снова пришлось оторваться от «Шаманства», чтобы подготовить те два доклада, с которыми мне предстояло выступить в Риме: «Шаманство» — в университете, по приглашению Рафаэля Петтаццони, и «Тантризм и шаманство» — в институте восточных исследований (*ISMEO*), по приглашению Джузеппе Туччи. Мы поехали 20 марта третьим классом и были в Риме, совершенно измученные, на другой день утром. От *ISMEO* нам зарезервировали комнату в пансионе Губер, на виа Пайсьелло, поблизости от виллы Боргезе. Однако всеобщая двенадцатичасовая забастовка помешала мне увидеться с Туччи. Я добрался только до Петтаццони и с волнением узнал, что буду выступать в *Aula Prima* и что на докладе будет присут-

ствовать ректор. Тут я пожалел, что выбрал такую узкоспециальную тему; ведь я мог бы говорить о структуре и функциях мифа, о проблемах, представляющих интерес для всех. Тем не менее, как отмечено у меня в дневнике, на другое утро эта великолепная зала была почти полной. Я встретился со старыми знакомыми из научной среды и завел новых (среди них были А. Гренье, директор Французского института, Анджело Брелик, Карл Кереньи, Л. Ваничелли и др.) Петтаццони представил меня в выражениях, не свойственных для его сдержанной и умеренной натуры.

После доклада Джузеппе Туччи пригласил нас с Петтаццони к себе домой, «на чашечку кофе». С этим великим востоковедом я почти постоянно поддерживал эпистолярную связь, но мы не виделись восемнадцать без малого лет. Мне показалось, что он не изменился: та же непосредственность и живость, та же неуемная энергия (он публиковал санскритские и тибетские тексты, ученые труды, руководил *ISMEO*), та же безграничная любознательность. Его огромная библиотека (он выстроил новый дом, чтобы ее разместить) заворожила меня, стоило мне войти в первый зал. Туччи показал мне все мои книги, специально переплетенные, и предложил возобновить издание «Залмоксиса» под эгидой *ISMEO*. Я ответил ему так же, как Корбену: что я очень ему признателен, но должен сначала закончить начатые книги. «Они висят на мне уже лет пять-шесть!» — объяснил я с улыбкой. Через два дня я читал в одном из залов института доклад, за которым последовала долгая и оживленная дискуссия. Благодаря щедрости Туччи, мы смогли остаться в Риме еще на два дня, и я, таким образом, снова повидал форумы и свои любимые места.

В Париже я снова раскрыл рукопись «Шаманства». Возможно, мне удалось бы довести до конца еще пару уже начатых глав, если бы не начались всякие непредвиденные докуки и помехи. В конце апреля горничная спросила меня, можно ли вытряхнуть корзину для бумаг. Из соседней комнаты, где я работал, я ответил утвердительно. Я забыл, что поверх мусорной корзины лежало много папок, набитых до отказа и перевязанных веревкой, дабы не выпало их содержимое. Так были сожжены несколько килограммов рукописей, заметок и писем. Больше всего я жалел о потере тех пяти-шести десятков писем от коллег, критиков и других читателей моих книг (в том числе — писем от Бенедетто Кроче, Г. Башляра, Э. Брейе).

Все же мне удалось продолжить работу, почти не сбившись с ритма. Но 27 мая я уехал в Венецию, на учредительное собрание Европейской Ассоциации по Культуре. Всех приглашенных поселили в знаменитом отеле «Бауэр-Грюнвальд» (где больше мне никогда не пришлось останавливаться). В дневнике я записал множество подробностей в связи с ошеломляющим открытием заново Венеции,

в которой я был проездом в последний раз летом 1937 года, по дороге в Берн, где меня ждал Лучиан Блага.

Второго июня я вернулся в Париж, но работать, как раньше, у меня не получилось. Я писал со скрипом, через силу и без всякого энтузиазма. Впрочем, подводило и здоровье, я чувствовал, что мне угрожает новый криз ваготонии. Дурные новости шли одна за другой. Выпуск в свет «*La nuit bengali*», отпечатанной несколько месяцев назад, был отложен сначала до июня, а потом и вовсе до сентября. Ионел Перля, обидевшись на Берга, директора «Метрополитен», за то, что тот решил открыть осенний сезон «Летучей мышью» вместо «Парцифаля», как обещал, разорвал контракт, подписанный на три года, и принял другие предложения, которые со временем оказались не столь блестящими, как он думал. Ну, и, наконец, в начале июля Соединенные Штаты предприняли интервенцию в Корее, и Третья мировая война снова замаячила как неотвратимость.

К счастью, Сибилл наняла дачу в Бриансоне, и мы поехали туда погостить, вместе с Мами, 20 июля. В эти две недели, проведенные в Альпах, я с тоской воспоминал карпатские экскурсии своего отрочества. Скоро криз ваготонии прошел, и ко мне, вместе со здоровьем, вернулся аппетит к работе. Однако я ограничился записями в дневнике, ни за что другое не брался. Мы с Кристинель совершали долгие прогулки по лесам на окраине Бриансона и, когда могли, поднимались в горы. Хотя я внутренне сопротивлялся, но мысль моя все время возвращалась к той единственной книге, которую бы мне хотелось сейчас написать: «Человек как символ». После «Мифа о вечном возвращении» я считал ее моим самым оригинальным замыслом, где эрудиция и историко-религиозная герменевтика уступили бы место философской рефлексии. Это была бы небольшая книга, без примечаний, с краткой библиографией в конце. Но я знал, что не имею права начать ее, не закончив прежде «Шаманство». С другой стороны, меньше, чем за месяц, мне надо было подготовить на «Эранос» текст двухчасового доклада, а вскоре после этого — небольшое сообщение для Международного конгресса по истории религий.

* * *

В начале августа я один вернулся в Париж, чтобы написать и отшлифовать эти тексты. От комнаты номер 17 я отказался и теперь слышал соседей с двух сторон. Садясь за работу, я затыкал уши ватными шариками и убеждал себя, что ничего не слышу. Для «Эраноса» я использовал отрывки из старых работ, отчасти неизданных. Однако ко дню отъезда, 20 августа, я не успел закончить вторую половину доклада (после первого часа предполагался получасовой перерыв). По-

следние десять-двенадцать страниц я написал ночью, в комнате «Каса Тамаро», где нас поселили.

Аскона и группа «Эранос» меня обворожили. Страницы дневника сохранили лишь в малой степени то восхищение, с каким я открыл для себя Тичино и Лаго-Маджоре, и радость по случаю первых встреч с Ольгой Фрёбе, К.Г. Юнгом, Г. Шолемом и другими участниками. Я и не подозревал, какую роль сыграет в последующие пять-шесть лет «Эранос» и, в первую очередь, основательница и вдохновительница этого круга, старая дама с серебристыми волосами, Ольга Фрёбе-Каптейн. На другой день я имел счастье увидеть виллу «Эранос», отделенную от виллы «Габриэлла» садом, который террасами спускался к берегу озера.

Первым было выступление Карла Кереньи, он единственный говорил без записок, оглядывая зал, как бы ища лицо, на котором можно остановить взгляд. Г-жа Фрёбе пригласила меня на обед за знаменитым «круглым столом» под эвкалиптом в саду виллы «Габриэлла». На другой день выступал профессор Шолем; я был очарован им с первой минуты знакомства, в вечер по прибытии. Меня давно восхищали его эрудиция и проницательность, но в тот вечер на меня произвели впечатление его дар рассказчика и гений задавать только существенные вопросы. Во время выступления Шолема я увидел Юнга; он слушал с террасы, вытянувшись в шезлонге у открытого окна. Меня поразила его физическая крепость и молодая живость взгляда. Но только на следующий день, оказавшись за обедом у него по левую руку, разговорившись и пробеседовав два с лишним часа, я смог оценить его мудрость и чистосердечие. Я записал в дневнике (*Фрагменты*, I, стр. 130) некоторые из его признаний (горьких) относительно «официальной науки».

Доклад, который я прочел 25 августа, имел определенный успех, так что Ольга Фрёбе пригласила меня на «Эранос–1951» и потом приглашала и на все последующие, до самой своей смерти. Как и у других докладчиков, у меня почти не оставалось времени на отдых. Мы подолгу дискутировали с Юнгом, Луи Массиньоном, Анри Корбеном, Рафаэлем Петтаццони (*Фрагменты*, I, стр. 130 и сл.). Иоахим Уоч, который проводил каникулы у своей сестры, поселившейся в Локарно, пригласил меня пообедать в *trattoria*. Ему очень понравились «Трактат» и «Миф о вечном возвращении», и он ссылался на них в своем курсе по истории религий, который читал в Чикагском университете. Я записал в дневнике: «Он хотел бы что-то предпринять, чтобы пригласить меня в США, но не представляет, что и как». (Тем не менее он пригласил меня пятью годами позже.)

Была у меня и долгая беседа с Джоном Барретом из Фонда Боллинген. Ему говорил обо мне Анри Корбен, упирая на трудности, которые меня одолевают. Джон Баррет обещал походатайствовать перед ди-

рекцией фонда, чтобы мне назначили (как и другим ученым, напри мер, Карлу Кереньи) стипендию на исследования. Я и представить се бе не мог, в тот теплый августовский день, что получу ее так скоро...

* * *

Как я писал в начале этой главы, пятидесятый был годом конферен ций, встреч и конгрессов. Только вернувшись из Швейцарии, третьего сентября я уже отправился в Амстердам, где имел место быть Между народный конгресс по истории религий. Профессор Герард Ван дер Леeув, председатель конгресса, ввел меня в инициативный комитет по созданию Международной ассоциации историко-религиозных иссле дований, так что мне пришлось принимать участие во всех предвари тельных обсуждениях. (Ко всеобщему удовольствию, создание ассоци ации было торжественно провозглашено в последний день конгресса; генеральным секретарем был назначен профессор Бликер, а вице-пре зидентом и директором нового журнала «Нумен» — Рафаэль Петтаццо ни. Поскольку у меня не было денег заплатить за отель, я снял в част ном доме комнатушку, предназначавшуюся для горничной, с раскла дной кроватью, без письменного стола, без ванной. В ту неделю кое-кто из коллег под разными предлогами (то они нашли «экзотический рес торан», то «настоящую голландскую таверну») водили меня обедать.

Как на всяком международном конгрессе, самую важную часть со ставляли не столько доклады и сообщения, сколько дискуссии с мэт рами и коллегами из других стран и с других континентов. С некото рыми из них я познакомился впервые здесь, в Амстердаме. Я высту пил с коротким сообщением: «*Mythes cosmogoniques et guérisons magiques*», эту тему я позже развил в «*Myth and Reality*» («*Aspects du mythe*»). Я как сейчас помню дискуссии со Стигом Викандером и Мо рисом Леенхардтом, прогулки с супругами Пюэш и Жаном Фийозой по зоологическому саду, прием в Рейксмузее...

«*La nuit bengali*» вышла, наконец-то, в сентябре, но успеха, какого ожидали и я, и Брис Парен, не имела — ни у критики, ни у публики. С другой стороны, Гюстава Пэйо как будто бы раздосадовало, что не прошло и двух лет после выхода «Трактата по истории религий», а я уже выступил с «романом». «Твое имя, — сказал он мне, — ассоции руется в головах читателей с востоковедением и историей религий. Не надо их дезориентировать». Он был по-своему прав. Но я-то думал, что традиция строгого разделения, идущая от позитивизма (объек тивность научного исследования и философской мысли, с одной сто роны, — субъективность художественного творчества, с другой), из жила себя. Я держал в голове, что почти все немецкие философы на чала XIX века писали романы, а успех таких авторов, как Габриэль

Марсель, Камю или Жан-Поль Сартр продемонстрировал единение философской мысли и литературного творчества. Я просто ошибся, выбрав для дебюта во Франции «Майтрейи». Многие ли из читателей смогли бы, как Гастон Башляр, прочесть «мифологию чувственности» в этом юношеском романе?

По счастью, в ту осень пятидесятого я еще считал, что «*La nuit bengali*» будет иметь успех, по крайней мере, у публики, что позволило мне попросить второй аванс в счет авторских прав. Наше финансовое положение ухудшалось с каждым днем. Мы были вынуждены брать взаймы у друзей и у Сибилл, чтобы платить за комнату в отеле и за обед в ресторане (из самых дешевых) на рю де Севр.

В конце сентября я поехал на Конгресс по религиозной психологии, организованный Р.П. Бруно и «*Études carmélitaines*». Нас поселили в кармелитском монастыре, в Фонтенбло. Я сымпровизировал доклад на тему «*Chasteté et états mystiques chez les primitifs*», но главное — побеседовал с психологами и психоаналитиками, в первую очередь, с доктором Рене Лафоргом, чью книгу о Бодлере («*La Psychologie de l'échec*») недавно прочел. Через две недели Рене и Делия Лафорг пригласили нас на обед к себе на рю де ла Тур, 62, и, поскольку они собирались на четыре месяца в Касабланку, предложили нам пожить в их квартире. Мы не верили себе: пожить в пятикомнатной квартире с гостиной, которая казалась нам необъятной; работать без соседей, в комнате с прекрасной изоляцией (в кабинете, где доктор Лафорг принимал пациентов)!

Мы переехали через несколько дней, но я не мог немедленно заняться «Шаманством». Мне надо было написать заметку для «*Études carmélitaines*», статью для «*Critique*» и другие тексты. Единственное неудобство причиняла нам Анна, прислуга, которую оставил нам доктор Лафорг: мы должны были каждый день выдавать ей определенную сумму на покупку продуктов. Не раз мы выдавали ей только половину под предлогом, что приглашены в гости на обед, а сами шли в Люксембургский сад и съедали по бутерброду.

В начале декабря ситуация казалась отчаянной. Китай начал наступление в Корее, и снова вспыхнули панические предвоенные настроения. Когда я разменял последнюю банкноту в пятьсот франков, Кристинель решила попросить взаймы у приятельницы, которая уже многажды нас выручала. Она вернулась с пятью тысячами франков, что обеспечивало несколько дней с обедом. На следующее утро я получил письмо, которым Фонд Боллинген извещал меня, что с 1 января 1951 года мне положили ежемесячную стипендию в двести долларов на трехлетний срок. И на той же неделе «Национальный центр научных исследований» оповестил меня, что я назначен *attaché de recherches* с выплатой тридцати пяти тысяч франков в месяц. Но полу-

чать два месячных пособия не позволялось, так что мне надо было сделать выбор, а поскольку стипендию «Боллинген» выплачивали в любой стране, не только во Франции, я выбрал ее.

В том декабре, 9 числа поутру, я освободился от кошмара нищеты. Мы могли позволить себе обедать каждый день, у себя дома. Могли приглашать друзей, что долгое время было нам недоступно. Наконец, я получил свободу заняться исключительно последними главами «Шаманства». Я обещал себе, что любой ценой за зиму кончу книгу.

* * *

Я закрывался в кабинете доктора Лафорга и работал по двенадцать часов в день. К счастью, мы жили очень близко от музея Человека и всего в одной остановке на метро от музея Гиме. Можно было пользоваться их богатыми библиотеками, не теряя слишком много времени. С другой стороны, в наш квартал переехал мой добрый друг Жан Гуйар. Узнав, что Жорж Дюмезиль, перегруженный лекциями и собственной работой, больше не вызывается читать и править в рукописи последние главы, Жан Гуйар предложил взамен свои услуги. Раз в неделю я приходил к нему в мансарду и приносил сколько-то страниц. Жан правил их в ту же ночь, а Кристинель потом отпечатывала и подкладывала в папку к соответствующей главе.

Иногда я приглашал друзей на ужин. Они не верили глазам (да мы и сами себе не верили), когда видели, в какой шикарной столовой накрыт стол. Годами, как и мы, они ели на маленьких столиках в комнате отеля, в арендуемых комнатушках или, в лучшем случае, в дешевом ресторане. (По-моему, тогда только у Родики и Эуджена Йонеску было то, что эмигранты называли «настоящим обеденным столом».)

Н.И. Хереску, которого пригласили на кафедру латыни в Лиссабонском университете, по-прежнему сохранял оптимизм, все так же верил в нерушимую справедливость Истории... Годом раньше Эмиль Чоран опубликовал свою первую написанную по-французски книгу, «Трактат о разложении основ», изумив нас всех, но, главное, литературных критиков, совершенством стиля. Тогда же, весной пятидесятого, в театре «Ноктамбюль» сыграли пьесу Эжена Йонеску «Лысая певица», обозначив начало той исключительной творческой судьбы, которая и сегодня имеет отзвук на всех меридианах земли.

Вскоре мы подружились с Моникой Ловинеску, страстно увлеченной литературой и театром (ей тоже обязана успехом пьеса Эуджена Йонеску), и с Вирджилом Йерункой, неутомимо, с энтузиазмом подхватывающим всякую культурную инициативу диаспоры. Ко всеобщей радости — хотя и неожиданно для всех — Моника и Вирджил поженились следующей весной.

Приходил повидаться с нами Александру Вона (литературный псевдоним Альберта Самюэля). Мы были знакомы несколько лет, и мне очень нравился его роман, я даже надеялся, что «Галлимар» его опубликует*.

В конце зимы вернулись из Касабланки Делия и Рене Лафорг, и мы снова переместились в номер 18 «Шведского отеля». Последнюю главу «Шаманства» я дописывал с невероятным трудом; переутомление давало себя знать. В марте Кристинель кончила перепечатку семисот страниц, которые я поспешил отнести Гюставу Пэйо. Я сказал ему вскользь, что добавлю еще несколько страниц в заключение... «Очень устал, сейчас просто не могу писать, — признался я ему. — Допишу через недельку-другую, в Риме». К моему удивлению и радости, Гюстав Пэйо тут же вручил мне значительную сумму, что позволило нам провести месяц в Италии.

* * *

25 марта мы прибыли в Рим, и первый наш визит был к Петтаццони. Он очень обрадовался и поздравил меня, узнав, что «Шаманство» пошло в набор. Затем мы поехали в Неаполь, где нас ждали друзья — Нина Баттали и инженер Джакомо Нардоне. Они катали нас на машине по холмистому побережью, и мы снова побывали на озерах и в Поццуоли. Через несколько дней поездом мы спустились в Таормину. Первый раз мы ступили на землю Сицилии и с тех пор не забывали этот сказочный остров. Десять дней, проведенных в Таормине, Катании и Палермо, вернули мне здоровье, а, главное, желание работать. Ботанический сад в Палермо напомнил мне о Гете и о его знаменитой теории «первичного растения». Мне захотелось посвятить месяц-другой чтению Гете. Но я прекрасно отдавал себе отчет в том, что такие возвраты в духовные миры, родом из отрочества, пока мне заказаны. Так что я довольствовался чтением работ по ориенталистике и истории религий, которые подарили мне недавно мои итальянские мэтры и коллеги. Ночью мы сели на маленький рейсовый пароход, который утром приходил в Неаполь. Как всегда, ритм волн, звездное небо и те таинственные шумы, которые незаметно затихают в шепоте, перенесли меня в некое прошлое без точных координат: путешествие по Дунаю и по Черному морю? Вечера на палубе парохода, везущего меня из Неаполя в Афины? Или из Констанцы в Александрию, из Порт-Саи-

* В самом деле, его роман, хотя и плохо переведенный на французский, с интересом прочел Брис Парен и другие сотрудники «Галлимара». Он мог бы выйти в свет, если бы автор представил новый перевод. Но после потери жены, Миры, погибшей от нелепого несчастного случая, Вона уже не интересовался судьбой романа.

да в Коломбо?.. Я не пытался разобраться. Я отдал себя волшебству этого внезапного и блаженного обретения прошлого.

Пробыв три дня в Неаполе, мы на неделю переместились в Рим. Думаю, тогда-то я и навестил Ю. Эволу*. Из письма, которое он написал мне на «Шведский отель», я узнал, что, раненный осколком в позвоночник во время осады Вены советскими войсками, он обречен остаток жизни провести в инвалидном кресле. Когда меня проводили к нему в комнату, Ю. Эвола встретил меня все же стоя: его подняли старый отец и сиделка. После того как он пожал мне руку, они вдвоем снова усадили его в кресло и оставили нас наедине. Я читал книги Эволы еще во времена студенчества, но видел его один-единственный раз, весной 1937 года, на обеде, куда меня пригласил Нае Йонеску. Я восхищался его умом и, еще более, его ясным и насыщенным слогом. Как и Рене Генон, Эвола признавал «примордиальную традицию», существование которой я не мог принять, подозревая ее в искусственности, неисторичности.

На сей раз мы поговорили о многом, но главное — об упадке или, как выразился Эвола, о «загнивании» современных западных культур. С точки зрения образцовой, неисторической «традиции», он был прав. Но меня занимала другая проблема: в силу того, что я верю в творческие способности человеческого духа, я не подвержен отчаянию; культура, даже в сумеречную эпоху, есть единственное средство сообщать некие ценности и передавать дальше некое духовное послание. Недостаточно, чтобы в новом «Ковчеге», с помощью которого можно было бы спасти духовные творения Запада, фигурировала «Эзотерика Данте» Рене Генона, нужно и поэтическое, историческое и философское понимание «Божественной комедии». Ограничение герменевтики европейских духовных творений исключительно их «эзотерической» подкладкой повторяет, с противоположным знаком, редукцию материалистического типа, с таким успехом проиллюстрированную Марксом или Фрейдом.

С другой стороны, добавил я, возвращение Азии в историю и открытие духовности архаических обществ не смогут остаться без последствий. Ю. Эвола считал, что, так или иначе, уже слишком поздно, что мы, по сути дела, присутствуем при всеобщей аккультурации. На первый взгляд, он был прав. Но аккультурация представляет собой не более чем первую фазу гораздо более сложного процесса. Камуфлирование или даже сокрытие священного и вообще всяких духовных смыслов характеризует все сумеречные эпохи. Речь идет о том, чтобы сохранился, в личиночном виде, изначальный смысл, становясь таким образом *нераспознаваемым*. Отсюда — важность,

* Сомневаюсь насчет даты, потому что потерял ежедневники 1949–1954 годов.

в моих глазах, образов, символов и эпических повествований; точнее, герменевтического анализа, который расшифровывает их значения и вычленяет первоначальные функции.

Но, разумеется, за тот час, что мы провели с Эволой, мы затронули эти проблемы лишь мельком.

* * *

По возвращении в Париж меня ждало «Шаманство». Корректура, составление индекса и заключение заняли у меня две недели. Но зато теперь я смог в полной мере понять, в чем состоят достоинства и недостатки этой книги. Больше всего я был недоволен заключением, которое получилось слишком сжатым, поскольку писал я его наспех, под давлением типографа*. Но я уже не сомневался в новизне и ценности своей работы. Впервые тут были представлены и истолкованы, с позиций герменевтики и в перспективе истории религий, все виды шаманства, не одни только «классические», характерные для Сибири и Центральной Азии. Я проанализировал также структуру и функцию определенных шаманских мифологий и техник, уцелевших, в более или менее замаскированном виде, в «исторических религиях» (Индия, Древняя Греция, Китай, Япония и т.д.). Кроме того, я отвергал традиционные доводы физиологического (отсутствие витаминов!) и психологического (прорыв компонентов из подсознания) порядка, которыми объясняли экстаз шаманского типа. Анализ практики и описание церемоний посвящения неофита высвечивали их родство с образцовой моделью инициации. Не менее полезным и уместным представлялось мне рассмотрение разных значений, приписываемых экстатическому трансу как в первобытных, так и в исторических религиях. Дистанция между шаманскими техниками и практикой йоги, качественная разница между экстазом и энстазисом становились очевидными и, главное, существенными для понимания мировой истории духовности.

Подписывая книгу в набор, я был уверен, что «Шаманство» заинтересует не одних только этнологов и историков религий, но и широкого читателя. Так и вышло: книгу, появившуюся в сентябре, приняли очень хорошо; вскоре ее ожидало второе издание и перевод на разные языки.

* * *

В начале лета я снова стал свободным. Доклад для «Эраноса», «Время и Вечность в индийской мысли», я решил писать в августе; материал был собран давно и план набросан. Мне удалось, кроме того, убедить

* Заключение я доработал позже, готовя английскую версию книги, которая, в сущности, стала вторым изданием, исправленным и дополненным.

Жоржа Батая, что с книгой «Тантризм» надо повременить. В Риме я узнал от Туччи, что скоро будет издан, сопровождаемый английским переводом, комментарий Чандракирти на «Гухья-самаджа-тантру» вместе с глоссами Цон-кха-па, до сих пор доступными только на тибетском языке*. Я объяснил Жоржу Батаю, что не решаюсь начать мою небольшую монографию о тантризме, не ознакомившись с этими текстами.

Итак, я получил свободу, чтобы целиком посвятить себя роману. Я подумал, что писать мне будет сподручнее на даче, которую Сибилл сняла в Гетари. Поскольку гостиницы опять подорожали, мы решили отказаться от комнаты в «Шведском отеле» и переехать в маленькую квартирку Жаклин Дежарден, на рю Дюэм. С грустью упаковал я книги и бумаги, которые скопились за четыре с половиной года, что я прожил на рю Вано. Хорошо, что в начале июля мы уехали в Гетари. Мне не терпелось перечитать с карандашом в руке всю рукопись «Купальской ночи». И на сей раз тоже текст меня разочаровал. Я не мог себе простить, что летом сорок девятого, вместо того, чтобы взяться за продолжение «Хулиганов», я втянулся в лабиринт. Я и вправду видел теперь, что сюжет романа все больше и больше напоминает блуждание главных героев в лабиринте, блуждание долгое и гнетущее, потому что его инициатический смысл еще не проглядывает. Трудности усугублялись от главы к главе. Хотя «Купальская ночь» изобиловала персонажами, а ее действие растягивалось на двенадцать лет, книга не должна была напоминать «Войну и мир» в миниатюре. С другой стороны, навязчивые идеи главного героя, Штефана Визиру, и происшествия, порой таинственные, в которые он втягивался, не должны были напоминать атмосферу фантастических сочинений. Всю трансисторическую подоплеку надо было безупречно закамуфлировать конкретикой исторических событий.

Просомневавшись несколько дней, я взялся за работу. Писал каждый день, упорно, иногда с подъемом, поправляя или переписывая полностью некоторые эпизоды. 1 августа, когда мы вернулись в Париж, я располагал полуторастами страниц, которые казались мне «окончательными».

В нашем новом районе обитания мы, конечно, чувствовали себя чужаками. Но мне некогда было его изучать — весь остаток лета я готовил доклад для Асконы, по целым дням сидя дома. В этот раз Кристинель поехала со мной. Как и я год назад, Кристинель была очарована красотой пейзажей и в восторге от такого большого сбора моих коллег и друзей (Корбен, Пюэш, доктор Годель) в «Каса Тамаро». Внешность и манеры г-жи Фрёбе тоже произвели на нее впечатление. Вполне ве-

* К сожалению, эта работа вышла очень нескоро и в урезанном виде.

роятно, что и Ольга оценила скромность и обаяние Кристинель, потому что пригласила нас провести июнь 1952 в «Каса Габриэлла».

Я прочел доклад довольно *brio*, хотя опасался, что после первого часа устану. Накануне ночью почти не спал — такой упорной бессонницы не припомню в своей жизни. Попробовал вздремнуть после обеда — тоже не удалось. И вдруг на меня нашло — около получаса длился страстный и таинственный *rêve-éveillé*, спровоцированный, возможно, погружением в индийскую духовность и в воспоминание о моих опытах в Индии (ср. *Фрагменты*, I, стр. 153–155).

После закрытия «Эраноса» Алис и Роже Годель пригласили нас провести несколько дней вместе в Эрживиле, на берегу озера, в десяти километрах от Люцерны, а потом — в Женеве. Я познакомился с этой четой осенью сорок девятого. Кардиолог с мировым именем, доктор Роже Годель был директором госпиталя Компании Суэцкого Канала в Измаилии, но его интересовали и Древняя Греция, и индийская духовность. Он не раз побывал в Индии, познакомился с Раманой Махариши. Рассказал мне о книге, над которой работал и которой дал смелое название: «*L'Experience libératrice*». (Книга выйдет, с моим предисловием, в 1954 году, в «Галлимаре».) За время швейцарского путешествия мы стали добрыми друзьями. Через несколько лет Алис и Роже Годель пригласили нас погостить в их роскошной квартире в Валь-д'Ор, которую они только что купили.

* * *

В Париж мы вернулись в начале сентября, я был полон решимости сосредоточиться исключительно на романе. На сей раз я чувствовал, что нашел ключ: множественность временных ритмов, сменяющих друг друга от главы к главе, позволяла мне сжимать повествование и в то же время прослеживать судьбы персонажей, не раскрывая их глубинного смысла. Я писал каждый день после обеда, а иногда и по утрам в бывшей керамической мастерской Сибилл, на Сент-Уэн, 47. Это был старый заброшенный отель, среди руин которого нашли приют несколько итальянских семей. Но в глубине, в мастерской Сибилл, было тихо, и я мог спокойно работать до наступления ночи.

Однако 15 октября мне снова пришлось прервать работу над романом и заняться книгой «*Images et Symboles*», которую ждал Брис Парен. Я задумал ее летом, в Швейцарии, под влиянием бесед с разными учеными. Решил переиздать, внеся коррективы и расширив, две давнишние мои работы, связанные с религиозной символикой*,

* «*Notes sur le symbolisme aquatique*» (*Zalmoxis*, II, 1939) и «*Le-Dieu-lieur et le symbolisme des noeuds*» (*Revue de l'histoire des religions*, 1947–1948).

объединив их с текстами докладов на «Эраносе» и сопроводив введением об образах и воображении и главой, содержащей выводы, под названием «Символизм и История». Эту заключительную главу я написал за несколько недель, оставалось введение. Но, к сожалению, сразу же сесть за него мне не удалось, а когда я приступил к работе, меня то и дело что-нибудь от нее отрывало. Так что последнюю, и самую главную, часть введения, я писал урывками и не развил в достаточной мере одно наблюдение, которое казалось мне важным, а именно: что *imaginatio* не есть некий произвольный вымысел; в этимологическом плане оно смыкается с *imago* (представление, имитация) и с *imitor* (имитировать, воспроизводить). *Imaginatio имитирует* образцовые модели, реактуализирует их, бесконечно повторяет. В те годы такое толкование образов и воображения помогло мне лучше понять творения фольклора, а иногда даже собственную литературную прозу.

17 ноября пришла открытка от Корины. Она писала, что 30 октября, после трехмесячной болезни, умер отец, а за неделю до него, от сердечного приступа, — дядя Митаке. Настали дни, когда я зажил в другом мире, давно забытом, находя утешение только в скорби. Я утратил еще один отрезок — и самый длинный — из своего прошлого. В одиночестве бродил я по улицам вокруг собора Сакре-Кёр, вспоминая сцены детства, отрочества, первой юности. В последние годы мне удалось справиться с тоской по родине — она возвращалась только ночью, в снах. Теперь меня снова разобрало. Я не пытался защищаться, отдался грусти, как будто ожидая чуда. Будь я свободен, я взялся бы за воспоминания детства.

С трудом переборов себя, я вернулся к прерванной работе. Кристинель уже перепечатала почти все новые главы «Образов и символов». Теперь она ждала только последние страницы введения, которые я писал где придется, где мне случалось найти тишину: в керамической мастерской Сибилл или в кабинете, который я делил с Жаклин, на рю Дюэм.

17 декабря я сложил рукопись и отнес ее Брису Парену. А через несколько дней мы на три месяца уехали из Парижа. Мне надо было любой ценой обрести тот мир, в котором я родился и в котором жил до весны сорокового года. Я знал, что очень скоро этот мир исчезнет, получив приговор истории. Знал, что числюсь среди немногих, кто уцелел, и хотел исполнить свой долг свидетеля. Но я знал и то, что за всякого рода катастрофами и страданиями кроется, в безупречном камуфляже, другой их смысл. Мне казалось, что я начинаю его понимать.

Глава 22

К счастью, «Купальская ночь» не имеет успеха: я пойму позже смысл этой неудачи

Чтобы я мог спокойно поработать, мы поселились в Монте-Карло. Одна наша приятельница нашла нам в отеле «Эксельсиор» приемлемую комнату и, поскольку мы собирались снять ее самое меньшее на два месяца, то получалось очень дешево. Когда мы сошли с поезда, нас ошеломил аромат цветущих кустов мимозы. Однако уже наутро выяснилось чрезвычайно неприятное обстоятельство: стены нашей комнаты оказались еще тоньше, чем в «Шведском отеле». Управляющий отеля позволил мне работать в холле, по соседству с его кабинетом. Но там шум был еще невыносимее: голоса и смех, телефонные разговоры, выкрики из кухни. Тогда управляющий предложил мне очень хорошо изолированную комнату, но без окон, освещаемую только лампочкой на потолке. С грустью записал я в дневнике: «Приехать на Лазурный берег, чтобы писать в полумраке, под запыленной лампой, как узник в средневековой башне...» Только через десять дней по приезде мы нашли дешевую комнатушку без соседей, там я и работал до возвращения в Париж.

Мне удалось сосредоточиться на романе только после того, как я написал краткое предисловие к посмертной книге Поля Вюйо, которое обещал Гюставу Пэйо, и статью «*Examen leprosorum*» для «*Preuves*». Чтобы не терять время попусту, я выходил из своей комнатушки только к столу и иногда — ночью, когда мы гуляли по бульварам. Наскоро и без особого удовольствия посетил я Ниццу и Ментон. Жесточайшим образом урезал свою корреспонденцию (из-за чего потом мне пришлось писать по десять-двенадцать писем в день). Читал очень мало, по ночам, для передышки, чтобы ускользнуть из мира и атмосферы романа. И все равно правка, а, главное, переделка некоторых эпизодов из тех двух глав, что заключали часть I, заняли у меня не одну неделю. Тем временем нас приехала навестить Алис Годель и привезла мне рукопись книги «*L'Expérience libératrice*»; ее приняли в «Галлимаре», но я должен был написать предисловие, и как можно скорее...

Я начал первую главу части II достаточно уверенно; я уже научился избегать соблазнов упрощения и красивых диалогов. Может быть, я бы успел ее кончить, если бы не отравился чем-то и не получил но-

вое обострение ваготонии. Мы вернулись на рю Дюэм раньше, чем намеревались. Впрочем, мне в любом случае надо было подготовить доклады, с которыми я согласился выступить в университете Лунда. К счастью, ректор попросил меня перенести их на конец апреля. Однако я никак не мог поправиться. Доктор Хунвальд опасался язвенной болезни и прописал мне довольно строгую диету. При всем том, когда я садился в самолет на Мальмё, я был очень бледен и чувствовал себя, как никогда, слабым. (К моему удивлению, ваготония и гастрит прошли после первых же трапез в студенческой столовой Лунда: отварная рыба — белуга, судя по жирности, — вареный картофель и молоко сотворили волшебство.)

В Копенгагене я пересел в шестиместную авиетку и через несколько минут был уже в Мальмё. Я впервые оказался в Швеции, и меня не разочаровали ни люди, ни сам этот живописный университетский городок, хотя я жил в скромном отеле, между двумя мастерскими похоронных принадлежностей.

Религиевед Энмарк предложил мне прочесть два доклада о шаманстве. Я также провел три семинара на кафедре румынского языка Альфа Ломбарда. Среди ученых, с которыми я познакомился, наибольшее впечатление произвел на меня М.П. Нильссон, большой знаток греческой религии, очень плодотворно работающий. Ему было тогда за восемьдесят, но он как будто не знал усталости: не отказывался ни от одной обязанности, ни от одной из академических функций, которых у него накопилось много за его долгую жизнь; а, главное, горячо, иногда даже агрессивно, отстаивал методологические концепции, принятые им в юности. А вот Стиг Викандер, к сожалению, попал в больницу, и, хотя я навещал его каждый день, нам не пришлось побеседовать всласть, как мы собирались. Я познакомился с его женой и тремя дочерьми, с которыми не раз виделся в последующие пятнадцать-двадцать лет.

* * *

Я вернулся более отдохнувшим, нежели чем когда уезжал. Неделя, проведенная среди востоковедов и историков религий, меня воодушевила. С растущим интересом, можно сказать, с подъемом, я написал доклад, которого ждал Джузеппе Туччи: «*Langages secrets et techniques mystiques*». Я пообещал себе, что еще вернусь (*после* того как кончу роман!..) к мистическим опытам определенного типа; мне уже виделись главы, составляющие томик «*La Nostalgie du Paradis*». В начале мая я снова был в Риме, вместе с Кристинель. Прочел доклад в главной аудитории института востоковедения, и там же, через три дня, имели место жаркие споры по поводу методологии в истории религий. Так я по-

видал Р. Петтаццони, Э. де Мартино и других, более молодых своих коллег. Но больше всего мы радовались этим неожиданным каникулам, римской весне, которая будила нас каждое утро. В компании нашего друга Хории Романа, бывшего редактора «Свободного слова», мы обошли все окрестности вплоть до Витербо и с волнением осмотрели этрусские гробницы. Я во что бы то ни стало хотел встретиться с Джованни Папини, которого не видел с 1927 года. Написал ему во Флоренцию, и он тут же откликнулся. В дневнике и в пространном интервью, которое опубликовали «*Les Nouvelles Littéraires*» (6 мая 1953 года) я довольно подробно рассказал об этой повторной встрече с одним из кумиров моего отрочества. Я давно знал, что он почти совсем ослеп — и правда, когда он писал мне посвящения на своих недавно вышедших книгах, он снимал очки и чуть ли не утыкался лицом в страницу. Тем большее впечатление произвели на меня его моложавость, тот жгучий интерес, с каким он следил за литературными и философскими новинками многих стран, отвага, с какой он продолжал писать. Я и подумать не мог в тот майский день, что через какой-нибудь год Папини откажут руки и ноги, а с 1954 года он потеряет дар речи.

* * *

Когда мы вошли в комнату, которую отвела нам Ольга Фрёбе в «Каса Габриэлла», мы не поверили себе, что будем жить здесь одни весь июнь. Просторная комната на втором этаже, с такой же просторной террасой в каких-нибудь нескольких метрах от Лаго-Маджоре. Нельзя было придумать место более подходящее для отдыха и медитации, а в первую очередь — для письма. Тишину только иногда прерывали клаксоны итальянских автобусов, проезжавших по шоссе за садом. С террасы можно было видеть спины крупных рыб, ходивших вокруг виллы «Габриэлла» в ожидании хлебных крошек и корочек, которые бросала им из окна кухни Мария. По ночам сверкали огни на другом берегу озера. Временами шумели моторы припозднившихся лодок: они спешили забросить неводы как можно дальше, где-то рядом с итальянской границей.

Слушая рассказы Ольги о первых гостях, которые жили в нашей комнате или в двух соседних, я проникался очарованием и тайнами виллы «Габриэлла». Кроме того, вечер за вечером мы узнавали историю дружбы (иногда необыкновенно сложной) Ольги с Рудольфом Отто, с синологом Ричардом Вильгельмом и со многими другими, не столь известными учеными, но в первую очередь — с К.Г. Юнгом. К сожалению, выше моих сил было записывать в дневнике все встречи и удивительные открытия, которые предшествовали основанию и первому этапу «Эраноса».

В те недели феерических каникул, подаривших мне забытое сладострастие плавания и радость прогулок в горы, работалось мне довольно легко. Мы были счастливы, когда Ольга предложила нам проводить каждый год по крайней мере один летний месяц на вилле «Габриэлла». Как будто бы наша жизнь, незаметно для нас самих, вошла в новую, более удачную фазу.

На обратном пути мы остановились в Базеле, чтобы встретиться с Карлом Мейли; меня заинтересовали его крайне оригинальные замечания в связи с «Мифом о вечном возвращении». Вернувшись на рю Дюэм, я обнаружил, что забыл в поезде очки для чтения. Несколько дней мне пришлось читать и писать, как Папини, чуть ли не утыкаясь носом в страницу; я утешал себя тем, что все-таки вижу на расстоянии двух-трех сантиметров...

В середине лета в Париж приехал Г. Раковяну. Я не видел его с весны сорокового, с похорон Нае Йонеску, но последние пять-шесть лет мы переписывались. Он жил в городке недалеко от Мюнхена, писал иконы и иногда ему удавалось их продать. Сочинил монографию о монахе Паисии и, вместе с его преосвященством Октавианом Бырлей, издавал экуменического направления журнал «Ындрептар», где сотрудничали большинство писателей и ученых в изгнании. Писал он все так же блестяще и с тем же напряжением сил, что и раньше*. Мы оба были рады, что очень скоро снова встретимся в Германии.

* * *

В конце августа я один поехал в Аскону с докладом «*Puissance et sacralité dans l'histoire des religions*». На этот раз я осмелился попросить у Юнга интервью для «*Combat*». Недавно вышла его книга «*Antwort auf Job*», вызвавшая бесконечные дискуссии и разногласия. Тема, которую он (после долгих колебаний) решился поднять, взбудоражила, смутила или возмутила как психологов, так и богословов. Г. Шолем как бы в шутку говорил, что Юнг подверг психоанализу Яхве...

Прочтя «Шаманство», Юнг написал мне на нескольких страницах очень содержательный и восхищенный отзыв. В онирическом и психопатологическом опыте церемоний шаманской инициации Юнг нашел подтверждение некоторым своим гипотезам. Мы вели беседу два часа, и я по горячим следам записал ряд ценных подробностей. В этом

* Он собирался написать книгу воспоминаний о Нае Йонеску и роман (о чем говорил нам с Михаилом Себастьяном еще в 1933 году), но нашлись они среди его бумаг или нет, не знаю. Зато в «Ындрептар» и в «Кувынтул лын Экзил», газете, которую он основал и которой руководил до самого смертного дня, он опубликовал ряд превосходных статей о восточном богословии.

интервью Юнг рассказал (может быть, впервые) о кризисе, положившем конец его сотрудничеству с Фрейдом, и также о прозрениях, весьма и весьма драматических, подтолкнувших его к гипотезе коллективного бессознательного. Только несколько лет спустя, в «Воспоминаниях», которым предстояло выйти посмертно, он вернется к подробному разбору этих судьбоносных переживаний и событий.

Не будучи психологом и только по книгам зная теорию и практику глубинной психологии, я не мог быть юнгианцем; но меня интересовала гипотеза коллективного бессознательного и архетипов. Как я давно признавался Юнгу и как я написал в предисловии к английскому переводу «Мифа о вечном возвращении», подзаголовок книги – *Архетипы и повторение* — мог породить недоразумения. Я употреблял термин *архетип* в его первоначальном, неоплатоническом смысле — *парадигма, образцовая модель*. Для Юнга же архетипы были «структурами коллективного бессознательного». Я совершил ошибку, употребив — хотя совсем в другом смысле — термин, который уже получил распространение и даже популярность благодаря Юнгу, и с тем значением, которое Юнг ему придал. Мне надо было употребить выражение (с тех пор я прибегал только к нему) «образцовая модель».

Вместе с Кристинель, которая заехала за мной в Аскону, мы отправились в Альпбах, где проходили семинары, организованные «Европейской Коллегией». По дороге остановились на сутки в Инсбруке; я не был здесь уже четверть века, и старый город, и река Инн снова взяли меня в плен. Мы поднялись в Альпбах, на километровую высоту. Хотя почти все время шел дождь, я радовался горным пейзажам, горному воздуху, как будто попал в Бучеджи моей юности. Вместе с Карлом Кереньи мы провели семинар по истории религий, он говорил, как почти вся группа, по-немецки, я — по-английски и по-французски. В методологическом плане мы стояли на разных позициях, и часто дискуссия с Кереньи грозила перейти в полемику. Но, поскольку я высоко ценил его работы, я сумел сдержаться*.

Через неделю мы спустились в Купфштейн, к немецкой границе, где нас ждали с машиной Г. Раковяну и отец Попан. Проезжая через Мюнхен, я его не узнал. Центр был полностью разрушен, а то, что строилось по соседству, напоминало любой другой «современный» город. Осмотрев Гармиш и Обераммергау, мы остановились перено-

* Когда в 1950 мы познакомились с Кереньи, он попросил походатайствовать за него перед Гюставом Пэйо, чтобы опубликовали французский перевод его последней и самой лучшей, по его мнению, книги «Греческая мифология». Я убедил Пэйо, и книга вышла в свет. Но в последние два года Ольга боьше не приглашала его выступать на «Эраносе», и Кереньи подозревал, что под моим влиянием.

чевать в Рюдесгейме, а наутро машина отца Попана доставила нас прямо к дому Гюнтера Шпальтмана в Бонне. Шпальтман перевел несколько моих книг и с пристрастием следил за *The Work in Progress*, как он любил называть «Купальскую ночь». За два дня, что мы пробыли вместе, мы успели наговориться. Он недавно прочел первую часть и остался доволен; однако настойчиво повторял, что мне надо кончать роман как можно скорее. Среди прочих аргументов был и такой: судя по линиям моей руки, моему литературному дару предстояло в скором времени либо иссякнуть, либо перемениться до того радикально, что написанное будет выглядеть, как не мое. Значит, мне надо было поторапливаться!..

* * *

Не разделяя хиромантской уверенности Шпальтмана, я все же с ним соглашался: надо было спешить. Значительную часть работ по истории религии и философии культуры, написанных за последние десять лет, я опубликовал, а в ноябре вышли «Образы и символы». Можно было позволить себе передышку в четыре-пять месяцев, необходимых, по моим расчетам, чтобы дописать вторую часть. Но, как обычно, на меня обрушились непредвиденные и срочные обязательства. Чуть ли не вся осень ушла на подготовку новых, расширенных и исправленных, изданий «Мифа о вечном возвращении» и «Трактата по истории религий» — для перевода на немецкий, английский и испанский языки.

На мое счастье, в конце ноября Делия и Рене Лафорг снова предоставили в наше распоряжение свои апартаменты — до апреля. Чтобы опять перейти в миры литературного воображения, я за несколько дней написал рассказик «12 000 голов скота». Потом перечитал и поправил (в который раз!) первую часть «Купальской ночи», а в канун Рождества уже с головой ушел в историю сообщества персонажей, которые бились за то, чтобы уцелеть под напором «исторических событий». Закрывшись в кабинете доктора Лафорга, я до поздней ночи писал — когда с упоением, когда чуть ли не с яростью, хотя порой на меня накатывала печаль: один за другим герои моего романа завершали свой жизненный путь, приближаясь к смерти. Никогда я не чувствовал точнее, чем в ту зиму пятьдесят третьего, аналогию между инициатической смертью, то есть символико-ритуальной, и страданиями или нежданными и таинственными событиями, которые подготовляют, в мире литературного воображения, смерть кого-нибудь из главных героев.

Изредка я позволял себе прервать работу на пару часов или, в виде исключения, на пару дней — как это случилось, когда в конце ян-

варя в Париж приехали Алис и Роже Годель. Той зимой Алэн Гийерму начал перевод первой части, и Кристинель перепечатывала на машинке его рукопись по мере того, как я вносил в нее коррективы. Иногда мы оба чувствовали потребность ускользнуть из мира «Купальской ночи». Незабываемым остался февральский вечер в новой квартире супругов Вирджила Йерунки и Моники Ловинеску на рю Гассини, когда мы слушали первые пластинки из их коллекции, которая с годами станет огромной.

Через три месяца интенсивной работы, в середине марта, я оторвался от романа, чтобы классифицировать материалы по йоге, собранные в последние годы, и начать подготовку нового издания, исправленного и значительного дополненного, моей диссертации 1936 года. Но, начав писать, я сразу понял, что речь идет о полной переработке старого текста. Я стал обращаться к этой новой книге, когда высвобождалось несколько абсолютно свободных дней, то есть когда я мог посвящать ей по десять-двенадцать часов непрерывной работы.

* * *

К роману я вернулся в конце апреля 1953, в Мейлене. Я согласился прочесть пять двухчасовых лекций в цюрихском «Юнг-институте». Меня поселили в недавно отстроенном доме доктора Риклина, на пригорке у леса. Первые три недели я жил там один: Кристинель гостила в Риме у Нины Баталли. За исключением дней, когда я читал лекции в институте или когда встречался с К.Г.Юнгом и другими психологами, я был свободен и мог без всяких помех работать от зари до поздней ночи. За несколько недель я написал две главы романа. А поскольку за месяцем, проведенным в Мейлене, меня ждали еще пять-шесть недель каникул в «Каса Габриэлла», я решил, что смогу кончить «Купальскую ночь» в течение года. Но, как всегда, помешали непредвиденные дела. Возобновилось издание «*La Nouvelle NRF*», и Жан Полан предложил мне сотрудничество. Я пообещал ему статью «*Le Mythe du monde moderne*», но, поскольку не прислал, он напомнил мне об этом двумя письмами. С другой стороны, в Мадриде затевалась «Румынская неделя», и мне надо было написать текст для церемонии открытия. Наконец, меня пригласили — и я приглашение принял — выступить в сентябре в рамках «*Rencontres Internationales de Genève*» наряду с Франсуа Мориаком, Робертом Шуманом и Полем Рикёром. В ту эпоху разгула сталинизма румынская культура никак не была представлена на Западе, а деятели культуры либо сидели в тюрьмах, либо, в лучшем случае, были приговорены к молчанию. Я не мог позволить себе отказаться от миссии представления румынской культуры только потому, что намеревался кончить свой роман.

В дневнике осталась запись о завтраке у К.Г. Юнга и его супруги в их знаменитом доме в Кюснахте, я записал и некоторые его воспоминания о С.Н. Дасгупте и Р. Эйслере, а также свои впечатления от дискуссий с доктором Шоппе и доктором Боссом (ср. *Фрагменты*, I, стр. 207 и сл.); сожалею, что не записал более подробно все, что рассказал мне доктор Босс о своем путешествии по Италии, когда он сопровождал Мартина Хайдеггера.

С 20 по 29 июня мы жили в «Каса Габриэлла». При всех соблазнах (главным образом, это были книги, которые Ольга каждое утро подкладывала на мой письменный стол: работы по алхимии и мистике, публикации Генриха Циммера вперемешку с «оккультными», детективными или шпионскими романами), при всех соблазнах работалось мне над романом довольно сносно. Перерыв пришлось сделать, чтобы подготовить доклад для Философского клуба в Цюрихе и написать статью, обещанную Жану Полану.

В квартиру на рю де ла Тур мы вернулись первого июля. Днем раньше бурей разрушило стену кладбища Пасси, «вашего досточтимого соседа», как называл его Н.И. Хереску. Похолодало — так что несколько дней мне пришлось надевать под пиджак толстый свитер. Я работал в кабинете доктора Лафорга, на сей раз набитом книгами и папками, перевезенными с рю Дюэм; мне нужно было как можно больше документального материала, чтобы написать доклад для «Эраноса» под названием «*La Terre-Mère et les hiérogamies cosmiques*». Текст, который мне предстояло прочесть на «*Rencontres Internationales de Genève*», потребовал от меня, конечно, меньших усилий.

17 августа я снова отправился в Аскону, на сей раз один. Среди новых докладчиков были доктор Т. Судзуки, Р.П. Жан Даньелу, Джузеппе Туччи и Эрнст Бенц. Прямо на открытии «Эраноса», утром, я узнал от Туччи о смерти Сурендраната Дасгупты; он умер скоропостижно, в феврале, в Аллахабаде. Я вспомнил все, что рассказал мне Юнг в связи с пребыванием (недельным!) у него в Кюснахте, в 1939 году, моего бывшего мэтра. Тогда же, в тридцать девятом, мне в Бухарест пришла телеграмма от Дасгупты с предложением «повидаться»: приехать в Рим, где он гостил у Туччи. Вспомнил я и все, что узнал от Луи Рену осенью 1945 (ср. *Фрагменты*, I, стр. 16).

Поскольку главной темой на «Эраносе» была символика и религиозные ипостаси Земли в разных культурах — от Тибета (Туччи) до христианского богословия и обрядов (Р. П. Жан Даньелу, Э. Бенц), — я решил проанализировать ряд примеров из архаических и восточных цивилизаций, со включением их в перспективу всемирной истории религий. Как и в предыдущих докладах, я попытался показать необходимость, точнее, обязательность для западных ученых прикла-

дывать к изучению и осмыслению духовных творений «примитивов» то же рвение, ту же герменевтическую строгость, что и к собственным культурным традициям. Я был убежден, что документальный материал и методология истории религий вернее, чем какая-либо другая историческая дисциплина, ведут к «депровинциализации» западных культур. С другой стороны, я прекрасно понимал выигрышное положение «Эраноса». Коллеги, собирающиеся в Асконе, публика, которая слушала их доклады, а, главное, читатели выпусков «*Eranos-Jahrbücher*», — все вместе были крайне удачным орудием распространения всякого нового герменевтического достижения.

То же мое убеждение вдохновило и текст, приготовленный для «*Rencontres Internationales de Genève*». Центральная тема была заявлена, как «*L'angoisse du temps présent et les devoirs de l'esprit*». Я счел, что могу способствовать пониманию тревог современного человека, проанализировав их через призму истории религий. Заголовок доклада — «*Symbolisme religieux et valorisation de l'angoisse*» — указывал на преимущества такого подхода. Тревога, вызываемая непрочностью человеческой жизни и угрозой неминуемой катастрофы, самым наглядным образом иллюстрирует десакрализацию смерти, столь специфическую для современной цивилизации. Во всех традиционных обществах смерть не рассматривалась как абсолютный конец человеческого существования, а лишь как ритуал перехода *к новому способу быть*; смерть была как бы последним *инициатическим опытом*, благодаря которому человек обретал новую, *чисто духовную* жизнь.

«*Rencontres Internationales*» разворачивались в Женеве по сценарию гораздо более сложному, чем эраносовские коллоквиумы. Присутствие многочисленных иностранных корреспондентов, швейцарского и французского радио, членов дипломатического корпуса, персон, приглашенных для дебатов вокруг пяти или шести докладов, разных знаменитостей (среди них — экс-королева Италии) создавало праздничную и в то же время строго академическую атмосферу. Я встретился кое с кем из членов «Европейского культурного сообщества» и познакомился с некоторыми авторами, которые меня давно интересовали. Обсуждение моего доклада имело место в библиотеке замка Коппет, куда нас доставил маленький пароходик. Мне пришлось — и не только там, в знаменитой библиотеке, — отвечать на множество вопросов. К счастью, нам с Кристинель удалось после полуночи погулять наедине вокруг озера...

* * *

По возвращении в Париж, в середине сентября, начался суетливый период, который продлился до весны. Мы были вынуждены жить то

на рю де ла Тур, то у друзей на рю де Буленвийе, то на рю Дюэм. Я работал через силу и где придется (в ту осень я в первый раз за свою парижскую жизнь попробовал писать в ближайшем кафе). С тоской вспоминал я слова Жоржа Дюмезиля, которого потрясло, как это я написал последние главы «Трактата по истории религий» в гостиничной комнате. Если бы у меня была сейчас комната номер 18 в «Шведском отеле»! Я собрал там все книги, все папки, все тетради с заметками и все рукописи; я знал, где мне найти нужную цитату или библиографическую ссылку. Сейчас любая статья или рецензия, которые мне надо было написать, рождали кучу проблем; сначала предстояло сообразить, где, на какой из квартир находятся заметки или необходимая библиография. Хорошо, что я хотя бы сгруппировал рукописи и материалы по йоге в трех картонных коробках, которые всегда возил с собой, из дома в дом. Впрочем, это и была единственная книга, над которой я мог работать с видимым результатом.

Я защищался от усталости и отчаяния, твердя себе, что, может быть, эта суета, это бесконечное кочевье начинают новый ряд инициатических испытаний. Я «угодил в лабиринт» в тот период, от которого ожидал, напротив, больше покоя. Нас перестал мучить террор нищеты и неуверенности, как с сорок шестого по сорок девятый год. Но разные помехи и препоны то и дело возникали на пути. Я бы сказал, что все бури и трудности преследовали одну цель: чтобы я отложил завершение романа. По моим подсчетам, мне оставалось написать страниц пятьдесят-шестьдесят, но я никак не мог засесть за работу. Мне как бы давали понять, что раз окончание затягивается, и не в первый раз, это тоже имеет свой *смысл*. «Купальская ночь» означала для меня больше, чем книга, чем новое название, приплюсованное к литературной библиографии; я считал ее межевым камнем на границе прошлого и будущего. Ни над каким другим романом я не работал с таким упорством и прилежанием. Мне хотелось его кончить, чтобы посмотреть, понять, *удался* ли он. С другой стороны, благодаря переводу, который готовил Алэн Гийерму, я мог бы проверить степень интереса французской и другой иностранной публики. Разумеется, неуспех «Купальской ночи» не положил бы конец моим литературным опытам, я просто не стал бы давать их на перевод.

Покамест я никак не мог вернуться к роману. Напротив, меня все больше и больше захватывала новая версия монографии о йоге. С ноября и по апрель, когда я ее кончил, я был активно сконцентрирован на этой книге, то есть жил исключительно в мире индийской духовности. Тем более знаменательным показалось мне письмо, которое привез мне той осенью один флотский капитан, румын. Я запи-

сал в дневнике: «Он жил в Париже, в одном отеле, и какие-то индийцы, муж и жена, не знавшие по-французски, попросили его помочь в затруднительной ситуации. Узнав, что он румын, женщина разволновалась и спросила, знает ли он что-нибудь обо мне. Она сказала, что я жил у них в Калькутте много лет назад, и попросила передать мне письмо. Она подписалась: Майтрейи Деви, дочь С.Н. Дасгупты. Среди прочего, она писала мне: «*I do not know whether you want to meet us or will consider it a waste of time — and I am also afraid whether you are the same Eliade who was with us in Calcutta or not [...] I really want to see you very much — 23 years have passed. I have two children, my husband is a Doctor in Chemistry* [...].

Я записал в дневнике совпадение: весть пришла через 23 года, это была ровно половина моего тогдашнего возраста. И я уже много лет считал, что Майтрейи нет в живых. Какая удача, думал я, что «*La nuit bengali*» не имела успеха. А то бы я рисковал — ее могли перевести на английский...

* * *

В конце весны 1954, вскоре после того как я отдал Гюставу Пэйо машинописный текст книги «*Le Yoga: Immortalité et Liberté*», мы уехали на два месяца в Аскону. С волнением входили мы в сад виллы «Габриэлла», в нашу комнату, на нашу террасу у озера. Уже на другой день я раскрыл рукопись «Купальской ночи». Последняя глава была начата давно, но шла медленно, меня одолевали сомнения. Из записи в дневнике следует, что я назначил встречу Штефана с Иляной в Роямоне, через двенадцать лет после знакомства в лесу на окраине Бухареста. Я считал, что для каждого из них эта встреча означает начало некоей *vita nova*. «Поиски» Штефана я приравнивал к инициатическому *Quéte*. То, что он нашел Иляну, было равнозначно финалу инициации. «Хотя сегодня, — записал я 26 июня, — я понял, что речь идет о другом». Поиски Штефана были, на самом деле, поиском Смерти. Я признал с отчаянием, что «символ смерти *навязывается мне* всю последнюю главу». Но все же я не сомневался, «что символика смерти позволяет *все, что угодно*: *угасание* (*n.b.*: в перспективе современных обществ, конечно) или *регенерацию*, подлинное *начало новой жизни*».

Несколько дней спустя я записал: «Сегодня, 7 июля, в 11.35 утра, я дописал и переписал последнюю страницу. Роман окончен! Последние дни я писал, борясь не только с тоской, но и с почти физическим гнетом. У меня не было сил противостоять неумолимой судьбе, которая давно и без моего ведома постановила погубить Штефана и Иляну в Купальскую ночь 1948, где-то на шоссе по дороге в Лозанну.

Я писал, а внутреннее напряжение нарастало — и как будто бы погода откликалась на мою внутреннюю бурю, потому что все время шли грозы, молнии ударяли в озеро, в нескольких метрах от меня, и дожди были холодны, как осенью... У меня нет радости от того, что я кончил эту книгу...»

Странное состояние печали, усталости и безысходности длилось не один день. Поехав в Локарно, получать стипендию «Боллинген», я забыл в банке паспорт (то есть *titre de voyage*). В первый раз случился со мной такой инцидент, который для лица без гражданства мог иметь серьезные последствия*. Я думал: как бы истолковал психолог эту утрату, потерю «личности» (ее удостоверения). Может быть, как предчувствие, что некую свою «личность» я оставил позади, что я хочу избавиться от прошлого, в котором больше не узнаю себя?..

* * *

Осенью мы поселились в Валь-д'Ор, в квартире, которую предоставили в наше распоряжение Алис и Роже Годель, на десятом этаже недавно выстроенного грандиозного здания. Хозяева успели только меблировать квартиру и уехали в Измаилию. Поскольку они проводили в Европе не более, чем часть лета, мы могли жить здесь с октября по июнь, когда нас ждала в Асконе Ольга. Я бесконечно повторял про себя, что не заслужил такого жилища; у нас был огромный салон-столовая, кабинет, который легко превращался в спальню, комната для гостей. Из окна были видны Сена и Булонский лес, а вдалеке — купола и башни Парижа. Я перевез сюда часть библиотеки с рю Дюэм и готовился сесть за работу.

Перечитав еще раз роман, то с подъемом, то с меланхолией, перебарывая тоску, я вышел из чтения другим человеком. В первый раз за последние пять лет я чувствовал себя свободным. Я мог путешествовать, неспешно и в любую страну Западной Европы. Мог писать *что* и *как* было угодно душе. Все же меня интересовало, как будет принят «*Forêt interdite*» («Заповедный лес», французское название «Купальской ночи»). Я знал, что ничего не смогу сделать, чтобы обеспечить «успех» романа у критики или у публики. Знал и то, что перевод выйдет не раньше, чем через год-два. Брис Парен с интересом прочел первую часть, но А. Гийерму еще не кончил переводить вторую.

---

* Летом 1970 года в Стокгольмском аэропорту я потерял американский паспорт. Мы стали гражданами США за несколько недель до этого, и я в первый раз путешествовал с американским паспортом вместо пресловутого *titre de voyage* апатрида.

Хотя мы жили в пятнадцати-двадцати минутах поездом от Сен-Лазара, я довольно редко ездил в Париж. Мне нравилось работать в кабинете у огромного, почти во всю стену окна, выходившего на Булонский лес. По ночам я долго не зажигал света, завороженный далеким сверканием огней Парижа, глядя, как скользят вдоль берега Сены, крошечными алмазными рептилиями, поезда. В первый раз с зимы сорок пятого, проведенной в Кашкайше (за исключением, конечно, каникул в «Каса Габриэлла») у меня перед окном не было ни улиц, ни стен, ни деревьев.

Вскоре я начал писать книгу «Кузнецы и алхимики», обещанную мной издательству «Фламмарион», в коллекцию «*Homo Sapiens*», которую вела Мари-Мадлен Давид. Я использовал много материалов из книжечки «Азиатская алхимия», I-II (1935–1937), и из «Металлургии, магии и алхимии» (1938), значительно расширив их чтением последних пятнадцати лет. Но написал и несколько новых глав — с большим интересом, если не сказать «с вдохновением» — о магико-религиозном происхождении металлургии и алхимии на Востоке. По-моему, мне удалось поместить в новую перспективу, более широкую и адекватную, трактовку магико-религиозных ценностей металлургии: рост минералов, рассматриваемых как «эмбрионы» металлов, усиливался благодаря металлургическим процедурам, и они таким образом достигали «зрелости». Я настаивал и на инициатической валентности алхимии. Рукопись была готова в декабре 1955 и вышла книгой несколько месяцев спустя*.

В каком-то смысле «Кузнецы и алхимики» представляли собой, как и «Йога», «ликвидацию прошлого». Первые статьи по александрийской алхимии я опубликовал, еще будучи лицеистом; первые изыскания в связи с индийской и китайской алхимией начал в Калькутте и продолжил в Берлинской библиотеке, где в 1934–1936 годах докопался до мифологии и магии металлургии; потом, в 1940, — в Британском музее, и, начиная с 1946 — в музее Человека. Я не думал, завершая «Кузнецов и алхимиков», что еще вернусь к этим проблемам, открытым мною в ранней юности. И все же я продолжал собирать новые материалы и следить с достаточным вниманием за новейшей обширной критической библиографией**.

---

* Через несколько лет я имел удовольствие читать или слушать благоприятные мнения многих историков науки — таких как Йозеф Нидхэм, Р. Мультхауф, А.Г. Дебю, Н. Сивин и др.

** В 1977 году, готовя новое издание, я сам удивился, что заполнил целую полку новейшими монографиями и статьями, и вдобавок — папками со своими заметками и выдержками из книг (я все же не решился сжечь последние, как сделал с материалами и выписками для многих работ, начиная со второго издания «Шаманства» до третьего тома «Истории веры и религиозных идей»).

* * *

За исключением конференций и семинаров, организуемых «Румынским центром исследований», я отказывался от предложений читать доклады или принимать участие в коллоквиумах. Однако поехать с докладом в Страсбург согласился. Меня поразило большое стечение народа в аудитории и смутило то, что я должен был читать свой текст перед микрофоном. Но на другой день профессор Джордж Гусдорф, который меня пригласил, организовал семинар в узком кругу, ставший площадкой для оживленных дискуссий.

Я все время предвкушал, что как только кончу «Кузнецов и алхимиков», возьмусь за книгу « *Mort et initiation* ». Предмет интересовал меня давно, и я еще в Португалии начал собирать по нему материалы. В то лето на «Эраносе» я представил подробный анализ нескольких типов инициации («*Mystères et régénération spirituelle*»). По идее, «Смерть и инициация» должна была составлять только часть обширной монографии в двух томах «Мифологии смерти». Но просмотрев и расклассифицировав материалы, я понял, что такой труд займет у меня, самое меньшее, три-четыре года. И я решил ограничиться пока книгой скромных размеров, зато более конкретной: «Смерть и инициация».

С этой зимой пятьдесят пятого связан для меня знаменательный эпизод. Как-то ночью в конце февраля меня разбудил зловещий трупный запах: бородавка величиной с миндальный орех, которая много лет жила у меня под мышкой справа, загноилась и стала кровоточить. Ее давно надо было удалить, но я все откладывал. В ту ночь мне удалось уснуть только под утро и только после того, как мне показалось, что я понял «духовный смысл трупа». Я записал в дневнике: «Я представлял себя с ампутированной правой рукой, видел, как пишу левой, как здороваюсь, поднимая вверх левую руку. Напрасно. Образ отторжения той части моего тела, которая стала гнить, меня не успокоил. И тут я вдруг вспомнил про "Смерть и инициацию". До сих пор я видел эту книгу "снаружи", как плод эрудиции и философии. Я обманулся, не понял существенного. Инициация есть смерть, и всякая смерть, воспринятая разумно, может быть приравнена к инициации. Но "символическая смерть" (ритуальная, инициатическая) — это не только страдание, мучение, болезнь и т.п., но и ощущение своего собственного трупа, примирение с тем фактом, простым, но о котором мы забываем, что мы не только *преходящи*, но и пребываем в разложении, и что надо принять этот труп, который есть наша плоть, что надо смириться *с мыслью, что и это — тоже мы*. Нельзя думать *только о духе*. Это было бы слишком просто [...] Я успокоился, толь-

ко приняв себя такого, признав свой собственный трупный запах, сказав себе, что и это — тоже я» (*Фрагменты*, I, стр. 224 и сл.).

Утром, в сопровождении доктора Анри Хунвальда, я был в больнице Кюри. Хирург, коллега и друг Хунвальда, прооперировал меня через два дня. Но результаты некропсии я узнал только через неделю. Хотя хирург уверял меня, что «на девяносто процентов опухоль доброкачественная», я успокаивался, только повторяя, что регенерация, которую я ждал и которую, впрочем, испытал несколько раз в жизни, начнется отсюда, с опыта смерти*.

* * *

В апреле 1955 в Риме, под председательством Рафаэля Петтаццони, проходил VII Международный конгресс по истории религий. (Ван дер Леув умер вскоре после Амстердамского конгресса.) Я представил короткое сообщение «Магический полет», которое вызвало интерес у Иоахима Уоча** и еще у нескольких философов, а некоторых приверженцев «историцизма» привело в раздражение. Иоахим Уоч заговорил со мной о Хаскеллских чтениях в Чикаго (они прославились благодаря «Мистике Запада и Востока» Рудольфа Отто); в тот год их должен был проводить Ф. Хейлер, а на 1956–1957 было предложено мое имя. Кроме шести Хаскеллских докладов, мне предлагалось поработать в качестве *visiting professor* с октября по июнь. Конечно, я был польщен оказываемой мне честью, но признался Уочу, что не уверен, дадут ли мне американскую визу. Квоты для иммигрантов румынского происхождения были расписаны до 1990 года...

Среди ученых и философов, которых я встретил в Риме, был Э. Грасси, профессор философии из Мюнхена. Он рассказал мне о коллекции «*Rowohlt Deutsche Enzyklopädie*», которой руководил. Выход в свет первых ее выпусков планировался на осень, и он во что бы то ни стало хотел, чтобы я представил ему обобщающую работу, «*Das Heilige und das Profane*», введение в историю и феноменологию религий, где я использовал бы материалы «Трактата», но сконцентриро-

---

* Когда я узнал результаты некропсии, у меня был длинный и интересный *rêve éveillé*, который впоследствии исполнился (ср. *Фрагменты*, I, стр. 234–236).

** Уоч взял у меня «выводы» на двух-трех страничках и, прочитав их, сказал, что, по его мнению, мне удалось совершенно конкретно, на документальном материале, представить *свободу* и *трансцендентность* как столпы человеческого существования. Он подчеркнул несколько страниц. «Если рассмотреть в совокупности "полет" и всю параллельную символику, разом открывается их смысл: разрыв в универсуме повседневного опыта. Двойственная цель такого разрыва очевидна: "полетом" достигаются одновременно и *трансцендентность* и *свобода*». К несчастью, Иоахим Уоч умер в Локарно несколько месяцев спустя, летом 1955 года.

вался бы на отдельных существенных проблемах: священное пространство и время, структура и функция мифа, морфология божественных фигур. Все это — на ста шестидесяти машинописных страницах и не позднее весны 1956... Я пообещал.

В качестве гонорара за доклад для *ISMEO*: «Центр Мира, Храм, Дом», — Туччи снял для нас номер в отеле сроком на две недели. Таким образом я смог не спеша походить по Риму и объехать некоторые городки Лациума. По приглашению профессора Карло Диано, мы поехали затем в Падую, где я повторил свой доклад о Центре Мира.

Впервые с пятидесятого года я не фигурировал в программе «Эраноса». У меня было свободным все лето; я мог писать, что душе угодно. В июне, в Париже, я встретился с А. Гийерму, который вносил корректуру в «Заповедный лес»; роман должен был выйти в начале осени. Июль мы провели в «Каса Габриэлла». Чувствовал я себя, как на настоящих каникулах. Иногда задумывался: в каком духе мне захочется писать в случае успеха «Заповедного леса». Как-то утром на меня напал искус одной новеллы под названием «Капитанская дочка», она вышла короткой, и я написал ее уже к вечеру. Главными героями были два подростка, девочка и мальчик, оба загадочные донельзя.

Почти весь август мы провели в Тэше, маленьком сельце под Церматтом, где жили Алис и Роже Годель. Поселились на скромном постоялом дворе, соседей почти не было. Целыми днями только гуляли и читали. Потом я вдруг «увидел» начало еще одной новеллы и сел писать. На меня нашел стих, и я строчил по двенадцать-пятнадцать страниц в день, иногда настолько неразборчивых, что приходилось ночью их расшифровывать и переписывать заново. Когда в конце месяца мы вернулись в Аскону, присутствовать на «Эраносе», рукопись перевалила за сто страниц. Я начинал «На улице Мынтуляса», как новеллу, но чем дальше, тем больше открывалось мне новых эпизодов и непредвиденных поворотов. Кристинель прочла написанный кусок с энтузиазмом, но и с нетерпением; я пообещал ей, что кончу вещь, как только мы вернемся в Валь-д'Ор. Мы вернулись, и я много раз подступался к работе, пока не понял, что «не идет». Возобновил свои попытки на следующее лето, опять безуспешно. В общей сложности я провозил с собой рукопись двенадцать лет. Я писал другую прозу, но эта повесть, «На улице Мынтуляса», получила завершение только в ноябре 1967, в редкостно тяжелую неделю (курсы, визиты, конференции)*.

* По выходе в свет в 1968 году, повесть была переведена на немецкий Эдит Зильберман и опубликована в «Суркамп Верлаг» в 1972. «*Auf der Mantuleasa Strasse*» имела заметный успех, что подвигло издателя, Зигфрида Унсельда, выпустить перевод многих моих литературных сочинений. Знаменательная деталь: когда вышла из печати

* * *

«Заповедный лес» был опубликован в начале осени и прошел незамеченным, получив отклик только у Р. Лалу в «*Les Nouvelles Litéraires*» и еще в нескольких рецензиях. Из книжных лавок он исчез быстро, и переиздали его только через пятнадцать лет. Мои друзья и кое-кто из читателей пытались объяснить причину неудачи: слишком много страниц (640), слишком мелкий шрифт («почему вы не издали его в двух томах?» — писала мне с досадой и чуть ли не с возмущением одна «поклонница»), слишком много персонажей с трудно запоминающимися именами, затянутое начало. Напротив, некоторые литературные критики признавались мне, с горечью, в устных беседах, что «это роман из романов, а нынче такое, сами понимаете...»*.

Как я много раз говорил, провал меня не обескуражил. Я вкусил «успех и популярность» в молодости, от первых своих романов, и, в каком-то смысле, мне этого хватило. Вторая «проверка» просто укрепила меня в принятом решении: впредь я буду писать только для нас двоих и для нескольких румынских друзей.

С другой стороны, год 1956 оказался плодотворным и богатым на сюрпризы, как никогда. В январе я выступал с докладами в Мюнхенском университете и в институте философии Э. Грасси; во Франкфуртском университете, по приглашению Ад. Э. Йенсена, и в университете Марбурга, по приглашению Э. Бенца. По этому случаю я познакомился со многими немецкими писателями и философами, и среди прочих — с Адорно, которого заинтриговал мой интерес к мифическому мышлению...

Сразу по возвращении в Валь-д'Ор, я начал писать «Священное и мирское». Используя, по совету Грасси, множество примеров из «Трактата по истории религий», я сумел закончить рукопись в мае. Я и не подозревал тогда, что эта книжечка, переведенная на двенадцать языков, станет бестселлером в Европе, США и Японии; что, более того, ее будут использовать в качестве учебника не только в колледжах и университетах, но и в духовных семинариях.

Тем временем из Чикагского университета пришло заверение, что мне точно выдадут въездную визу, поскольку я утвержден как *visiting*

французская версия, «*Le vieil homme et l'officier*» («Галлимар», 1977), Марсель Брион с энтузиазмом отозвался о ней, выступая по телевидению, и книга, разошедшись в считанные дни, с тех пор несколько раз переиздавалась. Это был, впрочем, первый мой «литературный успех» во Франции — и пока что единственный.

* Я записал (ср. *Фрагменты из дневника*, I, стр. 234–246) некоторые свои последующие соображения по поводу «Заповедного леса».

professor на 1956–57 учебный год. После смерти Иоахима Уоча кафедра истории религий осталась свободной. Меня также попросили представить названия Хаскеллских докладов и темы лекций для зимнего и весеннего триместров. Для Хаскеллских чтений я выбрал «*Patterns of Initiation*». Что касается университетского курса, я предложил «Философию и техники йоги», а для последнего триместра — «Шаманство в Азии и Америке». Темы были достаточно обширные и сложные, но я решил, что буду развивать их, сообразуясь с интересами и подготовкой студентов.

Поскольку Ольга настаивала, чтобы я участвовал в «Эраносе», я подыскал тему, легкую для меня: «*Le vertu créatrice du mythe*». Подготовка текста, я знал, не потребует от меня много времени. Всю свою энергию мне надо было сосредоточить на написании шести докладов об инициации. Писать их я начал с наступлением лета, потом мы два месяца провели в Асконе. «Каса Габриэлла» и на сей раз чрезвычайно мне благоприятствовала. К тому же наши друзья, Кристиан и Мари-Луиз Деолен уже несколько лет проводили каникулы на соседней вилле. По вечерам мы вместе купались в озере, потом поднимались к ним на террасу и вели долгие беседы.

Когда Кристинель отпечатала первые четыре доклада, я послал их блестящему переводчику Уилларду Трэску, который уже перевел «Миф о вечном возвращении» и «Йогу» и которому предстояло, до его смерти в 1980, перевести почти все мои книги по истории религий. Я работал только еще над пятым докладом, когда мы вернулись в Вальд'Ор. Но кончить его не успел ...

* * *

Вместе с Мами мы погрузились 17 сентября 1956 года на трансатлантик «Иль-де-Франс». Пробыв неделю в Нью-Йорке у Ионела и Лизетт Перля, мы впервые в жизни сели в знаменитый по тем временам американский пульмановский *wagon-lit* и сошли на одном из Чикагских вокзалов утром первого октября.

Нью-Йорк доставил нам много радости, здесь же ни я, ни Кристинель не решались признаться самим себе в неясном чувстве тревоги, с каким мы озирались вокруг на перроне почти пустого вокзала. Мы попали в *чужой* город и понимали это. Без друзей, без родных, без знакомых. Нас утешала только уверенность, что самое большее через семь-восемь месяцев мы вернемся в Париж, к родным и друзьям. Мы и представить не могли, что меня возьмут в штат профессором, что я получу должность заведующего кафедрой истории религий Чикагского университета и мы останемся на двадцать семь лет в этом знаменитом, загадочном, чарующем «городе ветров», *Windy City*.

Часть шестая

Жатва равноденствия

Глава 23
Начинаю открывать Америку...

Чикаго, 10 декабря 1984 года. Уже четверть часа я стою у окна и смотрю в пустоту, не понимая почему. Я встал из-за стола, думая, что пошел снег. А потом не мог отойти от окна, хотя снега и в помине не было.

Вчера вечером в «*Palmer House*», в зале, превращенном в ресторан и набитом до отказа (восемьсот с лишним гостей, как мне сказали), праздновалось семьдесят пять лет со дня основания *American Association of Religious Studies*. Речи, воспоминания, аплодисменты. А в конце чествовали меня: краткое выступление Чарльза Лонга (должен был говорить Джо Китагава, но он приболел), дивная композиция Фрэнка Берча Брауна «*Ritual Compass*» (фортепьянный квинтет) в исполнении молодых профессоров университета и дар Академии — скульптура Элиаде работы Исама Ногути. Впервые в своей истории *AAR* чествовала «самого выдающегося» (и, может быть, самого старого, уточняю я) из специалистов по *religious studies*.

Недавно, вот так же уставясь в окно и ничего не видя, я вспоминал множество всего — встречи, людей, происшествия, без всякой связи между собой. А в промежутках, все чаще и чаще, возникал один и тот же вопрос: успею ли я дописать «Автобиографию» до 9 декабря 1984 года, до вчерашнего «чествования»? Я прервал «Автобиографию» этим летом в Париже: последняя глава кончалась на нашем прибытии в Чикаго. С тех пор у меня не было ни времени — ни охоты — возобновлять работу над рукописью. Усталость, усугубляемая последствиями еженедельных инъекций с коллоидным золотом. Пишу трудно, с большим усилием, потому что снова воспалилось правое запястье и едва дает мне держать перо в руке. Уже несколько месяцев как в правой лодыжке тоже воспалились связки, и я хожу с тростью. А столько надо сделать! В первую очередь, разобрать свой архив (рукописи, *Дневник*, тетради с заметками, переписку): что передать в дар «Частным коллекциям» университетской библиотеки, что послать в Париж...

Как будто бы начинаю понимать, что удерживало меня давеча у окна. Прямо передо мной, в нескольких шагах — деревянная лест-

ница того дома, где мы жили в первый год, с октября 1956 по май 1957, а чуть перевести взгляд — и видна терраска нашей квартиры на верхнем, третьем, этаже, которую мы снимали двадцать лет назад. Мне кажется, я правильно угадал, я понял, почему мой взгляд приковали эти два соседних дома с деревянными лестницами ярко-красного цвета, спускающимися в один и тот же сад, еще несколько лет назад полностью погруженный в тень старых деревьев: в каком-то смысле они представляют начало и конец нашего пребывания в Чикаго. Потому что через пять или шесть месяцев мы оставим квартиру на Вудлон Авеню, 5711, и переедем жить (после двадцатисемилетнего отсутствия) в Париж...

В дверь стучат. Обычно я не отвечаю — только если кого-то жду. Но сегодня спешу открыть дверь. По случаю Конгресса *AAR* (эта сессия, мне сказали, собрала около семи тысяч ее членов) съехалось и много моих бывших студентов, специалистов по истории религий, большинство из них профессорствуют в университетах США и Канады. Человек двенадцать уже заходили меня навестить.

Как всегда, прежде чем рассесться, они с трепетом рассматривали книжные полки и стулья, заваленные папками, журналами и книгами. Им вспоминалось, как десять, пятнадцать или двадцать лет назад они после лекций приходили ко мне за советом или обсудить проблемы в связи с диссертациями, которые они писали. Один из них, оказывается, недавно стал дедушкой...

Но на сей раз в коридоре стоит мой коллега и сосед. Его кабинет — напротив, и, как обычно, он оставил свою дверь открытой. Он пришел поздравить меня с «моим торжеством». Слушая его, я смотрю в окно, которое выходит на 57-ую улицу, и вдруг осознаю, что у меня на лице улыбка. Напротив виден так называемый «*Coach House*», живописнейший домишко, в котором мы жили в 1959–61 годах. Чикагская-то наша жизнь, двадцать семь лет, — осеняет меня — чуть ли не вся поместилась на какой-то сотне квадратных метров...

* * *

В то утро первого октября 1956 года такси доставило нас в университетский клуб, *Quadrangle Club*, где нам отвели две большие смежные комнаты. После обеда Джозеф Китагава, с которым мы уже были знакомы по Асконе, и его жена Ивлин заехали за нами на машине, чтобы показать нам центр города, Луп. На нас произвели впечатление суровость и величавость Мичиганского озера, опоясанного шоссе. Другого берега не было видно, а свинцовый оттенок и буруны напомнили нам Черное море. От кампуса до центра было что-то около пятнадцати километров. Но оказалось, что Чикаго простирается

и на юг, где располагался университет, и на север. Хорошо, что вблизи кампуса проходил поезд и что конечной станцией он имел как раз Луп. Вечером Китагава пригласил нас в китайский ресторан, и я с волнением обнаружил там стиль калькуттского Чайнатауна двадцатипятилетней давности, столь отличного от китайских ресторанов Парижа.

В ту ночь, хотя мы очень устали, нам не спалось. Мы слышали, как завывает ветер: иногда его порывы были такие сильные, что мы боялись, как бы он не вырвал окна из петель. После мы узнали, что Чикаго прозван *The Windy City*...

На другой день — первый визит на богословскую кафедру, *Divinity School*, в сопровождении Китагавы. Мы пересекаем Университетскую авеню под высокими и внушительными деревьями, еще только начинающими желтеть. Джо показывает мне здание знаменитого Восточного института; мы проходим между двумя теннисными кортами, и нас встречают другие деревья, еще красивее, за которыми стоят здания разных факультетов и лабораторий. Входим в *Swift Hall* (он назван так по имени миллионера, который дал деньги на строительство здания). В своем кабинете меня поджидает с радушной улыбкой декан, Джерри Брауэр. На удивление молодой — не старше тридцати двух — тридцати трех лет на вид. Представив меня Уиверу, декану по работе со студентами, он ведет нас с Джо Китагавой в большой конференц-зал, где мне предстоит вести Хаскеллские чтения. Потом лифт поднимает нас на четвертый этаж, заходим в читальный зал библиотеки и, наконец, в канцелярию, где декан представляет меня всему персоналу и коллегам, среди которых — историк, знаток христианского богословия, Ярослав Пеликан и Роберт Грант, специалист по гностицизму и патристике*.

Пообедав, по приглашению декана, в *Quadrangle Club*, мы с Кристинель ушли к себе. Мы оба устали, а Кристинель была еще и расстроена. Хотя она учила английский и свободно читала, но на слух улавливала не все, а собеседники не понимали те немногие фразы, которые она осмеливалась произнести, из-за ее, как выяснилось позже, «франко-британского акцента». Мы подбадривали друг друга: восемь месяцев занятий пролетят быстро, жалованье (1000 долларов в месяц) позволит нам вернуть ту сумму, что мы одолжили у Ионела Перли на дорогу и на устройство на новом месте. Мы надеялись к тому же, что сумеем отложить кое-что — на год жизни в Валь-д'Ор.

Через несколько дней мы нашли небольшую квартирку в одном из домов, принадлежащих факультету, а точнее, его подразделению,

* Вместе с Кристинель мы познакомились со всеми профессорами и их супругами на традиционном факультетском банкете, несколько дней спустя.

Мидвиллской Школе унитарианского богословия*. Квартирка была скромная: комнатка-кабинет, спальня, ванная и кухня. Окна выходили в садик за домом, а с деревянного крыльца мы спускались прямо под деревья. Письменный стол был маленький и шаткий. Хорошо, что мне приходилось им пользоваться только по ночам. Днем я работал в просторном «офисе», который был выделен мне факультетом в Мидвилле.

* * *

Я выступил с шестью своими докладами в Свифтовском зале. Присутствовала большая часть моих коллег, но и несколько профессоров с других факультетов, которые читали «Миф о вечном возвращении» и даже кое-какие из книг, на английский не переведенных. Я не отдавал себе отчета в том, что мое произношение (которое не смогли выправить месяцы, проведенные в Лондоне и Оксфорде в 1940–1941 годах) затрудняло понимание текста, и без того весьма нелегкого**. Зал, который сначала не вмещал всех пришедших, на последних двух докладах был заполнен только на три четверти. В числе других помех, как я сообразил потом, было и то, что я произносил привычные имена божеств (Исиды и Осириса, например, и, за редким исключением, весь греко-латинский пантеон) на французский лад. Когда я спросил слушателей, все ли им было понятно, одна из лучших студенток ответила: понятно на пятьдесят процентов. Мне следовало с самого начала обратить внимание на важность этих «фонетических мелочей»; следовало попросить кого-нибудь из студентов предварительно прочесть мне вслух текст докладов, чтобы я отметил в рукописи правильное произношение.

Что беспокоило меня еще больше, так это вариативность и сложность «американского языка»; мне не удавалось овладеть произношением, специфическим для Среднего Запада, для этого огромного *melting pot*. Иногда у меня создавалось впечатление, что некоторые фонетические нюансы ускользают от моего слуха; что некоторые слова, когда я их произношу, понимают мои коллеги и студенты, но совершенно не понимает какой-нибудь шофер такси или даже продавцы в разных магазинах. К счастью, многие из моих американских коллег уверяли меня, что с ними тоже часто случается такое...

---

* Федеральный богословский факультет, недавно основанный, включал в себя, кроме богословской кафедры, еще три подразделения — Чикагскую теологическую школу, Мидвиллскую (унитарианскую) Школу и Колледж учеников Христа.

** Я приводил, например, десятки экзотических названий, от австралийских, африканских или южноамериканских племен и божеств до пантеона и терминологии, принадлежащих восточным и эллинистическим религиям.

Семинар, который я стал вести вскоре после открытия Хаскеллских чтений, задал мне более легкую задачу. На него записалось около пятнадцати студентов, а добровольным ассистентом был Чарльз (Чак) Лонг, умница, молодой пастор-негр. Один из последних учеников Иоахима Уоча, Чак писал тогда диссертацию по истории религий; темой он выбрал концепцию «демонического», как ее интерпретировал Пауль Тиллих. При всей разнице в возрасте, мы в недолгом времени подружились. Вскоре Чака Лонга назначили деканом по работе со студентами. А еще до утверждения в ученой степени ему поручили читать вступительный курс по истории и методологии религиеведения.

Я решил, что все три семестра мы будем обсуждать материалы и проблемы из «Трактата по истории религий». Я располагал рукописью английского перевода (он вышел через год под заголовком «*Patterns of Comparative Religions*») и зачитывал из него то одну, то другую выдержку, не забывая при этом выписывать на доске все имена и все технические термины. Еще долго с грустью вспоминал я этот первый семинар — я-то думал, что он будет единственный и закончится в конце весны. Но судьба распорядилась иначе...

Некоторое время назад Насер овладел зоной Суэцкого канала. Из письма Роджера Годеля мы узнали, что госпиталь Суэцкой компании, где он проработал много лет, национализировали. Им придется навсегда вернуться во Францию и поселиться в Валь-д'Ор, в своей квартире. Таким образом мы опять лишались французского жилья. Все же мы надеялись, что заработанных в Чикаго денег нам хватит на аренду маленькой квартирки в Париже. Мы рассчитывали на инициативу и знакомства Сибилл. Пока же Алис Годель попросила ее увезти из Валь-д'Ор библиотеку и рукописи, которые мы там оставили, и Сибилл принялась за дело...

* * *

Вначале у нас почти не было времени выйти за пределы кампуса. Но к середине октября мы уразумели, что можем иногда вежливо отказываться от приглашения на ужин. Осень стояла бесподобная. Ближе к вечеру мы уходили на прогулку. Шли к озеру, от которого нас отделяло два без малого километра. Садились отдохнуть на скамейку, неотрывно смотрели на волны, как они грозно накатывались на берег, а после дробились и рассыпались среди камней. Или гуляли под вязами и буками вдоль Вудлон Авеню, мимо этой странноватой Часовни Рокфеллера (готический собор в исполнении ацтеков, как я ее прозвал), пересекали знаменитый Мидвей и возвращались поздно вечером. Иногда шли по Мидвею до больницы и клиник университета и гуляли в этом миниатюрном парке.

Однако, когда мы раз описали супругам Роберт Грант «географию» наших прогулок — от сумерек до наступления ночи, — они восприняли наш рассказ с непонятным для нас изумлением; им как будто не верилось, что мы столько раз пересекали Мидвей и на нас ни разу не напали. Они заклинали нас не вести себя впредь так вопиюще неосмотрительно, и мы, к сожалению, послушались их совета. Только через несколько лет вся сеть Мидвея (хотя и прекрасно освещенная) стала по-настоящему опасной. По вечерам мы не осмеливались выходить на нее иначе как целой компанией.

С первых же недель мы открыли для себя Полевой музей и Институт искусств и посещали их, когда только могли (вернее, когда кто-нибудь из моих коллег предлагал нам прогуляться на машине *down town*). Больше всего меня интересовал Полевой музей. Я давно был знаком с его публикациями. В Калькутте, в библиотеке Азиатского общества, я читал почти все работы знаменитого востоковеда и этнолога Бертольда Лауфера, одного из директоров Полевого музея. Что касается Института искусств, мне понадобилось несколько лет, чтобы познакомиться с его сокровищами.

* * *

Я долгое время не решался давать оценку системе американского университетского образования. Она казалась мне и проще, и в то же время сложнее, чем традиция европейских университетов, какой я знавал ее в своей юности, в Румынии и Италии, и, сразу после войны, во Франции. Тут, на мой взгляд, слишком много часов отводилось на лекции и семинары; к ним прибавлялись дискуссии со студентами и письменные работы, которые каждый студент должен был представить к концу триместра. Эти *term papers* на пятнадцать-двадцать машинописных страниц профессор должен был прочесть с карандашом и обсудить, хотя бы устно, с их автором. Для подготовки и написания собственных работ профессора располагали только временем каникул. А поскольку все еще действовала знаменитая формула *«publish or perish!»*, большое число часов, посвящаемых исключительно учебной деятельности, казалось если не форменным бедствием, то уж, во всяком случае, тяжелой нагрузкой*.

С другой стороны, в американской университетской традиции ценилась прежде всего личность профессора, а не «оригинальность» каждой лекции, которую ему приходилось читать. Научный вес

---

* Поэтому очень многие рассчитывали на субсидии различных фондов, что позволяло взять неоплачиваемый отпуск от одного до трех триместров — время, необходимое для исследований или для написания собственных работ.

и креативность каждого нового члена Отделения — прежде чем подписать с ним контракт — оценивал Совет факультета. Для молодых «аттестация» повторялась через пять, а потом через десять лет, по случаю перехода от звания ассистента к старшему преподавателю и, наконец, к профессору. В отличие от давнишней классической системы европейских университетов, при которой профессор был обязан, по крайней мере, морально, «вносить что-то новое» в каждый курс, который читал, — американский профессор имел свободу повторять те или иные курсы. Он мог также позволить себе представлять и обсуждать проблемы без претензии на «оригинальность». От него требовалось только владеть материалом и «*l'état des questions*» и излагать их ясно и со знанием дела. В конечном счете, профессор мог излагать информацию, собранную другими учеными, и резюмировать их интерпретации без риска нанести ущерб своему научному престижу. Об «оригинальности» же его судили, в первую очередь, по его собственным публикациям.

Приняв все это во внимание, можно было уже не считать две или три лекции в неделю, семинары и встречи со студентами фатальным препятствием для всякой попытки «оригинального творчества», как мне это виделось в первое время. Тем более что традиция частных университетов (например, Гарварда или Чикаго) позволяла профессорам самим выбирать темы и организовывать курсы не только по потребности Отделения, но и учитывая свои личные занятия. Многие книги моих коллег были написаны благодаря тем курсам, которые они читали и повторяли в течение ряда лет.

* * *

В конце зимы декан факультета Джерри Брауэр пригласил меня пообедать с ним вдвоем в *Quadrangle Club*. Он спросил меня, как чувствует себя Кристинель в Чикаго, нравится ли ей «американская академическая среда». Я не решился сказать ему всю правду: что пока Кристинель чувствует себя, как в изгнании. Но что ее больше всего смущает «американский язык», сказал.

— Однако она говорит довольно хорошо, — возразил мне Джерри. — Еще несколько месяцев — и все трудности исчезнут.

Потом он спросил меня, что я думаю о нашем университете, и я совершенно искренне ответил:

— Только хорошее.

Декан вспыхнул от радости.

— Тогда я задам вам еще один вопрос: вы бы согласились на должность штатного профессора? Для начала — на десять лет. На факультете возражений нет...

— Вы же понимаете, — ответил я, — мне надо сначала посоветоваться с Кристинель...

Джерри выразил полное понимание. Он знал по опыту других и по собственному опыту декана, что если супруга не всем довольна, профессор надолго в университете не задержится.

— Но в любом случае, — продолжал я, — я не решился бы связать себя контрактом на десять лет, мне надо закончить ряд работ. Давайте начнем с контракта на четыре года...

У Кристинель предложение не вызвало энтузиазма, но она все же согласилась вернуться после каникул в Чикаго, особенно когда я заверил ее, что, если мы не выдержим, мы можем уехать и через два года (разумеется, загодя проинформировав факультет, чтобы подыскали мне замену). Несколько дней спустя я сообщил Джерри Бауэру свое решение: я принимаю должность штатного профессора и заведующего Отделением истории религий с таким условием: я читаю курс (три лекции в неделю) и веду двухчасовой семинар только первые два триместра, а в весенний триместр лекций не читаю, но буду в распоряжении студентов, в первую очередь — тех, кто готовит докторскую по истории религий. Декан согласился, и я сохранил этот привилегированный режим до 1983 года, пока не стал *emeritus*...

* * *

На зимний триместр я поставил курс о йоге. Как я и думал, зал был заполнен до последнего места. От Уилларда Трэска пришли гранки книги «*Yoga: Immortality and Freedom*», и на первых лекциях я зачитывал выдержки из нее, непременно добавляя устный комментарий всякий раз, когда чувствовал, что текст слишком насыщен. Но скоро я отказался от такого порядка, постарался свести до минимума изложение доктрины и взамен сосредоточился на различных практиках йоги. Аудиторию составляли, в основном, студенты Колледжа и других факультетов. К моему удивлению, большинство из них прослушало курс до конца триместра. Правда, уже несколько лет американская университетская молодежь увлекалась Индией и, в первую очередь, йогой.

Курс о шаманстве, который я читал в весенний триместр, напротив, посещала очень небольшая группа студентов. Немногие интересовались этим предметом, знакомым тогда только антропологам. (Шаманство начнет пользоваться кое-какой популярностью только в 1970–1975 годах.) Кроме того, студенты Отделения истории религий готовились в это время к экзаменам, и у них почти не было времени (как, впрочем, и любопытства) вникать в изложение шаманских инициаций и практик. Я же чувствовал себя усталым: помимо

университетских обязанностей, работал по семь-восемь часов в день, готовя к печати текст Хаскеллских докладов.

Только с весны 1957 я стал лучше разбираться в достоинствах и недостатках американских студентов. С одной стороны, за редким исключением, совсем юные студенты — из Колледжа или с первого курса университетеа — казались мне не так хорошо подготовленными, как их ровесники во Франции. У них явно хромало лицейское образование — в первую очередь, по части базовых элементов гуманитарной культуры. С другой стороны — хотя чаще всего бессистемно — их информировали о некоторых явлениях культуры, которые были в новинку европейцам тогда, в 1955–1960 годах. Например, еще в средней школе им целый триместр рассказывали о Фолкнере или Камю (притом что они не читали ни Бальзака, ни Стендаля, ни Толстого). Они знали «В ожидании Годо» или «Электру» О'Нила (но ни одной пьесы Шекспира). В Колледже они слушали курсы по Фрейду и Сартру или по современному искусству. Только потом я понял смысл и пользу этой программы: большинство учеников не имели возможности продолжить образование после окончания средней школы или Колледжа (университетское образование в США дорого, и не всем удается получить стипендию). Считалось поэтому, что ученика надо ввести в курс хотя бы некоторых проблем и явлений, специфических для современной культуры, как, например, психоанализ, экзистенциализм, современный роман и театр.

Все же в университете, слушая курсы, необходимые для получения лиценциата (магистра гуманитарных наук), студенту приходилось, хотя бы частично, заполнить пробелы в «базовой культуре». Так что, готовя докторскую по одной из гуманитарных дисциплин и будучи вынужден выучить два европейских языка или языки классические, или один, если не больше, из восточных, американский студент уже мог вступить в сравнение с европейским образца пятидесятых годов.

Лучше всего я, разумеется, познакомился с узким кругом студентов, приходящих на семинары по истории религий. Некоторые имели приличную подготовку, другие — не слишком. Но забота была у всех одна: как бы поскорее ознакомиться с методологией и проблемами истории религий. Со временем мне довелось понять, что страсть к «методологии» в некотором роде составляла часть «американской традиции». Нередко случалось, что кто-то из студентов спрашивал меня, с волнением и пафосом:

— Каков самый лучший метод, чтобы изучить и понять историю религий?

Мне казалось, что я узнаю потомков первых волн пионеров, отправившихся завоевывать и культивировать огромное «запредельное» пространство. Это было то же основополагающее убеждение: ес-

ли у нас будут самые лучшие орудия труда, мы сделаем из этой страны рай; если у меня будет самая лучшая метода, я пойму историю религий во всей ее сложности и сумею сделать открытия, о которых никто до сих пор даже не подозревал...

* * *

В начале июня мы, все профессора и студенты Отделения, вместе с женами и детьми, собрались на традиционный пикник, который устраивался каждый год на берегу Озера, в Дюне. У Хэриет Плат, жены профессора географии, увлекавшейся «мистикой Востока», был там дом, где, в случае необходимости, мы могли найти убежище. Тогда-то я еще лучше понял дух непосредственности этих праздничных встреч семьями, студенческими и профессорскими. Университет в самом деле представлял собой общину, и каждый факультет, каждое отделение были семьей.

Более четверти века прошло со дня того пикника в июне 1957. Почти все тогдашние студенты уже давно стали профессорами, а дети, которые играли на берегу озера, готовят лиценциаты, пишут докторские или рассеялись по трем континентам, заниматься либо исследовательской работой, либо делами предприятий, куда устроились на работу. Много лет назад уехав из Чикаго, наши бывшие студенты продолжают держать нас в курсе — хотя бы в ежегодном подробном новогоднем письме — своих последних новостей: научных (публикации, продвижение по службе и т.д.) и семейных (например, как зовут невесту младшего сына)...

* * *

Несколько дней спустя мы поехали поездом в Нью-Йорк, где нас ждали Лизетт и Йонел Перля. Скоро, правда, Йонелу предстояла поездка в Европу: он согласился, кроме всего прочего, дирижировать несколькими концертами на фестивале в Экс-ан-Прованс. Мы остались до 13 июля, когда погрузились, вместе с Лизетт, на пакетбот «Либерти».

Мне надо было написать два доклада для «Эраноса» и сообщение для Конгресса востоковедов в Мюнхене. Я знал, что в Париже не найду необходимой тишины, да даже и нормального письменного стола. Тут, в Нью-Йорке, я располагал комнатой Йонела, светлой, с окнами на палисадники соседних домов; зноя здесь не чувствовалось, а тишина нарушалась только по временам криками и проклятьями какой-то умалишенной старухи.

Я захватил с собой кое-что из книг и почти все папки с заметками и выписками в связи с опытом «внутреннего света». Эти материалы

собирались в последние годы, с тех пор как я решил проанализировать этот род мистического опыта в перспективе истории религий. Давно зная индийские, иранские и китайские материалы, я вдруг натолкнулся на ряд примеров, говорящих о «спонтанных», то есть не сопровождаемых предварительной религиозно-аскетической подготовкой, опытах внутреннего света. Меня интересовал тот факт, что в разных религиозных традициях, как и в «спонтанных опытах», внутренний свет выражает всегда эпифанию Духа. Такие опыты проецировали субъекта в другой универсум, отличный от повседневного, и радикально меняли его онтологический статус, открывая его для ценностей Духа. Смысл внутреннего света открывался непосредственно тому, кто его переживал. Но, с другой стороны, этот смысл становился понятным только в рамках религиозной идеологии, знакомой субъекту. Хотя *опыт* «мистического света» был по видимости схож во многих культурах, от первобытных до ведической Индии, буддизма и христианского монашества, его духовный *смысл* и *ценность* варьировались от одной религиозной традиции к другой. Интересовал меня также сравнительный анализ, поскольку он делал очевидным как базовое единство определенных религиозных опытов, так и вариативность значений, которые они приобретали в разных традициях и которые свидетельствовали еще раз о креативности Духа*.

В те летние недели я проникся очарованием этого «последнего в Америке европейского города», как новые эмигранты называли Нью-Йорк. Тогда же мне представилась возможность по нескольку раз в неделю заходить в Метрополитен-музеум или не спеша беседовать с друзьями: Брутусом и Танци Косте, Йоном Вардалой, Н. Карамфилом и другими.

* * *

В Париже мы пробыли всего несколько дней. Нам не терпелось поскорее оказаться в Асконе, у Лаго-Маджоре. Ольга Фрёбе пригласила Стеллу и Анри Корбен, и «Каса Г'абриэлла» оживлялась теперь нашими долгими разговорами, затягивающимися иногда до поздней ночи. Анри и другие мои французские друзья и коллеги жалели, что я согласился остаться в Чикагском университете еще на четыре года, но при-

* Работа « *Expériences de la Lumière mystique*» вышла в «*Eranos Jahrbuch*», XXVI (Цюрих, 1958) и была включена в книгу«Мефистофель и андрогин» (Галлимар, 1962). Много лет спустя я вернулся к этой проблеме в работе «*Spirit, Light and Seed*» (*History of Religions*, XIII, august 1971, pp. 1–30; переиздано в: «*Occultism, Witchcraft and Cultural Fashions*» (Чикаго, 1976).

знавали, что пока другого выхода нет. Зато наши друзья из Фонда Боллинген, Джон Барретт и Вон Гиллмор, были очень довольны. Чего нам недостает, говорили они, так это не тех европейских профессоров, которые переезжают в Соединенные Штаты и только раз в пять-шесть лет ездят навестить родину, а интеллектуалов, которые соглашаются каждый год курсировать между двумя континентами. Это, конечно, утомительно и с финансовой точки зрения экстравагантно. («Лишних денег у вас не останется!» — предсказали они нам.) Однако такая культурная деятельность, осуществляемая по обе стороны Атлантики, скорее способствует более верному и глубокому взаимному пониманию традиций и творчества двух континентов.

Лето выдалось грозовое, и нам редко выпадал случай искупаться в озере или прогуляться по окрестным холмам. Я управился с текстами эрановских докладов и сочинил доклад для востоковедческого конгресса, который должен был проходить с 28 августа по 4 сентября в Мюнхене. Примеры, процитированные и прокомментированные в «*Expériences de la Lumière mystique*», вызвали большой интерес. Мне запомнились жаркие споры с Шолемом, Эрнстом Бенцем, Анри Корбеном и другими.

В Мюнхен я приехал прямо к открытию конгресса, встретил там многих своих коллег и друзей, востоковедов, и имел случай познакомиться с Джозефом Нидхэмом (который выразил свое восхищение «Кузнецами и алхимиками»), Вальтером Рубеном, Домиником Шрёдерем, А.Л. Бэшамом, Францом Бабингером и др. На второе сентября было поставлено мое краткое сообщение «*Remarques sur le miracle de la corde*». Эта проблема занимала меня давно: не только легендарный трюк с веревкой факиров, но и все опыты, мифологии и метафизические спекуляции в связи с нитями или веревками, которые иллюстрируют как участь человека в мире, так и структуру самого мира*.

Из Мюнхена мы переместились во Флоренцию, а оттуда, автобусом, в Сиену, Ассизи и Рим (ср. *Фрагменты*, I, стр. 246 и сл.). Мы оба, Кристинель и я, испытывали потребность снова увидеть осеннюю Италию. Я отдавал себе отчет, чем рискую, проникая в соборы и музеи или обходя книжные магазины и букинистов — но я знал, что меня ждет: комната в парижском отеле. С июля я стал *wandering scholar*, который живет и работает — за исключением «Каса Габриэлла» — в гостиничных номерах.

В начале октября мы вернулись в Париж и поселились на два месяца в отеле Па-де-Кале. Большой радостью была, конечно, встреча

* В значительно расширенном виде эта работа вышла под заголовком «*Cordes et marionnettes*» в «*Eranos Jahrbuch*», XXIX (Цюрих, 1961) и затем была перепечатана в «Мефистофеле и андрогине».

с друзьями (с семьей — Мами, Сибилл, Лизетт, Йонел и Оани — мы встретились в июле в Париже и еще раз — в Асконе). Но во второй половине ноября я снова уехал, один, в Уппсалу. Гео Виденгрен давно пригласил меня прочесть цикл докладов и провести семинары. Уппсала стала для меня поразительным открытием. А посидев в тамошней библиотеке, я понял, почему Жорж Дюмезиль приезжает сюда каждые два-три года дошлифовывать очередную работу: тут есть *все*, и тебе немедленно выдадут нужную книгу, даже если она уже за кем-то записана.

Я познакомился с молодым востоковедом и историком религий Х.Х. Рингренсом и встретил Стига Викандера, который ушел из Лундского университета. Я повторил два своих доклада об «опытах мистического света» и на семинарах устроил обсуждение различных «проблем методологии». Но больше всего меня увлекали беседы с Викандером, Виденгреном и другими коллегами. Я и сейчас помню того молодого человека, который выучил все семитские языки, только что защитил диссертацию и собирался вернуться на ферму в Заполярье. Несколько десятков коров, которые содержал его отец, снабжали молоком весь регион. Молодой человек со рвением набирался знаний по семитским языкам и культуре, чтобы закрепить их за полгода полярной ночи...

Я вернулся в отель Па-де-Кале в начале декабря. 15 декабря мы сели на корабль «*United States*», чтобы встретить Рождество в Нью-Йорке вместе с Лизетт и Йонелем. 1 января 1958 мы были в Чикаго. Одна наша приятельница, Пегги Грант, нашла нам квартиру на Кимбарк Авеню. Как бы там ни было, говорили мы себе, у нас тоже будет, хотя бы на шесть месяцев, *своя* квартира...

* * *

Квартира оказалась довольно-таки темная, с потрепанной мебелью, на стенах висели какие-то черно-белые репродукции, выцветшие афиши и много фотографий, вероятно, фамильных. Однако миссис Сибли, хозяйка, разрешила нам устроить дом по нашему вкусу и усмотрению. И уже наутро Кристинель принялась за дело. К счастью, я целые дни проводил в университете или в своем офисе на Мидвилл. По вечерам, возвращаясь домой, осматривался и приходил в восторг: дом начинал превращаться в *наш*. Скоро мы решились пригласить к ужину нескольких моих коллег с женами. Зима была в разгаре, но мы оба чувствовали себя лучше, чем год назад; с одной стороны, мы знали, что не пробудем здесь больше, чем пять-шесть месяцев; с другой стороны, все время помнили, что в конце августа поедем в Японию и попробуем пожить там подольше (насколько позволят

«сбережения») после закрытия Международного конгресса по истории религий.

В ту зиму 1958 я подружился с Джоном Нефом, основателем и главой удивительного отделения, получившего название (весьма загадочное) *Committee on Social Thought*. Открытый при содействии знаменитого ректора университета Роберта Хаткинса, этот Комитет прославился не только своей смелой и оригинальной программой, но и профессорами, которых он набрал, и знаменитостями, которых приглашал читать курсы лекций или вести семинары (среди прочих — Т.С. Элиот, Жак Маритен, Шагалл).

Мне с самого начала показался интересным «культурный проект», который затеял *Committee on Social Thought*: небольшая группа студентов (не более тридцати человек); очень мало собственно курсов лекций, но много семинаров, иногда под руководством двух-трех профессоров. Фундаментальную инновацию представляла система обучения, предваряющая «специализацию». Какова бы ни была область исследований, к которой тяготел студент, на первых двух курсах его ориентировали совсем в других направлениях. Из списка обязательного чтения студент выбирал двенадцать-пятнадцать книг, которые он анализировал и над которыми долго размышлял, с помощью профессоров*. Через два или три года студент имел право представиться на экзамен. Экзамен, по сути дела, состоял из ряда вопросов вокруг этих «наиважнейших книг». Студенту давался целый день для написания работы. На основании данных им ответов профессора решали, усвоил он или нет базовые элементы западной культурной традиции. Если да — он мог записаться в докторантуру по специальности, которая его интересовала, и начинал работать с профессорами различных факультетов, при этом продолжая принимать участие в семинарах Комитета. Разумеется, студент, который теперь сконцентрировался, например, на изучении ислама, досократовской философии или истории наук XVIII века, имел гораздо более широкий кругозор и куда как более связное видение целого, чем его коллеги по «специальности».

Меня кооптировали в члены Комитета, и два раза в месяц мы все вместе ужинали у Джона Нефа. Как правило, каждый раз присутствовали один-два иностранных гостя (так я познакомился с Джулианом Хаксли, Чарльзом Дарвином, Жаном Ипполитом и многими другими). После ужина затевался общий разговор или кому-то из гостей предлагали рассказать о его занятиях последнего времени или об ор-

* Среди выбранных книг должны были фигурировать: греческая трагедия, платоновский диалог, один из текстов Аристотеля, работа кого-то из великих историков, какой-нибудь знаменитый роман, кто-то из знаменитых моралистов, кто-то из великих политических мыслителей.

ганизации, в которой он работал. В каком-то смысле можно было сказать, что работу по «расширению культурного горизонта и углублению знаний» практиковали и сами члены Комитета...

* * *

В тот год всю зиму и весну я проработал интенсивно, почти без перерывов. Для лекций выбрал темы, которые хорошо знал и которые были мне интересны: «Структуры религиозного символизма» и «Аспекты мифа», — конечно, перечитав и дополнив материалы, почтой прибывшие из Парижа. На семинаре мы обсуждали ряд авторов, представлявших разные ориентации, от Уильяма Джеймса и Рудольфа Отто до Ван дер Леeува и Петтаццони. Как и на многих моих коллег, на студентов тоже производила впечатление моя «продуктивность»; в 1958 вышли в английском переводе еще три книги, среди которых «*Patterns in Comparative Religions*» («Трактат...»). Такой издательской «продуктивностью» я был обязан очевидным образом конъюнктуре.

Поскольку я чувствовал, что мы все лучше узнаем друг друга, мне нравилось беседовать с моими студентами. Со всеми вместе или с каждым по отдельности. И при всяком удобном случае я советовал им читать основополагающие тексты — от «Ригведы» и египетских и месопотамских документов до Корана — и по крайней мере по две-три монографии о первобытных религиях. Я не уставал напоминать им, что именно сейчас, в эти несколько лет, что отделяют их от диплома, самое время усвоить центральные проблемы дисциплины, как то: структура и функции мифа, морфология сверхъестественных фигур (богов и богинь, мифических героев и т.д.), типология ритуалов, определенные религиозные установления (например, инициацию). Ведь после защиты диплома им придется заниматься другими делами — либо преподавательской деятельностью (в каком-нибудь Колледже или в богословском институте), либо подготовкой диссертации.

В самом деле, диссертация по истории религий, которую в те времена принимали к защите только в нескольких университетах, предполагала специализацию по одной из главных религиозных традиций: индуизму, буддизму, исламу или религиям Дальнего Востока. Иначе говоря, от студента требовалось овладеть базовым языком религии, которую он выбрал объектом исследования: санскритом, пали, арабским, китайским или японским. При возрастании роли Востока во внешней политике Соединенных Штатов, студент мог надеяться, с одной стороны, получить двухгодичную стипендию на учебу в Индии или Японии, или на Тайване, или в какой-нибудь из арабских стран; с другой стороны, он знал, что такая подготовка (в отличие, например, от специализации по классическим религиям) давала

ему больше шансов занять кафедру истории религий. (Со временем университеты стали поощрять исследование «первобытных» религиозных традиций Африки и Южной Америки.)

В последующие годы я заметил, что многие студенты записываются на курсы санскрита, китайского или японского до защиты диплома, сразу как только определяют свое увлечение какой-нибудь из азиатских традиций. Я совершенно искренне их поощрял. «Что бы вы ни решили, чем бы ни занялись потом, — говорил я им, — изучение восточного языка сослужит вам хорошую службу...»

* * *

Весной 1958 я взялся писать текст для «Эраноса» — «Мефистофель и андрогин, или мистерия целостности». Я вернулся, с промежутком в пятнадцать лет, к некоторым материалам и трактовкам из своей книги «Миф о воссоединении» (Бухарест, 1942). Проблема объединения противоположностей все еще захватывала меня тогда (впрочем, захватывает и по сей день). Я успел закончить только первую часть, остальное дописал в Асконе. Работу над докладом пришлось прервать, потому что была уже середина июня, и до нашего отъезда я обещал представить Джо Китагаве статью о символизме в религиях. Мы вместе решили подготовить сборник работ в память об Иоахиме Уоче: «История религий. Эссе по методологии». Среди участников были Р. Петтаццони, Луи Массиньон, Фридрих Хейлер и Жан Даньелу. Как только Кристинель перепечатала мою статью, мы отправились в Нью-Йорк и оттуда вылетели в Париж.

* * *

Мы пробыли там всего несколько дней, потому что Ольга ждала нас в Асконе. На сей раз у меня почти не было времени порадоваться каникулам, почти весь день я проводил за письменным столом и успел-таки закончить текст до открытия «Эраноса». Так что потом мог воспользоваться случаем повидаться со множеством друзей и коллег. Как обычно, наши беседы на берегу озера продолжались чуть ли не до полуночи. Раз целый вечер я слушал Эрнста Бенца — с волнением и восторгом он рассказывал о Японии, где провел недавно несколько месяцев. Он узнал религиозный и артистический гений этого народа, и это было захватывающее открытие...

22 августа мы вернулись в Париж, а три дня спустя сели на самолет, летевший в Токио. Еще длилась эпоха «*prejet*». Один только перелет через Северный полюс от Стокгольма до Анкориджа длился семнадцать часов...

Глава 24
...и Японию

В токийском аэропорту нас встречали Джозеф Китагава и профессор Исиро Хори, который давал в этом году в Чикаго Хаскеллские чтения, где мы с ним и завели знакомство. Нам зарезервировали номер в отеле «Дай-ити». Хотя мы были очень утомлены долгим перелетом, Хори и Китагава повели нас в тот же вечер в японский ресторан. Мы ужинали вокруг низенького стола, сидя на подушках, нам прислуживали гейши. Ритуал нас просто восхитил.

Поскольку наш конгресс был в Японии первым международным конгрессом после войны, власти уделяли ему повышенное внимание. Почетным председателем конгресса был брат императора, принц Микаса, сам ученый, специалист по истории Древнего Востока, увлекающийся и историей религий. Кроме пышных приемов (больше всего мне запомнился последний, в ресторане «Чингисхан», расположенном в парке на холме), для участников конгресса устроили экскурсии в Нару, Исе, Киото и Иокогаму — в шикарных автобусах и на специальных поездах.

Из Европы и Соединенных Штатов прибыло множество ученых, среди них: А.-Ш. Пюэш, Поль Демьевиль, Жан Фийоза, Ф. Хейлер, Э. Гуденаф. Но присутствовало и немало специалистов из Индии и Австралии. Рафаэль Петтаццони, президент Международной религиеведческой ассоциации, по праву мог гордиться тем, что престиж нашей дисциплины так вырос за последние годы. Но незадолго до закрытия Конгресса он заболел и попал в больницу, откуда его перевезли прямо в Рим. Никто не думал тогда, что Япония станет его последним путешествием...

Наши рабочие встречи проходили в университете. Я присутствовал далеко не на всех заседаниях, предпочитая беседы с коллегами из Индии и Японии. Выступил с докладом о религиозном символизме, но он не вызвал дискуссий. Проблема была слишком сложной, и за двадцать минут, полагавшихся всем по регламенту, я успел коснуться только части ее аспектов.

Зато много раз меня втягивали в дискуссии, совершенно для меня неожиданные. Так, помню очень интересное сообщение о буддизме

махаяны, которое я слушал, сидя рядом с одним японским профессором философии. Мы познакомились несколькими днями раньше, и я узнал, что он — знаток немецкой философии, особенно Хайдеггера. Когда мы вместе направились в кафетерий, меня удивило его признание, что из сообщения он ничего не понял. В некотором смущении он добавил, что, кроме жизнеописания Будды, ничего не знает из истории и философии буддизма. Сидя в кафе за кока-колой, я услышал от своего товарища оправдание этого невежества. Вежливо улыбаясь, он объяснил, что большинство современных японских философов, включая его самого, не желают терять время на проблемы, которые принадлежат доисторическому периоду философской систематической мысли, — такие, как, например, буддизм.

Я принялся было убеждать его, что он ошибается, но профессор, не переставая улыбаться, скептически покачивал головой. В конце концов, эта вежливая улыбка вывела меня из себя... «Мне очень жаль, — сказал я, невольно повышая голос, — но боюсь, что современная японская философия рискует скатиться в провинциальность. Вы сами вынуждаете себя думать, как думают сегодня в Германии и во Франции. В вашем распоряжении — самая смелая логика, какую мир знал до Гегеля, — буддийская логика и ее разработка такими авторами, как Нагарджуна, Васубандху, Диннага, Дхармакирти, а вы отдаете ее на откуп исключительно историкам и востоковедам. Ваши философы либо с ней незнакомы, либо ее игнорируют. Вам, может быть, кажется, что она «неактуальна». Но это только доказывает, что вы ее просто не знаете. Ибо задача Нагарджуны и его последователей состояла вот в чем: логически доказать, что сансара идентична нирване, что становление (космическая «ирреальность») есть то же, что сущее (то есть онтологическое блаженство). В другом плане, преследуя другую цель и используя другие средства, философы-мадхьямики сталкивались с той же тайной *coincidentia oppositorum*, что и Николай Кузанский. А *coincidentia oppositorum* встречается сегодня в некоторых принципах ядерной физики (например, в принципе дополняемости Оппенгеймера) и вообще пронизывает весь исторический момент, который мы переживаем. Например, как возможна свобода в обусловленном универсуме? Как можно жить в Истории, не предавая ее, не отрицая ее и притом участвуя в трансисторической реальности? По сути дела, проблема вот в чем: как распознать *реальность*, закамуфлированную под *видимость*? Я ожидал бы от буддийского философа, чтобы он представил нам *цельное* видение Реального...»

С каждым днем мы с Кристинель все больше входили во вкус японской жизни. С самого начала нас покорили красота и разнообразие пейзажей, а в дальних экскурсиях на поезде мы открывали не только

легендарные города и религиозные центры — Киото, Нару, Исе, — но и некоторые черты, характерные для поведения и образа чувств японцев, например, их острый интерес ко всем творениям природы, от зверей и цветов до скал, озер и родников. Японский художественный гений как будто бы с особым пристрастием подпитывался бесконечными эпифаниями творческой силы Космоса. Та же эстетика узнавалась не только в живописи, архитектуре или в сценографии, но и в искусстве аранжировать цветы или в миниатюрных универсумах, каковыми являются японские сады. Как я понял позже, посетив множество храмов и побывав на синтоистских ритуалах (особенно на церемониях в Исе и на горе Фудзи), Природа подвержена санктификации через «посещение» богов и духов. Санктификации, которая совершается прежде всего через ритуальные жесты и танцы и через творения искусства.

В Исе мы ближе познакомились с Хираем, молодым священником-синтоистом, который изучал историю религий в Чикаго у Иоахима Уоча. Он повел нас в знаменитый храм, где мы еще раз полюбовались на грацию и непринужденность десяти молодых храмовых танцовщиц. Обернувшись к Хираю, один американский философ из нашей группы сказал:

— Смотрю на храмы, присутствую при церемониях и танцах, восхищаюсь костюмами и вежливостью священников, но не вижу теологии, которая лежит в основе синтоизма.

Поразмыслив немного, Хирай с улыбкой ответил:

— Теологии у нас нет. Мы... танцуем!..

Это была, конечно, бутада. Хирай не дерзнул напомнить американскому философу, что синтоистская теология выражает себя, прямо и внятно, не в вербальных формулах, а в церемониалах и, прежде всего, в танце...

* * *

В два оставшихся свободных вечера мы, вместе с Ивлин и Джо Китагава, Цви Вербловски и Джозефом Кэмпбеллом, посетили Гиндзу, самый живописный квартал Токио, весь в феерических огнях и разноцветных лампионах. Мы заходили то в одну, то в другую лавку и, еще прежде чем успевали задать вопрос, сколько стоит какая-нибудь кукла, кимоно, безделушка, уже получали подарок от торговца. Выражая благодарность по-английски, мы радовались всякий раз, когда нам удавалось быть понятыми. Вежливость, как и вообще поведение японцев, имела, бесспорно, ритуальный характер. Поэтому я чувствовал себя таким беспомощным (таким «варваром») без Джо Китагавы — не зная, как себя вести.

Помню наше путешествие в Киото. К вечеру мы с Кристинель были переполнены впечатлениями от того, что увидели; и не только от

храмов и дворцов, но и от улиц, садов, огней этого поразительного города. Ночевали мы в японском отеле. Номер напоминал квартиру, разделенную ширмами, восхитительно и разнообразно расписанными, которые можно было переставлять по своему вкусу. В первый раз мы спали на обернутых в полотно матрасах, прямо на полу. Мы были счастливы. Но отсутствие Джо и Ивлин Китагава чувствовалось. Сколько бы раз в тот вечер или наутро молоденькие служанки ни приходили спросить, не надо ли нам чего-нибудь, мы только благодарили их, пожимая плечами и улыбаясь.

* * *

После закрытия Конгресса мы с четой Китагава и с Джозефом Кэмпбеллом отправились в путешествие: Кобе, Фукуока, Нагасаки и Ундзен. Одну ночь ночевали в Беппу и имели таким образом случай принять ванны в соответствии с японской бальнеологической традицией. На следующее утро приехал профессор Фуруна, чтобы сопровождать нас в Фукуоку. По дороге мы сделали остановку, чтобы посмотреть на знаменитый лесистый холм, населенный обезьянами. Прибыв в Нагасаки, мы первым делом направились к огромному пустырю, где тринадцать лет назад взорвалась вторая атомная бомба. В кратком тексте на нескольких языках объяснялось, почему эта часть города не реконструируется: чтобы напоминать всему миру об апокалипсисе термоядерной войны.

В Фукуоке, в университете Кюсю, профессор Фуруна организовал симпозиум, в котором участвовали австрийский антрополог Вильгельм Копперс, Джозеф Кэмпбелл, Китагава и я. Тема была: «Современные методы исследования истории религий». Почти священный трепет японских ученых перед «методологией» напомнил мне моих чикагских студентов. Дискуссия вышла довольно живая; Вильгельм Копперс, будучи по образованию богословом, тем не менее утверждал, что в нашей дисциплине акцент надо делать на *историю*. Что касается меня, я настаивал на противоположном: история религий — единственная дисциплина, которая позволяет исследователю узнать и понять бесчисленные выражения религиозного опыта, *религиозных идеологий*.

Вечером Фуруна повез нас на руины бывшей столицы Фукуоки. От нее остались только несколько камней и план, реконструированный архитекторами. Потом мы посетили буддийский храм, крайне нищенского вида. И, наконец, проехав еще километров десять, остановились у синтоистского святилища. Мне запомнилось миниатюрное озеро, мосты с фонарями, детвора, играющая на мостах...

Опущу воспоминания о Кобе, Хакате и Ундзене, обо всех встречах и впечатлениях... Через неделю мы вернулись в Токио. Кристинель перебарывала грипп, так что я один поехал в Сендай, куда меня при-

гласил Хори. Разрушенный американской авиацией, город был недавно отстроен, на скорую руку и очень уродливо. Многие дороги и улицы все еще были в состоянии реконструкции. Хори повел меня в парк — лес с гигантскими, вековыми деревьями. Мы поднялись в гору и оказались у изящного моста, перекинутого через неожиданно глубокую пропасть. «С этого моста, — сказал Хори, — обычно бросаются вниз самоубийцы из Сендай. — И добавил: — Впрочем, и из других районов тоже». Надпись на металлической пластине пытается их спасти *in extremis*. «Берегись, — гласит она, — не поддавайся соблазну опрометчивых поступков» (ср. *Фрагменты*, I, стр. 261).

Хори жил в одном из тех новых домов, что построили американцы и передали в этом году университету. Меня же поселили в «Парк-отеле», в Мацутиме, километрах в двадцати от Сендай. Отель стоял прямо на берегу океана. При нем был огромных размеров сад и дебаркадер, от которого отходили моторные лодки для прогулок между островами. Островов было около сотни. Одни — не больше скалы, где не разгуляешься, другие — измеряемые метрами или десятками метров, а третьи и еще больше, поросшие деревьями и редкой травкой. Они шли один за другим, когда теснее, когда реже, занимая площадь в несколько километров (ср. *Фрагменты*, I, стр. 260).

Незабываемыми оказались дни в Сендай и те вечера и ночи, когда я сидел на террасе отеля в Мацутиме, блуждая взглядом по островам и скалам. Кроме конференции и семинара (разумеется, по методологии!), организованных Хори, я имел возможность поговорить со многими профессорами и студентами. Интересным было и посещение слепой псевдо-шаманки (*miko*), которое устроил мне Хори (ср. *Фрагменты*, I, стр. 264).

По вечерам, оставаясь один на террасе отеля в Мацутиме, я пытался упорядочить впечатления. В последние недели мне казалось, что я начинаю понимать определенные аспекты японской религиозности. Записал в дневнике ее главные черты: «потребность общаться с божеством или с духом, временно воплотившимся в какое-нибудь человеческое существо, и получать от них наставления; тенденция соприкасаться с божественным или со священным *in concreto*, как оно проявляется в живом существе; неприязнь к абстрактному и "трансцендентному" (...) Японская душа увлечена конкретными эпифаниями божественного (...) Я бы сказал, что она имеет склонность к теологии временных, мимолетных телесных воплощений духа — духа, живущего в любом образе: бога, человеко-бога, души умершего, души животного и так далее и тому подобное. Боги суть по преимуществу странники, *гости*. Преображению подвержено все в Космосе, нет недостойных принять «визит» бога: и цветок, и камень, и деревянный столб, — все достойны. Мир освящаем непре-

рывными вспышками эпифаний... Боги *не обосновываются* нигде в мире. Дух нисходит когда и куда угодно, но не остается там, не дает Времени поймать себя. Эпифания всегда молниеносна. Всякое божественное присутствие преходяще» (ср. *Фрагменты*, I, стр. 267).

Мне, конечно, были известны мифология и религиозные традиции Японии, как и специфические для японского буддизма вещи, в первую очередь, доктрина и техники школ дзен. Но опыт четырех недель, проведенных в Японии, позволил мне углубить и свести воедино мои книжные знания. После Индии моей юности мне представился случай открыть другую восточную цивилизацию, и разнящуюся, и сходную по духовным творениям с Индией, да и с Азией в целом.

* * *

На обратном пути мы остановились на неделю в Гонолулу. Наш отель, стоящий, как и многие другие, прямо на берегу, располагался в новой части города, построенной для туристов. Но искусственность, рассчитанная экзотика квартала были настолько очевидны, что уже через несколько часов я перестал обращать на них внимание. Невозможно было противостоять неправдоподобно прозрачному свету Тихого океана. Скоро ни на что не хотелось смотреть, кроме как на протяженные, бесконечные океанские волны (хотя бы и с неизбежными водными лыжами) или пальмы, по мере удаления от пляжа как будто бы все более высокие и стройные.

Однажды мы пересекли весь остров, ища в лесу виллу, на которой уже давно жили сестра и мать Джозефа Кэмпбелла. Я запомнил этот эпизод, главным образом, из-за его необычности. Лет двадцать назад сестра Кэмпбелла, будучи тогда совсем юной, приехала с группой туристов на Гавайи. Совершенно очарованная, она, вернувшись в Нью-Йорк, ушла со службы, продала все имущество и вернулась на остров, где прочно обосновалась. На материке она с тех пор не бывала. Однако ей удалось переманить на Гавайи свою мать.

Еще одну экскурсию мы совершили на виллу, которую построил Жан Шарло, — за городом, на берегу Тихого Океана. Я давно восхищался его картинами и рисунками, но до сих пор не встречал. Потом мы с Кристинель много раз вспоминали непосредственность Жана Шарло, красоту его жены и детей, а более всего — странную и чарующую архитектуру этой виллы, таинственной и в то же время функциональной.

* * *

После двухчасового перелета мы приземлились в Сан-Франциско. Город покорил нас сразу же, как только рассеялся туман и мы решились выйти на улицы. Мы поужинали в Чайнатауне, а на другой день один

шофер такси, предприимчивый и с воображением, почти три часа возил нас по всем кварталам и окрестностям города, до Беркли. В последующие годы я не раз бывал в Сан-Франциско, но образ города запал в память таким, каким мы открыли его в тот октябрьский день пятьдесят восьмого.

Джозеф Китагава получил стипендию на исследования в Японии, так что он предоставил в наше распоряжение свою квартиру на Вудлон Авеню.

Через несколько дней после того как мы там обосновались, на озере Женева собрался так называемый *Faculty Retreat*. Каждую осень, в начале учебного года, нас, профессоров, собирали в маленьком отеле на берегу озера. Мы проводили вместе два-три дня, вдали от семьи и от студентов. В обязательной программе было два доклада, сопровождавшихся дискуссиями, все остальное время свободно, так что мы имели возможность вести неспешные беседы, которые давали нам лучше познакомиться. Это был мой первый опыт такого рода, тем более интересный и поучительный, что у меня не было богословской подготовки. С самого начала на меня произвели впечатление приветливость и, особенно, веротерпимость моих коллег. Большинство из них исповедовали протестантизм разных традиций, но были и два унитарианца, один израэлит, один «агностик» (то же, что атеист?) и один буддист (Миямото, *visiting professor*, 1958–59). Со временем к ним присоединятся еще один профессор-еврей и несколько католиков. Такой религиозный плюрализм, который с трудом можно было бы представить на богословском отделении какого бы то ни было европейского университета, стал предметом бесконечных диалогов и залогом подлинного сотрудничества между разными кафедрами.

Декан предложил мне сделать доклад, проясняющий «специфичность» истории религий и вклад, который эта дисциплина могла бы внести в проблематику современного богословия.

Я назвал доклад «Значимость космогонического мифа». Мне казалось, что примеры и толкования, которые я представил, дают отличный повод для переоценки понимания Творения в рамках небиблейских религий. Дискуссия была достаточно интересной, моим коллегам, к их удивлению, приоткрылась сакральность и концептуальная стройность архаических и восточных религий*.

* Много лет спустя, когда мы вместе вели междисциплинарный семинар («Систематическая теология и история религий»), Пауля Тиллиха просто пленили размышления и дискуссии, вызванные таким сравнением космических религий и библейских традиций.

Потом я долго вспоминал эти октябрьские дни, медную листву лесов и темнеющее озеро, по берегу которого я гулял со своими новыми друзьями: Ярославом Пеликаном, Робертом Грантом, Натаном Скоттом. Чувство, что мы «свободны», не стеснены программой, что можем беседовать до полуночи и позже, оказалось для нас неожиданной подпиткой. Мы вернулись в Чикаго, как после долгих каникул.

* * *

Те семь месяцев, что мы прожили в квартире наших друзей Ивлин и Джо Китагава, мы были счастливы. Осень, а вслед за ней зима пятьдесят девятого прошли скорее, чем я ожидал. Я разрывался между бесчисленными обязательствами: кроме курса лекций и семинаров — конференции, обещанные кому-то статьи, подготовка нового издания «Шаманства», исправленного и значительно дополненного, в переводе Уилларда Трэска. Только что вышла книга «*Yoga: Immortality and Freedom*» в его же переводе. Это была четвертая моя английская публикация, и, возможно, благодаря теме, она имела необыкновенный успех на книжном рынке.

К концу зимы я понял, что должен отложить все текущие дела. Меня поглотила мысль о Залмоксисе и гето-дакийских религиях. Несколько недель подряд я перечитывал и пополнял материалы, которые привез с собой. Потом за одну ночь написал статью «Даки и волки». Это была первая глава книги « От Залмоксиса до Чингисхана». В последующие годы я написал работы по космогоническим мифам Румынии и Восточной Европы, по легенде о воеводе Драгоше, по балладе «Миорица» и по религиозному румынскому фольклору и собрал их в книгу, которую в 1970 году опубликовало издательство «Пэйо». Хотя и бессознательно, но такое периодическое возвращение к исследованию духовных румынских традиций было для меня в некотором роде средством сохранить свою этническую основу в *melting pot* Соединенных Штатов.

Потом меня внезапно одолела тоска по литературе. Я не писал по-румынски с того момента, как четыре года назад у меня застопорилась повесть «На улице Мынтуляса». В марте я быстро написал две короткие новеллы. Но не осмелился начать «У цыганок» — сюжет, которым был одержим давно. Мне предстояло подготовить курс лекций, который я обещал прочесть в Цюрихском Юнг-институте, и доклады для «Эраноса».

13 мая мы были в Париже. Сибилл нашла нам маленькую квартирку на рю Иветт. Мы едва успели перевидаться с друзьями, как несколько дней спустя были уже в Мейлене; директор института, доктор Франц Риклин, пригласил нас пожить на своей вилле. Предмет

курса был: «Инициатическая мифология и обряды». Я, разумеется, обратился к проблемам, рассмотренным в «*Birth and Rebirth*», но поскольку адресовался, в первую очередь, к публике, состоящей из юнгианцев, то сместил акцент на те моменты, которые могли помочь им в их профессиональной практике.

У меня был случай познакомиться со студентами и возобновить знакомство с Йоландой Якоби, Аньеллой Жаффе и Мари-Луизой фон Франц. От Аньеллы Жаффе я узнал, что Юнг диктует ей «Автобиографию»; точнее, он рассказывает, а она записывает, потом он просматривает текст, правит, уточняет и дополняет.

6 июня во второй половине дня мы около полутора часов беседовали с Юнгом в саду у его дома в Кюснахте. Мы не виделись лет пять, и, как я отметил в «Дневнике» (*Фрагменты*, I, стр. 273), он показался мне все таким же — разве что похудел и ходил с палкой. За несколько дней до этого его посетил Поль Мю и объяснил ему происхождение и историю китайского иероглифа *дао*. Все эти технические детали его крайне увлекли, и он с жаром пересказал их мне. В какой-то момент он перешел на рассказ о смысле числительных у первобытных народов. Вспоминая о своих путешествиях в Африку, он произнес, очень серьезно, несколько слов на суахили с разными интонациями, означающими «пять», «много» и «очень много».

Но по временам мне казалось, что я угадываю какой-то горький осадок в его словах. Говоря о структуре мистических опытов, он заметил, что медики и психологи — «недоучки и очень уж бестолковы», чтобы понять подобные феномены. Проглянул темперамент, который поразил меня при наших первых беседах летом пятидесятого. Однако Аньелла Жаффе и другие люди из его окружения сказали мне, что Юнг быстро устает и не может принимать много гостей в один день. Я также узнал, что его больше не интересуют разного рода терапия и казуистика, что он больше не читает современных богословов, но все так же захвачен богословием патристическим.

С тех пор мы больше не виделись. Юнг умер, в полном сознании и спокойствии, 6 июня 1961 года.

* * *

В Мейлене я получил первый номер журнала «Антайос» и был польщен, увидев на обложке фамилии директоров — свою и Эрнста Юнгера. Юнгер приехал из Германии и, на другой день после его визита в Кюснахт, мы втроем: он, я и Филип Вольф, секретарь журнала, приехавший из Берна, — обедали в живописном ресторане на холме над Озером. Нам надо было обсудить содержание следующих номеров, и, если говорить обо мне, назвать имена возможных сотрудников как из

Европы, так и из Соединенных Штатов. Как всегда, на меня произвели впечатление молодая энергия и эрудиция Эрнста Юнгера.

9 июня мы вернулись в Париж. Чрезвычайно приятно было оказаться в нашей маленькой квартирке на рю Иветт. В тесную комнатку, окна которой выходили на серо-желтую стену, я перенес столик, для письма довольно-таки шаткий. (Только съехав с квартиры, мы узнали, что в этой комнатке, всего за неделю до нашего вселения, покончил с собой один студент, отравившись газом.) 15 июня я начал писать новеллу «У цыганок». Работая по восемь-девять часов в день, я сумел закончить и переписать ее 5 июля. Кристинель прочла ее в тот же вечер. Ее волнение и восторг подтвердили мою уверенность, что «У цыганок» отмечает начало новой фазы в моем литературном творчестве.

* * *

В середине июля мы погрузились в машину Сибилл и через три дня прибыли в Аскону. Когда показалось, за деревьями и виллами, Лаго-Маджоре, мы почувствовали, что целая, такая счастливая, часть нашей жизни подходит к концу. Я записал в дневнике: «Кристинель, поговорив сегодня утром по телефону с Ольгой, была поражена ее слабым и усталым голосом. В самом деле, когда Ольга встретила нас на пороге «Каса Габриэлла», нам еле удалось скрыть изумление. Она потеряла в весе пятнадцать килограммов, и у нее дрожали руки. Шесть месяцев она пролежала в постели с желтухой, а перед тем последние два года болела от осложнений азиатского гриппа. Нам грустно, что впервые с пятьдесят второго года мы не находим в нашей комнате цветы, которые Ольга ставила туда за несколько часов до прибытия поезда». (*Фрагменты*, I, стр. 280). За те три недели, что мы прожили на вилле «Габриэлла», мы убедились, что здоровье Ольги серьезно подорвано; ей стоило большого труда даже посидеть с нами за столом, хотя она сама почти ничего не ела.

Из доклада о мессианских движениях в современных «первобытных» обществах я написал только часть. Чтобы пополнить информацию, на неделю я съездил во Фрибур, где находится знаменитый институт Антропос. Работая, «как во времена своей юности», по моему же выражению, я успел дописать последние страницы за несколько часов до начала доклада. Как обычно, зал «Эраноса» был переполнен. И так же, как бывало прежде, дискуссии затянулись до полуночи.

Настоящие каникулы мы изведали в Италии. На сей раз мы позволили себе пробыть четыре дня во Флоренции. Потом на автобусе «CIAT» проехали через Ассизи, Перуджу, Сиену и Рим. За неделю, проведенную в Риме, я повидался с друзьями и со многими итальянскими коллегами. Визит к Петтаццони меня крайне удручил. Я слышал, что он тяжело болен, почти при смерти. Но теперь, как мне сказали, он

«шел на поправку»: бледный, осунувшийся, он излучал блаженно-меланхолический свет. Таким я его никогда не видел. Он сказал мне, что Япония означала для него больше, чем просто открытие: откровение о подлинности и благородстве азиатской религиозности.

Когда на прощанье он с чувством пожал мне руку, я уже знал, что никогда его больше не увижу.

* * *

Проведя три недели в Париже, мы вернулись в Чикаго. Нам обещали квартиру на втором этаже дома, красивого строгой красотой, на Вудлон Авеню, 5711. Однако молодая чета, которая там жила, решила продлить свое пребывание в Чикаго — муж собирался защищать диссертацию. Мидвиллская богословская школа временно предоставила в наше распоряжение мансарду кокетливого домика, известного под именем *Coach House*, потому что полвека назад он служил приютом для многочисленных бричек и кабриолетов своего хозяина. «Временное» растянулось почти на четыре года. Молодой человек никак не мог кончить свою диссертацию, а мы во что бы то ни стало хотели переехать именно на Вудлон Авеню.

Когда мы поселились в *Coach House*, наше имущество состояло из кровати, кушетки, кухонного стола, шкафов и кое-каких необходимых предметов, таких как стулья, посуда и этажерки. Но уже вскоре Кристинель прикупила еще мебели и даже несколько ковров. Перед отъездом в Париж, в начале лета, нам уже было чем обставить квартиру на Вудлон Авеню.

Мой кабинет помещался на Мидвилл, через дорогу от *Coach House*. Из Парижа пришло несколько ящиков с книгами и рукописями. Теперь я располагал всей документацией, необходимой для лекций и семинаров*. Недостающие книги и журналы я находил в университетских библиотеках, одна из которых располагалась как раз в Мидвилле. В ноябре я дополнил и привел в порядок рукопись эраносовских докладов. Затем состоялся коллоквиум, организованный *Roger Williams Fellowship*; я говорил о «сакральном и истории религий» и вызвал весьма жаркие споры. В самом деле, перед публикой, состоящей почти полностью из богословов, я попытался показать важность истории религий в *культуре* и даже в нынешней *внешней политике* Америки. Я подчеркивал и тот момент, что сегодня, когда Азия снова входит в историю и «примитивные» общества вот-вот завоюют независимость, исследование и правильное понимание религиозных

---

* В ту осень я вел семинар «Новые методы в психологии религий» и читал курс «Индийские религии от "Ригведы" до упанишад». Зимой говорил о средиземноморских религиях.

концепций, которые структурируют эти экзотические цивилизации, есть необходимость в плане политики. Дипломатов, экономистов и технологов, посылаемых в азиатские страны и особенно в бывшие европейские колонии, надо предварительно вводить в курс дела, и не только с помощью миссионеров и антропологов.

В то время в американских университетах действовало лишь несколько кафедр по истории религий. Пятнадцать лет спустя их число возросло до двадцати пяти, и почти все были заняты нашими выпускниками, которые защитили диссертации в Чикагском университете. С другой стороны, хотя недавно образовалась Ассоциация профессоров, интересующихся историей религий, у них не было ни одного журнала по специальности, притом что периодические издания, посвященные богословским проблемам и социологии религий, выходили во множестве, и среди них встречались иные очень высокого уровня. Вместе с коллегами, Китагавой и Чарльзом Лонгом, мы решили выпускать журнал «*History of Religions*», который вызвалось печатать издательство Чикагского университета. Так что зимой 1960 года мы обратились к европейским специалистам с предложением сотрудничества. Поскольку в сентябре 1960 года состоялся Международный конгресс в Марбурге, мы решили представить на нем если не первый выпуск в сто шестьдесят страниц, то по крайней мере макет и содержание журнала*.

Зиму и весну 1960 года я посвятил статьям для «*History of Religions*» и пересмотру английских переводов книг «Образы и символы» и «Сны, сновидения и мистерии». Приступить к книжечке «Миф и реальность», которую я обещал Руфи Нанде Аншан для ее коллекции «*World Perspectives*», я не успел.

* * *

По традиции, Джон Неф два раза в месяц собирал за ужином членов комитета. Чаще всего приглашали какого-нибудь зарубежного художника или писателя. Так я познакомился с Шагалом, с Жаком Маритеном, Джулианом Хаксли, Жаном Ипполитом, с внуком Чарльза Дарвина и со многими другими. *Committee on Social Thought* с успехом продолжал традицию, заведенную много лет назад, — традицию диалога между разными ориентациями и творениями культуры по обе стороны Атлантики.

* * *

Курсы лекций по Индии и по средиземноморским религиям были мне по душе, но меня не слишком удовлетворяла та документация,

* Выпуск, появившийся в январе 1961 года, открывался моей вступительной статьей «История религий и новый гуманизм».

которую я предоставлял в распоряжение студентов. Разумеется, я рекомендовал им лучшие и самые свежие монографии, но не был уверен, что им хватит времени прочесть все. С другой стороны, я непременно хотел, чтобы каждый студент ознакомился хотя бы с частью оригинальных текстов в самых хороших из доступных переводах. И я решил сделать фотокопии с некоторых ведийских гимнов, с фрагментов из брахман и упанишад. Отбор для курса по средиземноморским религиям оказался, конечно, труднее. Я выбрал фрагменты из Гомера, из Гесиода и Геродота, сколько-то орфических и разных поздних текстов. Объем в целом не превышал пятидесяти-шестидесяти страниц, и это давало мне уверенность, что тексты в самом деле будут прочитаны и обдуманы всеми студентами.

Конечно, какие-то антологии существовали, но поскольку мне не нравилось повторять одно и то же и я каждый триместр менял тему курса, я решил со временем составить собственную антологию, где тексты были бы подобраны по разделам: космогонии, типы божеств, виды жертвоприношений, ритуалы инициации и т.д. Так я начал собирать и классифицировать материалы, которые много лет спустя (1967) составят том «*From Primitives to Zen*».

Но вдруг как-то, зимней ночью, меня разбудила сильнейшая боль в руках и плечах. До утра я не сомкнул глаз. Чуть-чуть отпускало, только если я неподвижно сидел в кресле, подняв вверх обе руки. Днем меня пришел посмотреть доктор Леруа. Сначала он решил, что это приступ подагры, но потом разобрался, что речь идет о внезапном обострении артрита. Мне пришлось глотать по шесть таблеток аспирина в день. Иногда боль несколько отступала, и тогда я, с большим усилием, мог час-другой проработать. С той зимы шестидесятого уже много лет книги и исследования, которые я готовлю, всегда поспевают с запозданием.

* * *

По ночам, когда меня особенно донимали артритные боли, я обычно читал разные биографии Гете и его «Разговоры» с Эккерманом. А в начале января, узнав о смерти Петтаццони, я почувствовал, что мне хочется перечесть его книги. Временами случались сюрпризы, придававшие мне бодрости. А. Васкес, директор института философии из Мендозы, приехавший на шесть месяцев как *visiting scholar* и неизменно посещавший все мои лекции, рассказал мне о моих аргентинских «поклонниках». Васкес собирался написать книгу о моей «философской мысли»; в сущности, повторил он не один раз, я прежде всего — философ, который пренебрегает своим призванием, который норовит закамуфлировать свое личное мнение под маской эрудиции. Однако в Аргентине, заявлял он, никого таким камуфляжем

не обмануть. Я защищался, как мог; сначала, говорил я, *надо* закончить труды, основанные на «эрудиции». Потом будет видно, насколько они интересны и оригинальны в философском плане. И добавлял, что такой «камуфляж» — вообще в традиции западной философии (я напомнил ему имена нескольких средневековых авторов).

В конце зимы я с упоением перечитал Ницше, перемежая его второй частью «Фауста». Студентов мне, похоже, удалось увлечь курсом об «историческом человеке», особенно потому, что я все время прибегал к греческим примерам.

Приятной неожиданностью была присланная мне той весной из Северо-западного университета одна дипломная работа. Ее молодой автор, Гай Уэлбон, рассуждая о «*Mircea Eliade's Image of Man*», сделал попытку представить «*An Anthropogeny by an Historian of Religions*». Это была первая университетская работа о моих концепциях. В последующие годы стали одна за другой появляться диссертации — как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Время от времени до меня доходили слухи, что некоторые филологи не согласны с моим методом: что я охватываю слишком много областей, а так невозможно глубокое рассмотрение каждой в отдельности. Аргумент казался убедительным, но он основывался на неверной посылке. Точно так же можно было бы упрекать биолога, который изучает насекомых, что он не знает *все* виды колеоптеров, хименоптеров, лепидоптеров и хемиптеров. Подобное настороженное отношение я встречал и в последующие годы. Я пытался оправдать свою методологическую позицию в ряде статей, но не уверен, что всякий раз переубеждал своих критиков. Тем приятнее мне было прочитать в книге профессора Джорджа П. Гранта «*Philosophy in the Mass Age*» следующие строчки: "*For what follows about the archaic man, I must express my profound dependence on the work of Mircea Eliade. Professor Eliade seems to me unique among modern scholars of religion not only in his grasp of the facts, but also in his philosophical and theological wisdom*" (p. 126)[96].

Как-то раз, говоря со студентами о необходимости расшифровывать *пласты* и *морфологию* того или иного религиозного феномена (например, инициации), я начал лекцию с утверждения, что «нельзя понять Дарвина, не поняв Линнея». Другими словами, невозможно понять *происхождение* и *эволюцию* видов, то есть «историю» биологических творений, не изучив *морфологию*. Сравнение двух морфологических систем, зоологической (или растительной) и историко-религиозной, показывает, что между каким-нибудь африканским и каким-нибудь австралийским мифом разница меньше, чем между двумя видами колеоптеров или хименоптеров. И при всем том нату-

ралист *видит*, что они принадлежат к одной и той же категории — насекомых. Биологический контекст, ясное дело, иной у бабочки, у мухи или у муравья. Точно так же в Африке или в Австралии речь идет о разных культурных контекстах.

* * *

В конце марта Жан Гуйар сообщил мне о смерти Гюстава Пэйо. Уже несколько лет мы оба были к этому готовы. Пэйо давно казался обреченным: лицо его было обезображено, он страшно исхудал и еле ходил, кренясь на правую сторону, чуть не падая. Прошлым летом, когда я зашел повидаться с ним в издательство, мне сказали, что его нет, что он заходит только на час-другой по утрам...

Еще один современник моего парижского дебюта, которого я потерял. В моей памяти он остался таким, как прежде, — бальзаковским персонажем. Его скупость, деловая хватка, агрессивность (когда при первой встрече он заявлял о своей глухоте, казалось, что он вот-вот набросится на тебя с кулаками...), его мелочные обиды (он ужасно страдал, когда какие-то его коллеги, иностранные издатели, надували его на несколько сотен франков)... Но я никогда не забуду, что он имел смелость на протяжении пяти лет издать «Трактат», «Шаманство» и «Йогу» и что благодаря этой его смелости я так скоро приобрел известность в качестве историка религий.

Приступы артрита усиливались несмотря на шесть-семь таблеток аспирина в день. Случались ночи, когда, не в силах поднять руки, я был вынужден писать на коленках. Меня это тревожило, потому что я понимал, что не успею ни закончить доклад для Гарварда, ни начать книжечку «Миф и реальность». В ту ужасную зиму и весну 1960 года, когда я спрашивал себя, позволит ли мне здоровье закончить все, что я начал, я получил несколько писем, меня подбодривших. Немецкий психоаналитик Г.Р. Хайер написал мне, что «Образы и символы» помогли ему понять, *наконец-то*, функцию символа. Относительно «*Naissances Mystiques*» («*Birth and Rebirth*») этнолог Альфред Метрам сделал мне такое признание: «Как и раньше, я не знал, чем мне больше восхищаться, — ясностью вашего экспозе или вашей удивительной эрудицией. Как вам удается быть в курсе такого множества публикаций, касающихся стольких разных регионов? Если говорить о Южной Америке, ничто важное, как кажется, не ускользает от вашего внимания, и только Богу известно, сколь трудно усвоить эту литературу». А известный критик Нортроп Фрай, которого мне вскоре предстояло встретить в Гарварде, с энтузиазмом написал мне о «Кузнецах и алхимиках»: «Никогда не думал, что мне придется встретить писателя, который дал бы мне то же ощущение первооткрывателя, какое я получил от Фрэзера в начале своих студенческих лет, — я не

принял в расчет М. Элиаде. Что поражает, так это не огромная ваша эрудиция, а ее цельность: последовательность, с какой вы умеете собрать воедино алхимию, йогу, первобытные религиозные верования и столько еще других вещей и сформировать образец».

Между 23 и 26 апрелем у меня была поездка в Кембридж, Массачусетс, где я останавливался в отеле «Континенталь». Симпозиум «Миф сегодня» открыл Нортроп Фрай, а на другой день с утра в почти полном амфитеатре я читал доклад «*Myths of the Beginnings and Myths of the End*». Познакомился наконец-то с Нортропом Фраем и поговорил с А.Д. Ноком, Романом Якобсоном и другими учеными, которых мне предстояло увидеть через год тут же, в Кембридже. Несколько дней спустя я был в Саут-Бенде, на коллоквиуме по христианской культуре. Я принял приглашение, главным образом, для того, чтобы встретиться с Чарльзом Досоном. Я узнал, что он с большим интересом прочел «Трактат» и «Миф о вечном возрождении», и, волнуясь, ждал беседы, которую мне пообещал один из устроителей коллоквиума. Но мне не повезло. Серафическое молчание Досона напомнило мне молчаливость Лучиана Благи...

* * *

В середине июня мы провели несколько дней в Элисон Бэй, в компании Хэриет Плат. Два года назад мы впервые увидели эти села и виллы на берегу озера, но мне казалось, что с тех пор прошло гораздо больше времени. Я начинал по-другому ощущать Америку. Я знал, что по законам об иммиграции мне можно оставаться тут до следующего лета, до 1961 года. После этого мы должны были на два года вернуться во Францию и приехать в Соединенные Штаты с новой визой для постоянных иммигрантов. Мы оба были счастливы. Так был бы положен конец паломничеству, которое мы совершали каждое лето, и я мог бы работать плодотворнее. Но судьба распорядилась иначе.

Приложения

I

Но судьба распорядилась иначе...

Последняя фраза последней книги, написанной Мирчей Элиаде. Последний символ, который он нам предлагает. Тут сакральное больше не озабочено камуфляжем. Чтобы сочинение — неоконченное — обрывалось на таких словах, его должен написать некто вроде Элиаде. Прежде чем уйти, расшифровыватель тайн прибавляет еще один ключ к той связке, что он нам уже оставил. Как еще один просверк перед погружением в свет «жизни после жизни».

Так можно ли твердо говорить, что ему не хватило времени кончить эту книгу? Время, книга... Если Элиаде был одержим этой книгой, то только потому, что она представляла для него лучшее средство «выйти из Времени», «отдать должное Смерти, понимаемой как воссоединение». Но и тут судьба часто своевольничала: столько заметок, рукописей, тетрадей, писем, потерянных в Лондоне во время войны, распиханных по безвестным чердакам в Бухаресте, по небрежности сожженных в Париже и, наконец, слизанных языками огня в Чикаго, в необъяснимо вспыхнувшем пожаре... Кто измерит силу этого последнего потрясения? На его письменном столе осталась запись, датированная 19 декабря 1985 года:

«Вчера вечером, часов в десять, застучали к нам в заднюю дверь. Наш сосед с нижнего этажа говорит мне: "Ваш офис горит ... Пожарные позвонили. Минут пять уже орудуют. Вы бы пошли посмотрели, что там стряслось".

Я наскоро оделся и вышел с ним. Услышал, как пожарные разбивают окна в моем офисе... Был мороз, и вода, которая стекала по ступеням, сразу замерзала на тротуаре Мидвилла.

Меня не пустили внутрь. По главной лестнице вода катилась, как горная река.

Так это началось. Пришлось вернуться домой. Кристинель дала мне двойную дозу снотворного».

В тот день Элиаде боялся, как бы огонь не уничтожил, среди других рукописей, его дневник, свидетеля (активного) его жизни. Потрясенный, не увидел ли он тут, под видом профанного, один из тех «знаков», которые он умел расшифровывать, как никто другой? «Коллективная смерть», столько лет его занимавшая, начиналась с гибели его неизданных вещей, вероломно напав на его воспоминания.

Мирча Элиаде угас в апреле 1986 года, с книгой в руке. Не написав ту, что так сильно его искушала: «Человек как символ. *Он*». Судьба распорядилась иначе...

Ален Парюит

II

Последние минуты Мирчи Элиаде
махапаринирвана

Профессор Иоан Петру Куляну, один из ближайших учеников Мирчи Элиаде, описал его последние дни в тексте, который мы перепечатываем в сжатом виде, с любезного разрешения г-на Вирджила Йерунки, из специального, посвященного Элиаде, номера «Лимите», журнала румынской культуры, выходящего в Париже (№ 48–49, ноябрь 1986).

* * *

За три недели моего пребывания в Чикаго понедельник 14 апреля — это второй вечер, что я провожу не вместе с Мирчей и Кристинель Элиаде. Студенты с отделения Учеников Христа из общежития богословской кафедры, где меня поселили, по понедельникам собираются на совместный ужин, чтобы получше узнать друг друга. Вопреки моим ожиданиям, ужин кончается в семь. У меня еще есть время зайти к ним под предлогом, что я принесу дыню-канталупу. Уже неделю у Мирчи Элиаде сильные боли в грудной клетке и непривычная слабость. Первые две недели после моего прибытия мы хорошо поработали над разными вещами, в том числе над разбором материалов, спасенных при пожаре, от которого пострадал его офис при Мидвиллской богословской школе 18 декабря 1985. Материальный ущерб, в сущности, оказался терпимым: все важные бумаги были спасены. Утрачены только книги и письма. Но для Мирчи Элиаде пожар имел другой смысл. Он столько раз говорил мне про мир как камуфляж, полный знаков, которые надо расшифровывать с терпением гадальщика на камушках, что, по-моему, я его понимаю. Не думает ли он о романе «Меркнущий свет», об огне, который уничтожает библиотеку и вместе с ней ученого?

(*Дневник*, 4 апреля 1986, о вечере, проведенном у Кристинель и Мирчи Элиаде, вместе с гостьей Сандой Лога, физиком: «М.Э. очень много читает о *Life after Life*, о Жизни после жизни, — и уверен, что смерть есть "знак света". Он повторяет это многократно. Кр. и С.Л. называют авторов двух книг, которые собрали свидетельства людей, чудом вышедших из смерти. По сути дела, уже лет тридцать с лишним это одна из главных тем его литературных сочинений». *Дневник*, 5 апреля: «Кого же он пытался убедить в вышесказанном — нас или самого себя? Думаю, что и себя, и нас. И, может быть, в мире заключена, среди прочих, и такая хитрость: если кто-то строит себе "дворец на небесах" — *какой бы то ни было* дворец, — в вечности он отправится туда жить. Может быть, парадизы все же существуют. Что же касается ада, тут

я не уверен: адом может быть только забвение. Хотя, наверное, если постараться, построишь себе ад где угодно»).

В воскресенье после обеда мы пошли полюбоваться цветами, распустившимися на газонах. (Мирча Элиаде восхищается американскими газонами и шириной улиц: «Тут можно дышать, нет такой тесноты, как в Европе».) Мне показалось, что он такой же, как всегда — а мы знакомы уже лет десять, — что от него исходит редкостный дух доброты и интеллектуальной собранности, ясности и душевной тишины. Никаких признаков усталости или подавленности. Я обещаю ему принести назавтра новеллу «Лигия» Томази ди Лампедузы — с момента моего прибытия мы активно обмениваемся книгами.

Вечером мы приглашены к знаменитой индианистке Венди О'Флаэрти и ее сыну Майклу, присутствует и не менее знаменитый философ Дэвид Трэйси, недавно получивший звание заслуженного профессора. Кристинель и Мирча Элиаде — в центре внимания. Он впервые за последнее время ест без боли. Мы все настроены оптимистично, тем более что анализы, сделанные недели две назад, оказались отличными. Довольный, я возвращаюсь домой с мыслью, что во вторник мы возобновим работу и что, может быть, Мирча Элиаде преодолеет страх перед микрофоном и начнет диктовать мне новеллу. Боли, которые донимали его последнее время, — это, вероятно, какие-то новые фокусы артрита, того самого, что мешает ему писать.

В понедельник 14 апреля после семи вечера студенты висят на телефоне, так что на полчаса линия занята. Когда я наконец звоню — трубку обычно берет Кристинель, — номер не отвечает. Чье-нибудь приглашение экспромтом? Маловероятно. Телефон снова занимает студентка. Мою комнату наполняет колокольный звон — мощнее, чем обычно. (Кристинель как-то объяснила мне, что в капелле неподалеку есть *carillon*, на котором упражняется молодежь. Однако сейчас звучат голоса больших колоколов, глубоко проникая в здание.) Пытаюсь отбросить мрачные мысли. Конечно же, должно существовать простое объяснение, почему их нет дома. Например, пошли поужинать в *Quadrangle Club*. Но там собираются только по средам. Звоню еще пару раз — не подходят. После восьми мой телефон отключается. Пробую оживить его до десяти, но безрезультатно.

Во вторник в девять утра, придя в офис, узнаю от администраторши факультета, что мне нашли квартиру. Бегу нанимать машину, в 11, когда возвращаюсь собирать вещи, нахожу на двери записку: Кристинель — в больнице, в отделении реанимации, куда поместили Мирчу Элиаде с кровоизлиянием в мозг. В 11.30 вхожу в палату Д–505 на пятом этаже университетской больницы Бернарда Мишеля, одной из лучших в мире. Левой рукой держа руку Кристинель, Мирча Элиаде улыбается ей, потом мне — с той же теплотой, что всегда. Он нас прекрасно понимает, но говорить не может: удар затронул левую часть мозга, насколько серьезно, неизвестно. Правая часть тела — временно, надо надеяться, — парализована.

Кристинель отводит меня в сторону и рассказывает, что в понедельник, около шести часов, Мирча Элиаде попросил книгу Эмиля Чорана «*Exercices d'admiration*» и сел в свое любимое кресло зеленого бархата. Десять минут спустя она увидела, что он сидит с застывшей улыбкой, держа в руке раскрытую книгу. Думая, что он решил подшутить над ней, она окликнула его раз

и два — ответа не было. Она немедленно позвонила доктору Лакоку: чета Лакоков — их добрые знакомые,— и «скорая» буквально через двадцать минут доставила его в больницу.

Врачи настроены оптимистично: конечно, все решат несколько ближайших дней, но удар, похоже, относительно легкий. Шансы на полное восстановление, в тот первый день, были пятьдесят на пятьдесят. Выказывая преданность, в которой я мог убедиться за восемь без малого дней бдения у изголовья Мирчи Элиаде, у его палаты уже собрались: декан факультета, профессор Фрэнк Гэмуэлл, Дэвид Трэйси, Венди О' Флаэрти, физик Санда Лога, позже пришли профессор Джерри Брауэр, профессора Джозеф Китагава и Ивлин Китагава, Поль Рикёр с женой и многие другие.

Мирча Элиаде реагирует на все очень живо, поправляет очки, чтобы узнать визитеров, улыбается, а, главное, предлагает жене игру, которая станет его последним жестом, прежде чем он окончательно потеряет сознание: показывает ей обручальное кольцо, прихваченное зеленой проволочкой, чтобы не соскользнуло с пальца, с чувством сжимает ее руку, приближает свое кольцо к ее кольцу, пытается поднести ее руку к губам, чтобы поцеловать. В палате не плачут. Кристинель отирает слезы только за дверью, а рядом с мужем не устает его подбадривать.

Я знаю, что многие, как и я, питают глубокую привязанность к Мирче Элиаде. Но поведение его американских друзей потрясает: декан Гэмуэлл и Дэвид Трэйси отменяют свои поездки и проводят целый день в больнице. Но вся мера их самоотверженности проявится только в последующие дни. Профессор Натан Скотт, почтенный англиканский пастор-негр, бывший коллега Мирчи Элиаде, поставлен в известность о его болезни, правда, его просят пока не приезжать в Чикаго. Мирча Элиаде оставил распоряжение, чтобы он совершил над ним соборование в знак братания между расами и религиями. Однако пока Мирча Элиаде кажется вне опасности. Ближайшие дни будут критическими, но мы полны оптимизма. Кристинель готова ухаживать за ним бессменно, а он сам, хотя и не может этого сказать, похоже, настроен на выздоровление.

Перечисление всех этих фактов и имен, как я полагаю, имеет свое значение в биографическом хозяйстве Мирчи Элиаде. Прозрачное с самого начала существование Мирчи Элиаде (кто не помнит, как ребенок из «Мемуаров» проникает в полную тайн комнату, — страницы, которые Сол Беллоу зачитал перед тысячью двумястами с лишним собравшихся на похоронную службу?) — это существование должно облечься в точную хронику до самых последних минут. Более того, ни одна подробность тех восьми дней бдения не лишена своего смысла. Одна смерть не похожа на другую, хотя, вероятно, существуют определенные модели, с которыми в той или иной мере сообразовываются все смерти. Смерть чабана из «Миорицы» не та же, что смерть госпожи Бовари, а распятие Христа не похоже на конец Будды, известный под названием *парипирвана*.

Журналисты часто называли его великим одиночкой. Верное в том, что касается его творчества, это суждение никак не подходит к жизни (и к виду смерти) Мирчи Элиаде. Он напрямую затронул сотни, если не тысячи, сознаний; и опосредованно — сотни тысяч. Все они сходятся сейчас, в момент со-

лидарности, который превращает его кончину в патетическую, но не трагическую церемонию. (Мне довелось это понять только несколько дней спустя. Сама его смерть сеяла мир.)

Все его друзья неизменно проявляли трогательную преданность. Вот только один пример: декан Гэмуэлл раз простоял в больничном коридоре не менее семи часов, неподвижно, никак не проявляя своего присутствия из опасения кому-нибудь помешать. Многие же расхаживали взад и вперед, попирая все правила реанимационного отделения, к отчаянию персонала.

Срок нашему оптимизму был три дня, во время которых состояние Мирчи Элиаде иногда по видимости улучшалось настолько, что мы переставали сомневаться в его выздоровлении. В четверг, в 7.30 утра, он на отлично выдержал неврологический осмотр, но затем равновесие нарушилось, он стал подавать признаки нервозности, возможно, по причине каких-то болей. После небольшой дозы успокоительного он долго спал, а вечером проснулся уже не в лучшей форме. Терять из-за этого надежду оснований не было: врачи объяснили, что удар провоцирует скопление в голове жидкости; уход этой жидкости — самый трудный период для больного, и длится он примерно три дня. Только после этого можно определить масштабы повреждений, причем полное выздоровление никак не исключается.

Хотя к полудню пятницы Мирча Элиаде уже не открывал глаз (причем сердце, как показывал экран, работало превосходно), все, казалось бы, соответствовало предположениям медиков. Я проводил семинар с 1.30 до 4.30, а к пяти вернулся в больницу без всяких дурных предчувствий, в уверенности, что борьба Мирчи Элиаде, при безграничной самоотверженности Кристинель и при поддержке замечательных друзей, которые его постоянно окружали, завершится победой. Утром я начал пересказывать Мирче Элиаде ту историю, что обещал принести ему в воскресенье 13 апреля в два часа, когда мы вместе гуляли. До полудня Кристинель читала ему его же новеллы, которые Мирча Элиаде перечитывал несколько дней назад (тогда я впервые услышал от него похвалу своему собственному творчеству, особенно новелле «Иван», где речь идет о смерти «при очевидных, но взаимоисключающих обстоятельствах». Мирча Элиаде повторил эту формулу с удовлетворением, заметив, что, в сущности, неизвестно, умер или нет его персонаж — студент, солдат-краткосрочник).

В пять часов того же дня я переживаю, может быть, самую ужасающую минуту за все те долгие годы, что существование Мирчи Элиаде было для меня гарантией порядка в мире: Кристинель плача сообщает мне, что анализы выявили рак с метастазами, что профессор в коме и что его смерть — вопрос нескольких дней, а может быть, и часов. С этой минуты началось Великое Бдение, в котором проявилась тайна смерти Мирчи Элиаде: это была смерть Будды, махапаринирвана.

В те промежутки времени, что Кристинель оставалась у его постели одна, она с ним говорила (по ее словам, Мирча Элиаде не переставал улыбаться ей и после того, как в пятницу его сознание окончательно затмилось). Не знаю, что она ему говорила. Не всему я свидетель, я только смотрел на других, а больше всего на Кристинель, с восхищением и сочувствием, представляя себе ее безмерную боль. Но я с уверенностью могу передать только отдель-

ные моменты Великого Бдения — те, что касались моих отношений с Мирчей Элиаде, с Кристинель и с остальными друзьями.

Ближе к вечеру в пятницу, оставшись с ним наедине, я продолжил пересказ новеллы «Лигия». Его мифология: профессор Ла Чиура полюбил сирену Лигию, с эллинистической эпохи живущую в самом синем на свете море, — в некотором роде соответствовала переходу, который готовился совершить Мирче Элиаде.

Кристинель всю ночь и весь следующий день неподвижно просидела в палате 505, рука об руку с Мирчей Элиаде. Я тоже был там, стоял, прислонясь к стене, совершенно убитый. Относительно легко было сохранять оптимизм, пока существовала надежда; теперь же все приобрело другое, непредвиденное измерение: Мирче Элиаде предстояло исчезнуть с горизонта осязаемых сущностей. Только одна мысль, взошедшая в конце этой ночи, — что мы переживаем паринирвану, — приносила мне успокоение. Настал час, когда ученики и друзья, съехавшиеся со всего мира, должны вобрать в себя последние капли жизни того тела, которое до недавнего времени было приютом Великого Духа.

В субботу 19 апреля после полудня прибывает издалека Натан Скотт. В присутствии нескольких друзей, теснящихся рядом с Кристинель в палате, он совершает чин, и голос его дрожит, а потом, вместе с Дэвидом Трэйси и Фрэнком Гэмуэллом, он произносит молитвы на исход души.

Сердце Мирчи Элиаде все еще работает нормально. Я далеко не сразу понимаю, что происходит: учитель дает ученикам время прийти. Вот приехал в Чикаго Чарльз Лонг, один из первых его учеников. Вот Брюс Линкольн, один из последних и самых любимых студентов, с которым мы были в одной группе в 1975 году. В отделение реанимации звонят со всего мира, еще раз попирая больничные правила.

Во вторник утром я выхожу выполнить поручения Кристинель, которая с пятницы ни на секунду не покидала больницу. На обратном пути меня зовет в палату Венди О'Флаэрти; 22 апреля в 9.15 у Мирчи Элиаде упало артериальное давление, но его замечательное сердце, не только щедрое, но и сильное, еще бьется. Венди знает, что, не окажись я рядом с учителем в последнюю его минуту, я бы не простил себе этого никогда. Она говорит, что Мирча Элиаде оказал мне и эту последнюю милость: дождался, пока я вернусь. Удары пульса, все реже и реже, замирают в 9.40. Дэвид Трэйси и Фрэнк Гэмуэлл произносят последнюю молитву. Паринирвана кончилась.

Мир, конечно, никогда не будет тем же без Мирчи Элиаде. Но пережив ночь отчаяния, я понял, что за пять своих последних дней Мирча Элиаде совершил чудо. Сошлись его друзья и ученики, поддержав Кристинель и укрепив связи друг с другом. Великая мудрость заключена в махапаринирване, в собрании перед великим переходом. И я снова вспомнил себя в возрасте двадцати четырех–двадцати пяти лет, когда думал, что разгадываю в улыбке Мирчи Элиаде знание мировых тайн.

Может быть, и правда произошли таинственные вещи, касающиеся его жены, которая выказала в эти часы бдения свою беззаветную преданность; касающиеся обмена чувствами и мыслями между друзьями, которые не отходили от нее; касающиеся их судьбы или миссии. Время сбора было, может быть, и временем испытаний.

Хотя глаза мне то и дело затуманивает, хотя мир будет выглядеть совсем другим без Мирчи Элиаде — все же я принял его смерть с успокоением. В среду 23 апреля 1986 года, в два часа пополудни его кремировали там, где Вудлон авеню пересекается с 67-ой улицей. Между двумя выдержками из Премудрости Иисуса Сираха и из Откровения Иоанна Дэвид Трэйси прочел и страничку из «Мифа о вечном возвращении». Заупокойные службы прошли по всем православным церквям Америки. Организованная Дэвидом Трэйси поминальная служба в огромной Рокфеллеровской часовне в Гайд-Парке, на территории кампуса Чикагского университета, была, по свидетельству одного старого профессора, самой красивой службой, на которой он когда-либо присутствовал. Вместо обычных речей Сол Беллоу, Поль Рикёр и я прочли отрывки из сочинений Мирчи Элиаде на трех языках, на которых он писал до конца жизни: на румынском, французском и английском. Чарльз Лонг объяснил сущность Великого Бдения, которое стало результатом не только иррадиации, исходящей в мир от пятидесяти с лишним книг профессора, но и от его невероятной доброты. Натан Скотт (кто бы мог подумать, что он станет самым выдающимся архиепископом Кентерберийским?) завершил скорбение по душе Праведника, который находится в руках Божьих.

«Мудрец пребывает в мире, ибо Господь испытал его, как злато в горниле», — тихо произносят собравшиеся в церкви.

Если в сущности, как я неустанно повторяю для себя уже много лет, этот мир есть камуфляж, как вы столько раз говорили мне, Мирча Элиаде, тогда я счастлив, что жил в той же тайне, в какой жили вы.

Чикаго, 24 апреля — 1 мая 1986

Иоан Петру Куляну

III
Отклики на кончину Мирчи Элиаде

Из многочисленных откликов со всего мира на кончину Мирчи Элиаде мы приводим ниже статьи его друзей и соотечественников, Эмиля Чорана и Эжена Йонеско. Текст Чорана вышел в специальном номере журнала «Лимите». Текст Йонеско был зачитан им самим на открытии «Дней памяти Мирчи Элиаде», организованных центром Жоржа Помпиду в Бобуре (17–19 июня 1987 года).

Вот жизнь, которая прожита сполна

Как только я узнал, что дни Мирчи Элиаде сочтены, я почувствовал такую боль, что из памяти стерлось все, за исключением наших первых встреч и волшебного аллюра его жизни. В дружбе, как и во всем остальном, начало предлагает тебе ощущение непредвиденности и уникальности. Тому, что за этим следует, никогда не сравниться с блистанием начала. Не лучше ли было бы исчезать, прежде чем оставишь след? Но это просто разглагольствования, предваряющие встречу с наследием духа, убежденного до одержимости, что долг каждого — отдать все лучшее, что в нем есть. В этом смысле в Мирче было меньше, чем во всех нас, балканизма. Он не имел ни вкуса к неудаче, ни обреченности на провал, он не знал, что такое бросить задуманное и испытать при этом чувство облегчения, не знал сладострастия невоплощенности. Я только что получил письмецо от приятеля юности — вне всякого сомнения, гениального, — где он, подводя итоги, говорит, что его жизнь отмечена «знаком невоплощенности». Таков наш дефект — выражение мудрости наизнанку — ему легко поддаться и лишиться куража. Мы все в большей или меньшей степени неудачники. Элиаде, напротив, ни в коем случае не был неудачником, он отказался записать себя в наши ряды, и этот отказ, или просто недопущение такой возможности, стал мотивом, почему его литературное наследие есть не-дьявольское, не-саморазрушающее, не-негативное, — вразрез с тем, что характерно для самой мелкой валашской судьбы.

Я часто упрекал его, что он не такой, как... мы. Это «мы» — понятие, конечно, спорное. Не у всех есть шанс быть верным себе... Но я имел наглость предъявлять ему упрек и посерьезнее: что он занимается религиями, не обладая религиозным духом. Не то, чтобы я говорил об этом впрямую, но, бесспорно, моя сдержанность, более или менее явная, по отношению к такой важной теме не могла не задевать его. Шла ли речь об обоснованной претензии с моей стороны? Скажем так: скорее о гипотезе, которая выродилась

в убеждение. За несколько недель до смерти в интервью одному газетчику, который намекнул на мой упрек, он ответил, что его отношение к религиям — совсем не научного свойства. «Я просто пытаюсь понять», — уточнил он. Так-то оно так, однако ученый ничем другим и не занимается. И если *понимаешь* всех богов, это значит, что тебя по-настоящему *не интересует* ни один. Бог существует, чтобы ему поклонялись или чтобы его хулили. Нельзя представить себе Иова-эрудита.

Если я упорствую в утверждении, что Элиаде не был верующим и что даже не был предрасположен к вере, то это потому, что я не представляю, как бы его удовлетворило одно только изучение *вглубь*, без которого невозможна никакая идея-фикс, а молитва есть такая идея-фикс, величайшая из всех. Он же был одержим единственно действием, «поступком», продуктивностью в самом благородном смысле этого слова. Когда я говорил ему, что почти никогда не «работаю», он не хотел и не мог этого понять. Ему был чужд нигилизм любого рода, даже метафизический. Он напрочь отвергал соблазн праздности, скуки, безделья и угрызений совести. Кем же он был, по сути дела? Думаю, что могу дать ответ: духом, открытым всем по-настоящему высоким ценностям, открытым всему, что противостоит болезнетворности и побеждает ее. Он верил в Спасение, он очевидно был на стороне Добра — позиция, не лишенная опасности для писателя, но провиденциальная для того, кто отвергает прелесть отрицания или презрения. Как бы ты ни был угнетен, ты никогда не уходил в растерянности после разговора с ним. Отродясь неспособный к угнетенности, он имел здоровую основу, которая меня восхищала. Я много раз говорил ему, что он страдает наследственной склонностью к иллюзии. Ключ к его непобедимому оптимизму надо искать в его твердом намерении оставить полное представление о своих ресурсах, реализовать себя, свою суть, как никто другой, с риском — признаем это — лишить друзей и врагов удовольствия копаться в его слабостях.

Э.М. Чоран

Предтеча обновления

По-прежнему не утихает боль от того, что нет моего дорогого Мирчи Элиаде. Мне всегда будет его не хватать. Его будет не хватать и всей интеллектуальной жизни на нашей планете, ее духовной жизни.

Мы с Мирчей Элиаде познакомились более полувека назад, в Бухаресте, по его возвращении из Индии. Хотя он был очень молод, но имя его уже гремело. Он был то, что называется «вождь нового поколения». Я перед ним робел. Позже он стал одним из самых главных наставников для юных интеллектуалов Запада, особенно американских, но и французских тоже.

Он подверг переоценке миф, мифическое мышление, которое мелкие умы, такое множество мелких аметафизических умов считали вздором, ложью, легендами, сказками или мистификациями. Достаточно назвать одно только имя из их рядов: Ролан Барт. Миф для Элиаде тоже оставался сказкой, легендой, но легендой образцовой, неким строем мышления, идеей в платоновском смысле, архетипом, артикуляцией, тайной. Он противопоставлял

истину мифа идеологии, стольким идеологиям, которые опустошали умы, или открывал в идеологической мешанине скрытый миф, миф закопанный, закамуфлированный: этот выход за пределы истории, преодолевающий *цель истории марксистской,* есть нюансированное видение Рая до грехопадения, Рая, который марксисты искали здесь, на земле, промахиваясь, на ощупь двигаясь во мраке своих умопостроений. Элиаде внедрил в прогрессивное мышление миф как восхождение, как возвышение утопической мысли историков и иже с ними.

Ибо Мирча Элиаде умел с помощью герменевтики читать тексты, давать им верную трактовку и освещать бездны, в которых блуждает современный ум. Под тем, что подвержено гниению, Элиаде открывал сущее, нетленное, живое, сакральное.

Сегодня много говорят о возвращении сакрального. И Элиаде можно назвать пророком, созидателем, предтечей этого обновления. XXI век, по словам Мальро, будет религиозным или его не будет вовсе. Он *будет* благодаря в том числе и Элиаде, его учению.

Мирча Элиаде дает нам понять, что разные откровения разных религий подразумевают Одно, главное Откровение. То есть когда читаешь его сочинения, «Историю религий», в частности, начинаешь понимать, что разные религии суть многообразные традиции одной и той же истины. Массон-Урсель, которого можно считать предшественником Элиаде, в своей книге — несколько сегодня подзабытой, — сравнивал религии и открывал в них сходство и подобие, наводящее на мысль об искании, общем для всех.

Если взять «Пурпурного архангела» и другие труды Анри Корбена о персидских мистиках, о суфиях, из них явствует, что мистический опыт, экстазы и озарения мусульман-эзотериков ничем не отличаются от озарений исихастов или некоторых кармелитов. Не мне судить, каким образом, например, Элиаде вместе с Дюмезилем, с одной стороны, и с личностями, подобными Юнгу, с другой, подводит нас к традиционалистской науке, к сакральному пути познания неизъяснимого, экстра-исторического.

Среди религий, наиболее полно изученных Элиаде, на первом месте стоят религии Востока, особенно брахманизм; Мирча постиг разнообразные техники экстаза, медитации, созерцания (например, из тибетского буддизма, из шаманства) и ознакомил с ними западный мир. Его книга о йоге — это классика. Но об этом лучше, чем я, скажут другие. Они не оставят в стороне и его литературное творчество, весьма значительное, которое показывает, как сверхъестественное можно встретить в каждодневной жизни.

Не могу напоследок не выразить свое почтение жене Мирчи — Кристинель, его верной, его преданной подруге, которая помогала ему, поддерживала и любила его столько лет. Я преклоняюсь перед памятью Мирчи, моего незабвенного друга. Я признателен, в своей печали, тем, кто дал мне слово, чтобы сказать, что мы его любили, мы им восхищались, мы его уважали и, повторю еще раз, Мирчи будет не хватать и в духовном и в душевном смысле всем нам. Но его наследие, такое богатое, его неохватное наследие существует.

Эжен Ионеско,
член Французской Академии

IV

В 1953 году Вирджил Йерунка попросил у Мирчи Элиаде статью о соотношении его философского и научного творчества с литературным. Мирча Элиаде прислал ему приводимый ниже текст, который Вирджил Йерунка опубликовал в седьмом номере «Каете де дор», своем парижском журнале, посвященном румынской культуре. Существующий только в румынском варианте, этот «Автобиографический фрагмент» важен для понимания творчества Элиаде в целом. Нельзя по-настоящему понять мысль Элиаде, не зная обеих сторон его творчества, которые глубинно дополняют друг друга, которые обнаруживают дух, чье любопытство не ослабевает, чье воображение вечно бодрствует.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ

I

Редакторы «Каете де дор» оказали мне честь своим интересом к вопросу о том, как я примиряю между собой два поля деятельности — литературу, с одной стороны, науку и философию, с другой, — и в какой мере научные и философские занятия могут сосуществовать с литературным творчеством, в какой мере они ему способствуют или заставляют им пожертвовать. Этот вопрос я постоянно, уже лет тридцать, задаю себе и сам. Не знаю, насколько обоснован ответ, к которому я пришел. Но в любом случае, какую-то ценность он собой представляет: это, так сказать, «точка зрения автора», свидетельство об интимной подоплеке творчества — для всех оно существует как бы само по себе, а для автора тесно связано с его личной историей.

Прежде всего я хочу оговориться: ряд работ и исследований, которые по видимости могут быть сочтены научными, я отношу скорее к философским. Даже тогда, когда я занимался историей наук и пытался постичь смысл восточной алхимии и металлургии, меня в первую очередь занимало присутствие в этих традиционных техниках метафизических ценностей, а не «научных открытий». В алхимических текстах, например, меня интересовало то, что я считал специфическим для этой сотериологической техники, а не то, что могло бы быть зачатками предхимии. Алхимия никогда не была предхимией, то есть элементарной наукой и эмпирической практикой; такую оценку она получила, только когда духовный горизонт, на котором родились традиционные техники, ушел в тень, когда человек очнулся на других горизонтах — среди «законов материи» — и, исследуя древние тексты в свете этой новой пер-

спективы, нашел в них, естественно, рудименты «научных наблюдений» и «лабораторной практики».

Это только один, но не единственный пример. Я написал ряд работ с отправной точкой в этнологии и фольклоре, но писал я их не затем, чтобы добавить пункт-другой к огромной этнографической и фольклористической библиографии. Не то чтобы я пренебрегал этими дисциплинами; напротив, я числю их среди самых полезных для нового экуменического гуманизма, который наше столетие призвано выразить. Просто я никогда не находил в себе склонности написать «чисто научную» работу по этнографии или фольклору. Меня привлекали только материалы духовного порядка, которые надо было извлекать из книжных завалов, из всего, опубликованного этнологами, фольклористами и социологами. На этих сотнях тысяч страниц сохранился, как мне казалось, живым мир мифов и символов, который надо познать и понять, чтобы уяснить место человека в Космосе. Ведь хорошо известно, что это место уже само по себе есть метафизика. Попытки его познать и понять принадлежат скорее философии, чем науке, которая в данном случае занимается в первую очередь тщательным собиранием устных материалов, их публикацией в наилучших условиях, их классификацией по «типам» и «мотивам» и, наконец, их исторической и социологической интерпретацией.

Но о традиционной духовности я буду говорить ниже. Пока я хотел бы, чтобы не возникло путаницы относительно «типографского аспекта» моих работ: они выглядят, как форменно научные, то есть оснащены сносками и библиографическими ссылками не хуже, чем «специальная» литература. Этот факт объясняется двумя причинами: первая — личного порядка, вторая вытекает из природы духовной документации, которую я исследовал. У меня лично всегда был — и есть до сих — страх перед дилетантством, перед импровизацией, перед «наукой на слух», перед «книгами о...». Этот страх, что тебя проведут, что какой-нибудь шарлатан или невежда введет тебя в заблуждение, что ты начнешь строить на фундаменте неточных данных, я испытал в первый раз, по-моему, в четвертом классе лицея — прочел «Великих посвященных» Шюре и принял за чистую монету плоды его сочинительства, сочтя их основанными на подлинных источниках. Каково же было мое изумление, когда вскоре мне в руки попались книги Олденберга о ведической Индии и о буддизме, и я понял, что Шюре просто-напросто накрутил, в меру своей фантазии, целый ряд историй вокруг Рамы, Кришны и Будды. Этот урок оказался решающим. С тех пор я всегда старался прибегать к истокам, «видеть текст». Я даже думаю — а не объяснялся ли мой отъезд в Индию, в двадцать один год, для подготовки диссертации, недоверием, которое со временем овладело мной даже в отношении «ученых» трудов по индианистике. Я же прекрасно мог поехать в Париж, чтобы изучать санскрит и индийскую философию, но я дошел до сомнений во всех западных интерпретациях и решил отправиться в Индию, непосредственно к истокам.

Отсюда — моя потребность всегда указывать источники, от которых я отталкивался, чтобы прийти к той или иной интерпретации. Некоторые мои работы 1934–1938 годов просто обезображены сносками, примечаниями и сверхобширной библиографией, затрудняющей чтение. Думаю, что эта мания объяснялась и тем положением, в которое я попал в Румынии. По несча-

стью, вскоре после моего возвращения из Индии я стал «популярным писателем» из-за успеха «Майтрейи». Годом раньше мне поручили вести курс метафизики и семинар по истории логики, в рамках курса по логике и метафизике Нае Йонеску, — и тут в амфитеатр «Титу Майореску» стала набиваться молодежь, которую привлекали, по-моему, не столько трактуемые мной проблемы, сколько восхищение автором «Майтрейи». С другой стороны, поскольку надо было зарабатывать на хлеб, и к тому же при свойственном юности любопытстве, я печатал в газетах и журналах очень много статей, которые имели отдаленное отношение к «науке». Так что когда я писал по-настоящему «научные» работы и публиковал их в журналах, будь то «Ревиста де философие», «*Ricerche Religiose*», «*Religio*», или отдельными книгами, как, например, «Азиатскую алхимию» (1935), «Йогу» (1936), «Вавилонскую космологию и алхимию» (1937), «Залмоксис, часть I» (1938), — я всегда старался как следует оснастить их документацией, чтобы недоброжелатели или люди непредуведомленные не отнеслись к ним, как к каким-то «эссе», которые выдает литератор или газетчик. Было бы интересно вспомнить, в связи с этой моей «ситуацией», в которую я попал на родине после 1934 года, отклики на мои нелитературные работы со стороны мэтров и моих тогдашних коллег. Но об этом я напишу как-нибудь в другой раз.

Наряду с указанными причинами — страхом перед дилетантством, опасением, что тебя «не примут всерьез», — есть еще и третья, объясняющая «эрудированный вид» моих работ, которые, несмотря на эту видимость, принадлежали философии, а не упражнениям в эрудиции. Речь идет, как я сказал выше, о природе духовной документации, которой я занимался. Документация эта относится к Индии и вообще к Востоку, с одной стороны, и к культурам в этнографической стадии, с другой. А эти экзотические культуры были и еще остаются малоизвестными за пределами узкого круга специалистов. Поскольку я обращался к этому кругу лишь в той степени, в какой его члены были расположены проверять подлинность документов и точность их интерпретации; поскольку читатели, которые меня интересовали прежде всего, были «философы» (в широком смысле слова), это вынуждало меня представлять все досье, на основании которого я позволял себе делать некоторые заключения, — тем более что эти заключения не очень-то совпадали с общепринятыми трактовками этнологов, востоковедов или фольклористов. Если бы — вместо того, чтобы обмозговывать экзотические и фольклорные легенды, мифы или символы, — я пасся бы на текстах Платона или Канта, мне было бы очень легко писать книги без примечаний и без библиографии: в любой провинциальной библиотеке читатель имел бы под рукой, для сверки, труды Платона и Канта. Но предлагая в некотором роде герменевтическое исследование той или иной темы из румынского фольклора или того или иного восточного термина, я был вынужден прежде всего показать *факты*, из которых я исходил. *Факты*, во множественном числе, потому что я ни в коем случае не претендовал на «личностное толкование», на какое имеет право большой поэт или эссеист. Мне казалось, что толкование, которое я даю, буде оно и *новое*, не есть *личное*: оно только переводит в более внятные термины какой-то из аспектов архаической и традиционной системы мышления.

Таковы вкратце причины, по которым эти философские работы могли, из-за их внешнего оформления, сойти за обычный научный вклад в специальные дисциплины (востоковедение, историю религий, этнологию и фольклор). Пробу на обратное можно устроить очень легко: прочтите их без сносок и ссылок, и вы найдете философскую проблематику. Впрочем, особенно в последние годы, проведенные во Франции, я понял, какое это препятствие для неискушенного читателя — сноски на полстраницы, — и моя теперешняя тенденция — отказываться от «досье», довольствуясь несколькими отсылками к предыдущим работам. Поскольку «факты», которые меня интересуют, уже можно найти в трех солидных томах: «Йога», «Трактат по истории религий» и «Шаманство», — я могу позволить себе теперь не устраивать склад эрудиции, как будто бы я пишу, например, о проблемах западной логики или метафизики.

Находились, однако, такие, что недоумевали, какой интерес для Румынии и даже для Запада могут представлять подобные занятия «экзотической» и «архаической» философией. В свое время я отвечал на это, что тут важен не *предмет*, над которым размышляют, а то, *как* размышляют: в этом *как* проглядывает бытие самого мыслителя, а значит, и специфика культуры, к которой он принадлежит. Раздумывая над таким «экзотическим» документом, как Ветхий Завет, Мартин Лютер, который читал его на древнееврейском, основал самую что ни на есть германскую религиозную и философскую традицию. А порядочное число румын в XIX и XX веках, сидя над фольклорными румынскими материалами, «мыслили» на манер Парижа или Берлина. Воззрения Титу Майореску или Дуилиу Замфиреску на народную румынскую поэзию представляли собой не более, чем мнения западных ученых в соответствующие исторические моменты, — мнения, привязанные ко времени и часто противоречивые, заимствованные этими «румынскими мыслителями» *tale quale*, без всякого усилия выработать собственный взгляд.

Скажу больше. Если речь идет о «национальной специфике» и обо всем таком прочем, то я был ближе к истокам румынского народного духа, когда изучал символику храма в Барабудуре, йогу или вавилонскую космологию, чем мои коллеги-философы, которые изучали, к примеру, Канта. Потому что нет разрыва преемственности между архаическим символизмом Явы или Месопотамии и тем, что еще сохранился в румынском народном творчестве. Чтобы понять фольклор и, следовательно, толково оценить «национальную специфику», лучший путь — изучение архаических цивилизаций. В 1937 году некто задавал вопрос, каково может быть место книги о йоге в истории румынской культуры; правда, Эминеску тоже, замечал он, искушала Индия, но его интерес устремлялся к Ведам, упанишадам и буддизму, а не к мистической технике, каковой является йога. В те годы я никогда не отвечал на критику. (Я считал, что мне хватает головной боли с написанием книг, чтобы терять время еще и на их защиту. Если книга хороша, она защитит себя сама; если не хороша, защищать ее — напрасный труд...) Однако же ответить на недоумения критика было бы легко. Если ему хотелось непременно «поместить» куда бы то ни было «Йогу», то ее место — среди тех румынских книг по истории культуры и по философии истории, которые занимались тем, что Лучиан Блага назвал «бунтом автохтонной основы», то есть в ряду, открытом ра-

ботой Хашдеу «Правда ли, что даки исчезли?» («Фоица де историе ши литература», апрель-июль 1860) и продолженном Василе Пырваном и его учениками, с одной стороны, и Симионом Мехединци, с другой. Ибо если одной из проблем современной румынской культуры было стойкое присутствие автохтонного, геттского, фонда в более поздних этнических синтезах, то и я в «Йоге» пытался показать устойчивость автохтонной, доарийской духовности под напором индоевропейцев. И там, и там — одна и та же проблема из области философии культуры, просто трактуемая на двух различных примерах. Однако мой зоил, занятый в первую очередь внешними критериями, искал симметрию с «Индией» Эминеску, а у того «Индия» отдавала куда больше романтизмом и Шопенгауэром, чем собственно индийским духом. Если бы мой критик был сколько-нибудь знаком с философией культуры, он бы сейчас же отметил согласованность монографии по йоге, скажем, с «геттской традицией» в современной румынской культуре, с одной стороны, а с другой — с тем любопытным историческим моментом, который начинается в 1934 и который, среди прочих характерных штрихов, имел и такой: выделение архаических, долатинских элементов в «румынской специфике».

В общем, тут есть о чем поспорить, но это завело бы нас слишком далеко. Замечу лишь, что в 1936 году я считал, что в скором времени народы, у которых были славные эпохи средневековья и Возрождения, потеряют свой примат в Европе, те же народы, у которых были только «предыстория» и «протоистория», богатые событиями и расовыми смешениями, напротив, будут призваны созидать завтрашние культурные ценности. Не стану развивать здесь эту тему, но мне казалось, что духовное доминирование Запада близится к концу и что, как следствие, диалог с другими внеевропейскими культурами (и в первую очередь, с Азией) придется подхватить на другом уровне, уровне равенства и взаимопонимания, культурам Восточной Европы. Поэтому я думал, что изучение восточных религий и архаических традиций не только прекрасно вписывается в перспективу румынской народной духовности, помогая понять ее «изнутри», а не просто давая социологические описания ее форм и структур, — я думал, что такие работы отвечают и интересам Запада, которому в скором времени придется общаться с другими, экзотическими культурами, а он не будет знать, как. (В ряде статей я показывал, как образовался этот тупик, и сейчас не стану к этому возвращаться.)

Наконец, я упорствовал в подобного рода изысканиях еще и из опасения впасть в культурную провинциальность, которая ведет к стерилизации духа. Я думал в особенности о провинциальности «великих культур», о провинциальности Парижа или Англии и Германии, о провинциальности, которую мы у них заимствуем, считая, что приобщаемся к миру. Добрая половина «культурной журналистики» состояла у нас — как, впрочем, и в Португалии или в Греции, — из обсуждения парижских книжных новинок. Но мне посчастливилось в студенческие времена пожить в Италии, а потом в Индии, и парижская провинциальность нашего образца стала для меня невыносимой. (Париж — очень крупный центр культуры, но не надо считать его пупом земли, потому что тут-то мы и впадаем в провинциальность. Только в провинциальном городке педагоги мужской гимназии считают себя самыми великими философами времени.) Я думал, что малая культура, такая, как наша — *ма-*

лая, но не обязательно низшая, — должна подпитываться как можно большим числом источников. Поэтому я совершенно не следил за французскими книжными новинками: мне сообщали о них другие. И одно из самых забавных толкований моих романов я прочел в «Истории литературы» Дж. Кэлинеску: там говорится о влиянии на меня Андре Жида, хотя я открыл его для себя только лет в 30, а множество других литературных «влияний», для обнаружения которых надо было копнуть глубже, обойдены вниманием. Неожиданное заключение из уст литературного критика, который, в отличие от почти всех своих коллег, знал и другие языки, кроме французского. Но, вероятно, так было положено — чтобы у всех современных румынских писателей был свой французский прототип.

II

Что касается сосуществования этих философских занятий с литературным творчеством, то здесь, мне кажется, не так легко дать объяснение на нескольких страничках. Твердо можно сказать только, что я с самого начала писал и то, и другое. И точно так же с самого начала мои литературные вещи делились на «реалистические» и «фантастические». По-моему, первыми моими литературными опытами, увидевшими свет в «Зьярул штиинцелор популаре», были: «Как я нашел философский камень» и «Мысли из уединения». Я написал и опубликовал их в 1920–1921 годах, когда мне было тринадцать-четырнадцать лет. Первый был с уклоном в «фантастику», второй — своего рода псевдоавтобиографический фрагмент (почти полностью выдуманный). После этого у меня вышло много нелитературных заметок, особенно о жизни насекомых, потому что я очень долго считал, что стану натуралистом. Но я ни на миг не переставал писать — и даже публиковать — литературные опыты. Многое, конечно, осталось неизданным. Помню два «фантастических романа»: первый помещался в двух тетрадках и назывался «Путешествие пятерки майских жуков в страну рыжих муравьев»; это был такой сатирико-энтомологический опус с намеками на моих учителей и однокашников, я учился тогда в пятом классе лицея Спиру Харета. На второй ушло три-четыре тетрадки, и, хотя он назывался скромно: «Воспоминания свинцового солдатика», — но задуман был с таким размахом, что не вместился бы и в сотню тетрадок. Я намеревался ни много ни мало представить историю Вселенной от зарождения первых галактик до наших дней. Свинец, из которого в двадцатые годы нашего века был сделан солдатик, чьи воспоминания я записывал, — этот свинец помнил, как шло его образование в одном из уголков солнечной системы, потом — как остыла земная кора, как он лежал в руднике, откуда его извлекли месопотамцы (но до того, как его извлекли, произошло множество космических катастроф, потом зародилась жизнь, потом были землетрясения, потопы, потом появились животные разных геологических эпох и так далее и тому подобное), как его использовали в сплаве — а уж с этого момента моя повесть стала бесконечной, потому что я представлял себе, как этот кусочек свинца присутствует при всех великих исторических событиях мира, будучи свидетелем и распятия Христа, и войн Траяна с Децебалом и так далее, до наших дней, когда в виде свинцового солдатика он ока-

зался в мешке одного скаута, в вагоне поезда, которому предстояло сойти с рельсов на Валя-Ларгэ. За миг до крушения скаут в панике прячет голову в мешок, что спасает ему жизнь. И пока длится долгий-долгий миг крушения, скаут узнает все приключения свинцового солдатика и решает их после пересказать.

Таким был в общих чертах сюжет романа. Я дошел, по-моему, до остывания земной коры, но записал и другие эпизоды (с Децебалом, с арабами, с войной 1916 года и т.д.), потому что, по счастливому наитию, предоставил свинцовому солдатику полную свободу в хронологии его воспоминаний: перескакивать, например, с происхождения планетной системы к страданиям царицы Томирис. Впрочем, явление царицы Томирис на горизонте моих занятий в большой степени способствовало тому, что я окончательно забросил «Воспоминания свинцового солдатика». Я вдруг принялся сочинять про Томирис оперу. Сочинял я прямо на пианино, а поскольку с памятью было плохо, да и ноты я записывать не очень-то умел, мелодии варьировались изо дня в день. Все же мне удалось завершить пролог и первую сцену первого акта (диалог между Томирис и великим жрецом). Созвав друзей — Дину Сигиряну, Хайга Актерина, Мирчу Мэркулеску и Вожена, — я сел за пианино и исполнил «оперу» с начала до конца, спев даже партию сопрано за царицу. Я был тогда в шестом классе, но помнил отрывки из пролога до окончания лицея.

Примерно в то же время я собрал в один томик часть своих статей «из жизни насекомых» и предложил их в «Библиотеку для всех», коллекцию, выпускаемую в издательстве «Алкалай». Томик у меня приняли, но, к счастью, так никогда и не напечатали. Когда много лет спустя я признался г-ну Окняну, директору издательства, что меня должны были издать в «Алкалай» еще в 1923 году, он перетряс архивы «Библиотеки для всех», но рукопись не нашлась. Что касается «Воспоминаний свинцового солдатика», с ними произошла еще более неожиданная штука. В первые годы моего сотрудничества с «Кувынтул», в 1925–1926 годах, ко мне пришел один господин, молодой и симпатичный, по имени Раду Каприел, и сказал, что хочет во что бы то ни стало прочитать мое «неизданное». Я дал ему «Роман о подростке в очках», который кончил писать в последнем классе лицея и отрывки из которого опубликовал в «Кувынтул» и в «Универсул Литерар» Перпессичиуса. Но, возвращая мне роман, он попросил почитать и еще что-нибудь. Скорее в шутку я дал ему «Воспоминания свинцового солдатика», от которых, к моему удивлению, он пришел в такой восторг, что рукопись мне не вернул. Я уже и забыл о ней, но раз, придя проведать генерала Кондееску, незадолго до его смерти, встретил у него на Радио одну даму, которая сказала мне, что читала все мои книги — даже и те, что я не издал. Как ее звали, уже не помню. Помню, что она была брюнетка, в ту пору молодая и красивая. На прощанье она сказала еще, что рукопись «Воспоминаний свинцового солдатика» находится у нее. Я не решился попросить вернуть ее мне...

Так что, насколько я помню, мои литературные опыты всегда, с самого начала, делились на «фантастические» и «реалистические». Среди последних я бы назвал ряд очерков и новелл, опубликованных между 1923 и 1928 годами, и прежде всего два автобиографических романа: «Роман о подростке в очках» и его продолжение, «Гаудеамус», с воспоминаниями о студенческой

жизни. Это был и первый мой роман о любви, потому что, когда я его писал, я был влюблен — как все студенты. Более того, мне казалось, что я влюблен в двух студенток сразу. Несколькими годами позже, в Индии, я написал «Изабель и воды дьявола» и «Меркнущий свет», то есть два романа, в которых смешаны, более или менее убедительно, фантастическое, автобиографическое и «реализм». Я начал «Изабель» в 1929 году, в пансионе г-жи Перрис, в Калькутте, а закончил в Дарджилинге, на границе с Сиккимом. «Свет» я начал годом позже в Калькутте и закончил тоже в Гималаях, в Ришикеше, живя в хижине. В последний год моего пребывания в Индии я начал большой роман «Петр и Павел», который потом забросил, только отрывки использовал в «Возвращении из рая».

Как трудно ужиться литературе с наукой, я ощутил поначалу в Индии. Несколько месяцев я работал со страстью и до изнеможения, как работается только в двадцать с небольшим лет — и вдруг санскритские тексты и дорогая мне индийская философия стали мне безразличны. Сделав над собой усилие, что и сейчас, по прошествии времени, воспринимается мной с восхищением, я сумел все же продолжить работу над диссертацией. Но меня хватило не более чем на неделю-другую, я просто был *вынужден* все бросить и переключиться на литературные вещи. Я писал по десять-пятнадцать часов в день на протяжении месяца или полутора — и потом снова возвращался к диссертации. Тогда-то я и понял, что не могу отказаться от одного в пользу другого. Оба вида деятельности были мне равно необходимы. Необходимы, в первую очередь, для моего внутреннего равновесия, для моей духовной целостности. Рискуя чем угодно, я должен был вести и ту, и другую.

Однако риск был большой, и тем серьезнее, чем старше я становился. С определенного момента ход времени убыстряется, и ты уже не можешь делать то, что делал в ранней юности, даже если тебе удается работать по стольку же часов. Иногда меня охватывал страх, что я не смогу завершить ничего из того, что начал. С одной стороны, что естественно, мой горизонт раздвигался все шире, и появлялись проблемы, к которым я не был готов, поскольку в прежние годы их не видел, а с другой, «демон литературы» представлял собой константу неизвестного, которая могла в любой момент отвлечь меня от текущей работы. Этим объясняется, почему многие мои книги по истории религии и по философии появлялись в печати через пять или даже десять лет после того, как я их начинал. (И еще не все опубликовано: из «Мандрагоры», начатой в 1935, выходили отрывки в «Залмоксисе» между 1939 и 1942 годами; «Мифологии смерти», начатые в 1938, не напечатаны пока даже в отрывках...)

Конечно, завершение и публикация работы зависят не только от автора. Обстоятельства, издатель, публика тоже играют тут важную роль. Если с 1933 по 1940 год у меня вышло столько беллетристических книг, виной тому не одна только моя добрая воля. С одной стороны, меня подпирала нужда, а румынские издатели предпочитали романы книгам по философии; с другой стороны, большинство моих друзей были писателями и поощряли меня на литературные занятия, стараясь, чтобы я отодвинул на второй план занятия философские и научные. Начиная с военного времени происходит обратный процесс, но часть вины лежит и на мне. Я пообещал себе не печатать литера-

турное, пока Румыния будет в состоянии войны, и в 1941–1945 на родине у меня опубликовали только философские эссе и книгу о Салазаре. В эти годы я начал два романа: «Новую жизнь», продолжение «Хулиганов», предположительно на тысячу страниц, и «Апокалипсис». Из каждого я написал по многу сотен страниц, но поскольку знал, что они не выйдут до окончания войны, то писал их больше для себя и отрывался от них по первому же «сигналу», возвращаясь к другим начатым работам. В те годы, проведенные в Португалии, я написал книжечку «*Os romenos, Latinos do Oriente*», книгу о Салазаре, «*Ensayos luso-romenos*» (исследования и статьи, вышедшие в португальской прессе), «Комментарии к "Легенде о мастере Маноле"», много глав из «Трактата по истории религий» и первые — из «Мифа о вечном возвращении». Но в литературном плане, за вычетом пьесы «Люди и камни» и нескольких новелл, я не закончил ничего. Начал другую пьесу, «1241», «Португальский дневник» и еще кое-какие мелкие вещи. Принятое мной решение не публиковать «литературу» было в некотором роде фатальным для этих набросков. А с момента моего прибытия во Францию литература, как и следовало ожидать, отодвинулась на второй план. Чтобы зарабатывать на жизнь, надо было целиком уйти в занятия, для которых нашелся бы «рынок сбыта»: в историю религий, индианистику, философию, — о чем я нисколько не жалею. Я смог таким образом закончить и напечатать давно начатые работы, и сегодня моя теоретическая продукция, остававшаяся в тени в период с 1933 по 1940 год, пока я жил на родине, пришла в количественное равновесие с моими литературными писаниями.

Однако под определенным углом зрения обе разновидности моих сочинений взаимно дополняют друг друга. Это было давно замечено, и я помню, что один из моих студентов, Войта, даже написал в 1934 году книгу, где показал, что вся моя литературная, философская и научная деятельность имеет отправной точкой «Изабель и воды дьявола». Эта книга печаталась только отрывками (во «Времени» и в других журналах), и хотя мне казалось, что она заходит слишком далеко по части симметрий и соответствий, все же она была не лишена изобретательности. Существует, так или иначе, реальная зависимость некоторых литературных сочинений от теоретических, и наоборот. Если начать с самых очевидных примеров, я мог бы назвать «Загадку доктора Хонигбергера», которая вытекает непосредственно из йоги; пьесу «Люди и камни» по главе «Священные камни» из «Трактата» и по неоконченной работе «Лабиринт»; «Девицу Кристину» из «Мифологий смерти» и из курса «Смерть в румынском фольклоре»; «Ифигению» из «Комментариев к "Легенде о мастере Маноле"»; еще одну неизданную пьесу «Духовная авантюра» из «Мифологий смерти» и, может быть, что-то еще.

Но даже если «потомственность» не столь очевидна, она не менее реальна. Роман «Змей» можно считать самым ярким примером. Для начала — деталь, которая кажется мне важной: я написал эту книгу ночей за десять, работая с одиннадцати вечера до трех-четырех утра, весной 1937. *Надо было* выпустить ее ко Дню книги, потому что иначе издатель Чорней не выплатил бы мне тридцать тысяч лей и я не смог бы поехать летом в горы. В то же время я читал курс в университете, а, главное, держал корректуру издания Хашдеу, которое Королевский Фонд тоже *должен был* выпустить к тому же Дню

Книги. Измученный, истощенный до предела, я, чтобы не заснуть, пил кофе, а потом, на рассвете, чтобы заснуть — снотворное. Чорней каждое утро присылал ко мне мальчика, забрать прямо в типографию те пятнадцать–двадцать страниц, что я сочинял ночью. Я их не перечитывал, ни одну из двухсот страниц, и все же «Змей» — одно из самых моих удачных сочинений. И вот еще что: о символике змеи я располагал обширным фольклорным и этнографическим материалом, и тем не менее ни разу не прибегнул к нему. Может быть, если бы я дал себе труд, символика в «Змее» получилась бы более последовательной — но тогда, не исключено, литературный вымысел был бы стеснен. Не знаю. Что кажется мне интересным, так это то, что, хотя я трактовал тему, столь дорогую историку религий, каковым я являлся, писатель во мне отказался от любого *сознательного* сотрудничества с эрудитом и толкователем символов; любой ценой он хотел остаться *свободным*, выбирать, что ему нравится, и пренебрегать символами и интерпретациями, которые ему предлагал в готовом виде эрудит и философ.

Опыт со «Змеем» убедил меня в двух вещах: во-первых, что научная деятельность не может на *сознательном*, *волевом* уровне влиять на литературную; во-вторых, что свободный акт литературного творчества может, напротив, выявить некоторые теоретические подтексты. В самом деле, только прочтя «Змея» в виде книги, я понял, что нечаянно разрешил на ее страницах проблему, которая занимала меня давно (со времен «Солилогов», 1929–1932) и которую только в «Трактате» я изложил более или менее систематично. Речь идет о проблеме нераспознаваемости чудесного, о том факте, что интервенция *сакрального* в мир всегда закамуфлирована в череду «исторических форм», в явления, которые ничем не отличаются, *по видимости*, от миллионов других космических или исторических явлений (*священный камень* не отличается *по виду* ни от какого другого *камня* и т.д.). Можно было бы многое сказать о диалектике *иерофаний*, но здесь это не к месту.

От того «открытия», что я сделал в «Змее», расходятся две дороги: одна ведет через «Трактат» и «Шаманство» к нынешним работам, еще не систематизированным, о «выпадении в историю» («Образы и символы» и др.); другая, чисто литературная, ведет через «Небесную свадьбу», некоторые новеллы («Великан» и др.) и подводит к роману, еще не оконченному, «Купальская ночь». Обе дороги сходятся в конце концов к одной и той же проблеме: нераспознаваемости трансцендентного, закамуфлированного в Историю, — к проблеме, тесно связанной с проблемой Времени и Истории, которая в ядре уже содержится в «Изабель и водах дьявола» (глава «Юность без старости...»), в «Возвращении из рая» (сосуществование двух любовей Павла Аничета и невозможность «разрыва», единственная альтернатива которому — смерть), в «Небесной свадьбе» (две любви Иляны *во времени*) и образует сокровенный центр «Купальской ночи». Теоретический план той же проблемы исследуется в «Мифе о вечном возвращении» и в «Образах и символах», с подхватом в «Ностальгии по Раю» и в «Выпадении в Историю». В итоговой формулировке я мог бы сказать, что все эти работы пытаются разрешить одну и ту же главную тайну раскола, спровоцированного возникновением Времени и «выпадением в Историю», которое ему неизбежно сопутствует. В каждой из них более или менее явно проглядывает ностальгия по Раю, по возвра-

ту к первоначальной целостности, к «выходу из Времени». Отсюда попыт ка придать ценность Смерти как воссоединению («Возвращение из рая»), от сюда же — ностальгия по вечности («Изабель»), по обратимости Времени («Небесная свадьба»), по «саботажу Истории» («Купальская ночь»). Отсюда, наконец, мотив «философского камня», от первого литературного текста, опубликованного в тринадцать лет, до «Купальской ночи», а, главное, мотив «сосуществования двух любовей», который появляется уже в студенческом романе «Гаудеамус», последовательно развивается в «Петре и Павле», «Возвращении из рая», «Небесной свадьбе» и становится лейтмотивом «Купальской ночи». Мотив «две любви» — это тоже как бы способ обойти человеческую обусловленность, то есть все, что связано с «падением» и с «Историей», и добыть свободу, которая вроде бы не дозволена здесь, на земле, никому, кроме святых; остальные не могут на нее надеяться иначе, чем, в крайнем случае, через смерть (заключение Павла Аничета).

Я еще ничего не говорил ни о «Майтрейи», ни о «Хулиганах», хотя эти романы имели наибольший успех у публики и у критики. Мой юный друг, Войта, находил в «Майтрейи» следы «тантризма» (помню, профессор Башляр, когда прочел роман во французском переводе под названием «*La Nuit bengali*», говорил мне о « мифологии чувственности». Не знаю, в какой мере оправданы эти замечания. Я считаю как «Майтрейи», так и «Небесную свадьбу», романами о любви; как в таковых, в них, по моему мнению, явно есть метафизический смысл (одной из первых вещей, которым я научился у Нае Йонеску, было именно понятие о любви как об «орудии познания»). В отношении «Хулиганов» я должен уточнить, что судьбы всех персонажей исполнятся только в следующем романе», «Новая жизнь». Там, например, Петру Аничет повторяет опыт «двух любовей» Павла (Нора — Штефания), но выбирает другое решение: принимает возможность разрыва, отказывается от Штефании (которая воплощает в себе, так сказать, «высокое») и возвращается к Норе, откровенной и победной эпифании этакой *Magna Mater*, не ведающей уз морали. В каком-то смысле Петру Аничет принимает Историю...

Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы создалось впечатление, будто я прибегал к беллетристике ради «демонстрации» того или иного философского тезиса... Если бы так, мои романы были бы, в философском смысле, более содержательными. На самом же деле, как в полной мере показывает опыт «Змея», я обращался к литературе ради удовольствия (или потребности) *писать свободно*, выдумывать, грезить, мыслить, если угодно, но без пут систематического мышления. Вполне допускаю, что целый ряд моих недоумений, непроясненных тайн и проблем, не вместившихся в мою теоретическую деятельность, просились на просторы литературы. Но эта тема уже выходит за рамки данных заметок.

III

Остается добавить несколько слов о том, что называется литературной судьбой. Я принадлежу к самому удачливому поколению из тех, что знала до сих пор история Румынии. Ни до, ни после нас Румыния не ведала той свободы, того изобилия и той открытости, какие выпали для творчества нам с 1925 по

1940 год. Поколение Николае Йорги было почти полностью поглощено национальным и культурным профетизмом, который долженствовал подготовить войну за объединение нации. Фронтовое поколение принесло себя в жертву, чтобы мы обрели Румынию великую, свободную и богатую. Когда мы начали писать, году в 1925, к нам не взывали неотложные «национальные идеалы». Мы были первыми румынами, которые могли позволить себе заниматься не одной только национальной историей, румынской филологией и культурным профетизмом, без ощущения, что мы предаем народное дело. У нас была свобода, завоеванная очень большой кровью и очень многими жертвами — не знаю, всегда ли мы осознавали огромность этих жертв, которые наши предшественники принесли, чтобы мы могли ездить в Индию или в Соединенные Штаты, могли рассуждать о Фрейде или об Андре Жиде в Королевском Фонде, перед двухтысячной аудиторией, могли говорить об автономии культуры, о примате духовности, о неангажированности и так далее. Я всегда с волнением вспоминаю письмо Раду Драгни (которого лично никогда не знал), присланное в 1927 году, когда я писал для «Кувынтул» статью за статьей о «молодом поколении» и уже опубликовал «Духовный путевник» в двенадцати статьях. Раду Драгня приветствовал нас, «молодых», примерно так: «Счастливцы, вы можете посвятить себя *духовному*, но и я тоже счастлив, что сподобился увидеть это чудо в нашей Великой Румынии...». Он был прав: мы были первыми, кто собрал плоды усилий стольких поколений, в той или иной степени принесших себя в жертву. Империи Габсбургов и царей рухнули — и в те пятнадцать лет, что предшествовали пакту «Сталин-Гитлер», мы могли дышать спокойно. Мы были, я думаю, единственными среди румын, которым выпала такая долгая передышка. Поколение, которое подросло к 1940 году и которое уже затронули политические волнения, начавшиеся после 1934, ушло в Россию, а те, кто вернулся, вернулись с русскими за плечами. В плане культуры это было полностью потерянное поколение. Мы изведали единственное чудо, возможное в политической истории: «нейтральность» или, точнее, свободный диалог между людьми с противоположными политическими взглядами. Я говорю о феномене «Критерион», когда в Королевском Фонде, под председательством университетского профессора, обсуждали Ленина — и коммунисты, такие как Белу Зильбер и Лукрециу Пэтрэшкану, и легионеры, такие как Михаил Полихрониаде и Александру Телл, и просто граждане, такие как Мирча Вулкэнеску и Михаил Себастьян, — и этот симпозиум был делом возможным. Начиная с 1934 года диалог оборвался. В том году я опубликовал «Возвращение из рая». «Рай» продержался ровно три года: у нас у всех было ощущение, в том или ином виде, что мы изгнаны из «вневременного рая» и безжалостно выброшены в *Историю*. Что вскоре и произошло.

Нам повезло принадлежать к единственному поколению, в историческом плане «необусловленному», и, сколько могли, мы пользовались этим везеньем. Мое экспериментаторство (по варварскому выражению Петру Комарнеску, на которые он был мастак) отражало внутреннюю потребность набирать знание — как можно больше и как можно скорее. Особенно последнее — *как можно скорее*, потому что я рано почувствовал, что нам не хватит времени, что свобода, которой мы пользуемся, конечна, а наша уверенность — иллю-

зорна, что очень скоро *История* снова нас конфискует. Сколь бы странным это ни казалось, но я боялся исторического катаклизма еще с 1927 года. Тогда я написал для «Кувынтул» патетическую статью, «*Anno Domini*», которая произвела впечатление на многих, и среди них — на Симиона Мехединци и Перпессичиуса. Я рисовал там призрак близкой войны и, адресуясь (как по велось!) к «молодому поколению», говорил, что каждый из нас должен ежедневно повторять, что *ему осталось жить всего год* и надо попытаться *сделать все* в этот последний год своей жизни. Еще с университетских времен я был одержим понятиями времени и истории. Мне казалось, что если румыны выказывают такое безразличие к времени, это еще и потому, что у них никогда не было достаточно времени *что-то сделать*. История так их полюбила, что не выпускала из своих объятий. И целую тысячу лет душила их в объятиях так, что они и вздохнуть не могли. Мы же, привилегированные, знали радость свободного дыхания и, по крайней мере, скажу за себя, страшились того дня, когда мы ее утратим...

Кроме этого везенья, выпавшего на долю моих ровесников, у нас было и бесчисленное множество других, о которых не место говорить здесь. Но я хотел бы отметить вот что: вкусив с самых юных лет то, что называется «литературным успехом», в дальнейшем я его не желал и не делал ничего, чтобы его поддержать. Напротив, после опасного успеха «Майтрейи» я опубликовал ряд книг тяжелых (одну — просто нечитабельную, «Меркнущий свет»), дабы обескуражить своих поклонников. И еще: уехав в 1940 году с родины, я имел случай наблюдать, до 1945 года, какая примерно судьба ждет писателя *post-mortem*; например, я видел, как мое долгое отсутствие в бухарестской литературной публицистике постепенно задвигает меня в тень — и это был для меня лучший урок. Я понял, от чего зависит твоя литературная *актуальность* — она зависит, в первую очередь, от физического присутствия. Газеты и журналы говорят прежде всего о тех, кто находится *там*. А когда ты уже не там, то самое большее — читают твои книги, но тебе уже не пробиться в «актуальность». Однако именно такое положение дел меня устраивало: чтобы меня читали за заслуги моих книг, а не за актуальность, которую им придавало мое присутствие. Уже очень много лет я считаю себя ушедшим из жизни *румынским* писателем; в живых остался только автор книг, которые выходят на иностранных языках.

Париж, 24 марта 1953 года

Примечания переводчика

Выражаю благодарность Наталии Кулаковой, взявшей на себя труд прочесть и поправить рукопись; Георгию Старостину, помогавшему с транскрипцией экзотических реалий и имен; Марьяне Челак, сделавшей для обложки фотографию дома, который Элиаде видел в юности из окна своей мансарды.

Особо упомяну светлой памяти Николая Николаевича Романенко, который в 30-е годы прошлого века жил в Бухаресте, ходил по тем же улицам, что и Элиаде, и в наших долгих беседах дал мне почувствовать вкус *того места и времени*.

[1] Йон Элиаде-Рэдулеску (1802–1872), румынский поэт, действительно мог вызвать преклонение своим талантом и просветительской деятельностью. Но в книге «Испытание лабиринтом» Элиаде дополняет эту версию: Иеремия был персонажем детской дразнилки, и его впечатлительный отец, став взрослым, не преминул избавиться от досаждавшей ему фамилии.

[2] Петре Испиреску (1830–1887), румынский писатель, видный фольклорист, собиратель народных сказок.

[3] Йон Крянгэ (1837–1889), классик румынской литературы. Его Сказки («Свекровь и три невестки», «Дэнилэ Препеляк», «Сказка о Стане Бывалом», «Сказка о Белом Аране» и др.) — это скорее новеллы, где сходится фантастическое, приземленное и юмористическое, на них в Румынии принято воспитывать детей. «Воспоминания детства» — автобиографическая повесть Крянгэ.

[4] Николае Йорга (1871–1940), румынский историк мирового масштаба — по широте интересов, фундаментальности работ и продуктивности (16 000 названий).

[5] Рэзеш, свободный крестьянин, владевший землей, которая переходила по наследству.

[6] Опинки, лапти из сыромятной кожи.

[7] Кэчула, островерхая шапка из овчины.

[8] Примарь, городской голова.

[9] Арон Пумнул (1818–1866), румынский лингвист и философ; учитель Михая Эминеску (в Черновцах); участник революции 1848–1849 гг. в Трансильвании.

[10] Ойна, игра наподобие лапты.

[11] Речь идет о Дне независимости: 10 мая 1877 года Румыния провозгласила независимость от Османской империи.

[12] «*Cuore*» (Сердце), цикл рассказов для детей (1886) итальянского писателя Эдмондо де Амичиса (1846–1908), ставящий своей целью воспитание национального самосознания и сострадания к бедным.

[13] Курс лицея делился на гимназию (4 класса) и высшую ступень (тоже 4 класса).

[14] «Пор-Руаяль» (1840–1859), шеститомный труд Шарля Огюста Сент-Бёва, французского критика и поэта (1804–1869), фактически история янсенизма в биографиях французских писателей XVII в.

[15] «Письма к провинциалу», янсенистское сочинение Блеза Паскаля (1623–1662).

[16] Цэндэрикэ, румынский Пиноккио, герой народных сказок.

[17] «Мои тюрьмы», мемуарная книга Иона Славича (см. прим. 19).

[18] Виктор Анестин (1875–1918), румынский журналист, популяризатор астрономии.

[19] Александру Одобеску (1834–1895), румынский прозаик и историк, автор произведений с историческим колоритом; Иоан Славич (1848–1925), классик румынской литературы, бытописатель трансильванской провинции; Калистрат Хогаш (1848–1917), румынский прозаик, автор остроумных путевых заметок.

[20] Пьеса «Закат солнца» принадлежит перу румынского классика Барбу Делавранча (1858–1918).

[21] Фэт-Фрумос, прекрасный витязь, главный герой румынских народных сказок.

[22] Дину Сигиряну с 1949 по 1959 находился в ссылке в Кымпулунг-Мусчел (там же, где Константин Нойка и его круг) как помещик, у которого экспроприировали имение. В 1959 г. вместе со всей группой ссыльных интеллектуалов арестован, приговорен к десяти годам тюрьмы; умер в 1961 г.

[23] Василе Конта (1845–1882), румынский философ-материалист, автор оригинальной теории эволюции.

[24] «Роман о подростке в очках» увидел свет через шестьдесят лет после его написания.

[25] Хайг Актериан (1904–1943), румынский актер, театровед, первый в Румынии профессиональный кинорежиссер (учился в Вене у Макса Рейнхарда), лицейский друг Элиаде. При режиме Антонеску за принадлежность к Железной гвардии был посажен в тюрьму (1941–1943), а по выходе из нее послан на русский фронт, где и погиб в бою на Кубани.

[26] Жан (Ион) Виктор Вожен, вступил в Железную гвардию около 1932 г., занимал важный пост в легионерском правительстве в изгнании (Германия, 1938). Вернувшись в Румынию, провел много лет в тюрьме. Последние сведения о нем относятся к 1977 г., когда он вел частную жизнь в Бухаресте.

[27] Петре Вифоряну покончил с собой после установления в Румынии коммунистического режима.

[28] Богдан Петричейку-Хашдеу (1838–1907), румынский писатель и ученый-энциклопедист.

[29] Михаил Садовяну (1880–1961), классик румынской литературы, бытописатель крестьянской жизни, мастер реалистической и психологической прозы. С 1921 — член Румынской Академии. После Второй мировой войны (перешел на рельсы соцреализма) — учредитель и председатель Союза писателей Румынии. На русский язык переведены его романы «Улица Лэпушняну» (1921); «Никоарэ Подкова» (1952); историческая трилогия «Братья Ждер» (1935–1942), повесть «Митря Кокор» (1949), рассказы.

[30] Главная тема румынского прозаика Йонела Теодоряну (1897–1954), автора трилогии «В Меделень» (1925–1927),— мир детей и подростков.

[31] Чезар Петреску (1892–1961), румынский прозаик, хроникер, на манер Бальзака, жизни своей страны между двух войн.

[32] «Гындиря» (Мысль), журнал, вокруг которого в 30-е гг. XX в. сформировалось идеологическое и политическое течение, вначале поддерживающее сэмэнэтористские (см. прим. 47) устремления, затем перешедшее на позиции надклассового национального единения, этнократии; один из теоретических источников легионерского движения.

[33] Юлия Хашдеу, дочь Богдана Петричейку-Хашдеу, романтический образ, по-пушкински, умершая в девятнадцать лет от туберкулеза.

[34] Антинея, владычица атлантов, героиня романа «Атлантида» Пьера Бенуа (1886–1962).

[35] Ипатия, женщина-философ, жившая в Александрии в V веке.

[36] Круча де Пьятра, квартал красных фонарей в Бухаресте.

[37] *Navigare necesse est...* — первая часть изречения Цицерона «*Navigare necesse est, vivere non est necesse...*» (Плавать по морям обязательно, жить — необязательно. *лат.*).

[38] Первая премия с венком. В румынских школах есть обычай увенчивать отличников, победителей конкурсов и т.д. венком из живых цветов.

[39] «Сикстин» (1896), роман Реми де Гурмона (1858–1915) с подзаголовком «*roman de la vie cérébrale*» (роман о головной жизни).

[40] Василе Пырван (1882–1927), румынский историк, создатель новой школы в румынской археологии.

[41] Нае Йонеску (1890–1940), румынский философ и публицист, университетский профессор Элиаде, повлиявший на его политические взгляды (в части приверженности к Железной гвардии); издатель газеты «Кувынтул» (Слово), по сути, выражающей идеологию железногвардейцев.

[42] Хенрик Саниелевич (1875–1951), румынский литературный критик, социолог и биолог, склонный объяснять через биологию и социологию литературные явления.

[43] «*Et maintenant, à nous deux!*» (А теперь — кто кого? — *франц.*), реплика Растиньяка, обращенная к городу Парижу, из «Отца Горио» Бальзака.

[44] Титу Майореску (1840–1917), румынский историк, философ, общественный деятель; выдающийся оратор.

[45] «*Regulae ad directionem ingenii*» (Правила для руководства ума. — *лат.*), посмертный трактат Рене Декарта.

[46] «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже (1822–1861), роман, послуживший сюжетом для оперы Пуччини «Богема».

[47] Сэмэнэторизм, румынский вариант народничества, общественное и литературное течение в Румынии первого десятилетия XX в., по названию журнала «Сэмэнэторул» (Сеятель), идеологом которого был Н. Йорга.

[48] Михаил Драгомиреску (1868–1942), румынский литературовед, университетский профессор, ученик Титу Майореску, директор журнала «Конворбирь критиче» (Критические беседы).

[49] Мирча Вулканеску (1904–1952), румынский философ, экономист, общественный деятель, приверженец Железной гвардии. После Второй мировой войны судим как «военный преступник» (занимал пост помощника госсекретаря по финансам в правительстве Антонеску). Умер в тюрьме.

[50] Имеется в виду книга «Испытание воли» французского психолога конца XIX века Жюля Пэйо, по жанру — суггестивная терапия; своего рода учебник жизни для интеллектуалов.

[51] Панаит Мушою (1864–1944), румынский публицист, поборник идеи социализма, переводчик и издатель социалистической литературы.

[52] Липоване, русские старообрядцы, живущие в Дельте Дуная.

[53] Димитрие Густи (1880–1955), румынский социолог, философ и эстетик.

[54] Лучиан Блага (1895–1961), румынский поэт и философ, по идеологии примыкал к Железной гвардии. После войны был отстранен от преподавания в университе города Клуж, работал библиотекарем, занимался переводами. В 1956 г. был выдвинут на Нобелевскую премию, но румынские власти сумели ему воспрепятствовать.

[55] Памфил Шеикару (1894–1980), румынский журналист и общественный деятель, соратник Иона Антонеску. С 1944 г. — в эмиграции, в Испании и Германии.

[56] Никифор Крайник (1889–1972), румынский писатель, богослов и философ крайне правых взглядов. Пятнадцать лет (1947–1962) провел в тюрьме как политзаключенный.

[57] Перпессичиус (1891–1971), румынский поэт и литературовед, чьи критические работы отличаются редкой проницательностью и тонкостью анализа. В 1934 г. выступил печатно в защиту еврейских писателей, в том числе М. Себастьяна (см. прим. 66).

[58] Джордже Брязул (1887–1961), музыковед и фольклорист, заложил архив фонограмм в Бухаресте, один из основателей румынской музыкальной историографии.

[59] Оскар Вальтер Чисек (1897–1966), писатель и искусствовед из румынских немцев.

[60] Эманоил Букуца (1887–1946), румынский биолог, этнограф, поэт, член-кор. Румынской Академии.

[61] Йон Минулеску (1881–1944), румынский поэт-символист.

[62] Паул Зарифопол (1874–1934), румынский литературный критик из разряда «не тетствующих».

[63] Тудор Аргези (1880–1967), румынский поэт и прозаик, создатель жанра короткого афористического очерка, «таблетэ». В 20-е гг. XX в. проявил себя в публицистике как мастер памфлета.

[64] *Villa dei Misteri* (Вилла тайн. — *ит.*), руины виллы в окрестностях Помпеи, где сохранились фрески, предположительно изображающие инициацию в элевсинские мистерии.

[65] Камил Петреску (1894–1957), румынский писатель, издатель литературных журналов, автор знаменитых романов «Последняя ночь любви — первая ночь войны» и «Прокрустово ложе».

[66] Михаил Себастьян (1907–1945), румынский прозаик, драматург, эссеист. Один из ближайших друзей Элиаде. В дневнике времен войны (когда антисемитизм стал государственной политикой Румынии) оставил свидетельства «охлаждения» к нему Элиаде. По пьесе Себастьяна «Безымянная звезда» в России был снят кинофильм (режиссер — М. Казаков).

[67] Румынская Школа, или Академия, в Риме, была создана в 1922 г. стараниями Н. Йорги и В. Пырвана для стажировки в Италии румынских студентов и деятелей культуры. Закрыта румынским правительством в 1947, в 1960-е гг. ее деятельность возобновлена.

[68] Паул Стериан, поэт-авангардист, после Второй мировой войны — участник кружка «Костер зажжен» при румынском монастыре Антим. Все члены кружка, в том числе видные писатели: Василе Войкулеску (см. прим. 95) и Йон Марин Садовяну (см. прим. 77), — были посажены в тюрьмы при коммунистическом режиме.

[69] Санду Тудор (1896–1963), религиозный поэт, иеромонах, один из основателей кружка «Костер зажжен», погиб в концлагере при Георгиу-Деже.

[70] Михаил Полихрониаде (1907–1939), адвокат, историк, публицист, видный деятель легионерского движения. Арестован в 1938 г., убит в тюрьме.

[71] Йонел Жиану (1905–1993), румынский искусствовед, автор монографий по пластическим искусствам, эмигрировал в Париж и работал редактором в издательстве «Арто».

[72] Петру Комарнеску (1905–1970), румынский искусствовед, автор идеи создания общества «Критерион». Один из немногих, устоявших перед идеологией легионерства.

[73] Георге Раковяну (1900–1967), писатель, публицист и богослов. После расправы Иона Антонеску с легионерским движением (21–23 января 1941) бежит в Германию. С 1941 по 1944 — заключенный в Бухенвальде (по договоренности Антонеску с Гитлером легионеров-беженцев интернировали). После войны возглавлял многие политические и культурные ассоциации румынской эмиграции.

[74] Йон Кэлугэру (1902–1956), румынский прозаик еврейского происхождения, драматург, журналист. Лицейский одноклассник Саши Панэ (см. прим. 76). Сотрудничал в авангардистских журналах, а также, до 1938, в «Кувынтул» Нае Йонеску. Затем примкнул к компартии. На «производственном» материале выстроен его роман «Сталь и хлеб» (1950) — одна из первых ласточек соцреализма.

[75] Урмуз (1883–1923), румынский прозаик, предшественник литературы абсурда.

[76] Саша Панэ (1902–1981), румынский поэт-авангардист.

[77] Йон Марин Садовяну (1893–1964), румынский писатель (поэт, эссеист, тонкий стилист) и деятель культуры, основатель кружка «Поэзис», имевшего целью популяризировать европейское искусство; после войны — участник религиозного движения «Костер зажжен» (см. прим. 68).

[78] Константин Нойка (1909–1987), крупный румынский философ. Как и Элиаде, учился в университете у Нае Йонеску, был членом общества «Критерион», по политическим взглядам примыкал к легионерскому движению. С 1949 по 1958 живет в ссылке в Кымпулунг-Мусчел. В 1958 г. осужден на двадцать пять лет принудительных работ с конфискацией имущества. Выпущен на свободу во время всеобщей амнистии в 1964 г. С 1965 по 1975 работает научным сотрудником в Румынской Академии и ведет на дому семинар по классической философии. Последние двенадцать лет жизни прожил в деревне под Сибиу, где общался с учениками на манер Сократа.

[79] Захария Станку (1902–1974), румынский поэт и прозаик. Основанная им газета «Азь» (Сегодня) просуществовала до 1940 г. Одновременно был редактором в газете «Крединца» (Вера). С 1937 по 1940 издает «Лумя ромыняскэ» (Румынский мир), газету левого толка, которая полемизирует с «Универсул», газетой фашистской ориентации. («Азь» и «Лумя ромыняскэ» были запрещены фашистским режимом.) Отсидел несколько лет в лагере в Тыргу-Жиу. После войны — директор Национального театра, с 1949 по 1972 — председатель Союза румынских писателей. Член Румынской Академии.

[80] Дан Ботта (1907–1958), румынский поэт, эссеист, переводчик. Сотрудничал в «Гындыря».

[81] Александру Куза (1857–1947), основоположник движения железногвардейцев в Румынии.

[82] *Audiatur et altera pars* — следует выслушивать и противную сторону (*лат.*)

[83] Джордже Кэлинеску (1899–1965), румынский литературовед и писатель (левой ориентации), академик (1946). Автор многих исследований по румынской и мировой литературе, в частности монументальной «Истории румынской литературы с зарождения до наших дней» (1941). Государственная премия СРР (1964).

[84] Каса Верде (Зеленый дом), штаб-квартира Железной гвардии в Бухаресте; здание, построенное силами самой этой партии.

[85] «*Sein und Zeit*» (Бытие и время), ранний труд Мартина Хайдеггера. «Поэзия и правда», мемуары Гете.

[86] «*L'après-midi d'un faune*» — «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси.

[87] *Extra Ecclesiam nulla salus* (Вне церкви нет спасения. — *лат.*), догмат римско-католической церкви.

[88] Эуджен Ловинеску (1881–1943), румынский литературный критик и прозаик.

[89] Ливиу Ребряну (1885–1944), румынский писатель, замечательный стилист, автор романов «Йон» (1920), «Лес повешенных» (1922), «Восстание» (1932).

[90] *Habent sua fata libelli* (Книги имеют свои судьбы), стих латинского поэта Теренциана Мавра, III в.

[91] Ион Барбу (1895–1961), румынский поэт-символист и выдающийся математик.

[92] Ион Моца, правая рука Корнелиу Зеля Кодряну, вождя Железной гвардии. После бурной антисемитской деятельности на родине отправился в Испанию воевать на стороне Франко и был убит в бою с республиканскими силами вместе с соратником, В. Марином.

[93] Пэсторел Теодоряну (1895–1964), поэт, знаменитый прежде всего своими эпиграммами. С 1960 по 1963 г. — политзаключенный.

[94] *Saudade* (*порт.*), чувство грусти без причины; манера пения, отличающаяся той же беспричинной грустью.

[95] Василе Войкулеску (1884–1963), румынский писатель, автор религиозных стихов и мистической прозы. Практикующий врач. С 1958 по 1962 — политзаключенный.

[96] «В том, что касается архаического человека, я считаю долгом выразить глубокое доверие к работе Мирчи Элиаде. Профессор Элиаде, по-моему, уникален среди современных специалистов по религии не только владением фактами, но также и своей философской и богословской мудростью» (*англ.*)

Содержание

Том I
Посулы равноденствия
(1907–1937)

Часть первая. Мансарда

Глава 1. Первые воспоминания 7
Глава 2. Война для девятилетнего 22
Глава 3. Как я нашел философский камень 36
Глава 4. Искусы для близорукого юнца 54
Глава 5. Navigare necesse est... 69
Глава 6. «А теперь — кто кого...» 87
Глава 7. По примеру Кьеркегора 106
Глава 8. Письмо магараджы из Кассимбазара 125

Часть вторая. Индия в двадцать лет

Глава 9. С Рипон-стрит в Бхованипор 135
Глава 10. Хижина в Гималаях 153

Часть третья. Посулы равноденствия

Глава 11. Возвращение в мансарду 181
Глава 12. «Человек без судьбы...» 204
Глава 13. Нам надо было торопиться 230
Глава 14. Когда писателю исполняется тридцать лет 263

Том II
Жатва солнцеворота
(1937–1960)

Часть четвертая. Когда смерть камуфлирует свою мифологию

Глава 15. Загадка «коллективной смерти» 283
Глава 16. Шанс, который дает болезнь 296
Глава 17. Мне тридцать три года — за неделю до смерти Нае Йонеску 310
Глава 18. От Камоэнса до Салазара 322

Часть пятая. Incipit vita nova

Глава 19. Париж, 16 сентября 1945 года 341
Глава 20. Кристинель 356
Глава 21. Успех книг по истории религий и востоковедению не утешает, если жертвуешь литературным творчеством 369
Глава 22. К счастью, «Купальская ночь» не имеет успеха: я пойму позже смысл этой неудачи 383

Часть шестая. Жатва равноденствия

Глава 23. Начинаю открывать Америку... 401
Глава 24. ...и Японию 417

Приложения

I. *Ален Парюит* 433
II. Последние минуты Мирчи Элиаде. *Иоан Петру Куляну* 434
III. Отклики на кончину Мирчи Элиаде 440
Вот жизнь, которая прожита сполна. *Э.М. Чоран* 440
Предтеча обновления. *Эжен Ионеско* 441
IV. Автобиографический фрагмент 443

Примечания переводчика 456

Элиаде М.

Посулы равноденствия. Мемуары. Т. I. (1907–1937); **Жатва солнцеворота.** Мемуары. Т. II. (1937–1960). Перевод с румынского А. Старостиной. — М., Критерион, 2008. — 464 с.

ISBN 978-5-901337-29-5

Мирча Элиаде

Посулы равноденствия
Мемуары. Том I
(1907–1937)

Жатва солнцеворота
Мемуары. Том II
(1937–1960)

Издательство «Критерион», Москва
e.mail: criterion_books@bk.ru

Подписано в печать 1.06.2008
Формат 60x90/16. Тираж 1000 экз.

ISBN 978-5-901337-29-5
9 785901 337295 >

Отпечатано с готовых пленок
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер. 6
Заказ № 1043

Мирча Элиаде (1907–1986), прославивший свое имя трудами по истории архаических религий, — из разряда тех мыслителей, которым было тесно в «статусе человека». Склонный к крайностям и к экспериментам над собой, он вечно прорывался к другим горизонтам: от православия к эксцессам *тантры*; от строгости науки к безудержным напитиям литературы; от кельи в *ашраме* к влюбленности в двух женщин сразу; от невозмутимости мудреца к страстям политика… ***Мемуары Элиаде*** – это уникальный опыт концептуальной автобиографии, попытка проследить логику своей судьбы, распознать «под камуфляжем мирского знаки сакрального».